А. Н. МАЙКОВ

Советский писатель

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА
ОСНОВАНА М. ГОРЬКИМ

Большая серия
Второе издание

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ

А. Н. МАЙКОВ

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Вступительная статья
Ф. Я. Приймы

Составление, подготовка текста
и примечания Л. С. Гейро

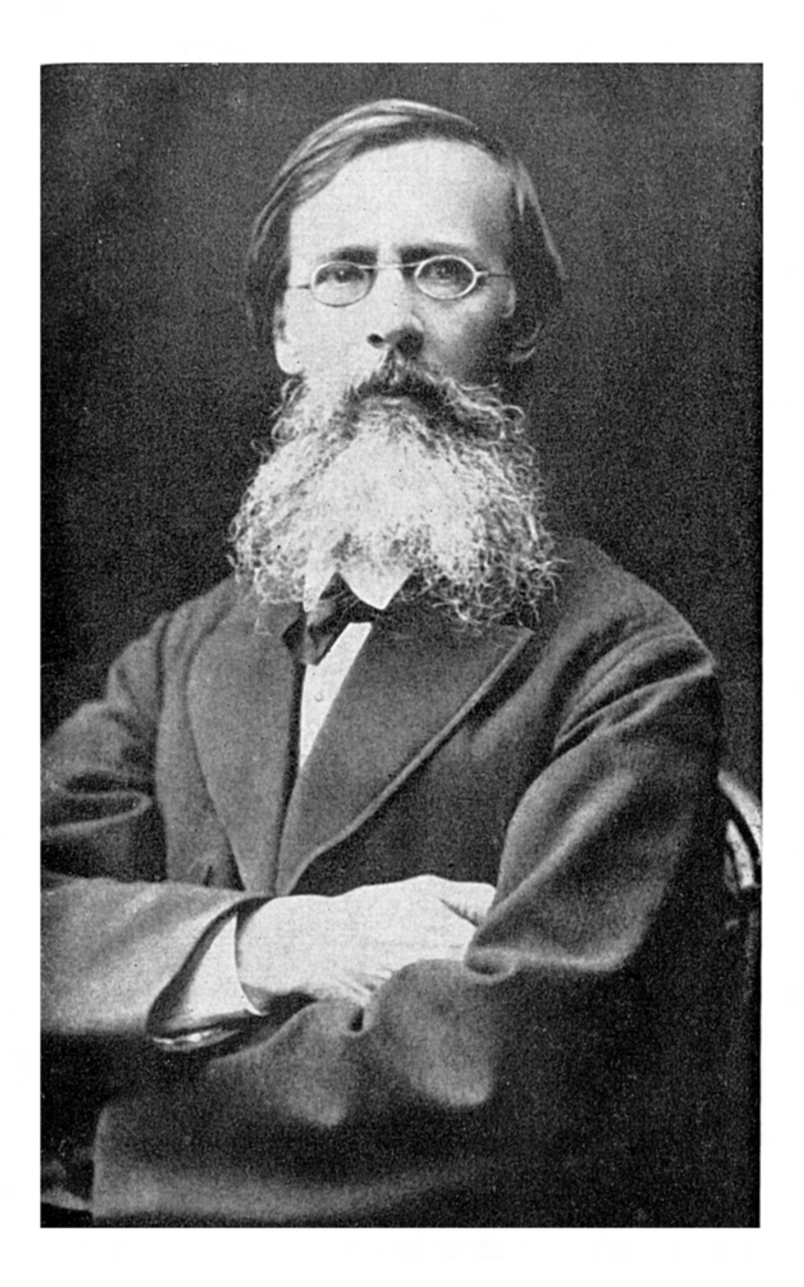
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ · 1977

Р 1
М 12

Богатое и разнообразное творчество Аполлона Николаевича Майкова (1821—1897) характеризуется глубоким интересом поэта к отечественной истории, гуманистическим традициям античного мира, поэтическому наследию славянских народов. А. Н. Майкову свойственно тонкое понимание красоты родной природы, уверенное владение богатствами русской речи. Несмотря на ограниченность общественно-политической позиции автора, лучшие его произведения — от хрестоматийно известных стихотворений («Весна! Выставляется первая рама!..», «Голубенький, чистый подснежник-цветок...», «Колыбельная» и др.) до перевода «Слова о полку Игореве» и трагедии «Два мира», удостоенной Пушкинской премии, — составляют неотъемлемую часть русской поэтической классики.

Настоящий сборник является первым научно подготовленным изданием сочинений поэта. Книга охватывает лучшую часть поэтического творчества Майкова. В нее вошли многие неопубликованные стихотворения, в частности эпиграммы, посвященные злободневным общественно-политическим темам. В примечаниях широко использованы архивные материалы, в том числе комментарии самого поэта к его крупнейшим произведениям.

М $\frac{70401-313}{083(02)-77}$ 379—77



ПОЭЗИЯ А. Н. МАЙКОВА

А. Н. Майков (1821—1897) вышел на литературное поприще в начале 40-х годов прошлого века, когда мыслящая Россия с нетерпением ждала появления нового певца, способного хотя бы частично возместить ущерб, нанесенный отечественной поэзии безвременной гибелью Пушкина и Лермонтова. И в унисон этим надеждам в статье о первой книжке стихотворений А. Н. Майкова (1842) В. Г. Белинский писал: «Даровита земля русская: почва ее не оскудевает талантами... Лишь только ожесточенное тяжкими утратами или оскорбленное несбывшимися надеждами сердце ваше готово увлечься порывом отчаяния, — как вдруг новое явление привлекает к себе ваше внимание, возбуждает в вас робкую и трепетную надежду... Заменит ли оно то, утрата чего была для вас утратою как будто части вашего бытия, вашего сердца, вашего счастия: это другой вопрос, — и только будущее может решить его... Явление подобного таланта особенно отрадно теперь... когда в опустевшем храме искусства, вместо важных и торжественных жертвоприношений жрецов, видны одни гримасы штукмейстеров, потешающих тупую чернь; вместо гимнов и молитв слышны или непристойные вопли самолюбивой посредственности, или неприличные клятвы торгашей и спекулянтов...» [1]

Признав Майкова «сильным дарованием» (VI, 7), Белинский подошел к его стихам строго критически: разделив их на «два разряда», он заявлял, что «повод к надежде на будущее его развитие» (VI, 9) дает лишь «первый разряд» — антологические стихи молодого поэта, созданные в духе древнегреческой поэзии. Об одном из них,

---

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. 6, М., 1955, с. 7. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте (том, страница).

стихотворении «Сон», критик успел дать восторженный отзыв еще в 1840 году, когда оно впервые появилось в «Одесском альманахе» за подписью *М.*, ничего не говорившей тогдашнему литературному миру. Теперь, в статье 1842 года, Белинский выписывал это стихотворение полностью вторично:

Когда ложится тень прозрачными клубами
На нивы желтые, покрытые скирдами,
На синие леса, на влажный злак лугов;
Когда над озером белеет столп паров
И в редком тростнике, медлительно качаясь,
Сном чутким лебедь спит, на влаге отражаясь, —
Иду я под родной соломенный свой кров,
Раскинутый в тени акаций и дубов;
И там, с улыбкой на устах своих приветных,
В венце из ярких звезд и маков темноцветных
И с грудью белою под черной кисеей,
Богиня мирная, являясь предо мной,
Сияньем палевым главу мне обливает
И очи тихою рукою закрывает,
И, кудри подобрав, главой склонясь ко мне,
Лобзает мне уста и очи в тишине.

«Одного такого стихотворения, — писал Белинский, — вполне достаточно, чтобы признать в авторе замечательное, выходящее за черту обыкновенности, дарование. У самого Пушкина это стихотворение было бы из лучших его антологических пьес» (VI, 10—11).

На первый взгляд может показаться странной для радикального демократа столь высокая аттестация написанных в античной манере стихотворений, плотно населенных фавнами, нимфами, наядами и прочими мифологическими существами. Хорошо известно, с какой неотразимой иронией отзывался позднее, в конце 1850-х годов, Н. Г. Чернышевский об антологических стихотворениях поэта Н. Ф. Щербины. У революционеров-шестидесятников этот вид лирики, несозвучный духу новой эпохи, вызывал неизменный и вполне объяснимый протест. Но Белинский начала 1840-х годов имел все основания видеть в антологической лирике не до конца еще исчерпанные ресурсы для художественного развития русского общества. Кроме того, если вернуться к Н. Ф. Щербине, следует отметить, что он вдохновлялся образцами эллинистической литературы периода ее упадка; в стихотворении «Волоса Береники» поэт, по остроумному выражению Чернышевского, «вместо плача женщины о волосах... придумал

плач волос о женщине»,[1] в то время как превосходная эстетическая интуиция Майкова предохраняла его от подобного рода начетнических кунштюков и вовлекала в русло бессмертных традиций античной классики. Именно поэтому *вторичность* антологических стихотворений Майкова не смущала Белинского, и он находил в них и «целомудренную красоту», и «грациозность образов», и «виртуозность резца» (VI, 10). Полагая, что не головоломная эллинистическая книжность, а «природа с ее живыми впечатлениями» является «исходным пунктом», «наставницей и вдохновительницей поэта» (VI, 12—13), критик приводил для подтверждения своей мысли стихотворение «Октава»:

Гармонии стиха божественные тайны
Не думай разгадать по книгам мудрецов:
У брега сонных вод, один бродя, случайно,
Прислушайся душой к шептанью тростников,
Дубравы говору; их звук необычайный
Прочувствуй и пойми... В созвучии стихов
Невольно с уст твоих размерные октавы
Польются, звучные, как музыка дубравы.

К пьесам «второго разряда» Белинский отнес стихи Майкова, посвященные современной русской действительности. Примечательно, что именно они заслужили упрек в «несовременности». «В этих стихотворениях мы желали б найти поэта, современного и по идеям, и по формам, и по чувствам, по симпатии и антипатии, по скорбям и радостям, надеждам и желаниям, но — увы! — мы не нашли в них, за исключением слишком немногих, даже и просто поэта...» (VI, 25).

К трактовке современной темы в книжке Майкова приближалось стихотворение «Кто он?» («Лесом частым и дремучим...»), изображавшее Петра I и ставшее впоследствии хрестоматийным, и стихотворение «Два гроба», посвященное победе России над Карлом XII и Наполеоном Бонапартом. Однако если первое из них критик удостоил все же назвать «недурной пьеской» (VI, 28), то «изысканную и натянутую мысль» (VI, 27) второго он осудил безоговорочно.

Щадя самолюбие Майкова, Белинский воздержался не только от конкретного разбора, но даже и от упоминания наиболее пространного из «современных» стихотворений рецензируемого сборника — дружеского литературного послания «В. Г. Бенедиктову», но он

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. 4, М., 1948, с. 533.

нашел способ охарактеризовать его косвенным образом: на протяжении своей статьи он не преминул трижды напомнить молодому автору об опасности злоупотребления версификаторской риторикой в духе Бенедиктова.

Вошедшие в сборник четыре стихотворения «неантологического рода», в которых Белинский увидел свидетельство «духовной движимости поэта» (VI, 29), заслуживают нашего внимания.

На первое место среди них критик поставил стихотворение «Ангел и демон», навеянное неопубликованной лермонтовской поэмой «Демон», многочисленные списки которой ходили в то время по рукам. Заметим между прочим, что, ознакомившись с поэмой Лермонтова в рукописи, Белинский уже в 1841 году писал, что она «превосходит все, что можно сказать в ее похвалу» (IV, 544). Поставленное рядом с «Ангелом и демоном» стихотворение «Раздумье», по-видимому, вызвало положительную реакцию критика тем, что оно изображало героя, мечтавшего вырваться из-под «крыла своих домашних лар», жаждавшего «и бури, и тревог, и вольности святой» (VI, 30). В третьем из этих стихотворений («Зачем средь общего волнения и шума...») мучимый сомнениями молодой поэт, в духе героя лермонтовской «Родины», отделял себя от тех, кто «сохранил еще знаменованье обычаев отцов, их темные преданья». «Зародыш новой для него (Майкова. — *Ф. П.*) эпохи творчества» (VI, 29) увидел Белинский, наконец, и в небольшой пьеске «Жизнь без тревог — прекрасный, светлый день...», звавшей читателя туда, где есть «и гром, и молния, и слезы» (VI, 29).

Датированное сентябрем 1841 года майковское стихотворение «На смерть Лермонтова» не вошло в сборник, рецензируемый Белинским, и, следовательно, оставалось ему неизвестным; тем не менее чутким слухом своим он уловил едва ощутимое присутствие в поэтических эскизах Майкова протестующего лермонтовского начала. В неудовлетворенности «сей жизнью без волненья», в жажде «вольности святой», по-видимому, и увидел критик залог грядущих творческих взлетов начинающего поэта.

Забегая вперед, скажем, что поэтом современности, в том смысле, как понимал эту миссию Белинский, Майков не стал. Но значит ли это, что критик дал прогноз, слишком обнадеживающий автора? Нам известно около десяти отзывов на первую книжку стихов поэта, и среди них лишь отзыв Белинского поражал своей парадоксальностью. Никто из рецензентов не воздавал таких непомерно высоких похвал дарованию Майкова и в то же время никто из них не испытывал такой «отеческой» тревоги за его литературную будущность, как Белинский, деликатно напоминавший молодому поэту, что присущую

его дарованию созерцательность можно преодолеть лишь собственными героическими усилиями, решительной волевой акцией.

Уже в 1842 году Белинскому несомненно было известно, что незадолго перед этим закончивший Петербургский университет двадцатилетний поэт был сыном известного академика живописи Н. А. Майкова и что это обстоятельство отразилось на круге интересов и симпатий сына. Он, в частности, тоже занимался живописью, и античная тема потому и заняла столь значительное место в его поэтической деятельности. Общаясь с М. А. Языковым, Белинский тогда уже обладал кое-какими сведениями и о салоне Майковых, творческую атмосферу которого создавали не только художники, но и литераторы. Можно предположить, что не одной только книжкой стихотворений, но и всей суммой названных выше обстоятельств было продиктовано смелое заявление Белинского о том, что Майкова-поэта ожидает славное будущее.

Критические замечания Белинского в статье 1842 года были с удовлетворением приняты А. Н. Майковым, что подтверждается документально, — поэт при переиздании своих стихотворений вносил в них исправления в духе замечаний критика.[1] Возможно, что уважительное отношение к его эстетическим декларациям подсказывалось своеобразным «культом» Белинского в семье Майковых, к возникновению которого непосредственное отношение имел И. А. Гончаров. Горячий поклонник великого критика, Гончаров, будучи в конце 1830-х годов преподавателем литературы в семье Майковых, не мог не внушать своим ученикам Аполлону и Валерьяну восторженного отношения к автору «Литературных мечтаний» и нашумевшей статьи о знаменитой комедии А. С. Грибоедова.

Отзвуки идей великого предшественника «революционеров 61-го года» обнаруживаются в майковской поэме «Две судьбы» (1844), посвященной проблеме «лишнего человека» 40-х годов:

Он дома, видя всё одно, скучал
И увлечен всеобщим был потоком:
Наполнить жизнь и душу он хотел,
Оставивши отеческий предел,
Среди иных людей, в краю далеком.

Мотивировка странствий Владимира чрезвычайно близка той, которая была задана «Кавказским пленником» Пушкина («Отступник

---

[1] См.: Л. Ланский, Библиотека Белинского. — «Литературное наследство», т. 55, М., 1948, с. 474—476.

света, друг природы, Покинул он родной предел» и т. д.). Несмотря, однако, на ученическую зависимость Майкова от поэтов романтического толка, поэма «Две судьбы» во многих отношениях оригинальное произведение, характеризующееся если не художественной зрелостью, то, во всяком случае, смелостью положенной в его основу общественно-политической мысли:

Владимир часто думал: «Боже мой!
Ужели плод наук и просвещенья
Купить должны мы этой пустотой,
Ничтожностью, развратом униженья?
О русские, ведь был же вам разгул
Среди степей, вдоль Волги и Урала,
Где воля дух ваш в брани укрепляла;
Ведь доблестью горел ваш гордый взор,
Когда вы шли на Ярославов двор
И вдохновленные отчизной речи
Решали спор на Новгородском вече...»

Как видно из приведенного отрывка, герою Майкова свойственна «декабристская» интерпретация русской истории. Не останавливаясь на рубеже 1825 года, автор делает Владимира свидетелем и участником наиновейших событий, в том числе и своеобразного состязания западника («Всё русское ругает наповал; Всё чуждое превыше всех похвал») со славянофилами («Те чужды всем идеям басурманским, Им храм Петра ничто перед Казанским И лучше винограда огурцы»).

Типичный «лишний человек», Владимир в конце концов сгибается под ударами судьбы, опускается нравственно и становится байбаком и «коптителем неба», помещиком-крепостником. Важно отметить, что автор дискредитирует своего героя оружием сатиры, идейный пафос и изобразительные средства которой формировались под прямым воздействием статей Белинского.

Если поэма «Две судьбы» в стилистическом отношении не отличалась целостностью, то вторая поэма Майкова, «Машенька», которую было бы правильнее назвать стихотворной повестью, по всем признакам отвечала требованиям «натуральной школы», и поэтому появление этого произведения в некрасовском «Петербургском сборнике» (1846) — факт вполне закономерный. Симптоматично и то, что окруженная авторским сочувствием героиня этой поэмы-повести взята из мелкочиновничьей среды, в то время как ее похититель и обольститель Клавдий — это облеченный в мундир представитель па-

разитирующего и морально деградирующего дворянства. И хотя столкновение сословных интересов в повести не декларируется прямо, оно подсказывается и подтверждается всей системой ее образов. Сравнительно со стихами первой книжки поэма характеризуется углублением психологизма, попыткой дополнить новыми средствами обычные способы изображения сложных душевных переживаний, прибегая, в частности, к «языку жестов»:

Недвижная, поникши головою,
Она, казалось, силилась понять,
Что было с ней... Хваталася руками
За голову, как будто удержать
Стараясь разум; мутными глазами
Искала всё кого-то... Давит грудь
Стесненное, тяжелое дыханье...
О, хоть бы слезы... Но — увы! — в страданьи
И слезы даже могут обмануть...
Потом как бы вернулась сила снова,
И вырвались из уст и стон и слово:
«Он обманул!.. Я всем теперь чужда...»

Поэме «Машенька» свойственны раскованность повествования, соединение элементов возвышенного и низменного, трагического и комического, эпоса и лирики, типичные для реалистического метода. Об этом же свидетельствует и стремление автора расширить круг наблюдаемой действительности, изобразить многоголосую уличную толпу. Наиболее показательна в этом отношении седьмая глава, где еще не оправившегося от сердечного приступа Василия Тихоновича (отца героини) увозит в праздничный день на острова его старинный приятель по службе:

«Как пыльно! Уф! Дышать почти нет сил!
Да слезем тут, пройдемте до гулянья,
Смотрите-ка, народу что́ идет,
Чай, всякие — держитесь за карманы,
Кто их теперь в толпе-то разберет...
Глядите-ка, пристал какой-то пьяный
К купчихе, знать: повязана платком.
Здоровая, ей-ей, кровь с молоком!
Чай, ест за трех! Ишь жирная какая!
Эге, ругнула! Вот люблю, лихая!
...Послушаем шарманки. Ишь какой

Тальянец — мальчик, а уж черномазый.
Чай, сколько он проходит день-деньской!
Как вертится! Ах, дьявол пучеглазый!
...Подвинемтесь туда,
К каретам. Ты, седая борода,
Слышь, не толкай! Посторонись, аршинник!
Не видишь, что чиновники... Скорей,
Василий Тихоныч, не пропустите,
Директорша. Да шляпу-то снимите.
Проехала. Директор не при ней.
А вон коляска... Да кто в ней, глядите —
Не знаете? Ведь стыдно и сказать...
Вся в кружевах теперь и блондах... Танька,
Та, что жила у Прохорова нянькой!
И шляпка вниз торчит... Тож лезет в знать!
Чуфарится! Туда ж с осанкой барской!..»

Это изображение празднично настроенной толпы, способное вызвать улыбку читателя, необходимо автору не только для полноты картины городской жизни, но и для контраста, поскольку оно непосредственно переходит в зарисовку иной тональности — драматической встречи обезумевшего отца с падшей дочерью.

Отправившись осенью 1842 года в Италию, Майков прожил за границей около двух лет. Итогом итальянских впечатлений явился новый сборник стихов «Очерки Рима» (1847), замысел которого возник у поэта не без воздействия повести Н. В. Гоголя «Рим», опубликованной в журнале «Москвитянин» в 1842 году. В гоголевской повести Белинский увидел встревожившие его своим «славянофильством» «косые взгляды на Париж и близорукие взгляды на Рим» (VI, 427, ср. 661). Как и в повести Гоголя, в новом сборнике Майкова еще не вовлеченный в круговорот капиталистической цивилизации Рим противопоставлялся кипящему социально-политической борьбой и конфликтами Парижу («Северу»):

Сидя в тени виноградника, жадно порою читаю
Вести с далекого Севера — поприща жизни разумной...
Шумно за Альпами движутся в страшной борьбе поколенья...
...Здесь же всё тихо: до сени спокойно-великого Рима
Громы борьбы их лишь эхом глухим из-за Альп долетают...

(«Газета»)

Правда, в отличие от героя повести «Рим», разочаровавшегося в культуре, созданной французами — этой «заживо умирающей на-

цией», — лирический герой Майкова, прислушиваясь к политическим бурям во Франции, полон желания стать их участником:

Так бы хотелось туда! Тоже смело бы, кажется, бросил
Огненный стих с сокрушительным словом!..

Но благородный порыв этот был поразительно кратковременным. Корысть «жалких Ахиллов» и «мелких Улиссов» французской оппозиции отвращает героя Майкова от участия в «торжественной драме» общественной борьбы и толкает его на путь увлечений и наслаждений, чуждых какой бы то ни было духовности.

Мир умонастроений поэта и его героя не сводится, однако, к узко понятой философии эпикуреизма. Так, в стихотворении «Palazzo» автор вводит нас в чертоги старинного итальянского феодального рода, покинутые молодыми владельцами, променявшими спокойную привилегированную жизнь на скитальческую судьбу поборников итальянской свободы:

Благословенье вам! Не злато, не гербы
Вам стали божеством, а разум и природа,
И громко отреклись вы от даров судьбы —
От прав, украденных отцами у народа,
И вняли вы призыв торжественной борьбы,
И движет вами клик: «Италии свобода!»
И гордо шелестит, за честь страны родной,
Болонская хоругвь над вашей головой!

В этих стихах Майков выступал не только сторонником права Италии на государственную независимость перед лицом несправедливых притязаний австро-венгерской монархии, но и противником угнетения итальянских народных масс отечественными поработителями — аристократией. И не случайно поэтому строка «От прав, украденных отцами у народа» в издании «Очерков Рима» 1846 года была вычеркнута царской цензурой.

Каким бы искренним ни было, однако, сочувствие поэта поборникам итальянской свободы, он был далек от того, чтобы сделать это сочувствие сюжетной осью сборника.

Герою стихотворения «Анахорет» (1846), так же как, по-видимому, и самому автору, рисовалась утопическая картина «золотого века», в котором

Бедный сверг оковы;
    Сильны и прекрасны
Разумом и волей
    Племена земные...

Лжи не воздвигают
Пышные кумирни,
Ловкого злодея
Не честят, как бога...

Однако активно сражаться за осуществление этой мечты у анахорета не хватило решимости. Он пробыл двадцать лет в пустыне и убедился, что мир за время его отшельничества ни на йоту не изменился к лучшему. У анахорета нет никаких планов переустройства жизни, может быть, еще и потому, что его социальный идеал обращен в прошлое, реставрировать которое он бессилен. Так же, как и молодой князь из гоголевской повести «Рим», лирический герой Майкова симпатизирует в конечном счете «классическому Риму», природа и люди которого напоминают ему «картины Из ярких стихов антологии древней Эллады». Добрую половину стихотворений второй книжки Майкова можно назвать скорбными размышлениями над руинами Древнего Рима («Игры», «Древний Рим», «После посещения Ватиканского музея», «Campagna di Roma», «Нимфа Эгерия», «Тиволи» и др.). В тех случаях, где Майков пытается запечатлеть черты современности, образам его не хватает подвижности и выразительности. Девушки из Альбано (предместье Рима), наполняющие водой кувшины у фонтана («Ах, чудное небо, ей-богу, над этим классическим Римом!..»), — это набросок поэта-живописца, воспринимающего современную итальянскую жизнь сквозь призму произведений искусства. При этом автор не только не скрывает, но и подчеркивает эту *вторичность* восприятия, вводя в эскиз, кроме девушек-альбанок, художника-германца, изображающего их на картине, и, наконец, самого себя, замыслившего написать стихотворение с такого рода трехчастной композицией: девушки-альбанки, германец-художник и русский поэт, их изображающий.

Занятия живописью оставили заметный след в творчестве Майкова-поэта: это проявилось в повышенном внимании к точности изображения предметного мира и в колористической выразительности рисунка. Вместе с тем увлеченность эта повлекла за собой и некоторые издержки: «линеарная» красота нередко заслоняла у него интерес к красоте внутренней, пути к которой проходят через познание сущности явлений.

Поэтическое творчество Майкова 1843—1846 годов характеризовалось заметным преодолением антологической заданности. В духе «натуральной школы» поэт создает в «Очерках Рима» небольшую галерею портретов различных обитателей древнего города, в

каждом из которых просвечивает та или иная черта итальянского национального характера («Нищий», «Капуцин», «Lorenzo» и др.). Тематика этих набросков не оригинальна. Мы не увидим здесь образов итальянских крестьян или тружеников города, хотя к ним и весьма близок портрет обладающего чувством личного достоинства и бесстрашного чичероне Пеппо («В остерии»). Вместе с тем даже в традиционно-экзотических типах римских лаццарони, в портретах «эмансипированных», игривых и лукавых итальянок мы замечаем известное тяготение поэта к изображению народной жизни.

«Очерки Рима» не стали выдающимся событием в истории русской поэзии. В развитии же самого поэта они явились значительной вехой, обогатив его изобразительные средства и подсказав ему новые возможности для раскрытия собственного дарования.

«Жизнь Майкова, — писал в конце прошлого века Д. Мережковский, — светлая и тихая жизнь артиста, как будто не наших времен. ...Судьба сделала жизненный путь Майкова ровным и светлым. Ни борьбы, ни страстей, ни врагов, ни гонений».[1] Эта ультрасуммарная характеристика весьма далека от истины. В действительности жизненный путь поэта не походил на укатанную дорогу, и отнюдь не благосклонной была к нему судьба. В одном из стихотворений, созданных в 1845 году и не вошедших в «Очерки Рима» (хотя оно и было присоединено к этому циклу много лет спустя), поэт писал:

Во мне сражаются, меня гнетут жестоко
Порывы юности и опыта уроки.
Меня влекут мечты, во мне бунтует кровь,
И знаю я, что всё — и пылкая любовь,
И пышные мечты пройдут и охладятся
Иль к бездне приведут... Но с ними жаль расстаться!

Мечты Аполлона Майкова в период, к которому относится цитируемое стихотворение, имели непосредственное отношение к социал-утопическим проектам передовой молодежи. Именно в это время и приобщается А. Майков к движению петрашевцев, в которое еще в большей мере, чем он, был вовлечен его младший брат Валериан. Впоследствии, летом 1854 года, в письме к М. А. Языкову Майков напишет следующее: «При этой сбивчивости общих идей, все-таки

---

[1] Д. Мережковский, Вечные спутники. Достоевский. Гончаров. Майков, изд. 3, СПб., 1908, с. 66.

вращался я в кружке, где было систематическое преследование всех действий правительства и безусловное толкование их в дурную сторону, и многие радовались — пусть путают, тем скорее лопнет». [1]

В письме же к П. А. Висковатову, написанному в 1880-х годах, А. Майков рассказал не только о своем участии в собраниях петрашевцев, но и о том, что Ф. М. Достоевский в 1848 году доверительно поделился с ним сведениями об организации петрашевцами тайной типографии и т. д. [2]

В связи с раскрытием в мае 1847 года тайного Кирилло-Мефодиевского общества царское правительство повело усиленную атаку как на действительные, так и на мнимые очаги вольномыслия. Задавшись целью парализовать политическую активность молодежи, оно реорганизует систему жандармского надзора в университетах, призывает к повышенной бдительности цензуру и т. п. В начале 1849 года царской агентурой были обнаружены признаки деятельности кружка петрашевцев. Арестами членов кружка и устроенной над его «зачинщиками» *22 декабря* 1849 года инсценировкой смертной казни царизм продемонстрировал свою беспощадную решимость к борьбе с «инакомыслящими». Вызванную «делом Петрашевского» общественную атмосферу охарактеризовал впоследствии Н. А. Некрасов в стихотворении «Недавнее время»:

Молодежь оно сильно пугнуло;
Поседели иные с тех пор,
И декабрьским террором пахнуло
На людей, переживших террор.

Одним из «поседевших» с той поры был и А. Н. Майков. Он долго находился под страхом надвигающегося ареста, его вызывали на допрос в Петропавловскую крепость, и избежать заключения под стражу ему удалось лишь потому, что степень его близости к «центру» петрашевцев осталась для следствия не до конца раскрытой.

Впрочем, преувеличивать стойкость «социалистических» убеждений Майкова нет оснований. Со временем в увлечениях своей молодости он увидит даже слепое следование идеям французской революции 1848 года — «много вздору, много эгоизма и мало любви»,

---

[1] И. Г. Ямпольский, Из архива А. Н. Майкова. — «Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1974 год», Л., 1976, с. 37.

[2] «Петрашевцы в воспоминаниях современников. Сборник материалов Составил П. Е. Щеголев», М.—Л., 1926, с. 20—26.

утопизм, не соответствующий «идеалу человеческого нравственного совершенства».

Став на позиции примирения с существующей действительностью и с «прочим образованным обществом», Майков постепенно отмежевывается идейно от западнически настроенных сотрудников журнала «Современник». Западнический «блок», на плечах которого лежала основная тяжесть издания этого журнала, был, как известно, образованием весьма непрочным. Во второй половине 1850-х годов либеральная часть этого «блока» (А. В. Дружинин, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой и др.) вступит в конфликт с радикальной его частью (Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов, Н. А. Некрасов), что и приведет его в 1860 году к распаду. Расходясь во взглядах и с либералами и тем более с радикалами «Современника», Майков в начале 1850-х годов отдает свои симпатии «молодой редакции» славянофильского журнала «Москвитянин». Не останавливаясь на полпути, в эволюции своих общественно-политических взглядов Майков достигает крайних пределов — откровенно монархических убеждений, до которых, кстати сказать, не доходил друживший с поэтом духовный глава «молодой редакции» Аполлон Александрович Григорьев.

Годы 1848—1852 были периодом крушения и ломки социал-утопических воззрений автора, чем и следует, по-видимому, объяснить относительно слабую в это время его творческую активность. Только начавшаяся в 1853 году Крымская война пробудила Майкова к интенсивной поэтической деятельности, итоги которой были объединены в сборничке «1854-й год. Стихотворения». В нем автор прямо осуждал свое недавнее недоверие к утилитарному искусству.

В стихотворении «Клермонтский собор» (1853) Майков выступает в роли публициста, развивающего мысль об исторической заслуге России, преградившей полчищам Батыя путь на Запад и предотвратившей тем самым возможную гибель европейской цивилизации:

Уж недра Азии бездонной,
Как разгоравшийся волкан,
К нам слали чад своих мильоны:
Дул с степи жаркий ураган,
Металась степь, как океан, —
Восток чреват был Чингисханом!
И Русь одна тогда была
Сторожевым Европы станом,
И уж за веру кровь лила...

Об исторической миссии России примерно в таких же словах говорил в письме своем к П. Я. Чаадаеву (19 октября 1836) Пушкин

(«Это Россия, ее необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары... отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена»). Однако письмо Пушкина к моменту написания «Клермонтского собора» еще не было напечатано, и, следовательно, автор последнего в данном случае от Пушкина не зависел.

Стихи Майкова, посвященные Севастопольской обороне, приветствовала не только официозная, но и демократическая печать. С положительными откликами на них неоднократно выступали Некрасов и Чернышевский, хотя они и не смешивали стихийный патриотизм народных масс с лжепатриотизмом официальных кругов. Исходя из правильной предпосылки, что отпор нападению союзнических войск может дать только *сильная* Россия, Майков ошибочно полагал, что отразить удар врагов в состоянии лишь Россия самодержавная. Нотки казенного патриотизма особенно настойчиво звучали в стихотворениях «Памяти Державина» и «Послание в лагерь».

Размышления демократов о войне чем дальше, тем настойчивее связывались с сознанием необходимости радикальных социальных реформ. Подобного рода тенденций не найдем мы у Майкова, — даже в стихах, адресованных читателю из народной среды и написанных в форме народного сказа («О том, как отставной солдат Перфильев пошел во вторичную службу» и «Пастух»). Автор преисполнен в них надежд на благоденствие народа под скипетром монарха:

И постой, годок ли, два ли,
Как в порядок всё войдет,
Жизнь без горя и печали
То есть вот как потечет!

(«О том, как отставной солдат Перфильев...»)

Из стихотворений «севастопольского» цикла искренностью интонаций и попыткой взглянуть на войну глазами тех, на чьи плечи пала ее основная тяжесть, отличается лишь стихотворение «Генерал-лейтенанту Хрулеву», написанное несколько позднее, в 1856 году:

Их много разбрелось — безруких и безногих,
И люди русские, в палате и в избе,
Рассказы слушают воителей убогих.
Во всех рассказах их есть повесть о тебе.
...Хрулев! Ты победил любовию солдатской —
Наградой верною достоинствам вождя.
Она нам говорит, что сам любовью братской

Ты меньших возлюбил, их к чести приведя.
В том тайна русских сил, доступная немногим, —
На подвиг доблести, и в мире, и в войне,
Не нужно русских звать команды словом строгим,
Но встанут все на клик: «Голубчики, ко мне!»

Стихотворение «Арлекин», замыкавшее сборник 1854 года, наилучшим образом раскрывало глубину идейного кризиса Майкова. Фигурка висящего на стене бумажного арлекина, шута и балагура, вдруг оживает и приобретает зловещие черты. Это он, как оказывается, стал в Европе XVIII века носителем разрушительных по отношению к старому порядку идей. На первых порах, когда порода «арлекинов» была еще малочисленной, их смех был небесполезен. Однако не знающий разумных пределов критицизм «арлекинов» с течением времени стал пробуждать темные инстинкты черни и опрокинул складывавшиеся веками представления о чести, совести и справедливости:

Добро упало вместе с злом!
Все наши пышные идеи
Толпа буквально поняла
И уж кровавые трофеи,
Вопя, по улицам влекла...

Господство денежного мешка и система государственных коррупций, лицемерно прикрываемые парламентским красноречием, разъедают тело Европы. Поставить преграду разрушительной деятельности «арлекинов» может, по мысли Майкова, лишь Россия, избавленная от язв буржуазного правопорядка. Только в мире «пахарей печальных», в среде «отцов патриархальных» можно обрести источники нравственного обновления общества.

Отрицая принципы западноевропейской цивилизации огульно, не отделяя ее «добро» от ее «зла», Майков становился на реакционную позицию, на что и не преминула указать современная ему прогрессивная критика. Обороняясь от ее нападок, поэт заявлял, что он осуждал в «Арлекине» не сами «начала» западноевропейской общественной жизни, а лишь «спекуляторов на эти начала» (см. примечания к настоящему тому, с. 859).

В идейно родственной «Арлекину» «Коляске», написанной 5 марта 1854 года, адресатом верноподданнических признаний Майкова становится особа здравствующего императора. При жизни автора стихотворение не появилось в печати, тем не менее вскоре после написания оно в рукописном виде получило довольно широкое распространение. Вид проезжающего в откинутой коляске царя приводил

поэта в восторженное состояние духа. Называя Николая I «державным повелителем», «первым тружеником народа своего» и вместе с тем жертвой «клеветы и злоязычия» иностранцев, Майков выражал надежду на то, что незаурядную личность царя сумеет разгадать лишь потомство и что это произойдет лишь тогда,

Когда история пред миром изумленным
Плод слезных дум твоих о Руси обнажит
И, сдернув с истины завесу лжи печальной,
В ряду земных царей твой образ колоссальный
На поклоненне народам водрузит.

О реакции на поведение Майкова литераторов, тесно связанных с редакцией «Современника», можно судить по написанному Некрасовым, Тургеневым и Дружининым «Посланию к Лонгинову», в котором имеются следующие строки:

И Майков Аполлон, поэт с гнилой улыбкой,
Вконец оподлился, конечно, не ошибкой...

«Коляска» вызвала бурную отрицательную реакцию даже среди сторонников монархического строя: многими она воспринималась как сочинение, продиктованное корыстными расчетами, как выражение ничем не оправданной лести и низкопоклонства. Подозрения последнего рода особенно сильно уязвляли самолюбие автора. Именно поэтому в цитированном выше письме к М. А. Языкову, называя «Коляску» «смелым и резким стихом», поэт настойчиво отводил от себя обвинения в беспринципности и пресмыкательстве перед особой самодержца.

Как ни старался, однако, Майков убедить своих друзей в том, что «Коляска» написана «языком сердца», она на долгое время стала предметом его мучительных раздумий и переживаний. И приблизительно через год после ее написания, вскоре после смерти Николая I, в беседе с Я. П. Полонским он сделал следующее самокритическое признание: «Я был просто дурак, когда видел что-то великое в Николае. Это была моя глупость, но не подлость».[1]

В атмосфере наступившей после николаевского царствования «оттепели» Майков частично освобождается от своей политической слепоты и пытается критически взглянуть на окружающую действительность. Симптоматично в этом отношении его стихотворение «Окон-

---

[1] И. Г. Ямпольский, Из архива А. Н. Майкова, с. 42.

чена война. Подписан подлый мир...» (1856), не предназначавшееся для печати и обращенное к вдохновителям внешней политики царизма:

Чего еще вам ждать — написано красно!
Не в первый раз бумажным крючкотворством
Пришлося вам прикрыть отечества пятно,
Подьячие в звездах, с умом и сердцем черствым.

Критическими элементами пронизано и стихотворение «Вихрь» (1856), написанное в духе Дантова «Ада». По воле автора преисподняя оказалась заполненной «блудным и ветреным племенем», паразитирующим на теле государства. Там и привыкшие к роскоши франты, и погрязшие в разврате львицы высшего света, и бездушные исчадья канцелярий, и высокопоставленные бюрократы. Объединяющая их всех черта — безразличие к народным нуждам.

Педантов вмиг узнал я в сей ватаге:
Их жалкий круг когда-то охранял
Наук святыню и, в слепой отваге,
Дорогу к ней народу преграждал...

В эпиграмме «Бездарных несколько семей...» (1855 или 1856), направленной против правительственной бюрократии, гражданский критицизм поэта приобретает еще большую выразительность:

Бездарных несколько семей
Путем богатства и поклонов
Владеет родиной моей.
Стоят превыше всех законов,
Стеной стоят вокруг царя,
Как мопсы жадные и злые,
И простодушно говоря:
«Ведь только мы и есть Россия!»

У нас нет никаких данных о том, чтобы эта также не предназначавшаяся для печати смелая стихотворная инвектива получила известность хотя бы в кругу близких автору лиц. Вместе с тем ненависть к «двигателям» бездушно-бюрократической государственной машины самодержавия нередко врывалась и в подцензурные стихи Майкова, становилась заметным общественно-нравственным мотивом его творчества. Сошлемся для примера на стихотворение «Он и она» (1857), в котором мастерски воспроизведен портрет чиновника-бюрократа.

И вот — идет он в блеске власти,
Весь в холод правды облечен;

В груди молчат людские страсти,
В груди живет один закон.

Его ничто не возмущает;
Как жрец, без внутренних тревог,
Во имя буквы он карает
Там, где помиловал бы бог...

Среди рассчитанных на публикацию произведений поэта были такие, идейный смысл которых встречал сопротивление царской цензуры. Такова поэма «Сны» (1856—1858), таково стихотворение «Поля» (1861) и написанное в жанре послания стихотворение «Другу Илье Ильичу» (1861, 1863). К ним же следует отнести и опубликованное в 1863 году стихотворение «На белой отмели Каспийского поморья...»; оно посвящено пребыванию в мангышлакской ссылке Т. Г. Шевченко. Вид Каспия вдохновляет изнеможенного солдатской муштрой народного поэта на песнопенье, но творческий его порыв заглушается ружейным лязгом и окриками часовых, готовых

...выстрелить по первому стиху
И в крепости поднять военную тревогу.

Изображение государства, превращенного в казарму, где свободе творческой мысли угрожают штык и пуля, спрессовано в этом майковском эскизе до степени символа.

Новые общественные веяния, вызванные революционной ситуацией в России, проникают в содержание майковского «Неаполитанского альбома» (1858—1860). Лишь в отдаленной степени новый цикл напоминал «Очерки Рима». Там преобладали закованные в традиционные размеры размышления о величии античного мира и бессмертии созданного им искусства. В «Неаполитанском альбоме» поэт делает крутой поворот к современности, более того — к народной теме. Изображать народную жизнь на итальянском материале было для Майкова гораздо легче, чем на русском, где он встретил бы немало достойных соперников. К тому же иностранная тема предоставляла поэту возможность преподносить ее русскому читателю без особых оглядок на цензуру, в своеобразной экзотической оправе, широко используя при этом право на художественный эксперимент. В одном из писем 1856—1858 годов к И. С. Никитину Майков писал: «Больше нам надо писать *бликами*, чем контурами».[1] Опытом подобного рода раскованного, *бесконтурного* письма и был «Неаполитанский альбом». Автор отказался в нем от жестких жанровых конструк-

[1] «Русский библиофил», 1916, № 7, с. 80.

ций и тематической строгости, задавшись целью передать подвижность итальянской национальной жизни, противоречивость проявляющихся в ней тенденций.

Эй, синьор, синьор! угодно
Вам в кружок наш, может быть?
Иль свой сан в толпе народной
Вы боитесь уронить?
Ну, так мимо!.. шибче, скрипки!
Юность мчится! с ней цветы,
Беззаботные улыбки,
Беззаветные мечты!

(«Тарантелла»)

Наряду с народным танцем, *тарантеллой*, в «Неаполитанский альбом» проникает народная итальянская песня. Беззаботное веселье и смех образуют ведущую стихию неаполитанской народной жизни:

Смех нам хартия! Захочет
Деспот сжать нас — смех уж тут:
Знак, два слова — и хохочет
Весь Неаполь, всякий люд!

(«Два карлина»)

Но народ не может довольствоваться одним смехом. Простодушная народная толпа доверчиво внимает ханжеским призывам монаха проповедника и тут же, по выходе из храма, охотно отдает себя во власть сугубо плотских увлечений. В этой смене настроений толпы есть что-то родственное смене природных стихий, увековеченной поэтом в картине, изображающей Неаполитанский залив после грозы:

И — след утихнувшего гнева —
Бурун вскипает здесь и там,
И слышен гул глухого рева
Вдоль по отвесным берегам...

(«Какое утро! Стихли громы...»)

Картина природных стихий неожиданно оттесняется образом эмансипированной и экзальтированной мисс Мери, он в свою очередь сменяется видом группы праздных иностранцев, бросающих червонцы в морскую пучину.

За червонцем в ту ж минуту
Мальчик — прыг! исчез в водах —

И уж вынырнет наверно
С золотым кружком в зубах...

(«Князь NN и граф фон Дум-ен. . .»)

Вслед за этой проходит ряд картин в чисто национальном стиле:

Пульчинель вскочил на бочку,
И толпа уж собралась;
Жест лишь сделал — и вся площадь
Ярким смехом залилась...

Наряду с зарисовками разнообразных примет неаполитанской жизни, не претендующих на значительность, в альбоме изображены также и события подлинно исторические, например гарибальдийское движение.

Гражданскую инертность народной массы («Всё равно, кто правит нами!», «Были б праздники народу!» и т. д.) побеждает в конце концов сознание общности национальных интересов. В страстном томлении ждут неаполитанцы общественного «грома»:

Чу! уж за морем он грянул!
И Сицилия горит!
Знамя светлое свободы
Уж над островом стоит!

Миг еще — конец тревоги,
Ожиданья и тоски,
И народ вкруг Гарибальди
Кинет в воздух колпаки!

(«Душно! Иль опять сирокко? . .»)

К образу Гарибальди автор возвращается трижды, причем последний раз в стихотворении, которым завершается цикл:

Народный вождь вступает в город...
Всё ближе он... Всё громче крик...
И вот он сам, средь этих криков
От счастья тих... О, чудный миг!

...И загорелый лик героя,
И пестрых волн народных плеск,
И вкруг на всем, с высот лазурных,
Луча полуденного блеск!

Счастливо найденный пейзажный штрих (блеск солнечного луча), венчающий стихотворение, становится своеобразным символом единства природных стихий и народной толпы, нашедшей себя в своем герое.

Современная Майкову критика чрезвычайно сдержанно, а порою и отрицательно отзывалась о «Неаполитанском альбоме». Автора упрекали в неуместно шутливом тоне зарисовок итальянской национальной жизни, в немотивированном появлении отдельных персонажей (князь NN, артист Бурдин и др.), в незавершенности сюжетных линий и т. д.

Далеко не безупречный в художественном отношении, «Неаполитанский альбом» обладал тем не менее существенными достоинствами. Сохраняя тематическую целостность цикла, подчиненного изображению народной неаполитанской жизни, автор отказался в нем не только от шаблонов антологической поэзии, но и от жанрово-стилевой монотонии вообще. Вошедшие в цикл 32 стихотворения в жанровом отношении делятся не менее чем на десять разновидностей. Народная песня соседствует с диалогом, романс с преданием. Баллада о замке любвеобильной королевы Иоанны (стихотворение «Вот — смотрите, о мисс Мери. . .») выступает в обрамлении ироничных стихов. Преобладающий жанр цикла — миниатюра, в которой скорбные интонации переплетаются с шуткой.

Всем ты жалуешься вечно,
Что судьбой гоним с пелен,
Что влюбляешься несчастно,
Дважды чином обойден!

Друг! не ты один страдаешь!
Вон, взгляни: осел стоит
И с горы на весь Неаполь
О бедах своих кричит.

Подобного рода «философических» миниатюр не знала прежняя поэзия Майкова. Не прибегал ранее поэт и к смелым, едва ли не рискованным сравнениям вроде: шутка — *исчезающая в камнях ящерица*, сердце — *морская бездна* и т. д. Не употреблял ранее поэт и четверостиший, где рифмуются лишь два стиха (второй и четвертый).

Свойственное «Неаполитанскому альбому» тяготение к техническому экспериментаторству как будто не захватило дальнейшего творчества Майкова, он, как и ранее, продолжал сохранять верность эстетическим нормам, выработанным русской поэзией в эпоху Пуш-

кина и Лермонтова, Тютчева и Кольцова. Вместе с тем приобретенный в период создания «Неаполитанского альбома» опыт не прошел для поэта даром, он служил отправной точкой и источником последующего совершенствования майковского реализма и психологизма.

Нарастание обличительно-гражданских мотивов в поэзии Майкова второй половины 1850-х годов было обусловлено общим подъемом общественного движения в эту пору в стране. У поэта не было персональной заинтересованности в защите феодально-крепостнических отношений. Дворянин по паспорту, он был по общественному положению своему и образу жизни разночинцем, прошедшим все низовые ступени чиновнической службы, прежде чем дослужиться в 1888 году по комитету иностранной цензуры до ранга тайного советника.

С детских лет Майков выработал в себе привычку к регулярному и упорному труду, постоянно предохранявшему его от любых форм высокомерно-аристократического отношения к «низшим» сословиям, к их складу мышления и мировосприятия. Однако демократизм образа жизни, привычек и нравственно-эстетических симпатий сочетался у Майкова с консерватизмом его общественных взглядов. Вместе с друзьями из кружка петрашевцев он мечтал в молодости о переустройстве существующего строя на республиканских, справедливых началах. Пережив после 1849 года разочарование в идеях утопического социализма, Майков приходит к выводу, что самодержавно-крепостническая форма «еще далеко не кончила своей программы, начертанной Петром»; отдавая предпочтение этой форме, поэт, впрочем, не был вполне уверен в ее универсальной пригодности.

Демократические элементы мировоззрения Майкова в трактовке иностранной темы, например в «Неаполитанском альбоме», проявились весьма рельефно. Там есть народная толпа, есть даже образ народного героя. О создании образа народного героя на русском материале поэт не мог и мечтать, даже если бы этому не препятствовала цензура. Вряд ли нашел бы Майков в себе силы изобразить в годы революционной ситуации 1859—1861 годов крестьянскую толпу. В творчестве поэта 1850—1860-х годов даже отдельные типы, представляющие народную массу, сравнительно редки и выступают порой в виде дополнения к его пейзажным зарисовкам. Пейзаж у поэтов «чистого искусства», как правило, оторван от народной жизни и больших гражданских дум. У Майкова 40-х годов «природоописания» подчинены основному пафосу произведения, в чем убеждает нас поэма «Две судьбы» (1843, 1844):

Да, посреди полуденной природы
Он вспомннал про шум своих дубров,
И русских рек раскатнстые воды,
И мрак н тайну вековых лесов.
Он слышал гул их с самой колыбелн
И помнил, как, свои качая елн,
Вся стоном стонет русская земля;
Тот вопль был свеж в душе его, как стоны
Богатыря в цепях. Средь благовонной
Страны олнв он вспоминал поля
Шнрокие и пруд позеленелый,
Ряд дымных изб, дом барский опустелый,
Где рос он, — дом, исполненный затей
Тогда, псарей, актеров, трубачей,
Всех прнхотей российского боярства,
Умевшего так славно век конать,
Успевшего так дивно сочетать
Европы лоск и варварство татарства.

Приведем (да не посетует на нас за это читатель!) и второй отрывок из той же поэмы — место, повторяющее мысли Белинского о воздействии на характер русской народной песни «степного положения России» и «кровавого самовластительства Грозного» (V, 440—441):

Прислушайтесь... звучат иные звуки...
Унынье и отчаянный разгул.
Разбойник ли там песню затянул
Иль дева плачет в грустный час разлуки?
Нет, то идут с работы косари...
Кто ж песнь сложил им? Как кто? Посмотри
Кругом: леса, саратовские степи,
Нужда, да грусть, да думушка, да цепи.

Подобного рода многозначительных и, если угодно, «некрасовских» пейзажных зарисовок у Майкова после 1849 года мы не найдем, точнее, почти не найдем. Но связующие нити между пейзажем и народной темой у поэта все же останутся надолго. В качестве примера можно указать на стихотворение 1853 года под названием «Пейзаж». На фоне осеннего леса, осинника, «бьющего тревогу», возникает фигура старика, помогающего кляче вывезти тяжелый воз из болотистого места. В стихотворении «И город вот опять!..» (1856) лирический герой уносится мечтою из сияющего бального зала в лоно

сельской тишины, к осыпавшемуся речному скату, и несказанно изумлен неожиданной встречей с «лесной нимфочкой», крестьянской девочкой, раздвигающей стебли тростника и протягивающей ручонки к ягодам земляники. Аналогична структура стихотворений «Весна! Выставляется первая рама!..», «Сенокос», «Ночь на жнитве» и др. Но и в тех пьесах, где видимой связи пейзажа с человеком нельзя обнаружить («Звуки ночи», «Гроза», «Голос в лесу» и др.), он всякий раз воспринимается как часть национального ландшафта, а не как автономно существующий фрагмент природы.

Особо выделяется в этом ряду «Нива», где пейзажная зарисовка («По ниве прохожу я узкою межой...» и т. д.) — всего лишь увертюра к изображению крестьянской жатвы «на всем полей просторе». Жнецы и жницы, весело вяжущие тяжелые снопы, стук проворных цепов на токах, возы, скрипящие под тяжестью собранного хлеба, — картина этого мнимого материального изобилия сопровождалась обращением автора к богу с единственной мольбой: в избытке родине «духовного дать хлеба». Воодушевленное ложной идеей — изобразить материальное благоденствие деревенских тружеников — стихотворение не могло, разумеется, претендовать на широкое обобщение народной жизни. Появившуюся в печати «Ниву» Н. А. Добролюбов назвал «дидактическим» и «плохо сделанным»[1] стихотворением. Если собственно пейзажная и антологическая лирика Майкова и в годы революционной ситуации получала на страницах «Современника», как правило, положительные оценки, то освещение поэтом крестьянского вопроса в духе правительственных предначертаний подвергалось справедливой критике общественности. Негодованием встретили революционные демократы майковскую «Картинку» (1861), прославлявшую «куцую» крестьянскую реформу 1861 года. «Здесь что ни слово, то фальшь», — писал о «Картинке» М. Е. Салтыков-Щедрин.[2]

Более снисходительно было оценено демократической критикой стихотворение Майкова «Поля» (1861), представлявшее собой своеобразное переосмысление гоголевского образа степных просторов России и русской тройки. Погоняемая свистом молодого ямщика тройка «летит в пространстве без конца»:

Но мы неслись, как от волков,
Как из-под тучи грозовой,
Как бы мучителей-бесов
Погоню слыша за собой...

---

[1] Н. А. Добролюбов, Собр. соч. в 9-ти т., т. 4, М.—Л., 1962, с. 355.

[2] М. Е. Салтыков-Щедрин, Собр. соч., т. 5, М., 1966, с. 434.

«Мучители-бесы» — это тревоживший сознание поэта призрак новых, буржуазно-крепостнических форм жизнеустройства, проникавших во все поры русской жизни после реформы 1861 года. Своеобразно воплощает эту тревогу старик — бывший дворовый человек, представитель того многочисленного слоя «крещеной собственности», который после реформы 1861 года остался не у дел, лишился прочного места в системе новых производственных отношений.

«Да, вспомянешь про старину! —
Он заключил. — Был склад да лад!
Э, ну их с волей! Право, ну!
Да что она — один разврат!

Один разврат!» — он повторял...
Отживший мир в его лице,
Казалось, силы напрягал,
Как пламя, вспыхнуть при конце...

В свое время приветствовавший назревавшую отмену крепостного права, автор и теперь вспоминает о нем с отвращением; явно противоцензурный характер имели черновые строки к стихотворению, в которых на фоне бескрайних полей выступала фигура того,

...кто, дни свои губя
В натуге сил, в поту лица,
Трудился здесь не для себя.

И вместе с тем и вид этой бесшабашно летящей вперед русской тройки, и образ этого неустроенного старика-дворового внушали поэту чувство растерянности, вселяли сомнение в жизнетворной силе правительственных «великих реформ», а заодно — и в правомерности его собственных либерально-реформистских надежд и иллюзий.

Не будучи человеком в строгом смысле этого слова религиозным, Майков восхищался проявлением религиозного чувства в народной массе, считая его исконно присущим ей свойством и видя в нем опору и залог ее нравственного здоровья и сил. Подобного рода рационально сконструированная религиозность нашла свое вершинное выражение в следующем стихотворении 1857 года:

Когда, гоним тоской неутолимой,
Войдешь во храм и станешь там в тиши,
Потерянный в толпе необозримой,

Как часть одной страдающей души, —
Невольно в ней твое потонет горе,
И чувствуешь, что дух твой вдруг влился
Таинственно в свое родное море
И заодно с ним рвется в небеса...

Чувством «соборной» религиозности подсказан ряд майковских стихотворений 1850—1860-х годов («Здесь весна, как художник...», 1859; «Дорог мне перед иконой...», 1868; «Чужой для всех...», 1872, и др.). Нельзя, разумеется, утверждать, что элемент религиозности и даже мистицизма Майков вносил в свое творчество механически, отдавая дань литературной моде. В 1892 году поэт скажет:

Катись, катися надо мной,
Всё просвещающее Время!
Завесу тьмы влеки с собой,
Чтó нам скрывает Свет святой
И на душе лежит как бремя, —
Чтобы мой дух, в земных путях
Свершив свое предназначенье,
Мог воспринять в иных мирах
И высшей Тайны откровенье.

Однако как это, так и другие абсолютно чуждые духу «эллинского язычества» стихотворения («Оставь! Оставь!..», «Заката тихое сиянье...», «Близится Вечная ночь...» и др.) начинают появляться у Майкова лишь с конца 1880-х годов.

Вера в то, что религиозное смирение составляет главную особенность духовного склада простого русского человека, отразилась на понимании Майковым проблемы народности русской литературы. В отличие даже от близко стоявшего к нему А. А. Фета, избегавшего изображения народной жизни, автор «Машеньки» и «Неаполитанского альбома», как об этом уже отчасти говорилось выше, испытывал потребность в художническом общении с народной толпой, предпринимал попытки заглянуть в душу народа, — и не только в начальный период своей литературной деятельности. В разработке народной темы Майков в меру своего разумения и сил пробовал идти путями, проложенными Пушкиным и Лермонтовым, Крыловым и Кольцовым. Осваивая формы народности, выработанные литературой первой половины XIX века, Майков в то же время с недоверием отнесся к той интерпретации проблемы народности, с которой в конце 50-х годов выступили лидеры революционной демократии во

главе с Н. А. Добролюбовым и Н. Г. Черышевским. В статьях Добролюбова 1858—1860 годов («О степени участия народности в развитии русской литературы», «Черты для характеристики русского простонародья» и др.) новая концепция, несмотря на суровые цензурные условия, была обоснована с исчерпывающей глубиной. Литература не может ограничиться выражением сочувствия народным бедствиям, она должна активно выступить на защиту интересов народа и готовить его к самым действенным формам борьбы с помещиками-крепостниками и самодержавием. Добролюбов с уверенностью заявлял, что «народ способен ко всевозможным возвышенным чувствам и поступкам наравне с людьми всякого другого сословия, если еще не больше, и что следует строго различать в нем последствия внешнего гнета от его внутренних и естественных стремлений, которые совсем не заглохли, как многие думают. ⟨...⟩ С таким доверием к силам народа и с надеждою на его добрые расположения можно действовать на него прямо и непосредственно, чтобы вызвать на живое дело крепкие, свежие силы и предохранить их от того искажения, какому они так часто подвергаются при настоящем порядке вещей».[1]

Как в предреформенный, так и в пореформенный период революционно-демократическая критика звала литературу к пробуждению вольнолюбивых инстинктов мужика. Не отличавшийся твердостью общественно-политических убеждений и заметно уставший к тому же от житейских невзгод, Майков не мог, разумеется, возвыситься до уровня тех требований, которые выдвигала перед ним новая эпоха. В его произведениях, написанных после 1849 года, мы не найдем ни мужика, восстающего против помещичьего или правительственного произвола, ни политически мыслящего интеллигента, ставшего на защиту народных прав и интересов. Ознакомившись в 1853 году с некрасовской «Музой», Майков написал стихотворение «Н. А. Некрасову», в котором призывал последнего растворить гражданскую злобу в гармонии природы и отказаться от клятвы «начать упорный бой... с неправдою людской»:

Склони усталый взор к природе.
Смотри, как чудно здесь в глуши:
Идет обрывом лес зеленый,
Уже румянит осень клены...

[1] Н. А. Добролюбов, Собр. соч. в 9-ти т., т. 6, М.—Л., 1963, с. 278.

Важно отметить при этом, что воинствующую некрасовскую музу Майков отрицал не без сомнений и колебаний; недаром же 20 октября 1854 года он сообщал И. С. Никитину: «Одна только душа здесь есть поэтическая — это Некрасов».[1] Не менее любопытна также запись в дневнике Майкова от 26 декабря 1855 года: «Был у Некрасова. Он читал *Сашу. Лучшая часть ее первая.* Жизнь молодой девушки в деревне и лес. Просто и верно природа, совсем хорошо. (...) вся вторая половина кажется слабее. Вообще же это лучшая его вещь и всей современной поэзии».[2]

Различие в общественных взглядах, симпатиях и антипатиях двух поэтов не могло не приводить к различного рода осложнениям в их взаимоотношениях. Так, в 1856 году Майковым была написана эпиграмма «На выздоровление Некрасова», повторявшая обывательскую сплетню об «эксплуататорских замашках» редактора «Современника»:

Но радуйтесь, друзья! Опасный час минул.
Смирите скорбную души своей тревогу.
Сегодня уж меня обидел и надул...
Стал выздоравливать, должно быть, слава богу![3]

Как упомянутая эпиграмма, так и другие антинекрасовские вспышки Майкова последовательностью все же не отличались, и автор никогда не делал их достоянием гласности, подобно А. А. Фету, опубликовавшему в 1867 году стихотворение «Псевдопоэту», дышащее откровенно сословной злобой к поэту-гражданину («Влача по прихоти народа В грязи низкопоклонный стих, Ты слова гордого *свобода* Ни разу сердцем не постиг»).

Общение Майкова с Некрасовым продолжалось и после упомянутой эпиграммы. Майков был исключительно высокого мнения о таланте Некрасова, хотя и не принимал политическую направленность его творчества.

В 1861 году Майковым было опубликовано стихотворение «Бабушка и внучек». Случайно увиденный внуком в святцах у бабушки засохший цветок послужил поводом для ее взволнованного рассказа. Ради спасения этого цветка, ставшего бесценной реликвией, ее покойный супруг, рискуя жизнью, бросился когда-то в клокочущие речные волны. Он был богатым барином, человеком крутого нрава и

---

[1] «Русский библиофил», 1916, № 7, с. 74.
[2] Б. В. Мельгунов. К творческой истории поэмы Некрасова «Саша». — «Русская литература», 1977, № 3, с. 101.
[3] Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, архив А. Н. Майкова.

не без причуд, но отчаянной смелости и высоких понятий о дворянской чести. В ином свете, в виде помещика-тирана, рисуется образ деда «передовому» внуку. Свои симпатии автор отдает героине, а вместе с нею и поколению «отцов», осуждая при этом заносчивых «детей», подверженных воздействию идей «нигилизма».

Не исключена возможность, что майковские «Бабушка и внучек» послужили для Некрасова своеобразным трамплином при создании поэмы «Дедушка» (1870). Оглядываясь в поисках положительного героя на поколение 1820-х годов, великий поэт-демократ остановил свой взгляд не на блюстителе кодекса дворянской чести, а на аристократе-декабристе, нашедшем полное взаимопонимание с поколением мыслящей молодежи 1870-х годов. Если для Некрасова высший тип положительного героя, выдвинутого «культурным слоем», рисовался в образе «нигилиста» Гриши Добросклонова, то Майков видел в «нигилистах» лишь сонмище сбившейся с правильного пути молодежи. «Незаконная» дочь княжны Женя в его поэме «Княжна» (1876) является одной из таких примкнувших к кружку радикалов-заговорщиков барышень, поступки которых являются сплошным вызовом каким бы то ни было нормам религиозной, общественной и семейной морали.

«Наш век, — слова чеканила она, —
Век личности. И разум и свобода —
Его девиз. Былая жизнь должна
Окончиться для всякого народа;
И будет жизнь людей везде одна,
Без государств и без различья рода
И племени».

Путь к лучшему будущему члены кружка видят в насильственном низвержении существующего правопорядка — в «топорах», в кровавой борьбе, и автор осуждает эти «фанатические» планы. Правда, Майков был далек от мысли видеть в «нигилистах» физических и нравственных уродов, как это было свойственно, например, авторам антинигилистических романов В. В. Крестовскому и В. П. Клюшникову. «Нигилисты» для него — невольные жертвы того общественного вихря, который по окончании Крымской войны был поначалу очистительным, но в дальнейшем движении рушил на своем пути все, в том числе и превозносимые писателем устои патриархальной нравственности:

В то время все, севастопóльским громом
От гордой дремоты пробуждены,

Мы кинулись ломать киркой и ломом
Всё старое, за все его вины;
Вдруг очутились в мире незнакомом,
Где снились всем блистательные сны:
Свобода, правда, честность, просвещенье
И даже — злых сердец перерожденье...

Дочь княжны Женя — невольная виновница смерти матери. Но в глубине ее натуры есть все необходимое для искупления непреднамеренно совершенного проступка. Как бы ни была велика пропасть во взглядах между дочерью и матерью, они разительно схожи в одном: каждая из них плоть от плоти той русской дворянской элиты, тяжкий грех которой состоял в отрыве от народных начал, в низкопоклонстве перед Западом, в утрате собственной нравственной физиономии. Образ старушки няни, этой, по замыслу автора, носительницы глубинных народных и религиозных инстинктов, призывающей непокорную дочь преклониться перед прахом гордой матери, воплощает в себе идею поэмы.

Счастлив, тысячекрат счастлив народ,
В чьем духе есть те ж глубины святые,
Невозмутимые и в дни невзгод,
Где всякие страдания земные
Врачуются, где разум обретет
И нищий духом на дела благие,
Затем что там от искони веков
Царит всецело чистый дух Христов.

Там, где Майков прикасался, как в «Княжне», к злободневным темам общественно-политической жизни, его народолюбие приобретало не только усеченные, но и явно искаженные формы. Родственная позднему славянофильству и почвенничеству концепция «единения сословий», которую разделял поэт, мешала ему обратиться к непосредственному освещению «крестьянского вопроса», нисколько не утратившего своей остроты для литературы пореформенного периода. Однако в тех случаях, когда поэт уходил в сферу истории или жизни, не связанной с современными политическими проблемами России, его народолюбие находило менее скованные формы выражения. В духе лучших традиций русской демократической литературы написал он около 1870 года стихотворение «Петрусь», представляющее собою вольный перевод белорусской народной песни. Вельможная пани полюбила Петруся, мужицкого сына. Противозаконная тайная любовь

открывается, и вся тяжесть расплаты за нее падает не на привилегированную пани, а на бесправного юношу. Выполняя приказание пана, холопы избивают Петруся до полусмерти и бросают его в Дунай.

Вельможная пани
В сени выходила,
Пани рыболовам
По рублю дарила...
. . . .
Вельможная пани
Бродит как шальная;
О своем Петрусе
Плачет мать родная.

Редкий для Майкова протест против социальной несправедливости выступает в этом стихотворении в его предельной напряженности. Мотивы национально-освободительной, а вместе с тем и социальной борьбы явственно проступают в выполненных поэтом в 1858—1860 годах переводах из новогреческой народной поэзии. Гораздо смелее, чем это сделал за сорок лет перед ним Н. И. Гнедич, Майков акцентировал в своих переводах свободолюбие и непреклонную решимость *клефтов* в их борьбе с чужеземными поработителями. В стихотворении «Завещание» умирающего от ран паликара страшит не сама смерть, а сознание своей замогильной отрешенности от участия в общем деле священной борьбы:

Нет, меня не зарывайте,
Братцы, в землю! На горе
Вы меня поставьте стоймя
Во гробу, лицом к заре.
В гробе окна прорубите,
Чтоб мне веяло весной,
Чтобы ласточки, кружася,
Щебетали надо мной!
Чтоб из гроба я далеко
Мог бы турок различать,
Чтоб направо и налево
Мог им пулю посылать.

Сочувственным отношением Майкова к национально-освободительной борьбе, независимо от того, каким народом она велась, был

продиктован также и ряд его переводов (количественно небольшой) из сербских юнацких песен («Сабля царя Вукашина», «Сербская церковь», «Радойца», «Конь» и др.). Отсюда становится понятным и повышенное внимание поэта к периоду татарского нашествия в истории древней Руси («В Городце в 1263 году», «Клермонтский собор» и др.). О том, насколько проникновенно в художественном отношении осмысливалась поэтом тема монгольского нашествия, можно судить по небольшому отрывку из майковского стихотворения «Полдень», навеянного видом южнорусской степи перед грозой:

Орды ль идут кочевые?
Рев верблюдов, скрип телег?..
Не стрельцы ль сторожевые?
Не казацкий ли набег?

Полоняночка ль родная
Песню жалкую поет
И, татарченка качая,
Голос милым подает?..

В силу отмеченных выше причин глубоко интересовал Майкова и период борьбы Киевской Руси с кочевой степью. Вышедший в свет в 1870 году перевод «Слова о полку Игореве» на современный русский язык явился результатом напряженной четырехлетней работы поэта над летописными и другими источниками, помогавшими ему погрузиться в историческую, культурно-бытовую и художественную атмосферу эпохи.

В «Нескольких замечаниях», предваряющих публикацию этой работы, Майков объяснил, что важнейшим стимулом, побуждавшим его к переводу, было стремление доказать подлинность памятника. Поэта нимало не смущало то обстоятельство, что И. А. Гончаров (дававший в свое время Майкову уроки по истории родной словесности), сомневаясь в подлинности «Слова о полку Игореве», отрицал целесообразность предпринятого поэтом перевода. Упорство, проявленное Майковым для осуществления намеченной цели, обеспечило успех предприятия. Поэт вооружил русского читателя первым поэтическим и одновременно научным переводом полного текста древнего памятника. В переводе «Слова» и в комментариях к нему Майков отдал незначительную дань некоторым положениям мифологической школы, теперь уже устаревшим; это, однако, не снижает сколько-нибудь заметно весомость вклада, внесенного им не только в изучение древней поэмы, но и в развитие русской филологической науки в целом. Заслуживают внимания предложенные Майковым истолко-

вания ряда недостаточно проясненных мест памятника («Владимир по вся утра уши закладаше», «Трубы трубят городенскии», фрагмент о реке Стугне и др.). Не потеряли своего научного значения также и отдельные суждения переводчика о времени создания «Слова» и среде, в которой оно возникло, о его жанровом своеобразии.

Находя в древней поэме черты, сближающие ее с новой русской литературой, Майков отдавал себе вместе с тем отчет в том, что семь веков развития отечественной культуры создали перед русским читателем XIX века труднопреодолимый барьер для постижения как коренного смысла, так и художественной самобытности древнего памятника. С другой стороны, поэт-переводчик правильно осознал также и опасность модернизации языка и художественных образов гениального творения древнерусской письменности. Несмотря на советы Ф. М. Достоевского и других своих собратьев по перу, Майков отказался от соблазна применить в переводе рифмованный стих и осовременить другие компоненты эстетической системы поэмы. Майковский перевод «Слова о полку Игореве» по своей художественной ценности и по сию пору занимает одно из первых мест.

В 1875 году Майков публикует стихотворение «Емшан», поэтическую обработку одного из преданий, вошедших в Ипатьевскую летопись. Вынужденно проведшего многие годы среди кавказских горских племен половецкого хана Отрока родной его брат замыслил вернуть домой, в родные степи. Через посланного певца он вручает изгнаннику засохший пучок емшана (полыни) как лучшее напоминание о родине.

И взял пучок травы степной
Тогда певец, и подал хану —
И смотрит хан — и, сам не свой,
Как бы почуя в сердце рану,

За грудь схватился... Все глядят:
Он — грозный хан, что ж это значит?
Он, пред которым все дрожат,
Пучок травы целуя, плачет!

Поэт проявил в данном случае чутье большого художника как в самом выборе летописного предания, так и в его поэтической интерпретации. Стихотворение «Емшан» сразу же после своего появления в свет вошло в разряд вещей хрестоматийных, стало жемчужиной русской поэтической культуры.

Испытывая на себе известное воздействие славянофильской идео-

логии в оценке «злобы дня», Майков проявлял вместе с тем большую самостоятельность и независимость от групповых позиций в истолковании различных исторических проблем. У него не было, например, никакого славянофильского скептицизма в подходе к Петру Первому (см. «Кто он?», «Сказание о Петре Великом»). Изобразив в 1860 году Иоанна IV в виде царя-тирана (в стихотворении «Упраздненный монастырь»), в 1887 году, вразрез с известной концепцией А. К. Толстого, Майков сочувственно изобразил Грозного как устроителя русской земли и предшественника Петра I («У гроба Грозного»). О той же свободе и непредвзятости взглядов писателя на события русской истории свидетельствует его незаконченная поэма «Странник» (1864) и тяготеющие к ней рукописные наброски из жизни русского старообрядчества. В неопубликованном наброске «Из Аввакума» Майков дает свое поэтическое истолкование «пятой челобитной» опального протопопа к царю. Поэт изображает Аввакума в сочувственных тонах, однако видит в нем не страстного обличителя царской и патриаршей власти, а скорее носителя царистских иллюзий:

Не со скиптром Мономаха,
Не в челе своих полков,
Но исполнен слез и страха
Ты придешь на суд Христов.

Не один — мы все предстанем
В белых саванах, — в ряду
Всех, от века живших, встанем
По делам принять и мзду.

Ты нас жжешь огнем палящим;
Мы ж, не мысля о себе,
Распаляемся лишь вящим
Сокрушеньем по тебе;

И средь пламени не стоны
Издаем, а токмо глас —
Да господь тебя в дни оны
Не осудит ради нас...[1]

Длительная работа мысли и глубокое погружение в материал предшествовали появлению каждого из стихотворений Майкова на

---

[1] Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, архив А. Н. Майкова.

самые разнообразные сюжеты мировой истории («Жанна д'Арк», «Приговор (легенда о Констанцском соборе)», «Савонарола», «Исповедь королевы», «Юбилей Шекспира» и др.).

Предметом непреходящего творческого интереса для поэта на протяжении всей его литературной деятельности была эпоха крушения античного рабовладельческого общества и становления мира новых общественно-культурных отношений в крупнейших европейских странах, духовная жизнь которых формировалась под эгидой христианской церкви.

Первая попытка Майкова изобразить столкновение язычества с христианством была дана в его юношеской поэме «Олинф и Эсфирь» (1841), сурово раскритикованной Белинским. Внимая советам критика, новую картину крушения античного общества поэт попытался дать в лирической драме «Три смерти» (1851), работа над которой продолжалась десять лет. Не удовлетворенный завершенной работой, Майков продолжал настойчиво трудиться над новым вариантом второй ее части («Смерть Люция»), законченным лишь в 1863 году. С большой художественной убедительностью автор изобразил в этом произведении цезарский деспотизм, подавление прав личности, растление нравов. Строго следуя историческим фактам, поэт с присущим ему творческим тактом вводил в поэму элемент собственного художественного вымысла. Любопытным примером в этом отношении может служить беседа Ювенала с Люцием, в которой последний немощным звукам римской лиры противопоставляет ночные пиршественные костры скифов (автор видел в скифах предков славянских племен):

Среди глухих лесных притонов
Зажгут они свои костры,
В кругу усядутся в долине
И пьют меды, а посредине
Поет певец. Напев их дик,
Для нас, пожалуй, неприятен,
Но как могуч простой язык!
Как жест торжествен и понятен!
И кто там больше был поэт:
Певец иль слушатели сами?

. . . .

А мы? Куда нас повлекут?
И что нам слушатели скажут?
Какие цели нам укажут?
И в наши песни что вольют?

С созданием драмы «Три смерти» не прекратились авторские раздумья над волновавшей его темой. Трансформируясь и разрастаясь, она оформляется в трагедию «Два мира», первый этап работы над которой завершается в 1872 году, а окончательная редакция ее относится к 1881 году. Картина языческого и христианского миров обогащается новыми персонажами и деталями. Мастерской кистью изображает поэт жизнь в катакомбах приверженцев новой религии. Следуя давнему совету Белинского, роль немощного эпикурейца Люция автор препоручает новому герою, патрицию Децию, который сосредоточил в себе все «возвышенное», что только было создано Древним Римом. Приговоренный Нероном к смерти, Деций выгодно отличается от всех гостей, приглашенных на его предсмертный пир. Он принадлежит к мыслящей прослойке своего сословия и сочувственно оценивает республиканские доблести Рима. Но даже в ненависти своей к деспотизму Нерона он остается идеологом своей касты, ее предрассудков, ее тупой и слепой бесчеловечности:

Рабы и в пурпуре мне гадки!
Как? Из того, что той порой,
Когда стихии меж собой
Боролись в бурном беспорядке,
Земля, меж чудищ и зверей,
Меж грифов и химер крылатых,
Из недр извергла и людей,
Свирепых, диких и косматых, —
Мне из того в них братьев чтить?..
Да первый тот, кто возложить
На них ярмо возмог, тот разом
Стал выше всех, как власть, как разум!

Деций не может не видеть, как рушатся один за другим устои, создававшие могущество Древнего Рима. Но он не теряет веры в то, что «временные тучи» пройдут и его отечество снова обретет былую силу. Он призывает Ювенала оружием сатиры способствовать возрождению древних традиций. Однако нравственные принципы самого Деция — гордость и эгоизм — ведут лишь к усилению общественного зла и ускорению гибели «вечного» Рима.

Автор не прельстился мыслью слепо следовать идее, подсказанной учением христианской церкви. Недаром же стоявшие на позициях православно-христианской ортодоксии критики упрекали поэта в том, что он в «Двух мирах» «в значительной мере оставался языч-

ником» и не смог проникнуть в сущность христианских идей.[1] Работая над любимым замыслом с фанатическим упорством, Майков добивался возможно большей глубины и объективности в изображении «двух миров». Ему удалось уловить и воссоздать как антагонистические элементы, так и черты преемственности, с одной стороны, между культурами древнегреческой и римской, а с другой — между традициями римской цивилизации и культурой рождающегося на ее развалинах мира. Образы «Двух миров» — не бесплотные манекены отошедших веков. «Античность» у Майкова «живет и дышит; она у него все, что угодно, но только не скучна».[2]

Дискредитация патрициански-аристократических предубеждений Деция, равно как и мастерски нарисованная в «Двух мирах» картина разложения рабовладельческого строя в целом, проецировалась в сознании русского читателя на аналогичные явления отечественной истории. В подобного рода проецировании, по-видимому, был заинтересован и сам автор. В обширной записке, составленной по поводу «Двух миров» и адресованной Я. К. Гроту, он писал: «События минувших веков я старался вообразить себе по их аналогии с тем, что прожил и наблюдал сам на своем веку, а переживаемая нами историческая полоса так богата подъемами и падениями человеческого духа, что внимательному взору представляет богатый материал для сравнения даже с далекими минувшими эпохами. <...> В этих наших героях demi-monde'а, добрых и веселых по природе, остроумных, даже и знакомых с последними словами «науки», при всем том скучающих и обремененных долгами, истощенных оргиями и наслаждениями и часто готовых на все (как Катилина) для стяжания чести и денег, — разве не узнаете вы в этой бледной толпе юных патрициев, из которых у меня на Дециев пир выхвачены Лелий, Клавдий, мечтающие об отцеубийстве, аплодирующие скептикам-адвокатам в их глумлении над великим жрецом, а втайне, в минуты страха и отчаяния, тихонько, впрочем, друг от друга, приносящие козлят в жертву богам...»[3]

В «Трех смертях» и «Двух мирах» Майкова особенно зримо проявились гуманистические тенденции его поэтического таланта.

Последняя четверть века в жизни Майкова (он умер 8 (20) марта 1897 года) характеризовалась заметным спадом его творческой

---

[1] См.: А. Уманьский, Аполлон Николаевич Майков. — «Русское богатство», 1897, № 4, с. 41.

[2] Ф. Зелинский, Древний мир в поэзии А. Н. Майкова. — Из жизни идей, СПб., 1908, с. 235.

[3] М. И. Сухомлинов, Особенности поэтического творчества А. Н. Майкова. — «Русская старина», 1899, № 3, с. 486—487.

активности. Утрата поэтом связей с передовой журналистикой, уход от злобы дня в сферу «вечных вопросов» и участившиеся обращения его к религиозной теме — все это не однажды давало критике конца века повод зачислять Майкова по ведомству «чистого искусства». Подобного рода взгляд нельзя назвать состоятельным. Изредка встречающиеся у Майкова противопоставления поэта толпе («Ты на горе — они в долине»), а поэтического горения — «базарной суете» были скорее данью поэтической традиции периода романтизма, чем выражением сущности его природного дарования. В действительности таланту Майкова было не свойственно чувство снобизма и ощущение собственного превосходства над толпой. Трудно вообразить у поэта «чистого искусства» такую потребность в общении с народной массой, какую ощущаем мы в майковских «Летнем дожде», «Сенокосе», «Ночи на жнитве», в его «Неаполитанском альбоме». Трудно себе представить поэта-небожителя, который бы записанное из народных уст «Сказание о Петре Великом» охарактеризовал так, как Майков: «описание бури и потопление свейских лодок — такая живая, сжатая и верная природе картина, что было бы жаль, если б эти красоты народного творчества прошли незаметно в истории нашей поэзии»

Заложенным в даровании Майкова возможностям его как выразителя народной жизни не суждено было, однако, проявиться в полной мере. Духовно возмужавший в окружении Белинского и М. В. Петрашевского, Майков был непоправимо надломлен террором «мрачного семилетия». И тем не менее в никогда не исчезавшей устремленности поэта «туда! туда!» — к снежным вершинам человеческого духа (см. «Ласточки», «Альпийские ледники», «Excelsior», «Из темных долов этих...», «Гроза» и др.) сказывались настроения его юных лет, родственные пафосу лермонтовской поэзии. И как бы ни смущала тень Лермонтова дряхлеющего Майкова своей «байронической» мятежностью, в майковском поэтическом творчестве никогда не исчезали полностью целенаправляющие и стилеобразующие лермонтовские ферменты. Порывы *ввысь* и боязнь *высоты* — такова амплитуда идейно-поэтических колебаний зрелого Майкова, составлявших драму его жизни.

Достижения русской поэзии XIX века определяются прежде всего теми ценностями, которые созданы ее корифеями: Пушкиным, Лермонтовым, Кольцовым, Некрасовым. Каждый из них дал художественное выражение коренных потребностей своей эпохи, создал свои традиции, оставил своих последователей.

Майков не возвышается до уровня великих поэтических имен. Он поэт второго ряда, но в этом ряду ему принадлежит одно из наиболее почетных и незаменимых мест. Без художественных «приращений», им созданных, поэтическая культура России была бы значительно беднее.

К моменту выхода Майкова на литературную арену русская поэзия на отдельных направлениях еще не завершила ученического этапа своего развития, еще не успела освоить те ценности мировой культуры, которые были ей необходимы для соревнования «на равных» с европейскими «партнерами». Отсюда ясно, что одна только «культуртрегерская» роль энциклопедической по своему диапазону поэзии Майкова была поистине неоценимой. Блистательные поэтические опыты Майкова в антологическом роде, равно как и его переводы античных классиков, по определению Ф. Ф. Зелинского, образовали своеобразный античный «Гольфстрим», благотворно сказавшийся на дальнейшем развитии всей русской литературы. Зрелый Майков заметно обогатил русскую поэтическую культуру превосходными переводами из Гете, Шиллера, Гейне, Шенье, Лонгфелло и других иностранных авторов.

Огромная доля участия принадлежала Майкову также и в процессе возвращения русской поэзии к «собственным началам», которым в свое время придавал большое значение Пушкин.[1] Борьба за них, растянувшаяся на целые десятилетия, отнюдь не ограничивалась сближением литературного языка с просторечием. «Галлицизмы и руснзмы, — утверждал В. Г. Белинский, — бывают не в одном языке, но и в понятиях...» (VIII, 574). Блуждая творческой мыслью по разным странам и векам, А. Н. Майков и в языке, и «в понятиях» своих всегда оставался поэтом русским, вполне осознававшим историческую обусловленность выработанных предшествующим развитием национальных художественных форм. Отвергая установку западников на эстетический *европоцентризм*, Майков осуждал также и эстетический *изоляционизм* славянофилов. Именно поэтому поэт не принимал, например, ни *ухарского* тона, ни *щегольства* созвучий в «русских былинах» А. К. Толстого (см. настоящий том, с. 866). *Русскость* самого Майкова состояла в пристальном изучении различных сторон действительности и в умении найти способ изображения, наиболее полно схватывающий их национальную сущность.

Отмеченные печатью этого умения, точнее дарования, произведения поэта («Барышне», «Журавли», «Рыбная ловля», «Сенокос»,

---

[1] А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 11, изд. АН СССР, М. — Л., 1949, с. 495.

«Странник», «В Городце в 1263 году» и многие другие) с полным основанием вошли в фонд русской поэтической классики.

Несмотря на свое почти безбрежное жанровое и тематическое разнообразие, майковское поэтическое наследие монолитно в стилевом отношении; в нем весьма ощутима инерция строго реалистического письма. Переболев еще в юные годы легкой формой «бенедиктовщины», Майков возвращается к Пушкину и ученическую верность его заветам сохраняет до конца жизни. Он проявлял последовательную непримиримость к напускному глубокомыслию, цветистой фразеологии и стихотворному гримасничанью. В конце своей жизни Майков резко отрицательно отнесся к первым поэтическим экспериментам русских декадентов (см. настоящий том, с. 672). Это не значит, однако, что он был сторонником узко понятого эстетического традиционализма. Опыты совершенствования художественной формы, к которым обращался в «Неаполитанском альбоме» и других произведениях сам Майков, были подчинены задачам усиления реалистической и психологической выразительности стиха и не имели ничего общего с претенциозным формотворчеством.

Поэзия Майкова при всей ее непритязательности захватывает нас гармоническим слиянием мысли и чувства, чистотой художественного вкуса, напевностью и музыкальностью. Совсем не случайно по количеству положенных на музыку стихотворений Майкову среди русских поэтов XIX века принадлежит одно из первых мест.

Сформировавшись как поэт на лучших общественно-политических и эстетических традициях 1840-х годов, Майков, несмотря на небезупречность своей дальнейшей общественно-политической биографии, постоянно испытывал на себе их притягательную силу. Это обстоятельство и обусловило значительность его вклада в сокровищницу русской литературы. Стихи Майкова не теряют своей свежести и красоты и сегодня. Лучшая часть его поэтического наследия продолжает обогащать художественную культуру советского общества.

Ф. Я. Прийма

ЛИРИКА

В АНТОЛОГИЧЕСКОМ РОДЕ

1. ОКТАВА

Гармонии стиха божественные тайны
Не думай разгадать по книгам мудрецов:
У брега сонных вод, один бродя, случайно,
Прислушайся душой к шептанью тростников,
Дубравы говору; их звук необычайный
Прочувствуй и пойми... В созвучии стихов
Невольно с уст твоих размерные октавы
Польются, звучные, как музыка дубравы.

1841

2. РАЗДУМЬЕ

Блажен, кто под крылом своих домашних лар
Ведет спокойно век! Ему обильный дар
Прольют все боги: луг его заблещет; нивы
Церера озлатит; акации, оливы
Ветвями дом его обнимут; над прудом
Пирамидальные, стоящие венцом,
Густые тополи взойдут и засребрятся,
И лозы каждый год под осень отягчатся
Кистями сочными: их Вакх благословит...
Не грозен для него светильник эвменид:
Без страха будет ждать он ужасов эреба;
А здесь рука его на жертвенники неба
Повергнет не дрожа плоды, янтарный мед,
Их роз гирляндами и миртом обовьет...

Но я бы не желал сей жизни без волненья:
Мне тягостно ее размерное теченье.

Я втайне бы страдал и жаждал бы порой
И бури, и тревог, и воли дорогой,
Чтоб дух мой крепнуть мог в борении мятежном
И, крылья распустив, орлом широкобежным,
При общем ужасе, над льдами гор витать,
На бездну упадать и в небе утопать.

1841

3. СОН

Когда ложится тень прозрачными клубами
На нивы желтые, покрытые скирдами,
На синие леса, на влажный злак лугов;
Когда над озером белеет столп паров
И в редком тростнике, медлительно качаясь,
Сном чутким лебедь спит, на влаге отражаясь, —
Иду я под родной соломенный свой кров,
Раскинутый в тени акаций и дубов;
И там, в урочный час, с улыбкой уст приветных,
В венце дрожащих звезд и маков темноцветных,
С таинственных высот, воздушною стезей,
Богиня мирная, являясь предо мной,
Сияньем палевым главу мне обливает
И очи тихою рукою закрывает,
И, кудри подобрав, главой склонясь ко мне,
Лобзает мне уста и очи в тишине.

1839

4

Вхожу с смущением в забытые палаты,
Блестящий некогда, но ныне сном объятый
Приют державных дум и царственных забав.
Всё пусто. Времени губительный устав
Во всем величии здесь блещет: всё мертвеет!
В аркадах мраморных молчанье цепенеет;
Вкруг гордых колоннад с старинною резьбой
Ель пышно разрослась, и в зелени густой,
Под сенью древних лип и золотых акаций,
Белеют кое-где стату́и нимф и граций.

Гремевший водомет из пасти медных львов
Замолк; широкий лист висит с нагих столбов,
Качаясь по ветру... О, где в аллеях спящих
Красавиц легкий рой, звон колесниц блестящих?
Не слышно уж литавр бряцанья; пирный звук
Умолк, и стих давно оружья бранный стук;
Но мир, волшебный сон в забытые чертоги
Вселились, — новые, неведомые боги!

10 апреля 1840
Ораниенбаум

5. КАРТИНА ВЕЧЕРА

Люблю я берег сей пустынный,
Когда с зарею лоно вод
Его, ласкаясь, обоймет
Дугой излучистой и длинной.
Там в мелководье, по песку,
Стада спустилися лениво;
Там темные сады в реку
Глядятся зеленью стыдливой;
Там ива на воды легла,
На вервях мачта там уснула,
И в глади водного стекла
Их отраженье потонуло.

1838
Санкт-Петербург

6. ВОСПОМИНАНИЕ

В забытой тетради забытое слово!
Я всё прожитое в нем вижу опять;
Но странно, неловко и мило мне снова
Во образе прежнем себя узнавать...
Так путник приходит чрез многие годы
Под кровли отеческой мирные своды.
Забор его дома травою оброс,
И привязи псов у крыльца позабыты;

Крапива в саду прорастает меж роз,
И ласточек гнезда над окнами свиты;
Но всё в тишине ему кажется вкруг —
Что жив еще встарь обитавший здесь дух.

7 июня 1838
Ораниенбаум

7. ГЕЗИОД

Во дни минувшие, дни радости блаженной,
Лились млеко и мед с божественных холмов
К долинам бархатным Аонии священной
И силой дивною, как нектаром богов,
Питали гения младенческие силы;
И нимфы юные, толпою легкокрылой,
Покинув Геликон, при блеске звезд златых,
Руками соплетясь у мирной колыбели,
Венчанной розами, плясали вкруг и пели,
Амброзией дитя поили и в густых
Дубравах, где шумят из урн каскада воды,
Лелеяли его младенческие годы...
И рано лирою певец овладевал:
И лес и водопад пред нею умолкал,
Наяды, всплыв из волн, внимали ей стыдливо,
И львы к стопам певца златой склонялись гривой.

1839

8. ЭХО И МОЛЧАНИЕ

Осень срывала поблекшие листья
С бледных деревьев, ручей покрывала
Тонкою слюдой блестящего льда...
Грустный, блуждая в лесу обнаженном,
В чаще глубокой под дубом и елью
Мирно уснувших двух нимф я увидел.
Ветер играл их густыми власами,
Веял, клубил их зеленые ризы,
Нежно их жаркие лица лобзая.
Вдруг за горами послышался топот,
Лаянье псов и охотничьи роги.

Нимфы проснулись: одна за кустами,
Шумом испугана, в чащу сокрылась,
Робко дыханье тая; а другая,
С хохотом резким, с пригорка к пригорку,
С хо́лма на холм, из лощины в лощину
Быстро кидалась, и вот, за горами,
Тише и тише... исчезла... Но долго
По лесу голос ее повторялся.

1840

9

Я в гроте ждал тебя в урочный час.
Но день померк; главой качаясь сонной,
Заснули тополи, умолкли гальционы:
Напрасно!.. Месяц встал, сребрился и угас;
Редела ночь; любовница Кефала,
Облокотясь на рдяные врата
Младого дня, из кос своих роняла
Златые зерна перлов и опала
На синие долины и леса, —
Ты не являлась...

1840—1841

10. ПУСТЫННИКУ

Дай нам, пустынник, дубовые чаши и кружки,
Утварь, которую режешь ты сам на досуге;
Ставь перед нами из глины кувшины простые
С влагой студеной, почерпнутой в полдень палящий
В этом ручье, что так звонко меж камнями льется,
В мраке прохладном, под сенью дуплистыя липы!
Вкусим, усталые, сочных плодов и кореньев;
Вспомним, как в первые веки отшельники жили,
Тело свое изнуряя постом и молитвой;
И, в размышлениях строгих и важных,
Шутку порой перекинем мирскую.

⟨1840⟩

11. ПРИЗЫВ

Уж утра свежее дыханье
В окно прохладой веет мне.
На озаренное созданье
Смотрю в волшебной тишине:
На главах смоляного бора,
Вдали лежащего венцом,
Восток пурпуровым ковром
Зажгла стыдливая Аврора;
И, с блеском алым на водах,
Между рядами черных елей,
Залив почиет в берегах,
Как спит младенец в колыбели;
А там, вкруг хо́лма, где шумит
По ветру мельница крылами,
Ручей алмазными водами
Вкруг яркой озими бежит...
Как темен свод дерев ветвистых!
Как зелен бархат луговой!
Как сладок дух от сосн смолистых
И от черемухи младой!
О други! в поле! Силой дивной
Мне утро грудь животворит...
Чу! в роще голос заунывный
Весенней иволги гремит!

1838
Ораниенбаум

12. ПРИАПУ

Сад я разбил; там, под сенью развесистых буков,
В мраке прохладном, стату́ю воздвиг я Приапу.
Он, возделатель мирный садов, охранитель
Гротов и рощ, и цветов, и орудий садовых,
Юным деревьям даст силу расти, увенчает
Листьем душистым, плодом сладкосочным обвесит.
Подле статуи, из грота, шумя упадает
Ключ светловодный; его осеняют ветвями
Дубы; на них свои гнезда дрозды укрепляют...
Будь благосклонен, хранитель пустынного сада!

Ты, увенча́нный венком из лозы виноградной,
Плю́ща и желтых колосьев! пролей свою благость
Щедрой рукою на эти орудья простые,
Заступ садовый, и серп полукруглый, и соху.
И нагруженные туго плодами корзины.

1840
Каболовка

13

На мысе сем диком, увенчанном бедной осокой,
Покрытом кустарником ветхим и зеленью сосен,
Печальный Мениск, престарелый рыбак, схоронил
Погибшего сына. Его возлелеяло море,
Оно же его и прияло в широкое лоно,
И на берег бережно вынесло мертвое тело.
Оплакавши сына, отец под развесистой ивой
Могилу ему ископал и, накрыв ее камнем,
Плетёную вершу из ивы над нею повесил —
    Угрюмой их бедности памятник скудный!

1840

14

Всё думу тайную в душе моей питает:
Леса пустынные, где сумрак обитает,
И грот таинственный, откуда струйка вод
Меж ка́мней падает, звенит и брызги бьет,
То прыгает змеей, то нитью из алмаза
Журчит между корней раскидистого вяза,
Потом, преграду пней и камней раздробив,
Бежит средь длинных трав, под сенью темных ив,
Разрозненных в корнях, но сплетшихся ветвями...
Я вижу, кажется, в чаще́, поросшей мхом,
Дриад, увенчанных дубовыми листами,
Над урной старика с осоковым венком,
Сильвана с фавнами, плетущего корзины,
И Пана кроткого, который у ключа
Гирлянды вешает из роз и из плюща
У входа тайного в свой грот темнопустынный.

Январь 1840

15

(Из Андрея Шенье)

Я был еще дитя — она уже прекрасна...
Как часто, помню я, с своей улыбкой ясной,
Она меня звала! Играя с ней, резвясь,
Младенческой рукой запутывал не раз
Я локоны ее. Персты мои скользили
По груди, по челу, меж пышных роз и лилий...
Но чаще посреди поклонников своих
Надменная меня ласкала, а на них
Лукаво-нежный взор подняв как бы случайно,
Дарила поцелуй, с насмешливостью тайной,
Устами алыми младенческим устам.
Завидуя в тиши божественным дарам,
Шептали юноши, сгорая в неге страстной:
«О, сколько милых ласк потеряно напрасно!»

1840
Каболовка

16. ОВИДИЙ

Один, я погребен пустыней снеговою.
Здесь всем моих стихов гармония чужда,
И некому над ней задуматься порою,
Ей нет ни в чьей душе отзы́ва и следа.
Зачем же я пою? Зачем же я слагаю
Слова в размерный стих на языке родном?
Кто будет их читать и чувствовать? .. О, знаю,
Их ветер разнесет на береге пустом!
Лишь эхо повторит мои мечты и муки! ..
Но всё мне сладостно обманывать себя:
Я жажду услыхать страны родимой звуки,
Свои элегии читаю громко я,
И думаю (дитя!), что это голос друга,
Что я в кругу друзей... зову их имена, —
И вот — мне кажется, что дымная лачуга
Присутствием гостей невидимых полна.

Январь 1841

17. ИСКУССТВО

Срезал себе я тростник у прибрежья шумного моря.
Нем, он забытый лежал в моей хижине бедной.
Раз увидал его старец прохожий, к ночлегу
В хижину к нам завернувший. (Он был непонятен,
Чуден на нашей глухой стороне.) Он обрезал
Ствол и отверстий наделал, к устам приложил их,
И оживленный тростник вдруг исполнился звуком
Чудным, каким оживлялся порою у моря,
Если внезапно зефир, зарябив его воды,
Трости коснется и звуком наполнит поморье.

1841

18

Муза, богиня Олимпа, вручила две звучные флейты
Рощ покровителю Пану и светлому Фебу.
Феб прикоснулся к божественной флейте, и чудный
Звук полился из безжизненной трости. Внимали
Вкруг присмиревшие воды, не смея журчаньем
Песни тревожить, и ветер заснул между листьев
Древних дубов, и заплакали, тронуты звуком,
Травы, цветы и деревья; стыдливые нимфы
Слушали, робко толпясь меж сильванов и фавнов.
Кончил певец и помчался на огненных конях,
В пурпуре алой зари, на златой колеснице.
Бедный лесов покровитель напрасно старался
припомнить
Чудные звуки и их воскресить своей флейтой:
Грустный, он трели выводит, но трели земные!..
Горький безумец! ты думаешь, небо не трудно
Здесь воскресить на земле? Посмотри: улыбаясь,
С взглядом насмешливым слушают нимфы и фавны.

Февраль 1841

19. ВАКХАНКА

Тимпан и звуки флейт и плески вакханалий
Молчанье дальних гор и рощей потрясали.
Движеньем утомлен, я скрылся в мрак дерёв;
А там, раскинувшись на мягкий бархат мхов,
У грота темного, вакханка молодая
Покоилась, к руке склонясь, полунагая.
По жаркому лицу, по мраморной груди
Луч солнца, тень листов скользили, трепетали;
С аканфом и плющом власы ее спадали
На кожу тигрову, как резвые струи;
Там тирс изломанный, там чаша золотая...
Как дышит виноград на персях у нея,
Как алые уста, улыбкою играя,
Лепечут, полные томленья и огня!
Как тихо всё вокруг! лишь слышны из-за дали
Тимпан и звуки флейт и плески вакханалий...

Март 1841

20. ГОРНЫЙ КЛЮЧ

Откуда ты, о ключ подгорный,
Катишь звенящие струи?
Кто вызвал вас из бездны черной,
Вы, слезы чистые земли?
На горных главах луч палящий
Кору ль льдяную растопил?
Земли ль из сердца ключ шипящий
Истоки тайные пробил?
Откуда б ни был ты, но сладко
В твоих сверкающих зыбях
Дремать наяде иль украдкой
Свой лик купать в твоих водах;
Отрадно пастырям долины
У вод твоих в свой рог играть
И девам звонкие кувшины
В студеной влаге погружать.
Таков и ты, о стих поэта!
Откуда ты? и для кого?
Тебя кто вызвал в бездну света?

Кого ты ищешь средь него?
То тайно всем; но всем отрадно
Твоей гармонии внимать,
Любить твой строй, твой лепет складный,
В тебе усладу почерпать.

Февраль 1841

21. ЭПИТАФИЯ

Здесь, в долине скорби, в мирную обитель
Нас земля приемлет:
Мира бедный житель отдохнуть приляжет
На груди родимой.
Скоро мох покроет надпись на гробнице
И сотрется имя;
Но для тех бессильно времени крушенье,
Чье воспоминанье
Погрузит в раздумье и из сердца слезы
Сладкие исторгиет.

1841

22. МЫСЛЬ ПОЭТА

О мысль поэта! ты вольна,
Как песня вольной гальционы!
В тебе самой твои законы,
Сама собою ты стройна!
Кто скажет молнии: браздами
Не раздирай ночную мглу?
Кто скажет горному орлу:
Ты не ширяй под небесами,
На солнце гордо не смотри
И не плещи морей водами
Своими черными крылами
При блеске розовой зари?

1839
Санкт-Петербург

23. ВАКХ

В том гроте сумрачном, покрытом виноградом,
Сын Зевса был вручен элидским ореадам.
Сокрытый от людей, сокрытый от богов,
Он рос под говор вод и шелест тростников.
Лишь мирный бог лесов над тихой колыбелью
Младенца услаждал волшебною свирелью...
Какой отрадою, средь сладостных забот,
Он нимфам был! Глухой внезапно ожил грот.
Там, кожей барсовой одетый, как в порфиру,
С тимпаном, с тирсом он являлся божеством.

То в играх хмелем и плющом
Опутывал рога, при смехе нимф, сатиру,
То гроздия срывал с изгибистой лозы,
Их связывал в венок, венчал свои власы,
Иль нектар выжимал, смеясь, своей ручонкой
Из золотых кистей над чашей среброзвонкой,
И тешился, когда струей ему в глаза
Из ягод брызнет сок, прозрачный, как слеза.

1840

24. ЗИМНЕЕ УТРО

Морозит. Снег хрустит. Туманы над полями.
Из хижин ранний дым разносится клубами
В янтарном зареве пылающих небес.
В раздумии глядит на обнаженный лес,
На домы, крытые ковром младого снега,
На зеркало реки, застынувшей у брега,
Светила днéвного кровавое ядро.
Отливом пурпурным блестит снегов сребро;
Иглистым инеем, как будто пухом белым,
Унизана кора по ветвям помертвелым.
Люблю я сквозь стекла блистательный узор
Картиной новою увеселять свой взор;
Люблю в тиши смотреть, как раннею порою
Деревня весело встречается с зимою:
Там по льду гладкому и скользкому реки
Свистят и искрятся визгливые коньки;

На лыжах зверолов спешит к лесам дремучим;
Там в хижине рыбак пред пламенем трескучим
Сухого хвороста худую сеть чинит,
И сладостно ему воспомнить прежний быт,
Взирая на стекло окованной пучины, —
Про зори утренни и клики лебедины,
Про бури ярые и волн мятежный взрыв,
И свой хранительный под ивами залив,
И про счастливый лов в часы безмолвной ночи,
Когда лишь месяца задумчивые очи
Проглянут, озлатят пучины спящей гладь
И светят рыбаку свой невод подымать.

1839
Санкт-Петербург

25. ДУМА

Жизнь без тревог — прекрасный, светлый день;
Тревожная — весны младыя грозы.
Там — солнца луч, и в зной оливы сень,
А здесь — и гром, и молния, и слезы...
О! дайте мне весь блеск весенних гроз
И горечь слез и сладость слез!

1841

26. СОМНЕНИЕ

Пусть говорят: поэзия — мечта,
Горячки сердца бред ничтожный,
Что мир ее есть мир пустой и ложный,
И бледный вымысл — красота;
Пусть нет для мореходцев дальных
Сирен опасных, нет дриад
В лесах густых, в ручьях кристальных
Золотовласых нет наяд;
Пусть Зевс из длани не низводит
Разящей молнии поток
И на ночь Гелиос не сходит
К Фетиде в пурпурный чертог;
Пусть так! Но в полдень листьев шепот

Так полон тайны, шум ручья
Так сладкозвучен, моря ропот
Глубокомыслен, солнце дня
С такой любовию приемлет
Пучина моря, лунный лик
Так сокровен, что сердце внемлет
Во всем таинственный язык;
И ты невольно сим явленьям
Даруешь жизни красоты,
И этим милым заблужденьям
И веришь и не веришь ты!

1839

27. ПРОЩАНИЕ С ДЕРЕВНЕЙ

О други! прежде чем покинем мирный кров,
Где тихо протекли дни нашего безделья
Вдали от шумного движенья городов,
Их скуки злой, их ложного веселья,
Последний кинем взгляд с прощальною слезой
На бывший наш эдем!.. Вот домик наш укромной:
Пусть век благой пенат хранит его покой
И грустная сосна объемлет ветвью темной!
Вот лес, где часто мы внимали шум листов,
Когда сквозит меж них луч солнца раскаленной...
Склонитесь надо мной с любовью вожделенной,
О ветви мирные таинственных дубров!
Шуми, мой светлый ключ, из урны подземельной
Шуми, напомни мне игривою струей
Мечты, настроены под сладкий говор твой,
Унывно-сладкие, как песни колыбельны!..
А там, — там, на конце аллеи лип и ив,
Колодезь меж дерев, где часто, ночью звездной,
Звенящий свой кувшин глубоко опустив,
Дочь поля и лесов, склонясь над темной бездной,
С улыбкой образ свой встречала на водах
И любовалась им, и тайно помышляла
О стройном юноше, — а небо обвивало
Звездами лик ее на зыблемых струях.

1841

28. СВИРЕЛЬ

Вот тростник сухой и звонкой...
Добрый Пан! перевяжи
Осторожно нитью тонкой
И в свирель его сложи!
Поделись со мной искусством
Трели в ней перебирать,
Оживлять их мыслью, чувством,
Понижать и повышать,
Чтоб мне в зной полдня́ златого
Рощи, горы усыпить
И из волн ручья лесного
В грот наяду приманить.

21 апреля 1840

29

Я знаю, отчего у этих берегов
Раздумье тайное объемлет дух пловцов:
Там нимфа грустная с распущенной косою,
Полузакрытая певучей осокою,
Порою песнь поет про шелк своих власов,
Лазурь заплаканных очей, жемчуг зубов
И сердце, полное любви неразделенной.
Проедет ли челнок — пловец обвороженный,
Ее заслушавшись, перестает грести;
Замолкнет ли она — но долго на пути
Ему всё чудятся напевы над водою
И нимфа в камышах, с распущенной косою.

1841

30. ГОРЫ

Люблю я горные вершины.
Среди небесной пустоты
Горят их странные руины,
Как недоконченны мечты
И думы Зодчего природы.

Там недосозданные своды,
Там великана голова
И неизваянное тело,
Там пасть разинутая льва,
Там профиль девы онемелый...

1841

31. ДИОНЕЯ

Право, завидно смотреть нам, как любит тебя Дионея.
Если ты в цирке на бой гладиаторов смотришь,
иль внемлешь
Мудрым урокам в лицее, иль учишься мчаться на конях, —
Плачет, ни слова не скажет! Когда же в пыли ты
вернешься, —
Вдруг оживет, и соскочит, и кинется с воплем,
Крепче, чем плющ вкруг колонны, тебя обвивает руками;
Слезы на длинных ресницах, в устах поцелуй и улыбка.

Октябрь 1841

32. НА ПАМЯТНИКЕ

Он рано уж умел перебирать искусно
Свирели скважины; то весело, то грустно
Звучала трель его; он пел про плеск ручья,
Помоной щедрою убра́нные поля,
Про ласки юных дев, и сумрачные гроты,
И возраста любви тревожные заботы.

⟨*1841*⟩

33

Дитя мое, уж нет благословенных дней,
Поры душистых лип, сирени и лилей;
Не свищут соловьи, и иволги не слышно...
Уж полно! не плести тебе гирлянды пышной
И незабудками головки не венчать;
По утренней росе уж зорек не встречать,
И поздно вечером уже не любоваться,

Как легкие пары над озером клубятся
И звезды смотрятся сквозь них в его стекле.
Не вереск, не цветы пестреют по скале,
А мох в расселинах пушится ранним снегом.
А ты, мой друг, всё та ж: резва, мила... Люблю,
Как, разгоревшися и утомившись бегом,
Ты, вея холодом, врываешься в мою
Глухую хижину, стряхаешь кудри снежны,
Хохочешь и меня целуешь звонко, нежно!

1841

34

Пусть полудикие скифы, с глазами, налитыми кровью,
Бьются, безумные, кубками пьяного пира, —
Други! оставимте им, дикарям кровожадным, обычай
Сладкие Вакховы вина румянить пирующих кровью...
Бранные копья средь кубков и факелов пира!..
Где мы, скажите?.. Какое безумство: веселье —
и битва!
Полноте спорить! умолкните, други! вражду утопите
В чашах, у коих, чем более пьете, всё глубже
и глубже
Кажется звонкое дно. Возлежите и пейте смиренно,
На руку мудрые головы важно и тяжко уставив.

1841

35. ЧЕРЕП

Глухо мой заступ, о череп ударясь, звенит.
Замогильный
Гость, выходи-ко! Вокруг тебя панцирь, перчатки
и бердыш —
Пусть истлевают! Тебя ж отлучу я, о череп,
от тлена!
Ты не услышишь ни кликов воинских, ни бранных
ударов.
Мирно лежи у подножия лиры эллинской и миртом

Вечнозеленой Эллады венчайся, порой наполняясь
Гулким ответом на струны ее, потрясенные ветром.
Так же не в вечных ли миртах, не в звуках ли горних гармоний
Прежний хозяин твой, дух, утопает теперь?..

1840

36. ПОЭЗИЯ

Люби, люби камен, кури им фимиам!
Лишь ими жизнь красна, лишь ими милы нам
Панорма небеса, Фетиды блеск неверный,
И виноградники богатого Фалерна,
И розы Пестума, и в раскаленный день
Бландузия кристалл, и мир его прохлады,
И Рима древнего священные громады,
И утром ранний дым сабинских деревень.

13 апреля 1840

37. БАРЕЛЬЕФ

Вот безжизненный отрубок
Серебра: стопи его
И вместительный мне кубок
Слей искусно из него.
Ни кипридиных голубок,
Ни медведиц, ни плеяд
Не лепи по стенкам длинным.
Отчекань: в саду пустынном,
Между лоз, толпы менад,
Выжимающих созрелый,
Налитой и пожелтелый
С пышной ветки виноград;
Вкруг сидят умно и чинно
Дети возле бочки винной;
Фавны с хмелем на челе;
Вакх под тигровою кожей
И силен румянорожий
На споткнувшемся осле.

1842

38. Е. П. М.

Люблю я целый день провесть меж гор и скал...
Не думай, чтобы я в то время размышлял
О благости небес, величии природы
И, под гармонию ее, я строил стих.
Рассеянно гляжу на дремлющие воды
Лесного озера и вéрхи сосн густых,
Обрывы желтые в молчаньи их угрюмом;
Без мысли и ленив, смотрю я, как с полей
Станицы тянутся гусей и журавлей
И утки дикие ныряют в воду с шумом;
Бессмысленно гляжу я в зыблемых струях
На удочку, забыв о прозе и стихах...

Но после, далеко от милых сих явлений,
В ночи, я чувствую, передо мной встают
Виденья милые, пестреют и живут,
И движутся, и я приветствую их тени,
И узнаю леса и дальних гор ступени,
И озеро... Тогда я слышу, как кипит
Во мне святой восторг, как кровь во мне горит,
Как стих слагается и прозябают мысли...

1841

ПОДРАЖАНИЯ ДРЕВНИМ

Сафо

39

Зачем венком из листьев лавра
Себе чело я обвила
И лиру миртом убрала?..
Так! мне оракул Эпидавра
Предрек недаром чашу мук:
Ты мне неверен, милый друг!
Ты очарован новой страстью
У ног красавицы другой.
Но овладеть она тобой,
Скажи, какой умела властью?
Ничто, ни мысль, ни чувство, в ней
Границ холодных не преступит:
Она бессмысленных очей
Не озарит огнем страстей
И вдруг стыдливо не потупит;
Не может локонов убрать
Небрежно, но уловкой тайной,
Ни по плечам как бы случайно
Широко ризы разметать.

1841

40

Звезда божественной Киприды!
Люблю я ранний твой восход
В часы, как ночь своей хламидой
Восток туманный обовьет.

Твоя блестящая лампада
Трапезы наши золотит,
Где Вакх, в венце из винограда
И тигра кожею покрыт,
С кипящей чашей председает.
Ты мир вселяешь средь дубров,
Где нимфа робко пробегает,
За ней влюбленный бог лесов.
Твой луч дрожащий вызывает
Гимн Филомелы иад ручьем.
Милей в сиянии твоем
Любви мечтательность н нежность,
И взором отражениый взор,
Одежды легкая небрежность
И полускромный разговор.

1841

Анакреон

41

Пусть гордится старый дед
Внуков резвою семьею,
Витязь — пленииков толпою
И трофеями побед;
Красота морей зыбучих —
Паруса судов летучих;
Честь народов — мудрый круг
Патриархов в блеске власти;
Для меня ж милей, мой друг,
В пору бурн и ненастий
В теплой хижине очаг,
Пия дубового отрубок
Да в руках тяжелый кубок,
В кубке хмель и хмель в речах.

1843

Проперций

42. ТУЛЛУ

Ты счастлив, Тулл, сидя безмолвно
Под сельским портиком своим
За чашей греческою, полной
Лесбийским соком золотым.
Ты взором следуешь спокойно
За бегом лодок по реке,
Пловцов внимая песни стройной,
Ловя их парус вдалеке
Или любуясь важным ходом
Влекомых вервями судов,
И на приветствия пловцов
Главой киваешь мимоходом.
Но, друг мой, Пафоса жрецу,
Мне не вкусить тех наслаждений!
Зато, когда на ложе лени,
Склонясь ко мне, лицом к лицу,
Задремлет Цинтия; когда я
В ее запутаю власах
Свои персты, в тиши внимая
Сквозьсонный лепет на устах
И ей любуясь, — что́ Пактолы
Златая россыпь для меня,
Всемирный скиптр, венец тяжелый
И бармы пышные царя!

1841

43. ЦИНТИИ

О Цинтия! вдали от друга своего,
Когда взираешь ты на волны голубые,
Обнявшие брега Неаполя златые,
И пальмы, и холмы, и портики его,
Ко мне ль летят твои игривые мечтанья?
Меня ли ищет взор на этих челноках,
Мелькающих вдали на белых парусах?
Всё та же ль ты, как в час последнего свиданья?
Быть может... страшная мечта!.. перед тобой

Иной на гимн любви кифары строй наладил...
Ты улыбаешься... а дерзкою рукой
Он имя Цинтии в стихах моих изгладил...
Быть может, на брегу зелено-теплых вод,
Под тенью ма́слины, густым плющом увитой,
Доверчиво ему внимаешь ты — и вот
Моя любовь и я — тобою всё забыто!..
Прочь! прочь, коварный сон! рассейся ты как дым!
Иль лучше ты яви мне Цинтию младую,
Как бродит, грустная, над озером лесным
И, в легком челноке, равнину водяную
Браздя веслом, собой любуется в водах,
Теряя розаны в взволнованных струях;
Иль в полдень у ручья, за рощею зеленой,
Одежды сбросивши на бархат луговой,
Спускается в ручей робеющей ногой,
Невольным визгом вдруг долину оглашает
И, воды расплеснув, как лебедь выплывает.

1841

Гораций

44

Скажи мне: чей челнок к скале сей приплывает?
Кто этот юноша, в венке из алых роз,
Укрыв свой челн в кустах, взбегает на утес
И в гроте на скале тебя он обнимает?..
Как счастлив он!.. Любовь в очах его горит!..
Но он, неопытный, не знает, как неверно
То море! как оно обманчиво блестит,
Подобно женщине, темно и лицемерно!
Твоя златая речь — крыло его ладьи.
Он думает найти любовь и наслажденье,
Но, боже мой! он бурь не слышит приближенья,
Свирепых моря бурь и страшных бурь любви!
Но мне уж этих гроз не страшно дуновенье:
Я вышел на́ берег, во храм, богам своим
Гирлянды возложил на жертвенник спасенья
И ризы влажные развесил перед ним.

1841

45

Легче лани юной ты
Убегаешь предо мною.
Залепечут ли листы,
Ветерок ли над водою
Пробежит, или в кустах
Слышен ящерицы шорох —
Уж ее объемлет страх,
Гнутся ноги, огнь во взорах.
Но я жду, что на бегу
Ты оглянешься к врагу,
И замедлишь шаг, и рядом
Вдруг очутишься со мной,
Страх забыв, потупясь взглядом,
Мне внимая всей душой!

1841

Марциал

46

Если ты хочешь прожить безмятежно, безбурно,
Горечи жизни не зная, до старости поздней, —
Друга себе не ищи и ничьим не зови себя другом:
Меньше ты радостей вкусишь, меньше и горя!

1842

Овидий

47. ПОСЛАНИЕ С ПОНТА

Здорово, добрый друг! здорово, консул новый!
Я знаю, — в пурпуре, и с консульским жезлом,
И в сонме ликторов, покинул ты свой дом
И в храм Юпитера течешь теперь, готовый
Пролить пред алтарем дымящуюся кровь...
Уверен, что купил народную любовь,

Взираешь ты, как чернь бросается толпами
На жареных быков с злачеными рогами...
Но если вдруг тебе твой раб письмо вручит,
Начертанное здесь изгнанника рукою, —
Как встретишь ты его? Чем взор твой заблестит?
Кивнешь ли вестнику приветно головою
Иль кинешь гневный взор дрожащему рабу?
Что б ни было! ты всё стоишь передо мною
Как прежний добрый друг... и я кляну судьбу,
Стократ ее кляну, что разлучен с тобою,
Что нет на торжестве твоем моих даров;
Что мне не суждено с сверкающим фалерном
Подняться со скамьи и голосом неверным —
От чувства полноты — прочесть тебе стихов!
Увы! мне самый стих латинский изменяет!
Уж мысль моя двойной одеждой щеголяет...
Уже Авзонии блестящие цветы
Бледнеют предо мной, а мирная долина,
Пустынные брега шумящего Эвксина
Да быта скифского суровые черты
Мне кажутся венцом высокой красоты!..
А песни дикарей!.. Меж скифов, в их пустыне,
Я сам стал полускиф. Поверишь ли, я ныне
Их диким языком владею как своим!
Я приучил его к себе, как зверя. Им
Я властвую: в ярмо он выю преклоняет,
Я правлю, и на Пинд как вихорь он взлетает...
Пойми меня, мой друг! пойми: мой грубый стих
Не втуне уж звучит среди пустынь нагих,
А принят, повторен и понят человеком!
И скифы дикие, подобно древним грекам,
С улыбкою зовут меня своим певцом!
Поэму я сложил их варварским стихом;
Для них впервые я воспел величье Рима
И всё, с чем мысль моя вовек неразлучима...
О дивном Августе звучала песнь моя...
Я пел Германика, им Друза славил я;
Я пел, как, победив батавов и тевтонов,
Они вступали в Рим, и пленные цари,
Окованные, шли средь римских легионов,
И сыпались цветы, дымились алтари,
И Август их встречал, подобный полубогу,

И слезы лил тайком на праздничную тогу...
Еще не кончил я, а эти дикари
Сверкали взорами, колчаны потрясали
И, изумленные, в восторге повторяли:
«Ты славишь Августа — зачем же ты не с ним?»
То скифы говорят, — а вот семь лет уж ныне,
Как, всеми позабыт, томлюся я в пустыне...

1842, 1857

48—50. *ЭПИКУРЕЙСКИЕ ПЕСНИ*[1]

1

Мирта Киприды мне дай!
Что мне гирлянды цветные?
Миртом любви увенчай,
Юноша, кудри златые!

Мирта зеленой лозой
Старцу венчавшись, отрадно
Пить под беседкой густой,
Крытой лозой виноградной.

⟨1840⟩

2

Блестит чертог; горит елей;
Ясмин и мирт благоухает;
Фонтан, шумя, между огней
Златыми брызгами играет.
Греми, волшебный гимн пиров!
Несите, юноши, плодов,
И роз, и листьев винограда:
Венчайте нас! Что в жизни нам?
Мы в жертву суждены богам ужасным ада,
А жертва пышная в богатствах вертограда —
Угоднее богам!

[1] Эти три стихотворения, которые я назвал «Эпикурейскими песнями», назначались в поэму «Три смерти», как бы сочинение Лукана; но одно за другим забраковывались.

Настанет час — воззрим сурово
Мы на гремящий жизни пир,
Как сей скелет белоголовый,
Беглец могил! На звуки флейт и лир
Он безответен, гость гробовый!
Но он ведь пел, и он любил,
И богу гроздий он служил...
О други! сыпьте роз Горациева сада
По сим белеющим костям
И свежей кистью винограда
Венчайте череп — этот храм,
Чертог покинутый и сирый,
Где обитал животворящий дух
Во дни, когда кифара с звонкой лирой
Его пленяли чуткий слух,
И пил он роз благоуханье,
Любил кристалл амфоры золотой,
И дев горячие лобзанья,
И трепет груди молодой!

Июль 1840
Каболовка

3

Остроумица, плясунья,
Неумолчная болтунья,
Жизнь, душа моих пиров,
Ты, мой маленький философ,
Пристыжаешь мудрецов
Разрешеньем их вопросов,
Пытки мудрых их голов!

И твержу я за тобою:
Смертный! с жизнию земною
Ты не много рассуждай!
Раньше чар ее приманку
И смелее разгадай!
Ты поймай ее, вакханку,
И из рук не выпускай!

Пусть, капризная, вертится,
И царапает, и злится,

Ты покров с нее сорви,
Мни гирлянды, плющ и розы,
В миг всю жизнь переживи,
Счастье, клятвы, ласки, слезы,
Всё безумие любви!

Те, которые узнали
В жизни бури вакханалий, —
Нет уж новости им в ней!
О, людская бестолковость!
Смертный! знай, что в жизни сей
Для тебя одна лишь новость:
Смерть — и тайный мир теней.

1850

ИЗ ВОСТОЧНОГО МИРА

51—52. *ЕВРЕЙСКИЕ ПЕСНИ*

1

Торжествен, светел и румян
Рождался день под небесами;
Белел в долине вражий стан
Остроконечными шатрами.
В уныньи горьком и слезах,
Я, пленник в стане сем великом,
Лежал один на камне диком,
Во власянице и в цепях.
Напрасно под покровом ночи
Я звал к себе приветный сон;
Напрасно сумрачные очи
Искали древний наш Сион...
Увы! над брегом Иордана
Померкло солнце прежних дней;
Как лес таинственный Ливана,
Храм без молитв и без огней.
Не слышно лютен вдохновенных,
Замолк тимпанов яркий звук,
Порвались струны лир священных —
Настало время слез и мук!
Но ты, господь, в завет с отцами
Ты рек: «Не кину свой народ!
Кто сеет горькими слезами,
Тот жатву радости сберет».
Когда ж, на вопль сынов унылых,
Сзовешь ко бранным знаменам
Оружеборцев молньекрылых
На месть неистовым врагам?
Когда с главы своей усталой

Израиль пепел отряхнет,
И зазвенят его кимвалы,
И с звоном арф он воспоет?

1838
Санкт-Петербург

2

(К картине «Введение во храм»)

Колыбель моя качалась
У Сиона, и над ней
Пальма божия склонялась
Темной купою ветвей;

Белых лилий Идумеи
Снежный венчик цвел кругом,
Белый голубь Иудеи
Реял ласковым крылом.

Отчего ж порой грущу я?
Что готовит мне судьба?
Всё смиренно, всё приму я,
Как господняя раба!

(1840)

53. МОЛИТВА БЕДУИНА

О солнце! твой щит вечным золотом блещет —
А море племен здесь клокочет и плещет...
Вдали от серебряных рек и ручьев,
Там бродит и гибнет в степи караван позабытый;
Напрасно ждут люди от вихрей песчаных защиты
Под грудью верблюдов и сенью шатров.

О солнце! накрой ты порфирой зеленой
Пустыни нагие; росой благовонной
Кокос наш, и финик, и пальму питай;
Смягчи серебро ты овнов белорунных Кедара;
Верблюдам дай силу идти средь безводья и жара;
Коням легкость ветра пустынного дай!

Самума от нас отврати ты заразы;
А к вечеру звезд сыпь на небе алмазы:

Пусть кроткий их блеск в сень радушных шатров
К нам путников степи ведет на ночлег издалёка!
И ярче лей пурпур и розы с златого востока
На люльки детей и гробницы отцов!

1839

54. ВЕРТОГРАД

Посмотри в свой вертоград:
В нем нарцисс уж распустился;
Зелен кедр; вокруг обвился
Ранний, цепкий виноград;
Яблонь в цвете благовонном,
Будто в снежном серебре;
Резвой змейкой по горе
Ключ бежит к долинам сонным...
Вертоград свой отопри:
Чтоб зацвесть, твой розан снежной
Ждет твоей улыбки нежной,
Как луча младой зари.

Сентябрь 1841

55. АНГЕЛ И ДЕМОН

Подъемлют спор за человека
Два духа мощные: один —
Эдемской двери властелин
И вечный страж ее от века;
Другой — во всем величьи зла,
Владыка сумрачного мира:
Над огненной его порфирой
Горят два огненных крыла.

Но торжество кому ж уступит
В пыли рожденный человек?
Венец ли вечных пальм он купит
Иль чашу временную нег?
Господень ангел тих и ясен:
Его живит смиренья луч;
Но гордый демон так прекрасен,
Так лучезарен и могуч!

1841

ЭЛЕГИИ

56. ИСПОВЕДЬ

Так, ветрен я, друзья! Напрасно я учусь
Себя обуздывать: всё тщетно! Тяжких уз
Мой дух чуждается... Когда на взор мой томный
Улыбку вижу я в устах у девы скромной —
Я сам не свой! Прости Сенека, Локк и Кант,
И пыльных кодексов старинный фолиант,
Лицей блистательный и портик величавый,
И знаменитый ряд имен, венчанных славой!
Опять ко мне придут игривая мечта,
И лики бледные, и имя на уста,
И взоры томные, и трепет сладкой неги,
И стих таинственный задумчивых элегий.

1841

57

О чем в тиши ночей таинственно мечтаю,
О чем при свете дня всечасно помышляю,
То будет тайной всем, и даже ты, мой стих,
Ты, друг мой ветреный, услада дней моих,
Тебе не передам души своей мечтанья,
А то расскажешь ты, чей глас в ночном молчаньи
Мне слышится, чей лик я всюду нахожу,
Чьи очи светят мне, чье имя я твержу.

Март 1841

58

Зачем средь общего волнения и шума
Меня гнетет одна мучительная дума?
Зачем не радуюсь при общих кликах я?
Иль мира торжество не праздник для меня?..
Блажен, кто сохранил еще знаменованье
Обычаев отцов, их темного преданья,
Ответствовал слезой на пение псалма;
Кто, волей оторвав сомнения ума,
Святую Библию читает с умиленьем,
И, вняв церковный звон, в ночи, с благоговеньем,
С молитвою зажег пред образом святым
Свечу заветную, и плакал перед ним.

28 марта 1841

59. ЖИЗНЬ

Грядущих наших дней святая глубина
Подобна озеру: блестящими водами
Оно покоится; волшебного их сна
Не будит ранний ветр, играя с камышами.
Пытливый юноша, годов пронзая мглу,
Подходит к берегам, разводит осторожно
Густые ветви ив и мыслию тревожной
За взором следует... По водному стеклу
Аврора пурпур свой рассыпала струисто...
Как темны гряды скал! как небо золотисто!
Как стаду мелких рыб, блистая в серебре,
На солнце радостно играть и полоскаться!
Но... юноша, беги! на утренней заре
Опять не приходи смотреть и любоваться
На это озеро! Теперь внимаешь ты
Лишь шепоту дерев и плеску волн шумливых;
А там, под образом блестящей красоты,
С приманкою любви, с приманкой ласк стыдливых,
Красавиц легкий рой мелькнет перед тобой;
Ты кинешься за ней, за милою толпой,
С родного берега... Паденья шум мгновенный,
Урчание и стон пучины пробужденной
Окрестность огласит, и скоро смолкнет он,

И стихнет всё. И что ж, под зеркалом кристалла,
Увидишь ты?.. Увы! исчезнет всё, как сон!
Ни рощ коралловых, ни храмов из опала,
Ни скал, увенчанных в златые тростники,
Ни нимф, свивающих в гирлянды и венки
Подводные причудливые травы...
Нет! ты падешь к одним скалам немым,
К растеньям, дышащим губительной отравой, —
И, вызвана падением твоим,
Толпа алкающих чудовищ
На жертву кинется, низвергнутую к ним
Приманкой красоты, и счастья, и сокровищ.

1839

60. БЕЗВЕТРИЕ

Как часто, возмущен сна грустным обаяньем,
Мой дух кипит в избытке сил!
Он рвется в облака мучительным желаньем,
Он жаждет воли, жаждет крыл.
О! молодая мысль с презреньем и тоскою
Глядит на жизни темной даль,
На труд, лелеемый пурпурною зарею,
На скорбь, на радость, на печаль...
Питая свой восторг, безумный и строптивый,
Мятежно рвется ввысь она...
В чертоги вымысла влекут ее порывы, —
Уж вот пред ней блестит волна,
Корабль готов отплыть, натянуты канаты,
Вот якорь поднят... с берегов
Народ подъемлет крик... вот паруса подъяты:
Лишь ветра ждут, чтоб грудь валов
Кормою рассекать... на палубе дрожащий
Пловец желанием горит:
«Простите, берега!..» Но — моря в влаге спящей
Ни зыби вкруг не пробежит,
Не будит ветерок игривыми крылами
Отяжелевших моря вод,
И туча сизая с сребристыми кудрями
Грозы дыханьем не пахнет...

На мачте паруса висят и упадают
Без силы долу... и пловец
В отчаяньи глядит, как воды засыпают,
Везде недвижны, как свинец;
Глядит на даль... но там лишь чаек слышит крики
И видит резкий их полет.
Вдали теряется в извивах берег дикий:
Там беспредельность настает...
Он смотрит с грустию — ни о́блака, ни тучи
Не всходит в синих небесах,
Не плещет, не шумит на мачте флаг летучий...
Уж ночь ложится на водах:
Он всё еще глядит на руль, где клубы пены
Облиты месячным лучом,
На мачты тонкий верх, туманом покровенный,
На флаг, обвившийся кругом...

1839
Санкт-Петербург

61. МРАМОРНЫЙ ФАВН

Бродил я в глубине запущенного сада.
Гас красный блеск зари. Деревья без листов
Стояли черные. Осенняя прохлада
Дышала в воздухе. Случайно меж кустов
Открыл я статую: то фавн был, прежде белый,
Теперь в сору, в пыли, во мху, позеленелый.
Умильно из ветвей глядел он, а оне,
Качаясь по ветру, в лицо его хлестали
И мраморного пня подножие скрывали.
Вкруг липы древние теснились, в глубине
Иные статуи из-за дерев мелькали;
Но мне была видна, обнятая кустом,
Одна лишь голова с смеющимся лицом.

Я долго идолом забытым любовался,
И он мне из кустов лукаво улыбался.
Мне стало жаль его. «Ты некогда был бог,
Цинический кумир! Тебе, при флейте звонкой,
Бывало, человек костер священный жег,
На камне закалал с молитвою ягненка
И кровью орошал тебя... О, расскажи:

Что, жаль тебе тех дней? Как ты расстался с властью,
Развенчанный? Тогда — бывали ближе ль к счастью
Младые племена? Иль это умной лжи
Несбытный вымысел — их мир и наслажденья?
Иль век одни и те ж земные поколенья?
Ты улыбаешься? .. Потом была пора,
Ты был свидетелем роскошного двора;
Тебя в развалинах как чудо отыскали,
Тебе разбили сад; вокруг тебя собрали
Тритонов и наяд, афинских мудрецов,
И римских цезарей, и греческих богов;
А всё смеялся ты, умильно осклабляясь...
Ты видел бальный блеск. По саду разливаясь,
Гремела музыка. В аллее темной сей
Чета любовников скрывалась от гостей:
Ты был свидетелем их тайного свиданья,
Ты видел ласки их, ты слышал их лобзанья...
Скажи мне: долго ли хранились клятвы их
Ненарушимыми? любовь в сердцах у них
Горела вечно ли, и долее ль, чем имя
И уверенья их, на мраморе твоем
Напечатленные и... смытые дождем?
Иль, может быть, опять под липами твоими
Являлися они, условившись с другими?
И твой лукавый смех из-за густых ветвей
С любви их не сорвал предательскую маску,
Не бросил им в лицо стыда живую краску?
. . . .

Так, молча, взором я статую вопрошал,
А циник мраморный язвительно смеялся.

1841

62. ПРИЗВАНИЕ

Шумя, на полных парусах,
Как на распущенных крылах,
Летел корабль, бесстрашно споря
С волнами девственного моря.
Казалось, чуждо было им
Досель неведомое бремя;

Спокойно венчанное темя
Они склоняли перед ним.
Был вечер. Палуба безмолвна:
Один пловец в плаще стоял
И взор на запад устремлял,
Где вечер гас, краснели волны.
Он видит — слева, между вод,
Громады скал. Их очерк странный
Ему знаком. В выси туманной
Из-за утесов восстает
Немая конная статуя,
Одета броней, со щитом,
И гордо каменным перстом
Ему на запад указуя.
Корабль летел, за водный склон
Зеленый остров погружался,
Тонули скалы, — только он,
Недвижный всадник, оставался,
На дальний запад обращен.

И понял странствователь света
Сокрытый смысл скалы немой:
То божий перст! не столп запрета!..
Вперед! за гаснущей зарей!
Ни безграничность синей дали,
Ни яд, ни ропота гроза,
Ни глубь, ни в гневе небеса
Его полет не устрашали.
Он плыл... И скоро, будто дым,
Под небом вечера златым
Открылись очерки утесов,
Под сенью пальм, в венце кокосов.
И пали ниц пловцы пред ним,
Познав в нем божьего пророка...
Что ж думал он, пловец высокий,
Когда на землю он взирал,
Молился и рукою смелой,
Во имя мудрой Изабеллы,
Кортесов знамя водружал?

Блажен, кто понял с колыбели
Свое призванье в жизни сей

И смело шел между зыбей
К пределу избранныя цели;
Кто к ней всегда руководим
Единой мыслью неизменной,
Как Генуэзец, вдохновенный
Гранитным всадником своим!

4 апреля 1841

ОЧЕРКИ РИМА

63. НА ПУТИ

Долин альпийских сын, хозяин мирный мой,
С какою завистью гляжу на домик твой!
Не здесь ли счастие? Лишь с юною весною
Нагорные ручьи журчащею струею
С холмов меж зеленью младою утекут,
Твой стол обеденный искусно уберут
Младыми розами и почками лилеи
Подруги дней твоих игривые затеи;
И стадо дар несет, с полей его собрав,
Дышащий запахом новорожденных трав;
И голос соловья в саду звучит и блещет,
И ласточек семья под кровлею щебещет,
И пчелы шумною гирляндою летят
К цветущим яблоням, в твой благовонный сад...
Ты любишь ближнего и горд своей свободой,
Ты всё нашел, чего веками ждут народы...

1843

64. CAMPAGNA DI ROMA[1]

Пора, пора! Уж утро славит птичка,
И свежестью пахнуло мне в окно.
Из города зовет меня давно
К полям широким старая привычка.
Возьмем коней, оставим душный Рим,

[1] Римская Кампанья (итал.). — *Ред.*

И ряд дворцов его тяжеловесных,
И пеструю толпу вдоль улиц тесных,
И воздухом подышим полевым.

О! как легко! как грудь свободно дышит!
Широкий горизонт расширил душу мне...
Мой конь устал... Мысль бродит в тишине,
Земля горит, и небо зноем пышет...
Сабинских гор неровные края
И Апеннин верхи снеговенчанны,
Шум мутных рек, бесплодные поля,
И, будто нищий с ризою раздранной,
Обломок башни, обвитой плющом,
Разбитый храм с остатком смелых сводов
Да бесконечный ряд водопроводов
Открылися в тумане голубом...
Величие и ужас запустенья...
Угрюмого источник вдохновенья...
Всё тяжко спит, всё умерло почти...
Лишь простучит на консульском пути
По гладким плитам конь поселянина,
И долго дикий всадник за горой
Виднеется, в плаще и с палкой длинной,
И в шапке острой... Вот в тени руины
Еще монах усталый и босой,
Окутавшись широким капюшоном,
Заснул, склонясь на камень головой,
А вдалеке, под синим небосклоном,
На холме мазанка из глины и ветвей,
И кипарис чернеется над ней...

Измученный полудня жаром знойным,
Вошел я внутрь руин, безвестных мне.
Я был объят величьем их спокойным.
Глядеть и слушать в мертвой тишине
Так сладостно!.. Тут целый мир видений!..
То цирк был некогда; теперь он опустел,
Полынь и терн уселись на ступени,
Там, где народ ликующий шумел;
Близ ложи цезарей еще лежали
Куски статуй, курильниц и амфор:
Как будто бы они здесь восседали

Еще вчера, увеселяя взор
Ристанием... но по арене длинной
Цветистый мак пестреет меж травой
И тростником, и розой полевой,
И рыщет ветр, один, что конь пустынный.
Лохмотьями прикрыт, полунагой,
Глаза как смоль и с молниею взгляда,
С чернокудрявой, смуглой головой,
Пасет ребенок коз пугливых стадо.
Трагически ко мне он руку протянул,
«Я голоден, — со злобою взывая. —
Я голоден!..» Невольно я вздохнул
И, нищего и цирк обозревая,
Промолвил: «Вот она — Италия святая!»

1844

65

Ах, чудное небо, ей-богу, над этим классическим Римом!
Под этаким небом невольно художником станешь.
Природа и люди здесь будто другие, как будто картины
Из ярких стихов антологии древней Эллады.
Ну, вот, поглядите: по каменной белой ограде разросся
Блуждающий плющ, как развешанный плащ иль завеса;
В средине, меж двух кипарисов, глубокая темная ниша,
Откуда глядит голова с преуродливой миной
Тритона. Холодная влага из пасти, звеня, упадает.
К фонтану альбанка (ах, что за глаза из-под тени
Покрова сияют у ней! что за стан в этом алом корсете!)
Подставив кувшин, ожидает, как скоро водою
Наполнится он, а другая подруга стоит неподвижно,
Рукой охватив осторожно кувшин на облитой
Вечерним лучом голове... Художник (должно быть, германец)
Спешит срисовать их, довольный, что случай нежданно

В их позах сюжет ему дал для картины, и вовсе
не мысля,
Что я срисовал в то же время и чудное небо,
И плющ темнолистый, фонтан и свирепую рожу тритона,
Альбанок и даже — его самого с его кистью!

1844

66. AMOROSO[1]

Выглянь, милая соседка,
В окна комнаты своей!
Душит запертая клетка
Птичку вольную полей.

Выглянь! Солнце, потухая,
Лик твой ясный озарит
И угаснет, оживляя
Алый блеск твоих ланит.

Выглянь! глазками легонько
Или пальчиком грозя,
Где ревнивец твой, тихонько
Дай мне знать, краса моя!

О, как много б при свиданье
Я хотел тебе сказать;
Слышать вновь твое признанье
И ревнивца поругать...

Чу! твой голос! песни звуки...
И гитары тихий звон...
Усыпляй его, баюкай...
Тише... что?.. заснул уж он?

Ты в мантилье, в маске черной
Промелькнула пред окном;
Слышу, с лестницы проворно
Застучала башмачком...

1845

---

[1] Любовник (итал.). — *Ред.*

67. ПОСЛЕ ПОСЕЩЕНИЯ ВАТИКАНСКОГО МУЗЕЯ

Еще я слышу вопль и рев Лаокоона,
В ушах звенит стрела из лука Аполлона,
И лучезарный сам, с дрожащей тетивой,
Восторгом дышащий, сияет предо мной...
Я видел их: в земле отрытые антики,
В чертогах дорогих воздвигнутые лики
Мифических богов и доблестных людей:
Олимпа грозного властителей священных,
Весталок девственных, вакханок исступленных,
Брадатых риторов и консульских мужей,
Толпе вещающих с простертыми руками...

Еще в младенчестве любил блуждать мой взгляд
По пыльным мраморам потемкинских палат.
Там, в зале царственном, меж пышными столбами,
Увитыми кругом сребристыми листами,
Как часто я стоял и с думой, и без дум
И с строгой красотой дружил свой юный ум.
Антики пыльные живыми мне казались,
Как будто бы и мысль, и чувство в них
скрывались...
Забытые в глуши блистательным двором,
Казалось, радостно с высоких пьедесталов
Они внимали шум шагов моих вдоль залов,
И, властвуя моим младенческим умом,
Они роднились с ним, как сказки умной няни,
В пластической красе мифических преданий...

Теперь, теперь я здесь, в отчизне светлой их,
Где боги меж людей, прияв их образ, жили
И взору их свой лик бессмертный обнажили.
Как дальний пилигрим среди святынь своих,
Средь статуй я стоял... Мне было дико, странно:
Как будто музыке безвестной я внимал,
Как будто чудный свет вокруг меня сиял,
Курился мирры дым и нард благоуханный,
И некто дивный был и говорил со мной...
С душой, подавленной восторженной тоской,
Глядел в смущеньи я на лики вековые,

Как скифы дикие, пришедшие с Днепра,
Средь блеска пурпура царьградского двора,
Пред благолепием маститой Византии,
Внимали музыке им чуждой литургии...

1845

68

На дальнем Севере моем
Я этот вечер не забуду.
Смотрели молча мы вдвоем
На ветви ив, прилегших к пруду;
Вдали синел лавровый лес
И олеандр блестел цветами;
Густого мирта был над нами
Непроницаемый навес;
Синели горные вершины;
Тумана в золотой пыли
Как будто плавали вдали
И акведуки, и руины...
При этом солнце огневом,
При шуме водного паденья,
Ты мне сказала в упоенье:
«Здесь можно умереть вдвоем...»

1844

69. НИЩИЙ

Джузеппе стар и дряхл; на площадях лежит
С утра до вечера, читает вслух каноны
И молит помощи он именем Мадонны;
И в тридцать лет себе, как то молва гласит,
Два дома выстроил, и третий кончит скоро,
Женил двух сыновей, и внучек любит страх.
На пышной лестнице старинного собора,
Красиво развалясь на мраморных плитах,
Картинно голову прикрыв лохмотьем старым,
Казалось, он заснул... А тут, в его ногах,
Сидела девочка. Под этим жгучим жаром —
С открытой шеею, с открытой головой,

С обрывком на плечах какой-то ткани грубой, —
Но — волосы, глаза — и точно перлы зубы —
И взгляд, поднявшийся на нас как бы с мольбой:
«*Его* не разбудить». Худые ноги, руки —
Мурильо!.. Но старик Джузеппе не дремал:
Во всем величии отчаянья и муки
Он вдруг приподнялся и глухо простонал:
«Я трн дня голодал»... Ресницы опустила
Невольно девочка — и точно охватила
Ее внезапная и жгучая тоска...
Она вся вспыхнула и что-то нам хотела,
Казалося, сказать — но говорить не смела
И — быстро спряталась в лохмотья старика...

1844

70. КАПУЦИН

Разутый капуцин, веревкой опоясан,
В истертом рубище, с обритой головой,
Пред раболепною народною толпой,
Восторженный, держал евангельское слово.
Он слезы проливал, полн рвения святого,
Рвал клочья бороды, одежду раздирал,
В нагую грудь себя нещадно ударяя.
Народ, поверженный во прах пред ним, рыдал,
Проклятьям и слезам молитвенно внимая.
Колено преклонил и я между толпой,
Но строгой истины оракул громовой
Не потрясал души моей. Иные думы
Тревожили мой дух суровый и угрюмый.
Провиденно мой взор в сердца людей проник.
Там плакал и стонал, как мальчик, ростовщик,
Там, бледен, слезы лил разбойник закоснелый;
Блудница дряхлая, узрев могилы сень,
Молилась о грехах душою оробелой.
Но ты, дитя мое, ты, чистая как день,
Как первые цветы весны благоуханной,
Что плачешь ты? о чем? Беды ль тебя нежданной
Томит предчувствие? Иль, с страстию в борьбе,
Ты хочешь выплакать мятежных чувств избыток?
Иль дух твой напугал теперь раскрытый свиток

Пороков и злодейств, и мысль страшна тебе,
Что, может, и в твоей начертано судьбе
Пройти чрез тот же путь и у могильной сени
Слезами смыть клеймо таких же заблуждений?

1844

71. В ОСТЕРИИ

Пеппо, выпьем!.. Видишь, буря
Разыгралася в горах!
В блеске молний, очи жмуря,
Кони бесятся впотьмах.

Что колпак остроконечный
Ты надвинул на глаза?
Или есть недуг сердечный,
Иль на совести гроза?

Знаю, за дурное слово,
За обиду острый нож,
Не боясь суда людского,
Прямо в сердце ты воткнешь;

Знаю, ты вина за чаркой,
За повадливую речь
Смело в бой полезешь жаркой
И готов в могилу слечь...

Ведь таков и лев свирепой;
Был Андрокл... слыхал ли ты?..
Нет? Так выпьем лучше, Пеппо,
Без ученой пустоты!

1841

72. FORTUNATA[1]

Ах, люби меня без размышлений,
Без тоски, без думы роковой,
Без упреков, без пустых сомнений!
Что тут думать? Я твоя, ты мой!

---

[1] Счастливая (итал.). — *Ред.*

Всё забудь, всё брось, мне весь отдайся!..
На меня так грустно не гляди!
Разгадать, что в сердце, — не пытайся!
Весь ему отдайся — и иди!

Я любви не числю и не мерю,
Нет, любовь есть вся моя душа.
Я люблю — смеюсь, клянусь и верю...
Ах, как жизнь, мой милый, хороша!..

Верь в любви, что счастью не умчаться,
Верь, как я, о гордый человек,
Что нам ввек с тобой не расставаться
И не кончить поцелуя ввек...

1845

73. НИМФА ЭГЕРИЯ

Fecémmi la divina potestate,
La somma sapienza e l'prima amore.

Dante, Inf, Cant. III[1]

Жила я здесь, во мраке дубов мшистых;
Молчание пещеры, плеск ручья,
Густая синь небес, лесов тенистых

Далекий гул, и жар златого дня,
И ночи тишь — всё было полно мною.
Учила здесь и царствовала я.

Во время оно муж, с седой главою,
С челом, на коем дума с юных лет
Изваялась, со свитком и доскою,

Являлся звать меня. Внезапный свет
Его челу давала я. Мгновенно
Безжизненный был оживлен скелет.

---

[1] Я сотворен божественной силой, высшим знанием и первой любовью. *Данте, Ад, песнь III* (итал.). — *Ред.*

Он, грозный, думал; после, на колено
Склонивши доску, думал и чертил
Закон или кровавый, иль смиренный.

Он иногда довольством светел был;
Порой, смотря на роковые строки,
Взор отвращал, бледнел и слезы лил.

Являлась я ему в тот миг жестокий.
Он голову склонял к моей груди,
Как человек, прошедший путь далекий

И утомленный ношею в пути,
Иль как отец, свершая суд суровый,
На казнь велевший сына отвести.

«Ужель векам пишу закон громовый?
Чтоб меж людей добро укоренять,
Ужель нужна лишь плаха да оковы?..»

Вздыхала я, упорствуя молчать.
Старик опять читал свои скрижали,
И снова думал, и писал опять.

1844

74. ТИВОЛИ

Боже! как смотришь на эти лиловые горы,
Ярко-оранжевый запад и бледную синь на востоке,
Мраком покрытые виллы и рощи глубокой долины;
На этот город, прилепленный к горному склону,
Белые стены, покрытые плющем густым, кипарисы,
Лавры, шумящие воды, и там на скале, озаренный
Слабым сияньем зари, на колоннах изящных,
Маленький храмик Цибелы, алтарь и статуи, —
Грустно подумать, что там за горами, на полночь,
Люди живут и не знают ни гор в багряницах
Огненных зорь, ни широких кругом горизонтов!..
Больно; сжимается сердце и мысль... Но грустнее
Думать, что бродишь там в поле, богатом покосом,
В темных лесах, и ничто в этой бедной природе

Мысли твоей утомленной не скажет, как этой
Виллы обломки: «Здесь некогда, с чашей фалерна,
В мудрой беседе, за долгой трапезой с друзьями,
Туллий отыскивал тайны законов созданья»;
Розы лепечут: «Венчали мы дев смуглолицых,
Сладко поющих Милета и Делоса дщерей,
Лирой и пляской своей потешавших Лукулла»;
Воды: «Под наше паденье, под музыку нашу
Ямб и гекзаметр настроивал умный Гораций»;
Гроты, во мраке которых шумят водопады:
«Здесь говорила устами природы Сивилла;
Жрец многодумный таинственно в лунные ночи
Слушал глаголы богини и после вещал их
Робкой толпе со ступеней Цибелина храма...
В недрах горы между тем собирались, как тени,
Ратники новыя веры, и раб и патриций;
Слышались странные звуки и чуждое пенье,
Будто Везувий, во мраке клокочущий лавой, —
И выходили потом, просветленные свыше,
В мир на мученье, с глаголом любви и смиренья...»

1844

75

«Скажи мне, ты любил на родине своей?
Признайся, что она была меня милей,
Прекраснее?»
— «Она была прекрасна...»

«Любила ли она, как я тебя, так страстно?
Скажи мне, у нее был муж, отец иль брат,
Над чьим дозором вы смеялися заочно?
Всё расскажи... и как порою полуночной
Она спускалася к тебе в тенистый сад?
Могла ль она, как я, так пламенно руками,
Как змеи сильными, обвить тебя? Уста,
Ненасытимые в лобзаньи никогда,
С твоими горячо ль сливалися устами?
В те ночи тайные, когда б застали вас,
Достало ли б в ней сил, открыто, не страшась,
В глаза им объявить, что ты ее владенье,

Жизнь, кровь, душа ее? На строгий суд людей
Глядела ли б она спокойным, смелым взором?
Гордилась ли б она любви своей позором?..
Ты улыбаешься... ты думаешь о ней...
О, хороша она... и образ ненавистный
Я вырвать не могу из памяти твоей!..»

«Ах, не брани ее! Глубоко, бескорыстно
Любили мы. Но верь, ни разу ни она,
Ни я, любви своей мы высказать не смели.
Она была со мной как будто холодна;
Любя, друг друга мы стыдились и робели:
Лишь худо скрытый вздох, случайный, беглый взор
Ей изменял. У нас всегда был разговор
Незначащ, о вещах пустых, обыкновенных,
Но как-то в тех словах, в той болтовне пустой,
Угадывали мы душою смысл иной
И голос слышали страданий сокровенных.
И только раз уста мои ее руки
Коснулись; но потом мне стыдно, больно было,
Когда она ко мне безмолвно обратила
Взор, полный слез, мольбы, укора и тоски...
Тот взор мне всё сказал; он требовал пощады...
Он говорил мне: нам пора, расстаться надо...»

«И вы расстались?»
— «Расстались. Я сказать
Хотел ей что-то, и она, казалось, тоже;
Но тут вошли — должны мы были замолчать...»
— «Любить! Молчать!!. И вы любили?!. Боже,
Боже!..»

1844

76. ХУДОЖНИК

Кисти ты бросил, забыл о палитре и красках,
Проклял ты Рим и лилово-сребристые горы;
Ходишь как чумный; на дев смуглолицых не смотришь;
Ночью до утра сидишь в остерии за кружкой,
Хмурый, как родина наша... И Лора горюет,

Тщетно гадая, о чем ты тоскуешь, и смотрит
В очи тебе, и порой ловит бред твой сквозьсонный.
Что, не выходит твой Рим на картине? Что, воздух
Тонкой струей не бежит между листьев? Солнце
Легким, игривым лучом не скользит по аллее?
Горы не рядятся в легкую дымку туманов полудня?
Руку, художник! ты тайну природы постигнешь!
Думать будет картина — ты сам, негодуя,
Выносил в сердце тяжелую думу.

1845

77. FIORINA

«Смуглянка милая, я из страны далекой,
И здесь в развалинах блуждаю одинокой,
И всё-то чудно мне... Скажи, ты рождена
В долине здесь: скажи, какое это зданье?
Ты знаешь, ангел мой, как говорит преданье,
Кем строено, зачем, в какие времена?»
— «Не знаю, мы сюда за земляникой ходим,
А на зиму стада пастись сюда приводим
Бывают многие и смотрят. Кардинал
Сюда с двором своим намедни приезжал.
Я ягод подала ему; он взял немного,
Благословил меня, велел молиться богу,
Красавицей меня и умницей назвал ..
На мне в тот день венок был из листков дубовых,
А в косы я вплела нить бисеров перловых».

1845

78. ДВОЙНИК

Назвавши гостей, приготовил я яств благовонных,
В сосуды хрустальные налил вина золотого,
Убрал молодыми цветами свой стол, и, заране
Веселый, что скоро здесь клики и смех раздадутся,
Вокруг я ходил, поправляя приборы, плоды и гирлянды.
Но гости не йдут никто... Изменила и ты, молодая
Царица стола моего, для которой нарочно
Я лучший венок приготовил из лилий душистых,

Которой бы голос и яркие очи, уста и ланиты
Служили бы солнцем веселости общей, законом
И сладкой уздой откровенному Вакху... Что ж делать?
Печально гляжу я на ясные свечи, ряд длинный
приборов...
А где же друзья? Где она?.. Отчего не явилась?..
Быть может...
Ведь женское сердце и женская клятва что ветер...
Эх, сяду за кубок один я... Один ли?.. А он,
неотступный,
Зачем он, непрошеный гость, предо мною уселся,
С насмешкой глядит мне в глаза? И напрасно
движенья
Досады и ревности скрыть перед ним я стараюсь...
Ох, трудно привыкнуть к нему, хоть давно мы
знакомы!
Всё страшно в нем видеть свой образ, но только без
сердца,
Без страсти и с вечно холодной логической речью...
Софист неотступный, оставь меня! Что тебе пользы,
Хирург беспощадный, терзать мою душу?..

1843, 1844

79. LORENZO

Слава богу, деньги есть.
Шляпу на́ брови надвину,
Плащ широкий перекину
Чрез плечо... войду я в честь.

Встретит князь меня с почтеньем,
И поклонится аббат,
И маркизы с приглашеньем
Мне навстречу полетят.

Я высок, красив и ловок...,
Речь — серебряная нить;
Знаю тайну всех уловок
Сердце женщины дразнить.

В будуар благоуханный
В ночь прокра́дусь я тайком...
Потоскует сердце Нанны,
Знаю я... да что ж мне в том?

Деньги выйдут... что ж за дело?
Молоток возьму я свой,
Буду сечь я мрамор белый
У скульпто́ра в мастерской.

А наскучит — повалюся
Я на паперти церквей
И калекой притворюся,
Мол, уродец с детских дней!

Стыдно, что ль? Пускай пеняют,
Что казны не клал под спуд!..
А маркизы?.. Не узнают!
А узнают — прочь пойдут.

Что мне в них? Всегда от Нанны,
Будь в чести ль, в лохмотье ль я,
Я услышу: «Друг желанный,
Гость мой милый, я твоя!»

1845

80

Всё утро в поисках, в пещерах, под землей,
В гробницах, в цирках!.. Ну, пусть труд
свершают свой
Сопутники мои — этрурский антикварий
И немец, кропотун в разборе всякой стари!
Довольствуюся я, как славянин прямой,
Идеей общею в науке Винкельмана.
Какое дело мне до точности годов,
До верности имен! Голодный, я готов
Хоть к черту отослать Метелла и Траяна...
И жар невыносим! Вся выжжена земля!
Зеленых ящериц пугливая семья
Под листья прячется, шумя плющом руины;

Далекий горизонт в серебряной пыли...
А! вот под аркою старинною в тени
Домишко, слепленный из тростника и глины!
Прощайте! Ну, мой конь! вот берег! берег! в путь!
Ведь в этой хижине живет какой-нибудь
Потомок Ромула, Помпея иль Нерона!
Стучусь: «Э-ге! кто там! Signor padron! padrona!..»[1]
О Рим, о чудный край! Всё кажется здесь сном!
Передо мной стоит, с широкими косами,
Хозяйка стройная, с блестящими очами,
Со смугло-палевым классическим лицом
И южной грацией движений и улыбок...
А как роскошный стан изваян! как он гибок!..
Я с жадностью следил, как ставила она
Передо мною сыр с фиаскою вина...
«Вы замужем?» — «Мой муж уехал в город».
— «Долго
Пробудет?» — «Дня два, три...» Тут говорил я ей
О мнимой святости супружеского долга,
Что вообще любить не надобно мужей,
А сердцу выбор дать. Она сперва молчала
Иль с миной набожной серьезно отвечала:
«Так бог велит». Потом, вдруг пальчик свой прижав
К устам и глазками на угол указав,
Шепнула: «Завтра». Я взглянул на угол темный
И вижу: капюшон спустивши, тихо, скромно,
Храня смирения и умиленья вид,
Молитву набожно свершает иезуит.

1845

81. ГАЗЕТА

Сидя в тени виноградника, жадно порою читаю
Вести с далекого Севера — поприща жизни разумной...
Шумно за Альпами движутся в страшной борьбе
поколенья:
Ломятся с треском подмостки старинной громады,
и смело
Мысль обрывает кулисы с плачевного зрелища правды.

---

[1] Хозяин! хозяйка! (итал.). — *Ред.*

Здесь же всё тихо: до сени спокойно-великого Рима
Громы борьбы их лишь эхом глухим из-за Альп
долетают;
Точно из верной обители смотришь, как молнии стрелы
Тучи чертят, вековые леса зажигают,
Крест золотой с колокольни ударом сорвут и разгонят
В страхе людей, как пугливое стадо овец изумленных...
Так бы хотелось туда! Тоже смело бы, кажется, бросил
Огненный стих с сокрушительным словом!.. Поникнешь
в раздумье
Вдруг головой: выпадает из рук роковая газета...
Но как припомнишь подробности в целом торжественной
драмы,
Жалких Ахиллов журнального мира и мелких Улиссов;
Вспомнишь корысть их, как двигатель — впрочем,
великого дела, —
Точно как сон отряхнув, поглядишь на тебя, моя Нина,
Как ты, ревнуя меня не к газете, а к Нанне-соседке,
Сядешь напротив меня, сохраняя серьезную мину,
Губки надув, и нарочно не смотришь мне в очи...
Мгновенно
Всё позабудешь: и грязь, и величье общественной драмы,
Бросишься мигом тебя целовать. Ты противишься,
с сердцем,
Чуть не сквозь слез, уклоняя уста от моих поцелуев,
и после
Легкой борьбы добровольно уступишь, и долгим
лобзаньем
Я заглушаю в устах у тебя и укоры, и брань.

1845

82. АНТИКИ

О мрамор, хранилище мысли былых поколений!
В могилах тебя отыскали средь пепла и камней;
Художник сложил воедино разбитые члены,
Трудяся с любовью, как будто бы складывал вместе
Куски драгоценные писем от милой, безумно
Разорванных в гневе... Израненный, ныне пред нами
Стоишь ты в чертогах, и люди к тебе издалёка
Стремятся, как к чудной святыне толпы
пилигримов...

Творцы твои были, быть может, честимы и славны,
На площади града венчанны шумящим народом,
В палаты царей приходили, как лучшие гости!..
Иль, может быть, в жизни узнали лишь горе да голод,
Труда вдохновенные ночи да творчества гордость,
И ныне их имя погибло, и, может быть, поздно
Узнали их гений... и им неизвестно осталось,
Какой фимиам воскурен им далеким потомством,
Нелживый и чистый, подобный тому, что курили
В Афинах жрецы алтарям Неизвестного бога...

⟨1843⟩

83. ИГРЫ

«Хлеба и зрелищ!»

Кипел народом цирк. Дрожащие рабы
В арене с ужасом плачевной ждут борьбы.
А тигр меж тем ревел, и прыгал барс игривой,
Голодный лев рычал, железо клетки грыз,
И кровью, как огнем, глаза его зажглись.
Отворено: взревел, взмахнув хвостом и гривой,
На жертву кинулся... Народ рукоплескал...
В толпе, окутанный льняною, грубой тогой,
С нахмуренным челом седой старик стоял,
И лик его сиял, торжественный и строгой.
С угрюмой радостью, казалось, он взирал,
Спокоен, холоден, на страшные забавы,
Как кровожадный тигр добычу раздирал
И злился в клетке барс, почуя дух кровавый.
Близ старца юноша, смущенный шумом игр,
Воскликнул: «Проклят будь, о Рим, о лютый тигр!
О, проклят будь народ без чувства, без любови,
Ты, рукоплещущий, как зверь, при виде крови!»
— «Кто ты?» — спросил старик. «Афинянин! Привык
Рукоплескать одним я стройным лиры звукам,
Одним жрецам искусств, не воплям и не мукам...»
— «Ребенок, ты не прав», — ответствовал старик.
— «Злодейство хладное душе невыносимо!»
— «А я благодарю богов-пенатов Рима».
— «Чему же ты так рад?» — «Я рад тому, что есть
Еще в сердцах толпы свободы голос — честь:

Бросаются рабы у нас на растерзанье —
Рабам смерть рабская! Собачья смерть рабам!
Что толку в жизни их — привыкнувших к цепям?
Достойны их они, достойны поруганья!»

1846

84

Сижу задумчиво с тобой наедине;
Как прежде, предо мной синеют даль и горы...
Но с тайной робостью покоишь ты на мне
Внимательной тоски исполненные взоры...
Ты чувствуешь, что есть соперница тебе —
Не дева юная... ты слышишь, призывает
Меня немая даль, влечет к иной судьбе...
Ты чувствуешь, мой дух в тоске изнемогает,
Как пленный вождь, восстал от сладких снов любви
И силы новые он чувствует в крови,
И, зодчий ревностный, упрямое мечтанье
Уже грядущего сооружает зданье...

1843

85. ДРЕВНИЙ РИМ

Я видел древний Рим: в развалине печальной
И храмы, и дворцы, поросшие травой,
И плиты гладкие старинной мостовой,
И колесниц следы под аркой триумфальной,
И в лунном сумраке, с гирляндою аркад,
Полуразбитые громады Колизея...
Здесь, посреди сих стен, где плющ растет, чернея,
На прахе Форума, где у телег стоят
Привязанные вкруг коринфской капители
Рогатые волы, — в смущеньи я читал
Всю летопись твою, о Рим, от колыбели,
И дух мой в сладостном восторге трепетал.
Как пастырь посреди пустыни одинокой
Находит на скале гиганта след глубокой,
В благоговении глядит, и, полн тревог,
Он мыслит: здесь прошел не человек, а бог, —

Сыны печальные бесцветных поколений,
Мы, сердцем мертвые, мы, нищие душой,
Считаем баснею мы век громадный твой
И школьных риторов созданием твой гений!..
Иные люди здесь, нам кажется, прошли
И врезали свой след нетленный на земли —
Великие в бедах, и в битве, и в сенате,
Великие в добре, великие в разврате!
Ты пал, но пал, как жил... В падении своем
Ты тот же, как тогда, когда, храня свободу,
Под знаменем ее ты бросил кров и дом,
И кланялся сенат строптивому народу...

. . . .

Таким же кончил ты... Пускай со всей вселенной
Пороков и злодейств неслыханных семья
За колесницею твоею позлащенной
Вползла в твой вечный град, как хитрая змея;
Пусть голос доблести уже толпы не движет;
Пускай Лициния она целует прах,
Пускай Лициний сам следы смиренно лижет
Сандалий Клавдия, бьет в грудь себя, в слезах
Пред статуей его пусть падает в молитве —
Да полный урожай полям он ниспошлет
И к пристани суда безвредно приведет:
Ты духу мощному, испытанному в битве,
Искал забвения... достойного тебя.
Нет, древней гордости в душе не истребя,
Старик своих сынов учил за чашей яду:
«Покуда молоды — плюща и винограду!
Дооблачных палат, танцовщиц и певиц!
И бешеных коней, и быстрых колесниц,
Позорищ ужаса, и крови, и мучений!
Взирая на скелет, поставленный на пир,
Вконец исчерпай всё, что может дать нам мир!
И, выпив весь фиал блаженств и наслаждений,
Чтоб жизненный свой путь достойно увенчать,
В борьбе со смертию испробуй духа силы,
И, вкруг созвав друзей, себе открывши жилы,
Учи вселенную, как должно умирать».

(1843)

86. PALAZZO[1]

Войдемте: вот чертог с богатыми столбами,
Земным полубогам сооруженный храм.
Прохлада царствует меж этими стенами,
Лениво бьет фонтан по мраморным плитам;
Террасы убраны роскошными цветами,
И древние гербы блистают по стенам —
Эмблемы доблести фамилий, гордых властью:
Кабаньи головы да львы с открытой пастью.

Здесь всё еще хранит следы времен былых;
Везде минувшего остатки вековые.
Вот груды пышные доспехов боевых,
И исполинский меч, и латы пудовые,
И Палестины ветвь, и кость мощей святых;
Там пыток варварских орудья роковые,
Колеса и зубцы; вкруг дивный дар руин —
Антики желтые и длинный ряд картин:

То предки гордые фамилии высокой.
Там старцы: латы их изрублены в боях,
И страшен яркий взгляд с улыбкою жестокой...
Там красный кардинал, в маститых сединах,
Коленопреклонен, с молитвою глубокой,
Перед мадонною с младенцем на руках;
Там юноша, средь муз, любимый Аполлоном,
Венчанный миртами лукавым Купидоном.

Там жены: та бела, как мрамор гробовой,
В потускшем взгляде скорбь и ужас затаенный...
То жизнь, убитая боязнью и тоской,
То жалоба души, судьбою обреченной
Служить для деспота свирепого рабой
И сластолюбия забавою презренной;
Как будто говорит она: «Здесь дни губя,
Жила и умерла я в муках, не любя...»

Та — жизни полная и в блеске самовластья —
Сомкнутые уста, нахмуренная бровь...

---

[1] Дворец (итал.). — *Ред.*

Обыкновенных жен ей мало было счастья,
И гордая душа прорвалась из оков;
Служили ей кинжал, и яд, и сладострастье
На шумных оргиях, и мщенье, и любовь, —
И взор ее горит насмешкой исступленной,
Всей гордостью души, глубоко оскорбленной...
. . . .

И ныне пусто всё в блестящей галерее...
На этих мраморах густая пыль лежит;
Оборванный лакей, в истасканной ливрее,
На креслах бархатных раскинувшись, храпит;
И в залах, как среди развалин Колизея,
Семейство англичан кочует и шумит...
А вы — вы кинули отцов чертог печальный,
Наследники их прав и чести феодальной?

Благословенье вам! Не злато, не гербы
Вам стали божеством, а разум и природа,
И громко отреклись вы от даров судьбы —
От прав, украденных отцами у народа,
И вняли вы призыв торжественной борьбы,
И движет вами клик: «Италии свобода!»
И гордо шелестит, за честь страны родной,
Болонская хоругвь над вашей головой!

Благословенье вам! Италии спасенной
В вас избавителей увидеть суждено!..
Но тише... Здесь живут: раскинут стол зеленый,
Вчера здесь пир был: всё исписано сукно;
Там дребезги стекла... бокал неосушенный...
И солнце облило лучами, сквозь окно,
Перчатки женские и бюст Сократа важный,
Накрытый шляпкою красавицы продажной.

1847

ЖИТЕЙСКИЕ ДУМЫ

87. ПОСЛЕ БАЛА

Мне душно здесь! Ваш мир мне тесен!
Цветов мне надобно, цветов,
Веселых лиц, веселых песен,
Горячих споров, острых слов,
Где б был огонь и вдохновенье,
И беспорядок, и движенье,
Где б походило всё на бред,
Где б каждый был хоть миг — поэт!
А то — сберетеся вы чинно;
Гирлянды дам сидят в гостиной;
Забава их — хула и ложь;
Танцует в зале молодежь —
Девицы с уст улыбку гонят,
По лицам их не разберешь,
Тут веселятся иль хоронят...
Вы сами бьетесь в ералаш,
Чинопоклонствуете, лжете,
Торгуете и продаете —
И это праздник званый ваш!
Недаром, с бала исчезая
И в санки быстрые садясь,
Как будто силы оправляя,
Корнет кричит: «Пошел в танцкласс!»
А ваши дамы и девицы
Из-за кулис бросают взор
На пир разгульный модной львицы,
На золотой ее позор!

1850

88. УТОПИСТ

Свои поместья умным немцам
На попечение отдав,
Ты сам меж ними чужеземцем
Проводишь век — и что ж? ты прав...
Твои мечты витают выше...
Что перед ними — нищих полк,
Да избы с сломанною крышей,
Да о житейских дрязгах толк?
Подобно мудрому Зевесу,
Ты в олимпийской тишине,
На мир накинув туч завесу,
Сидишь с собой наедине.
Сидишь, для мира вымышляя
И лучший строй, и новый чин, —
И весь Олимп молчит, гадая,
Чем озабочен властелин...
И лишь для резвого Эрота
У жизнедавца и отца
Миродержавная забота
Спадает с грозного лица.

1857

89

Перед твоей душой пугливой
Титаном гордым он предстал,
В котором мир непрозорливый
Родства с богами не признал.
И ты, воспитанная в горе,
Внезапным светом залита;
В замаскированном актере
Не разгадала ты — шута!
И, как обманутая Геба,
Ты от Зевесова стола,
Скорбя, ему, как сыну неба,
Зевесов нектар подала...
Чтоб заглушить его угрозы
Всему, что дорого тебе,

Ты падаешь, глотая слезы,
К его стопам в немой мольбе.
Но тщетно трепетные руки
Зажать уста его хотят!
Твои младенческие муки
Его смешат и веселят...
Ему так новы дум свобода
И свежесть чувств в твоих речах,
Как горожанину природа
В весенних красках и лучах.

1853

90

Уйди от нас! Язык твой нас пугает!
У нас сердец восторженный порыв
Перед твоим бездушьем замирает —
Ты желчен, зол, самолюбив...
Меж тем как мы из жизненного мрака,
Стряхнувши прах вседневной суеты,
Вступаем в царство света — сзади ты
За икры нас кусаешь, как собака.

1852

91

(Отрывок)

Над прахом гения свершать святую тризну
Народ притек. Кто холм цветами осыпал,
Кто звучные стихи усопшего читал,
Где радовался он и плакал за отчизну;
И каждый повторял с слезами на глазах:
«Да, чувства добрые он пробуждал в сердцах!»
Но вдруг среди толпы ужасный крик я внемлю...
То наземь кинулся как жердь сухой старик.
Он корчился, кусал и рыл ногтями землю,
И пену ярости точил его язык.
Его никто не знал. Но старшие в народе
Припомнили, что то был старый клеветник,
Из тех, чья ненависть и немощная злоба

Шли следом за певцом, не смолкли и у гроба,
Дерзая самый суд потомства презирать.
И вот, поднявшися и бормоча без связи,
На холм могильный стал кидать он комья грязи;
Народ, схватив его, готов был растерзать,
Но Вождь мой удержал. «Ваш гнев певца обидит, —
Сказал. — Стекайтеся, как прежде, совершать
Поминки над певцом и гроб его венчать,
А сей несчастный — пусть живет и видит!»

1855

92. НА СМЕРТЬ М. И. ГЛИНКИ

Еще печаль! Опять утрата!
Опять вопрос в душе заныл
Над прахом бедного собрата:
Куда ж он шел? Зачем он жил?

Ужель затем, чтоб сердца муки
На песни нам перевести,
Нам дать в забаву эти звуки
И неразгаданным уйти?..

Я эти звуки повторяю —
Но песням, милым с давних дней,
Уже иначе я внимаю...
Они звучат уже полней...

Как будто в них теперь всецело
Вошла, для жизни без конца,
Душа, оставившая тело
Их бездыханного творца.

1857

93. ЭОЛОВЫ АРФЫ

Засуха!.. Воздух спит... И небеса молчат...
И арф эоловых безмолвен грустный ряд...
Те арфы — это вы, певцы моей отчизны!
То образ ваших душ, исполненных тоской,
Мечтой заоблачной и грустной укоризной!..

Молчат они, молчат, как арфы в этот зной!..
Но если б мимо их промчался вихрем гений
И жизни дух пахнул в родимой стороне —
Навстречу новых сил и новых откровений
Какими б звуками откликнулись оне!..

1856

94

Когда, гоним тоской неутолимой,
Войдешь во храм и станешь там в тиши,
Потерянный в толпе необозримой,
Как часть одной страдающей души, —
Невольно в ней твое потонет горе,
И чувствуешь, что дух твой вдруг влился
Таинственно в свое родное море
И заодно с ним рвется в небеса...

1857

95. ФИЛАНТРОПЫ

Они обедали отлично:
Тепло вращается их кровь,
И к человеку безгранично
Их разгорелася любовь.

Они — и мухи не погубят!
И — дай господь им долги дни! —
Мне даже кажется, что любят
Друг друга искренно они!

Октябрь 1853

96. МАТЬ И ДОЧЬ

Опрятный домик... Сад с плодами...
Беседки, грядки, цветнички...
И всё возделывают сами
Мои соседи старички.

Они умеют достохвально
Соединить в своем быту
И романтизм сентиментальный,
И старых нравов простоту.

Полна высоких чувств святыней
И не растратив их в глуши,
Старушка верует и ныне
В любовь за гробом, в жизнь души.

Чужда событий чрезвычайных,
Вся жизнь ее полна была
Самопожертвований тайных
И угождений без числа.

Пучки цветов, венки сухие
Хранятся в комнате у ней,
Она святит в них дорогие
Воспоминанья прошлых дней.

Порою в спальню к дочке входит,
Рукою свечку заслоня,
Глядит и плачет... и приводит
Себе на память, день от дня,

Всё прожитое... Там всё ясно!
О чем же сетует она?
Иль в сердце дочери прекрасной
Она читает и сквозь сна?

Старушка мучится сомненьем,
Что чужд для дочки отчий кров;
Что дочь с упрямым озлобленьем
Глядит на ласки стариков;

Что в ней есть странная забота...
Отсталый лебедь — точно ждет
Свободной стаи перелета,
И клик заслышит — и вспорхнет!..

Но не вспорхнет она на небо!
Уж демон века ей шептал,

Что жизнь — не мука ради хлеба,
Что красота есть капитал!..

Ей снится огненная зала...
Ей снятся тысячи очей,
За ней следящих в шуме бала,
Как за царицей бальных фей...

Полночный пир... шальные речи...
Бокалы вдребезги летят...
Покровы прочь! открыты плечи,
Язвит и жжет прекрасной взгляд, —

И перед нею на коленях
Толпа вельмож и богачей
В мольбах неистовых и пенях —
И сыплют золото пред ней!

Уйди, старушка!.. Бог во гневе
Шлет бич нам в детище твоем
За попеченье лишь о чреве,
И зло карает тем же злом!

Великолепные чертоги
Твою возлюбленную ждут;
К ней века денежные боги
На поклонение придут

И, осмеявшие стремленья
Любви мечтательной твоей,
Узнают жгучие мученья
В крови родившихся страстей!

И будут, млея в жажде страстной,
Искать божественной любви
Под этой маской вечно ясной,
Под этой грацией змеи!

Напрасно! нет!.. Один уж лопнет,
Другой пойдет открыто красть,
Острог за третьим дверь захлопнет,
Кто пулю в лоб... благая часть!

Одна владычица их мира —
Она лишь блеском залита...
Спокойный профиль... взгляд вампира...
И неподвижные уста...

1857

97. ПРИДАНОЕ

По городу плач и стенанье...
Стучит гробовщик день и ночь...
Еще бы ему не работать!
Просватал красавицу дочь!

Сидит гробовщица за крепом
И шьет — а в глазах, как узор,
По черному так и мелькает
В цветах подвенечный убор.

И думает: «Справлю ж невесту,
Одену ее, что княжну, —
Княжон повидали мы вдоволь, —
На днях хоронили одну:

Всё розаны были на платье,
Почти под венцом померла,
Так, в брачном наряде, и клали
Во гроб-то... красотка была!

Оденем и Глашу не хуже,
А в церкви все свечи зажжем;
Подумают: графская свадьба!
Уж в грязь не ударим лицом!..»

Мечтает старушка — у двери ж
Звонок за звонком... «Ну, житье!
Заказов-то — господи боже!
Знать, Глашенька, счастье твое!»

1859

98. РОЗЫ

Вся в розах — на груди, на легком платье белом,
На черных волосах, обвитых жемчугами, —
Она покоилась, назад движеньем смелым
Откинув голову с открытыми устами.
Сияло чудное лицо живым румянцем...
Остановился бал, и музыка молчала,
И — соблазнительным ошеломленный танцем,
Я, на другом конце блистательного зала,
С красавицею вдруг очами повстречался...
И — как и отчего, не знаю! — мне в мгновенье
Сорренто голубой залив нарисовался,
Пестумский красный храм в туманном отдаленье,
И вилла, сад и пир времен горацианских...
И по заливу вдруг, на золотой галере,
Плывет среди толпы невольниц африканских,
Вся в розах — Лидия, подобная Венере...
И что ж? Обманутый блистательной мечтою,
Почти с признанием очнулся я от грезы
У ног красавицы... Ах, вы всему виною,
О розы Пестума, классические розы!..

⟨1852⟩

99. РАЗМЕН

«Нет! прежней Нины нет! Когда я застаю,
Опомнясь вдруг, себя пред образом лежащей,
Молиться жаждущей, но слов не находящей,
И чувствую, как жжет слеза щеку мою,

И наболела грудь, тоскуя в жажде знойной, —
Я прежней девочки, беспечной и спокойной,
В себе не узнаю!

Я всё ему — всё отдала ему!
Он, бедный, чах душою безнадежной!
Не верил он, покорный лишь уму,
В возможность счастия, в возможность страсти нежной...

Он всё — мои мечты, мой чистый идеал
И сердце, склонное к блаженству и надежде, —
Как бы свое, потерянное прежде,
Сокровище нашел во мне — и взял!..

Взамен он дал мне, что его томило:
Сомнение, и слезы, и печаль...
Но я не плачу, нет! Мне ничего не жаль,
Лишь только б то, что было мне так мило,
Что взял он у меня, — ему б во благо было...»

1852

100. ДОПОТОПНАЯ КОСТЬ

Я с содроганием смотрел
На эту кость иного века...
И нас такой же ждет удел:
Пройдет и племя человека...

Умолкнет славы нашей шум;
Умрут о людях и преданья;
Всё, чем могуч и горд наш ум,
В иные не войдет созданья.

Оледенелою звездой
Или потухнувшим волканом
Помчится, как корабль пустой,
Земля небесным океаном.

И, странствуя между миров,
Воссядет дух мимолетящий
На остов наших городов,
Как на гранит неговорящий...

Так разум в тайнах бытия
Читает нам... Но сердце бьется,
Надежду робкую тая —
Авось он, гордый, ошибется!

1857

101. ИМПРОВИЗАЦИЯ

Мерцает по стене заката отблеск рдяный,
Как уголь искряся на раме золотой...
Мне дорог этот час. Соседка за стеной
Садится в сумерки порой за фортепьяно,
И я слежу за ней внимательной мечтой.
В фантазии ее любимая есть дума:
Долина, сельского исполненная шума,
Пастушеский рожок... домой стада идут...
Утихли... разошлись... земные звуки мрут
То в беглом говоре, то в песне одинокой, —
И в плавном шествии гармонии широкой
Я ночи, сыплющей звездами, слышу ход...
Всё днем незримое таинственно встает
В сияньи месяца, при запахе фиалок,
В волшебных образах каких-то чудных грез —
То фей порхающих, то плещущих русалок
Вкруг остановленных на мельнице колес...

Но вот торжественной гармонии разливы
Сливаются в одну мелодию, и в ней
Мне сердца слышатся горячие порывы,
И звуки говорят страстям души моей.
Crescendo...[1] Вот мольбы, борьба и шепот страстный,
Вот крик пронзительный и — ряд аккордов ясный,

---

[1] Нарастание звука (итал.). — *Ред.*

И всё сливается, как сладкий говор струй,
В один томительный и долгий поцелуй.

Но замиравшие опять яснеют звуки...
И в песни страстные вторгается струей
Один тоскливый звук, молящий, полный муки...
Растет он, всё растет и льется уж рекой...
Уж сладкий гимн любви в одном воспоминанье
Далёко трелится... но каменной стопой
Неумолимое идет, идет страданье,
И каждый шаг его грохочет надо мной...
Один какой-то вопль в пустыне беспредельной
Звучит, зовет к себе... Увы! надежды нет!..
Он ноет... И среди громов ему в ответ
Лишь жалобный напев пробился колыбельной...

Пустая комната... убогая постель...
Рыдающая мать лежит, полуживая,
И бледною рукой качает колыбель,
И «баюшки-баю» поет, изнемогая...
А вкруг гроза и ночь... Вдали под этот вой
То колокол во тьме гудит и призывает,
То, бурей вырванный, из мрака залетает
Вакхический напев и танец удалой...
Несется оргия, кружася в вальсе диком,
И вот страдалица ему отозвалась
Внезапно бешеным и судорожным криком
И в пляску кинулась, безумно веселясь...

Порой сквозь буйный вальс звучит чуть слышным эхом,
Как вопль утопшего, потерянный в волнах,
И «баюшки-баю», и песнь о лучших днях,
Но тонет эта песнь под кликами и смехом
В раскате ярких гамм, где каждая струна
Как веселящийся хохочет сатана, —
И только колокол в пустыне бесконечной
Гудит над падшею глаголом кары вечной...

1856

102. СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Апол. Алекс. Григорьеву

Долго ночью вчера я заснуть не могла,
Я вставала, окно отворяла...
Ночь немая меня и томила, и жгла,
Ароматом цветов опьяняла.

Только вдруг шелестнули кусты под окном,
Распахнулась, шумя, занавеска —
И влетел ко мне юноша, светел лицом,
Точно весь был из лунного блеска.

Разодвинулись стены светлицы моей,
Колоннады за ними открылись;
В пирамидах из роз вереницы огней
В алебастровых вазах светились...

Чудный гость подходил всё к постели моей;
Говорил он мне с кроткой улыбкой:
«Отчего предо мною в подушки скорей
Ты нырнула испуганной рыбкой!

Оглянися — я бог, бог видений и грез,
Тайный друг я застенчивой девы...
И блаженство небес я впервые принес
Для тебя, для моей королевы...»

Говорил — и лицо он мое отрывал
От подушки тихонько руками,
И щеки моей край горячо целовал,
И искал моих уст он устами...

Под дыханьем его обессилела я...
На груди разомкнулися руки...
И звучало в ушах: «Ты моя! Ты моя!» —
Точно арфы далекие звуки...

Протекали часы... Я открыла глаза...
Мой покой уж был облит зарею...
Я одна... вся дрожу... распустилась коса...
Я не знаю, что было со мною...

1857

103. АНАКРЕОН

И. А. ГОНЧАРОВУ

В день сбиранья винограда
В дверь отворенного сада
Мы на праздник Вакха шли
И — любимца Купидона —
Старика Анакреона
На руках с собой несли.

Много юношей нас было,
Бодрых, смелых, каждый с милой,
Каждый бойкий на язык;
Но — вино сверкнуло в чашах —
Мы глядим — красавиц наших
Всех привлек к себе старик!..

Дряхлый, пьяный, весь разбитый,
Череп розами покрытый, —
Чем им головы вскружил?
А они нам хором пели,
Что любить мы не умели,
Как когда-то он любил!

1852

104. ЮНОШАМ

Будьте, юноши, скромнее!
Что за пыл! Чуть стал живее
Разговор — душа пиров —

Вы и вспыхнули, как порох!
Что за крайность в приговорах,
    Что за резкость голосов!

И напиться не сумели!
Чуть за стол — и охмелели,
    Чем и как — вам всё равно!
Мудрый пьет с самосознаньем,
И на свет, и обоняньем
    Оценяет он вино.

Он, теряя тихо трезвость,
Мысли блеск дает и резвость,
    Умиляется душой,
И, владея страстью, гневом,
Старцам мил, приятен девам
    И — доволен сам собой.

1852

105. АЛКИВИАД

Внучек, верь науке деда:
Верь — над женщиной победа
    Нам трудней, чем над врагом.
Здесь всё случай, всё удача!
Сердце женское — задача,
    Не решенная умом!

Ты слыхал ли имя Фрины?
Покорялися Афины
    Взгляду гордой красоты, —
Но на нас она взирала,
Как богиня с пьедестала
    Недоступной высоты.

На пирах ее быть званным —
Это честь была избранным, —
    Принимала, как сатрап!
Всем серебряные блюды
И хрустальные сосуды,
    И за каждым — черный раб!

Раз был пир... то пир был граций!
Острых слов, импровизаций
И речей лился каскад...
Мне везло: приветным взглядом
Позвала уж сесть с ней рядом —
Вдруг вошел Алкивиад.

Прямо с оргии он, что ли!
Но, крича, как варвар в поле,
Сшиб в дверях двух скифов с ног,
Оттолкнул меня обидно
И к красавице бесстыдно
На плечо лицом прилег!

Были тут послы, софисты,
И архонты, и артисты...
Он беседой овладел,
Хохотал над мудрецами
И безумными глазами
На прекрасную глядел.

Что тут делать?.. Полны злости,
Расходиться стали гости...
Смотрим — спит он! Та — молчит
И не будит... Что ж? Добился!
Ей повеса полюбился,
Да и нас потом стыдит!

1853

106. АСПАЗИЯ

Что скажут обо мне теперь мои друзья?
Владычица Афин, Периклова подруга,
Которую Сократ почтил названьем друга,
Как девочка, люблю, томлюсь и плачу я...
Всё позабыто — блеск, правленье, государство,
Дела, политики полезное коварство,
И даже самые лета... но, впрочем, нет!
У женщин для любви не существует лет;
Хоть, говорят, глупа последней страсти вспышка,
Пускай я женщина, а он еще мальчишка,

Но счастье ведь не в том, чтобы самой любить
И чувством пламенным сгорать и наслаждаться;
Нет, счастием его дышать и любоваться
И в нем неопытность к блаженству приучить...
А он — он чистое подобье полубога!..
Он робок, он стыдлив и даже дик немного,
Но сколько гордости в приподнятых губах,
И как краснеет он при ласковых словах!
Еще он очень юн: щека блестит атласом,
Но рано слышится в нем страсть повелевать,
И позы любит он героев принимать,
И детский голос свой всё хочет сделать басом.
На играх победив, он станет как Ахилл!
Но, побежденный, он еще мне больше мил:
Надвинет на чело колпак он свой фригийский
И, точно маленький Юпитер Олимпийский,
Глядит с презрением, хотя в душе гроза
И горькою слезой туманятся глаза...
О, как бы тут его прижать к горячей груди
И говорить: «Не плачь, не плачь, то злые люди...»
В ланиты, яркие румянцем вешних роз,
И в очи целовать, блестящие от слез,
Сквозь этих слез уста заставить улыбаться,
И вместе плакать с ним, и вместе с ним смеяться!

1853

107. ПРЕТОР

Как ты мил в венке лавровом,
Толстопузый претор мой,
С этой лысой головой
И с лицом своим багровым!
Мил, когда ты щуришь глаз
Перед пленницей лесбийской,
Что выводит напоказ
Для тебя евнух сирийской;
Мил, когда тебя несут
Десять ликторов на форум,
Чтоб творить народу суд
И внушать покорность взором!

И люблю я твой порыв,
В миг, когда, в носилках лежа,
С своего ты смотришь ложа,
Как под гусли пляшет скиф,
Выбивая дробь ногами,
Вниз потупя мутный взгляд
И подергивая в лад
И руками, и плечами.
Вижу я: ты выбивать
Сам готов бы дробь под стать —
Так и рвется дух твой пылкий!
Покрывало теребя,
Ходят ноги у тебя,
И качаются носилки
На плечах рабов твоих,
Как корабль средь волн морских.

1857

108. АРКАДСКИЙ СЕЛЯНИН ПУТЕШЕСТВЕННИКУ

Здесь сатиры прежде жили;
Одного мы раз нашли
И живого изловили,
И в деревню привели.

Все смотреть пришли толпами;
Он на корточках сидел
И бесцветными глазами
На людей, дичась, глядел.

Страх однако же унялся;
С нами ел он, пил вино,
Объедался, опивался,
Впрочем, вел себя умно.

Но весна пришла — так мочи
Нам не стало от него.
Не пройдет ни дня, ни ночи
Без лихих проказ его...

Женщин стал ловить и мучить!..
Чуть увидит — задрожит,
Ржет, и лает, и мяучит,
Целоваться норовит.

Стали бить его мы больно;
Он исправился совсем,
Стал послушный, богомольный,
Так что любо было всем.

Бабы с ним смелее стали
Обходиться и играть,
На работы в поле брали,
Стали пряников давать.

Не прошло, однако, года,
Как у всех у нас — дивись —
В козлоногого урода
Ребятишки родились!

Да! У всех на лбу-то рожки
С небольшой лесной орех,
Козьи маленькие ножки,
Даже хвостики у всех.

К нам в деревню прошлым летом
Русский барин заезжал.
Обо всем услыша этом,
Усмехнувшись, он сказал:

«Хорошо, что мы с папашей
Без хвоста и с гладким лбом,
Быть иначе б дворне нашей
И с рогами, и с хвостом».

1853

ПОСЛАНИЯ

109—110. *Я. П. ПОЛОНСКОМУ*

1

Твой стих, красой и ароматом
Родной н небу и земле,
Блуждает странником крылатым
Между миров, светя во мгле.
Люблю в его кудрях я длинных
И пыль от Млечного Пути,
И желтый лист дубрав пустынных,
Где отдыхал он в забытьи;
Стремится речь его свободно;
Как в звоне стали чистой, в ней
Закал я слышу благородной
Души возвышенной твоей.

1855

2

Полонский! суждено опять судьбою злою
　　　　Нам розно дни влачить;
Меж тем моя душа сроднилась уж с тобою —
　　　　Ей нужно так любить!
Да! в мире для нее нужна душа другая,
　　　　Которой бы порой
Хоть знак подать, что мы, друг друга понимая,
　　　　Свершаем путь земной!
И часто я, когда иду лесной опушкой
　　　　И, прячася за ель,

Стараюсь обмануть искусственною мушкой
Пугливую форель,
И предо мной шумит ручей студеноводный,
А ров, где льется он,
Уж тени полн, и пар над ним бежит холодный,
Меж тем как озарен
Вверху растущий лес последним солнца светом, —
От сердца полноты
Я б перемолвиться желал тогда с поэтом,
И думаю — где ты?
Где ты? .. О, боже мой! ты там, где в оны годы
Беспечно я бродил...
Прости невольный вздох! .. полуденной природы
И Рим я не забыл! ..
Обломки красные средь рощи кипарисной,
Под небом голубым, —
Величием своим и грязью живописной
Он по душе мне, Рим!
Как часто на конях мы римскою долиной
Неслись во весь опор;
Коней остановив, снимали вид руины
И очерк дальних гор,
И града вечного в тумане купол гордый,
А там водопровод
И черных буйволов к нам поднятые морды
В осоке, из болот...
И эти городки, куда в веселье диком,
Как будто ошалев,
Врывались мы потом, преследуемы криком
Старух, детей и дев...
Там с громом подскакав к радушной австерии,
Суровых поселян
Напаивали мы, крича «ура!» России,
Ругая Ватикан
И вековой союз монахов и германцев...
А пламенный народ
На ветреную речь безвестных чужестранцев,
Бывало, слезы льет...
Средь этих шалостей высокий труд и дума,
Вазари и Тацит,
И сладостный певец Тибура и Пестума,
И Дант, и Феокрит...

А ночи лунные в руинах Колизея!..
Мне кажется теперь,
Что игры зверские я видел и, немея,
Внимал, как злится зверь,
Как шумно валит чернь, толкаясь, на ступени,
При кликах торжества,
А на арене две белеющие тени
Ждут, обнимаясь, льва...
О, дни волшебные! о, годы золотые!
О, как светла тогда
Казалась наших дней над милою Россией
Всходившая звезда!
Где ж сверстники мои? Где Штернберг? Где Иванов?
Ставассер милый мой?
Где наши замыслы? Где ряд блестящих планов?
Где гений их живой?
Где пышные мечты о русском пантеоне,
Где б *наших* имена
Сиять должны в веках, как звезды в небосклоне,
Как вечная весна?..
О, милые мои!.. Слезой не провожая,
Как чуждых всем сирот,
Их Рим похоронил, кого, увы! не зная,
Земле он предает!..
А брат мой, милый брат... Ах, многие почили!
И имя их звучит
Воспоминанием какой-то чудной были,
И сердце мне щемит...
Все сгибли, полные надеждами святыми
И в блеске сил своих,
И я, осиротев, я плачу и над ними,
И над мечтами их!..
Ах, жизнь моя уже печалями богата;
Уже за мной в пути
Есть несколько могил, есть горе и утрата...
Прости мне, друг, прости...
Я больше наводить тоски тебе не буду
Непрошеной слезой,
И в воды быстрые закидываю уду,
На всё махнув рукой.

1857

111. П. А. ПЛЕТНЕВУ

За стаею орлов двенадцатого года
С небес спустилася к нам стая лебедей,
И песни чудные невиданных гостей
Доселе памятны у русского народа.
Из стаи их теперь один остался ты,
И грустный между нас, задумчивый ты бродишь,
И, прежних звуков полн, всё взора с высоты,
Куда те лебеди умчалися, не сводишь.

1855

112. М. Л. МИХАЙЛОВУ

Урала мутного степные берега,
Леса, тюльпанами покрытые луга,
Амфитеатры гор из сизого порфира,
Простые племена, между которых ты
Сбирал предания исчезнувшего мира,
Далекая любовь, пустынные мечты
Возвысили твой дух: прощающим, любящим
Пришел ты снова к нам — и, чутко слышу я,
В стихах твоих, ручьем по камешкам журчащим,
Уж льется между строк поэзии струя.

1857

113. И. А. ГОНЧАРОВУ

Море и земли чужие,
Облик народов земных —
Все предо мной, как живые,
В чудных рассказах твоих.

Север наш бледный, но милый,
Милый затем, что родной,
Ныне опять мне унылой
Вдруг показался тюрьмой.

В сердце судьбы оскорбленья
    Злее, что раны, горят,
И золотые виденья
    В даль голубую манят...

Так, над рекою ширяя,
    В город, где пыль и гранит,
Белая чайка морская
    В солнечный день залетит;

Жадно следим мы очами
    Гостьи нежданной полет —
Точно в тот миг перед нами
    Воздухом с моря пахнет.

1855

НА ВОЛЕ

114. ВЕСНА

Голубенький, чистый
Подснежник-цветок!
А подле сквозистый,
Последний снежок...

Последние слезы
О горе былом
И первые грезы
О счастьи ином...

1857

115

Весна! Выставляется первая рама —
И в комнату шум ворвался,
И благовест ближнего храма,
И говор народа, и стук колеса.

Мне в душу повеяло жизнью и волей:
Вон — даль голубая видна...
И хочется в поле, в широкое поле,
Где, шествуя, сыплет цветами весна!

1854

116

Боже мой! Вчера — ненастье,
А сегодня — что за день!
Солнце, птицы! Блеск и счастье!
Луг росист, цветет сирень...

А еще ты в сладкой лени
Спишь, малютка!.. О, постой!
Я пойду нарву сирени
Да холодною росой

Вдруг на сонную-то брызну...
То-то сладко будет мне
Победить в ней укоризну
Свежей вестью о весне!

1855

117

Поле зыблется цветами...
В небе льются света волны...
Вешних жаворонков пенья
Голубые бездны полны.

Взор мой тонет в блеске полдня...
Не видать певцов за светом...
Так надежды молодые
Тешат сердце мне приветом...

И откуда раздаются
Голоса их, я не знаю...
Но, им внемля, взоры к небу,
Улыбаясь, обращаю.

1857

118. ПОД ДОЖДЕМ

Помнишь: мы не ждали ни дождя, ни грома,
Вдруг застал нас ливень далеко от дома;
Мы спешили скрыться под мохнатой елью...
Не было конца тут страху и веселью!

Дождик лил сквозь солнце, и под елью мшистой
Мы стояли точно в клетке золотистой;
По земле вокруг нас точно жемчуг прыгал;
Капли дождевые, скатываясь с игол,
Падали, блистая, на твою головку
Или с плеч катились прямо под снуровку...
Помнишь, как всё тише смех наш становился?..
Вдруг над нами прямо гром перекатился —
Ты ко мне прижалась, в страхе очи жмуря...
Благодатный дождик! Золотая буря!

1856

119. ЗВУКИ НОЧИ

О ночь безлунная!.. Стою я, как влюбленный,
Стою и слушаю, тобой обвороженный...
Какая музыка под ризою твоей!
Кругом — стеклянный звон лиющихся ключей;
Там — листик задрожал под каплею алмазной;
Там — пташки полевой свисток однообразный;
Стрекозы, как часы, стучат между кустов;
По речке, в камышах, от топких островов,
С разливов хоры жаб несутся, как глухие
Органа дальнего аккорды басовые,
И царствует над всей гармонией ночной,
По ветру то звончей, то в тихом замиранье,
Далекой мельницы глухое клокотанье...
А звезды... Нет, и там, по тверди голубой,
В их металлическом сиянье и движенье
Мне чувствуется гул их вечного теченья.

1856

120. В ЛЕСУ

Шумит, звенит ручей лесной,
Лиясь блистающим стеклом
Вокруг ветвей сосны сухой,
Давно, как гать, лежащей в нем.
Вкруг темен лес и воздух сыр;
Иду я, страх едва тая...

Нет! Здесь свой мир, живущий мир,
И жизнь его нарушил я...
Вдруг всё свершавшееся тут
Остановилося при мне,
И все следят за мной и ждут,
И злое мыслят в тишине;
И точно любопытный взор
Ко мне отвсюду устремлен,
И слышу я немой укор,
И дух мой сдавлен и смущен.

1857

121

Маститые, ветвистые дубы,
Задумчиво поникнув головами,
Что старцы древние на вече пред толпами,
Стоят, как бы решая их судьбы.
Я тщетно к их прислушиваюсь шуму:
Всё не поймать мне тайны их бесед...
Ах, жаль, что подле них тут резвой речки нет:
Она б давно сказала мне их думу...

⟨1869⟩

122. ГОЛОС В ЛЕСУ

Давно какой-то девы пенье
В лесу преследует меня,
То замирая в отдаленье,
То гулко по лесу звеня.

И, возмущен мечтой лукавой,
Смотрю я в чащу, где средь мглы
Блестят на солнце листья, травы
И сосен красные стволы.

Идти ль за девой молодою?
Иль сохранить, в душе тая,
Тот милый образ, что мечтою
Под чудный голос создал я?..

1856

123

Всё вокруг меня, как прежде —
Пестрота и блеск в долинах...
Лес опять тенист и зелен,
И шумит в его вершинах...

Отчего ж так сердце ноет,
И стремится, и болеет,
Неиспытанного просит
И о прожитом жалеет?

Не начать ведь жизнь сначала —
Даром сила растерялась,
Да и попусту растратишь
Ту, которая осталась...

А вокруг меня, как прежде,
Пестрота и блеск в долинах!
Лес опять тенист и зелен,
И шумит в его вершинах!..

1857

124

Вот бедная чья-то могила
Цветами, травой зарастает;
Под розами даже не видно,
Чье имя плита возглашает...

О, бедный! И в сердце у милой
О жизни мечты золотые
Не так же ль, как розы, закрыли
Когда-то черты дорогие?

1857

125. ОБЛАЧКА

В легких нитях, белой дымкой,
    На лазурь сквозясь,
Облачка бегут по небу,
    С ветерком резвясь.

Любо их следить очами...
Выше — вечность, бог!
Взор без них остановиться б
Ни на чем не мог...

Страсти сердца! Сны надежды!
Вдохновенья бред!
Был бы чужд без вас и страшен
Сердцу божий свет!

Вас развеять с неба жизни, —
И вся жизнь тогда —
Сил слепых, законов вечных
Вечная вражда.

1857

126. БОЛОТО

Я целый час болотом занялся.
Там белоус торчит, как щетка жесткий;
Там точно пруд зеленый разлился;
Лягушка, взгромоздясь, как на подмостки,
На старый пень, торчащий из воды,
На солнце нежится и дремлет... Белым
Пушком одеты тощие цветы;
Над ними мошки вьются роем целым;
Лишь незабудок сочных бирюза
Кругом глядит умильно мне в глаза,
Да оживляют бедный мир болотный
Порханье белой бабочки залетной
И хлопоты стрекозок голубых
Вокруг тростинок тощих и сухих.
Ах! прелесть есть и в этом запустенье!..
А были дни, мое воображенье
Пленял лишь вид подобных тучам гор,
Небес глубоких праздничный простор,
Монастыри, да белых вилл ограда
Под зеленью плюща и винограда...
Или луны торжественный восход
Между колонн руины молчаливой,

Над серебром с горы падущих вод...
Мне в чудные гармоний переливы
Слагался рев катящихся зыбей;
В какой-то мир вводил он безграничный,
Где я робел душою непривычной
И радостно присутствие людей
Вдруг ощущал, сквозь этот гул упорный,
По погремушкам вьючных лошадей,
Тропинкою спускающихся горной...
И вот — теперь такою же мечтой
Душа полна, как и в былые годы,
И так же здесь заманчиво со мной
Беседует таинственность природы.

1856

127. ПАН

Пан — олицетворение природы;
по-гречески Πᾶν значит: всё.

Он спит, он спит,
Великий Пан!
Иди тихонько,
Не то разбудишь!
Полдневный жар
И сладкий дух
Поспелых трав
Умаял бога —
Он спит и грезит,
И видит сны...

По темным норам
Ушло зверье;
В траве недвижно
Лежит змея;
Молчат стада,
И даже лес,
Певучий лес,
Утих, умолк...
Он спит, он спит,
Великий Пан!..

Над ним кружит,
Жужжит, звенит,
Блестит, сверкает
И вверх и вниз
Блестящий рой
Жуков и пчел;
Сереброкрылых
Голубок стая
Кругами реет
Над спящим богом;
А выше — строем
Иль острым клином,
Подобно войску,
Через всё небо
Перелетает
Полк журавлей;
Еще же выше,
На горнем небе,
В густой лазури,
Незримой стражи
Чуть слышен голос...
Все словно бога
Оберегают
Глубокий сон,
Чудесный сон, —
Когда пред ним
Разверзлось небо,
Он зрит богов,
Своих собратий,
И, как цветы,
Рои видений
С улыбкой сыплют
К нему с Олимпа
Богини-сестры...

Он спит, он спит,
Великий Пан!
Иди тихонько,
Мое дитя,
Не то проснется...
Иль лучше сядем
В траве густой

И будем слушать, —
Как спит он, слушать,
Как дышит, слушать;
К нам тоже тихо
Начнут слетать
Из самой выси
Святых небес
Такие ж сны,
Какими грезит
Великий Пан,
Великий Пан...

(1869)

128. ПЕЙЗАЖ

Люблю дорожкою лесною,
Не зная сам куда, брести;
Двойной глубокой колеею
Идешь — и нет конца пути...
Кругом пестреет лес зеленый;
Уже румянит осень клены,
А ельник зелен и тенист;
Осинник желтый бьет тревогу;
Осыпался с березы лист
И, как ковер, устлал дорогу...
Идешь, как будто по водам, —
Нога шумит... а ухо внемлет
Малейший шорох в чаще, там,
Где пышный папоротник дремлет,
А красных мухоморов ряд,
Что карлы сказочные, спят...
Уж солнца луч ложится косо...
Вдали проглянула река...
На тряской мельнице колеса
Уже шумят издалека...
Вот на дорогу выезжает
Тяжелый воз — то промелькнет
На солнце вдруг, то в тень уйдет...
И криком кляче помогает

Старик, а на возу — дитя,
И деда страхом тешит внучка;
А, хвост пушистый опустя,
Вкруг с лаем суетится жучка,
И звонко в сумраке лесном
Веселый лай идет кругом.

1853

129. ЛАСТОЧКИ

Мой сад с каждым днем увядает;
Помят он, поломан и пуст,
Хоть пышно еще доцветает
Настурций в нем огненный куст...

Мне грустно! Меня раздражает
И солнца осеннего блеск,
И лист, что с березы спадает,
И поздних кузнечиков треск.

Взгляну ль по привычке под крышу —
Пустое гнездо над окном:
В нем ласточек речи не слышу,
Солома обветрилась в нем...

А помню я, как хлопотали
Две ласточки, строя его!
Как прутики глиной скрепляли
И пуху таскали в него!

Как весел был труд их, как ловок!
Как любо им было, когда
Пять маленьких, быстрых головок
Выглядывать стали с гнезда!

И целый-то день говоруньи,
Как дети, вели разговор...
Потом полетели, летуньи!
Я мало их видел с тех пор!

И вот — их гнездо одиноко!
Они уж в иной стороне —
Далёко, далёко, далёко...
О, если бы крылья и мне!

1856

130

Осенние листья по ветру кружат,
Осенние листья в тревоге вопят:
«Всё гибнет, всё гибнет! Ты черен и гол,
О лес наш родимый, конец твой пришел!»

Не слышит тревоги их царственный лес.
Под темной лазурью суровых небес
Его спеленали могучие сны,
И зреет в нем сила для новой весны.

1863

131. ОСЕНЬ

Кроет уж лист золотой
    Влажную землю в лесу...
Смело топчу я ногой
    Вешнюю леса красу.

С холоду щеки горят;
    Любо в лесу мне бежать,
Слышать, как сучья трещат,
    Листья ногой загребать!

Нет мне здесь прежних утех!
    Лес с себя тайну совлек:
Сорван последний орех,
    Свянул последний цветок;

Мох не приподнят, не взрыт
    Грудой кудрявых груздей;
Около пня не висит
    Пурпур брусничных кистей,

Долго на листьях лежит
  Ночи мороз, и сквозь лес
Холодно как-то глядит
  Ясность прозрачных небес...

Листья шумят под ногой;
  Смерть стелет жатву свою...
Только я весел душой
  И, как безумный, пою!

Знаю, недаром средь мхов
  Ранний подснежник я рвал;
Вплоть до осенних цветов
  Каждый цветок я встречал.

Что им сказала душа,
  Что ей сказали они —
Вспомню я, счастьем дыша,
  В зимние ночи и дни!

Листья шумят под ногой...
  Смерть стелет жатву свою!
Только я весел душой —
  И, как безумный, пою!

1856

132

И город вот опять! Опять сияет бал,
И полн жужжания, как улей, светлый зал!
Вот люди, вот та жизнь, в которой обновленья
Я почерпнуть рвался из сельской тишины...
Но, боже! как они ничтожны и смешны!
Какой в них жалкий вид тоски и принужденья!
И слушаю я их... Душа моя скорбит!
Под общий уровень ей подогнуться трудно;
А резвая мечта опять меня манит
В пустыни божии из сей пустыни людной...
И неба синего раздолье вижу я,
И жаворонок в нем звенит на полной воле,
А колокольчиков бесчисленных семья

По ветру зыблется в необозримом поле...
То речка чудится, осыпавшийся скат,
С которого торчит корней мохнатых ряд
От леса, наверху разросшегося дико.
Чу! шорох — я смотрю: вокруг гнилого пня,
Над муравейником, алеет земляника,
И ветки спелые манят к себе меня...
Но вижу — разобрав тростник сухой и тонкий,
К пурпурным ягодам две бледные ручонки
Тихонько тянутся... как легкий, резвый сон,
Головка детская является, роняя
Густые локоны, сребристые как лен...
Одно движение — и нимфочка лесная,
Мгновенно оробев, малиновки быстрей,
Скрывается среди качнувшихся ветвей.

1856

133. МЕЧТАНИЯ

Пусть пасмурный октябрь осенней дышит стужей,
Пусть сеет мелкий дождь или порою град
В окошки звякает, рябит и пенит лужи,
Пусть сосны черные, качаяся, шумят,
И даже без борьбы, покорно, незаметно,
Сдает угрюмый день, больной и бесприветный,
Природу грустную ночной холодной мгле, —
Я одиночества не знаю на земле.
Забившись на диван, сижу; воспоминанья
Встают передо мной; слагаются из них
В волшебном очерке чудесные созданья
И люди движутся, и глубже каждый миг
Я вижу души их, достоинства их мерю
И так уж наконец в присутствие их верю,
Что даже кажется, их видит черный кот,
Который, поместясь на стол, под образами,
Подымет морду вдруг и желтыми глазами
По темной комнате, мурлыча, поведет...

1855

ИЗ ДНЕВНИКА

134

Зачем, шутя неосторожно,
В мою ты вкрадывалась душу?
Я знал, что, мир карая ложный,
Я сон души твоей нарушу...

И что ж? Мы смотрим друг на друга:
Ты — в изумленье и бессилье,
Как ангел чистый, от испуга
Расправить не могущий крылья...

А я... я чувствую — над бездной
Теперь поставлена ты мною...
Ах, мчись скорей в свой мир надзвездный
И — не зови меня с собою!

Нет, не одна у нас дорога!
То, чем я горд, тебя пугает,
И не уверуешь ты в бога,
Который грудь мне наполняет...

1857

135

Еще я полн, о друг мой милый,
Твоим явленьем, полн тобой!..
Как будто ангел легкокрылый
Слетал беседовать со мной, —

И, проводив его в преддверье
Святых небес, я без него
Сбираю выпавшие перья
Из крыльев радужных его...

1852

136

Люблю, если, тихо к плечу моему головой прислонившись,
С любовью ты смотришь, как, очи потупив, я думаю думу,
А ты угадать ее хочешь. Невольно, проникнут тобою,
Я очи к тебе обращу и с твоими встречаюсь очами;
И мы улыбнемся безмолвно, как будто бы в сладком молчаньи
Мы мыслью сошлися и много сказали улыбкой и взором.

(1842)

137

Истомленная горем, все выплакав слезы,
    На руках у меня, как младенец, ты спишь:
На лице твоем кротком последняя дума
    С неотертой последней слезинкой дрожит.
Ты заснула, безмолвно меня укоряя,
    Что бесчувствен к слезам я казался твоим...
Не затем ли сквозь сон ты теперь улыбнулась,
    Точно слышишь, что, грустно смотря на тебя,
Тихо нянча тебя на руках, как младенца,
    Я страдаю, как ты, и заплакать готов?

1851

138

Порывы нежности обуздывать умея,
На ласки ты скупа. Всегда собой владея,
Лелеешь чувство ты в безмолвии, в тиши,
В святилище больной, тоскующей души...
Я знаю, страсть в тебе питается слезами.

Когда ж, измучена ревнивыми мечтами,
Сомненья, и тоску, и гордость победя,
Отдашься сердцу ты, как слабое дитя,
И жмешь меня в своих объятиях, рыдая, —
Я знаю, милый друг, не может так другая
Любить, как ты! Нет слов милее слов твоих,
Нет искреннее слез и клятв твоих немых,
Красноречивее — признанья и укора,
Признательнее нет и глубже нету взора,
И нет лобзания сильнее твоего,
Которым бы сказать душа твоя желала,
Как много любишь ты, как много ты страдала.

1852

139

Точно голубь светлою весною,
Ты веселья нежного полна,
В первый раз, быть может, всей душою
Долго сжатой страсти предана...

И меж тем как, музыкою счастья
Упоен, хочу я в тишине
Этот миг, как луч среди ненастья,
Охватить душой своей вполне,

И молчу, чтоб не терять ни звука,
Что дрожат в сердцах у нас с тобой, —
Вижу вдруг — ты смолкла, в сердце мука,
И слеза струится за слезой.

На мольбы сказать мне, что проникло
В грудь твою, чем сердце сражено,
Говоришь: ты к счастью не привыкла
И страшит тебя — к добру ль оно?..

Ну, так что ж? Пусть снова идут грозы!
Солнце вновь вослед проглянет им,
И тогда страдания и слезы
Мы опять душой благословим.

1855

140. В АЛЬБОМ

Жизнь еще передо мною
Вся в видениях и звуках,
Точно город дальний утром,
Полный звона, полный блеска!..

Все минувшие страданья
Вспоминаю я с восторгом,
Как ступени, по которым
Восходил я к светлой цели...

1857

ДОЧЕРИ

141

Новая, светлая звездочка
В сумрак души моей глянула!
Это она, моя девочка!
В глазках ее уже светится
Нечто бессмертное, вечное,
Нечто, сквозь мир сей вещественный
Дальше и глубже глядящее...

1856

142

Она еще едва умеет лепетать,
Чуть бегать начала, но в маленькой плутовке
Кокетства женского уж видимы уловки:
Зову ль ее к себе, хочу ль поцеловать
И трачу весь запас ласкающих названий —
Она откинется, смеясь, на шею няни,
Старушку обовьет руками горячо
И обе щеки ей целует без пощады,
Лукаво на меня глядит через плечо
И тешится моей ревнивою досадой.

1857

143

Не может быть! не может быть!
Она жива!.. сейчас проснется...
Смотрите: хочет говорить,
Откроет глазки, улыбнется,

Меня увидит, обоймет
И, вдруг поняв, что плач мой значит,
Ласкаясь, нежно мне шепнет:
«Какой смешной! о чем он плачет!..»

Но нет!.. лежит... тиха, нема,
Недвижна...

23 апреля 1866

ИЗ СТРАНСТВОВАНИЙ

144. НА БЕРЕГАХ НОРМАНДИИ

Больное, тихое дитя
Сидит на береге, следя
Большими, умными глазами
За золотыми облаками...

Вкруг берег пуст — скала, песок...
Тростник, накиданный волною,
В поморье тянется каймою...
И так покой кругом глубок,

Так тнх ребенок, что садится
Вблизи его на тростнике,
Играя, птичка; на песке
По мелн рыбка серебрится...

К ним взор порою обратя,
Так улыбается дитя,
Глядит на них с таким участьем
И так сияет кротким счастьем,

Что если, бедный, промелькнет
Он на земле, как гость залетный,
И скоро в небе в сонм бесплотный
Господних ангелов войдет,

То там, меж них воспоминая
Свой берег, дикий и пустой,
«Прекрасна, — скажет, — жизнь земная!
Богат и весел край земной!»

1858

145

О вечно ропщущий, угрюмый Океан!
С богами вечными когда-то в гордом споре
Цепями вечными окованный титан
И древнее свое один несущий горе!
Ты успокоился... надолго ли?.. О, миг —
И, грозный, вдруг опять подымется старик,
И, злобствуя на всё — на солнце золотое,
На песни нереид, на звездный тихий свет,
На счастие, каким исполнился поэт,
Обретший свой покой в его святом покое, —
Ударит по волнам, кляня суровый рок
И грозно требуя в неистовой гордыне,
Чтобы не смел глядеть ни человек, ни бог,
Как горе он свое несет в своей пустыне...

1859
Биарица

146. АЛЬПИЙСКИЕ ЛЕДНИКИ

Сырая мгла лежит в ущелье,
А там — как призраки легки,
В стыдливом девственном веселье,
В багрянцах утра — ледники!

Какою жизнью веет новой
Мне с этой снежной вышины,
Из этой чистой, бирюзовой
И света полной глубины!

Там, знаю, ужас обитает,
И нет людского там следа, —
Но сердце точно отвечает
На чей-то зов: «Туда! Туда!»

1858

147. АЛЬПИЙСКАЯ ДОРОГА

На горе сияньем утра
Деревянный крест облит,
И малютка на коленях
Перед ним в мольбе стоит...

Помолись, душа святая,
И о странных и чужих,
О тоскующих, далеких,
И о добрых, и о злых...

Помолись, душа святая,
И о том, чей путь далек,
Кто с душой, любовью полной,
В мире всюду одинок...

1858

148

Здесь весна, как художник уж славный, работает тихо.
От цветов до других по неделе проходит и боле.
Словно кончит картину и публике даст наглядеться,
Да и публика знает маэстро — и уж много о нем
не толкует:
Репутация сделана — бюст уж его в Пантеоне.
То ли дело наш Север! Весна, как волшебник
нежданный,
Пронесется в лучах, и растопит снега и угонит,
Словно взмахом одним с яркой озими сдернет покровы,
Вздует почки в лесу, и — цветами уж зыблется поле!
Не успеет крестьянин промолвить: «Никак нынче
вёдро»,
Как — и соху справляй, и сырую разрыхливай землю!
А на небе-то, господи, праздник, и звон, и веселье!
И летят надо всею-то ширью от моря и дó моря
птицы —
К зеленям беспредельным, к широким зеркальным
разливам!
Выбирай лишь, где больше приволья, в воде им
и в лесе!

И кричат как, завидя знакомые реки и дебри,
И с соломенных крыш беловатый дымок над поляной!..
Унеси ты, волшебник, скорее меня в это царство,
Где по утренним светлым зарям бодро дышится груди,
Где пред ликом господних чудес умиляется всякое
сердце...

1859
Неаполь

НЕАПОЛИТАНСКИЙ АЛЬБОМ

(МИСС МЕРИ)

1858-1859

149

Какое утро! Стихли громы,
Широко льется солнца луч,
Горят серебряные комы
За горы уходящих туч...

Какое утро!.. Море снова
Приемлет свой зеркальный вид,
Хотя вдоль лона голубого
Тяжелый вздох еще бежит;

И — след утихнувшего гнева —
Бурун вскипает здесь и там,
И слышен гул глухого рева
Вдоль по отвесным берегам...

Плыву я, счастьем тихим полный,
И мой гребец им дорожит:
Чуть-чуть по влаге, сам безмолвный,
Веслом сверкающим скользит...

Молчит — и лишь с улыбкой взглянет,
Когда на нас от берегов
Чуть слышным ветерком потянет
Благоухание цветов:

Как будто сильфов резвых стая,
Спрыгнув со скал, дыша теплом,
Помчалась, вся благоухая,
Купаться в воздухе морском...

7 мая 1859
Неаполь

150. НАРОДНАЯ ПЕСНЯ

Далеко, на самом море,
Я построю дом
Из цветных павлиньих перьев,
С звездами кругом.

Вставлю в них кругом сапфиры,
Жемчуг, бирюзу,
Жить туда со мной навеки
Нину увезу.

И едва кругом с балкона
Нина поглядит —
«Солнце всходит! Солнце всходит!» —
Всё заговорит!

151. ЕЩЕ ИЗ НАРОДНОЙ ПЕСНИ

Не хочу я смерти ждать,
Ждать до старости постылой,
Умирать — так умирать
От ножа, в глазах у милой!
Станет вдруг она тогда
Говорить — о чем молчала,
Целовать — как никогда
До того не целовала!

152

Вы повсюду — о мисс Мери! —
В этот зной!.. Лучи палят,
Сотни каторжников красных
Гору белую сверлят...

Что вы взорами впилися
В этот пестрый сброд людей,
В эти бронзовые лица?
Иль вам чуден стук цепей?

Или вам в толпе несчастных
Дико видеть смех и спор,
И трагические позы,
И комический задор?

Знаю — «мучеников мысли»
Всё вы ищете меж них,
Чтобы несколько им бросить
Утешенья слов святых!

О, под этим ясным небом,
Посреди счастливых лиц —
Эти люди ведь опасней
И бандитов, и убийц!

Их катоновская мрачность
И улыбка злая их
Навели б и страх, и скуку
На людей и на святых!

И, спасибо, их далёко
Убирают здесь — туда,
Где и солнце ненароком
Не бывает никогда!

153. ДВА КАРЛИНА

Эй, синьор! хоть два карлина
Дайте мне за что-нибудь!
Спеть вам «Bella Sorrentina»? [1]
Или пыль с сапог стряхнуть?

Боже мой! С какою злобой
Вы кричите: «Негодяй!»
Здесь Неаполь! Здесь особый
И народ, и самый край!

Много есть народов умных,
Но философ — наш один,

[1] Прекрасная соррентинка (итал.). — *Ред.*

Хоть живет средь улиц шумных,
Как поэт и арлекин!

Богачи и ладзароны —
Всё одна душа! У всех
Счастье — те же макароны,
Те же песни, тот же смех!

Наши песни — что их краше?
Как цветы из недр земных,
Из груди певучей нашей
Так и тянет солнце их!

Смех нам хартия! Захочет
Деспот сжать нас — смех уж тут:
Знак, два слова — и хохочет
Весь Неаполь, всякий люд!

Мирно с церковью он ладит,
Да и церковь ко двору!
Для него мадонну рядит,
Как невесту на пиру!

Галлы, немцы, арагонцы
Спор вели из-за него —
Он, от всех ловя червонцы,
Не стоял ни за кого!

Возвестил ему свободу
Гарибальди — perchè no?[1]
Были б праздники народу,
Были б песни и вино!

Всё равно, кто правит нами —
Тот иль этот!.. Здесь один
Над рабами и царями
Есть повыше господин...

Вон — чудовище! — открыло
К ночи огненную пасть...

[1] Почему нет? (Итал.) — *Ред.*

Точно ждет, сбираясь с силой,
Только знака, чтоб напасть!

Не минуем верной кары!
Нынче ль, завтра ль — всё одно!..
Уж подземные удары
Ночью будят нас давно,

И колеблющейся лентой
По прозрачным небесам
От Пуццоло до Сорренто
Дым стоит и здесь, и там...

Всё, что дышит, — гибель чует
И, боясь опоздать,
Веселится и ликует...
Человеку ль отставать?

Лучше петь, забывши горе,
Перед часом роковым,
Как поглотит огнь иль море
Почву шаткую под ним...

Ах, ужасная картина!
Вдруг порвется жизни нить...
Так что... ваши два карлина...
Перед смертью, может быть!

154. ТАРАНТЕЛЛА

(На голос: «Già la luna è mezz'al mare...»)[1]

Нина, Нина, тарантелла!
Старый Чьеко уж идет!
Вон уж скрипка загудела!
В круг становится народ!
Приударил Чьеко старый...
Точно птички на зерно,
Отовсюду мчатся пары!..
Вон — уж кружатся давно!

[1] «Уже луна посреди моря» (итал.). — *Ред.*

Как стройна, гляди, Аглая!
Вот помчалась в круг живой —
Очи долу, ударяя
В тамбурин над головой!
Ловок с нею и Дженнаро!..
Вслед за ними нам — смотри!
После тотчас третья пара...
Ну, Нинета... раз, два, три...

Завязалась, закипела,
Всё идет живей, живей,
Обуяла тарантелла
Всех отвагою своей...
Эй, простору! шибче, скрипки!
Юность мчится! с ней цветы,
Беззаботные улыбки,
Беззаветные мечты!

Эй, синьор, синьор! угодно
Вам в кружок наш, может быть?
Иль свой сан в толпе народной
Вы боитесь уронить?
Ну, так мимо!.. шибче, скрипки!
Юность мчится! с ней цветы,
Беззаботные улыбки,
Беззаветные мечты!

Вы, синьора? Вы б и рады,
К нам сердечко вас зовет...
Да снуровка без пощады
Вашу грудь больную жмет...
Ну, так мимо! шибче, скрипки!
Юность мчится! с ней цветы,
Беззаботные улыбки,
Беззаветные мечты!

Вы, философ! дайте руки!
Не угодно ль к нам сюда!
Иль кто раз вкусил науки —
Не смеется никогда?
Ну, так мимо!.. шибче, скрипки!
Юность мчится! с ней цветы,

Беззаботные улыбки,
Беззаветные мечты!

Ты что смотришь так сурово,
Босоногий капуцин?
В сердце памятью былова,
Чай, отдался тамбурин?
Ну — так к нам — и шибче, скрипки!
Юность мчится! с ней цветы,
Беззаботные улыбки,
Беззаветные мечты!

Словно в вихре мчатся пары,
Не сидится старикам...
Расходился Чьеко старый
И подплясывает сам...
Мудрено ль! Вкруг старой скрипки
Так и носятся цветы,
Беззаботные улыбки,
Беззаветные мечты!

Не робейте! Смейтесь дружно!
Пусть детьми мы будем век!
Человеку знать не нужно,
Что такое человек!..
Что тут думать!.. шибче, скрипкн!
Наши — юность и цветы,
Беззаботные улыбки,
Беззаветные мечты!

155

Всем ты жалуешься вечно,
Что судьбой гоним с пелен,
Что влюбляешься несчастно,
Дважды чином обойден!

Друг! не ты один страдаешь!
Вон, взгляни: осел стоит
И с горы на весь Неаполь
О бедах своих кричит.

Вне ограды Campo Santo,[1]
Не в ряду святых могил,
Нынче с почестью Неаполь
Примадонну хоронил.

Без военного конвоя,
Без монахов и попов,
Сам народ «комедиантку»
Провожал дождем цветов.

Каждый чувствовал, что город
Точно вдруг осиротел,
Ото всех сердец как будто
Добрый гений отлетел...

Не без зависти, мисс Мери,
Вы смотрели из окна,
Как за гробом примадонны
Шла народная волна.

Как, в своих лохмотьях, важно
Ладзароны гроб несли,
Как по их угрюмым лицам
Слезы тихие текли...

Хоть вы знали, пуританка,
Что ценою жгучих слез,
Бурной жизнью, трудной школой
Всё божественной далось...

Мистер Джон об этом знает,
Но молчит ваш мистер Джон...
Вспоминая, сколько фунтов
На нее потратил он...

Но зато мой Савва Саввич,
С простодушием детей,
Бескорыстно рад поплакать
Чуждой скорби, как своей.

---

[1] Кладбище (итал.). — *Ред.*

157

Мисс! не бойтесь легкой шутки!
Мы ведь шутим надо всем,
Шутим даже над героем
Наших собственных поэм...

Да и что моя вам шутка!
Вдруг у ваших ног блеснет
И, как ящерица в камнях,
Шаловливо пропадет.

158

Душно! Иль опять сирокко?
И опять залив кипит,
И дыхание Сахары
В бурых тучах вихорь мчит?

В лицах страх, недоуменье...
Средь безмолвных площадей
Люди ждут в томленьи страстном,
Грянул гром бы поскорей...

Чу! уж за морем он грянул!
И Сицилия горит!
Знамя светлое свободы
Уж над островом стоит!

Миг еще — конец тревоги,
Ожиданья и тоски,
И народ вкруг Гарибальди
Кинет в воздух колпаки!

159

Народный вождь вступает в город...
Всё ближе он... Всё громче крик...
И вот он сам, средь этих криков
От счастья тих... О, чудный миг!

К нему все рвутся, как на приступ;
Но вот дорвалася одна —
И уж с цветком из рук героя
Уходит, гордая, она!

О, сколько там, в стране туманов,
Средь вечных будничных тревог,
Напомнит Мери этот скромный,
С трудом доставшийся цветок —

И загорелый лик героя,
И пестрых волн народных плеск,
И вкруг на всем, с высот лазурных,
Луча полуденного блеск!

⟨1860⟩

ДОМА

160. МАТЬ

«Бедный мальчик! Весь в огне,
Всё ему неловко!
Ляг иа плечико ко мне,
Прислонись головкой!
Я с тобою похожу...
Подремли, мой мальчик,
Хочешь, сказочку скажу:
Жил-был мальчик с пальчик...
Нет! не хочешь?.. Сказки — вздор!
Песня лучше будет...
Зашумел сыр-темен бор,
Лис лисичку будит;
Во сыром-темном бору...
Задремал мой крошка!..
...*Я малинки наберу*
Полное лукошко...
Во сыром-темном бору...
Тнше! Засыпает...
Словно птенчик, всё в жару
Губки открывает...»

«Во сыром бору» поет
Мать и ходит, ходит...
Тихо, долго ночь идет...
Ночь уж день выводит —
Мать поет... Рука у ней
Затекла, устала,
И не раз слезу с очей
Бедная роняла...

И едва дитя, в жару,
Вздрогнув, встрепенется —
«Во темном-сыром бору»
Снова раздается...

Отклони удар, уйди,
Смерть с своей косою!
Мать дитя с своей груди
Не отдаст без бою!
Заслонит средь всех тревог
Всей душой своею
Жизни чудный огонек,
Что затеплен ею!
И едва он засветил —
Вдруг ей ясно стало,
Что́ любви, что́ чудных сил
Сердце в ней скрывало!..

1861

161. ВЕСНА

Посвящается Коле Трескину

Уходи, зима седая!
Уж красавицы Весны
Колесница золотая
Мчится с горней вышины!

Старой спорить ли, тщедушной,
С ней — царицею цветов,
С целой армией воздушной
Благовонных ветерков!

А что шума, что гуденья,
Теплых ливней и лучей,
И чиликанья, и пенья!..
Уходи себе скорей!

У нее не лук, не стрелы,
Улыбнулась лишь — и ты,
Подобрав свой саван белый,
Поползла в овраг, в кусты!..

Да найдут и по оврагам!
Вон — уж пчел рои шумят
И летит победным флагом
Пестрых бабочек отряд!

⟨1880⟩

162. ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

«Золото, золото падает с неба!» —
Дети кричат и бегут за дождем...
— Полноте, дети, его мы сберем,
Только сберем золотистым зерном
В полных амбарах душистого хлеба!

1856

163. СЕНОКОС

Пахнет сеном над лугами...
В песне душу веселя,
Бабы с граблями рядами
Ходят, сено шевеля.

Там — сухое убирают:
Мужички его кругом
На воз вилами кидают...
Воз растет, растет, как дом...

В ожиданьи конь убогий,
Точно вкопанный, стоит...
Уши врозь, дугою ноги
И как будто стоя спит...

Только жучка удалая,
В рыхлом сене, как в волнах,
То взлетая, то ныряя,
Скачет, лая впопыхах.

1856

164. НОЧЬ НА ЖНИТВЕ

Густеет сумрак, и с полей
Уходят жницы... Уж умолк
Вдали и плач и смех детей,
Собачий лай и женский толк.

Ушел рабочий караван...
И тишина легла в полях!..
Как бесконечный ратный стан,
Кругом снопы стоят в копнах;

И задымилася роса
На всем пространстве желтых нив,
И ночь взошла на небеса,
Тихонько звезды засветив.

Вот вышел месяц молодой...
Одно, прозрачное, как дым,
В пустыне неба голубой
Несется облачко пред ним:

Как будто кто-то неземной,
Под белой ризой и с венцом,
Над этой нивой трудовой
Стоит с серебряным серпом

И шлет в сверкании зарниц
Благословенье на поля:
Вознаградила б страду жниц
Их пóтом влажная земля.

1862

165—169. *В СТЕПЯХ*

1
НОЧНАЯ ГРОЗА

Ну уж ночка! Воздух жгучий
Не шелохнется! Кругом
Жарко вспыхивают тучи
Синей молнии огнем.

Словно смотр в воздушном стане
Духам тьмы назначен! Миг —
И помчится в урагане
По рядам владыка их!

То-то грянет канонада —
Огнь и гром, и дождь и град,
И по степи силы ада
С диким свистом полетят!..

Нет, при этаком невзгодье,
В этом мраке, предоставь
Всё коню! Отдай поводья
И не умничай, не правь:

Ровно, ровно, верным шагом,
Не мечася как шальной,
По равнинам, по оврагам
Он примчит тебя домой...

2

РАССВЕТ

Вот — полосой зеленоватой
Уж обозначился восток;
Туда тепло и ароматы
Помчал со степи ветерок;

Бледнеют тверди голубые;
На горизонте — всё черней
Фигуры, словно вырезные,
В степи пасущихся коней...

3

Мой взгляд теряется в торжественном просторе...
Сияет ковыля серебряное море
В дрожащих радугах, — незримый хор певцов

И степь и небеса весельем наполняет,
И только тень порой от белых облаков
На этом празднике, как дума, пролетает.

1862

4

ПОЛДЕНЬ

Пар полуденный, душистый
Подымается с земли...
Что ж за звуки в серебристой
Всё мне чудятся дали?

И в душе моей, как тени
По степи от облаков,
Ряд проносится видений,
Рой каких-то давних снов.

Орды ль идут кочевые?
Рев верблюдов, скрип телег? ..
Не стрельцы ль сторожевые?
Не казацкий ли набег?

Полоняночка ль родная
Песню жалкую поет
И, татáрченка качая,
Голос милым подает?..

5

СТРИБОЖЬИ ВНУКИ

Се ветри, Стрибожьи внуци, веют
с моря...
на силы Дажьбожья внука, храбрых
руснчей...

«Слово о полку Игореве»

Стрибожьи чада! это вы
Несетесь с шумом над степями,
Почти касаяся крылами
Под ними гнущейся травы?
Чего вам надо? Эти степи

Уже не те, что в дни, когда
Здесь за ордою шла орда,
Неся на Русь пожар и цепи!
Ушел далеко Черный Див
Перед Дажьбожьими сынами,
Им, чадам света, уступив
Свое господство над степями!
И Солнца русые сыны
Пришли — и степь глядит уж садом...
Там зреют жатвы; убраны
Там холмы синим виноградом;
За весью весь стоит; косцов
Несется песня удалая,
И льется звон колоколов
В степи от края и до края...
И слух пропал о временах,
Когда, столь грозное бывало,
Здесь царство темное стояло;
И путник мчится в сих местах,
Стада овец порой пугая,
Нигде засад не ожидая;
Спокойно тянутся волы;
И падших ратей ищут тщетно
В степи, на клёкт их безответной,
С высот лазуревых орлы...

1863

170. НИВА

По ниве прохожу я узкою межой,
Поросшей кашкою и цепкой лебедой.
Куда ни оглянусь — повсюду рожь густая!
Иду, с трудом ее руками разбирая.
Мелькают и жужжат колосья предо мной
И колют мне лицо... Иду я наклоняясь,
Как будто бы от пчел тревожных отбиваясь,
Когда, перескочив чрез ивовый плетень,
Средь яблонь в пчельнике проходишь в ясный день.

О, божья благодать!.. О, как прилечь отрадно
В тени высокой ржи, где сыро и прохладно!

Заботы полные, колосья надо мной
Беседу важную ведут между собой.
Им внемля, вижу я: на всем полей просторе
И жницы, и жнецы, ныряя точно в море,
Уж вяжут весело тяжелые снопы;
Вон на заре стучат проворные цепы;
В амбарах воздух полн и розана, и меда;
Везде скрипят возы; средь шумного народа
На пристанях кули валятся; вдоль реки
Гуськом, как журавли, проходят бурлаки,
Нагнувши головы, плечами напирая
И длинной бичевой по влаге ударяя...

О боже! ты даешь для родины моей
Тепло и урожай, дары святые неба, —
Но, хлебом золотя простор ее полей,
Ей также, господи, духовного дай хлеба!
Уже над нивою, где мысли семена
Тобой насажены, повеяла весна,
И непогодами не сгубленные зерна
Пустили свежие ростки свои проворно, —
О, дай нам солнышка! Пошли ты ведра нам,
Чтоб вызрел их побег по тучным бороздам!
Чтоб нам, хоть опершись на внуков, стариками
Прийти на тучные их нивы подышать
И, позабыв, что мы их полили слезами,
Промолвить: «Господи! какая благодать!»

1856

171

Дорог мне, перед иконой
В светлой ризе золотой,
Этот ярый воск, возжженный
Чьей неведомо рукой.
Знаю я: свеча пылает,
Клир торжественно поет —
Чье-то горе утихает,
Кто-то слезы тихо льет,
Светлый ангел упованья

Пролетает над толпой...
Этих свеч знаменованье
Чую трепетной душой:
Это — медный грош вдовицы,
Это — лепта бедняка,
Это... может быть... убийцы
Покаянная тоска...
Это — светлое мгновенье
В диком мраке и глуши,
Память слез и умиленья
В вечность глянувшей души...

1868

СТРАНЫ И НАРОДЫ

172

Сидели старцы Илиона
В кругу у городских ворот;
Уж длится града оборона
Десятый год, тяжелый год!
Они спасенья уж не ждали,
И только павших поминали,
И ту, которая была
Виною бед их, проклинали:
«Елена! ты с собой ввела
Смерть в наши домы! ты нам плена
Готовишь цепи!!! . . .»
В этот миг
Подходит медленно Елена,
Потупя очи, к сонму их;
В ней детская сияла благость
И думы легкой чистота;
Самой была как будто в тягость
Ей роковая красота...
Ах, и сквозь облако печали
Струится свет ее лучей...
Невольно, смолкнув, старцы встали
И расступились перед ней.

1869

173. ПЛАТОНА

ЕДИНСТВЕННЫЕ ДВА СТИХА, ДО НАС ДОШЕДШИЕ

Небом желал бы я быть, звездным, всевидящим небом,
Чтобы тебя созерцать всеми очами его!

1883

174. ИЗ САФО

Он — юный полубог, и он — у ног твоих!..
Ты — с лирой у колен — поешь ему свой стих,
Он замер, слушая, — лишь жадными очами
Следит за легкими перстами
На струнах золотых...
А я?.. Я тут же! тут! Смотрю, слежу за вами —
Кровь к сердцу прилила — нет сил,
Дыханья нет! Я чувствую, теряю
Сознанье, голос... Мрак глаза мои затмил —
Темно!.. Я падаю... Я умираю...

1875

175. РЫЦАРЬ

(Из Bertrand de Born)

Смело, не потупя взора,
Но как праведник, на суд
К вам являюсь я, синьора,
И скажу одно: вам лгут.
Пусть при первом же сраженьи
Я бегу, как подлый трус;
Пусть от вас я предпочтенья
Пред соперником лишусь;
Пусть в азарте, в чет и нечет,
Всё спущу я — меч, коня,
Латы, замки и поля;
Пусть мной выхоженный кречет
На глазах моих с высот
Наземь камнем упадет,
В бой вступив в воздушном поле
С целой стаей соколов;
Наконец, я сам готов
Сгнить у мавров в злой неволе
От истомы и оков, —
Коль не ложь — моя измена,
Не гнуснейшая из лжей,
Что я рвусь уйти из плена
У владычицы моей.

(1892)

176. ИЗ ПЕТРАРКИ

Когда она вошла в небесные селенья,
Ее со всех сторон собор небесных сил,
В благоговении и тихом изумленьи,
Из глубины небес слетевшись, окружил.
«Кто это? — шепотом друг друга вопрошали. —
Давно уж из страны порока и печали
Не восходило к нам, в сияньи чистоты,
Столь строго девственной и светлой красоты».

И, тихо радуясь, она в их сонм вступает,
Но, замедляя шаг, свой взор по временам
С заботой нежною на землю обращает
И ждет, иду ли я за нею по следам...
Я знаю, милая! Я день и ночь на страже!
Я господа молю! Молю и жду — когда же?

1860

177. МАДОННА

Стою пред образом Мадонны:
Его писал монах святой,
Старинный мастер, не ученый;
Видна в нем робость, стиль сухой;

Но робость кисти лишь сугубит
Величье девы: так она
Вам сострадает, так вас любит,
Такою благостью полна,

Что веришь, как гласит преданье,
Перед художником святым
Сама пречистая в сиянье
Являлась, видима лишь им...

Измучен подвигом духовным,
Постом суровым изнурен,
Не раз на помосте церковном
Был поднят иноками он, —

И, призван к жизни их мольбами,
Еще глаза открыть боясь,
Он братью раздвигал руками
И шел к холсту, душой молясь.

Брался за кисть, и в умиленье
Он кистью то изображал,
Что от небесного виденья
В воспоминаньи сохранял, —

И слезы тихие катились
Вдоль бледных щек... И, страх тая,
Монахи вкруг него молились
И плакали — как плачу я...

1859
Флоренция

178. МИНЬОН

(Из Гёте)

Ах, есть земля, где померанец зреет,
Лимон в садах желтеет круглый год;
Таким теплом с лазури темной веет,
Так скромно мирт, так гордо лавр растет!..
Где этот край? Туда, туда
Уйти бы нам, мой милый, навсегда!

Я помню зал: колонна за колонной,
И мраморы стоят передо мной,
И, на меня взирая благосклонно,
Мне говорят: «Малютка, что с тобой?»
Ах, милый мой! Туда, туда
Уйти бы нам с тобою навсегда!

А там — гора: вдоль сыплющихся склонов
Средь облаков карабкается мул...
Внизу — обрыв, где слышен рев драконов,
Паденье скал, потоков пенных гул...
Где этот край?.. Туда, туда
Уйти бы нам, мой милый, навсегда!

(1866)

179. ИЗ ГЕТЕ

Кого полюбишь ты — всецело
И весь, о Лидия, он твой,
Твой всей душой и без раздела!
Теперь мне жизнь, что предо мной
Шумит, и мчится, и сверкает,
Завесой кажется прозрачно-золотой,
Через которую лишь образ твой сияет
Один — во всех своих лучах,
Во всем своем очарованье,
Как сквозь дрожащее полярное сиянье
Звезда недвижная в глубоких небесах...

(1874)

180—181. *ИЗ ГЕТЕ*

ЛИЛЛИ

1

Эта маленькая Лилли —
Целый мир противоречий,
То трагедий, то идиллий!
Что за ласковые встречи!

Льнет к тебе нежней голубки,
А обнять хочу — отскочит!
Засмеюсь — надует губки,
Рассержусь — оиа хохочет.

Вон в сердцах хочу бежать я —
Дверь собою застановит,
Открывает мне объятья,
Умоляет, руку ловит.

Сдался — уж глядит лукаво, —
Так и знай, что будет худо...
Это бес какой-то, право, —
Только бес такой, что чудо!

2

«Надо кончить», — порешили
Мы вчера. Финал любви!
Съехать надо: с этой Лилли
Вот уж где мне vis-à-vis! [1]

Занавесилась... Уф! злится!
Но ведь в щелочку глядит...
Уголок-то шевелится
Занавески... Пусть сидит!

Я уж выдержу. Уткнуся
Носом в книгу. Позовет —
И тогда не оглянуся!..
Только долго что-то ждет...

Как так?.. Ветер кисеею
Размахнул до потолка —
И всё пусто! Я-то строю
Перед кем же дурака!

Бросил книгу я с досадой.
«Ха-ха-ха!» — вдруг слышу. «Ты?»
— «Ну и что ж?» — И всё как надо —
Смех опять, любовь, цветы...

1864, 1889

182. ИЗ ГАФИЗА

Встрепенись, взмахни крылами,
Торжествуй, о сердце, пой,
Что опутано сетями
Ты у розы огневой,
Что ты в сети к ней попалось,
А не в сети к мудрецам,
Что не им внимать досталось
Дивным песням и слезам;
И хоть слез, с твоей любовью,
Ты моря у ней прольешь

---

[1] Напротив, лицом к лицу (франц.). — *Ред.*

И из ран горячей кровью
Всё по капле изойдешь,
Но зато умрешь мгновенно
Вместе с песнею своей
В самый пыл — как вдохновенный
Умирает соловей.

(1874)

183—188. *ИЗ ИСПАНСКОЙ АНТОЛОГИИ*

1

Эти черные два глаза
С их глубоким, метким взглядом —
Два бандита с наведенным
Из засады карабином.

2

Против глаз твоих ничуть,
Верь, я злобы не питаю.
На меня ведь им взглянуть
Страх как хочется, я знаю.
Это *ты* в душе своей
Строишь ковы! *ты* хлопочешь
О погибели моей —
И позволить им не хочешь.

3

Я — король. Ты — королева.
Мы в войне. Я главных сил
И фельдмаршала их Гнева
Не боюсь. Я б их разбил.
Но как двинешь ты резервы,
В бой войти велишь слезам —
Тут беда! Пожалуй, первый
Брошусь я к твоим ногам!..

4

Эти очи — свет со тьмою,
Очи, полные зарниц!
Окаймленные густою
Ночью черною ресниц!
Но был миг — и ночь вдруг стала
Раздвигаться, мрак исчез —
И мне в сердце засияла
Глубина святых небес.

5

Холодный, смертный приговор
Твои глаза мне произносят;
Мои ж, снедая свой позор,
Лишь о помилованьи просят.

6

В тихой думе, на кладбище,
Златокудрое дитя,
Ты стоишь, к холмам печальным
Кротко очи опустя.
Знаешь? Спящим тут во мраке,
В забытье глубоком их,
Снится в райской ореоле
Светлый ангел в этот миг.

(1878)

189—190. *ДВЕ БЕЛОРУССКИЕ ПЕСНИ*

1

ПЕТРУСЬ

Ой, худые вести
Люди приносили:
Бедного Петруся
До смерти забили.
А за что ж забили,
За вину какую?

От своей-то женки
Полюбил чужую!
Как же мог подумать
О такой он пани?
Пани — вся в атласах,
Ты ж — в худом кафтане!
Пани трех служанок
За Петрусем слала;
Не дождалась пани,
В поле поскакала:
«Ой, бросай, Петрусик,
Соху середь поля!
Пана нету дома —
Полная нам воля!»
Верные холопы
Пана повестили;
Панские хоромы
Крепко оцепили.
Выглянула пани,
Видит — хлопов кучи;
Панский конь весь в мыле,
Пан — чернее тучи...
«Серденько Петрусик,
Утекай скорее!
Пан приехал, тучи
Громовой чернее!»
Чуть Петрусь до двери —
Засвистали плети.
Бьют и бьют Петруся
Час, другой и третий.
Парень уж не дышит;
Хлопцы бить устали,
За бока Петруся
Взяли, подымали,
Понесли к Дунаю...
Быстр Дунай раскрылся...
«Вот тебе, голубчик,
Что пригож родился!»

Вельможиая пани
В сени выходила,

Пани рыболовам
По рублю дарила:
«Будет вам и больше!
Рыбачки, идите,
Моего Петруся
Тело изловите!»
Рыбаки искали
В омуте и тине —
И нашли Петруся
В Жалинской долине.
Некого им к пани
Вестником отправить,
Чтобы приезжала
Похороны справить.

Вельможная пани
Бродит как шальная;
О своем Петрусе
Плачет мать родная;
Плачет мать родная
Горькими слезами;
Вельможная сыплет
Белыми рублями:
«Ой, не плачь ты, мати,
Пусть одна я плачу!
Жизнь и панство с сыном
Я твоим утрачу!»

И ходила пани
Борами, лесами;
Щеки обливала
Жаркими слезами;
Все об остры камни
Ноженьки избила;
Бархатное платье
По росе смочила.

Ходит пан по рынку,
Тяжело вздыхает,
На себя сам горько
Плачется, пеняет:

«Ведай-ко я прежде
Про такую долю,
Не мешал Петрусю б
Тешиться я вволю!»

2

«Ой, сынки мои, соколы мои,
Доченьки-голубоньки!
Как придет мой час, помирать начну,
Соберитесь вкруг меня!»

Ходят в горенке, сынки шепчутся,
Как им мать хоронить;
Ходят в горенке, зятья шепчутся,
Как добро разделить;

Ой, а доченьки, что голубоньки,
Вкруг матушки вьются!
А невестушки ходят в горенке,
Над ними смеются.

‹1870›

191. СОН НЕГРА

(Из Лонгфелло)

Измучен зноем и трудом,
Он наземь бросился ничком...
Недвижно рис над ним стоял.
Палимый зноем, он дремал...
То был ли бред, то был ли сон —
Родимый край увидел он.

Увидел он: в степи глухой
Несется Нигер голубой;
Под сенью пальм стоят шатры;
К ним караван ползет с горы,
И люди веселы кругом:
Он в том народе был царем.

Среди цветов стоит жена,
Толпой детей окружена;
И дети к ней, ласкаясь, льнут,
И в лес, отца искать, зовут...
И вот сквозь сон, горячий сон,
В бреду заплакал тихо он...

И снова чудится во сне:
На борзом мчится он коне.
Как вольный вихорь, конь летит,
Взбивая прах из-под копыт,
Златою сбруею звеня,
И сабля бьет в бока коня...

Что миг — свободней дышит грудь!
Что шаг — торжественнее путь,
Всё ближе горы. Лев рычит,
Кричит гиена, змей свистит,
И тяжело по тростникам
Идет в реке гиппопотам.

Под небом темно-голубым
Фламинго красный, перед ним
Несясь вдали, крылами бьет,
Как знамя красное, — и вот
Ему открылся кафров стан
И в очи глянул океан!

И встал он там, и слышит: вдруг
Подобный трубам, мощный звук
Поколебал и дол, и лес,
И глубь пустынь, и глубь небес...
То звал к свободе из оков
Великий дух своих сынов.

И вздрогнул он, услыша клич...
И уж не чувствовал, как бич
По нем скользнул, и как ногой
Его толкнул хозяин злой,
Как он, сдавив досады вздох,
Пробормотал потом: «Издох!..»

1859

192. КУПАЛЬЩИЦЫ

(Мелодия с берегов Ганга)

Люблю тебя, месяц, когда озаряешь
Толпу шаловливых красавиц, идущих
С ночного купанья домой!

Прекрасен ты, воздух, неся издалека
С венков их роскошиых волну аромата,
Их нам возвещая приход.

Прекрасно ты, море, когда твою свежесть
Я слышу у них на груди и ланитах,
И в черных, тяжелых косах...

1862

193—195. *ИЗ «КРЫМСКИХ СОНЕТОВ» МИЦКЕВИЧА*

1

АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ

В простор зеленого вплываю океана;
Телега, как ладья в разливе светлых вод,
В волнах шумящих трав среди цветов плывет,
Минуя острова колючего бурьяна.

Темиеет: впереди — ии знака, ни кургана.
Вверяясь лишь звездам, я двигаюсь вперед...
Но что там? облако ль? денницы ли восход?
Там Днестр; блеснул маяк, лампада Аккермана.

Стой!.. Боже, журавлей на небе слышен лет,
А их — и сокола б не уловило око!
Былинку мотылек колеблет; вот ползет

Украдкой скользкий уж, шурша в траве высокой, —
Такая тишина, что зов с Литвы б далекой
Был слышен... Только нет, никто не позовет!

2

БАЙДАРСКАЯ ДОЛИНА

Скачу, как бешеный, на бешеном коне;
Долины, скалы, лес мелькают предо мною,
Сменяясь, как волна в потоке за волною...
Тем вихрем образов упиться — любо мне!

Но обессилел конь. На землю тихо льется
Таинственная мгла с темнеющих небес,
А пред усталыми очами всё несется
Тот вихорь образов — долины, скалы, лес...

Всё спит, не спится мне — и к морю я сбегаю;
Вот с шумом черный вал подходит, жадно я
К нему склоняюся и руки простираю...

Всплеснул, закрылся он; хаос повлек меня —
И я, как в бездне челн крутимый, ожидаю,
Что вкусит хоть на миг забвенья мысль моя.

3

АЛУШТА ДНЕМ

Пред солнцем гребень гор снимает свой покров,
Спешит свершить намаз свой нива золотая,
И шелохнулся лес, с кудрей своих роняя,
Как с ханских четок, дождь камней и жемчугов;

Долина вся в цветах. Над этими цветами
Рой пестрых бабочек — цветов летучих рой —
Что полог зыблется алмазными волнами;
А выше — саранча вздымает завес свой.

Над бездною морской стоит скала нагая.
Бурун к ногам ее летит и, раздробясь
И пеною, как тигр глазами, весь сверкая,

Уходит с мыслию нагрянуть в тот же час.
Но море синее спокойно — чайки реют,
Гуляют лебеди и корабли белеют.

1869

196. РАЗРУШЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА

Ущельем на гору мы шли в ту ночь, в оковах.
Уже багровый блеск на мутных облаках,
Крик пролетавших птиц и смех вождей суровых
Давно питали в нас зловещий, тайный страх.

Идем... И — ужас! — вдруг сверкнул огонь струею
На шлемах всадников, предшествовавших нам..
Пылал Ерусалим! Пылал священный храм,
И ветер пламя гнал по городу рекою...

И вопли наши вдруг в единый вопль слились...
«Ах, мщенья, мщения!..» Но дико загремели
Ручные кандалы... «О бог отцов! ужели
Ты медлишь! Ты молчишь!.. Восстань! Вооружись

В грома и молнии!.» Но всё кругом молчало...
С мечами наголо, на чуждом языке
Кричала римская когорта и скакала
Вкруг нас, упавших ниц в отчаянной тоске...

И повлекли нас прочь... И всё кругом молчало...
И бог безмолвствовал .. И снова мы с холма
Спускаться стали в дол, где улегалась тьма,
А иебо на нее багряный блеск роняло.

⟨1862⟩

197. ВАЛКИРИИ

Высоко, безмолвно
Над полем кровавым
Сияет луна;

Весь берег — далёко
Оружьем и храбрых
Телами покрыт!

Герои! Им слава
И в людях, и в небе
Почет у богов!

Вон — тень пролетает
По долам, по скалам,
    На блеске морском:

То, светлые, мчатся
Валкирии-девы
    С эфирных высот!

Одежд их уж слышен
И крыл лебединых
    По воздуху свист,

Доспехов бряцанье,
Мечей ударенье
    По звонким щитам,

И радостный оклик,
И бурные песни
    Неистовых дев:

«В Валгаллу! В Валгаллу!
Один-Вседержитель
    Уж пир зачинал!

От струнного звона,
От трубного звука
    Чертоги дрожат!

И светочи жарко
Горят смоляные,
    И пенится мед, —

В Валгаллу, герои!
Там вечная юность —
    Ваш светлый удел,

Воздушные кони,
Одежды цветные,
    Мечи и щиты,

Рабыни и жены,
И в пире с богами
    Места на скамьях!»

1873

ПЕРЕВОДЫ И ВАРИАЦИИ ГЕЙНЕ

198. ГЕЙНЕ
(ПРОЛОГ)

Давно его мелькает тень
В садах поэзии родимой,
Как в роще трепетный олень,
Врагом невидимым гонимый.
И скачем мы за ним толпой,
Коней ретивых утомляя,
Звеня уздечкою стальной
И криком воздух оглашая.
Олень бежит по ребрам гор
И с гор кидается стрелою
В туманы дремлющих озер,
Осеребренные луною...
И мы стоим у берегов...
В туманах — замки, песен звуки,
И благовония цветов,
И хохот, полный адской муки...

1857

199

Пора, пора за ум мне взяться!
Пора отбросить этот вздор,
С которым в мир привык являться
Я, как напыщенный актер!

Смешно всё в мантии иль тоге,
С партера не сводя очей,
Читать в иадутом монологе
Анализ сердца и страстей!..

Так... но без ветоши ничтожной
Неловко сердцу моему!
Ему смешон был пафос ложный;
Противен смех теперь ему!

Ведь всё ж, на память роль читая,
В ней вопли сердца я твердил
И, в глупой сцене умирая,
Взаправду смерть в груди носил!

1857

200

Осеннего месяца облик
Сквозит в облаках серебром.
Стоит одинок на кладбище
Пастóра умершего дом.

Уткнулася в книгу старуха;
Сын тупо на свечку глядит;
Две дочки сидят сложа руки;
Зевнувши, одна говорит:

«Вот скука-то, господи боже!
В тюрьме веселее живут!
Здесь только и есть развлеченья,
Как гроб с мертвецом принесут!»

Старуха в ответ проронила:
«Всего четверых принесли
С тех пор, как отца схоронили...
Ох, дни-то как скоро прошли!»

Тут старшая дочка очнулась:
«Нет. полно! Невмочь голодать!
Отправлюсь-ка лучше я к графу!..
С терпеньем-то нечего взять!..»

И вторит ей брат, оживившись:
«И дело! А я так в шинок,
У добрых людей научиться
Казной набивать кошелек!»

В лицо ему книгу швырнула
Старуха, не помня себя:
«Издохни ты лучше, проклятый!
Отец бы услышал тебя!»

Вдруг все на окно оглянулись,
Оттуда рука им грозит:
Умерший пастор перед ними
Во всем облаченьи стоит...

1857

201

Осердившись, кастраты,
Что я грубо пою,
Злобным рвеньем объяты,
Песнь запели свою.

Голоса их звенели,
Как чистейший кристалл;
В их руладе и трели
Колокольчик звучал;

Чувства в дивных их звуках
Было столько, что вкруг
В истерических муках
Выносили старух.

1857

202

Меня ты не смутила,
Мой друг, своим письмом.
Грозишь со мной всё кончить —
И пишешь — целый том!

Так мелко и так много...
Читаю битый час...
Не пишут так пространно
Решительный отказ!

1857

203

Ее в грязи он подобрал;
Чтоб всё достать ей — красть он стал;
Она в довольстве утопала
И над безумцем хохотала.

И шли пиры... Но дни текли —
Вот утром раз за ним пришли:
Ведут в тюрьму... Она стояла
Перед окном и — хохотала.

Он из тюрьмы ее молил:
«Я без тебя душой изныл,
Приди ко мне!» — Она качала
Лишь головой и — хохотала.

Он в шесть поутру был казнен
И в семь во рву похоронен, —
А уж к восьми она плясала,
Пила вино и хохотала.

1857

204

Ты быстро шла, но предо мною
Вдруг оглянулася назад...
Как будто спрашивали гордо
Уста открытые и взгляд...

К чему ловить мне было белый,
По ветру бившийся покров?..
А эти маленькие ножки...
К чему искал я их следов!

Теперь исчезла эта гордость,
И стала ты тиха, ясна,
Так возмутительно покорна
И так убийственно скучна!

1857

205—209. *РОМАН В ПЯТИ СТИХОТВОРЕНИЯХ*

1

Инеем снежным, как ризой, покрыт,
Кедр одинокий в пустыне стоит.
Дремлет, могучий, под песнями вьюги,
Дремлет и видит — на пламенном юге
Стройная пальма растет и, с тоской,
Смотрит на север его ледяной.

2

Давно задумчивый твой образ,
Как сон, носился предо мной,
Всё с той же кроткою улыбкой,
Но — бледный, бледный и больной...

Одни уста еще алеют,
Но прикоснется смерть и к ним
И всё небесное угасит
В очах лобзаньем ледяным.

3

В легком челне мы с тобою
Плыли по быстрым волнам...
Тихая ночь навевала
Грезы блаженные нам...

Остров стоял, как виденье,
Лунным лучом осиян;
Песни оттуда звучали
Сквозь серебристый туман.

Песни туда нас манили...
Но, и сильна, и темна,
В море, в широкое море
Грозно влекла нас волна.

4

Любовь моя — страшная сказка,
Со всем, что есть дикого в ней,
С таинственным блеском и бредом,
Создание жарких ночей.

Вот — «рыцарь и дева гуляли
В волшебном саду меж цветов..,
Кругом соловьи грохотали,
И месяц светил сквозь дерёв...

Нема была дева, как мрамор...
К ногам ее рыцарь приник...
И вдруг великан к ним подходит,
Исчезла красавица вмиг...

Упал окровавленный рыцарь...
Исчез великан»... а потом...
Потом... Вот когда похоронят
Меня — то и сказка с концом!..

5

Здесь место есть... Самоубийц
Тела там зарываются...
На месте том плакун-трава
Одна, как тень, качается...

Я там стоял... Душа моя
Тоскою надрывалася...
Плакун-трава в лучах луны
Таинственно качалася.

(1866)

210

Краса моя, рыбачка,
Причаль сюда челнок,
Садись, рука с рукою,
Со мной на бережок.

Прижмись ко мне головкой,
Не бойся ничего!
Вверяешься ж ты морю —
Страшнее ль я его?

Ах, сердце — тоже море!
И бьется, и бурлит,
И так же дорогие
Жемчужины таит!

(1866)

211. ЛОРЕЛЕЯ

Беда ли, пророчество ль это...
Душа так уныла моя,
А старая, страшная сказка
Преследует всюду меня...

Всё чудится Рейн быстроводный,
Над ним уж туманы летят,
И только лучами заката
Вершины утесов горят.

И чудо-красавица дева
Сидит там в сияньи зари,
И чешет златым она гребнем
Златистые кудри свои.

И вся-то блестит и сияет,
И чудную песню поет:
Могучая, страстная песня
Несется по зеркалу вод...

Вот едет челнок... И внезапно,
Охваченный песнью ее,
Пловец о руле забывает
И только глядит на нее...

А быстрые воды несутся...
Погибнет пловец средь зыбей!
Погубит его Лорелея
Чудесною песнью своей!..

(1866)

212

Конец! Опущена завеса!
К разъезду публика спешит...
Ну что ж? успех имела пьеса?
О да! В ушах моих звучит
Еще доселе страстный шепот,
И крик, и вызовы, и топот...
Ушли... И зала уж темна,
Огни потухли... Тишина...

Чу! что-то глухо прозвенело
Во тьме близ сцены опустелой...
Иль это лопнула струна
На старой скрипке?.. Там что? Крысы
Грызут ненужные кулисы...

И лампы гаснут, и чадит
От них дымящееся масло...
Одна осталась... вот — шипит,
Шипит... чуть тлеет... и угасла...
Ах, эта лампа... то, друзья,
Была, увы! душа моя.

1857

EXCELSIOR[1]

213

О царство вечной юности
И вечной красоты!
В твореньях светлых гениев
Нам чувствуешься ты!

Сияющие мраморы,
Лизипп и Пракситель!..
С бессмертными мадоннами
Счастливый Рафаэль!..

Святая лира Пушкина,
Его кристальный стих,
Моцартовы мелодии,
Всё радостное в них —

Всё то — не откровенья ли
С надзвездной высоты,
Из царства вечной юности
И вечной красоты?..

1883

214

Чужой для всех,
Со всеми в мире —
Таков, поэт,
Твой жребий в мире!

[1] Возвышенное (лат.). — *Ред.*

Ты — на горе,
Они — в долине;
Но — бог и свет
В твоей пустыне.

Их дух привык
Ко тьме и ночи,
И голый свет
Им режет очи, —

Но ведь и им,
На самом пире,
Им *нужно* знать,
Что *есть* он в мире,

Что где-нибудь
Еще он светит,
Что воззовешь —
И он ответит!

1872

215. EXCELSIOR[1]

(Из Лонгфелло)

На высях Альп горит закат;
Внизу, в селеньи, стены хат
Отливом пурпурным сияют...
Вдруг видят люди: к ним идет
Красавец юноша, несет
В руке хоругвь, на ней читают:
Excelsior!

Идет он мимо — вверх — туда,
Где царство смерти, царство льда;
Не смотрит, есть иль нет дорога;
Лишь ввысь, восторженный, глядит,
И клик его в горах звучит,
Как звук серебряного рога:
Excelsior!

[1] Выше (лат.). — *Ред.*

Предупреждают старики:
«Куда идешь? Там ледники!
Там не была нога людская!
Спокон веков там ходу нет!»
Но он не слушает, в ответ
Лишь кликом горы оглашая:
Excelsior!

Краса-девица говорит:
«Останься здесь, от бурь укрыт,
Любим и счастлив с нами вечно!»
Он перед ней замедлил шаг,
Но через миг опять в горах
Раздалось, вторясь бесконечно:
Excelsior!

И вот уж скрылся он из глаз...
Уж пурпур на горах погас,
Бледнеют снежные вершины,
И там, в безмолвьи ледяном,
Звучит, как отдаленный гром,
С высот несущийся в долины:
Excelsior!

Чуть свет, при меркнущих звездах,
На льды в обход пошел монах,
Неся запас вина и хлеба, —
И слышит голос над собой
Как бы от тверди голубой,
С высот яснеющего неба:
Excelsior!

И тут же лай собаки, вмиг
Он к ней — и видит: в снеговых
Сугробах юноша... О, боже!
Он бездыханен, смертный сон
Его сковал, и держит он
В руке хоругвь, где надпись тоже —
Excelsior!

Уж горы облило зарей:
Лежит он, бледный и немой,

Среди пустынь оледенелых...
Стоит и слышит вдруг монах —
Уже чуть внятно — в высотах —
В недосягаемых пределах:
Excelsior!

1881

216

Вдохновенье — дуновенье
Духа божья! . Пронеслось —
И бессмертного творенья
Семя бросило в хаос.

Вмиг поэт душой воспрянет
И подхватит на лету,
Отольет и отчеканит
В медном образе — мечту!

1889

217. ХУДОЖНИКУ

К тебе слетело вдохновенье —
Его исчерпай всё зараз,
Покуда творческий восторг твой не погас
И полон ты и сил, и дерзновенья!
Оно недолго светит с вышины
И в смысл вещей, и духа в глубины,
И твоего блаженства миг недолог!
Оно умчалося — и тотчас пред тобой
Своей холодною рукой
Обычной жизни ночь задернет темный полог.

1881

218

Есть мысли тайные в душевной глубине;
Поэт уж в первую минуту их рожденья
В них чует семена грядущего творенья.
Они как будто спят и зреют в тихом сне,

И ждут мгновения, чьего-то ждут лишь знака,
Удара молнии, чтоб вырваться из мрака...
И сходишь к ним порой украдкой и тайком,
Стоишь, любуешься таинственным их сном,
Как мать, стоящая с заботою безмолвной
Над спящими детьми, в светлице, тайны полной...

1868

219

Возвышенная мысль достойной хочет брони:
Богиня строгая — ей нужен пьедестал,
И храм, и жертвенник, и лира, и кимвал,
И песни сладкие, и волны благовоний...

Малейшую черту обдумай строго в ней,
Чтоб выдержан был строй в наружном беспорядке,
Чтобы божественность сквозила в каждой складке
И образ весь сиял — огнем души твоей!..

Исполнен радости, иль гнева, иль печали,
Пусть вдруг он выступит из тьмы перед тобой —
И ту рассеет тьму, прекрасный сам собой
И бесконечностью за ним лежащей дали...

1869

220

Окончен труд — уж он мне труд постылый.
Как будто кто всё шепчет: погоди!
Твой главный труд — еще он впереди,
К нему еще ты только копишь силы!
Он облачком чуть светит заревым,
И всё затмит, все радости былые, —
Он впереди — святой Ерусалим,
То всё была — еще Антиохия!

1881

221

«Не отставай от века» — лозунг лживый,
Коран толпы. Нет: выше века будь!
Зигзагами он свой свершает путь,
И вкривь, и вкось стремя свои разливы.
Нет! мысль твоя пусть зреет и растет,
Лишь в вечное корнями углубляясь,
И горизонт свой ширит, возвышаясь
Над уровнем мимобегущих вод!
Пусть их напор неровности в ней сгладит,
Порой волна счастливый даст толчок, —
А золота крупинку мчит поток —
Оно само в стихе твоем осядет.

1889

222. ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПУШКИНА

Его стихи читая — точно я
Переживаю некий миг чудесный:
Как будто надо мной гармонии небесной
Вдруг понеслась нежданная струя...

Нездешними мне кажутся их звуки:
Как бы, влиясь в его бессмертный стих,
Земное всё — восторги, страсти, муки —
В небесное преобразилось в них!

1887

223

Мы выросли в суровой школе,
В преданьях рыцарских веков,
И зрели разумом и волей
Среди лишений и трудов.
Поэт той школы и закала,
Во всеоружии всегда,
В сей век Астарты и Ваала
Порой смешон, быть может... Да!

Его коня равняют с клячей,
И с Дон-Кихотом самого, —
Но он в святой своей задаче
Уж не уступит ничего!
И пусть для всех погаснет небо,
И в тьме приволье все найдут,
И ради похоти и хлеба
На всё святое посягнут, —
Один он — с поднятым забралом —
На площади — пред всей толпой —
Швырнет Астартам и Ваалам
Перчатку с вызовом на бой.

1890

224. ГР. А. А. ГОЛЕНИЩЕВУ-КУТУЗОВУ

Стихов мне дайте, граф, стихов,
Нетленных образов и вечных,
В волшебстве звуков и цветов
И горизонтов бесконечных!
Чтоб, взволновав, мне дали мир,
Чтоб я и плакал, и смеялся,
И вместе — старый ювелир —
Их обработкой любовался...
Да! ювелир уж этот стар,
Рука дрожит, — но во мгновенье
Готов в нем вспыхнуть прежний жар
На молодое вдохновенье!

1887

225. Е. И. В. ВЕЛИКОМУ КНЯЗЮ КОНСТАНТИНУ КОНСТАНТИНОВИЧУ

Зачем смущать меня под старость!
Уж на покой я собрался —
Убрал поля, срубил леса,
И если новая где зарость
От старых тянется корней,
То это — бедные побеги,
В которых нет уж прежних дней

Ни величавости, ни неги...
Даль безграничная кругом,
И, прежде крытое листвою,
Одно лишь небо надо мною
В безмолвном торжестве своем...
И вот — нежданно, к нелюдиму,
Ваш стих является ко мне
И дразнит старого, как в зиму
Воспоминанье о весне...

1887

226. ОТВЕТ Л.

Нет, то не Муза, дщерь небес,
Что нас детьми уж дразнит славой!
То злобный гений, мрачный бес,
То сын погибели лукавый
К нам, улыбаясь, предстает,
Пленит нас лирою заемной,
И поведет, и понесет,
И пред тобой уж тартар темный,
Но ты летишь в него стремглав,
Без рассужденья, без сознанья,
В душе, увы! давно поправ
Любви и веры упованья,
Не признавая ничего
И, бесу в радость и забаву,
За недающуюся славу
Кляня и мир, и божество!

Нет, Муза — строгая богиня:
Ей слава мира — тлен и прах!
Ей сердце чистое — святыня,
И ум, окрепнувший в трудах!
В жизнь проникая постепенно,
И в глубину, и в высоту,
Она поет отцу вселенной
С своею лирой умиленной
Его творений красоту!

1887

227

Мысль поэтическая — нет! —
В душе мелькнув, не угасает!
Ждет вдохновенья много лет
И, вспыхнув вдруг, как бы в ответ
Призыву свыше — воскресает...

Дать надо времени протечь,
Нужна, быть может, в сердце рана —
И не одна, — чтобы облечь
Мысль эту в образ и извлечь
Из первобытного тумана...

1887

228

Воплощенная, святая,
В обаяньи красоты,
Ты, земле почти чужая,
Мысль художника — что ты?
Посреди сплошного мрака,
В глубине пустынь нагих,
Ни пути где нет, ни злака,
Ни журчанья вод живых;
Под напором черной тучи,
Что из вечности несет
Адский вихрь, что пламя, жгучий,
От которого всё мрет, —
Ты — удар посланца божья
В мрак сей огненным мечом,
Ужас тьмы и бездорожья
Вмиг рассеявший кругом
И открывший для поэта
Солнце Истины над ним,
Мир кругом — в сияньи света,
И в душе его, поэта,
Образ, выстраданный им!

1888

229

Вчера — и в самый миг разлуки
Я вдруг обмолвился стихом —
Исчезли слезы, стихли муки,
И точно солнечным лучом
И близь, и даль озолотило...
Но не кори меня, мой друг!
Венец свой творческая сила
Кует лишь из душевных мук!
Глубоким выхвачен он горем
Из недр души заповедных,
Как жемчуг, выброшенный морем
Под грохот бури, — этот стих!

1889

230

Из темных долов этих взор
Всё к ним стремится, к высям гор,
Всё чудится, что там идет
Какой-то звон и всё зовет:
«Сюда! Сюда!..» Ужели там
В льдяных пустынях — божий храм?

И я иду на чудный зов;
Достиг предела вечных льдов;
Но храма — нет!.. Всё пусто вкруг;
Последний замер жизни звук;
Туманом мир внизу сокрыт, —
Но надо мною всё гудит
Во весь широкий небосклон:
«Сюда! Сюда!» — всё тот же звон...

1883

231. В. и А.

Всё, чем когда-то сердце билось
В груди поэта, в чем, творя,
Его душа испепелилась,

Вся в бурях творчества сгоря, —
В толпе самодовольной света
Встречая чуть что не укор,
Всё — гаснет, тускнет без привета,
Как потухающий костер...
Пахнёт ли ветер на мгновенье
И вздует уголь здесь и там —
И своего уж он творенья
Не узнает почти и сам...
Восторг их первого созданья,
Их мощь, их блеск, их аромат —
Исчезло всё, и средь молчанья
Их даже самые названья
Могильиой надписью звучат!
Безмолвиый, робкий, полн сомнений,
Проходит он подобно тени
Средь века хладиого вождей,
Почти стыдяся вдохновений
И откровений прежних дней.

Но поколенья уж иного
Приходит юноша-поэт:
Одно сочувственное слово —
Проснулся бог и хлынул свет!
Встают и образы, и лица,
Одушевляются слова,
Племен, народов вереница,
Их голоса, их торжества,
Дух, ими двигавший когда-то,
Всё — вечность самая встает,
И душу старшего собрата
По ним потомок узнает!
Да! крепкий выветрится камень,
Литой изржавеет металл,
Но влитый в стих сердечный пламень
В нем вечный образ восприял!
Твори, избранник муз, лишь вторя
Чудесным сердца голосам;
Твори, с кумиром дня не споря,
И строже всех к себе будь сам!
Пусть в испытаньях закалится

Свободный дух — и образ твой
В твоих созданьях отразится
Как общий облик родовой.

Октябрь 1887

232

Оставь, оставь! На вдохновенный,
На образ Музы неземной
Венок и вянущий, и тленный
Не возлагай! У ней есть свой!
Ей — полной горних дум и грезы,
Уж в вечность глянувшей — нейдут
Все эти праздничные розы,
Как прах разбитых ею пут!
Ее венок — неосязаем!
Что за цветы в нем — мы не знаем,
Но не цветы они земли,
А разве — долов лучезарных,
Что нам сквозят в ночах полярных
В недосягаемой дали!

1888

АКВАРЕЛИ

(1885—1890)

233. АЙВАЗОВСКОМУ

Стиха не ценят моего
Ни даже четвертью червонца,
А ты даришь мне за него
Кусочек истинного солнца,
Кусочек солнца твоего!
Когда б стихи мои вливали
Такой же свет в сердца людей,
Как ты — в безбрежность этой дали
И здесь, вкруг этих кораблей
С их парусом, как жар горящим
Над зеркалом живых зыбей,
И в этом воздухе, дышащем
Так горячо и так легко
На всем пространстве необъятном, —
Как я ценил бы высоко,
Каким бы даром благодатным
Считал свой стих, гордился б им,
И мне бы пелось, вечно пелось,
Своим бы солнцем сердце грелось,
Как нынче греется твоим!

1877

234. МЕРТВАЯ ЗЫБЬ

Буря промчалась, но грозно свинцовое море шумит.
Волны, как рать, уходящая с боя, не могут утихнуть
И в беспорядке бегут, обгоняя друг друга,

Хвастаясь друг перед другом трофеями битвы:
Клочьями синего неба,
Золотом и серебром отступающих туч,
Алой зари лоскутами.

1887

235. ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Всё готово. Мусикийский
Дан сигнал... Сердца дрожат...
По арене олимпийской
Колесниц помчался ряд...
Трепеща, народ и боги
Смотрят, сдерживая крик...
Шибче, кони быстроноги!
Шибче!.. близко... страшный миг!
Главк... Евмолп... опережают...
Не смотри на отсталых!
Эти... близко... подъезжают...
Ну — который же из них?
«Главк!» — кричат... И вон он, гордый,
Шагом едет взять трофей,
И в пыли чуть видны морды
Разозлившихся коней.

1887

236. ЖАННА Д'АРК

(Отрывок)

Бой кипел... Она скакала
На коне на вороном —
Гордо поднято забрало,
С орифламмой и копьем,
И везде, где чуть опасно,
Уж звенит на страх врагам
Этот звонкий, этот ясный
Женский голос по рядам.

1887

237. RENAISSANCE[1]

К ЮБИЛЕЮ РАФАЭЛЯ САНЦИО

В светлой греческой одежде,
В свежем розовом венке,
Ходит юноша по свету
С звонкой лирою в руке.

Под одеждой кармелиток,
Преклонясь пред алтарем,
Дева тает в умиленьи
Пред небесным женихом.

Тот вступает в сумрак храма —
Очи встретилися их —
Миг — и кинулись друг к другу,
Как невеста и жених.

«Для него во мне спасенье», —
Мыслит дева; он шептал:
«Я нашел его — так долго
Убегавший идеал!..»

Идут в мир — и, где ни ступят,
Всюду клики торжества,
Дух смягчающие слезы
И прозренье божества!

1887

238. ГРОЗА

Кругом царила жизнь и радость,
И ветер нес ржаных полей
Благоухание и сладость
Волною мягкою своей.

Но вот, как бы в испуге, тени
Бегут по золотым хлебам,

---

[1] Возрождение (франц.). — *Ред.*

Промчался вихрь — пять-шесть мгновений —
И, в встречу солнечным лучам,

Встают с серебряным карнизом
Чрез все полнеба ворота,
И там, за занавесом сизым,
Сквозят и блеск, и темнота.

Вдруг словно скатерть парчевую
Поспешно сдернул кто с полей,
И тьма за ней в погоню злую,
И всё свирепей и быстрей.

Уж расплылись давно колонны,
Исчез серебряный карниз,
И гул пошел неугомонный,
И огнь, и воды полились...

Где царство солнца и лазури!
Где блеск полей, где мир долин!
Но прелесть есть и в шуме бури,
И в пляске ледяных градин!

Их нахватать — нужна отвага!
И — вон как дети в удальце
Ее честят! Как вся ватага
Визжит и скачет на крыльце!

1887

239

Уж побелели неба своды...
Промчался резвый ветерок...
Передрассветный сон природы
Уже стал чуток и легок.
Блеснуло солнце: гонит ночи
С нее последнюю дрему, —
Она, вздрогнув, — открыла очи
И улыбается ему.

1887

240

(Мотив Коппе)

Ты веришь ей, поэт! Ты думаешь, твой гений,
Парящий к небу дух и прелесть песнопений
Всего дороже ей, всего в тебе святей?
Безумец! По себе ты судишь!.. И Орфей —
Была и у него младенческая вера,
Что всюду вслед ему идущая пантера
Волшебной лирою навек укрощена...
Но на колючий терн он наступил пятою,
И кровь в его следе почуяла она —
Вздрогнула и, взрычав, ударилась стрелою
Лизать живую кровь... Проснулся мигом зверь!..
И та — не чудный дар твой нужен ей, — поверь! —
Ей сердца твоего горячей крови надо,
Чтоб небо из него в терзаниях изгнать,
Чтоб лиру у него отнять и разломать
И, тешася над ним, как пьяная менада
Над яростью богов, — в лицо им хохотать!

Август 1889

241—243. *У МРАМОРНОГО МОРЯ*

1

Всё — горы, острова — всё утреннего пара
Покрыто дымкою... Как будто сладкий сон,
Как будто светлая, серебряная чара
На мир наведена — и счастьем грезит он...
И, с небом слитое в одном сияньи, море
Чуть плещет жемчугом отяжелевших волн, —
И этой грезою упиться на просторе
С тоской зовет тебя нетерпеливый челн...

2

Румяный парус там стоит,
Что чайка на волнах ленивых,
И отблеск розовый бежит
На их лазурных переливах...

3

Заалел, горит восток...
Первый луч уж брызнул... Мчится
В встречу солнцу ветерок...
Пошатнулся и клубится
И летит туман, летит...
Что ж в волнах его метели
И алеет, и блестит?
Легионы ль полетели
На Царьград, на славный бой?
То их вождь — на колеснице
И с поднятою рукой,
И в венце, и в багрянице? ..
Тени прошлого? .. Но нет!
Скрылся поезд триумфальный,
На поверхности ж зеркальной
Всё стоит зеленый след...

1887

244. НА ПУТИ ПО БЕРЕГУ КОРИНФСКОГО ЗАЛИВА

Всё время — реки без воды,
    Без зелени долины,
С хрустящим камешком сады
    И тощие маслины;
Зато — лазурный пояс вод,
    И розовые горы,
И беспредельный неба свод,
    Где ищет взор и не найдет
Хоть в легком облачке опоры! ..

Октябрь 1890

АЛЬБОМ АНТИНОЯ

ИЗ ДРАМАТИЧЕСКОЙ ПОЭМЫ «АДРИАН И АНТИНОЙ»[1]

245

Один, без сил, в пустыне знойной
В тоске предсмертной я лежал,
И вдруг твой чудный, твой спокойный,
Твой ясный образ увидал —

И я вскочил: коня и броню!
Я снова си́лен, я боец!
Где враг? навстречу иль в погоню?
Где лавр! Где слава! Где венец?!!

246

Вдоль над рекой быстроводной
Быстро две бабочки мчатся, кружась друг над другом,
Только друг друга и видят они.
Ветку несет по реке: они сели,
Редкими взмахами крылышек держат кой-как равновесье,
Заняты только любовью своей.
Друг мой! река — это время;
Ветка плывущая — мир;
Бабочки — мы!

[1] В поэме Антиной предполагается родом из Сирии, через которую проходили всякие философские и религиозные учения древности, оставляя свой осадок в местном населении. То были учения Египта, Вавилона, Иудеи, Греции и Рима и пр. Все эти влияния отразились во впечатлительной душе красавца Антиноя и в альбоме, куда он выписывал, что́ его поразило, и вносил также свои заметки.

Смотри, смотри на небеса,
Какая тайна в них святая
Проходит молча и сияя
И лишь настолько раскрывая
Свои ночные чудеса,
Чтобы наш дух рвался из плена,
Чтоб в сердце врезывалось нам,
Что здесь лишь зло, обман, измена,
Добыча смерти, праха, тлена,
Блаженство ж вечное — лишь там.

1881

248. ВОПРОС

Мы все, блюстители огня на алтаре,
Вверху стоящие, что город на горе,
Дабы всем виден был; мы, соль земли, мы, свет,
Когда голодные толпы в годину бед
Из темных долов к нам о хлебе вопиют, —
О, мы прокормим их, весь этот темный люд!
Чтобы не умереть ему, не голодать —
Нам есть что дать!

Но... если б умер в нем живущий идеал,
И жгучим голодом духовным он взалкал,
И вдруг о помощи возопиял бы к нам,
Своим учителям, пророкам и вождям, —
Мы все, хранители огня на алтаре,
Вверху стоящие, что город на горе,
Дабы всем виден был и в ту светил бы тьму, —
Что дали б мы ему?

1874

249. МАНИ — ФАКЕЛ — ФАРЕС

В диадиме и порфире,
Прославляемый как бог,
И как бог единый в мире,
Весь собой, на пышном пире,
Наполняющий чертог —

Вавилона, Ниневии
Царь за брашной возлежит.

Что же смолкли вдруг витии?
Смолкли звуки мусикии? . .
С ложа царь вскочил — глядит —

Словно светом просквозила
Наверху пред ним стена,
Кисть руки по ней ходила
И огнем на ней чертила
Странной формы письмена.

И при каждом начертанье
Блеск их ярче и сильней,
И, как в солнечном сиянье,
Тусклым кажется мерцанье
Пирных тысячи огней.

Поборов оцепененье,
Вопрошает царь волхвов,
Но волхвов бессильно рвенье,
Не дается им значенье
На стене горящих слов.

Вопрошает Даниила, —
И вещает Даниил:
«В боге — крепость царств и сила;
Длань его тебе вручила
Власть, и им ты силен был;

Над царями воцарился,
Страх и трепет был земли, —
Но собою ты надмился,
Сам себе ты поклонился,
И твой час пришел. Внемли:

Эти вещие три слова. . .»
Нет, о Муза, нет! постой!
Что ты снова их и снова
Так жестоко, так сурово
Выдвигаешь предо мной!

Что твердишь: «О горе! горе!
В суете погрязший век!

Без руля, на бурном море,
Сам с собою в вечном споре,
Чем гордишься, человек?

В буйстве мнящий быти богом,
Сам же сын его чудес —
Иль не зришь, в киченьи многом,
Над своим уж ты порогом
Слов: мани — факел — фарес! ..»

1888

250. EX TENEBRIS LUX[1]

Скорбит душа твоя. Из дня —
Из солнечного дня — упал
Ты прямо в ночь и, всё кляня,
За смертный взялся уж фиал...

Нет! Погоди! .. В ту тьму вглядись:
Вон — огонек блеснул... звезда...
Другая... третья... Вон — зажглись
Уж мириады... Никогда

Ты не видал их? .. Но постой:
Они бледнеть начнут — и тень
Пойдет редеть — и над тобой
Внезапно развернется день, —

Им осиянный, разом ты,
Уже измерив бездну зол,
Рванешься в горни высоты,
Как солнца жаждавший орел!

1887

[1] Свет из тьмы (лат.). — *Ред.*

НАБРОСКИ

251

Опыт! скажи, чем гордишься ты? что ты такое?
Ты — плод ошибок и слез, силам потраченным счет.

Бродит вино молодое: не должно броженью мешать;
Но и разумный уход, крепкие нужны меха.

В этой толпе под волшебною силой искусства
Все в одну душу слились — чистую душу на миг;
Но разбредутся — и в каждом проснется опять своя совесть,
В каждом опять заскребет в сердце таящийся гад.

Всюду: «Что нового?» — слышишь. Да вдумайся в старое прежде!
В нем для себя ты найдешь нового много, поверь!

Формы, мой друг, совершенство — не всё еще в деле искусства:
Чистая пусть извнутри светится в ней мне душа.

Времени мстить предоставь за пороченье, ложь и обиды:
Тайных агентов оно в каждой имеет душе.

Друг мой! Ученые, верь, не такие, как кажутся, боги;
Наше невежество — вот в чем нередко их сила!

1882—1883

252

О трепещущая птичка,
Песнь, рожденная в слезах!
Что, неловко, знать, у этих
Умных критиков в руках?
Ты бы им про солнце пела,
А они тебя корят,
Отчего под их органчик
Не выводишь ты рулад!

1872

253. ГР. О. А. Г. К—Й

Жизнь — достиганье совершенства,
И нам победа над собой
Едва ль не высшее блаженство
В борьбе с ветхозаветной тьмой.

1891

254

В чем счастье? ..
                    В жизненном пути,
Куда твой долг велит — идти,
Врагов не знать, преград не мерить,
Любить, надеяться и — верить.

1889

255

Улыбки и слезы! .. И дождик и солнце!
И как хороша —
Как солнце сквозь этих сверкающих капель —
Твоя, освеженная горем, душа!

Май 1889

256

О море! Нечто есть слышней тебя, сильней
И глубже, может быть... Да, скорбь души моей
Желала и ждала тебя — и вот я ныне
Один — в наполненной тобой одним пустыне...
Ты — в гневе... Вся душа моя потрясена,
Хоть в тайном ужасе есть сладкое томленье,
Чего-то нового призыв и откровенье...
Вот — темной полосой лазурная волна,
Потряхивая там и сям жемчужным гребнем,
Идет — и на берег, блестя и грохоча,
Летит и — рушится, и с камнями и щебнем
Назад сливается, уж злобно рокоча,
Сверкая космами быстро бегущей пены...
И следом новая, и нет конца их смены,
И непрерывен блеск, и непрерывен шум...
Гляжу и слушаю, и оглушен мой ум,

Бессильный мысль связать, почти не сознавая,
Теряяся в шуму и в блеске замирая...

О, если бы и ты, о сердце! ты могло
Дать выбить грохоту тех волн свое-то горе,
Всё, что внутри тебя так стонет тяжело,
Пред чем, как ни ликуй на всем своем просторе, —
Бессильно и само грохочущее море!..

1887

257

Туманом мимо звезд сребристых проплывая
И вдруг как дым на месяце сквозясь,
Прозрачных облаков разрозненная стая
Несется по небу в полночный тихий час...
В тот тихий час, когда стремлений и желаний
Уймется буйный пыл, и рой воспоминаний,
Разрозненных, как эти облака, —
Бог весть откудова, из тьмы, издалека,
Из бездн минувшего — виденье за виденьем
Плывут перед моей усталою душой.
Но из-за них одна, всё озаря собой,
Ты, непорочная, недремным провиденьем,
Усладою очей сияешь надо мной —
Одна — как месяц там на тверди голубой,
Недвижный лишь один над этой суетой,
Над этим облачным, бессмысленным движеньем.

Декабрь 1889

ИЗ АПОЛЛОДОРА ГНОСТИКА

258

Дух века ваш кумир; а век ваш — краткий миг.
Кумиры валятся в забвенье, в бесконечность...
Безумные! ужель ваш разум не постиг,
Что выше всех веков — есть Вечность!..

⟨1877⟩

259

Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе бог...

1878

260

Близится Вечная Ночь... В страхе дрогнуло сердце...
Пристальней стал я глядеть в тот ужасающий мрак...
Вдруг в нем звезда проглянула, за нею другая, и третья,
И наконец засиял звездами весь небосклон.
Новая в каждой из них мне краса открывалась всечасно,
Глубже мне в душу они, глубже я в них проникал...

В каждой сказалося слово свое, и на каждое слово,
С радостью чувствовал я, отклик в душе моей есть;
Все говорили, что где-то за ними есть Вечное Солнце,
Солнце, которого свет — блеск и красу им дает...

О, как ты бледно пред Ним, юных дней моих солнце!
Как он ничтожен и пуст, гимн, что мы пели тебе!

1882

261

Заката тихое сиянье,
Венец безоблачного дня, —
Не ты ли нам знаменованье
Иной ступени бытия?..
Взор очарованный трепещет
Пред угасанием твоим,
Но разгорается и блещет
Всё ярче звездный мир над ним...
Земного, бедного сознанья
Угаснут бледные лучи, —
Но в наступающей ночи
Лишь перерыв существованья:
От уз освобожденный дух
Первоначальный образ примет,
И с вечных тайн пред ним подымет
Завесу Смерть, как старый друг,
И возвратит ему прозренье,
Сквозь все преграды вещества,
Во всё духовное в творенье,
О чем в телесном заключенье
Он и мечтать дерзал едва...

1888

262

Поэзия — венец познанья,
Над злом и страстью торжество;
Тебе в ней свет на всё созданье,
В ней — божество!

Ее сияние святое
Раз ощутив — навек забыть
Всё мимолетное, земное;
Лишь ею жить;

Одно лишь сознавать блаженство,
Что в дух твой глубже всё идет
И полнота, и совершенство
Ее красот...

И вот уж он — проникнут ею...
Остался миг — совсем прозреть:
Там — вновь родиться, слившись с нею,
Здесь — умереть!

1889

263

Пир у вас и ликованья:
Храм разбит... Но отчего,
В блеске лунного сиянья,
Не пройдешь без содроганья
Ты пред остовом его?

Отчего же ты, смущенный
Пред безмолвием небес,
Хоть из пропасти бездонной,
Силы темной, безымённой
Ждешь явлений и чудес?..

1889

264

«Прочь идеалы!» Грозный клик!..
«Конец загробной лжи и страху!
Наш век тем славен и велик,
Что рубит в корень и со взмаху!
Мир лишь от нас спасенья ждет —
Так — без пощады! и вперед!..»

И вот, как пьяный, как спросонок,
Приняв за истину симво́л,
Ты рушить бросился... Ребенок!
Игрушку разломал и зол,
Что ничего в ней не нашел!..
Ты рушишь храмы, рвешь одежды,
Сквернишь алтарь, престол, потир, —
Но разве в них залог Надежды,
Любви и Веры видит мир?
Они — в душе у нас, как скрытый
Дух жизни в семени цветка, —
И что тут меч твой, ржой покрытый,
И детская твоя рука!..

4 октября 1889

265

Из бездны Вечности, из глубины Творенья
На жгучие твои запросы и сомненья
Ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг,
И плачешь, и клянешь ты Небо в озлобленье,
Что не ответствует на твой душевный крик...
А Небо на тебя с улыбкою взирает,
Как на капризного ребенка смотрит мать,
С улыбкой — потому, что всё, все тайны знает,
И знает, что тебе еще их рано знать!

1892

266

Аскет! ты некогда в пустыне,
Перед величьем божества,
Изрек, восторженный, и ныне
Еще не смолкшие слова:
«Жизнь эта — сон и сновиденье,
Мираж среди нагих песков;
Лишь в смерти — полное забвенье
Всей этой лжи, успокоенье,
Сон в лоне бога — и без снов».

Ты прав, мудрец: всё в мире тленье,
Всё в людях ложь... Но что-нибудь
Да есть же в нас, что жаждет света,
Чему вся ложь противна эта,
Что рвется в Вечность проглянуть...
На все моленья без ответа,
Я знаю, Время мимо нас
Несет событья, поколенья,
Подымет нас в своем стремленье
И в бездну бросит тот же час;

Я — жертва вплоть и до могилы
Всей этой бешеной игры, —
Ничто пред Разумом и Силой,
В пространство бросившей миры, —
Но говорит мне тайный голос,
Что не вотще душа моя
Здесь и любила, и боролась:
В ней есть свое живое я!
И жизнь — не сон, не сновиденье,
Нет! — это пламенник святой,
Мне озаривший на мгновенье
Мир и небесный, и земной,
И смерть — не миг уничтоженья
Во мне того живого я,
А новый шаг и восхожденье
Всё к высшим сферам бытия!

1893

КАРТИНЫ

267. САВОНАРОЛА

В столице Медичи счастливой
Справлялся странный карнавал.
Все в белом, с ветвию оливы,
Шли девы, юноши; бежал
Народ за ними; из собора,
Под звук торжественного хора,
Распятье иноки несли
И стройно со свечами шли.
Усыпан путь их был цветами,
Ковры висели из окон,
И воздух был колоколами
До гор далеких потрясен.

Они на площадь направлялись,
Туда ж по улицам другим,
Пестрея, маски собирались
С обычным говором своим:
Паяц, и, с лавкой разных склянок,
На колеснице шарлатан,
И гранд, и дьявол, и султан,
И Вакх со свитою вакханок.
Но, будто волны в берегах,
Вдруг останавливались маски
И прекращались смех и пляски:
На площади, на трех кострах,
Монахи складывали в груды
Всё то, что тешит резвый свет
Приманкой неги и сует.
Тут были жемчуг, изумруды,
Великолепные сосуды,

И кучи бархатов, парчей,
И карт игральных, и костей,
И сладострастные картины,
И бюсты фавнов и сирен,
Литавры, арфы, мандолины,
И ноты страстных кантилен,
И кучи масок и корсетов,
Румяна, мыла и духи,
И эротических поэтов
Соблазна полные стихи...
Над этой грудою стояло,
Верхом на маленьком коньке,
Изображенье карнавала —
Паяц в дурацком колпаке.

Сюда процессия вступила.
На помост встал монах седой,
И чудно солнцем озарило
Его фигуру над толпой.
Он крест держал, главу склоняя
И указуя в небеса...
В глубоких впадинах сверкая,
Его светилися глаза;
Народ внимал ему угрюмо
И рвал бесовские костюмы,
И, маски сбросивши тайком,
Рыдали женщины кругом.
Монах учил, как древле жили
Общины первых христиан.
«А вы, — сказал, — вы воскресили
Разбитый ими истукан!
Забыли в шуме сатурналий
Молчанье строгое постов!
Святую Библию отцов
На мудрость века променяли;
Пустынной манне предпочли
Пиры египетской земли!
До знаний жадны, верой скупы,
Понять вы тщитесь бытие,
Анатомируете трупы —
А сердце знаете ль свое?..
О матерь божия! тебя ли,

Мое прибежище в печали,
В чертах блудницы вижу я!
С блудниц художник маловерный
Чертит, исполнен всякой скверны,
И выдает вам за тебя!..
Разврат повсюду лицемерный!
Вас тешит пестрый маскарад —
Бес ходит возле каждой маски
И в сердце вам вливает яд.
В вине, в науке, в женской ласке
Вам сети ставит хитрый ад,
И, как бессмысленные дети,
Вы слепо падаете в сети!..
Пора! Зову я вас на брань.
Из-за трапезы каждый встань,
Где бес пирует! Бросьте яству!
Спешите! Пастырю во длань
Веду вернувшуюся паству!
Здесь искупление грехам!
Проклятье играм и костям!
Проклятье льстивым чарам ада!
Проклятье мудрости людской,
В которой овцы божья стада
Теряют веру и покой!
Господь, услышь мои моленья:
В сей день великий искупленья
Свои нам молнии пошли
И разрази тельца златого!
Во имя чистое Христово
Весь дом греха испепели!»

Умолк — и факелом зажженным
Взмахнул над праздничным костром;
Раздался пушек страшный гром;
Сливаясь с колокольным звоном,
Te Deum[1] грянул мрачный хор;
Столбом встал огненный костер.
Толпы народа оробели,
Молились, набожно глядели,
Святого ужаса полны,

[1] Тебя, бога (хвалим) (лат.). — *Ред.*

Как грозно пирамидой жаркой
Трещали, вспыхивали ярко
Изобретенья Сатаны
И как фигура карнавала —
Его колпак и детский конь —
Качалась, тлела, обгорала
И с шумом рухнула в огонь.

Прошли года. Монах крутой,
Как гений смерти, воцарился
В столице шумной и живой —
И город весь преобразился.
Облекся трауром народ,
Везде вериги, власяница,
Постом измученные лица,
Молебны, звон да крестный ход.
Монах как будто львиной лапой
Толпу угрюмую сжимал,
И дерзко ссорился он с папой,
В безверьи папу уличал...
Но с папой спорить было рано:
Неравен был строптивый спор,
И глав венчанных Ватикана
Еще могуч был приговор...
И вот опять костер багровый
На той же площади пылал;
Палач у виселицы новой
Спокойно жертвы новой ждал,
И грозный папский трибунал
Стоял на помосте высоком.
На казнь монахов привели.
Они, в молчании глубоком,
На смерть, как мученики, шли.
Один из них был тот же самый,
К кому народ стекался в храмы,
Кто отворял свои уста
Лишь с чистым именем Христа;
Христом был дух его напитан,
И за него на казнь он шел;
Христа же именем прочитан
Монаху смертный протокол,

И то же имя повторяла
Толпа, смотря со всех сторон,
Как рухнул с виселицы он,
И пламя вмиг его объяло,
И, задыхаясь, произнес
Он в самом пламени: «Христос!»

Христос, Христос, — но, умирая
И по следам твоим ступая,
Твой подвиг сердцем возлюбя,
Христос! он понял ли тебя?
О нет! Скорбящих утешая,
Ты чистых радостей не гнал
И, Магдалину возрождая,
Детей на жизнь благословлял!
И человек, в твоем ученье
Познав себя, в твоих словах
С любовью видит откровенье,
Чем может быть он свят и благ...
Своею кровью жизни слово
Ты освятил, — и возросло
Оно могуче и светло;
Доминиканца ж лик суровый
Был чужд любви — и сам он пал
Бесплодной жертвою . . . . .
. . . .

1851

268. КЛЕРМОНТСКИЙ СОБОР

Не свадьбу праздновать, не пир,
Не на воинственный туриир
Блеснуть оружьем и конями
В Клермонт нагорный притекли
Богатыри со всей земли.
Что луг, усеянный цветами,
Вся площадь, полная гостей,
Вздымалась массою людей,
Как перекатными волнами.
Луч солнца ярко озарял
Знамена, шарфы, перья, ризы,

Гербы, и ленты, и девизы,
Лазурь, и пурпур, и металл.
Под златотканым балдахином,
Средь духовенства властелином
В тиаре папа восседал.
У трона — герцоги, бароны
И красных кардиналов ряд;
Вокруг их — сирых обороны —
Толпою рыцари стоят:
В узорных латах итальянцы,
Тяжелый шваб, и рыжий бритт,
И галл, отважный сибарит,
И в шлемах с перьями испанцы;
И, отдален от всех, старик,
Дерзавший свергнуть папства узы:
То обращенный еретик
Из фанатической Тулузы;
Здесь строй норманнов удалых,
Как в масках, в шлемах пудовых,
С своей тяжелой алебардой...
На крыши взгромоздясь, народ
Всех поименно их зовет:
Всё это львы да леопарды,
Орлы, медведи, ястреба, —
Как будто грозные прозванья
Сама сковала им судьба,
Чтоб обессмертить их деянья!
Над ними стаей лебедей,
Слетевших на берег зеленый,
Из лож кругом сияют жены,
В шелку, в зубчатых кружевах,
В алмазах, в млечных жемчугах.
Лишь шепот слышится в собраньи.
Необычайная молва
Давно чудесные слова
И непонятные сказанья
Носила в мире. Виден крест
Был в небе. Несся стон с востока.
Заря кровавого потока
Имела вид Меж бледных звезд
Как человеческое было
Лицо луны, и слезы лило,

И вкруг клубился дым и мгла...
Чего-то страшного ждала
Толпа, внимать готовясь богу,
И били грозную тревогу
Со всех церквей колокола.

Вдруг звон затих — и на ступени
Престола папы преклонил
Убогий пилигрим колени;
Его с любовью осенил
Святым крестом первосвященник;
И, помоляся небесам,
Пустынник говорил к толпам:

«Смиренный нищий, беглый пленник
Пред вами, сильные земли!
Темна моя, ничтожна доля;
Но движет мной иная воля.
Не мне внимайте, короли:
Сам бог, державствующий нами,
К моей склонился нищете
И повелел мне стать пред вами,
И вам в сердечной простоте
Сказать про плен, про те мученья,
Что испытал и видел я.
Вся плоть истерзана моя,
Спина хранит следы ремня,
И язвам нету исцеленья!
Взгляните: на руках моих
Оков кровавые запястья.
В темницах душных и сырых,
Без утешенья, без участья
Провел я юности лета;
Копал я рвы, бряцая цепью,
Влачил я камни знойной степью
За то, что веровал в Христа!
Вот эти руки... Но в молчанье
Вы потупляете глаза;
На грозных лицах состраданья,
Я вижу, катится слеза...
О, люди, люди! язвы эти
Смутили вас на краткий час!

О, впечатлительные дети!
Как слезы дешевы у вас!
Ужель, чтоб тронуть вас, страдальцам
К вам надо нищими предстать?
Чтоб вас уверить, надо дать
Ощупать язвы вашим пальцам!
Тогда лишь бедствиям земным,
Тогда неслыханным страданьям,
Бесчеловечным истязаньям
Вы сердцем внемлете своим! ..
А тех страдальцев миллионы,
Которых вам не слышны стоны,
К которым мусульманин злой,
Что к агнцам трепетным, приходит
И беспрепятственно уводит
Из них рабов себе толпой,
В глазах у брата душит брата,
И неродившихся детей
Во чреве режет матерей,
И вырывает для разврата
Из их объятий дочерей...
Я видел: бледных, безоружных
Толпами гнали по пескам,
Отсталых старцев, жен недужных
Бичом стегали по ногам;
И турок рыскал по пустыне,
Как перед стадом гуртовщик,
Но миг — мне памятный доныне,
Благословенный жизни миг,
Когда, окованным, средь дыма
Прозрачных утренних паров,
Предстали нам Ерусалима
Святые храмы без крестов!
Замолкли стоны и тревога,
И, позабывши прах и тлен,
Восславословили мы бога
В виду сионских древних стен,
Где ждали нас позор и плен!
Породнены тоской, чужбиной,
Латинец с греком обнялись;
Все, как сыны семьи единой,
Страдать безропотно клялись.

И грек нам дал пример великий:
Ерея, певшего псалом,
С коня спрыгнувши, турок дикий
Ударил взвизгнувшим бичом —
Тот пел и бровию не двинул!
Злодей страдальца опрокинул
И вырвал бороду его...
Рванули с воплем мы цепями, —
А он Евангелья словами
Господне славил торжество!
В куски изрубленное тело
Злодеи побросали в нас;
Мы сохранили их всецело,
И, о душе его молясь,
В темнице, где страдали сами,
Могилу вырыли руками,
И на груди святой земли
Его останки погребли.

И он не встанет ведь пред вами
Вам язвы обнажить свои
И выпросить у вас слезами
Слезу участья и любви!
Увы, не разверзают гробы
Святые жертвы адской злобы!
Нет, и живое не придет
К вам одноверцев ваших племя —
Христу молящийся народ;
Один креста несет он бремя,
Один он терн Христов несет!
Как раб евангельский, изранен,
В степи лежит, больной, без сил...
Иль ждете вы, чтоб напоил
Его чужой самаритянин,
А вы, с кошницей яств, бойцы,
Пройдете мнмо, как слепцы?
О нет, для вас еще священны
Любовь и правда на земле!
Я вижу ужас вдохновенный
На вашем доблестном челе!
Восстань, о воинство Христово,
На мусульман войной суровой!

Да с громом рушится во прах —
Созданье злобы и коварства —
Их тяготеющее царство
На христианских раменах!
Разбейте с чад Христа оковы,
Дохнуть им дайте жизнью новой,
Они вас ждут, чтоб вас обнять,
Край ваших риз облобызать!
Идите! Ангелами мщенья,
Из храма огненным мечом
Изгнав неверных поколенья,
Отдайте богу божий дом!
Там благодарственные псальмы
Для вас народы воспоют,
А падшим — мучеников пальмы
Венцами ангелы сплетут! . .»

Умолк. В ответ как будто громы
Перекатилися в горах —
То клик один во всех устах:
«Идем, оставим жен и домы!»
И в умилении святом
Вокруг железные бароны
В восторге плакали, как жены;
Враг лобызался со врагом;
И руку жал герой герою,
Как лев косматый, алча бою;
На общий подвиг дамы с рук
Снимали злато и жемчуг;
Свой грош и нищие бросали;
И радость всех была светла —
Ее литавры возвещали
И в небесах распространяли
Со всех церквей колокола.

Вот так латинские народы,
Во имя братства и любви,
Шли в отдаленные походы.
Кипела доблесть в их крови.
Иуде чуждая и Крезам,
Лишь славолюбием дыша,

Под этой сталью и железом
Жила великая душа.
И ею созданные люди
На нас колоссами глядят,
Которых каменные груди
Ни меч, ни гром не сокрушат.
Тогда в ряды священной рати
Не ополчались мы войной.
Отдельно, далеко от братний,
Вели мы свой крестовый бой.
Уж недра Азии бездонной,
Как разгоравшийся волкан,
К нам слали чад своих мильоны:
Дул с степи жаркий ураган,
Металась степь, как океан, —
Восток чреват был Чингисханом!
И Русь одна тогда была
Сторожевым Европы станом,
И уж за веру кровь лила...
Недолго рыцарей глубоко
Так трогал клик: «Иерусалим!»
Стон христианского Востока
Всё глуше становился им!
Россия гибла: к христианам
Взывала воплями она;
Но, как Иосиф агарянам,
Была от братьев продана!
Упала с громом Византия;
Семья славянских царств за ней;
Столпы сложились костяные
Из черепов богатырей;
За честь Евангелья Христова
Сыны Людовика Святого
Уж выручать не шли Царьград.
От брата отшатнулся брат...
Мы — крестоносцы от начала!
Орда рвала нас по клочкам,
Нас жгла, — но лучше смерть, чем срам;
Страдальцев кровью возрастала
И крепла Русь; как мститель встала
И, верная себе, идет
В обетованный свой поход.

За что же западные братья,
Забыв свой подвиг прежних лет,
Ей шлют безумные проклятья,
Как скрежет демонов вослед?
За что ж с тоскою и заботой
На нас они, косясь, глядят?
За что ж на нас идут их флоты
И нам погибелью грозят?
За что ж? .. За то, что мы созрели,
Что вдруг в учениках своих
Они совместников узрели;
Что то не шутка: между них
Мы смело требуем гражданства!
Мы не пришельцы — зиждем храм,
Еще неведомый векам;
На необъятное пространство
Фундамент вывели; пред ним
Бледнеют древние державы, —
И новых сил, и новой славы
Младое солнце страшно им!
Докончить храм — в нас есть отвага,
В нас вера есть, в нас сила есть,
Все для него земные блага
Готовы в жертву мы принесть...
За то, что нам пришлось на долю
Свершить, что Запад начинал;
Что нас отныне бог избрал
Творить его святую волю;
Что мы под знаменем креста
Не лицемерим, не торгуем,
И фарисейским поцелуем
Не лобызаем мы Христа...
И, может быть, враги предвидят,
Что из России ледяной
Еще невиданное выйдет
Гигантов племя к ним грозой,
Гигантов — с ненасытной жаждой
Бессмертья, славы и добра,
Гигантов — как их мир однажды
Зрел в грозном образе *Петра*.

1853

269. ПЕВЕЦ

(Из Шамиссо)

Светел ликом с смелой лирой,
Перед юностью цветущей
Пел старик худой и сирый.
«Я — в пустыне вопиющий! —
Возглашал он. — Всё придет!
Тише, ветреное племя!
Созидающее время
Всё с собою принесет!

Полно, дети, в тщетном гневе
Древо жизни потрясать!
Лишь цветы еще на древе!
Дайте плод им завязать!
Недозрев — он полн отравы,
А созреет — сам спадет
И довольства вам и славы
В ваши домы принесет».

Юность вкруг толкует важно,
На певца как зверь ярясь:
«Что он лирою продажной
Останавливает нас?
Подымайте камни, братья!
Лжепророка заклеймим!
Пусть народные проклятья
Всюду следуют за ним. . .»

Во дворец с своею лирой
Он пришел, к царю зовущий;
Громко пел, худой и сирый:
«Я — в пустыне вопиющий!
Царь! вперед иди, вперед!
Век зовет! Созрело семя!
Созидающее время
Не прощает и не ждет!

Гонит ветер, мчит теченье!
Смело парус расправляй!

Божьей мысли откровенье
В шуме бури угадай!
Просияй перед народом
Этой мысли торжеством —
И пойдет спокойным ходом
Он за царственным вождем!»

Внял владыко... Онемели
Царедворцы и с тоской
Шепчут: «Как недосмотрели!
Как он смел? Кто он такой?
Что за бредни он городит!
Соблазняет лишь людей
И царя в сомненье вводит...
На цепь дерзкого скорей!»

И в тюрьме, с спокойной лирой,
Тих пред силою гнетущей,
Пел старик худой и сирый:
«Я — в пустыне вопиющий!
Долг свершен. Пророк молчит.
Честно снес он жизни бремя...
Созидающее время
Остальное довершит».

1857

270. ИСПОВЕДЬ КОРОЛЕВЫ

(Легенда об испанской инквизиции)

Искони твердят испанки:
«В кастаньеты ловко брякать,
Под ножом вести интригу
Да на исповеди плакать —

Три блаженства только в жизни!»
Но в одной Севилье старой
Так искусно кастаньеты
Ладят с звонкою гитарой;

Но в одной Севилье старой
Так под звездной ризой ночи

Жены нежны, смел любовник
И ревнивца зорки очи;

Но в одной Севилье старой
Так на утро полны храмы
И так пламенно стремятся
Исповедоваться дамы...

И искусный исповедник
Был всегда их сердцу дорог, —
Может быть, дороже кружев,
Лент и перловых уборок!

И таков был у Сан-Пабло
Исповедник знаменитый
Дон Гуан ди Сан-Мартино —
Кладезь мудрости открытый!

Вся им бредила Севилья,
Дамы голову теряли
И с любовниками даже
О монахе лишь шептали:

Как-то сладостно им было
Млеть в его духовной власти,
Особливо если грешен
По сердечной кто был части...

Раз вошла в Сан-Пабло дама...
Храм был пуст; одни немые,
В серебре, в шелку и лентах,
Изваянья расписные

По стенам стояли церкви,
Созерцая благосклонно
Мрамор, золото и солнце
В дыме мирры благовонной.

Только нищий у колонны
Отдыхал в дремоте сладкой
Да бродила собачонка,
Пол обнюхивая гладкой...

Незнакомка под вуалем
Кружевным лицо укрыла,
Но инкогнито с монахом
Соблюсти, знать, трудно было:

Чуть она пред ним склонилась,
Как над нею внятно, смело
Раздалось: «Чего желает
Королева Изабелла?»

Дама вздрогнула и в страхе
Уронила на пол четки,
Но спокойно тот же голос
Говорил из-за решетки:

«Благо кающимся, благо.
Жду тебя уже давно я!
У тебя, я знаю, сердце
Жаждет мира и покоя!

В чем грешна ты перед богом?
Кайся мне нелицемерно!»
И покаялася дама
Католичкою примерной!

«Утром нынче камерэру
Разбранила я обидно
И булавкой исколола...
Было после так мне стыдно...

Мы поссорились с супругом...
Почему, сама не знаю,
Я его в опочивальню
Уж неделю не пускаю...

Я люблю его всем сердцем
И ревную... но со мною
Что-то странное творится...
Точно спорю я с собою...

«Надо думать лишь о муже», —
Беспрестанно повторяю,

И — другого, чуть забудусь,
Через миг воображаю.

«Дон Фернандо, дон Фернандо!» —
Я твержу усильно, внятно, —
Из груди ж другое имя
Рвется с силой непонятной!

Так и крикнула б с балкона,
Ночью, в небо голубое,
И на всё бы королевство,
Это имя роковое!

Сердцу страшно с этой тайной
Притворяться и лукавить...
Помоги мне... ты умеешь
И утешить, и наставить...»

Мог утешить и наставить
Всех монах сердечным словом,
Но глядел на королеву
Взглядом грустным и суровым.

«Трудно дать совет, — сказал он, —
Этот грех — не как другие...
Он — предтеча божьей кары
За грехи твои иные!

Вслед за ним придет злодейство,
Скорбь и муки преисподней, —
И тебя спасти мне трудно:
Ты забыла страх господний!

Святотатцам и злодеям
В умерщвленьи плоти грешной
Есть спасенье; но убийце
Духа божья — ад кромешный!»

Изабелла содрогнулась,
Но скользить над адской бездной
Ей, как истой кастильянке,
Было жутко — но любезно!

«Научи ж, что делать, padre![1]
И наставь меня на благо!
Я еще построю церковь,
Я пешком пойду в Сан-Яго».

«Если б храм ты не из злата
И порфира созидала,
А в сердцах твоих народов
Храм духовный устрояла,

И стояла бы у двери,
Яко страж с мечом горящим,
Возбраняя вход гиенам
И ехиднам злошипящим, —

Ты б избегла страшной кары!
Зла мятежные пучины
Тщетно б храм твой осаждали!
Но раскрыла ты плотины,

Разлилось нечестья море
И волною досягнуло
Даже царственного трона,
И в лицо тебе плеснуло!

Омраченный дух твой принял
Смрадных волн его дыханье,
Как вечернюю прохладу,
Как цветов благоуханье...

Вот и казнь за то!..» — «За что же?»
— «Иль не видишь, королева,
Погляди — плоды несметны
Сатанинского посева:

Вся страна кишит жидами!
Всюду маги, астрологи!
Новизна проникла всюду —
В кельи, в хижины, в чертоги!

---

[1] Святой отец (итал.). — *Ред.*

Саламанхские студенты
Купно с мавром, с жидовином
Над одной толкуют книгой,
За столом сидят единым!

В оных псах смердящих юность
Братьев чтит, назло закону,
И разносит дух в народе,
Вере гибельный и трону.

Мудрость истинную презря,
Что толкует люд безбожный?
Будто шар — земля, который
Весь кругом объехать можно

И открыть такие земли,
О которых ни в Писаньи
Нет помину, ни в едином
Каноническом преданьи!

Говорят, резные буквы
Нынче как-то составляют
И одну и ту же книгу
В целых сотнях размножают, —

Что же, если эти бредни
В сотнях списков по вселенной
Вихорь дьявольский размечет?
Всё в хаос придет смятенный!

И... и кто же рукоплещет
Этой пляске вавилонской?
В ком покров ей и защита?
В королеве арагонской!..»

Так, борясь с врагом исконным,
Говорил он королеве
Об ее отчете богу
И о божьем близком гневе,

Но укорам громоносным
Не нашел монах ответа,

Было сердце королевы
Точно бронею одето.

Не испуганным ребенком
Перед ним она стояла;
Не того, молве поверя,
От монаха ожидала.

Ей уж стал казаться лучше
Духовник ее придворный,
Но искуснее обоих —
Приор в Бургосе соборный.

«Ну, а этот! .. мне пророчит
Ад и всяческие страхи
За жидов и за ученых!
Он такой, как все монахи!»

И, собою не владея,
Изабелла гордо встала
И, вуаль с чела откинув,
Так монаху отвечала:

«Я, как женщина, о padre,
Дел правленья не касаюсь.
Их король ведет. Сама же
В чем грешна я — в том и каюсь.

Мне самой жиды противны.
Но они народ торговый,
И — политик это ценит —
На налог всегда готовый.

С королем, моим супругом,
В Саламанхе мы бывали,
Нас нигде с таким восторгом,
Как студенты, не встречали.

Дон Фернандо был доволен,
Я ж скажу, что говорила:
В их сердцах — опора трона,
Наша слава, наша сила! ..

А от тех ученых бедных,
С виду, может быть, забавных,
Уж давно у нас в бумагах
Много есть проектов славных.

Их труды и жажду знаний
Для чего стеснять — не знаю!
И возможно ль всех заставить
Думать так, как я желаю!

Пусть нх мыслят, пусть их ищут!
Мысль мне даст бедняк ученый —
Из нее, быть может, выйдет
Лучший перл моей короны!

И что будет — воля божья!
Только всё нам предвещает:
Миру царствованье наше
Новых дней зарей сияет!»

И уйти она хотела
Без смущения, без страха,
Лишь сердясь на дам придворных,
Расхваливших ей монаха.

Но монаха, знать, недаром
Жены славили и девы:
Как глаза его сверкнули
На движенье королевы!

Он как барс в железной клетке
Встрепенулся, со слезами
Упуская эту душу,
Отягченную грехами!

«Погоди! — он кликнул громко. —
И познай: не я, царица,
Говорил с тобой. Здесь явно
Всемогущего десница!

Я в лицо тебя не видел:
Ты его мне скрыть хотела,

Кто ж сказал, что предо мною
Королева Изабелла?

Всё, царица, всё я знаю...
Все дела твои, мечтанья,
Даже — имя, пред которым
Ты приходишь в содроганье...

Бал французского посольства...
Кавалер иноплеменный
В черной маске... На охоте
Разговор уединенный...

После в парке..» — «Здесь измена! —
Горьким вырвалося стоном
Из груди у королевы. —
Кто же был за мной шпионом?..

Кто? ответствуй!..» — всё забывши,
Восклицала королева,
Величава и прекрасна
В блеске царственного гнева...

Если б не был Сан-Мартино
Небом свыше вдохновенный,
Я б сказал: глаза горели
У него, как у гиены;

Но когда с негодованьем
На него она взглянула,
В этот миг в глаза гиены
Точно молния сверкнула!

Но... сверкнула — и угасла!
«Нет, — стонала Изабелла, —
Я одна лишь знала тайну!
Я владеть собой умела!

Даже он — не смел подумать!
Где ж предатель? Где Иуда?
Это имя только чудом
Мог ты знать..»
— «И было чудо, —

Произнес монах, — и ныне
Не случайно, не напрасно
В храм пришла ты. . . Это имя —
Вот оно! . .»
О, миг ужасный! . .

Вдруг лицо свое худое,
Сам робея без отчета,
К Изабелле он приблизил
И, дрожа, шепнул ей что-то. . .

Отшатнулась, онемела
Королева в лютом страхе!
Взор с тоской и изумленьем
Так и замер на монахе. . .

На нее ж его два глаза
С торжеством из тьмы глядели,
Точно всю ее опутать
И сковать они хотели. . .

И душа ее, как птичка
В тонкой сетке птицелова,
Перепуганная, билась,
Уступала, билась снова. . .

В храме пусто, в храме тихо;
Неподвижны вкруг святые;
Страшны хладные их лица,
Страшны думы неземные. . .

Лишь звучал монаха шепот
И порывистый, и страстный:
«Признаю твой промысл, боже!
Перст твой, боже, вижу ясно!»

Светел ликом, к королеве
Он воззвал: «Жена, не сетуй!
Милосерд к тебе всевышний!
Вот что в ночь свершилось эту!

Для меня вся ночь — молитва!
Видит плач мой сокровенный,

И биенье в грудь, и муки
Он один, гвоздьми пронзенный!

В эту ночь — среди рыданий —
Вдруг объял меня чудесный
Сон, и вижу я: всю келью
Преисполнил свет небесный.

Муж в верблюжьей грубой рясе,
Оным светом окруженный,
Подошел ко мне и пбзвал —
Я упал пред ним смущенный.

Он же рек тогда: «Предстанет
Ныне в храме пред тобою
Величайшая из грешниц
С покровенной головою.

Отврати ее от бездны,
От пути Иезавели,
Коей кровь на стогнах града
Псы лизали, мясо ели».

Усумнился я — помыслил:
«То не в грех ли новый вводит
Бес-прельститель, бес, который
Часто ночью в кельях бродит?

Моему ли окаянству
Вверит бог свое веленье? . .»
Но прозрел угодник божий
В тот же миг мое сомненье:

«Се ли, — рек, — твоя есть вера?»
Я же: «О владыко! труден
Этот подвиг! Дьявол силен,
А мой разум слаб и скуден».

«Повинуйся, — рек он паки, —
Повинуйся, раб ленивый!
Се есть знаменье, которым
Победиши грех кичливый!»

И развил он длинный свиток:
В буквах огненных сияли
В нем дела твои и тайны,
Прегрешенья и печали...

И читал я перед каждым
Суд господень — и скорбела
Вся душа моя, и плакал
О тебе я, Изабелла!.»

У самой у Изабеллы
Сердце в ужасе застыло...
«Чудо — гнев небесный — чудо...—
Как во сне она твердила.—

Неужель... не ты, о боже!
Двигал волею моею!
Неужели весь мой разум
Не был мыслию твоею!

Лишь о подданных любезных,
Лишь о милостях без счета,
О смягченьи грубых нравов —
Вся была моя забота!..

Я лишь радовалась духом,
Лучшим людям в царстве вверясь,—
И ужели в этом — гибель!
Неужели в этом — ересь!..»

«О, заблудшееся сердце! —
Восклицал монах над нею.—
О, сосуд неоцененный
Для даров и для елею!

Влей в него святое миро!..
Гласа свыше удостоен,
Я земному неподкупен,
Средь житейских волн — спокоен!

Волю божью, яко солнце,
Вижу ясно! В чем спасенье —

Осязаю! .. Королева!
Здесь, в руках моих — прощенье!»

Говорил он, вдохновенный,
И в словах его звучали
Сила веры, стоны сердца,
Миру чуждые печали...

Изабелла, на коленях,
За слезой слезу роняла
И, закрыв лицо руками,
«Что ж мне делать?» — повторяла.

«Надо дел во славу божью!
Чтоб они, дела благие,
На весах предвечной правды
Перевешивали злые!

Ополчися на нечестье!
В царстве зло вели измерить,
Отличить худых от добрых,
Совесть каждого проверить...

Тотчас видно в человеке,
Чем он дышит, чем напитан, —
Из того уж, как он смотрит,
Из того уж, как молчит он!

Эти лица без улыбки,
Этот вид худой и бледный —
Явно — дьявольские клейма,
Дух сомнения зловредный! ..»

Говорил он, вдохновенный,
Но недвижная, немая
Оставалась Изабелла,
Глаз к нему не подымая...

«Трибунал устрой духовный, —
Говорил он, — чрезвычайный,
Чтоб следил он в целом царстве
За движеньем мысли тайной;

Чтобы слух его был всюду,
Глаз насквозь бы видел души —
В городах, в домах и кельях,
В поле, на море, на суше;

Чтоб стоял он, невидимый,
В школах в храмах, под землею,
И между отцом и сыном,
Между мужем и женою...

И тогда в твоих народах
Ум и сердце, труд и знанье —
Всё сольется в хор согласный
Восхвалять отца созданья!

Ни одним нестройным гласом
Слух его не оскорбится...
И тебе тогда, царица,
Всё простится! всё простится!..»

«Всё простится...» — повторила
Изабелла... Луч желанный,
Как маяк для морехода,
Ей блеснул в дали туманной...

Подняла к монаху очи:
Слезы всё на них дрожали,
Но уже сквозь слез надежда
И доверие сияли...

«Возвратись же в дом свой с миром!
И зови меня, худого,
Коль речей моих смиренных
Возжелаешь сердцем снова...

А в дому своем отныне
Тщися мудрыми речами,
Как Эсфирь, в супруге сердце
Преклонить — да будет с нами!

Говори ему в совете,
Средь забав, на брачном ложе,

За трапезой, с лаской, с гневом,
День и ночь одно и то же!

Так, как капля бьет о камень,
Говори, моли и требуй —
И тогда, о, всё простится!
Всем угодна будешь небу! ..»

Он умолк. Уж Изабелла,
Как дитя, за ним следила,
И за ним опять невольно:
«Всё простится», — повторила...

По устам у Сан-Мартино
Пробежал улыбки трепет...
Богомольных дам, быть может,
Вспомнил он невинный лепет,

Вспомнил тайну королевы —
И, как будто осиянный
Новой мыслью, «Всё простится», —
Подтвердил с улыбкой странной.

Во дворце и перед храмом
Свита — доньи и дуэньи
Ожидали королеву
В несказанном нетерпеньи.

Как ей чудный исповедник
Показался, знать желали,
И, едва она к ним вышла,
С любопытством вопрошали:

«Ну, каков?» Собой владея,
Королева без смущенья,
Равнодушно отвечала:
«Производит впечатленье».

(1860)

271. ПОСЛЕДНИЕ ЯЗЫЧНИКИ

Когда в челе своих дружин
Увидел крест животворящий
Из царской ставки Константин
И пал пред господом, молящий, —

Смутились старые вожди,
Столпы языческого мира...
Они, с отчаяньем в груди,
Встают с одра, встают от пира,

Бегут к царю, вопят: «О царь!
Ты губишь всё — свою державу,
И государство, и алтарь,
И вечный Рим, и предков славу!

Пред кем ты пал? Ведь то рабы!
И их ты слушаешь, владыко!
И утверждаешь царств судьбы
На их ты проповеди дикой!

Верь прозорливости отцов!
Их распинать и жечь их надо!
Не медли, царь, скорей оков!
Безумна милость и пощада!»

Но не внимал им Константин,
Виденьем свыше озаренный,
И поднял стяг своих дружин,
Крестом господним осененный.

В негодованьи цепь с орлом
Трибуны с плеч своих сорвали,
И шумно в груды пред царем
Свое оружье побросали —

И разошлися...
Победил
К Христу прибегший император!
И пред распятым преклонил
Свои колена триумфатор.

И повелел по городам
С сынов Христа снимать оковы,
И строить стал за храмом храм,
И словеса читать Христовы.

Трибуны старые в домах
Сидели, злобно ожидая,
Как, потрясенная, во прах
Падет империя родная.

Они сбирались в древний храм
Со всех концов на годовщину
Молиться дедовским богам,
Пророча гибель Константину.

Но время шло. Их круг редел.
И гасли старцы друг за другом...
А над вселенной крест горел,
Как солнца луч над вешним лугом.

Осталось двое только их
Храня обет, друг другу данный,
Они во храм богов своих
Сошлися, розами венчанны.

Зарос и треснул старый храм;
Кумир поверженный валялся;
Из окон храма их очам
Константинополь открывался:

Синел Эвксин, блестел Босфор;
Вздымались куполы цветные;
Там — на вселенский шли собор
Ерархи, иноки святые;

Там — колесницы, корабли...
Под твердью неба голубою
Сливался благовест вдали
С победной воинской трубою...

Смотрели молча старики
На эту роскошь новой славы,

Полны завистливой тоски,
Стыдясь промолвить. «Мы не правы».

Давно уж в мире без утех
Свой век они влачили оба;
Давно смешна была для всех
Тупая, старческая злоба...

Они глядят — и ждет их взор:
Эвксин на город не прорвется ль?
Из-за морей нейдет ли мор?
Кругом земля не пошатнется ль?

Глядят, не встанет ли кумир...
Но олимпиец, грудью в прахе,
Лежит недвижим, нем и сир,
Как труп пред палачом на плахе.

Проклятья самые мертвы
У них в устах... лишь льются слезы,
И старцы с дряхлой головы
Снимают молча плющ и розы...

Ушли... Распятие в пути
На перекрестке их встречает...
Но нет! не поняли они,
Что божий сын и их прощает.

1857

272. ПРИГОВОР

(Легенда о Констанцском соборе)

На соборе на Констанцском
Богословы заседали:
Осудив Иоганна Гуса,
Казнь ему изобретали.

В длинной речи доктор черный,
Перебрав все истязанья,
Предлагал ему соборно
Присудить колесованье;

Сердце, зла источник, кинуть
На съеденье псам поганым,
А язык, как зла орудье,
Дать склевать нечистым враиам;

Самый труп предать сожженью,
Наперед прокляв трикраты,
И на все четыре ветра
Бросить прах его проклятый...

Так, по пунктам, на цитатах,
На соборных уложеньях,
Приговор свой доктор черный
Строил в твердых заключеньях;

И, дивясь, как всё он взвесил
В беспристрастном приговоре,
Восклицали: «Bene, bene!»[1] —
Люди, опытные в споре,

Каждый чувствовал, что смута
Многих лет к концу приходит
И что доктор из сомнений
Их, как из лесу, выводит...

И не чаяли, что тут же
Ждет еще их испытанье...
И соблазн великий вышел!
Так гласит повествованье:

Был при кесаре в тот вечер
Пажик розовый, кудрявый;
В речи доктора не много
Он нашел себе забавы;

Он глядел, как мрак густеет
По готическим карнизам,
Как скользят лучи заката
Вкруг по мантиям и ризам,

Как рисуются на мраке,
Красным светом облитые,

---

[1] «Хорошо, хорошо!» (лат.). — *Ред.*

Ус задорный, череп голый,
Лица добрые и злые...

Вдруг в открытое окошко
Он взглянул и — оживился;
За пажом невольно кесарь
Поглядел — развеселился,

За владыкой — ряд за рядом,
Словно нива от дыханья
Ветерка, оборотилось
Тихо к саду всё собранье:

Грозный сонм князей имперских,
Из Сорбонны депутаты,
Трирский, Люттихский епископ,
Кардиналы и прелаты,

Оглянулся даже папа!
И суровый лик дотоле
Мягкой, старческой улыбкой
Озарился поневоле;

Сам оратор, доктор черный,
Начал путаться, сбиваться,
Вдруг умолкнул и в окошко
Стал глядеть и — улыбаться!

И чего ж они так смотрят?
Что могло привлечь их взоры?
Разве небо голубое?
Или розовые горы?

Но — они таят дыханье
И, отдавшись сладким грезам,
Точно следуют душою
За искусным виртуозом...

Дело в том, что в это время
Вдруг запел в кусту сирени
Соловей пред темным замком,
Вечер празднуя весенний;

Он запел — и каждый вспомнил
Соловья такого ж точно,
Кто в Неаполе, кто в Праге,
Кто над Рейном, в час урочный,

Кто — таинственную маску,
Блеск луны и блеск залива,
Кто — трактиров швабских Гебу,
Разливательницу пива...

Словом — всем пришли на память
Золотые сердца годы,
Золотые грезы счастья,
Золотые дни свободы...

И — история не знает,
Сколько длилося молчанье
И в каких странах витали
Души черного собранья...

Был в собраньи этом старец,
Из пустыни вызван папой
И почтен за строгость жизни
Кардинальской красной шляпой, —

Вспомнил он, как там, в пустыне,
Мир природы, птичек пенье
Укрепляли в сердце силу
Примиренья и прощенья, —

И, как шепот раздается
По пустой, огромной зале,
Так в душе его два слова:
«Жалко Гуса», — прозвучали;

Машинально, безотчетно
Поднялся он и, объятья
Всем присущим открывая,
Со слезами молвил: «Братья!»

Но, как будто перепуган
Звуком собственного слова,

Костылем ударил об пол
И упал на место снова.

«Пробудитесь, — возопил он,
Бледный, ужасом объятый, —
Дьявол, дьявол обошел нас!
Это глас его, проклятый!..

Каюсь вам, отцы святые!
Льстивой песнью обаянный,
Позабыл я пребыванье
На молитве неустанной —

И вошел в меня нечистый! —
К вам простер мои объятья,
Из меня хотел воскликнуть:
«Гус невинен». Горе, братья!..»

Ужаснулося собранье,
Встало с мест своих, и хором
«Да воскреснет бог» запело
Духовенство всем собором, —

И, очистив дух от беса
Покаяньем и проклятьем,
Все упали на колени
Пред серебряным распятьем, —

И, восстав, Иоганна Гуса,
Церкви божьей во спасенье,
В назиданье христианам,
Осудили — на сожженье...

Так святая ревность к вере
Победила ковы ада!
От соборного проклятья
Дьявол вылетел из сада,

И над озером Констанцским,
В виде огненного змея,
Пролетел он над землею,
В лютой злобе искры сея.

Это видели: три стража,
Две монахини-старушки
И один констанцский ратман,
Возвращавшийся с пирушки.

1859

273. ПОЭТ И ЦВЕТОЧНИЦА

(Гетевская элегия)

Она

Высыпь цветы из корзины у ног моих, милый,
Сядь и уж мне не мешай! .. Скоро смеркаться начнет.

Он

Что за хаос вкруг тебя! И над ним, как Любовь, ты склонилась,
Мыслью готова в него жизнь и гармонию влить!

Она

Розы не трогай: чудесные розы! Из них загляденье
Выйдет венок — и тебе этот венок я подам!

Он

Как мне забавно всегда! На пиру ты венок мне подносишь!
Я равнодушным кажусь — сам же весь занят тобой!

Она

Ты не глядишь на меня, но я чувствую взгляд твой горячий...
Точно сребристую сеть я за собой волочу!

Он

Это влечет тебя сердце мое в уголок наш укромный,
Где ты — как Флора в цветах, и у колен твоих я.

Она

Да, а сойдемся мы здесь — от меня ты уж мыслью далёко!
Вот и теперь не глядишь... Что же ты вдруг замолчал?

Он

Вот что я вспомнил: был Павзий, художник; любил он Гликеру;
Плесть мастерица была эта Гликера венки.

Она

Это — как будто бы мы! Только ты не художник, а лучше —
Фебом любимый поэт! гордость и слава Афин!

Он

Эту Гликеру прелестнейшей девушкой, милым ребенком
Он всю в цветах написал — и обессмертил себя!

Она

Что же? и ты обессмерть себя славной поэмой! .. Я часто
Думаю: что бы тебе нашу любовь описать?

Он

Павзий — счастливей! черты своей милой Гликеры он кистью
Мог передать, а в стихах — как опишу я тебя?

Она

Вот ты как сделай: пусть в Индии будет, где звери и птицы
Дружно с людьми говорят, много где всяких чудес! ..

Он

Странно! с любовью в разлад вдохновенье идет у поэта:
Кажется — как я люблю! .. и — хоть бы песнь! хоть бы стих!

Она

Жил там волшебник; малюткой царевну похитил... Малютка
Стала цветы продавать; только однажды был пир...

Он

Царский был сын на пиру; он влюбился, и кончилось свадьбой!
В сказках всегда это так... только немного старо...

Она

Нет, не старо! Можно выдумать ряд приключений чудесных...
Как он умом и мечом чары умел победить...

Он

Бился с гигантами! Конное, пешее войско с слонами,
Тьмы колесниц золотых в бегство один обратил!

Она

Ты только шутишь со мной! .. А молчанье твое мне ужасно! ..
Помнишь ли ты на пиру первый венок мой тебе?

Он

Этот венок и теперь у меня над кроватью хранится...
Первый, который ты мне, пир обходя, подала?

Она

Помнишь, венчая твой кубок, я почку в вино уронила;
Выпив вино, ты сказал: «Дева! цветы — это яд!»

Он

Как же! .. И с маленьким женским лукавством, и детски краснея,
«Пчелки, — сказала ты, — в них мед достают, а не яд!»

Она

Если с тех пор твоя муза молчит, ты угрюм и несчастлив,
Значит, то правда, что жизнь я отравила тебе?

Он

Полно, мой друг, я молчу лишь от счастья! .. Как музыка, нежный
Голос твой мне прозвучал — там, средь мужских голосов!

Она

Лучше б молчать мне и пчелок не трогать! ведь к этому слову
Рыжий придрался Тимант, крикнул: «И шмель не дурак!»

Он

Гнусный Силен! .. и облапил тебя, как медведь! Покатилась
В угол корзина твоя... все разлетелись цветы! ..

Она

Как он меня напугал! .. Только слышу: «Оставь ее, циник!»
Вижу — ты с места вскочил, светел, как сам Аполлон!

Он

Он не сробел, а держал тебя, белые зубы оскалив,
Легкое платье твое по пояс с плеч разорвал...

Она

Ужас! как бросишь в него ты серебряным кубком! .. Я помню,
Как он о череп его звякнул и прыгать пошел! ..

Он

Гнев и вино ослепляли меня! .. Но успел разглядеть я,
Как ни старалась ты скрыть, круглое... это плечо...

Она

Ах, что за шум поднялся! весь облитый вином, он затрясся,
С мокрых волос по лицу кровь заструилась ручьем...

Он

Только тебя я и видел! .. в слезах, на полу, на коленях,
Платье одною рукой ты собирала на грудь...

Она

Блюдо, тарелки в тебя полетели, звеня и блистая!
Точно взбешенный Аякс, всё он ломал вкруг себя!

Он

Только тебя я и видел!.. как быстро другою рукою
Ты подбирала венки, взором за нами следя...

Она

Доброе сердце! ты думал, меня ушибут... а хозяин
Ярость обрушит на мне, — встал и меня заслонил!

Он

Пестрый ковер перекинул я на руку, точно готовясь
В битве с свирепым быком бросить ему на глаза!

Она

Я ускользнула, увидя, что гости вступились, стараясь
За руки вас удержать, вместе стыдя и моля.

Он

К счастью, всё кончилось смехом — вскочил и трагическим тоном:
«Что вы, ахейцы!» — нам речь стал говорить Диоген.

Она

Этот седой Диоген притворяется только сердитым;
Право, душа у него, кажется, вовсе не зла!..

Он

Он успокоил всё шуткой .. Но тщетно тебя я хватился!
Три дня тебя я искал! три дня на рынке бродил!

Она

Я со стыда не могла показаться... Ведь все меня знают,
Любят — и вдруг обо мне в городе говор пошел.

Он

Много я видел венков, много видел цветов и цветочниц,
Не было только одной — маленькой Лиды моей!

Она

Дома венки я сплетала... рядком их, бывало, развешу...
Вот и теперь они тут... все уж засохли давно!

Он

Где ты живешь, переспрашивал женщин, старух я на рынке,
Даже гуляк и повес — все становились в тупик!

Она

Вечер, бывало, сижу я, гляжу на веночки и плачу...
Ночь подвигалась... цвета гасли один за другим...

Он

В горе, усталый, к богам я взывал, к Аполлону взывал я:
«О сребролукий! да где ж? где же укрылась она?»

Она

Всё мне казалось, что вот ты войдешь... и что буду я делать?
С тайной надеждой пошла на площадь я наконец...

Он

Я уж давно там бродил... насмотрелся, наслушался вдоволь!
Рыба, плоды, петухи! крики ослов и старух!..

Она

Что там за шум был, когда я тебя наконец увидала?

Он

Право, не знаю... Но вдруг ты мне мелькнула в толпе...

Она

Точно в челне сквозь высокий тростник, в тесноте ты пробился...

Он

И очутилися вдруг в шумной толпе мы одни!

Она

Помню, я слышала только, как сердце в груди моей билось...

Он

Рядом пошли мы с тобой... в очи друг другу глядя...

Она

Так, как теперь ты глядишь, и с такою же тихой
улыбкой...

Он

Как ты прекрасна была, солнцем облита живым!

Она

Вышли мы за город...

Он

Море блистало в дали
серебристой...

Она

Всё это, милый, теперь кажется сказкою мне!

Он

И без волшебника сказка! без царского сына,
царевны!

Она

Это — поэма, мой друг!

Он

Милая Муза моя!

Она

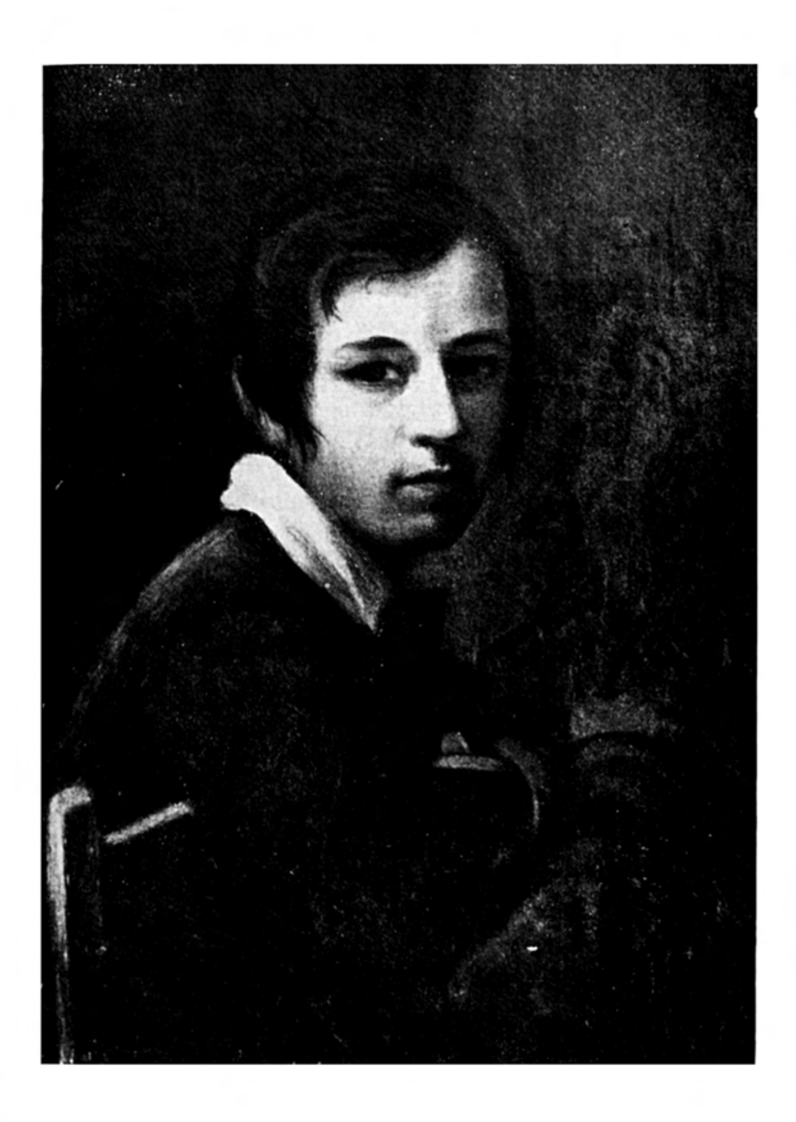
Тише! венки изомнешь... О, как скоро стемнело
сегодня!..
Как же хорош и как смел на этом пире ты был!

(1861)

274. АЛЕКСИС И ДОРА

(Пересказ гетевской элегии)

Ах, неудержно вперед, неудержно всё дале и дале
Мчится на всех парусах в синее море корабль!..
След его длинной темнеет струей, и, сверкая,
дельфины
Весело прыгают в ней, словно добычу ловя.



Кормчий на снасти глядит — точно музыку слушает: лихо,
В добрую пору пошли! Ветер попутный как раз!
Очи пловцов и мечты их, как флаги и вымпел летучий,
Весело смотрят вперед... Духом поник лишь один.
К борту склонясь корабля, он всё смотрит, как горы бледнеют,
Берег уходит из глаз... вот уж из виду пропал...
«И у тебя, моя Дора, — он шепчет, — уж скрылся из виду
В море корабль мой и я, милый твой, друг твой, жених!
Тщетно и ты меня ищешь, с высокого берега смотришь,
Вкруг безответна на всё, думой в себя погрузясь!..
Сердце, прижавшися раз к моему, всё не может утихнуть!
Мысль твоя новую жизнь тщетно стремится обнять!

Миг это был, только миг, но он вдруг перевесил все годы,
Мной прожитые во тьме, в сонном, тупом забытьи.
Словно удар громовой, словно молния в сердце упала,
Спавшие силы в груди радостно вдруг пробудив.
Словно совсем я другой, и смотрю на себя с любопытством.
Прежняя жизнь моя вдруг смысл получила в глазах...
Так стихотворец в стихах на пиру предлагает загадку,
Скрывши значенье ее в образах, звуках, цветах;
Каждым любуешься порознь, но вместе всё дико и странно;
Если ж разгадку нашел, вдруг получает всё смысл.
Вот и разгадка моя! Всё, что в жизни за счастье считал я,
Словно уходит во мрак. Всё заслоняя собой,
Образ ее, незаметный доселе, один выступает...
Девочкой вижу ее: черные кудри как смоль,

Бледная смуглость лица, только длинные те же ресницы,
Черные те же глаза, тот же задумчивый взгляд...
Вот вырастает: с плодами на рынок приходит поутру,
Вот от фонтана идет с полным кувшином воды!..
Часто я думал: «А вот с головы ты кувшин свой уронишь!»
Только, как лебедь, она словно не шла, а плыла...
К морю, бывало, мы, юноши, выйдем в вечернюю пору;
Девушки тут же сидят, в тесный сомкнувшись кружок,
Смотрят, как плоские камни плашмя по воде мы кидаем;
Чей сделал больше прыжков, славу тому прокричат...
Крикнут и мне, — я ж и знать не хотел, есть ли Дора меж ними!
Все пропадают теперь, вижу одну лишь ее.
Вижу задумчивый взгляд, из толпы на меня устремленный.
Так и следит он за мной, всюду он ищет меня...
Видел ее я, как месяц и звезды видаем мы ночью, —
Разве приходит на мысль ими когда обладать?
Сад — стена об стену с нашим; бывало, калитка открыта,
Но заглянуть хоть бы раз — в мысль не пришло никогда...

Подле! так близко! Теперь же меж нами широкое море!
Ветру с неделю я жду. В скуке брожу как шальной.
Вдруг прибегает матрос, кличет: «Ветер попутный! скорее!
Тотчас канат отдаем. Вздернем как раз паруса!»
Я собираюсь, бегу. Кое-как с стариками простился...
Даже всплакнуть-то хоть раз — знали, что некогда им!
В руки мне суют припасы. Я на руку плащ, выбегаю;
Дора в калитке стоит, что-то мне хочет сказать.
«Дора, прощай!» — говорю и бегу, чуть кивнул головою.

«Можно тебя попросить, — так ведь сказала она, —
Ты за товарами едешь... цепочку давно мне
хотелось...
Будь же так добр, привези, я заплачу по цене».
Спрашивать (нехотя даже!) я начал: какую, что
весу?
Самую малую мне цену сказала она...
Я поглядел на нее... Да ужель это Дора?..
та Дора —
Та, что я видел вчера?.. Слеп ли я был до сих пор?
Иль изменилась она?.. То подымет стремительно
очи,
То их опустит на грудь... щеки румянцем горят...
Вкруг нее, словно вкруг девственной дщери
Олимпа, — сиянье!
Боги!.. А с пристани там громче и громче кричат...
«Вот захвати ты с собой, — встрепенулась она, —
апельсинов,
На море негде достать, и не во всякой земле...»
Скрылась в калитку; и я вслед за ней; апельсины
срывает:
Пальцы на солнце сквозят... Тени скользят
по лицу...
Падает плод за плодом... Я за нею едва поспеваю...
«Будет!» — твержу, но она ищет всё лучших
вверху...
«Тотчас уложим в корзину», — корзина в беседке
стояла, —
Свод виноградных листов принял под тень свою
нас...
Стала плоды она молча в корзину укладывать,
в листья...
Ах, я боялся дышать! Сердце ж стучало в груди!
Вот и корзина готова, а я — всё стою неподвижно...
Дора! тут очи и ты вдруг подняла на меня...
Как же тут было? и что мы сказали, что вдруг
очутилась
Грудь твоя подле моей?.. Вижу, твоя голова
Тут у меня на плече... по щеке пробирается
слезка...
«Дора! ты вечно моя?» — вырвалось вдруг у меня...

«Вечно!» — промолвила ты, и уста наши встретились сами! ..
С берега громче кричат. Вижу — в калитку матрос
Кличет и выставил, словно сердитый Тритон, свою рожу...
Боги! вдруг счастье обнять — и потерять в тот же миг! ..
Друг против друга стоим мы, и слезы текут у обоих...
Как подбежал тут матрос, побрал пожитки мои,
В зубы корзину с плодами схватил, и меня за одежду,
С бранью, толкая, увел... Как я взошел на корабль...
Всё это точно как сон! .. Помню — берег в глазах вдруг поехал:
Домы, деревья, гора... Тут лишь опомнился я...
К борту припал: разбиваяся, с пеною волны мелькают,
Крепкие снасти скрипят... Я чуть стою на ногах...
В сердце лишь «вечно твоя» и звучит... Весь дрожу я, как лира,
Долго хранящая гул трудно стихающих струн...
«Да, ты взошло, мое солнце! Завеса с грядущего спала,
Дора! отныне тебе — жизнь моя, слава, труды! ..
Вей же, попутный Эол! .. Подтяните-ка парус потуже!
Вправо возьмите руля! .. Ух, словно птица летим! ..»

1863

275. КОНЬ

(Из сербских песен)

Светлолица, черноброва,
Веселее бела дия,
Водит девица лихова
Опененного коня,

Гладит гриву воронова
И в глаза ему глядит:

«Я коня еще такова
Не видала! — говорит. —

Чай, коня и всадник стоит...
Только он тебя навряд
Вдоволь холит и покоит...
Что он — холост аль женат?»

Конь мотает головою,
Бьет ногою, говорит:
«Холост — только за душою
Думу крепкую таит.

Он со мною, стороною,
Заговаривал не раз —
Не послать ли за тобою
Добрых сватов в добрый час».

А она в ответ, краснея:
«Я для доброго коня
Стала б сыпать, не жалея,
Полны ясли ячменя;

Стала б розовые ленты
В гриву черную вплетать,
На попоны позументы
С бахромою нашивать;

В вечной холе, без печали
Мы бы зажили с тобой...
Только б сватов высылали
Поскорее вы за мной».

1860

276. ПАСТУХ

(Испанская легенда)

Был суров король дон Педро;
Трепетал его народ,
А придворные дрожали,
Только усом поведет.

«Я люблю, — твердил он, — правду,
Вид открытый, смелый взор».
Только правды (вот ведь странность!)
Пуще лжи боялся двор.

Раз охотился дон Педро;
Утомясь, он дал сигнал,
Чтоб для завтрака у речки
Сделать маленький привал.

Тра-та-та — звучит в долине,
Меж покрытых лесом гор;
На призыв отвсюду скачут
Гранды, рыцари и двор.

Собрались. Дон Педро весел:
Сам двух вепрей застрелил
И своим весельем лица
Всех, как солнцем, озарил!

Он смеется — все хохочут...
Разговор пошел и смех...
Но о чем же смех и говор?
Речь о чем?.. Одна у всех:

Говорят, что чудо-мальчик
Тут же коз пасет в горах —
Купидон в широкой шляпе,
С козьим мехом на плечах!

Длиннокудрый! Черноглазый!
Но, хотя угрюм и дик,
А бедовый! Нет вопроса,
Перед чем бы стал в тупик.

Пожелал король увидеть
Пастуха — и вот бегут,
Понеслись пажи, что стрелы,
И чрез миг его ведут.

Посмотрел король. С минуту
Призадумался... Кругом

Словно туча набежала,
Словно ждут, что грянет гром.

«Вот, — сказал он, — три вопроса:
Разрешишь — возьму в пажи!
Много ль капель в синем море?
Посчитай-ка да скажи!»

«Я сочту, — ответил мальчик, —
Счет не долог, не тяжел,
Но, пока считать я буду,
Повели, чтоб дождь не шел».

«Ну а много ль звезд на небе?»
И философ, не смутясь:
«Повели сойти им с неба,
Я тогда сочту как раз».

Понахмурился дон Педро,
Двор дыханье затаил.
«Ну а много ль дней у бога?» —
Помолчав, король спросил.

«Дни у бога крадет время.
Повели, чтобы оно
Хоть на миг остановилось, —
И уж счесть не мудрено».

«Молодец! — вскричал дон Педро,
Хохоча. — Да этот клоп
Всех вельмож моих умнее! ..»
Те смеялись, морща лоб.

«Я возьму тебя. Ты будешь
Спать при мне, и есть, и пить,
И один, надеюсь, станешь
Смело правду говорить».

Гранды вовсе растерялись.
«Что он — плут или мудрец?
Грубиян!» — единодушно
Порешили наконец.

Но старались грубияну
Угодить хоть чем-нибудь...
Он же робко озирался,
Как бы в горы улизнуть.

Только дамы бескорыстно
Целовали мудреца,
В нем хваля глаза и розы
Загорелого лица.

1866

277. МЕНЕСТРЕЛЬ

(Провансальский романс)

Жил-был менестрель в Провансальской земле,
В почете он жнл при самом короле...
«Молчите, проклятые струны!»

Король был не ровня другим королям,
Свой род возводил он к бессмертным богам...
«Молчите, проклятые струны!»

И дочь он, красавицу Берту, имел...
Смотрел лишь на Берту певец, когда пел...
«Молчите, проклятые струны!»

Когда же он пел, то дрожала она —
То вспыхнет огнем, то как мрамор бледна...
«Молчите, проклятые струны!»

И сам император посватался к ней...
Глядит менестрель всё угрюмей и злей...
«Молчите, проклятые струны!»

Дан знак менестрелю: когда будет бал,
Чтоб в темной аллее у грота он ждал...
«Молчнте, проклятые струны!»

Что было, чью руку лобзал он в слезах
И чей поцелуй у него на устах —
«Молчите, проклятые струны!»

Что кесаря значит внезапный отъезд,
Чей в склепе фамильном стоит новый крест —
«Молчите, проклятые струны!»

Из казней какую король изобрел,
О чем с палачом долго речи он вел —
«Молчите, проклятые струны!»

Погиб менестрель, бедный вешний цветок!
Король даже лютню разбил сам и сжег...
«Молчите, проклятые струны!»

И лютню он сжег, но не греза, не сон —
Везде его лютни преследует звон...
«Молчнте, проклятые струны!»

Он слышит: незримые струны звучат
И страшные ясно слова говорят...
«Молчите, проклятые струны!»

Не ест он, не пьет он и ночи не спит,
Молчит, — лишь порой, как безумный, кричит:
«Молчите, проклятые струны!»

1859

278. МАРИЭТТА

Я. П. Полонскому

Критик твой достопочтенный
Мне напомнил эпизод
В жизни Гёте: современный,
Право, скажешь, анекдот!

Видишь, в Риме, в дни былые,
На закате тех времен,
Где Рафаэль во святые
Был едва не возведен, —

В Риме Гёте, Винкельмана
Появилась в мастерских
Мариэтта из Альбано,
Как модель... да из каких!

Имя этой Мариэтты
Огласилось при дворах;
За мадонн ее портреты
Почиталися в церквах;

А в стихах ее равняли
И к богиням, и к святым,
Даже папе представляли...
Вдруг граф N приехал в Рим.

«Покажите Мариэтту!» —
Первым делом. Граф — знаток,
Автор сам, известный свету
Меценат, археолог...

Он на Гёте попадает...
И что дальше было там,
Пусть уж Гёте продолжает
И досказывает сам:

«Подмигнул я ветурину,
И помчались, граф и я
(То есть Гёте), к Авентину.
Это пассия моя —

Авентин!.. Когда печален
Иль рассержен чем — туда!
Почерпнуть в тиши развалин
Сил для мысли и труда...

А уж вНды — вековечный
Чуть сквозит в тумане Рим
Панорамой бесконечной
К Апеннинам голубым!..

«Стой!.. ворота!..» Муж встречает:
«Здесь, signori,[1] здесь!..» Добряк!
Ласков ты — душа в нем тает,
Но — за нож, коль что не так!

---

[1] Господа (итал.). — *Ред.*

Дом — в руине как-то слажен
Из заделанных аркад.
По стенам висит из скважин
Плющ; у входа — виноград.

Под навесом (день был жаркой) —
Вол у яслей и осел.
Входим в дверь: под смелой аркой,
Вполовину вросшей в пол,

И сама... Дитя качает...
Полусумрак... Тишина...
Всё заботы след являет...
Увидала нас она

И, привстав над колыбелью,
Пальчик к губкам — «не будить!» —
Знак нам делает... Моделью
Для Рафаэля б ей быть!..

Этот на пол луч упавший
Чрез открытое крыльцо,
Отраженьем осиявший
Оживленное лицо...

Переход от беспокойства
В ней к уверенности в нас —
Лиц уже такого свойства,
Что далеки от проказ...

Я — чуть слышно: «Quel' signore[1] —
Только в Рим — и уж сюда!..»
Улыбнулась: «È pittore?[2]
И мадонну пишет?.. да?»

Боже мой! как просто! мило!
Красота... Да суть не в том!
Вифлеемское тут было,
Что-то райское кругом!

---

[1] Тот синьор (итал.). — *Ред.*
[2] И художник? (итал.) — *Ред.*

Может быть, недоставало
Только ангелов одних...
А, быть может, вкруг стояло,
Нам незримых, много их!..

Человек двора и света,
Граф приветлив очень был,
Но серьезен, и лорнета
От нее не отводил...

Распростились. С нетерпеньем
Жду — что он? — почти в тоске...
Он же вдруг — да с озлобленьем:
«Три веснушки на виске!»

Я — ну просто как в тумане
Очутился, оскорблен,
Павши духом...
В Ватикане
После, вижу, ходит он.

Поглядит — и в каталоге
Отмечает, мысля вслух:
«Торс короток! — Жидки ноги!»
(Аполлон-то!..) — «Профиль сух!..»

И, дивясь его сужденьям,
Почитателей кружок
Повторяет с умиленьем:
«Вот так критик! Вот знаток!»

„Мариэтта, спи спокойно! —
Я подумал про себя. —
Боги Греции достойно
Отомстят уж за тебя!

Иногда ведь шутку злую
Аполлон сшутить любил:
Он Мидасу-то какую
Неприятность учинил!“»

1886

279. СТАРЫЙ ДОЖ

«Ночь светла; в небесном поле
Ходит Веспер золотой;
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой...»[1]

Занимает догарессу
Умной речью дож седой...
Слово каждое по весу —
Что червонец дорогой...

Тешит он ее картиной,
Как Венеция, тишком,
Весь, как тонкой паутиной,
Мир опутала кругом:

«Кто сказал бы в дни Аттилы,
Чтоб из хижин рыбарей
Всплыл на отмели унылой
Этот чудный перл морей!

Чтоб, укрывшийся в лагуне,
Лев святого Марка стал
Выше всех владык — и втуне
Рев его не пропадал!

Чтоб его тяжелой лапы
Мощь почувствовать могли
Императоры, и папы,
И султан, и короли!

Подал знак — гремят перуны,
Всюду смута настает,
А к нему — в его лагуны —
Только золото плывет!..»

Кончил он, полусмеяся,
Ждет улыбки — но, глядит,

---

[1] Эти четыре строчки найдены в бумагах Пушкина, как начало чего-то. Да простит мне тень великого поэта попытку угадать: что же было дальше?

На плечо его склоняся,
Догаресса — мирно спит!..

«Всё дитя еще!» — с укором,
Полным ласки, молвил он,
Только слышит — вскинул взором —
Чье-то пенье... цитры звон...

И всё ближе это пенье
К ним несется над водой,
Рассыпаясь в отдаленье
В голубой простор морской...

Дожу вспомнилось былое...
Море зыбилось едва...
Тот же Веспер... «Что такое?
Что за глупые слова!» —

Вздрогнул он, как от укола
Прямо в сердце... Глядь, плывет,
Обгоняя их, гондола,
Кто-то в маске там поет:

«С старым дожем плыть в гондоле...
Быть его — и не любить...
И к другому, в злой неволе,
Тайный помысел стремить...

Тот «другой» — о догаресса! —
Самый ад не сладит с ним!
Он безумец, он повеса,
Но он — любит и любим!..»

Дож рванул усы седые...
Мысль за мыслью, целый ад,
Словно молний стрелы злые,
Душу мрачную браздят...

А она — так ровно дышит,
На плече его лежит...
«Что же?.. Слышит иль не слышит?
Спит она или не спит?!.»

1887, 1888

ИЗ СЛАВЯНСКОГО МИРА

280. НИКОГДА!

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА СЛАВЯН С РИМЛЯНАМИ

Гонит волны быстр Дунай,
Разлился широко;
Над Дунаем светлый град
На горе высокой.
Становился римский царь
Станом перед градом;
Забелелися шатры,
Ряд стоит за рядом.
На престоле царь сидит
Под златой порфирой;
Вкруг престола, словно лес,
Копья и секиры.
И с престола римский царь
Говорит с послами,
Незнакомый люд стоит
Пред его очами.
Молодец все к молодцу:
Кудри золотые
Густо вьются по плечам,
Очи — голубые;
Словно все в одно лицо,
Та ж краса и сила,
Словно всех-то их одна
Матерь породила.
Породила ж их одна
Мать — земля родная,
Что от Татры подошла
Вплоть до волн Дуная,

И за Татрою идет
   На другое море,
На полночь и на восток,
   Где в святом просторе
Уготовала поля,
   Долы и дубравы
Как святую колыбель
   Для великой славы!
Их послал славянский род,
   Положив советом
Встретить римского царя
   Дружбой и приветом.
Не лежат они челом
   Перед ним во прахе,
Не целуют ног его
   В раболепном страхе,
Но подносят божий дар —
   Хлеб и соль родную
И к великому царю
   Держат речь такую:
«Весь народ наш, старшины
   И князья послали
Нас, чтоб мы тебе, о царь,
   Добрый день сказали.
Ты наш гость, лишь доступил
   Нашего порога;
Мы — славяне; край сей дан
   Нам в удел от бога.
Щедро им он наделен
   Благодатью с неба:
Не поленишься, так всем
   Свой кусок есть хлеба.
Много ль, мало ль — с нас того
   Будет, что имеем:
Благо сеем на своем,
   Жнем, что сами сеем.
И придет ли странник к нам,
   Кто, зачем, не спросим —
С богом, дверь отворена!
   Милости к нам просим!
Будь он свой или чужой,
   Человек прохожий,

Про него всегда у нас
    На столе дар божий.
Вольно всем здесь жить! Зарок
    Богом дан славянам:
Грех великий — быть рабом,
    Вящий грех — быть паном!
И грехов тех нет у нас,
    Нет во всем народе!
Всем у нас открытый путь
    К славе и свободе!

Правда, как весной снега
    С гор крушатся на дол,
Лютый враг на край наш вдруг,
    Словно с неба, падал;
Здесь засев, уж думал век
    Нас держать в неволе,
Нами сеять и пахать
    И на нашем поле
Кобылиц своих пасти, —
    Только блажь пустая!
Поднималась вся земля
    С края и до края!
И спроси ты: где же те,
    Что нам цепь ковали?
Где, спроси их? Мы стоим,
    А они — пропали!
Положен уж так зарок,
    Веки неизменный:
Кто, откуда б ни пришел,
    Враг иноплеменный,
Завладей хоть миром, здесь
    Бег свой остановишь,
Здесь, в земле славянской, гроб
    Сам себе сготовишь!

Ты теперь, о царь, стоишь
    Здесь у нашей грани.
Что ж несешь с собою к нам:
    Меч иль мир во длани?
Если меч, то ведь мечи
    И у нас есть тоже;

А востры ль они, узнать
И не дай тн боже!
Если ж к нам идешь как гость,
С миром, с доброй вестью,
Уж на славу угостим
И проводим с честью!
Вот тебе от нас хлеб-соль!
И принять их просим
Так же честно, как тебе,
Царь, мы их подносим».

Хлеба-соли не взял царь,
Лнком омрачнлся;
Ярый гнев в его очах
Гордо засветился;
И к послам славянским он
С трона золотого
Обратил, подняв главу,
Таковое слово:
«Солнце шествует в пути —
И к нему все очи;
От него — вся жизнь и свет,
Без него — мрак ночи;
С ним у твари спора нет,
Ни переговоров;
Для народов солнце — я,
И со мной нет споров!
Как судьба, для всех моя
Власть неотразима:
Повелитель мира — Рим,
Я ж — владыка Рнма!
Меж народов хоть один
Есть ли во вселенной
Кто, противиться ему
Возмечтав, мгновенно
До последнего раба
Не исчез со света!
Все склоняются пред ним
И живут чрез это.
Преклонитесь же н вы!
Я ваш край устрою:

Поселю здесь римлян, вас
Выведу с собою,
В Рим — старшин, а молодежь —
Прямо в легионы;
Покоритесь — будет вам
Мир, почет, законы;
Нет — вас с семьями к себе
Погоню гуртами,
В плуги запрягу, пахать
Землю буду вами!
На цепи, как псов, сидеть
У ворот заставлю,
Буду тысячами вас
Львам кидать на травлю —
Горе будет, говорю,
Детям вашим, женам;
Бойтесь, если кликну я:
«Горе побежденным!»
Бойтесь! Этот римский клик
Пуще божья грома!..
Я сказал. Вот мой ответ
Передайте дома!»

Речь окончил римский царь,
Всё кругом молчало.
Как нежданный гром, она
На славян упала.
На царя стремят они
Взгляд оторопелый...
Вдруг как будто с их очей
Заблистали стрелы,
И по лицам словно вдруг
Молнии мелькнули,
Разом взвизгнувши, мечи
Из ножон сверкнули,
И у всех единый клик
Вырвался из груди:
«Никогда!»
Вокруг царя
Всполошились люди
И поднять щиты едва
Вкруг него успели...

Сам он мигом с трона прочь...
Трубы загремели,
Разом лагерь поднялся:
Скачут нумидийцы,
Взвод бессмертных, взвод парфян,
Галлы, иберийцы,
И, копье наперевес,
Римская пехота, —
Окружили молодцов,
И пошла работа!

Что медведь лесной в кругу
Псов остервенелых,
Бьется горсть богатырей
Против полчищ целых;
С шумом рушатся вкруг них
Всадники и кони,
Копья ломятся, звенят
Шишаки и брони...
Бьется горсть богатырей —
Но сама редеет...
Вот лишь трое их: кругом
Смерть над ними реет
В блеске копий и мечей...
Вот всего лишь двое —
Вот один... И этот пал...

И вкруг павших в бое
Победители стоят
В изумленьи сами;
В легионах недочет:
Целыми рядами
Мертвых, раненых кладут...
Сам, с разноплеменной
Свитой, кесарь подскакал,
Мрачный и смущенный;
Разглядеть желает он
Варваров, которым
Показалась речь его
Вдруг таким позором...

А той речи внемлет мир,
Все цари земные!
«Что ж за люди это там? —
Мыслит. — Кто ж такие?»

И задумчиво к горам
Обратил он взоры:
Грозно смотрят из-под туч
Сумрачные горы;
Стая темная орлов
Из-за них несется;
Словно гул какой оттоль
Смутно раздается...
Смотрит царь — и вдруг велит
Стан снимать свой ратный
И полки переправлять
За Дунай обратно.

(1870)

281. ЛЮБУША И ПРЕМЫСЛ

Лютый Хрудош и Стеглав, родные братья,
Завели жестокий спор из-за наследства;
Побежала их сестра к княжне Любуше
И молила рассудить их спор по правде.
И княжна послала повестить в народе,
Чтоб бояре собрались и старики на вече
И чтобы на суд явились оба брата.

И бояре собрались и старики на вече
В золотом кремле, во светлом Вышеграде.
На златой престол, в одеждах белоснежных,
Поднялась княжна и вече открывала.
У престола стали вещие две девы:
У одной в руках доска была с законом,
У другой был меч, каратель кривды;
Против них зажжен был огнь, светильник правды,
И поставлен был сосуд с водою очищенья.

И княжна сказала со злата престола:
«Верные бояре! мудрые вы старцы!

Разрешите спор двух братьев о наследстве:
По закону, как поставлено богами,
Должно им: или собща владеть землею,
Иль обоим разделить по равной части».

Кланялись княжне и старцы, и бояре,
Стали тихо говорить между собою;
И когда поговорили уж довольно,
То княжна велела вещим девам
Голоса сбирать в златую урну.
И собрали голоса, и, сосчитав, сказали
Приговор такой народу: чтобы братьям
Сообща владеть отцовским достояньем.

Услыхав решенье, поднялся во гневе
Лютый Хрудош и затрясся весь от злости;
Вскинул он рукою и, что тур свирепый, рявкнул:
«Горе для птенцов, когда змея в гнездо вотрется!
Горе для мужей, когда жена владеет ими!
Подобает мужу володеть мужами!
Старший сын владеть добром отцовским должен,
Как у немцев заведен тому порядок!»

Ратибор, старик, уже согбенный и весь белый,
Поднялся и, головою покачав, промолвил:
«Непохвально в немцах нам искати правды!
Наша правда по закону святу,
Как ее с собою принесли и утвердили
Наши деды, через три реки прешедши, в эту землю».

«Непохвально в немцах нам искати правды!» —
Повторили старцы и бояре,
И во всем народе раздалося:
«Непохвально в немцах нам искати правды!»

«Так и быть суду, как положило вече!» —
Порешила мудрая княжна Любуша,
И потом еще сказала: «Старцы и бояре!
Слышали мое вы ныне поруганье!
Непристойно больше разбирать мне ваши споры.
Изберите сильного вы мужа —

Пусть он вами по-железному владеет:
Девичьей руке — уж не под силу!»

И, сказав, сошла с престола золотого.
И молить ее усердно стали старцы и бояре,
Чтоб она в зазор не принимала
Грубияном сказанное слово;
Но княжны уже не умолили.
«Так сама нам укажи, по крайней мере, —
Заключили старцы и бояре, —
Кто ж достоин будет нами править?»

И на то Любуша отвечала:
«Уж богами решено, кому быть вашим князем!
Вот мой конь: куда пойдет, за ним ступайте!
Перед кем он остановится, тот князь ваш!»
И с коня узду сняла сама Любуша,
И его пустила без узды на волю.

Едут с веча посланцы по князя,
Едут с ними вещие две девы;
Конь бежит где полем, где дорогой;
Добежал до речки, побежал вдоль быстрой,
Прибежал он к нови, к выжженному полю;
Подымал ее железным плугом
Человек в лаптях, большого роста,
Погонял волов жезлом остроконечным.
Конь пред ним как раз остановился.

Посланцы, взглянув на пахаря, на лапти,
Перед ним смутясь остановились,
Но, оправясь, поклонились низко:
«Здравствуй, добрый человек, — сказали, —
Облачайся княжеской одеждой,
Надевай венец: тебе княжна Любуша
И народ весь чешский повелели
Власть принять и княженье над нами!»

И на то ответствовал им пахарь:
«Вам добро пожаловать, драгие гости!
Прежде ж чем о деле заводить нам речи,
Угостить вас, чем могу, я должен,

Здесь есть хлеб и сыр со мною —
Отпущу волов, и кушайте во здравье!»
И, сказав, вонзил он острый жезл свой в землю,
И с волов ярмо сложил, и крикнул:
«Гой! идите, милые, до дому!»
Только вдруг волы — лишь крикнул он — исчезли,
Словно их и не было тут вовсе,
А который жезл воткнул он в землю,
Из него, глядят, растут три ветви —
Выше всё и выше — выступают
Из ветвей еще сучки — и много;
На сучках выходят почки,
Почки — смотрят — развернулись в листья,
А меж листьев выступают гнездами орехи.

Посланцы и пахарь изумились.
Только девы вещие в единый голос
«Радуйтесь, — воскликнули, — се явно
Боги нам свою сказали волю:
Облачайся, пахарь, княжеской одеждой,
На коня садись Любушина и с миром
К нам въезжай во светлый Вышград — чешским
князем!»

Облачился пахарь в княжии одежды,
На плеча накинул плащ Любушин,
Сапоги надел... однако лапти
Взял с собой на память — и хранятся
В Вышеграде эти лапти и доныне.

Так Премысл стал славным чешским князем,
А княжне Любуше — добрым мужем.

1871

282. САБЛЯ ЦАРЯ ВУКАШИНА

(Из сербских народных песен)

Рано утром, на заре румяной,
Полоскала девица-туркиня
На реке на Марице полотна,

Их вальком проворным колотила,
На траве зеленой расстилала.
И река пустынная шумела,
И до солнца воды были светлы;
Но, как стало солнце подыматься,
Светлы воды словно помутились:
Всё желтее проносилась пена,
Всё темнее глубина казалась;
А к полудню вся река уж явно
Алою окрасилася кровью.
И пошли мелькать то фес, то долман,
А потом помчало, друг за другом,
То коня с седлом, то человека;
И вертит на быстрине их трупы,
И что дальше, то плывет их больше,
И конца телам вверху не видно.
Опустив валек, стоит туркиня:
Страшно стало ей от тел плывущих;
Только слышит, кличут к ней оттуда...
Кличет витязь, бьется с быстриною,
Всё его от берега относит.
«Умоляю именем господним,
Будь сестрой мне милою, девица! —
Кличет витязь и рукою машет. —
Брось конец холста ко мне скорее,
За другой тащи меня на берег!»
И туркиня белый холст кидала,
На один конец ногой ступила,
А другой взвился и шлепнул в воду,
И поймал его поспешно витязь,
И счастливо до́ берега доплыл;
А взобрался на берег — и молвил:
«Ох, совсем я изнемог, сестрица!
Исхожу кругом я алой кровью...
Помоги мие: ран на мне числа нет!»
И упал бесчувственный на землю.
Побежала во свой двор туркиня,
Впопыхах зовет родного брата:
«Мустафа, иди, голубчик братец,
Помоги, снесем с тобою вместе,
Там лежит — водой его прибило —
Весь в крови и в тяжких ранах витязь.

Он господним именем молился,
Чтоб ему мы раны залечили.
Помоги, снесем его в постелю!»

Мустафа-ага пришел и смотрит:
Тотчас видит — не простой то витязь!
Он в богатом воинском доспехе,
У него с златым эфесом сабля,
На эфесе — три больших алмаза.
Мустафа-ага не думал долго,
Отстегнул у витязя он саблю,
Из ножон ее червленых вынул
Да как хватит витязя по горлу —
Голова аж в воду покатилась!

Девица руками лишь всплеснула!
«Зверь ты, зверь, — воскликнула, — косматый!
Ведь молил он нас во имя божье
И меня сестрою милой назвал!
Ты ж как раз позарился на саблю —
Через эту ж саблю, знать, и сгинешь!»

Мустафа травою вытер саблю,
И столкнул ногою тело в воду,
И пошел домой, ворча сквозь зубы:
«Вот тебя-то не спросил я, жалко!»

И немного времени минуло,
Как султан созвал к походу войско.
Собрались его аги и беи,
У реки, у Ситницы, стояли.
Мустафу все кругом обступают,
Все его дивятся чудной сабле;
Только, кто ни пробует, не может
Из ножон ее червленых вынуть.
Подошел попробовать и Марко,
Знаменитый Марко королевич!
Ухватил — да сразу так и вынул.
А как вынул, смотрит — а на сабле
Врезаны три надписи по-сербски:
Ковача Новака первый вензель,
А другое имя — Вукашина,
Третье ж имя — Марко королевич.

Приступил к турчину храбрый Марко:
«Где, турчин, ты добыл эту саблю?
За женой ли взял ее с приданым?
От отца ль в благословенье принял?
Аль на чисто выменял на злато?
Аль в бою кровавом добыл честно?»

И пошел турчина похваляться,
Рассказал, как сделалося дело,
Как сестра полотна полоскала,
Как рекой тела гяуров плыли,
Как один живой был между ними,
Как она поймать его успела,
И пришел он, и увидел саблю...
«Не дурак же я на свет родился, —
Говорит, — почуял, что за сабля,
Из ножон ее червленых вынул
Да хватил как витязя по горлу —
Голова аж в реку покатилась».

Марко даже речи не дал кончить,
Как в глазах у всех сверкнула сабля —
И у турка голова слетела —
Три прыжка — и шлепнулася в воду.

Побежали доложить султану,
Что беды творит кралевич Марко,
И султан по Марка посылает.
Тот один сидит в своей палатке,
Молча пьет вино, за чарой чару,
На султанских посланных не смотрит.
И в другой раз шлет султан, и в третий,
Наконец взяла докука Марка.
Он вскочил и, выворотив шубу
Мехом кверху, на́ плечи накинул,
Булаву с собою взял и саблю
И пошел в султанскую палатку.

На ковре султан сидит в палатке;
И приходит Марко, да и прямо,
В сапогах, как был, перед султаном
На ковре узорчатом садится.

Сам глядит темнее черной тучи,
Очи в очи устремив султану.
Увидал султан, каков есть Марко,
Потихоньку стал отодвигаться, —
А за ним и Марко, и всё смотрит,
Смотрит так, что дрожь берет султана.
Он еще отдвинется, а Марко —
Всё за ним, да так и припер к стенке;
И сидит султан, мигнуть боится.
«Ну, как вскочит, — думает, — да хватит
Булавой», — и пробует, что тут ли
Ятаган его на всякий случай.
Уж насилу собрался он, молвит:
«Видно, Марко, кто тебя обидел?
Обижать тебя я не позволю!
Учиню, коль хочешь, суд немедля».
Всё от Марка нет как нет ответа.
Наконец обеими руками
За концы он взял и поднял саблю
И поднес ее к глазам султану.
«Об одном молись ты вечно богу, —
Он сказал, дрожа и задыхаясь, —
Что нашел не на тебе, владыко
Всех подлунных царств, я эту саблю:
Погляди, какая это надпись?
Прочитай — тут имя Вукашина!
Вукашин — царь сербский, мой родитель».

И, сказав, заплакал храбрый Марко.

(1869)

283. СОН КОРОЛЕВИЧА МАРКА

Вижу — поле, залитое кровью;
Грустно месяц на поле глядит...
Славный витязь Марко королевич
Между трупов раненый лежит.

Духи гор витают над телами,
Всё кого-то ищут — вот нашли —
И с собою осторожно Марка
С поля битвы в горы унесли.

В высотах заоблачных, в пещере,
Он узнал про плен страны родной,
И вскочил, и выхватил он саблю,
И, подняв ее над головой,

Острием, в упор, ударил в камень...
Он ударил, чтоб ее сломать,
Но о камень не сломалась сабля,
А вошла в него по рукоять;

Сам же Марко, силою чудесной
В этот миг внезапно поражен,
Повалился на землю в пещере
И в глубокий погрузился сон.

Высоко пещера та в Балканах;
Духи гор все входы стерегут,
Вкруг играют с молнией и громом,
С ветром песни буйные поют.

Ту пещеру пастухи лишь знают.
И сказали духи пастухам:
«В срок свой сабля выпадет из камня,
Встанет Марко и отмстит врагам!»

И с тех пор к пещере по утесам
Пастухи взбираются тайком:
Триста лет ие трогалася сабля,
Триста лет спал Марко крепким сном.

В крае сербском вознеслись мечети;
Янычар, в толпе, средь бела дня,
По базарам жен давил копытом
Своего арабского коня.

Царь и царство, пышный двор и баны,
И пиры, и битвы — отошли
В область снов, как светлое виденье,
В область царств, исчезнувших с земли...

Вдруг раздался словно гул подземный,
Вся гора под Марком сотряслась,

Спящий Марко вдруг зашевелился,
Сабля ж вдруг из камня подалась...

Этот гул — был гром полтавских пушек.
Марков сон с тех пор тревожен стал.
Вот летят орлы Екатерины,
По Балкану трепет пробежал —

Мнр, лишь в песне живший, словно вышел
Из земли, как был по старине:
Те ж гайдуки, те же воеводы,
Те ж попы с мечом и на коне!

С древней славой новую свивая,
Гусляры по всей стране идут:
Бьет врага Георгий или Милош —
Тотчас песнь везде о них поют...

Вот уж снова колокольным звоном
Загудела сербская земля...
Вот — Белград позорившее знамя
Спущеио навек с его кремля...

С каждым часом Марков сон всё тоньше,
И из камня сабля всё идет, —
Говорят, чуть держится, уж гнется...
Что же медлит? Что не упадет?..

⟨1870⟩

284. РАДОЙЦА

(Из сербских песен)

Что за чудо, господи мой боже!
Гром гремит или земля трясется?
Или море под скалой грохочет?
Или вилы на горах воюют?
Нет, не гром и не земля трясется,
И не вилы горные, не море, —
То паша на радости стреляет,
Сам Бекир-ага палит из пушек,
Ажно в Заре все дома трясутся!
Да еще б не радость, не веселье!

Удалось ему словить Радойцу,
Гайдука Радойцу удалого!

И Радойцу привели в темницу,
А уж там давно сидит их двадцать,
Целых двадцать гайдуков удалых.
Как Радойцу только увидали,
На него накинулись все двадцать:
«Эх, Радойца, чтоб те пусто было!
Что хвалился, мол, своих не выдам,
Отыщу, на дне морском достану!
Вот теперь сиди и хныкай с нами!»
Отвечал им удалой Радойца:
«Вы покуда знай молчите, братцы;
Уж сказал — вас выпущу на волю,
Не живой освобожу, так мертвый».

Как светало и взошло уж солнце,
Только слышат гвалт в тюрьме и крики:
«Чертов кус! Бекир-ага проклятый!
Что привел ты к нам еще Радойцу!
Околел он тут сегодня за ночь!
Убирай от нас его скорее».

Унесли Радойцу из темницы,
Приказал ага, чтоб схоронили.
На дворе народ толпится, смотрит,
И жена Бекира тоже вышла,
Поглядела да и молвит мужу:
«Господин мой, как уж там ты знаешь,
Только мне сдается — жив Радойца!
Ну как что недоброе затеял?
Испытать его бы не мешало.
Ты вели-ко накалить железо,
Припеки ему бока крутые,
Коли жив — поморщится, разбойник!»

Накалили докрасна железо,
Припекать бока Радойце стали —
Он лежит, не шевельнет и бровью.

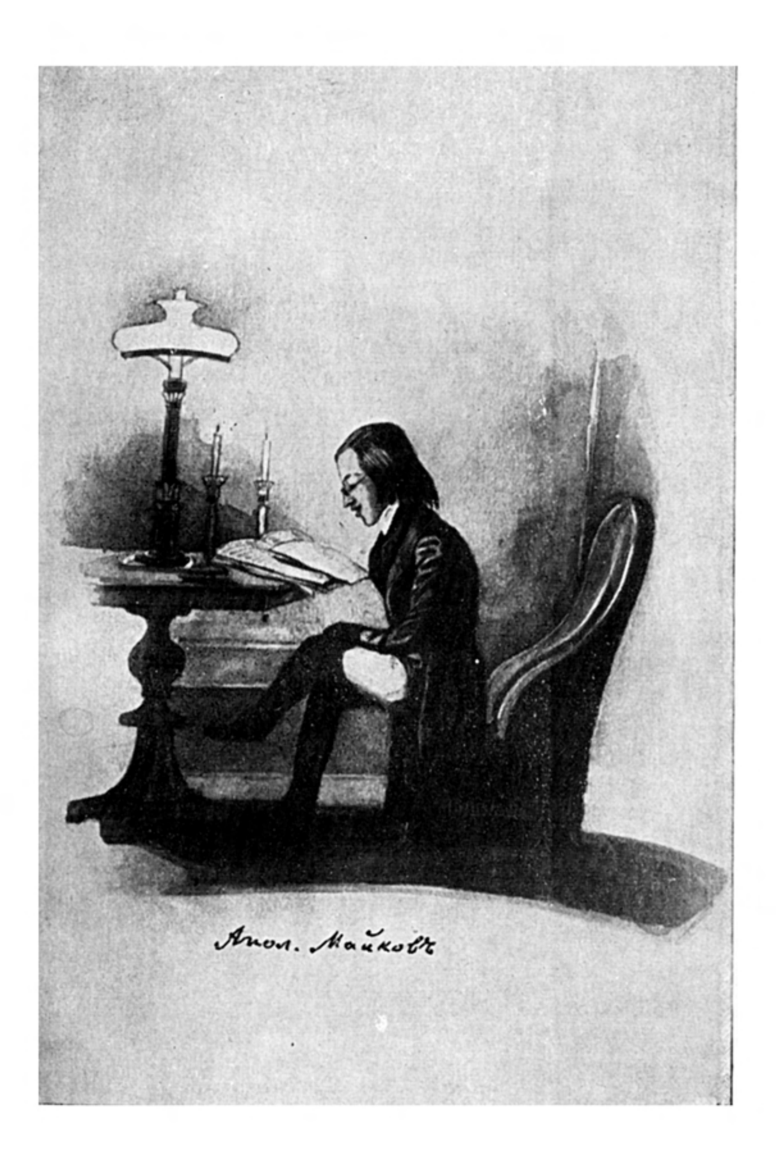
На своем таки стоит Бекирша:
«Хоть убей меня, а жив бездельник!

Ты возьми-ко вот гвоздей железных,
Вбей ему по гвоздику за ногти, —
Тут посмотрим: шевельнется, нет ли!»

Принесли гвоздей, за каждый ноготь
На руках и на ногах вбивают:
Он лежит — ни-ни, не шевельнется,
Ни одним суставчиком не дрогнет.

Мало всё еще ехидной бабе.
«Разрази господь меня на месте, —
Говорит, — а жив-таки, собака!
Вот что сделай, — научает мужа, —
Ты скажи-ко кликнуть клич девицам,
Чтобы шли во двор к паше на праздник;
Пусть вокруг Радойцы пляшут коло,
А заводит коло пусть Гайкуна:
Знаю я мужскую вашу совесть, —
Коли жив — не стерпит, шевельнется!»

Собрались девицы, пляшут коло,
Вкруг Радойцы прыгают и ходят,
Впереди — красавица Гайкуна...
А Гайкуна уж была такая —
Бог с ней, право! — красота, что чудо!
Всем взяла — и станом, что твой тополь,
И лицом — заря с него не сходит,
А идет — так словно ветер в листьях
Шелестят шелковые шальвары!
Стало виться, развиваться коло;
Голоса девичьи загудели;
Мерно-звонко звякают червонцы;
Что весна вокруг Радойцы веет,
На лицо что жар полдневный пышет...
Будь-ко жив он — как бы застучало,
Как бы сердце у него забилось, —
Хоть одним глазком, а уж бы глянул!
Тихо, ровно вкруг идет Гайкуна
И с лица Радойцы глаз не сводит,
Только вдруг — вздрогнула, улыбнулась
И платочек — будто ненароком —
На лицо ему с плеча сронила


Апол. Майковъ

21 Мая

ИЗЪ АНАКРЕОНА.

Сядь, Ваѳилъ, въ тѣни отрадной
Здѣсь подъ деревомъ красивымъ,
Посмотри, до тонкой вѣтки,
Каждый нѣжный листъ трепещетъ.

Мимо съ сладостнымъ журчаньемъ
Пробирается источникъ,
Кто, такое ложе лѣни,
Увидавши, проминуетъ?

А. ФЕТЪ.

РОЖДЕНІЕ КИПРИДЫ.

(Изъ греческой антологіи.)

Зевсъ отъ думъ міродержанья
Хмуря грозныя черты,
Вдругъ — средь волнъ и всю въ сіяньѣ
Зритъ богиню красоты.

Тихо взоромъ къ ней поникнулъ
Онъ съ надоблачныхъ высотъ,
И любуясь ей, воскликнулъ:
«Кто хулить тебя дерзнетъ?»

Слово Зевса подхватила
Въ кучѣ роясь, свинья,
И, поднявъ слѣпое рыло
Прохрипѣла: ~~[illegible]~~ х, я, я.

* * *

Сядь у моря, жди погоды,
Отъ-чего жъ не ждать?
Будто волны, наши годы
Станутъ прибывать.

Поразвѣетъ сынъ горячій,
Проминетъ бѣда,
И подъ камень подъ лежачій
Потечетъ вода.

И отступится кручина,
Что свекровь стара,
Начинаетъ мнѣ пучина
Векать добра.

Будто волны, наши годы
Станутъ прибывать;
Сядь у моря, жди погоды,
Отъ чего жъ не ждать?

А. ФЕТЪ.

Стихи эти Комитетомъ воспрещены.

И плясать не стала: «Как ты хочешь, —
Говорит, — родитель мой любезный,
А постыдно тешиться над мертвым!»
И Бекир уважил дочку, тотчас
Приказал похоронить Радойцу;
Но старуха всё не унялася:
«Брось его по крайности ты в море!
Пусть съедят его морские гады!»
— «Всё одно!» — Бекир сказал, не спорил,
И велел Радойцу бросить в море.

Весел в этот день он сел за ужин:
«В первый раз, мол, в девять лет сегодня
С легким сердцем ужинать сажуся.
Девять лет мне не давал покоя
Этот вор анафемский Радойца!
Да — аллаху слава! — с ним покончил!
Завтра тех двадцатерых повешу!»
Только это он успел промолвить,
Глядь — а перед ним стоит Радойца,
Жив и здрав и с поднятою саблей!
Не успел он ни вскочить, ни крикнуть,
Не успел — без головы свалился.
А Бекирша только увидала —
Как на месте ж померла со страху.
«Ты же, свет очей моих, Гайкуна, —
Молвил он ей, руку подавая, —
Отыщи ключи ты от темницы
Да сама в дорогу собирайся!
Выпустим товарищей удалых
И скорей в Шумадию уедем».

Не корили уж его гайдуки,
Разнесли об нем далеко славу,
Что уж слово скажет, так уж сдержит.
В ту же ночь ушли они с Гайкуной;
Покрестил ее он в первой церкви,
Во крещеньи назвал Ангеликой,
Да потом и повенчался с нею.

⟨1879⟩

НОВОГРЕЧЕСКИЕ ПЕСНИ

285. КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ

Спи, дитя мое, усни!
Сладкий сон к себе мани:
В няньки я тебе взяла
Ветер, солнце и орла.

Улетел орел домой;
Солнце скрылось под водой;
Ветер, после трех ночей,
Мчится к матери своей.

Ветра спрашивает мать:
«Где изволил пропадать?
Али звезды воевал?
Али волны всё гонял?»

«Не гонял я волн морских,
Звезд не трогал золотых;
Я дитя оберегал,
Колыбелочку качал!»

(1860)

286. МАТЬ И ДЕТИ

«Что ты, мама, беспрестанно
О сестрице всё твердишь?
В лучшем мире наша Зоя, —
Ты сама нам говоришь».

«Ах, я знаю, в лучшем мире!
Но в том мире нет лугов,

Ни цветов, ни трав душистых,
Ни веселых мотыльков».

«Мама, мама! В божьем небе
Божьи ангелы поют,
Ходят розовые зори,
Ночи звездные плывут».

«Ах, у бедной нет там мамы,
Кто смотрел бы из окна,
Как с цветами, с мотыльками
В поле резвится она! ..»

(1860)

287

Ласточка примчалась
Из-за бела моря,
Села и запела:
Как февраль ни злися,
Как ты, март, ни хмурься,
Будь хоть снег, хоть дождик —
Всё весною пахнет!

1858

288

Я б тебя поцеловала,
Да боюсь, увидит месяц,
Ясны звездочки увидят;
С неба звездочка скатится
И расскажет синю морю,
Сине море скажет веслам,
Весла — Яни-рыболову,
А у Яни — люба Мара;
А когда узнает Мара —
Все узнают в околотке,
Как тебя я ночью лунной

В благовонный сад впускала,
Как ласкала, целовала,
Как серебряная яблонь
Нас цветами осыпала.

(1860)

289. ПОЦЕЛУЙ

Между мраморных обломков,
Посреди сребристой пыли,
Однорукий клефтик тешет
Мрамор нежный, словно пена,
Прибиваемая морем.
Мимо девица проходит,
Златокудрая, что солнце,
Говорит: «Зачем одною
Ты работаешь рукою?
Ты куда ж девал другую?»

«Полюбилась мне девица,
Роза первая Стамбула!
Поцелуй один горячий —
И мне руку отрубили!
В свете есть еще девица,
Златокудрая, что солнце...
Поцелуй один бы только —
И руби другую руку!»

(1860)

290

Меж тремя морями башня,
В башне красная девица
Нижет звонкие червонцы
На серебряные нити.
Вышло всех двенадцать ниток.
Повязавши все двенадцать —
Шесть на грудь и шесть на косы, —
Вызывает дева солнце:

«Солнце, выдь! — я тоже выйду!
Солнце, глянь! — я тоже гляну!
От тебя — луга повянут,
От меня — сердца посохнут!»

1858

291. СТАРЫЙ МУЖ

Запевают пташки на заре,
Золотятся снеги по горе;
Пробудилась молода жена,
Будит мужа старого она:
«Пробудись-проснись, голубчик мой!
Полюбуйся молодой женой;
Мой ли стан — что тонкий кипарис,
Что лимоны, груди поднялись. . .»
Старый муж прикинулся, что спит,
Сам не спит, а вполугляд глядит.
«Эх, когда бы прежние года,
Не будила бы меня млада!
Засыпала б поздно ввечеру,
Просыпала б долго поутру;
По утрам бы я ее будил,
Золотые б речи говорил;
Притворялась бы она, что спит,
Крепко спит, не слышит, не глядит».

⟨1860⟩

292. МОЛОДАЯ ЖЕНА

Наряжалась младая Елена,
Наряжалась на праздник к обедне.
Красный фес с жемчугом надевала
И червонцы на черные косы;
Из лица вся сияла, что солнце,
Бела грудь — что серебряный месяц.
Подымалася на гору в церковь,
Стала спрашивать буйное сердце:

«Что ты, сердце, болишь и вздыхаешь,
Словно камень ты на гору тащишь?..»
— «Легче б камни тащить мне, чем горе,
Злое горе от старого мужа.
Я б к другому пошла хоть в неволю,
Хоть в неволю б пошла к молодому!
Ненаглядно б я им любовалась,
Что высоким в саду кипарисом;
Любовался б он, тешился мною,
Что цветущею яблонькой нежной;
Я сама бы его наряжала,
Как меня наряжает мой старый;
Я ему бы всё в очи глядела,
Как глядит мой старик в мои очи;
И не звал бы меня он ворчуньей
И капризной, негодною плаксой,
Называл бы веселою пташкой,
Называл бы своею голубкой!..»

293

Птички-ласточки, летите
К прежней любушке моей:
Не ждала б она, скажите,
Мила друга из гостей.

Во чужой земле сгубила
Зла волшебница меня,
И меня приворожила,
И испортила коня.

Я коня ли оседлаю —
Расседлается он сам;
Без седла ли выезжаю —
Гром и буря ввстречу нам!

У нее слова такие:
Скажет — реки не текут!
С неба звезды золотые,
Словно яблочки, спадут!

Глянет в очи — словно хлынет
В сердце свет с ее лица;
Улыбнется — словно кинет
Алой розой в молодца!

(1862)

294. ОЛИМП И КИССАВ

Стал Киссав с Олимпом спорить:
«Ты угрюм стоишь, пустынный,
Я ж, смотри, цветущ и весел!»
Отвечал многовершинный,
Отвечал Олимп Киссаву:
«Не хвались, Киссав надменный,
Я — старик Олимп, и знают
Старика во всей вселенной!
У меня ль под синим небом
Шестьдесят вершин сияют;
У меня ли с лона шумно
Сто ключей живых сбегают;
Надо мной орлы кружатся,
Любит клефт меня воитель
И боится храбрый турок —
Твой высокий повелитель».

(1860)

295. ЦАВЕЛИХА

С гор Али-паша на Сули
В нетерпеньи взоры мечет,
А над ним порхает птичка,
И кружится, и щебечет:

«Видно, это не Янина,
Где шумят твои фонтаны;
Не Превеза, где ты ставишь
Для своих албанцев станы.

Это Сули, город славный!
Нет ей равного на свете!

Здесь в рядах мужей воюют
Жены, девицы и дети!

И с ружьем в руке выводит
Всех Цавелиха их в поле —
На плечах с грудным младенцем
И с патронами в подоле!»

(1860)

296. ДЕСПО

Сули пала, Кьяфа пала,
Всюду флаг турецкий вьется...
Только Деспо в черной башне
Заперлась и не сдается.

«Положи оружье, Деспо!
Вам ли спорить, глупым женам?
Выходи к паше рабою,
Выходи к нему с поклоном!»

«Не была рабою Деспо
И не будет вам рабою!»
И, схватив зажженный факел,
«Дети, — крикнула, — за мною!»

Факел брошен в темный погреб...
Дрогнул дол, удар раздался —
И на месте черной башни
Дымный столб заколебался.

(1860)

297. ЗАВЕЩАНИЕ

Собирайтесь, паликары!
Умирает капитан!
Умирает он от честных,
От святых турецких ран!
Умереть, друзья, не страшно,
Да могила мне страшна...

Тёмно, тесно... Одинокий
В ней лежи и спи без сна!
Съест земля и фес, и долман,
Меч, не ржавевший в крови,
И усы мои, и брови,
Брови черные мои!..

Нет, меня не зарывайте,
Братцы, в землю! На горе
Вы меня поставьте стоймя
Во гробу, лицом к заре.
В гробе окна прорубите,
Чтоб мне веяло весной,
Чтобы ласточки, кружася,
Щебетали надо мной!
Чтоб из гроба я далеко
Мог бы турок различать,
Чтоб направо и налево
Мог им пулю посылать.

(1860)

298. ЧУЖБИНА

Умереть не дай бог на чужбине!
Видел я, как пришлых там хоронят!
Без попа, без свеч и без кадила,
Не помазав миром, не отпевши,
Где пришлось зароют, как собаку!
Как пахать потом приедут землю,
С гор пригонят двух волов рогатых,
В плуг впрягут, и молодец удалый
Понуждать в бока начнет их саблей,
И по первой борозде глубокой
Из земли да выкинет он ноги,
По другой — красавца паликара...
Завопит, завоет бедный пахарь:
«Будь такой да у меня товарищ,
Я бы съесть земле его так не дал!
Я пошел бы к морю, к синю морю,
На широкое б пошел поморье;
Я б нарезал тростнику морского,

Смастерил бы гроб ему просторный,
Я б в гробу постлал ему постелю,
Всю б цветами, ландышами выстлал,
Всю бы выстлал свежим амарантом!»

(1860)

299. БОРЬБА СО СМЕРТЬЮ

Удалец с горы сбегал в долину,
Феска набок, волосы кудрями.
Смерть за ним с вершины примечала,
И в обход пустилась, и в ущелье
Вдруг ему дорогу заступила.
«Ты куда, красавец, и откуда?»
— «Я из стана, пробираюсь к дому».
— «За каким торопишься ты делом?»
— «Захватить хочу вина и хлеба
И тотчас назад вернуся в горы».
— «Не захватишь ни виниа, ни хлеба
И назад ты в горы не вернешься.
Я тебя давненько поджидаю».
Усмехнулся молодец удалый,
Оглядел он Смерть, встряхнул кудрями.
«Я, — сказал, — отдамся только с бою.
Если хочешь, попытаем силы:
Сломишь ты — бери мою ты душу,
Я сломлю — сама ты мне послужишь».
— «По рукам», — костлявая сказала.
По рукам ударили. Схватились.
Бились два дня, билися две ночи;
Всю траву ногами притоптали;
На колено гнули и с отмаху,
Смерть давно бока ему ссадила;
У нее самой трещали кости,
А как хватит он на третье утро,
На ногах насилу устояла.
Да за то уж вдруг рассвирепела
И как схватит молодца за кудри,
Как рванет — и грянулся он оземь,
Словно дуб, поваленный грозою.

Смерть тотчас на грудь к нему вскочила,
Принялась душить его под горло.
«Ты уж больно давишь, — простонал он. —
Кончим шутку, мне пора быть дома,
Стричь овец, сыры из кадей вынуть».
Смерть глядит в глаза ему и давит.
«Дай ты мне еще хоть двое суток
Погулять на вольном белом свете;
Попрощаюсь только со своими
И потом приду, куда укажешь».
Смерть глядит в глаза и пуще давит.
«У меня жена есть молодая!
Как одна останется, голубка!
Весела всегда была, как пташка...
У меня сынок есть — чуть лепечет,
Есть другой — чуть-чуть смеяться начал...
Отпусти хоть ради их, сироток!»
Налегает Смерть уж всею силой.
«Об душе хоть дай подумать грешной!» —
Прохрипел он и замолк навеки.
С тем она его и доконала.

⟨1860⟩

ОТЗЫВЫ ЖИЗНИ

300. ДУХ ВЕКА

Дух

Здорово, друг!.. Что ты так мрачен?
Меж тем ты юн и в цвете сил...
Ужели мир души утрачен?
А я давно тебя следил,
Тебя встречая, улыбался,
Умильно на тебя глядел, —
Но ты понять меня боялся
Или, быть может, не хотел...

Юноша

Да, мне лицо твое не чуждо.
Тебя я видел... но когда —
Не помню.

Дух

До того нет нужды!

Юноша

Я беса Фауста так всегда
Воображал.

Дух

Всё может статься.
И бесом я у Фауста был;
Другим иначе я служил;
С людьми в пустыню шел спасаться;
В Ерусалим Готфреда рать
Водил неверных поражать;
Еще же прежде...

Юноша

Кто ж ты ныне?

Дух

Я был и буду друг людей.
Я жил с отшельником в пустыне,
Ел желуди, не спал ночей,
Мы с ним пороки поражали
И вместе тело бичевали,
И, в избавленье от грехов,
Я жег живых еретиков.
С ученым жил я в бедной келье;
В Амальфи роясь, весь в пыли,
Едва не плакал от веселья,
Когда пандекты мы нашли;
Я комментировал всю древность,
Всё разрывал, всё изучал,
И до того я простирал
В душе классическую ревность,
Что не считал я за грехи
Свои латинские стихи...
Кто я таков — когда узнаешь,
Меня полюбишь, приласкаешь;
Меня как хочешь назови:
Я простодушен, изворотлив,
Мот, скряга, пышен и расчетлив.
В век романтической любви
Я пел романсы трубадуром,
Вздыхал... Потом пришла пора,
Среди версальского двора
Явившись сахарным амуром,
Я в будуарах герцогинь
Ловил их взор, улыбку, ласки, —
Там пародировал я сказки
Про гомерических богинь.
Вокруг меня всегда роились
Толпы поклонников моих, —
Они все вдоволь насладились,
И, верь, я не обидел их:
Мои отшельники — святые!
Мои ученые нашли
Закон движения земли,

Нашли у древних запятые;
Мои питомцы удалые
Колумб, де Гама, Кук, Ченслор
Миры за бездной отыскали;
Мои вздыхатели вздыхали
И были счастливы: любовь
Моих версальских пастушков
Маркизы щедро награждали...
Явился к Фаусту бесом я —
Но сам ведь кинулся он к бесу,
Он стал допытывать меня —
С загадок сдернул я завесу,
И от меня он всё узнал,
Что после горько проклинал.
Итак, ты видишь, человека
Всегда, везде был другом я.
Я назову тебе себя,
Когда угодно, духом века:
Я тот могучий чародей,
Который мыслью вашей правит,
Возносит вас, честит и славит
И служит целью в жизни сей.

Юноша

Дух века?.. Что ж ты мне предложишь?..
Давно я голову ломал,
Но всё тебя не угадал.

Дух

Я знаю, ты себя тревожишь
Несвоевременной мечтой!
Что было раз, того в другой
Ты возвратить никак не можешь.
На мир ты дельно погляди
И хладнокровно рассуди:
Всё, до чего дошли науки,
То всё теперь дано вам в руки;
Искусство нынче не ново —
Не подивишь уж никого!
Притом статуи и картины
Теперь выводятся в гостиной,
Зачем им праздно там висеть?

Теперь совсем иное чувство
В нас услаждать должно искусство —
Нам мягко надобно сидеть...

Юноша

О, не кощунствуй над святыней!
Не станет муза вам рабыней!
Немногих избранных синклит
Зародыш творчества растит,
Руководимый к высшим целям...
В вас нет души... Вы хладный труп,
Не Пантеон вам надо — клуб,
И Гамбс вам будет Рафаэлем!

Дух

Не горячись. Дай кончить мне.
Притом пойми: кто может в море
Идти наперекор волне?..
Итак, вам незачем гоняться;
Вам стоит только наслаждаться
Тем, что вам создали века.
Открытий жажда устремляла
К опасным странствиям, бывало.
Теперь опасность далека:
Прорыты на реках пороги,
Вас паровоз и пароход
Повсюду дешево везет;
В горах проведены дороги,
Висят над безднами мосты...
Хоть тем у ваших путешествий
И отняты все красоты
Внезапных, странных происшествий,
Но уж зато вернетесь вы
Не своротивши головы
И сыты: скверного трактира
Теперь почти нигде уж нет...

Юноша

Блажен, кто мог увидеть свет!
Тот не вполне знал прелесть мира,
Кто на Неаполь не глядел
С высот, в часы вечерней тени;

Не знает тот, что может гений,
Кто мрамор Фидия не зрел;
Тот жил еще полудушою,
Кто посреди твоих могил
С тобой, о Рим, не говорил!

Дух

Всё это правда, и ценою
Мы купим всё не дорогою.

Юноша

А как, скажи-ка?

Дух

Не спеши,
Мы всё уладим, обещаю.
Но ты не слушаешь... О, знаю,
Что в глубине твоей души...

Юноша

Так ты до дел чужих охотник?

Дух

Твоя Мария...

Юноша

Знает всё!

Дух

Как мне не знать: я первый сплётник
И ex officio.[1] Ее
Я видел... Как она прекрасна!
Как небо южное, темны
Ее глаза — и смотрят ясно,
А как они оттенены
Ресницей длинной!.. А ланиты?..
Лучистый блеск разлит вкруг них,
С румянцем нежным чудно слитый...
А косы?.. Перед кем-то их
Она, о пышная сирена,

[1] По обязанности, по должности (лат.). — *Ред.*

Распустит, черные как смоль,
Чуть не по самые колена...

Юноша

О демон, замолчи!

Дух

Изволь —
А ты бы шелк их благовонный
Мог, вынув гребень, рассыпать
И то вакханкой, то мадонной
Свою красотку убирать...

Юноша

О, нет, не мучь меня напрасно...
Да, я ее боготворил,
Но обладания желаньем
В своих мечтах не оскорбил.
Любовь я мерил лишь страданьем
И безнадежною тоской!

Дух

Да, тут тебе расчет плохой.
Отец ведь из моих клиентов —
Ее без выгод не продаст:
Как капитал, он для процентов
Жидовских в рост ее отдаст.
Ведь женщин этаких нет боле:
Какая гибкая душа,
То с слабой, то с могучей волей...
Нельзя отдать без барыша!

Юноша

Оставь, оставь мой сон чудесный!
Пусть тихо спит моя любовь,
Пусть явится она мне вновь
Как призрак чистый, гость небесный!

Дух

Но к цели можно бы прийти.
Мы в честь войдем, богатства скопим:
На то есть разные пути...

Юноша

А совесть?..

Дух

Что ж!.. в вине утопим!
И что за совесть у него!
И что за слово? Для чего
Употреблять всегда его?
Одно понятие пустое...
Понятье можно ль запятнать?
Да кто поруку может дать,
Что есть понятие такое!
Всем благам есть один итог:
Набитый туго кошелек,
Сей ключ под все подходит двери;
Вес, слава, честность, прямота,
Великодушье, красота,
Честь, ум — или, по крайней мере,
Названье «умный человек» —
Всё купишь золотом в наш век...
Когда б на острове Марию
Ты видел с берега, ты к ней
Поплыл ли бы среди зыбей
Через неверную стихию,
Рискуя — или досягнуть,
Иль, захлебнувшись, утонуть?

Юноша

В нас сердце часто то решает,
Что не решим мы головой.

Дух

Но если голова узнает,
Что, не кидаясь в омут...

Юноша

Стой!
Давай мне золота...

Дух

Вот дело!
Вот мужа речь! Умно и смело!
Но ведь ты знаешь, никогда
Его не будет без труда,

Так выслушать имей терпенье
Теперь мое нравоученье.
Всегда, во-первых, в людях ты
Кажись героем правоты:
Где горд, где низок; ум и глупость,
Иль даже от природы тупость,
Показывай; здесь — ни гугу!
А там дай волю языку —
Льсти дуракам. А если встретишь
(Рыбак ведь виден рыбаку),
В ком цель такую же заметишь, —
Спеши опутать, сбить, связать,
Нельзя — то тотчас приласкать:
В порядке, мной теперь открытом,
Всё общим держится кредитом.
Друзья уж вынесут. Дадут
Тебе творить народу суд —
Вот тут-то знай стезю лукавых:
Тогда умей своей рукой
Закон то усыпить порой,
То пробудить. Громя неправых,
Неправду в тишине твори;
Придет ли мор — толпе радея,
Свои амбары отвори:
Одной рукой златницы сея,
Другой сторицею бери...
Умей загадочным казаться,
Открыто общим злом терзаться,
С слезой в очах, нахмуря лоб,
Чтоб подозренья успокоить,
Толкуй, как пылкий филантроп,
Что бедных надобно пристроить!
Тогда всему ты властелин!
Я приведу мильон примеров
Счастливцев всяких величин,
Больших и маленьких размеров.

Юноша

И я — я слушаю тебя!
Сношу твое я хладнокровье!
Прочь, прочь!

Дух

Красавица — твоя
Могла бы быть!

Юноша

Прочь от меня!..

Дух

Не нравятся мои условья,
Но из контракта своего
Не уступлю я ничего!..
Мне душу надо молодую,
Чтоб под дыханием моим
В ней доблесть таяла, как дым...
За то я золото дарую —
А ты так чванишься, чудак!

Юноша

И ты зовешься духом века!..

Дух

Я прежде действовал не так:
Мной говорил Платон, Сенека,
Мной вдохновлен был Аристид...

Юноша

И он, дух века, мне твердит,
Чтоб всё, что в мире есть святого,
Всё — душу, совесть, мысль и слово,
Мой образ божий — я разбил
И, лишь корыстью распаленный,
Союз позорный заключил
С толпой мерзавцев развращенной!..
О том ли говорил мне ты,
О голос матери-природы,
Питая пыл моей мечты
Величьем славы и свободы?..
Я голос сердца своего
Чтил гласом бога самого;
Любовь, и гордость, и отвага,
И независимость ума —
Моей души прямые блага...
Прочь, ядовитая чума!

Д у х

Меня ты гонишь, но не бойся.
Я не сержусь.

Ю н о ш а

Змея, сокройся!

Д у х

С тебя я глаза не спущу
И скоро снова навещу.

Ю н о ш а

Прочь, адский дух!..

1844

301. ГРЕЗЫ

(Отрывок)

1

Зима, зима! Мороз трещит;
Луна в кольце на тверди синей;
Звездится снег; лазурный иней
На черных деревах блестит...
Всегда любил я ночь. Бывало,
С каким я трепетом следил,
Как лунный луч переходил
По полу дедовского зала!..
И ужас мной овладевал,
Но я любил его; всё ждал
Чего-то, робко слушал: дико
Мне было, страшно нарушать
Движеньем, словом оскорблять,
Казалось, этот час великой,
Как будто что-то в этот миг
Свершалось дивное...

2

И ныне
Люблю я тишь часов ночных
И луч луны сребристо-синий;

Но ныне не следит мой взор
Ни ночи шествие святое,
Ни небо в царственном покое,
Ни искровидный метеор.
Иныя тайны прихотливо
У ней допрашиваю я:
Час этот — думы молчаливой.
Оставлены заботы дня,
Оставлены его оковы,
Личины сняты. Сам с собой,
Теперь открытый и прямой,
В нас ум беседует сурово:
Он торжествует иль скорбит,
К мечтам любимым он несется,
Людей, дела свои следит,
Над ними плачет иль смеется...
О ночь! открой передо мной,
Что кроется в душе людской,
И в жизни — этой скучной сказке —
Веди скорей меня к развязке...
Тебя под маской не любя,
Я верно бы любил тебя,
О род людской! без этой маски.

3

Введи меня, о ночь, тайком
Теперь тихонько в этот дом —
К очаровательной соседке.
Введи невидимо: она —
О, знаю я — теперь одна,
Как птичка, запертая в клетке.
Там виден свет; перед окном
Опущен занавес кисейный,
И профиль движется на нем,
Как будто в поле золотом;
К руке склонилася лилейной
Она задумчивым челом...
О ночь, войдем туда, войдем!..

4

Да, да! она теперь одна,
Расстроена, утомлена
Визитом тетушки тяжелым,
Беседой важной о чепцах
И о Париже, о долгах,
О крепостных ее актерах,
О новых свадьбах, старых спорах,
Новейших сплетнях. В сотый раз
Она прослушала рассказ,
Как тетушка вдовой осталась;
В каком белье похоронен
Покойник был; что после сталось
И на кого оставил он
Подругу верную; что ели
В день знаменитых похорон,
Кто что сказал, как все сидели...
Всей повести плаксивый тон
И вид участья и печали
Елену Дмитревну терзали,
Покуда с тетушкой пустой
Вся дрянь не схлынула домой.
Дверь заперта... Елена слышит,
Как снег взвизжал под подрезой!
Она одна и легче дышит,
Головку на руку склонив
И очи долу опустив...
И тихо дума осеняет
Ее святым своим крылом,
И кротким, сладостным огнем
В очах лазуревых сияет.
Уста недвижны. По груди
Кудрей вздымаются струи...
Тяжелый вздох... она страдает...
Блажен, кто б мог в сей тихий час
Ее души подслушать шепот,
Природы голос, сердца ропот,
И угадать ее хоть раз:
И кто она? Что в ней скрывалось?
Какая сила, глубина
Ее души, и что с ней сталось,
И чем бы быть могла она?

5

Всё тихо вкруг. Горит лампада,
И свет, мерцая, отражен
На ризах золотых икон.
Она и рада и не рада!
Порой так страшно быть одной —
Одной с больной своей душой,
Одной с освобожденным чувством,
Одной с не скованным умом
Ни света золотым ярмом,
Ни лицемерия искусством...
Вдруг — сердце, ум заговорят,
И их теперь не заглушат
Ни тяжесть легких разговоров,
Ни эта куча разных вздоров,
Что хладной, пестрою толпой
Зовется милой болтовней.
Уединенье и свобода —
О, это страшные слова!
Вдруг подавленная природа
Предъявит грозные права...
Так над молчавшими степями
Торжественно ударит гром;
Так рог звучит в бору густом,
Деревья сонными ветвями
Как бы в испуге задрожат,
И шумно с гнезд своих слетят,
Кружася, птицы над соснами.
Так грозен посреди утех
Пророка голос вдохновенный
Или сатиры оскорбленной
Сквозь слезы вырвавшийся смех.

6

Понятно, отчего злодею
Остаться страшно одному
С жестокой совестью своею:
Неумолнмая ему
Всё ту ж рассказывает сказку;
Пред нею он не может маску

На лик бледнеющий надеть,
Ни кровь с руки своей стереть;
Пред ним ограбленной вдовицы
И старика бессильный плач,
И своды влажные темницы,
И цепь, и плаха, и палач...
Едва ль сносней уединенье
Тому, кто, легкою душой
Сроднившись с жизнию пустой,
Упрямо гонит размышленье.
Он как изгнанник: вкруг него
Родного нету ничего —
Ни плохо спетого романса,
Ни грома вальса на балах,
Ни стука рюмок на пирах,
Ни даже толков преферанса —
Всей пошлости, чем светский круг
Лелеет праздный свой досуг.

7

Елена Дмитревна была
Созданье редкое. Росла
Она у бабушки — тщеславной,
Властолюбивой, своенравной.
Покойник дед (он был убит)
Был знатен, жил как сибарит,
Времен потемкинских остаток,
Когда на лестнице честей
Так мало было ступеней:
Богат, в долгах, не чуждый взяток —
Зато, по смерти, за долги
В казну отобрано именье...
Но как с вельможеской ноги,
От блеска, лести упоенья,
Вдруг жизнь свою переначать?
Перед другими что сказать?
Что скажут службы исполины?
Как отзовется тот пигмей,
Что мы громадностью своей
Загнали в грязь?.. Считать аршины,
Не зная счета саженям?..

Прочь из столицы, в глушь!.. Но там,
Как при дворе Екатерины,
Среди старинного села,
Вдова с величием жила.
Во дворне барской содержался,
Как прежде, целый полк людей,
Остатком золотых ливрей,
Уже в лохмотьях, одевался.
Ей душу сладко волновал,
Наместо выспренних похвал
В стихах придворного поэта,
Теперь армейский комплимент;
Искали все ее совета
По части мод, чепцов и лент...
Закон родства, и хвал награда,
И покровительства отрада
Законом дел ее была:
Она в свой дом на воспитанье
Ребенком внучку приняла.

8

. . . .
И рано там училась Лёля
Приличье света выносить;
Но долго не могла неволя
Ее вполне поработить:
Что с юных лет она любила,
Она всё в детстве схоронила —
Отца, и мать, и двух сестер;
Она привыкла так к утратам,
Что в доме бабушки богатом
Ничто ее не льстило взор.
В толпе гостей, при вечном шуме,
Она привыкла к тихой думе;
Любила мирный вид полей,
Где речка вьется светлой змейкой,
И сумрак липовых аллей,
Фонтан и свод густых ветвей
В саду, над старою скамейкой...
Так зрела мысль ее в тиши,
И каждое ее движенье

Бывало полно выраженья
Ее чувствительной души;
В улыбке уст так много было
И прелести, и грусти милой;
В глубоком взгляде томных глаз,
Под их ресницею пушистой,
Так много блеску, что сейчас
Вослед за радостию чистой,
Казалось, в них блеснет слеза.
Но грусть души младой и гибкой
Была не бурная гроза,
А солнца тихая улыбка
Глубокой осенью!.. Так плющ,
Как он ни зелен, ни цветущ,
Всегда напомнит нам руины;
Так кипарис, дитя могил,
Как будто вечно сохранил
Оттенок грустной той долины,
Где прах он стережет пустынный...
Не так же ли душа у нас,
О смерти в думу погрузясь,
Приемлет скорби отпечаток,
Передает его устам,
Движеньям, голосу, очам?..

9

Елену бабушка любила...
Но время: внучке надо было
Пристроиться — таков устав!
Жених явился. Хладнокровно
Она, родни советам вняв,
Им покорилась безусловно...
Что значит в жизни этот шаг,
Она почти не понимала:
Во всех обрядах и словах
Ее лишь новость занимала...
И только раз, идя к венцу,
Она заплакала; к лицу
Тогда нашли ей эти слезы:
Без рос алмазных что за розы!
Я не хочу изображать

Елены мужа злым, *тираном*,
Развратным, низким, вечно пьяным
И негодяем описать...
Но это брак был неудачный.
Иван Ильич хорош, умен,
С достатком, честен, только он
Был не рожден для жизни брачной.
Любить он мог, но не всегда:
В нем страсти разом возникали,
Достигши цели, остывали,
Чтоб вспыхнуть вновь, — и никогда
Не оставались без труда.

10

А женщина?.. увы! Елена
В деревне, посреди полей,
Приготовлялась жить. Пред ней
Едва открылася арена,
И упоений бытия
Была жадна душа ея...
Кумир девических мечтаний,
Едва проснувшихся желаний,
Так полных неги и стыда, —
Любовь и мир мечты отрадный
Внезапно заменил тогда
Цинизм действительности хладной.
И этот быстрый переход,
И этот новый ряд забот
Опомниться ей не давали,
Ее всечасно поражали...
Потом душа любви опять —
Любви возвышенной просила,
Чтоб в ней блаженствовать, страдать...
Порой на ум ей приходило:
О, боже мой! зачем она
Принадлежать тому должна,
Кто мир, ей созданный мечтою,
Не может наполнять собою?
Хоть бы забыться!.. Как поток,
Шумящий свет ее увлек...

Он был своим мишурным блеском
Очарователен для глаз:
Снопом лучей и громким треском
Ракета поражает нас...

11

Давно, как робкий голубь, дума,
Подруга Лёли с юных дней,
Теперь, среди толпы и шума,
Давно не прилетала к ней...
Но вот одна она осталась;
Муж начал чаще ездить в клуб;
Ей было грустно, и казалось,
Что свет стал холоден и глуп;
И он явился перед нею
Теперь с питомицей своею —
Глупейшей тетушкой... Она
Как бы прозрела и очнулась.
Сознанье горькое проснулось...

12

«О, боже мой! не рождена
Для этой жизни я печальной!
На то ли молодость дана,
Чтоб каждый мог нас так нахально
Своею пошлостью терзать,
Свои навязывать несчастья,
При нас и плакать, и вздыхать,
Себе вымаливать участья!
И без того уж жизнь скучна,
И так своих страданий много!
И каждый в жизни шаг сполна
Стеснен враждою света строгой!
О, нестерпимо выполнять
Всегда закон его тяжелый!
Души движения скрывать,
Сквозь слез рассчитанно веселой,
Довольной, важной, ледяной
Всегда казаться пред толпой;
И восхищаться по заказу,

И по заказу порицать,
Души не высказать ни разу —
И это жизнью называть!

13

Иль жизнь один обман унылый?
Того ль ждала я от нея,
Когда на милые могилы
Печально приходила я?
Над прахом сосны смоляные,
В осоке розы молодые,
Кругом звучавший тихо дол
Жужжаньем трав, жужжаньем пчел —
Меня туда всё привлекало...
Я тихо плакала сначала;
Уснуть хотелось вечным сном
Близ праха милого... Потом —
Мне было страшно то желанье,
И билось сердце у меня
Так горячо! Душа моя
Просила благ существованья;
Казалось мне, есть впереди
Еще блаженство... Что-то крылось
В моей душе и из груди
На волю, на простор просилось...
Там научалась я в судьбе
Любовь и благо только видеть,
И что любить, что ненавидеть —
Я создала сама себе!..
К какой же зрела я борьбе?
Меня ласкают все и любят,
Но чувствую, дыханье их,
Фальшивый блеск их фраз пустых
Меня, порой чаруя, губят...
Их яд проник уже в меня...
Как вкруг оставленного храма,
Вкруг прежних дум блуждаю я,
Хочу войти — нет сил!.. Упрямо
Кругом рой призраков встает,
С собой влечет меня, влечет,

Хватает за руки, за платье,
И силы нет сказать им: «Прочь!»
Нет сил их чары превозмочь,
Нет сил изречь на них проклятье!
Что ж, с ними выдержать ли бой —
Во имя... но чего же? боже!
Во имя, боже мой, чего же?
Или идти за их толпой?
Где путеводный свет? Разбиты
Кругом повсюду маяки...
Нет указанья! Нет защиты!
Нет верной, дружеской руки!»

14

Мечта моя, постой! постой!
Ведь ты не кликнешь ей: мужайся!
И сил ищи в себе самой,
Своею овладей судьбой,
Лишь гласу сердца покоряйся!
Оно спасет тебя в борьбе,
Спасет из мутного потока!
Страшися лишь его упрека,
В нем судия и вождь тебе!
И как бы жизнь нас ни ломала,
Как ум ни путал бы — есть в нас
Добра великое начало,
Есть тайный, неподкупный глас,
Не заглушимый ложным клиром, —
Родство с природою и миром!
А бури — пусть идут, пускай!
Без страха пусть душа их встретит:
Удар внезапный невзначай
Мглу разорвет и путь осветит!
Прочь, прочь, холодный риторист,
С своею мудростию важной
И добродетелью продажной,
Самоубийца и софист!
Я добр — по разуму свободы,
Не страхом ада твоего!
Прочь! Человеческой природы
Ты оскорбляешь божество!

Не гость минутный, не скиталец,
Не проходящий постоялец
В роскошном мире этом я —
Я сын земли, я царь ея!
Не откоснуться мне устами
От груди матери моей,
Не разорвать мне цепи с ней:
Она моими зрит очами,
Мной веселится и скорбит,
Моими высока мечтами
И мною мыслит и творит!
Природы творческое дело
Свершаться дивно будет век —
Покуда с горнего предела
Сияет солнца луч и смело
Творит и мыслит человек...

15

Как прах от ног, как пыль с одежды,
Прочь заблуждения невежды!
И что ж, о мудрый педагог,
Что даровал нам твой урок?
Запорошил лишь пылью вежды —
Мы недоверчивы к себе,
В нас ум с самим собой в борьбе,
То дерзок, то дрожит, как школьник,
И сердце просит бурь страстей,
И быть не может без цепей,
Как к ним привыкнувший невольник.

16

А ты, когда-то жизни жадный,
Разочарованный и хладный
Теперь и к миру, и к мечтам,
Певец, в плаксивом завыванье
Про *гордое* свое страданье
Благовествующий векам,
Теперь понятен ты немногим,
Когда кричишь на площади
Всем тварям мыслящим, двуногим,
Что пустота в твоей груди:

«Придите, можете увидеть,
Как я умел любить, страдать,
Терзаться, плакать, изнывать,
Боготворить и ненавидеть!
Я ей сулил к ее стопам
Повергнуть золотые горы —
А что ж она! . .» Не прав ты сам!
Вняв площадным твоим речам,
Тебе презрительные взоры
Во гневе кинет красота!
Что ей напыщенные дани
Фиглярства, визга и кривляний
Собой надутого шута?
Поверь, давно отбилась вера
К страданьям, к клятвам лицемера;
Давно толпа, внимая им,
Тебе из шумного партера
Швырнула б яблоком гнилым...
Ввек люди пьют из той же чаши,
И, как предшественники наши,
Мы жадны рушить, созидать,
Вновь ошибаться и страдать!
Есть прелесть в бурном беге тучи,
С другою встрече неминучей,
В разрыве их и в их слезах,
Поящих влагой дольный прах;
И в жизни прелесть та ж разлита,
И та ж краса и сила скрыта
В борьбе людей и в их слезах,
Залоге новых зол и благ.

1845

302. БАРЫШНЕ

Вам — быть оракулом!
(Petits jeux) [1]

Вас, ангел, реющий в гостиных,
Краса и диво наших зал,
Вас, примадонна игр невинных,
Наш лучезарный идеал,

[1] Светские игры (франц.). — *Ред.*

Дерзаю робкими струнами
Я славить... Сердцем и душой
Благоговею перед вами...
Природы лучшею мечтой
Вы рождены: ваш стан так строен,
Так очи светлы, взор спокоен...
Так широко из-под кольца
На грудь, на плечи восковые
Упали локоны густые...
Дивлюсь могуществу творца
И вашей маменьки искусству:
Так много вашим красотам,
Движеньям, взглядам и словам
Придать и грации, и чувства!
Она взрастила вас в тиши,
Храня от страшных бурь души,
Вам ум и волю заменяя,
За вас прочувствовать желая
Всё, чем нас губит жизнь, томит,
Хотя мгновенно веселит...
Так цвет изнеженной лилеи
Хранят в тепле оранжереи.
Его мороз не прошибал
И бурный ветер не сгибал,
Хотя не пил головкой жадной
Он утра свежести прохладной,
Не красовался он, блестя
Весь в каплях вешнего дождя,
Сквозь солнце вспрыснувшего поле...
Вы, нежась в сладостной неволе,
Лелея тихо свой покой
И жизни крайностей не зная,
Взросли, питая ум мечтой
И жизнь себе изобретая...
И эта жизнь не шумный пир —
Особый, светлый, чудный мир:
Как в фантастическом балете,
Из-за прозрачной кисеи
Встают пред вами в тихом свете
Картины счастья и любви;
Среди волшебных декораций,
Средь групп эфирных нимф и граций,

Над урной спящих стариков,
Под сенью лотосных листов,
Огромных раковин, кристаллов
И фантастических кораллов,
Ковром душистой муравы
Чудесно странствуете вы...
Но не одни: крылатый гений
Ведет вас... Там сияет храм...
И тихо мраморных ступеней
Уже коснулись вы... И там
Священный жертвенник с цветами
Перед богинею возжжен...
Кто ж этот гений? .. Да! он, он!
Его я видел... Ведь он с вами
Вчера мазурку танцевал,
Разочарованным казался,
Так ус крутил, так зло смеялся,
Так всю вас взором пожирал,
Так крепко шпорами стучал...
Его я знаю; с уваженьем
Всегда внимаю я сужденьям
Его о винах и конях...
Счастливец! Он один виденьем
Мелькает в ваших легких снах...
Понятно мне, зачем бледнели,
Краснели вы пред ним, зачем
Вчера с таким вы чувством пели:
«Si tu savais, combien je t'aime!» [1]
Но, боже мой! .. вот туча всходит,
Я вижу, меркнет небосклон,
Виденье милое проходит,
Как мимолетный легкий сон...
Я вижу...
Тихо в вашей спальне
Проснулись утром вы, лежат
Вкруг вас цветы, убор ваш бальный,
Венок, браслет, и ваш наряд
Разбросан в милом беспорядке;
Уж вы проснулись, но поднять
Глаза не хочется, вам сладко

---

[1] «Если бы ты знал, как я тебя люблю!» (Франц.) — *Ред.*

Ночные грезы продолжать,
К груди подушку прижимая,
Бог знает что воображая,
Уста сжимать и разжимать...
Внезапным маменьки приходом
Всё прервано: целуя вас,
С вас не спуская зорких глаз,
Она вас спросит мимоходом:
«Как нравится тебе NN?»
Вы отвечаете наивно:
«Он в парике и препротивный!» —
— «Умен...» — «Мамаша! Старый хрен!»
— «И добр...» — «И пахнет так духами!»
— «Богат и мил...» — «Богатство... вздор!»
— «Не стар и уж богат чинами...»
Короче, этот разговор
Такое кончит заключенье,
Что брак по страсти — заблужденье,
Что страсть пройдет, как метеор...
И правда!.. Вам потом одетой
Велят к обеду быть; жених
Вам привезет уже браслеты.
Пред ним бледнея каждый миг,
Ему вы будете сбираться
Сказать, во всем ему признаться;
Но недостанет силы в вас
Ему изречь простой отказ...
И вы поплачете немного...
Дня через три пройдет печаль;
Все скажут хором: «Слава богу!»
Никто про вас не скажет: «Жаль!»
Вам осенят венком цветущим
Из белых роз, обвитых плющем,
Широкий узел черных кос;
Все ахнут: «Как она прекрасна!»
И не заметят робких слез —
Слез Ифигении несчастной
Перед Калхасовым ножом...
Но это миг один... Потом
И вы привыкнете к супругу,
Как в детстве к нянюшке своей,
К его значенью, чину, кругу

Тяжелых, будничных идей;
Приняв восточную небрежность,
Вы девок станете ругать
И мужу каждый раз являть
В очах особенную нежность,
Когда он в службе отличен
Иль высших ласкою почтен;
Он на звезду свою укажет,
Прочтет патент и нежно скажет:
«Всё для тебя я» — и солжет...
В кругу хозяйственных забот,
За самоваром иль в гостиной,
Пленяя милой болтовней,
Смеяся шуточке невинной,
Страдая нервами порой,
Вы вечно будете казаться
(Что свет про вас ни говори)
Созданьем розовой зари
И легкокрылого зефира,
И выше праха, выше мира!
Что мир вам? Грязная нужда
И нищета в лохмотьях бедных,
Толпа страдальцев, грубых, бледных,
С безумным взором, без стыда,
С клеймом насильного разврата,
С клеймом проклятья от собрата,
Чужда вам будет и чудна,
И отвратительно-страшна!
Полны возвышенной морали,
Вы скажете: «То их вина...
Зачем они не соблюдали
Долг добродетели святой!»
С какою гордостью прямой
Себя бы с ними вы сравнили —
Хотя без нужды, без борьбы
Быть добродетельной купили
Вы златом право у судьбы...
Зато другие твари мира
В вас сострадание найдут
И даже слезы извлекут:
И в клетке птичка, дочь эфира,
И заяц жареный... Увы!

Невольно вспомните тут вы,
Что он тот самый, что пугливо
Дорогу вам перебегал,
Пугал вас в роще, торопливо
Скакнув из листьев, и нырял
В златистом море пышной нивы.
И что ж! Сгубил его тиран,
Убийца тварей беззаботных...
Так вы в страданиях животных
Прочтете истинный роман,
И в жизни, полной тихой лени,
В вас успокоится на миг
Потребность сильных ощущений,
Источник болей головных.

Но тут не всё. Неся условья,
Оковы среднего сословья,
Вы не сроднитесь с ним душой:
Читать вы будете порой
Романы из большого света,
И на себе их примерять,
И в новых формах этикета
Его свободу применять...
Средь жизни мирной, жизни чинной,
Благопристойной и невинной,
Желая душу отвести,
Следить вы будете упрямо
Траги-нервические драмы,
Симпатизируя вполне
(К досаде нежного супруга)
С печальной ролью jeune premier, [1]
Как он, обманывая друга,
Питает страсть к его жене.
И тайна их вас всю заманит,
И, их успехом дорожа,
Когда супруг их вдруг застанет,
Вы вскрикнете — за них дрожа...

Потом услышите случайно,
Что ваша милая Мими
Являлась в маскараде тайно

[1] Первого любовника (франц.). — *Ред.*

И с незнакомыми людьми,
Особенно с одним гусаром,
Ходила под руку и с жаром
С ним говорила; и потом
Он втерся кое-как в их дом;
И поутру, как мужа нету,
С визитом к ней являться стал, —
Вкруг вас, как будто по обету,
Восстанет целый трибунал:
В величьи грозной Немезиды,
Неотразимая, как гром,
Вы страшным грянете судом
За честь общественной обиды...

Но .. о, блаженны вы стократ,
Когда свет истины суровой
Не потревожит сна тупого,
Которым чувства ваши спят;
Когда, с пелен не знавши жизни,
Весь век лишь призраки ловя,
Во гроб сойдете не живя,
Без слез, без горькой укоризны!
Но... если вы поймете вдруг,
Что были вы товаром торга,
Что сердце, жадное восторга,
Что потрясений жадный дух
И ваши девственные ласки
Служили красною ценой
За мужнин сан, балы, коляски
И ваш искусственный покой,
Всей вашей жизни машинальность,
Проделки ласки должностной,
Приличий вечных театральность
Вы вдруг постигнете душой...
Придут часы тяжелой муки,
Вы, сжав уста, ломая руки,
Воскликнете: «Я не жила!
Что богом мне дано на долю —
Всё — ум, подавленную волю —
Другим на жертву предала!
За то, чтоб светской черни лепет
Не очернил меня шутя,

Душила в сердце страсти лепет,
Как незаконное дитя...
Хотя б узнать любви томленье!
Хотя б изведать, хоть на миг,
Страданья страстного сомненья!..
Хотя бы слышать страсти крик
Хоть раз, в устах не подавленный...
Хоть миг один, чтобы узнать,
Зачем страдать, за что страдать!..»
И взор, мгновенно оживленный,
Вослед отчаянья сверкнет
Вдруг воли вспышкою — и вот
С престола долга и приличья,
Где вы сиялн без пути
В своем бессмысленном величье,
Вы рады будете сойти...
Но это миг... И страшно станет...
И взор испуганный отпрянет,
Как бы от бездны под ногой...
И ночь в бесплодной агонии
Пройдет опять... И вот с зарей
Лучи рассвета голубые,
Сливаясь с вспышкой золотой
Ночной лампады, как статую,
Без жизни, скорбную, немую,
Сквозь окон озарят ваш лик...
Склоняся к креслам головою,
С упавшей на плечо косою
Заснули вы; но сон ваш дик
И смутен, в сердце кровь вскипает,
По членам холод пробегает...
Открылась дверь; явился вдруг
Ваш возвратившийся супруг
С официальной ассамблеи,
. . . .
«Ах, душенька, ты не спала?»
И вы, открывши взор свой влажный,
Ему промолвите, протяжно
Зевая: «Всё тебя ждала...»

Потом?
Потом... какой развязки
Еще вам ждать от этой сказки?..

Потом, во славу небесам,
Войдет всё в путь обыкновенный:
Опять придется вечно вам
Смеяться шуточке почтенной,
Терпеть нарядного шута,
Карать порок судом гостиным,
Когда он деньгами иль чином
Не откупился от суда...
Потом?

Потом на ум, на чувство
Дремота ляжет, как дурман,
И даже нравиться искусство
Вам опостылит. На диван
Уляжетесь, поджавши ножки;
Вкруг вас усядутся рядком,
Как пред японским божеством,
Болонки, стриксы или кошки...
Душевных бурь пройдет и след,
И страсти уж навек уймутся, —
И цепи снова вам придутся,
Как ловко скроенный корсет.

1846

303. ДУРОЧКА

Идиллия

Всем довольна я, старушка,
Бога нечего гневить!
Мир в семье; есть деревушка —
Хоть мала, да можно жить!

У меня семья большая;
Детки вкруг нас, стариков,
Словно роща молодая
Вкруг дряхлеющих дубков...

Но, как в ясном небе тучка,
К нам одна напасть пришла:
Наша младшая-то внучка
Просто дурочка была;

Вовсе здравого понятья
Не имела; что ни дай
Ей — хоть шелковое платье —
Вмиг всё в пятнах, хоть бросай!

Благородные девицы
К нам приедут. «Да поди! —
Говорю. — Там все сестрицы;
Только так хоть посиди!»

«Нет уж, бабушка, мне с ними
Делать нечего!» — «Как так?»
— «Что мне с этакими злыми...»
И забьется на чердак.

Только встала — полетела!
Всю деревню обежит!..
Это — первое ей дело,
Всё друзья ведь, — просто стыд!

Свадьба ль в доме — всё равно ей;
Посетит ли смерть кого —
С мертвецом в одном покое
Ляжет спать — и ничего!

Мать учить начнет, бывало,
Говорит, подчас и бьет —
Как к стене горох! Нимало
То есть ухом не ведет.

Ну, ее за то ж и гнали;
Вечно с нею воркотня;
На хлеб, на воду сажали...
Баловала только я —

И она как будто чует
И ко мне одной идет:
Обойму ее — целует,
Руки крепко, крепко жмет,

Надорвет мое сердечко...
«Ох ты, бедная моя,

Нелюбимая овечка,
Сиротинка у меня!»

«Как у вас хватает духу
Гнать бедняжку?» — говорю;
Да не слушают старуху,
Сколько я их ни журю.

Ей одно лишь любо было —
Нянчить маленьких детей;
Всё им сказки говорила
Про русалок да князей.

Где слова тогда берутся!
И дрожит сама-то вся;
Дети так и разревутся,
И унять потом нельзя.

В снег — на улицу, и скачет!
А возьмут ее домой —
В угол спрячется и плачет...
Дом ей словно как чужой.

Всё бы в лес! Весною хлеба,
Круп с собою наберет,
Станет в поле, смотрит в небо,
Журавлей к себе зовет.

Мы видали, к ней станицей
Птица всякая летит,
И она ведь с каждой птицей
Особливо говорит...

Порча ль тут была от детства,
Или разум уж такой —
Все мы пробовали средства,
Да махнули и рукой.

И жила она немного.
Видим, нет уж в ней пути.
Что лечить тут? Против бога
Человеку не идти.

Докторов иных бы нужно —
Повести бы по мощам...
Ну, да летом недосужно —
Жатва, севы — знаешь сам!

Вот и вышло: летом стала
Пропадать она по дням.
Спросим: «Где ты пропадала?»
Вздор рассказывает нам —

Что была она далеко,
В неизвестных сторонах,
Где зимы нет, где высоко
Горы в самых небесах;

Что у моря там зеленый
Вечно лес растет; что там
Зреют желтые лимоны
По высоким деревам;

Что там город есть великий,
Где рабы со всяких стран;
Царь в том городе предикий
И гонитель христиан;

Что он травит их там львами,
Чтоб от веры отреклись;
Что их кровь течет ручьями —
А они всё не сдались;

Что там чудные чертоги,
Разноцветных храмов ряд,
Где всё мраморные боги
Лет две тысячи сидят;

Вавилонская царица
Там какая-то жила,
И языческая жрица
Сожжена огнем была;

Да безумная невеста...
Но всего не передать;

Есть ли где такое место,
Не могу тебе сказать...

Только видим — девка бредит!
Уверяет, что сама
В этот край совсем уедет,
Только вот придет зима.

Между тем прошла уж осень;
Дуня что-то всё молчит,
Целый день между двух сосен,
По дороге в лес, сидит.

Мать журила, запирали,
Да ничто неймется ей!
Раз ушла она; мы ждали —
Нет. Уж поздно. Мы за ней

Разослали по соседям —
Нет нигде! Дней пять прошло;
Как-то с сыном лесом едем:
Снег в лесу-то размело...

«Взглянь-ко, — говорю я, — Саша, —
А сама-то вся дрожу, —
Что там? Уж не Дуня ль наша?»
Так и есть, она!.. Гляжу —

К старой сосенке прижалась,
На ручонки прилегла,
И, голубушка, казалось,
Крепким сном она спала...

Я вот так тут и завыла!
Точно что оторвалось
От души-то... Горько было,
А могилку рыть пришлось...

После всё уж мы узнали:
К нам в соседство той весной

Граф с графиней приезжали
Из чужих краев домой.

У графини, видишь, деток
Был всего один сынок;
С нашей был он однолеток —
Так, пятнадцатый годок.

С ним-то наша и сошлася,
Да, как глупое дитя,
Всяких толков набралася
Про заморские края.

И когда графиня снова
Поднялася в свой вояж,
Никому не молвя слова,
Дуня вздумала туда ж!

Где же ей пройти лесами!
И большому мудрено,
Да зимой еще, снегами...
Так уж, видно, суждено.

Не жилось ей, знать, на свете...
Бог недолго жить дает
Юродивым: божьи дети —
Прямо в рай он их берет.

Без нее же запустенье
Стало вдруг в семье моей;
И хотя соображенья
Вовсе не было у ней,

Хоть пути в ней было мало
И вся жизнь ее был бред,
Без нее ж заметно стало,
Что души-то в доме нет...

1853

304. РЫБНАЯ ЛОВЛЯ

Посвящается С. Т. Аксакову, Н. А. Майкову,
А. Н. Островскому, И. А. Гончарову, С. С. Дудышкину,
А. И. Халанскому и всем понимающим дело

Себя я помнить стал в деревне под Москвою.
Бывало, ввечеру поудить карасей
Отец пойдет на пруд, а двое нас, детей,
Сидим на берегу под елкою густою,
Добычу из ведра руками достаем
И шепотом о ней друг с другом речь ведем...
С летами за отцом по ручейкам пустынным
Мы стали странствовать... Теперь то время мне
Является всегда каким-то утром длинным,
Особым уголком в безвестной стороне,
Где вечная заря над головой струится,
Где в поле по росе мой след еще хранится...
В столицу приведен насильно точно я;
Как будто, всем чужой, сижу на чуждом пире,
И, кажется, опять я дома в божьем мире,
Когда лишь заберусь на бережок ручья,
Закину удочки, сижу в траве высокой...
Полдневный пышет жар — с зарей я поднялся, —
Откинешься на луг и смотришь в небеса,
И слушаешь стрекоз, покуда сон глубокой
Под теплый пар земли глаза мне не сомкнет...
О, чудный сон! душа бог знает где, далеко,
А ты во сне живешь, как всё вокруг живет...

Но близкие мои — увы! — всё горожане...
И странствовать в лесу, поднявшися с зарей,
Иль в лодке осенью сидеть в сыром тумане,
Иль мокнуть на дожде, иль печься в летний
зной —
Им дико кажется, и всякий раз я знаю,
Что, если с вечера я лесы разверну
И новые крючки навязывать начну,
Я тем до глубины души их огорчаю;
И лица важные нередко страсть мою
Корят насмешками: «Грешно, мол, для поэта
Позабывать Парнас и огорчать семью».
Я с горя пробовал послушать их совета —

Напрасно!.. Вот вчера, чтоб только сон прогнать,
Пошел на озеро; смотрю — какая гладь!
Лесистых берегов обрывы и изгибы,
Как зеркалом, водой повторены. Везде
Полоски светлые от плещущейся рыбы
Иль ласточек, крылом коснувшихся к воде...
Смотрю — усач солдат сложил шинель на травку,
Сам до колен в воде и удит на булавку.
«Что, служба?» — крикнул я. «Пришли побаловать
Маленько», — говорит. «Нет, клев-то как,
служивый?» —
«А клев-то? Да такой тут вышел стих счастливый,
Что в час-от на уху успели натаскать».

Ну, кто бы устоять тут мог от искушенья?
Закину, думаю, я разик — и назад!
Есть место ж у меня заветное: там скат
От самых камышей и мелкие каменья.
Тихонько удочки забравши, впопыхах
Бегу я к пристани. Вослед мне крикнул кто-то,
Но быстро оттолкнул челнок я свой от плота
И, гору обогнув, зарылся в камышах.

Злодеи рыбаки уж тут давно: вон с челном
Запрятался в тростник, тот шарит в глубине...
Есть что-то страстное в вниманьи их безмолвном,
Есть напряжение в сей людной тишине:
Лишь свистнет в воздухе леса волосяная
Да вздох послышится — упорно все молчат
И зорко издали друг з́а другом следят.
Меж тем живет вокруг равнина водяная,
Стрекозы синие колеблют поплавки,
И тощие кругом шныряют пауки,
И кружится, сребрясь, снетков веселых стая
Иль брызнет в стороны, от щуки исчезая.

Но вот один рыбак вскочил, и, трепеща,
Все смотрят на него в каком-то страхе чутком:
Он, в обе руки взяв, на удилище гнутком
Выводит на воду упорного леща.
И черно-золотой красавец повернулся
И вдруг взмахнул хвостом — испуганный, рванулся.

«Отдай, отдай!» — кричат, и снова в глубину —
Идет чудовище, и ходит, вся в струну
Натянута, леса... Дрожь вчуже пробирает!..
А тут мой поплавок мгновенно исчезает.
Тащу — леса в воде описывает круг,
Уже зияет пасть зубастая — и вдруг
Взвилась моя леса, свистя над головою...
Обгрызла!.. Господи!.. Но, зная норов щук,
Другую удочку за тою же травою
Тихонько завожу и жду едва дыша...
Клюет... Напрягся я и, со всего размаха,
Исполненный надежд, волнуяся от страха,
Выкидываю вверх — чуть видного ерша...
О, тварь негодная!.. От злости чуть не плачу,
Кляну себя, людей и мир за неудачу
И как на угольях, закинув вновь, сижу,
И только комары, облипшие мне щеки,
Обуздывают гнев на промах мой жестокий.

Чтобы вздохнуть, кругом я взоры обвожу.
Как ярки горы там при солнце заходящем!
Как здесь, вблизи меня, с своим шатром сквозящим,
Краснеют темных сосн сторукие стволы
И отражаются внизу в заливе черном,
Где белый пар уже бежит к подножьям горным.
С той стороны село. Среди сребристой мглы
Окошки светятся, как огненные точки;
Купанье там идет: чуть слышен визг живой,
Чуть-чуть белеются по берегу сорочки,
Меж тем как слышится из глубины лесной
Кукушка поздняя да дятел молодой...
Картины бедные полунощного края!
Где б я ни умирал, вас вспомню, умирая:
От сердца пылкого всё злое прочь гоня,
Не вы ль, миря с людьми, учили жить меня!..

Но вот уж смерклося. Свежеет. Вкруг ни звука.
На небе и водах погас пурпурный блеск.
Чу... тянут якоря! Раздался вёсел плеск...
Нет, видно, не возьмет теперь ни лещ, ни щука!
Вот если бы чем свет забраться в тростники,

Когда лишь по заре заметишь поплавки,
И то почти к воде припавши... Тут охота!..
Что ж медлить? Завтра же... Меж тем все
челноки,
Толкаясь, пристают у низенького плота,
И громкий переклик несется на водах
О всех событьях дня, о порванных лесах,
И брань и похвальба, исполненные страсти.
На плечи, разгрузясь, мы взваливаем снасти,
И плещет ходкий плот, качаясь под ногой.
Идем. Под мокрою одеждой уж прохладно;
Зато как дышится у лодок над водой,
Где пахнет рыбою и свежестью отрадной,
Меж тем как из лесу чуть слышным ветерком,
Смолой напитанным, потянет вдруг теплом!..

О милые мои! Ужель вам не понятно,
Вам странно, отчего в тот вечер благодатный
С любовию в душе в ваш круг вбегаю я
И, весело садясь за ужин деревенской,
С улыбкой слушаю нападки на меня —
Невинную грозу запальчивости женской?
Бывало, с милою свиданье улучив
И уж обдумавши к свиданью повод новый,
Такой же приходил я к вам... Но что вы? что вы?
Что значит этот клик и смеха дружный взрыв?
Нет, полно! вижу я, не сговорить мне с вами!
Истома сладкая ко сну меня зовет.
Прощайте! Добрый сон!.. Уже двенадцать бьет...

Иду я спать... И вот опять перед глазами
Всё катится вода огнистыми струями
И ходят поплавки. На миг лишь задремал —
И кажется, клюет!.. Тут полно, сон пропал;
Пылает голова, и сердце бьется с болью.
Чуть показался свет, на цыпочках, как вор,
Я крадусь из дому и лезу чрез забор,
Взяв хлеба про запас с кристальной крупной
солью.
Но на небе серо, и мелкий дождь идет,
И к стуже в воздухе заметен поворот;
Чуть видны берегов ближайшие извивы;

Не шелохнется лес, ни птица не вспорхнет, —
Но чувствую уже, что будет лов счастливый.

И точно. Дождь потом зашлепал всё сильней,
Вскипело озеро от белых пузырей,
И я промок насквозь, окостенели руки;
Но окунь — видно, стал бодрее с холодком —
Со дна и по верху гнался за червяком,
И ловко выхватил я прямо в челн две щуки...
Тут ветер потянул — и золотым лучом
Деревню облило. Э, солнце как высоко!
Уж дома самовар, пожалуй, недалеко...
Домой! И в комнату, пронизанный дождем,
С пылающим лицом, с душой и мыслью ясной,
Две щуки на снурке, вхожу я с торжеством
И криком все меня встречают: «Ах, несчастный!..»

Непосвященные! Напрасен с ними спор!
Искусства нашего непризнанную музу
И грек не приобщил к парнасскому союзу!
Нет, муза чистая, витай между озер!
И пусть бегут твои балованные сестры
На шумных поприщах гражданственности пестрой
За лавром, и хвалой, и памятью веков:
Ты, ночью звездною, на мельничной плотине,
В сем царстве свай, колес, и плесени, и мхов,
Таинственностью дух питай в святой пустыне!
Заслыша, что к тебе в тот час взываю я,
Заманивай меня по берегу ручья,
В высокой осоке протоптанной тропинкой,
В дремучий, темный лес; играй, резвись со мной;
Облей в пути лицо росистою рябинкой;
Учи переходить по жердочке живой
Ручей, и, усадив за ольхой серебристой
Над ямой, где лопух разросся круглолистый,
Где рыбе в затиши прохлада есть и тень,
Показывай мне, как родится новый день;
И в миг, когда спадет с природы тьмы завеса
И солнце вспыхнет вдруг на пурпуре зари,
Со всеми криками и шорохами леса
Сама в моей душе ты с богом говори!

Да просветлен тобой, дыша, как часть природы,
Исполнюсь мощью я и счастьем той свободы,
В которой праотец народов, дни катя
К сребристой старости, был весел, как дитя!

1855

305. КАРТИНКА
(ПОСЛЕ МАНИФЕСТА 19 ФЕВРАЛЯ 1861 г.)

Посмотри: в избе, мерцая,
Светит огонёк;
Возле девочки-малютки
Собрался кружок;

И, с трудом от слова к слову
Пальчиком водя,
По печатному читает
Мужичкам дитя.

Мужички в глубокой думе
Слушают, молчат;
Разве крикнет кто, чтоб бабы
Уняли ребят.

Бабы суют детям соску,
Чтобы рот заткнуть,
Чтоб самим хоть краем уха
Слышать что-нибудь.

Даже, с печи не слезавший
Много-много лет,
Свесил голову и смотрит,
Хоть не слышит, дед.

Что ж так слушают малютку, —
Аль уж так умна?..
Нет! одна в семье умеет
Грамоте она.

И пришлося ей, младенцу,
    Старикам прочесть
Про желанную свободу
    Дорогую весть.

Самой вести смысл покамест
    Темен им и ей,
Но все чуют над собою
    Зорю новых дней...

Вспыхнет, братья, эта зорька!
    Тьма идет к концу!
Ваши детки уж увидят
    Свет лицом к лицу!

Тьма пускай еще ярится!
    День взойдет могуч!
Вещим оком я уж вижу
    Первый светлый луч.

Он горит уж на головке,
    Он горит в очах
Этой умницы малютки
    С книжкою в руках!

Воля, братья, — это только
    Первая ступень
В царство мысли, где сияет
    Вековечный день.

28 февраля 1861

306. ПОЛЯ

В телеге еду по холмам;
Порой для взора нет границ...
И всё поля по сторонам,
И над полями стаи птиц...

Я еду день, я еду два —
И всё поля кругом, поля!
Мелькнет жилье, мелькнет едва,
А там поля, опять поля...

Порой ручей, порой овраг,
А там поля, опять поля!
И в золотых опять волнах
С холма на холм взлетаю я...

Но где же люди? Ни души
Среди безмолвных деревень...
Не верится такой глуши!
Хотя бы встреча в целый день!

Лишь утром серый четверик
Передо мною пролетел...
В пыли лишь красный воротник
Да черный ус я разглядел...

Вот наконец бредет старик...
Остановился, шляпу снял,
Бормочет что-то... «Стой, ямщик!
Эй, дядя! С чем господь послал?»

«Осмелюсь, барин, попросить —
Не подвезете ль старика?»
— «Садись! Зачем не услужить!
Услуга ж так невелика!

Садись!» — «Я здесь, на облучок...»
— «Да место есть: садись рядком!»
Но тут уж взять никто б не мог:
Старик уперся на своем;

Твердил, что в людях он пожил
И к обращению привык,
И знает свет; иначе б был
«Необразованный мужик»!

У старика был хмурый вид,
Цветисто-вычурная речь;
Одет был бедно, но обрит,
И бакенбард висел до плеч.

«Я был дворовый человек, —
Он говорил, — у князя Б.!

Отрывокъ изъ стихотворенія: „Поля."

Въ телѣгѣ ѣду по холмамъ;
Порой для взора нѣтъ границъ!
Поля, поля по сторонамъ!
И надъ полями - стаи птицъ...

Я ѣду день, я ѣду два -
Кругомъ поля, и все поля!
Мелькнетъ жнивье, мелькнетъ едва,
А тамъ - поля, опять поля!

Порой ручей, порой оврагъ -
А тамъ - поля, опять поля!
И въ золотыхъ [illegible] волнахъ
Съ холма на холмъ взлетаю я....

И знаю я: имъ нѣтъ конца!
И тотъ, кто дни свои губя
Въ натугѣ силъ, въ поту лица -
Трудился здѣсь - не для себя!....

. . . . . . - . . . .

Ямщикъ мой - парень молодой.
„Послушай-ко, братецъ, вотъ старичекъ
Какъ-будто хочетъ ѣхать съ тобой
~~Остановить~~ Спросить о чемъ: ну что, дружокъ?"

-„Осмѣлюсь, баринъ, попросить -
Не подвезете ль старика?
-„Садись! Зачѣмъ неуслужить -
Ко услугѣ ты такъ не велика.

Да вот, пришлось кончать свой век
На воле! Сам уж по себе!»

«И слава богу!» — «Как кому!
И как кто разумеет свет!
А по понятью моему,
От всей их воли — толку нет!

Еще я нонешних князей,
Выходит, дедушке служил...
Князь различать умел людей:
Я в доме, может, первый был!

Да вот, настали времена!
Теперь иди, хоть волком вой!
Стара собака, не годна;
Ест даром хлеб, — так с глаз долой!

Еще скажу: добры князья!
«С тебя оброку не хотим;
А хочешь землю, мол», — так я:
«Покорно вас благодарим!»

Жаль их самих!» И тут старик
Повел рассказ, как врозь идет
Весь княжий двор: шалит мужик,
Заброшен сахарный завод,

Следа уж нет оранжерей,
Охота, птичник и пруды,
И все забавы для гостей,
И карусели, и сады —

Всё в запущеньи, всё гниет...
Усадьба — прежде городок
Была! Везде присмотр, народ!
И пей и ешь! Всё было впрок!

«Да, вспомянешь про старину! —
Он заключил. — Был склад да лад!
Э, ну их с волей! Право, ну!
Да что она — один разврат!

Один разврат!» — он повторял...
Отживший мир в его лице,
Казалось, силы напрягал,
Как пламя, вспыхнуть при конце...

«Вот парень вам из молодых, —
Сказал он, кинув грозный взгляд
На ямщика. — Спросите их,
Куда глядят? Чего хотят?»

Тот поглядел ему в лицо,
Но за ответом стал в тупик.
Никак желанное словцо
Не попадало на язык...

«Чего?..» — он начал было вслух...
Да вдруг как кудрями встряхнет,
Да вдруг как свистнет во весь дух, —
И тройка ринулась вперед!

Вперед — в пространство без конца!
Вперед — не внемля ничему!
То был ответ ли молодца,
И кони ль вторили ему, —

Но мы неслись, как от волков,
Как из-под тучи грозовой,
Как бы мучителей-бесов
Погоню слыша за собой...

Неслись... А вкруг по сторонам
Поля мелькали, и не раз
Овечье стадо здесь и там
Кидалось в сторону от нас...

Неслись... «Куда ж те дьявол мчит!» —
Вдруг сорвалось у старика.
А тот летит, лишь вдаль глядит,
А даль-то, даль — как широка!..

1861

307. БАБУШКА И ВНУЧЕК

В святцах у бабушки раз
Внучек цветок увидал;
«Тут сувенирчик у вас, —
Он, улыбаясь, сказал, —

Что, если б он говорил?
Может быть, целый роман
Мне бы теперь он открыл...
Был бы и муж там тиран,

Ночь, соловей и луна,
Быстрый свидания час...
Было — и в те времена —
Много, чай, всяких проказ?..»

«Грех над старухой шутить ..—
Бабушка внучку в ответ, —
Кто ж бы еще подарить
Мог мне его, как не дед?»

«Дедушкин это цветок? —
Внучек опять. — Признаюсь,
Вот угадать бы не мог!
Дедушка! Этакой туз!»

«Молод покойничек был!..
Ну, да и я-то тогда...
В мыслях-то ветер бродил!
Тоже была молода...

Ездили раз мы весной,
В ранний улов стерлядей,
К мельнице нашей лесной...
Батюшка... Много гостей...

Я и стою на мосту;
Вкруг молодежь мне поет
Всё про мою красоту.
Что тут на ум не взбредет.

Мельница так и дрожит;
Омут-то в пенных буграх
Ходенем ходит, кипит,
Так что и вспомнить-то страх!

В воду и кинь я цветок!
«Кто, — говорю я, — спрыгнёт
С мосту отсюда в поток
И мой цветок принесет,

Тот мне и есть кавалер!»
Все засмеялись вокруг,
Только один офицер
С мосту-то прямо и — бух!

Я обомлела. Народ
Бросился к лодкам, к реке...
Только глядим — он плывет,
Держит цветок мой в руке...

Мне подает: я готов
Жизнь, мол, за вас положить!..
Вот молодец был каков!
Да, не любил он шутить!

Дедушку я твоего
Тут и узнала тогда...
Так и пошла за него...
Был человек это! .. Да! ..

Старого века кремень!
Барин он был матерой!
Сёл что имел, деревень!
Видный, красавец собой,

Соколом ясным ходил!
Первым везде был лицом!
Что он народу кормил,
Ну да и сам жил царем...

В гости ль меня вывозил —
    В золото, жемчуг, атлас,
Словно царицу, рядил,
    Словно как вез на показ!

Серый лихой шестерик
    Держат едва под уздцы...
Кучер был сила мужик!
    И гайдуки молодцы!

И, как жила я за ним,
    Тронуть меня уж не смей
Кто хоть бы словом худым:
    Со свету сгонит — ей-ей!

Да, это был человек!..
    Нынче и род уж не тот!
Нынче — не тот уж и век!
    Мелкий пошел всё народ!..»

«Бабушка! — внучек прервал. —
    Я от самих стариков
Часто про деда слыхал:
    Он не совсем был таков!

Был он — надменный богач!
    Жил — азиатским пашой;
Сам и судья, и палач,
    Ночью езжал на разбой;

И в душегубстве не раз
    Был по суду обвинен...
Правда, в то время у нас
    Знатному что́ был закон!

Пьянство и ночью и днем!
    В доме жил целый гарем!
Вы же — всю жизнь под замком
    В страхе дрожали меж тем.

Вас-то он будто любил!
    Боже мой! Он, как злодей,
Вашу всю жизнь загубил,
    Вас загубил и детей!

Месяц иль два присмирев,
    Первой-то страстной порой,
Ласков был с вами, как лев
    С львицей своей молодой!

Ну, а как душу отвел...
    Бабушка! сердце во мне
Рвется при мысли — что́ зол
    Вынесли вы-то одне!

Верьте, люблю я, как мать,
    Вас за страдальный ваш век...
Что ж от меня вам скрывать!
    Дед был — дурной человек!..»

Бабка трясет головой,
    Шепчет на речи его:
«Что говорить мне с тобой!
    Ты не поймешь ничего!»

Вяжет старушка чулок,
    Вяжет чулок и молчит,
И на засохший цветок
    Нежно порою глядит...

Смотрит на бабушку внук...
    Он изумлен, что у ней
Слезы закапали вдруг
    Тихо из тусклых очей...

В жизни дитя — не умел
    Сердце еще он понять!
Он испытать не успел,
    Как оно может прощать!

Как из-за прошлых скорбей,
    Их разгоняя, что тьму,
Сладкий лишь миг всё ясней
    Издали светит ему;

И, как святой идеал,
    Образ рисует того,
Кто это сердце терзал,
    Кто так измучил его!..

1857

308. УПРАЗДНЕННЫЙ МОНАСТЫРЬ

Давно в тумане предо мной,
Блестящей точкою горя,
То над леском, то над горой
Светился крест монастыря.

И вдруг — обрыв! И вот — река
В тени высоких берегов
Бежит, подернута слегка
Отливом красных облаков.

И на откосе меловом
Открылась старая стена
С безглавой башней, как огнем,
Закатом дня озарена.

Прохлада веет над рекой,
Струясь за резвым ветерком,
И тихо движется со мной
Неповоротливый паром.

Вот монастырь... Следы ль осад,
Пищалей, приступов к стенам,
В кирпичных грудах что лежат,
Поросши лесом, здесь и там?..

Лампада у ворот горит
Пред полинялым образком;
Монах, седой старик, сидит
У кружки под двойным замком,

Сидит и смотрит, как ползут
Мои лошадки по горе...
«Что, отче честный, есть ли тут
Что посмотреть в монастыре?»

«А посмотри! Запрету нет!
Что есть — увидишь, — молвил он, —
Да что смотреть-то! Сколько лет,
Как монастырь уж упразднен.

Святыню вывезли... Живем
Мы вот одни давненько тут
С отцом Паисием и ждем,
Аль нас куда переведут,

Аль здесь помрем... Я вот с ногой
Изныл. Ломота извела.
Лечился летось у одной
Старушки: нет, не помогла!

Войди в калитку-то, смотри!» —
Мне указал на дверь старик,
А сам спешил в лучах зари
Еще погреться хоть бы миг.

Бедняк! Едва ль не прав был он!
Смотреть не много было, нет!
Кой-где следы витых колонн,
Письма и позолоты след.

Все церкви в землю повросли,
Кругом забиты двери их...
Зато, что кудри, до земли
Висели ветви ив густых ..

А дом, где кельи, — как скелет,
За бледной зеленью стоит,
И в острых окнах стекол нет,
И грустно мрак из них глядит...

Лишь бродит вкруг голодный кот,
Над ним, несясь стрелы быстрей,

Кружатся ласточки, вразброд
Гуляет стая голубей, —

Всё тихо валится кругом...
Еще пройдет немного лет,
И стены продадут на слом,
И старины пройдет и след...

Смотреть не много... Что ж из них,
Из этих камней говорит
Моей душе? И шаг мой тих,
И сердце так в груди стучит?

Святыню вывезли... Но нет,
Не всю!.. Нет, чувствую, живут
Мольбы и слезы, столько лет
От сердца лившиеся тут!

Я живо вижу, как сюда
Пришел спасаться муж святой
В те времена еще, когда
Кругом шумел здесь бор густой

И, вековым объята сном,
Вся эта дикая страна
Казалась людям — волшебством
И чародействами полна.

И келью сам в горе иссек,
И жил *пустынным житием*
В той келье божий человек,
На козни беса глух и нем.

И, что свеча в ночи горит,
Он в этом мраке просиял,
Учил народ, устроил скит,
И утешал, и просвещал...

И вот — вкруг валятся леса!
И монастырь здесь восстает...
Над гробом старца чудеса
Пошли твориться .. И растет

За храмом храм, встает стена,
Встает гостиниц длинный ряд,
И в погреба течет казна,
И всюду труд, и всюду лад!

Идут обозы вдоль горы;
Хлопочет келарь, казначей...
Варят меды, творят пиры,
Всечасно братья ждет гостей...

А эти гости — то князья,
В Орду идущие с казной...
То их княгини, их семья,
В разлуке плачущие злой...

И черный люд, безвестный люд
Со всей Руси идет, бредет...
В грехах все каяться идут —
Да страшный гнев свой бог уймет...

Идут — с пожарищ, с поля битв,
Ища исходу хоть слезам
Под чтенье сладостных молитв,
Под пенье ангельское там...

И в темных маленьких церквах
Душистый воск горит, как жар,
Пред образами в жемчугах —
Сердец скорбящих чистый дар...

Вот едет новый караван...
Полумонашеская рать...
И раззолоченный рыдван...
С крестами клир идет встречать.

С потухшим оком, бледен, худ,
Выходит, думой обуян,
Здесь панихидой кончить суд,
Кровавый суд свой, царь Иван...

Ударил колокол большой —
И двери царские в алтарь

Пред ним раскрылись, и, больной,
Повергшись ниц, рыдает царь...

И, глядя, плачут все вокруг...
Но многолетье кончил клир,
И ждет царя и царских слуг
В большой трапезной светлый пир...

Но царь на светлый пир нейдет.
Один, он в келье заперся...
Он ест лишь хлеб, он воду пьет,
И весь он богу отдался...

Вот на обитель сходит сон;
Один лишь царь не знает сна...
Всё ходит он, всё пишет он
Им побиенных имена...

Всё кровь... А тут — покой кругом!
Главу обитель вознесла,
Что тихий остров на мирском
Многомятежном море зла...

Принять бы схиму здесь... Лежать
Живым в гробу, а над тобой
Монахи будут возглашать:
«Раба Ивана упокой...»

Всё суета!.. И как видна
Она из гроба-то!.. А тут
Что в царстве будет? Вся страна
Взликует! Скажут: царь был лют!

Измена встанет! Зашумят
Опять бояре, города...
Найдется царский брат иль сват,
Мой род зарежет... Что тогда?

И дух его, как ворон злой,
По всей Руси витать пошел

И ищет: где он, недруг мой?
Где смута? Где гнездо крамол?

Зовет на суд он города,
Живых и мертвых он зовет,
И, вновь для грозного суда
Готовый, мысль в душе кует, —

Кует он мысль, как бы сплотить
Всю Русь в одно, чтоб ничего
Не смело в ней дышать и жить
Без изволения его...

А ночь меж тем над Русью шла...
И не одна душа, томясь,
Теперь гадала и ждала:
Что царь замыслил в этот час?..

И, чуть звонят, народ — во храм,
Вопит, как жаждущий в степи:
«Когда ж, господь, конец бедам!»
И клир в ответ ему: «Терпи!»

Терпи!.. И вытерпела ты,
Святая Русь, что посылал
Тебе господь — все тяготы
Насильств, и казней, и опал...

Тяжелый млат ковал тебя
В один народ, ковал века, —
Но веришь ты, что бог любя
Тебя карал, — и тем крепка!

И вот — теперь... «Что?» — опросил
Меня монашек у ворот.
«Нет, ничего!.. я говорил!..»
— «А знатный был, молва идет,

Наш монастырь-то в старину!..»
— «А упразднен-то он зачем?»
— «Да стало братьи мало... Ну...
И оскудели житием!

Уж против прежнего — где нам! —
И вдруг, как будто спохватясь: —
Да ты по службе тут аль сам?»
— «Сам, сам!» — «Ну, то-то, в добрый час!..»

1860

309. ДВА БЕСА

В скиту давно забытом, в чаще леса,
Укрылися от бури, в дождь, два беса, —

Продрогшие, промокши от дождя,
Они тряслись, зуб с зубом не сводя.

Один был толст, коротенькие ножки,
А головою — смесь вола и кошки;

Другой — высок, с собачьей головой,
И хвост крючком, сам тонкий и худой.

Тот, как вломился, и присел у печки,
И с виду был смиреннее овечки;

Другой зато метался и ворчал
И в бешенстве зубами скрежетал.

«Ну уж житье! — ворчал он. — Мокни, дрогни,
И всё одно, что завтра, что сегодни!

Ждать мочи нет! Уж так подведено,
Что, кажется, всё рухнуть бы должно, —

Ан — держится! — Он плюнул от досады. —
Работаешь, и нет тебе награды!»

Толстяк смотрел, прищуря левый глаз,
Над бешеным товарищем смеясь,

И молвил: «Эх, вы, бесы нетерпенья!
Такой ли век теперь и поколенье,

Чтоб нам роптать? Я каждый день тащу
Десяток душ — сам цел и не грущу!

То ль было прежде? Вспомни хоть, как секли
Святые нас! Здесь выпорют, а в пекле

Еще потом подбавят, как придешь!
И вспомнить-то — кидает в жар и дрожь!

На этом месте, помню я, спасался
Блаженный. Я ль над ним не постарался!

Топил в болотах, по лесам
Дней по пяти кружил; являлся сам,

То девицей являлся, то во звере —
Он аки столб неколебим был в вере!

Я наконец оставил. Заходить
Стал так к нему, чтобы поговорить,

Погреться. Он, бывало, тут читает,
А я в углу. И вот он начинает

Мне проповедь: не стыдно ли, о бес,
Ты мечешься весь век свой, аки пес,

Чтоб совратить людей с пути блаженства!..
Ах, говорю я, ваше, мол, степенство,

Чай знаете, я разве сам собой?
У каждого у нас начальник свой,

И видишь сам, хоть из моей же хари,
Какая жизнь для подначальной твари!

Да я б тебя не тронул и вовек, —
Ан спросят ведь: что, оный человек

Сияет всё еще, свече подобно?
Да на спине и выпишут подробно,

Зачем еще сияет!.. Вот и знай,
И нынешний народ ты не ругай!

Где к кабаку лишь покажи дорогу,
Где подтолкни, а где подставь лишь ногу —

И все твои!..» — «Эх, вы, — вскричал другой, —
Рутина! Ветошь!.. Век бы только свой

Вам преть вокруг купчих, чтоб их скоромить
Иль дочек их с гусарами знакомить!

Не то уж нынче принято у нас:
Мы действуем на убежденья масс,

Так их ведем, чтоб им ни пить, ни кушать,
А без разбору только б рушить, рушить!

В них разожги все страсти, раздразни,
Все заповеди им переверни:

Пусть вместо «не убий» — «убий» читают
(Седьмую уж и так не соблюдают!).

«Не пожелай» — десятая — пускай
Напишут на скрижалях: «пожелай», —

Тут дело о принципах. Пусть их сами
Работают, подтолкнутые нами!

Об нас же пусть помину нет! Зачем!
Пусть думают, что нас и нет совсем,

Что мы — мечта, невежества созданье,
Что нам и места нет средь мирозданья!

Пусть убедятся в этом... И тогда,
Тогда, любезный друг, придет чреда,

Мы явимся в своем природном виде,
И скажем им: „Пожалуйте“»...

Вы примете, читатель дорогой,
За выдумку всё сказанное мной, —

Напрасно! Видел всё и слышал это
Один семинарист. Он шел на лето

Домой, к отцу, — но тут главнейше то —
Он, в сущности, не верил ни во что

И — сапоги на палке — шел, мечтая,
Что будет светом целого он края...

О братьях, сестрах — что и говорить!
Одна беда — со стариком как быть?

А старикашка у него чудесный,
Сердечный — но круг зренья очень тесный,

Понятия давно былых веков:
Он верил крепко — даже и в бесов.

Так шел он, шел — вдруг туча налетела,
И по лесу завыло, загудело;

Дождь хлынул, — как, по счастию, глядит:
Тут, в двух шагах, забытый, старый скит, —

Он в келийку и за́ печь, следом двое
Бесов, и вам известно остальное.

Что он их видел — он стоял на том!
И поплатился ж, бедненький, потом!

Товарищам за долг почел открыться.
А те — над ним смеяться и глумиться;

Проникла весть в учительский совет,
Составили особый комитет,

Вошли к начальству с форменным докладом —
Что делать, мол, с подобным ретроградом,

Что вообще опасный прецедент, —
И напоследок вышел документ,

Подписанный самим преосвященным:
«Считать его в рассудке поврежденным».

1876

310. ЕМШАН[1]

Степной травы пучок сухой,
Он и сухой благоухает!
И разом степи надо мной
Всё обаянье воскрешает...

Когда в степях, за станом стан,
Бродили орды кочевые,
Был хан Отрóк и хан Сырчан,
Два брата, бáтыри лихие.

И раз у них шел пир горой —
Велик полон был взят из Руси!
Певец им славу пел, рекой
Лился кумыс во всем улусе.

Вдруг шум и крик, и стук мечей,
И кровь, и смерть, и нет пощады!
Всё врозь бежит, что лебедей
Ловцами спугнутое стадо.

То с русской силой Мономах
Всесокрушающий явился;
Сырчан в донских залег мелях,
Отрок в горах кавказских скрылся.

И шли года... Гулял в степях
Лишь буйный ветер на просторе...

[1] Рассказ этот взят из Волынской летописи. *Емшан* — название душистой травы, растущей в наших степях, вероятно полынóк.

Но вот — скончался Мономах,
И по Руси — туга и горе.

Зовет к себе певца Сырчан
И к брату шлет его с наказом:
«Он там богат, он царь тех стран,
Владыка надо всем Кавказом, —

Скажи ему, чтоб бросил всё,
Что умер враг, что спали цепи,
Чтоб шел в наследие свое,
В благоухающие степи!

Ему ты песен наших спой, —
Когда ж на песнь не отзовется,
Свяжи в пучок емшан степной
И дай ему — и он вернется».

Отрок сидит в златом шатре,
Вкруг — рой абхазянок прекрасных;
На золоте и серебре
Князей он чествует подвластных.

Введен певец. Он говорит,
Чтоб в степи шел Отрок без страха,
Что путь на Русь кругом открыт,
Что нет уж больше Мономаха!

Отрок молчит, на братнин зов
Одной усмешкой отвечает, —
И пир идет, и хор рабов
Его что солнце величает.

Встает певец, и песни он
Поет о былях половецких,
Про славу дедовских времен
И их набегов молодецких, —

Отрок угрюмый принял вид
И, на певца не глядя, знаком,
Чтоб увели его, велит
Своим послушливым кунакам.

И взял пучок травы степной
Тогда певец, и подал хану —
И смотрит хан — и, сам не свой,
Как бы почуя в сердце рану,

За грудь схватился... Все глядят:
Он — грозный хан, что ж это значит?
Он, пред которым все дрожат, —
Пучок травы целуя, плачет!

И вдруг, взмахнувши кулаком:
«Не царь я больше вам отныне! —
Воскликнул. — Смерть в краю родном
Милей, чем слава на чужбине!»

Наутро, чуть осел туман
И озлатились гор вершины,
В горах идет уж караван —
Отрок с немногою дружиной.

Минуя гору за горой,
Всё ждет он — скоро ль степь родная,
И вдаль глядит, травы степной
Пучок из рук не выпуская.

1874

311. В ГОРОДЦЕ В 1263 ГОДУ[1]

Ночь на дворе и мороз.
Месяц — два радужных светлых венца вкруг него...
По небу словно идет торжество;
В келье ж игуменской зрелище скорби и слез...

Тихо лампада пред образом Спаса горит;
Тихо игумен пред ним на молитве стоит;
Тихо бояре стоят по углам;
Тих и недвижим лежит, головой к образам,
Князь Александр, черной схимой покрыт...
Страшного часа все ждут: нет надежды, уж нет!
Слышится в келье порой лишь болящего бред.

---

[1] Городец на Волге; там умер на возвратном пути из Орды в. к. Александр Ярославич Невский в 1263 году.

Тихо лампада пред образом Спаса горит...
Князь неподвижно во тьму, в беспредельность
глядит.,
Сон ли проходит пред ним, иль видений таинственных
цепь —
Видит он: степь, беспредельная бурая степь...
Войлок разостлаи на выжженной солнцем земле.
Видит: отец! смертный пот на челе,
Весь изможден он, и бледен, и слаб...
Шел из Орды он, как данник, как раб...
В сердце, знать, сил не хватило обиду стерпеть...
И простонал Александр: «Так и мне умереть...»

Тихо лампада пред образом Спаса горит...
Князь неподвижно во тьму, в беспредельность
глядит...
Видит: шатер, дорогой, златотканый шатер...
Трон золотой на пурпурный поставлен ковер...
Хан восседает средь тысячи мурз и князей...
Князь Михаил [1] перед ставкой стоит у дверей...
Подняты копья над княжеской светлой главой...
Молят бояре горячей мольбой...
«Не поклонюсь истуканам вовек», — он твердит...
Миг — и повержен во прах он лежит...
Топчут ногами и копьями колют его...
Хан, изумленный, глядит из шатра своего...
Князь отвернулся со стоном и, очи закрыв,
«Я ж, — говорит, — поклонился болванам, чрез огнь я
прошел,
Жизнь я святому венцу предпочел...
Но, — на Спасителя взор устремив, —
Боже! ты знаешь — не ради себя —
Многострадальный народ свой лишь паче души
возлюбя!..»
Слышат бояре и шепчут, крестясь:
«Грех твой, кормилец, на нас!»

Тихо лампада пред образом Спаса горит...
Князь неподвижно во тьму, в беспредельность
глядит...,
Снится ему Ярославов в Новгóроде двор...

[1] Кн. Михаил Черниговский.

В шумной толпе и мятеж, и раздор...
Все собралися концы и шумят...
«Все постоим за святую Софию, — вопят, —
Дань ей несут от Угорской земли до Ганзы...
Немцам и шведам страшней нет грозы...
Сам ты водил нас, и Биргер твое
Помнит досель на лице, чай, копье!..
Рыцари, — памятен им поттаявший лед!..
Конница словно как в море летит кровяном!...
Бейте, колите, берите живьем
Лживый, коварный, пришельческий род!..
Нам ли баскаков пустить
Грабить казну, на правеж нас водить?
Злата и серебра горы у нас в погребах, —
Нам ли валяться у хана в ногах!
Бей их, руби их, баскаков поганых, татар!..»
И разлилася река, взволновался пожар...
Князь приподнялся на ложе своем;
Очи сверкнули огнем,
Грозно сверкнули всем гневом высокой души, —
Крикнул: «Эй вы, торгаши!
Бог на всю землю послал злую мзду.
Вы ли одни не хотите его покориться суду?
Ломятся тьмами ордынцы на Русь — я себя не щажу,
Я лишь один на плечах их держу!..
Бремя нести — так всем миром нести!
Дружно, что бор вековой, подыматься, расти,
Веруя в чаянье лучших времен, —
Всё лишь вконец претерпевый — спасен!..»

Тихо лампада пред образом Спаса горит...
Князь неподвижно во тьму, в беспредельность глядит...
Тьма, что завеса, раздвинулась вдруг перед ним...
Видит он: облитый словно лучом золотым,
Берег Невы, где разил он врага...
Вдруг возникает там город... Народом кишат берега...
Флагами веют цветными кругом корабли...
Гром раздается; корабль показался вдали...
Правит им кормчий с открытым высоким челом...
Кормчего все называют царем...
Гроб с корабля поднимают, ко храму несут,

Звон раздается, священные гимны поют...
Крышу открыли... Царь что-то толпе говорит...
Вот перед гробом земные поклоны творит...
Следом — все люди идут приложиться к мощам...
В гробе ж, — князь видит, — он сам...

Тихо лампада пред образом Спаса горит...
Князь неподвижен лежит...
Словно как свет над его просиял головой —
Чудной лицо озарилось красой,
Тихо игумен к нему подошел и дрожащей рукой
Сердце ощупал его и чело —
И, зарыдав, возгласил: «Наше солнце зашло!»

1875

312. У ГРОБА ГРОЗНОГО

Средь царственных гробов в Архангельском соборе
На правом клиросе есть гроб. При гробе том
Стоишь невольно ты с задумчивым челом
И с боязливою пытливостью во взоре...
Тут Грозный сам лежит!.. Последнего суда,
Ты чуешь, что над ним судьба не изрекала;
Что с гроба этого тяжелая опала
Еще не снята; что, быть может, никогда
На свете пламенней души не появлялось...
Она — с алчбой добра — весь век во зле терзалась,
И внутренним огнем сгорел он... До сих пор
Сведен итог его винам и преступленьям;
Был спрос свидетелей; поставлен приговор, —
Но нечто высшее всё медлит утвержденьем,
Недоумения толпа еще полна,
И тайной облечен досель сей гроб безмолвный...
Вот он!.. Иконы вкруг. Из узкого окна
В собор, еще святых благоуханий полный,
Косой вечерний луч на темный гроб упал
Узорной полосой в колеблющемся дыме...
О, если б он предстал — теперь — в загробной схиме,
И сам, как некогда, народу речь держал:

«Я царство создавал — и создал, и доныне, —
Сказал бы он, — оно стоит — четвертый век...
Судите *тут* меня. В паденьях и гордыне
Ответ мой — господу: пред ним — я человек,
Пред вами — *царь*! Кто ж мог мне помогать?..
Потомки
Развенчанных князей, которым резал глаз
Блеск царского венца, а старых прав обломки
Дороже были клятв и совести?.. Держась
За них, и Новгород: что он в князьях, мол, волен!
К Литве, когда Москвой стеснен иль недоволен!
А век тот был, когда венецианский яд,
Незримый как чума, прокрадывался всюду:
В письмо, в причастие, ко братине и к блюду...
Княгиня — мать моя — как умерла? Молчат
Княжата Шуйские... Где Бельский? Рать сбирает?
Орудует в Крыму и хана подымает!
Под Серпуховом кто безбожного навел
На своего царя и указал дорогу?
Мстиславский? Каешься?.. А Курбский? Он ушел!
«Не мыслю на удел», — клянется мне и богу,
А пишется в Литве, с панами не таясь,
В облыжных грамотах как «Ярославский князь»!
Клевещет — на кого ж? На самоё царицу —
Ту чистую, как свет небесный, голубицу!..
Всё против!.. Что же я на царстве?.. Всем
чужой?..
Идти ль мне с посохом скитаться в край из края?
Псарей ли возвести в боярство — и покой
Купить, им мерзости творить не возбраняя,
И ненавистью к ним всеобщей их связать
С своей особою?.. Ответ кто ж должен дать
За мерзость их, за кровь?.. Покинутый, болящий,
Аз — перед господом — аз — аки пес смердящий
В нечестьи и грехе!..
Но царь пребыл царем.
Навеки утвердил в народе он своем,
Что пред лицом царя, пред правдою державной
Потомок Рюрика, боярин, смерд — все ра́вны,
Все — сироты мои...
И царство создалось!

Но моря я хотел! Нам нужно насажденье
Наук, ремесл, искусств, всё с боя брать пришлось!
Весь Запад завопил; опасно просвещенье
Пустить в Московию! Сам кесарь взор возвел
Тревожно на небо: двуглавый наш орел
Уже там виден стал, и занавесь упала,
И царство новое пред их очами встало...

Оно не прихотью явилося на свет.
В нем не одной Руси спасения завет:
В нем церкви истинной хоругвь, и меч, и сила!
Единоверных скорбь, чтоб быть ему, молила —
И — бысть! .. Мой дед, отец трудилися над ним,
Я ж утвердил навек — хоть сам раздавлен им...
Вы всё не поняли? .. Кто ж понял? Только эти,
Что в ужасе, как жить без государства, шли
Во дни великих смут, с крестом, со всей земли
Освобождать Москву... Моих князей же дети
Вели постыдный торг с ворами и Литвой,
За лишние права им жертвуя Москвой! ..
Да! Люди средние и меньшие, водимы
Лишь верою, что бог им учредил царя
В исход от тяжких бед, что царь, лишь Им судимый,
И зрит лишь на Него, народу суд творя, —
Ту веру дал им я, сам божья откровенья
О ней исполняся в дни слез и сокрушенья...
И сей священный огнь доныне не угас:
Навеки духом Русь с царем своим слилась!
Да! Царство ваше — труд, свершенный Иоанном,
Труд, выстраданный им в бореньи неустанном.
И памятуйте вы: всё то, что строил он, —
Он строил на века! Где — взвел до половины,
Где — указал пути... И труд был довершен
Уж подвигом Петра, умом Екатерины
И вашим веком...

Да! Мой день еще придет!
Услышится, как взвыл испуганный народ,
Когда возвещена царя была кончина,
И сей народный вой над гробом властелина —

Я верую — в веках вотще не пропадет,
И будет громче он, чем этот шип подземный
Боярской клеветы и злобы иноземной...»

1887

313. СТРЕЛЕЦКОЕ СКАЗАНИЕ О ЦАРЕВНЕ СОФЬЕ АЛЕКСЕЕВНЕ

Как за чаркой, за блинами
Потешались молодцы,
Над потешными полками
Похвалялися стрельцы!

«Где уж вам, преображенцы
Да семеновцы, где вам,
Мелочь, божии младенцы,
Нам перечить, старикам!

«С слободой своей немецкой
Да с своим царем Петром
Мы, мол, весь приказ стрелецкий,
Всех в бараний рог согнем!

Всех — и самую царевну...»
Нет, уж тут, голубчик, врешь!
Нашу Софью Алексевну
Обойдешь, да не возьмешь!

Даром, что родилась девкой, —
Да иной раз так проймет
Молодецкою издевкой,
И как в духе, да взмахнет

Черной бровью соболиной —
Пропадай богатыри!
Умер, право б, заедино,
Если б молвила: «Умри!..»

Грех бывал и между нами,
Как о вере вышел спор,
И ходили с чернецами
В царский Кремль мы на собор, —

Бунтовское было дело!
Да ведь сладила! Как раз
Словом вышибить умела
Дурость всякую из нас!

Будем помнить мы дни оны!..
Вышли наши молодцы,
Впереди несут иконы
Со свечами чернецы...

Не сказали б, так узнала б
Вся Москва их! Старики!
Не наотмашь, низко на лоб
Надевали клобуки;

Не развалисты в походке,
А согбенные идут;
Не дерут, разиня глотки,
Тихим голосом поют;

Лица постные, худые,
Веры точно что столпы!..
Уж не толстые, хмельные
Никоньянские попы!..

Умилился люд московский,
Повалил за ними, прет,
И на площади Кремлевской,
Что волна, забил народ.

А уж там, во Грановитой,
Все нас ждут: царевны, двор,
Патриарх, митрополиты,
Освященный весь собор.

Старцы свечи возжигали,
И Евангелье с крестом
На амвоны полагали,
И царевне бьют челом:

«Благоверная царевна!
Солнце русския земли!

Свет София Алексевна,
Государыня! Вели,

Чтоб у нас быть рассмотренью
С патриархом о делах
По церковному строенью
И о Никоновых лжах!

Процветала церковь наша,
Аки райский крин, полна
Благодати, яко чаша
Пресладчайшего вина!

Утверждалася иа книгах,
Их же имем от мужей,
Проводивших жизнь в веригах
И в умертвии страстей;

Их же чтением спасались
Благоверные цари,
И цвели, и украшались
По Руси монастыри;

Но реченый Никон волком
Вторгся в оный вертоград
И своим безумным толком
Ниспроверг церковный лад!

Аки римская блудница
На драконе восседя,
Рек: «Несть бога! — кровопийца. —
Аз есмь бог, и вся моя!»

И святые книги рушил...
Ну, и начал всё мутить...»
Патриарх их слушал, слушал,
Подымался говорить,

Да куда!.. Из-за владыки
Ну выскакивать попы...
Брань пошла, мятеж и крики!
На дворе ревут толпы,

Вкруг царевен — натерпелись
Уж бедняжки! — мужики,
Чернецы орут, зарделись,
Поскидали клобуки,

Все-то с взбитыми власами,
Очи кровью налиты,
И мелькают над главами
Палки, книги и кресты!..

Ждет царевна не дождется,
Чтоб затихли; то вперед,
Словно лебедь, к ним рванется,
Образумливать учнет.

«Замутили царством бабы, —
Голосят кругом, — ахти!
Государыням пора бы
В монастырь давно идти!»

Слыша то, и глянув гневно,
И отдвинув трон златой,
Вся зардевшися, царевна
Удалилась в свой покой.

С барабанным вышли боем
Из Кремля мы — вдруг приказ:
Чтоб к царевниным покоям
Выслать выборных тотчас.

Ночью, с фонарями, ровно,
Тихо вышла на крыльцо.
Так-то ласково-любовно
Обратила к нам лицо...

Видел тут ее я близко:
Белый с золотом покров,
А на лбу-то — низко-низко —
Вязь из крупных жемчугов...

«Если мы вам неугодны, —
Говорит, — весь царский дом,

Мы объявим всенародно,
Что из царства вон уйдем!

У волохов иль цесарцев —
Где-нибудь найдем приют ..
Вы сменяли нас на старцев,
Давних сеятелей смут, —

Пусть на них падет и царство!
Но в вину не ставьте нам,
Коль соседи государство
Всё растащут по клочкам,

Коль поляки с ханом крымским
Русь поделят меж собой:
Поклоняйтесь папам римским,
Басурманьтесь с татарвой!

Мы в церквах положим вклады
И поклонимся мощам,
Да и с богом!..» Всей громадой
Пали мы к ее ногам:

«Что ты, матушка, какое
Слово молвишь, — говорим, —
Слово — самое пустое!
Нешто мы того хотим!

Знаем мы, без государей
Каковы дела пойдут!
Заедят народ бояре
Да в латинство поведут!..

Всё те старцы-лиходеи!
Чтобы пусто было им!
Нешто мы архиереи?
Что мы в книгах разглядим?

Ты уж смилуйся, пожалуй,
Хоть жалеючи земли!..
А за грубость — нас до малу
Жестоко́ казнить вели!»

Ждем: что скажет? .. И сказала:
«Встаньте! Верных россиян
Вижу в вас! Я так и знала! ..
Бойся ж нас ты, крымский хан! ..

Пир готовь, а в гости будем! ..»
Мы — «ура!» на весь народ,
А она начальным людям
«Выйти, — крикнула, — вперед!»

И велит дьякам приказным
Награждать кого казной,
А кого именьем разным,
Соболями аль землей,

А кого боярским саном.
«А для прочих молодцов, —
Говорит, — три дня быть пьяным
С наших царских погребов! ..»

И была ж гульба в столице!
Будет помнить царский град! ..
Чернецы ж сидят в темнице
И сидят, стрельцов корят:

«Так-то веру отстояли
Вы, стрелецкие полки!
Прогуляли, променяли
На царевы кабаки!»

Ладно, братцы! Щи вам с кашей!
Что, брат, скажешь? Хороша? ..
Лучше нет царевны нашей!
Вот, как есть, совсем душа!»

1867

314. КТО ОН?

Лесом частым и дремучим,
По тропинкам и по мхам,
Ехал всадник, пробираясь
К светлым невским берегам.

Только вот — рыбачья хата;
У реки старик стоял,
Челн осматривал дырявый
И бранился, и вздыхал.

Всадник подле — он не смотрит.
Всадник молвил: «Здравствуй, дед!» —
А старик в сердцах чуть глянул
На приветствие в ответ.

Всё ворчал себе он под нос:
«Поздоровится тут, жди!
Времена уж не такие...
Жди да у моря сиди.

Вам ведь всё ничто, боярам,
А челнок для рыбака
То ж, что бабе веретёна
Али конь для седока.

Шведы ль, наши ль шли тут утром,
Кто их знает — ото всех
Нынче пахнет табачищем...
Ходит в мире, ходит грех!

Чуть кого вдали завидишь —
Смотришь, в лес бы... Ведь грешно!..
Лодка, вишь, им помешала,
И давай рубить ей дно...

Да, уж стала здесь сторонка
За теперешним царем!..
Из-под Пскова ведь на лето
Промышлять сюда идем».

Всадник прочь с коня и молча
За работу принялся;
Живо дело закипело
И поспело в полчаса.

Сам топор вот так и ходит,
Так и тычет долото, —

И челнок на славу вышел,
А ведь был что решето.

«Ну, старик, теперь готово,
Хоть на Ладогу ступай,
Да закинуть сеть на счастье
На Петрово попытай».

«На Петрово! Эко слово
Молвил! — думает рыбак. —
С топором гляди как ловок...
А по речи... Как же так?..»

И развел старик руками,
Шапку снял и смотрит в лес,
Смотрит долго в ту сторонку,
Где чудесный гость исчез.

1841, ⟨1857⟩

315. СКАЗАНИЕ О ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ[1] В ПРЕДАНИЯХ СЕВЕРНОГО КРАЯ

Когда нас еще на свете не было,
Да и деды дедов наших еще не жили,
И людей на свете была малость мальская,
Цари в ту пору земли себе делили;
В ту ли пору было стародавнюю,
Наше место было не заведомо
Никаким царем, ни боярином,
Ни лихим человеком удалыим;
А в лесу-то зверя разводилося:

---

[1] Рассказ этот представлен здесь почти без изменений, как он записан Е. В. Барсовым в Онежском крае и напечатан между многих других, в «Беседе», под общим названием «Петр Великий в преданиях Северного края». Он записан собирателем со слов рассказчика прозой; но и в этой прозе сами собой сквозят стихи; я пытался только восстановить их, почти нигде ничего не прибавляя от себя. Петр, повелевающий стихиями,— это такой колоссальный образ великого государя, а описание бури и потопления свейских лодок — такая живая, сжатая и верная природе картина, что было бы жаль, если б эти красоты народного творчества прошли незаметно в истории нашей поэзии.

Что ни куст — лисица со куницею,
Что ни пень — медведь со вóлчищем;
А и рыбы в реках наплодилося,
Хоть рукой имай аль корцом черпай.

Полюбилось наше место вольное,
Полюбилось оно царю свейскому;
Заприметил тоже Пётра, русский царь,
Что ручьи у нас глубокие,
Реки долгие, широкие,
А морям — и нет конца!
Снарядился сам на поиски
На своей ли лодке изукрашенной,
Серебром ли порасклаленной,
Золотым рулем приправленной,
Сам с бояры и вельможами.
Царь же свейский заспесивился,
Не поехал сам, послал начальников
Во полон забрать всю воду с рыбою
И леса со зверем всяким,
Чтоб владети ему пóвеки.

Как по морю, морю Ладожску
Едет-катит Пётра-царь на поиски,
Сам сидит в корме на лодочке,
Золотым рулем поворачивает, —
Ан навстречу супостат ему,
В лодках писаных, узорочатых,
С шелковой покрышкой алою.

Не ясен сокол налетал на лебедь белую,
И не лебедь смутил воду синюю:
То летят, воду рябят лодки свейские
На цареву лодку крепкую,
С шумом, свистом прорываючись,
В мелкий черень искрошить хотят.

Не стерпел тут Пётра, понасупился,
Очи ясные порассветились,
И румянец стал во всю щеку —
Да как крикнет он вельможам-боярам:
«Поубавим спеси царю свейскому!

Силой, что ль, сгубить его начальников?
Аль пустить с белым валóм пучинистым?»
И промолвили вельможи-бóяры:
«Не по что нам, царь, греха брать на душу,
Души грешные их, некрещеные
Всё же души человеческие —
Пусть умрут от ветра-сивера,
От валов умрут рассыпчатых!»

Как промолвили вельможи-бóяры,
От ремня, с груди, отвязывал,
Царь взял в руки золотой рожок,
Протрубил на все четыре стороны...
Разносился голос по темным водам —
Становилася вдруг темень божия,
Собирались ветры в тучу гýстую,
Расходились воды ярые:
Вал валá встает-подталкивает,
Ветры гребни им подтягивают,
Налетел ветер на лодки свейские,
Посрывал покровы алые,
Побросал далеко по морю;
Нагнала тут их вода ярая:
Вал живой горой идет-тянется,
Белым гребнем отливается.
Подошел тут первый вал: он прúподнял,
Стоймя прúподнял он лодки свейские;
Налетел второй вал: принакренил их;
А и третий — он уж тут как тут:
Захлестнул навек начальников...
Расступилась вода надвое,
Ушли камнем в топь глубокую
Души грешные, некрещеные...

1874

316. ЛОМОНОСОВ

В печали невская столица;
В церквах унылый перезвон;
Все в черном: царский дом, царица,
Синод, сенат. Со всех сторон

Чины от армии и флота
Спешат в собор; войска, народ —
Во всех испуг, у всех забота:
Великий в мире недочет!

Иерей, смотря на лик безмолвный,
Но и во гробе, как живой,
Несокрушимой мысли полный, —
От слез не властен над собой.

«О чем мы плачем? Что мы стонем?
Что, россияне, мы творим?
Петра Великого хороним,
И что хороним в нем и с ним!..

Ведь в бытие он нас, великий,
Воздвиг из тьмы небытия!..»
И вопли без конца и клики:
«Теперь что ж будет — без тебя!»

В честь императора раздался
Последний пушечный салют, —
Свершилось, — но в сердцах остался
Вопрос: чему же быть?.. Все ждут...

Как будто после бурной тучи
Осталась вся теперь страна,
Владыки мыслию могучей,
Как молнией, избраждена.

Везде глубокие основы
И жизни новые пути —
И нет вождя! И мрак суровый,
И неизвестность впереди!

Один он — кормчий был, который,
Куда вести корабль свой, знал,
Один уверенные взоры
Вдаль, в беспредельность устремлял —

От Зундских вод до Гималая,
С Невы — на Тихий океан...

Иль это всё — мечта пустая
И честолюбия обман?

И всё, что насаждал он, сгинет?
Труды, ученье, кровь и пот —
Пройдут вотще, и слава минет,
И в прежний мрак всё отойдет?

А главари меж тем престолом
Уже играть пошли, служа
Своим лишь видам и крамолам
И царским делом небрежа!..

Лишь пришлецы, которых знанье
Царь покупал «на семена»,
Торжествовали в填 упованье,
Что их отныне вся страна!

И, пробираясь ловко к цели,
Они над Русскою землей
На ступенях престола сели,
Как над забранною страной;

И, средь смятения и страха,
Средь казней, пыток и опал,
Уж руку к бармам Мономаха
Курляндский конюх простирал.

Но не вотще от бога гений
Ниспосылается в народ.
Опять к нему своих велений
Истолкователя он шлет.

В стране угрюмой и суровой,
Где, отливаясь на снегах,
По долгим зимам блеск багровый
Колышется на небесах;

Где горы льдов вздымают волны,
Где всё — лесов и неба ширь —
Величьем дел господних полны,
Встает избранный богатырь:

Велик, могуч, как та природа,
Сам — как одно из тех чудес,
Встает для русского народа
Желанным посланцем с небес...

О дивный муж!.. С челом открытым,
С орлиным взглядом, как глядел
На оном море Ледовитом
На чудеса господних дел,

Наукой осиян и рвеньем
К величью родины горя,
Явился ты — осуществленьем
Мечты великого царя!

Твоею ревностью согретый,
Очнулся русский дух с тобой:
Ты лучших дел Елизаветы
Был животворною душой,

Ты дал певца Екатерине,
Всецело жил в ее орлах,
И отблеск твой горит и ныне
На лучших русских именах!..

1865, 1882

317. МЕНУЭТ

(Рассказ старого бригадира)

Да-с, видал я менуэтец —
О-го-го!.. Посылан был
В Петербург я раз — пакетец
К государыне возил...

Ну, дворец — само собою
Уж Армидины сады!
И гирляндою цветною
Колыхаются ряды.

Только спросишь: «В этой паре
Кто, скажите?» — назовут —

И стонишь ты как в угаре!
Вместо музыки-то тут

Взрывы слышишь, бой трескучий,
Пушки залпами палят,
И от брандеров под тучи
Флоты целые летят!

Спросишь, например: «Кто это?»
— «Граф Орлов-Чесменский». — «Он? ..
Ну-с, а там?» — «Суворов». — «Света
Преставленье! Чисто сон!

А с самой — позвольте — кто же?»
— «Князь Таврический», — горит
В бриллиантах весь и — боже! —
Что за поступь! Что за вид!

Скажешь: духи бурь и грома,
Потрясающие мир,
Все в урочный час здесь дома
Собираются на пир.

И, вступая в дом к царице,
Волшебством каким-то тут
Вдруг изящной вереницей
Кавалеров предстают,

Перед ней склоняют выи,
А она лишь, как живой
Образ, так сказать, России,
И видна над всей толпой.

(1874)

318. СКАЗАНИЕ О 1812 ГОДЕ

Ветер гонит от востока
С воем снежные метели...
Дикой песнью злая вьюга
Заливается в пустыне...
По безлюдному простору,
Без ночлега, без привала,

Точно сонм теней, проходят
Славной армии остатки,
Егеря и гренадеры,
Кто окутан дамской шалью,
Кто церковною завесой, —
То в сугробах снежных вязнут,
То скользят, вразброд взбираясь
На подъем оледенелый...
Где пройдут — по всей дороге
Пушки брошены, лафеты;
Снег заносит трупы коней,
И людей, и колымаги,
Нагруженные добычей
Из святых московских храмов...
Посреди разбитой рати
Едет вождь ее, привыкший
К торжествам лишь да победам...
В пошевнях на жалких клячах,
Едет той же он дорогой,
Где прошел еще недавно
Полный гордости и славы,
К той загадочной столице
С золотыми куполами,
Где, казалось, совершится
В полном блеске чудный жребий
Повелителя вселенной,
Сокрушителя империй...

Где ж вы, пышные мечтанья!
Гордый замысел!.. Надежды
И глубокие расчеты
Прахом стали, и упорно
Ищет он всему разгадки,
Где и в чем его ошибка?
Всё напрасно!..
И поник он, и, в дремоте,
Видит, как в приемном зале —
Незадолго до похода —
В Тюльери стоит он, гневный;
Венценосцев всей Европы
Перед ним послы: все внемлют
С трепетом его угрозам...

Лишь один стоит посланник,
Не склонив покорно взгляда,
С затаенною улыбкой...
И, вспыливши, император:
«Князь, вы видите,— воскликнул, —
Мне никто во всей Европе
Не дерзает поперечить:
Император ваш — на что же
Он надеется, на что же?»

«Государь! — в ответ посланник. —
Взять в расчет вы позабыли,
Что за русским государем
Русский весь стоит народ!»

Он тогда расхохотался,
А теперь — теперь он вздрогнул...
И глядит: утихла вьюга,
На морозном небе звезды,
А кругом на горизонте
Всюду зарева пожаров...

Вспомнил он дворец Петровский,
Где бояр он ждал с поклоном
И ключами от столицы...
Вспомнил он пустынный город,
Вдруг со всех сторон объятый
Морем пламени... А мира —
Мира нет! .. И днем и ночью
Неустанная погоня
Вслед за ним врагов незримых...
Справа, слева — их мильоны
Там в лесах... «Так вот что значит —
„Весь народ! .."»
                    И безнадежно
Вдаль он взоры устремляет:
Что-то грозное таится
Там, за синими лесами,
В необъятной этой дали...

1876

319—320. *М. Н. КАТКОВУ*

1

Мы — москвичи! Что делать, милый друг!
Кинь нас судьба на север иль на юг —
У нас везде, со всей своею славой,
В душе — Москва и Кремль золотоглавый;
В нас заповедь великая жива,
И вера в нас досель не извелася,
На коих древле создалась Москва
И чрез нее — Россия создалася.
Там у гробов иерархов и царей,
Наметивших великие ей цели,
Они видней, и ты поймешь ясней,
Куда идти, и как мы шли доселе,
И отчего во дни народных бед,
И внешних бурь, и всякого шатанья,
Для всей Руси как дедовский завет
Родной Москвы звучало увещанье.
Храни ж его, отцов завет святой,
Как Ермоген в цепях, в тюрьме сырой, —
И в жизни путь всегда увидишь правый,
И посрамишь всяк умысел лихой,
Всяк вражий ков и всяк соблазн лукавый.

1867

2

«Что может миру дать Восток?
Голыш, — а о насущном хлебе
С презреньем умствует пророк,
Душой витающий на небе! . .» —
Так гордый римлянин судил
И — пал пред рубищем мессии...
Не то же ль искони твердил
И гордый Запад о России?
Она же верует, что несть
Спасенья в пурпуре и злате,
А в тех немногих, в коих есть
Еще остаток благодати...

Июль 1887

321. Ф. И. ТЮТЧЕВУ

Народы, племена, их гений, их судьбы
Стоят перед тобой, своей идеи полны,
Как вдруг застывшие в разбеге бурном волны,
Как в самый жаркий миг отчаянной борьбы
    Окаменевшие атлеты...
Ты видишь их насквозь, их тайну ты постиг,
И ясен для тебя и настоящий миг,
    И тайные грядущего обеты...
Но грустно зрячему бродить между слепых,
«*Поймите лишь*, — твердит, — и будет вам прозренье!
Поймите лишь, каких носители вы сил, —
И путь осветится, и все падут сомненья,
И дастся вам само, что жребий вам судил!»

(1873)

322. ЗАВЕТ СТАРИНЫ

Снилось мне: по всей России
Светлый праздиик — древний храм,
Звон, служенье литургии,
Блеск свечей и фимиам, —

На амвоне ж, в фимиаме,
Точно в облаке, стоит
Старцев сонм и нам, во храме
Преклонеиным, говорит:

«Труден в мире, Русь родная,
Был твой путь; но дни пришли —
И, в свой иовый век вступая,
Ты у господа моли,

Чтоб в сынах твоих свободных
Коренилось и росло
То, что в годы бед народных,
Осенив тебя, спасло;

Чтобы ты была готова —
Сердце чисто, дух велик —

Стать на судище Христово
Всем народом каждый миг;

Чтоб, в вождях своих сияя
Сил духовных полнотой,
Богоносица святая,
Мир вела ты за собой

В свет — к свободе бесконечной
Из-под рабства суеты,
На исканье правды вечной
И душевной красоты...»

(1878)

323. СУД ПРЕДКОВ

Посвящается К. К. Случевскому

«Pauvre feuille desséchée,
De ta tige dētachée,
Où vas-tu?» — «Je n'en sais rien...
Je vais où le vent me mène...»

Arnault[1]

«Попы увели народ в унию, попы и назад приведут... Так и наука...»

(Из одного разговора)

1

К кончине близок князь Андрей.
Он причастился. Слабый свет
Лишь тонких нескольких лучей
Прорвался в темный кабинет.

Пред умирающим сидит
На креслах сын. Примчался с вод,
Отцом был выписан. Глядит
И думает: «Ну, что же?.. Вот

Два века тут лицом к лицу!
Какая ж между ними связь?

---

[1] «Бедный высохший листок, Оторванный от своей ветки, Куда ты летишь?..» — «Я ничего об этом не знаю... Я лечу, куда несет меня ветер...» *Арно* (франц.). — *Ред.*

Давно душой я чужд отцу,
Давно всем чужд мне старый князь!

Во Франции — легитимист,
Здесь — недовольный камергер,
Спирит, ханжа и пиетист
И bel'ésprit à la[1] Вольтер;

Как совмещалось это в нем —
Бог весть! .. Но он себя считал
Какой-то истины столпом,
Какой — и сам не понимал!»

В то ж время думал старый князь:
«Да, мы уходим! .. Да, огни
Все друг за другом гаснут! .. Грязь
Встает, идет... tout est fini...[2]

И тот изящный внешний блеск,
И грация, и ум, и вкус,
Et cet ésprit chevaleresque! ..[3]
Вот с сыном даже расхожусь!

Он — фантазер! Стоял горой
За «эти меры» — дождался,
Да между небом и землей
Повис! .. И всё не унялся —

Опоры ищет — да их нет! ..»
Но вдруг старик раскрыл глаза,
Какой-то новой мысли свет
Блеснул в лице — он поднялся

И «Serge, — промолвил, — обещай —
Положим, уж каприз такой, —
Когда умру, приди, читай
Псалтырь ты в церкви надо мной.

Как рассказать тебе! Хоть ночь!
Вот видишь, я ведь тоже был...»

---

[1] Остроумец наподобие (франц.). — *Ред.*
[2] Все кончено (франц.). — *Ред.*
[3] И этот рыцарский ум! .. (Франц.) — *Ред.*

Но стало старику невмочь,
И он в постель упал без сил —

Да и навеки замолчал!
И через миг в дому, крестясь,
В испуге каждый повторял
(Хоть ждали все): «Скончался князь!»

2

И вот в соседний монастырь
Свезен он с должным торжеством,
И сын идет читать псалтырь
В старинной церкви над отцом.

Он пренебрег бы, может быть,
Но поднялся кругом уж толк,
Да кто-то вздумал подтрунить, —
Выходит: тут уж чести долг!

В загробный мир, ни в мир чертей
Конечно уж не верил он...
Но — мрак, мерцание свечей,
И лики строгие икон,

И храм, весь полный старины,
Где всё о предках говорит,
Где все они схоронены,
Где пол из их надгробных плит,

Отец, вступающий в их круг
Теперь же, как пришлец домой, —
И в этом царстве мертвых вдруг
Один лишь он стоит живой...

И князь внимательней глядит
Во мрак по нишам и углам...
Вон от хоругвей тень дрожит
До самых сводов по стенам...

Вон место княжеское, где
Под балдахином, с их гербом,

От предка, павшего в Орде,
Преемственно, сын за отцом,

Стоял старейший в роде... Был
Когда-то княжеский престол
На этом месте... Князь открыл
Псалтырь, псалом иль два прочел,

А мысль идет сама собой:
«Всей этой древности — князей,
Когда-то спорививших с Москвой,
Потом служивших верно ей,

Всех этих жизней — я итог!
Со всем народом, вся семья,
Все жили, как велел им бог,
Росли, как бор сплошной... А я?

Что я? Отпадший лист для них...
А мог ли не отпасть?.. Вопрос!
Теперь бы на земле таких
Отпадших листьев набралось

На добрый остров! Всех племен
И всех народов!.. Человек
Повсюду рвется из пелен,
Идем, куда ведет нас век...»

Читает князь, а мысль опять:
«Но были ж и у них умы...
Сумели ж из клочков создать
Они — империю!.. А мы?..

Что начинаем мы собой?..
Бедняжка, сорванный листок,
В разлуке с веткою родной
Куда летишь?..» — И князь не мог

Чтоб не вздохнуть... Невольно стал
Читать всё тише... Вот петух
Пропел в деревне... Князь устал,
Он опустился в кресла. Вдруг

Он слышит шорох, легкий шум,
Как бы пронесся ветерок, —
Князь, этот здравый, бодрый ум,
Взглянул — и уж дохнуть не мог...

Как будто на туман иль дым
Фонарь волшебный наведен —
Полупрозрачные — пред ним
Толпа людей — мужей и жен,

Детей и старцев... Впереди
В камзолах шитых, в париках,
Звезда и лента на груди,
А дамы с мушкой на щеках...

За стариками в париках
Другие были старики,
В боярских шапках, в бородах,
Виднелись шлемы, клобуки...

Был на одних наряд свежей,
На ком давно уж полинял,
Чем дальше — то тускней, темней,
И лишь металл один сверкал...

И вот, против амвона, вдруг
Все разодвинулись — сидит
Под балдахином витязь... Вкруг
Как будто судий сонм стоит...

Свет прямо падает на них...
На витязе — венец. Все ждут...
Торжественное что-то... Миг —
И двое, видит князь, ведут

Его отца!.. Знакомый фрак
И камергерский ключ... Да! он!
Что ж это?.. Судят?.. Судят?.. Так!
Отец поник, совсем смущен...

Суд предков — за душу свою
Ответишь богу, мол, а нам
Поведай, как служил царю,
Хулы не нажил ли отцам...

Никак читают приговор?..
Старик шатнулся и закрыл
Лицо руками... К сыну взор,
К нему, с мольбою обратил,

Зовет его, и князь спешит
На зов отца, вскочил... Но вмиг
Исчезло всё... В гробу лежит,
Сквозясь чрез кисею, старик...

Пылают свечи... Мрак кругом
В мерцаньи их как бы дрожит...
Вот Спас в окладе золотом
В возглавье гроба... Князь глядит —

И, как случилось, посейчас
Не помнит он: сама тогда
Рука невольно поднялась,
И он — перекрестился!.. Да,

Перекрестился в первый раз
По многих летах... «Это сон», —
Он повторял, но мысль неслась
Туда, в ту глубину времен,

Что вдруг раскрылась перед ним
Уже не мертвой пустотой,
А чем-то целым и живым —
Какой-то силой роковой,

Которой всё уже давно,
Что нас волнует и крушит,
Разрешено, умирено...
«Ах, сон всё это!» — князь твердит...

3

Но сон иль нет — не в том вопрос;
А только после похорон
Уехать тотчас не пришлось
В чужие краи князю. Он

Занялся склепом. Много в нем
Затеял переделок. Крест
Велел позолотить. Потом
Опять замедлился отъезд:

Стал очищать он старый дом,
Открыл, что это ведь музей!
Сокровища нашлися в нем
Ведь от времен еще царей!

И кипы грамот в кладовых,
И писем целая гора!
Да ведь какие? Между них —
Екатерины и Петра!

Ну как же их не разобрать!
И принялся читать их князь,
Меж ними связь восстановлять,
С историей вводить их в связь...

Понадобилось книг — и год
За годом время в вечиость мчит, —
Один, все ночи напролет,
Зарывшись в книги, он сидит

И пишет рода своего
Историю... И чудно всем:
Совсем нельзя узнать его!
Другой стал человек совсем!

Россия стала для него
Святыней, избранной страной;
Ее началам торжество
Пророчит в жизни мировой.

«Не могут-де ее понять;
Всё точку зрения берут
На мир из Рима! Надо взять
Из Византии — и поймут! ..»

Такое свойство, впрочем, есть
В истории российской: тот,
Кто вздумал за нее засесть, —
Пиши пропал: с ума сойдет!

Один профессор — он в Москве
Средь наших умственных светил
Стоял едва ль не во главе —
Серьезно это говорил.

1880

324. ЮБИЛЕЙ ШЕКСПИРА

Преданья Севера изображают бога
Седящим высоко над областью громов:
Спокойный, видит он из светлого чертога
И землю, и моря, движенье облаков,
Полет воздушный птиц, могучий ход китов
И быстрый лани бег; он взглядом проникает,
Как накипает медь и золото в горах,
Как дуб растет, как травка прозябает,
Как в человеческих сердцах
Родится мысль, растет и созревает...
Таков и ты, Шекспир!

Как северный Один,
На человечество с заоблачных вершин
Взирал ты! Знал его — и у кормила власти,
В лохмотьях нищего, в пороках, во вражде;
Но, кистью смелою его рисуя страсти,
Давал угадывать везде
Высокий идеал, который пред тобою
В величьи божеском сиял,
И темный мир людей, с их злобой и враждою,
Как солнце бурную пучину, озарял...

И триста лет прошло — и этот идеал
Везде теперь родной для всех народов стал.
С запасом всех личин, костюмов, декораций,
С толпой царей, принцесс, шутов, и фей, и граций,
По шумным ярмонкам, средь городов и сел —
Ты триумфатором по всей земле прошел:

Везде к тебе толпа восторженно стремилась,
И за тобой, как за орлом,
Глубоко в небо уносилась,
И с этой высоты на мир глядеть училась
С боязни полным торжеством!

Счастлив, счастлив народ, которого ты сын,
Чья мощь, чей смелый дух твой воспитали гений!
Как горд он в этот день, под гул земных хвалений,
Несущихся к тебе, искусства исполин!
Но в дни, когда ты цвел, и смело и свободно
Британский флаг вступал уж в чуждые моря,
Ты смутно лишь слыхал о *Руссии* холодной,
Великолепии московского царя,
Боярах в золотой одежде, светозарных
Палатах, где стоит слоновой кости трон
И восседает сам владыка стран полярных,
Безмолвием и славой окружен...

Товарищ сильному быть может только сильный!
Изнеженных племен искусство чуждо нам!
Ты, строгий сердцевед, ты, истиной обильный,
Как свой ты на Руси пришелся по сердцам!
По русским городам, по сценам полудиким
Рукоплескания не попусту гремят
Твоим созданиям великим,
И музы русские под сень твою спешат!
Ты наш — по ширине могучего размаха,
Ты наш затем, что мы пред правдой не дрожим,
И смотрим в пропасти без страха,
И вдаль уверенно глядим.

1864

325. КРЫЛОВ

Когда стою в толпе средь городского сада
Пред этим образом, из бронзы отлитым,
И, к нам склонившися, и к малым, и к большим,
С улыбкой доброю, с приветливостью взгляда,
Он точно, с старческой неспешностью речей,
Рассказывает нам, с своих высоких кресел,

Про нравы странные и глупости зверей,
И все смеются вкруг, и сам он тихо-весел,—
Мне часто кажется, что вот — толпа уйдет,
И ласковый старик впадет сейчас же в думу,
Улыбка кроткая с лица его спорхнет
Вслед умолкающему шуму,
И лоб наморщится, и, покачав главой,
Проводит взглядом нас он строгим, и с тоской
Промолвит: «Все-то вы, как посмотрю я, дети!
Вот — побасенками старик потешил вас,
Вы посмеялися и прочь пошли смеясь,
Того не угадав, как побасенки эти
Достались старику, и как не раз пришлось
Ему, слагая их, смеяться — но сквозь слез,
Уж жало испытав ехидны ядовитой,
И когти всяческих, больших и малых, птиц,
И язвины на пальцах от лисиц,
И на спине своей ослиное копыто...
И то, что в басенке является моей
Как шутка, — от того во времена былые
Вся, может, плакала Россия,
Да плачет, может быть, еще и до сих дней!»

1868

326. КАРАМЗИН

Посв. Мих. Петр. Погодину

Вхожу ли в старый Кремль, откуда глаз привольно
Покоится на всей Москве первопрестольной,
В соборы ль древние с гробницами царей,
Первосвятителей; когда кругом читаю
На дсках их имена, и возле их внимаю
Молитвы шепоту притекших к ним людей, —
А там иконостас, и пресвятые лики,
И место царское, и патриарший трон;
А между тем гудит, гудит Иван Великий,
Как бы из глубины веков идущий звон, —
Благоговением душа моя объята,
И всё мне говорнт: «Сие есть место свято!
Смотри: когда кругом лишь бор густой шумел,
А на горе сиял лишь храм святого Спаса

Да княжий теремок, где бедный князь сидел, —
Беседа вещая таинственно велася
Здесь меж святителем и князем. Здесь его,
Как древний Самуил, благословил владыко
На собирание народа своего...
Святителя завет исполнился великой!
Помалу собралась вкруг белого Кремля,
Как под надежный щит, вся Русская земля,
И каждый град ее свою здесь церковь ставил.
И высилась Москва! И Чингисханов род,
Кончаясь, Азию в наследье ей оставил,
А там от Балтики и до Эгейских вод
Славяне подняли с надеждою к ней очи,
И со священного Афона глас пророчий,
Призвав святую Русь для доблестной борьбы,
Востока древнего ей передал судьбы».

Так говорит нам Кремль. Но поколенья были,
Что здесь как пришлецы чужие проходили.
Вельможи русские являлися сюда
С иными вкусами. Ломали без следа
Святыни старины. Ни память Иоаннов
Не удержала их, ни прах святых гробов, —
Ломали здание, что строил Годунов,
Ломали здание, где избран был Романов.
Весь этот старый Кремль, с соборами, с дворцом,
С резными башнями, назначен был на слом.
И вместо их уже, питомец муз эллинских,
Художник созидал классическим умом
Ряд портиков, колонн и арок исполинских...
Скажи ему тогда ужель, о вандал, нет
В тебе присущей здесь святыни пониманья —
Ведь что ни камень здесь, то крови отчей след,
Что столб — то памятник, что церковь —
то сказанье, —
Сердечный этот вопль в пустыне б прозвучал,
Художник злобился б, вельможа хохотал...

То были граждане совсем другого мира!

Давно уж Франция купалася в крови.
К нам отклики неслись неведомого пира,

Неслися возгласы свободы и любви...
То тронов падавших летели к нам обломки,
То дребезги трибун выкидывал волкан —
Всё поглощала Русь, — и вот пройдох всех стран
Явилися у нас питомцы и питомки.
Кто набожно вздыхал по чуждом короле,
Кто, новым Цезарем восхищенный, мечтами
Носился за его победными орлами,
Кто бредил равенством и братством на земле,
И при воззвании «всемирная свобода»
Вселенский гражданин отрекся от народа!
Об человечестве здесь каждый помышлял,
Но человечестве во образе француза...
Кто в демагогии судеб его искал,
Кто в темной мистике священного союза.
В России ж видели удобный матерьял,
В котором каждый мог кроить себе свободно —
На всякий образец и что кому угодно —
Парламент с лордами или республик ряд,
Аркадских пастухов иль пахотных солдат.

Один из этого ушел водоворота.
Один почувствовал, что нет под ним оплота,
Что эти странные адепты тайных лож,
Вся эта детская блистательная ложь,
Весь этот маскарад с своею пестротою
Стоит как облако над Русскою землею...
. . . .
То был великий муж... Один он видел ясно,
Что силы родины теряются напрасно,
Что лучшие умы, как бедные цветы,
Со стебля сбитые грозой, кружат в пустыне —
Чужие у себя, чужие на чужбине...
Но пусть свершаются над ними их судьбы!
Есть русской крепости незримые столбы,
Есть царства русского основы вековые...
Во всем величии судеб своих Россия
Ему являлася из сумрака времен...
Там исцеление! Там правда! — верил он,
И, этой веры полн, сошел во мрак архивов —
И там, как в сказочной стране чудес и дивов,
Увидел образы князей — бойцов лихих;

Князей — ходатаев за Русь у грозных ханов,
Там умирающих в пути среди буранов...
Явились образы подвижников святых,
Строителей в лесных пустынях общежитья,
И образ земского великого царя,
Пред коим все равны с вельможи до псаря
И к коему от всех доступны челобитья;
И образ целого народа, что пронес
Сквозь всяческих невзгод им созданное царство
И всем, всем жертвовал во имя государства,
Жива бо церковь в нем, а в ней господь Христос...

И, эти образы вместив в душе всецело,
Он словно отлил их из меди в речи смелой,
И вдруг свою скрыжаль воздвиг, как Моисей,
На поучение народов и царей...
Очнулся русский дух... Туман заколебался...

1865

327. ЖУКОВСКИЙ

В младенческих годах моих далеко
Мне видится его чудесный образ...
Как будто бы меня, еще ребенка,
При факелах, в готическом соборе,
Средь рыцарей, он, величавый старец,
В таинственный союз их посвящает...
И рыцарства высокие обеты
Я говорю за ним — и чую в страхе,
Что прозреваю в мир, тогда впервые
Открывшийся очам моим духовным...
Он говорит о Вере, о Надежде,
И о Любви, и о загробной жизни,
И сам как бы на рубеже земного
Стоит, вперяя взор открытый в Вечность...
И у меня в восторге бьется сердце,
И отдаюсь я весь святому старцу,
И странствовать иду за ним по свету...

По манию жезла его повсюду
Из глубины времен миры выходят...

Таинственный Восток разоблачился —
Та даль веков, когда между людьми,
Прияв их образ, странствовали боги,
Их посвящая в тайны искупленья, —
Та даль веков, когда богатыри,
Как первые избранники из смертных,
Вступали в бой со злобной силой мрака
И обществам в основу полагали
Служенье духу и предвечной правде...
От Индии и от пустынь Турана,
От вечного голгофского креста,
Сквозь темный мир Европы феодальной —
К горящему меня привел он граду...
Я увидал средь пламени и дыма,
Порою разрывавшихся от вихря,
Кремлевские белеющие стены:
«Вот, — он сказал, — вот жертва искупленья,
Пред коей выше — только крест голгофский!
Мы принесли ту жертву всем народом,
Да тленные сокровища искупят
Сокровища, которые прияли
С Евангельем в свой дух мы с дня крещенья
И множили веками бед великих, —
Сокровища, которыми в народах
Отличена и создалась Россия!
Пади ж пред ней, пылающей Москвой!
Ее святынь уразумей глаголы!
Пади пред ней, благодаря творца,
Что жребий дан тебе ее быть сыном!
Моли творца, чтоб и свою крупицу
Ты в общее принес бы достоянье,
Для высшего приготовляясь мира!
Здесь свято долг свой на земле исполни, —
Да общим всех трудом на благо ближних,
Проникновеньем сердца благодатью
И просветленьем разума любовью
Рассеется господство лжи — и будет
Мир на земле, благоволенье в людях
И прославленье здесь и в вышних бога!»

Великий старец! Он свою «крупицу»
Принес и, светлый, в мир переселился,

В который здесь, как бы сквозь тонкий за́вес,
Уж прозревал душою детски чистой...
И на Руси не даром прозвучали
Его слова... Нет!.. Падали, как зерна,
Они в сердца, уготовляя их
К великому.. И между посвященных
Им отроков и тот был — кроткий сердцем, —
Кого господь благословил на деле
Осуществить во благо миллионов
Учителя высокие заветы...

1883

328. ПУШКИНУ

Русь сбирали и скрепляли
И ковали броню ей
Всех чинов и званий люди
Под рукой ее царей;

Люди божьи, проникая
В глушь и дикие места,
В дух народный насаждали
Образ чистого Христа...

Что ж взойдет на общей ниве?..
Русь уж многое дала,
В царство выросши под сенью
Византийского орла...

Что взойдет? Виссон и злато
Только мелких душ кумир!
Лишь созданья духа вечны,
Вечен в них живущий мир;

Не пройдут вовек победы
В светлом царстве красоты,
Звуки песен, полных правды
И сердечной чистоты...

Пушкин! ты в своих созданьях
Первый нам самим открыл,

Что таится в духе русском
Глубины и свежих сил!

Во всемирном Пантеоне
Твой уже воздвигся лик;
Уж тебя честит и славит
Всяк народ и всяк язык, —

Но, юнейшие в народах,
Мы, узнавшие себя
В первый раз в твоих твореньях,
Мы приветствуем тебя —

Нашу гордость — как задаток
Тех чудес, что, может быть,
Нам в расцвете нашем полном
Суждено еще явить!

1880

329. Я. П. ПОЛОНСКОМУ

ЧИТАНО НА ЕГО ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНЕМ ЮБИЛЕЕ
10 АПРЕЛЯ 1887 г.

Тому уж больше чем полвека,
На разных русских широтах,
Три мальчика, в своих мечтах
За высший жребий человека
Считая чудный дар стихов,
Им предались невозвратимо...
Им рано старых мастеров,
Поэтов Греции и Рима,
Далось почуять красоты;
Бывало, нежный луч Авроры
Раскрытых книг осветит горы,
Румяня ветхие листы, —
Они сидят, ловя намеки,
И их восторг растет, растет
По мере той, как труд идет
И сквозь разобранные строки
Чудесный образ восстает...

И старики с своих высот
На них, казалося, взирали,
И улыбались меж собой,
И их улыбкой ободряли...
Те трое были... милый мой,
Ты понял?.. Фет и мы с тобой...

Так отблеск первых впечатлений,
И тот же стиль, и тот же вкус
В порывах первых вдохновений
Наш уготовили союз.
Друг друга мы тотчас признали
Почти на первых же шагах
И той же радостью в сердцах
Успех друг друга принимали.
В полустолетье ж наших муз
Провозгласим мы тост примерный
За поэтический, наш верный,
Наш добрый тройственный союз!

1887

330. А. А. ФЕТУ

В ДЕНЬ ЕГО 50-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ
28 ЯНВАРЯ 1889 г.

Когда, как бурный конь, порвавший удила,
Неудержимый стих, с путей метнувшись торных,
В пространство ринется и, с зоркостью орла,
Намеченную мысль, средь пропастей ли черных
Иль в звездных высотах, ухватит как трофей, —
О, как он тешится, один с самим собою,
Ее еще людьми не знаемой красою,
Дивяся, радостный, сам дерзости своей!
А ты, поэт, за ним в томительном волненье
Следивший в высотах и в безднах, в то мгновенье,
Как победителем он явится к тебе,
В блаженстве равного ты знаешь ли себе?

Тебе знакома, Фет, знакома эта радость!
Таких трофеев полн тобой созданный храм!

И перейдут они в наследие векам,
И свежесть сохраня и аромата сладость,
Играя радуги цветами, — и одним
Помечены клеймом и вензелем твоим!

Январь 1889

331. А. Г. РУБИНШТЕЙНУ

Вот он, рассеянный, как будто бы небрежно
Садится за рояль — вот гамма, трель, намек
На что-то — пропорхнул как будто ветерок —
Лелеющий мотив, и ласковый, и нежный. .
Вот точно светлый луч прорезал небеса —
И радость на земле, и торжество в эфире!
Но вдруг удар! . другой!.. Иной мотив взвился,
И дико прядает всё выше он и шире!
Он словно вылетел из самых недр земных,
Как будто вырвались и мчатся в шуме бури
Навстречу ангелам тьмы демонов и фурий.
Ветхозаветный спор, спор вечный из-за них
Решается ль теперь? Дрожат и стонут долы,
Мятется океан, в раскатах громовых
Архангельской трубы проносятся глаголы,
А тучи темных сил всё новые летят! .
Художник в ужасе пред ним разверстый ад
Самим им вызванный, хохочущий, гремящий,
Осилить уж его и самого грозящий.
А человечество! О, жалкое дитя!
Ты чувствуешь, что бой, тот бой из-за тебя!
Ты чувствуешь свое бессилье и паденье,
Ты ловишь проблески иебесного луча,
В молитве падаешь. . Молитва горяча
Над бездной! То порыв, обет перерожденья! . .
Но успокойся! Вот уж над тобой светло:
Архаигел победил! . Художника чело
Яснеет . Он к тебе нисходит и с тобою —
Сам человек уже и духом просветлен —
Сливает голос свой с молитвой мировою...
Он кончил... Вот он встал, разбит, изнеможен,

Уходит... Крики вслед!..
Чем крики те звучат!
Художник, слышишь ты?.. То гул благословений!
Да, да, благословен, благословен стократ
Твой, в царство света нас переносящий, гений!

1886

332. А. П. МИЛЮКОВУ

ПО ПОВОДУ МОЕГО 50-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ

1888 г. АПР. 30

Мне тем дороже твой привет,
Что брызнул он лучом нежданным
Уж по далеким, по туманным
Рядам прожитых нами лет...
Смотри: студентские мундиры...
И все вы, тесною толпой,
Бряцанью полудетской лиры
Открытой внемлете душой.
Вам — в звуках голоса нетвердых,
И в робком переборе струн,
И в недохваченных аккордах —
Могучий чудится перун...
Средь бледных образов, по смелым,
Быть может, профилям кой-где,
Меня уж мастером умелым
Провозгласив, собором целым,
Всходящей плещете звезде...
И откровенен был и звонок
Ваш дружный клик и гром похвал,
Но как испуганный ребенок
Пред вами, помню, я стоял...
Куда уйти, куда бы скрыться,
С тоской глядел по сторонам.
По счастью (для чего таиться?),
Тогда я не поверил вам,
Да так не верю и поныне,
И только жду, — уж много лет! —
Пророк не слышится ль в пустыне?
Нейдет ли истинный поэт?..
Глашатай бога и природы,

Для тьмы непогасимый свет,
Кому он послан — те народы
И те века — им смерти нет!
Для всех грядущих — в нем наука,
И откровенье, и закон!
И в нем ни образа, ни звука
Не унесет поток времен;
Стоит спокойный, величавый,
Один, как солнце в небесах, —
И наши маленькие славы
Все гаснут при его лучах!

5 мая 1888

333. СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

Не начать ли нашу песнь, о братья,
Со сказаний о стариниых бранях, —
Песнь о храброй Игоревой рати
И о нем, о сыне Святославле!
И воспеть их, как поется ныне,
Не гоняясь мыслью за Бояном!
Песнь слагая, он, бывало, вещий,
Быстрой векшей по лесу носился,
Серым волком в чистом поле рыскал,
Что орел ширял под облаками!
Как воспомнит брани стародавни,
Да на стаю лебедей и пустит
Десять быстрых соколов вдогонку;
И какую первую настигнет,
Для него и песню пой та лебедь, —
Песню пой о старом Ярославе ль,
О Мстиславе ль, что в бою зарезал,
Поборов, касожского Редедю,
Аль о славном о Романе Красном...
Но не десять соколов то было —
Десять он перстов пускал на струны,
И князьям, под вещими перстами,
Сами струны славу рокотали!..

Поведем же, братия, сказанье
От времен Владимировых древних,
Доведем до Игоревой брани,
Как он думу крепкую задумал,
Наострил отвагой храброй сердце,
Распалился славиым ратным духом

И за землю Русскую дружину
В степь повел на ханов половецких.

У Донца был Игорь, только видит —
Словно тьмой полки его прикрыты,
И воззрел на светлое он Солнце —
Видит: Солнце — что двурогий месяц,
А в рогах был словно угль горящий;
В темном небе звезды просияли;
У людей в глазах позеленело.
«Не добра ждать», — говорят в дружине.
Старики поникли головами:
«Быть убитым нам или плененным!»
Князь же Игорь: «Братья и дружина,
Лучше быть убиту, чем плененну!
Но кому пророчится погибель —
Кто узнает, нам или поганым?
А посядем на коней на борзых
Да посмотрим синего-то Дону!»
Не послушал знаменья он Солнца,
Распалясь взглянуть на Дон великий!
«Преломить копье свое, — он кликнул, —
Вместе с вами, русичи, хочу я
На конце неведомого поля!
Или с вами голову сложити,
Иль испить златым шеломом Дону!»

О Боян, о вещий песнотворец,
Соловей времен давно минувших!
Ах, тебе б певцом быть этой рати!
Лишь скача по мысленному древу,
Возносясь орлом под сизы тучи,
С древней славой новую свивая,
В путь Троянов мчась чрез дол на горы,
Воспевать бы Игореву славу!

То не буря соколов помчала,
То не стаи галчьи побежали
Чрез поля-луга на Дон великий...
Ах, тебе бы петь, о внук Велесов!..

За Сулой-рекою да ржут кони,
Звон звенит во Киеве во стольном,

В Новеграде затрубили трубы,
Веют стяги красиые в Путивле...
Поджидает Игорь мила брата;
А пришел и Всеволод, и молвит:
«Игорь, брат, един ты свет мой светлый!
Святославли мы сыны, два брата!
Ты седлай коней своих ретивых,
А мои оседланы уж в Курске!
И мои куряне ль не смышлены!
Повиты под бранною трубою,
Повзросли под шлемом и кольчугой,
Со конца копья они вскормлёны!
Все пути им сведомы, овраги!
Луки туги, тулы отворёны,
Остры сабли крепко отточёны,
Сами скачут, словно волки в поле,
Алчут чести, а для князя славы!..»

И вступил князь Игорь во злат стремень,
И дружины двинулись за князем.
Солнце путь их тьмою заступало;
Ночь пришла — та взвыла, застонала
И грозою птиц поразбудила.
Свист звериный встал кругом по степи;
Высоко поднявшися по древу,
Черный Днв закликал, подавая
Весть на всю незиаемую землю,
На Сулу, на Волгу и Поморье,
На Корсуиь и Сурожское море,
И тебе, болван тмутороканский!
И бегут неезжими путями
К Дону тьмы поганых, и отвсюду
От телег их скрып пошел, — ты скажешь:
Лебедей испуганные крики.

Игорь путь на Дон великий держит,
А над ним беду уж чуют птицы
И несутся следом за полками;
Воют волки по крутым оврагам,
Ощетинясь, словно бурю кличут;
На красны щиты лисицы брешут,

А орлы своим зловещим клектом
По степям зверье зовут на кости...

А уж в степь зашла ты, Русь, далеко!
Перевал давно переступила!

Ночь редеет. Бел рассвет проглянул,
По степи туман понесся сизый;
Позамолкнул щекот соловьиный,
Галчий говор по кустам проснулся...
В поле Русь, с багряными щитами,
Длинным строем изрядилась к бою,
Алча чести, а для князя славы.

И в пяток то было: спозаранья
Потоптали храбрые поганых!
По полю рассыпавшись, что стрелы,
Красных дев помчали половецких,
Аксамиту, пáволок и злата,
А мешков и всяких узорочий,
Кожухов и юрт такую силу,
Что мосты в грязях мостили ими.
Всё дружине храброй отдал Игорь,
Красный стяг один себе оставил,
Красный стяг, серебряное древко,
С алой челкой, с белою хоругвью.

Дремлет храброе гнездо Олега.
Далеко, родное, залетело!
«Не родились, знай, мы на обиду
Ни тебе, быстр сокол, пестер кречет,
Ни тебе, зол ворон половчанин...»

А уж Гзак несется серым волком,
И Кончак за Гзаком им навстречу...

И в другой день полосой кровавой
Повещают день кровавый зори...
Идут тучи черные от моря,
Тьмой затмить хотят четыре солнца...

Синие в них молнии трепещут...
Грому быть, великому быть грому!
Лить дождю калеными стрелами!
Поломаться копьям о кольчуги,
Потупиться саблям о шеломы,
О шеломы половчан поганых!

А уж в степь зашла ты, Русь, далёко!
Перевал давно переступила!..

Чу! Стрибожьи чада понеслися,
Веют ветры, уж наносят стрелы,
На полкн их Игоревы сыплют...
Помутнлись, пожелтели реки,
Загудело поле, пыль поднялась,
И сквозь пыли уж знамена плещут...
Ото всех сторон враги подходят...
И от Дона, и от синя моря,
Обступают наших отовсюду!
Отовсюду бесовы исчадья
Понеслнся с гиканьем и криком.

Молча Русь, отпор кругом готовя,
Подняла щиты свои багряны.

Ярый тур ты, Всеволод! Стоишь ты
Впереди с курянами своими!
Прыщешь стрелами на вражьих воев,
О шеломы их гремишь мечами!
Где ты, буй-тур, ни поскачешь в битве,
Золотым посвечивая шлемом, —
Там валятся головы поганых,
Там трещат аварские шеломы
Вкруг тебя от сабель молодецких!
Не считает ран уж он на теле!
Да ему о ранах ли тут помнить,
Коль забыл он и Чернигов славный,
Отчий стол, честны пиры княжие
И своей красавицы княгини,

Той ли светлой Глебовны, утехи,
Милый лик и ласковый обычай!

Были веки темного Трояна,
Ярослава годы миновали;
Были брани храброго Олега...
Тот Олег мечом ковал крамолу,
Сеял стрелы по земле по Русской...
Затрубил он сбор в Тмуторокани:
Слышал трубы Всеволод Великий,
И с утра в Чернигове Владимир
Сам в стенах закладывал ворота...
А Бориса ополчила слава
И на смертный одр его сложила
На зеленом поле у Канина...
Пал млад князь, пал храбрый Вячеславич
За его ж, за Ольгову обиду!
И с того зеленого же поля,
На своих угорских иноходцах,
Ярополк увез и отче тело
Ко святой Софии в стольный Киев.
И тогда ж, в те злые дни Олега,
Сеялось крамолой и растилось
На Руси от внуков Гориславы;
Погибала жизнь Дажьбожьих внуков,
Сокращались веки человекам...
В дни те редко ратаи за плугом
На Руси покрикивали в поле;
Только враны каркали на трупах,
Галки речь вели между собою,
Далеко почуя мертвечину.

Так в те брани, так в те рати было,
Но такой, как Игорева битва,
На Руси не слыхано от века!

От зари до вечера, день целый,
С вечера до света реют стрелы,
Гремлют остры сабли о шеломы,
С треском копья ломятся булатны
Середи неведомого поля,
В самом сердце Половецкой степи!

Под копытом черное всё поле
Было сплошь засеяно костями,
Было кровью алою полито,
И взошел посев по Руси — горем!..

Что шумит-звенит перед зарею?

Скачет Игорь полк поворотити...
Жалко брата... Третий день уж бьются!
Третий день к полудню уж подходит:
Тут и стяги Игоревы пали!
Стяги пали, тут и оба брата
На Каяле быстрой разлучились...
Уж у храбрых русичей не стало
Тут вина кровавого для пира,
Попоили сватов, да и сами
Полегли за отческую землю!
В поле травы с жалости поникли,
Дерева с печали приклонились...

Невеселый час настал, о братья!
Уж пустыня скрыла поле боя,
Где легла Дажьбожья внука сила, —
Но над ней стоит ее Обида...
Обернулась девою Обида
И ступила нá землю Трояню,
Распустила крылья лебедины
И, крылами плещучи у Дона,
В синем море плеща, громким гласом
О годах счастливых поминала:

«От усобиц княжьих — гибель Руси!
Братья спорят: тó мое и это!
Зол раздор из малых слов заводят,
На себя куют крамолу сами,
А на Русь с победами приходят
Отовсюду вороги лихие!

Залетел далече ясный сокол,
Загоняя птиц ко синю морю, —

А полка уж Игорева нету!
На всю Русь поднялся вой поминок,
Поскочила Скорбь от весн к веси
И, мужей зовя на трнзну, мечет
Им смолой пылающие рогн...
Жены плачут, слезно причитают:
«Уж ни мыслью милых нам не смыслить!
Уж ни думой лад своих не сдумать,
Ни очами нам на них не глянуть,
Златом, сребром нам уже не звякнуть!»

Стонет Киев, тужит град Чернигов,
Широко печаль течет по Руси;
А князья куют себе крамолу,
А враги с победой в селах рыщут,
Собирают дань по белке с дыму...
А всё храбрый Всеволод да Игорь!
То они зло лихо разбудили:
Усыпил было его могучий
Святослав, князь Киевский великий...
Был грозой для хаиов половецких!
Наступил иа землю их полками,
Притоптал их холмы и овраги,
Возмутил их реки и озера,
Иссушил потоки и болота!
А того поганого Кобяка
Из полков железных половецких,
Словно вихрь, исторг из лукоморья, —
И упал Кобяк во стольный Киев,
В золотую гридню к Святославу...
Немцы, греки, и венецияне,
И морава хвалят Святослава,
И корят все Игоря, смеются,
Что на дне Каялы половецкой
Погрузил он русскую рать-силу,
Реку русским золотом засыпал,
Да на ней же сам с седла златого
На седло кощея пересажен»,

В городах затворены ворота.
Приумолкло на Руси веселье.
Смутен сон приснился Святославу.

«Снилось мне, — он сказывал боярам, —
Что меня на кипарисном ложе,
На горах, здесь в Киеве, ох, черным
Одевали с вечера покровом;
С синим мне вином мешали зелье;
Из поганых половецких тулов
Крупный жемчуг сыпали на лоно;
На меня, на мертвеца, не смотрят;
В терему ж золотоверхом словно
Из конька повыскочили доски;
И всю ночь прокаркали у Пленска,
Там, где прежде дебрь была Кисаня,
На подолье, стаи черных вранов,
Проносясь несметной тучей к морю...»

Отвечали княжие бояре:

«Ум твой, княже, полонило горе!
С злат-стола два сокола слетели,
Захотев испить шеломом Дону,
Поискать себе Тмуторокани.
И подсекли половцы им крылья,
А самих опутали в железа!
В третий день внезапу тьма настала!
Оба солнца красные померкли,
Два столба багряные погасли,
С ними оба тьмой поволоклися
И в небесных безднах погрузились,
На веселье ханам половецким,
Молодые месяцы, два света —
Володимир с храбрым Святославом!
На Каяле Тьма наш Свет покрыла,
И простерлись половцы по Руси,
Словно люты пардусовы гнезда!
Уж хула на славу нанеслася,
Зла нужда ударила на волю,
Черный Див повергнулся на землю,

Рад, что девы готские запели
По всему побрежью синя моря!
Золотом позванивают русским,
Прославляют Бусовы победы
И лелеют месть за Шарукана...
До веселья ль, княже, тут дружине!»

Изронил тогда, в ответ боярам,
Святослав из уст златое слово,
Горючьми слезами облитое:

«Детки, детки, Всеволод мой, Игорь!
Сыновцы мои вы дорогие!
Не́ в пору искать пошли вы славы
И громить мечами вражью землю!
Ни победой, ни пролитой кровью
Для себя не добыли вы чести!
Да сердца-то ваши удалые
На огне искованы на лютом,
Во отваге буйной закалёны!
Что теперь вы, дети, сотворили
С сединой серебряной моею?
Нет со мной уж брата Ярослава!
Он ли сильный, он ли многоратный,
Со своей черниговской дружиной!
А его могуты и татраны,
Топчаки, ревуги и ольберы,
Те с ножами, без щитов, лишь кликом,
Бранной славой прадедам ревнуя,
Побеждают полчища и рати...
Вы ж возмнили: сами одолеем!
Всю сорвем, что в будущем есть, славу,
Да и ту, что добыли уж деды!..

Старику б помолодеть не диво!
Вьет гнездо соко́л и птиц взбивает,
Своего гнезда не даст в обиду,
Да беда — в князьях мне нет помоги!
Времена тяжелые настали:
Крик в Ромнах под саблей половецкой!
Володимир ранами изъязвлен,
Стонет, тужит Глебович удалый...

Что ж ты, княже, Всеволод Великий!
И не в мысль тебе перелетети,
Издалёка поблюсти стол отчий?
Мог бы Волгу веслами разбрызгать,
Мог бы Дон шеломами расчерпать!
Будь ты здесь, да половцев толпою
Продавали б — девка по ногате,
Смерд-кощей по рéзани пошел бы!
Ведь стрелять и посуху ты можешь:
У тебя живые самострелы —
Двое братьев, Глебовичей храбрых!

Ты, буй Рюрик, ты, Давид удалый!
Вы ль с дружиной по златые шлемы
Во крови не плавали во вражьей?
Ваши ль рати не рычат по степи,
Словно туры, раненные саблей!
Ой, вступите в золотое стремя,
Распалитесь гневом за обиду,
Вы за землю Русскую родную,
За живые Игоревы раны!

Остромысл ты вещий, Ярославе...
Высоко на золотом престоле
Восседаешь в Галиче ты крепком!
Подпер ты своей железной ратью,
Что стеной, Карпатские угорья,
Заградив для короля дорогу,
Затворив ворота на Дунае,
Через тучи сыпля горы камней
И судя до самого Дуная!
И текут от твоего престола
По землям на супротивных грозы...
Отворяешь в Киеве ворота,
Мечешь стрелы зá земли в салтанов!..
Ах, стреляй в поганого кощея,
Разгроми Кончака за обиду,
Встань за землю Русскую родную,
За живые Игоревы раны!..

Ты, Роман, с своим Мстиславом верным!
Смело мысль стремит ваш ум на подвиг!

Ты, могучии, в замыслах высоко
Возлетаешь, что сокôл ширяя
На ветрах, над верною добычей...
Грудь у вас из-под латинских шлемов
Вся покрыта кольчатою сеткой!
Перед вами трепетали земли,
Потрясались Хиновские страны,
Деремела ж, половцы с литвою
И ятвяги палицы бросали
И во прах кидались перед вами!
Свет, о князь, от Игоря уходит!
Не на благо лист спадает с древа!
По Роси, Суле враг грады делит,
А полку уж Игорева нету!
Дои зовет, Роман, тебя на подвиг,
Всех князей сзывает на победу,
А одни лишь Ольговичи вняли
И на брань, на зов его, доспели...

Ингварь, Всеволод и вы, три брата,
Вы, три сына храброго Мстислава,
Не худа гнезда птенцы крылаты!
Отчин вы мечом не добывали —
Где же ваши шлемы золотые?
Аль уж нет щитов и ляшских палиц?
Заградите острыми стрелами
Ворота на Русь с широкой степи!
Потрудитесь, князи, в поле ратном
Все за землю Русскую родную,
За живые Игоревы раны!..

Уж не той серебряной струею
Потекла Сула к Переяславлю,
И Двина пошла уже болотом,
Взмущена врагом, под грозный Полоцк!
Услыхал и Полоцк крик поганых!
Изяслав булатными мечами
Позвонил один о вражьи шлемы,
Да разбил лишь дедовскую славу,
Сам сражен литовскими мечами
И изрублен на траве кровавой,
Под щитами красными своими!

И на том одре на смертном лежа,
Сам сказал: «Вороньими крыламн
Приодел ты, князь, свою дружину,
Полизать зверям ее дал крови!»
И один, без брата Брячислава,
Без другого — Всеволода-брата,
Изронил жемчужную он душу;
Изронил один, из храбра тела,
Сквозь свое златое ожерелье!..
И поникло в отчине веселье,
В Городне трубят печально трубы...

Все вы, внуки грозного Всеслава,
Опустите ваши красны стяги
И в ножны мечи свои вложите:
Вы из дедней выскочили славы!
В ваших сварах первые вы стали
Наводить на отчий край поганых!
И от вас, не лучше половецких,
Таковы ж насилья были Руси!
Загадал о дедине любезной
Тот Всеслав, на Киев жребий бросил,
На коня вскочил он и помчался,
Да лишь древком копия добился
До его престола золотого!
В ночь бежал оттуда лютым зверем,
Синей мглой из Белграда поднялся,
Утром бил уж стены в Новеграде,
Ярослава славу порушая...
Проскочил оттуда серым волком,
От Дудуток на реку Немигу...
Не снопы то стелют на Немиге —
Человечьи головы кидают!
Не цепами молотят — мечами!
Жизнь на ток кладут и веют душу,
Веют душу храбрую от тела!
Ох, не житом сеяны — костями
Берега кровавые Немиги,
Всё своими русскими костями!..
Днем Всеслав суды судил народу
И ряды рядил между князьями,

В ночь же волком побежит, бывало,
К петухам в Тмуторокань поспеет,
Хорсу путь его перебегая!
Да! ему заутреню, бывало,
Зазвонят у Полоцкой Софии,
Он же звон у Киевской уж слушал.
А хотя и с вещею душою
Был, великий, в богатырском теле,
Всё ж беды терпел-таки немало!
Про него и спел Боян припевку:
«Будь хитер-горазд, летай хоть птицей,
Всё суда ты божьего не минешь!»

Ох, стонать земле великой Русской,
Про князей воспоминая давних,
Вспоминая прежнее их время!
Да нельзя ж ведь было пригвоздити
Ко горам ко Киевским высоким
Старика Владимира навеки!
По рукам пошли его знамена
И уж розно машут бунчуками,
Розно копья петь пошли по рекам!»

Игорь слышит Ярославнин голос...
Там, в земле незнаемой, поутру
Раным-рано ласточкой щебечет:
«По Дунаю ласточкой помчусь я,
Омочу бебрян рукав в Каяле,
Оботру кровавы раны князю
На белом его могучем теле!..»

Там она, в Путивле, раным-рано
На стене стоит и причитает:

«Ветр-ветрило! что ты, господине,
Что ты веешь, что на легких крыльях
Носишь стрелы в храбрых воев лады!
В небесах, под облаки бы веял,
По морям кораблики лелеял,

А то веешь, веешь — развеваешь
На ковыль-траву мое веселье...»

Там она, в Путивле, раным-рано
На стене стоит и причитает:

«Ты ли, Днепр мой, Днепр ты мой Славутич!
По земле прошел ты Половецкой,
Пробивал ты каменные горы!
Ты ладьи лелеял Святослава,
До земли Кобяковой носил их...
Прилелей ко мне мою ты ладу,
Чтоб мне слез не слать к нему с тобою
По сырым зорям на сине море!»

Рано-рано уж она в Путивле
На стене стоит и причитает:

«Светлое, трисветлое ты Солнце,
Ах, для всех красно, тепло ты, Солнце!
Что ж ты, Солнце, с неба устремило
Жаркий луч на лады храбрых воев!
Жаждой их томишь в безводном поле,
Сушишь-гнешь несмоченные луки,
Замыкаешь кожаные тулы...»

Сине море прыснуло к полночи,
Мглой встают, идут смерчи морские:
Кажет бог князь Игорю дорогу
Из земли далекой Половецкой
К золотому отчему престолу.

Погасают сумерки сквозь тучи...
Игорь спит — не спит, крылатой мыслью
Мерит поле ко Донцу от Дона.
За рекой Овлур к полночи свищет,
По коия он свищет, повещает:
«Выходи, князь Игорь, из полона».

Ветер воет, проносясь по степи,
И шатает вежи половецки;

Шелестит-шуршит ковыль высокий,
И шумит-гудит земля сырая...
Горностаем скок в тростник князь Игорь,
Что бел гоголь по воде ныряет,
На быстра добра коня садится;
По лугам Донца что волк несется;
Что сокол летит в сырых туманах,
Лебедей, гусей себе стреляет
На обед, на завтрак и на ужин.

Что сокол летит князь светлый Игорь,
Что сер волк Овлур за ним несется,
Студену росу с травы стряхая.
Уж лихих коней давно загнали.

Вран не каркнет, галчий стихнул говор,
И сорочья стрекота не слышно.
Только дятлы ползают по ветвям,
Дятлы тёктом путь к реке казуют,
Соловьин свист зори повещает...

Говорит Донец: «Ох, князь ты Игорь!
Величанья ж ты себе да добыл,
А Кончаку всякого проклятья,
Русской всей земле светла́ веселья!»

Отвечал Донцу князь светлый Игорь:
«Донче, Донче, ты ли, тихоструйный!
И тебе да будет величанье,
Что меня ты на волнах лелеял,
Зелену траву мне стлал в постелю
На своем серебряном побрежьи,
Теплой мглою на меня ты веял
Под темно́й зеленою ракитой,
Серой уткой сторожил на русле,
На струях — чирком, на ветрах — чайкой...
Вот Стугна, о Донче, не такая!
Как пожрет-попьет ручьи чужие,
По кустам, по долам разольется...
Ростислава-юношу пожрала,
На Днепре ж, на темном побережьи,
Плачет мать по юноше, по князе;

Приуныли с жалости цветочки,
Дерева с печали приклонились...»

Не сороки — чу! — застрекотали:
Едут Гзак с Кончаком в злу погоню.

Молвит Гзак Кончаку на погоне:
«Коль сокол к гнезду летит, урвался,
Уж мла́да соколика не пустим,
А поставим друга в чистом поле,
Расстреляем стрелами златыми».

И в ответ Кончак ко люту Гзаку:
«Коль сокол к гнезду летит, урвался,
Сокольца опутаем потуже
Крепкой цепью — красною девицей».

Гзак в ответ Кончаку слово молвит:
«Коль опутать красною девицей,
Не видать ни сокольца младого,
Не видать ни красной нам девицы;
А их детки бить почнут нас в поле,
Здесь же, в нашем поле Половецком».

Стародавних былей песнотворец,
Ярослава певший и Олега,
Так-то в песне пел про Святослава:
«Тяжело главе без плеч могучих,
Горе телу без главы разумной».
И земле так горько было Русской
Без уда́ла Игоря, без князя...
Ан на небе солнце засветило:
Игорь-князь в земле уж скачет Русской.
На Дунае девицы запели —
Через море песнь отдалась в Киев.
Игорь едет, на Боричев держит,
Ко святой иконе Пирогощей.
В селах радость, в городах веселье;
Все князей поют и величают,
Перво — старших, а за ними — младших.

Воспоем и мы: свет Игорь — слава!
Буй-тур свету Всеволоду — слава!
Володимир Игоревич — слава!
Святославу Ольговичу — слава!
Вам на здравье, князи и дружина,
Христиан поборцы на поганых!

Слава князьям и дружине!
Аминь.

1866—1870

ПОЭМЫ

334. ТРИ СМЕРТИ

Лирическая драма

ПОСВЯЩАЕТСЯ
НИКОЛАЮ АПОЛЛОНОВИЧУ
МАЙКОВУ

Поэт Лукан, философ Сенека и эпикуреец Люций приговорены Нероном к казни, по поводу Пизонова заговора.

Комната в античном вкусе; посредине стол с яствами; около него Люций, эпикуреец, один, как следует, возлежит за обедом. Сенека пишет завещание. Лукан в глубокой задумчивости. В углублении сцены группа друзей и учеников Сенеки.

Люций

(омыв после еды руки водою в чаше, поданной рабом, говорит)

Мудрец отличен от глупца
Тем, что он мыслит до конца.
И вот — я долго наблюдаю
И нахожу, что смерть разит
Всего скорее аппетит.
Я целый час жую, глотаю,
Но всё без вкуса — и не сыт!..
Вина попробуем! Быть может,
Живая Вакхова струя
Желудок дремлющий встревожит...
Ну, кто же пьет со мной, друзья?
Лукан!.. да ты как в лихорадке!
В Сенеке строгий стоицизм
Давно разрушил организм!
И если вы в таком упадке —
Не мудрено, что в этот час
Мой здравый разум бесит вас!

Лукан

В час смерти шутки неприличны!

Люций

Но лучше умереть шутя,
Чем плакать, рваться, как дитя,
Без пользы!

Лукан

Мнения различны!
Кто жизнь обжорству посвятил,
Тот потеряет с ней немного!

Люций

Э, милый! не суди так строго!
Я, признаюсь, еще б пожил
И неохотно умираю...
Но, чтобы с честью этот шаг
Свершить, — в твоих, мой друг, стихах
Себе отваги почерпаю.
«Посланье к смерти» помнишь ты?
В нем есть высокие черты!
С скелета смерти снял ты смело
Земной фантазии цветы...
Ты помнишь:

(декламирует)

«Друзья! нам смерть страшна лишь чем?
Всё кажется, что не совсем,
Не разом мы умрем,

Что будем видеть мы свой труп,
Улыбку неподвижных губ,
Глаза с тупым зрачком;

А мухи стаей по лицу,
Без уваженья к мертвецу,
И по лбу поползут;

И с содроганьем от тебя
Родные, близкие, друзья
В испуге отойдут...»

Лукан

Ужасный образ! Как я мог!..

Люций

Позволь! В конце — благой урок.

(Читает далее.)

«Что даже из земли сырой
За резвой жизнию земной
Следить твой будет слух;

И между тем как над тобой
Весна покров расстелет свой
И запестреет луг —

Червь на тебя уж нападет
И жадно есть тебе начнет
И щеки, и бока...»

Лукан
(перебивая его)

Да перестань!

Люций
(продолжает)

«И будешь вечно рваться ты
На свет из душной темноты —
Да крышка-то крепка!

Но, смертный, знай: твой тщетен страх,
Ведь на твоих похоронах
Не будешь зритель ты!

Ведь вместе с дружеской толпой
Не будешь плакать над собой
И класть на гроб цветы;

По смерти стал ты вне тревог,
Ты стал загадкою, как бог,
И вдруг душа твоя,

Как радость, встретила покой,
Какого в жизни нет земной, —
Покой небытия!»

Ведь превосходно! Эпиктетом
Проникнут живо каждый стих!
Прошу покорно — верь поэтам!
Мечты и верованья их
Подвижней тучек золотых!..
Вы все на колокол похожи,
В который может зазвонить
На площади любой прохожий!
То смерть зовет, то хочет жить,
То снова к жизни равнодушен...
Задача, право, вас понять!..

Лукан

(вспыхнув)

Что ж этим хочешь ты сказать?
Что ветрен я и малодушен?..

Сенека

(переставая писать, удерживает Лукана)

Оставьте спор! Прилично ль вам
Безумным посвящать речам
Свои последние мгновенья!
Смерть — шаг великий!

(К Люцию.)

Верь, мой друг,
Есть смысл в Платоновом ученье —
Что это миг перерожденья.
Пусть здесь убьет меня недуг, —
Но, как мерцание Авроры,
Как лилий чистый фимиам,
Как лир торжественные хоры,
Иная жизнь нас встретит — там!
В душе, за сим земным пределом,
Проснутся, выглянут на свет
Иные чувства роем целым,
Которым органа здесь нет.
Мы — боги, скованные телом,
И в этот дивный перелом,
Когда я покидаю землю,
Я прежний образ свой приемлю,
Вступая в небо — божеством!

Люций

Я спорить не хочу, Сенека!
Но отчего так создан свет,
Что где хоть два есть человека —
И два есть взгляда на предмет?
Твое, как молот, сильно слово —
Но убеждаюсь я в ином...
Существования другого
Не постигаю я умом!
Взгляни на лавры вековые:
Их листья, каждый в свой черед,
Переменяются что год —
Одни спадут, взойдут другие,
А лавр всё зелен, вечно свеж,
И листья будто вечно те ж...
Вот так и мы — Лукан, Сенека,
Слуга покорный ваш — умрет...
Отпадший лист! Но заживет,
Как прежде, племя человека!
Иной появится певец,
Другие будут жить и вздорить,
Страдать, любить, о том же спорить,
О чем и мы с тобой, мудрец!..
Но пусть по смерти жить мы будем!
(Тебе готов я уступить!)
А всё себя мы не принудим
Без сожаленья кончить жить!
Нам неприятна перемена.
Вот что мне кто-то говорил:
На острове каком-то жил
Философ секты Диогена.
Он в бедном рубище ходил,
Спал, где пришлось прилечь к сараю,
Босой, с клюкой, нужда кругом...
Каким уж случаем, не знаю,
Всему вдруг вздумалося краю
Его избрать своим царем.
Что ж? Царский пурпур одевая
И тряпки ветхие скидая,
О них вздохнул он тяжело
И пожалел удел убогой,

Сказав: ведь было же тепло
Под сей цинической тогой!
Не то же ль с жизнию земной?
Достигши вечного предела,
Жалеешь бросить это тело —
Покров убогий и худой!
Ты говоришь, что мы одною
С богами жизнью заживем?
Да лучше ль нам? Ну, как порою,
Смотря, как мы свой век ведем,
Богини с грозными богами,
Как волки, щелкают зубами!
Смотря, как смертный ест и пьет
И с смертной тешится любезной,
Они, быть может, бесполезно
Крепясь, облизывают рот!
Что мне в их жизни без волнений?
Мирами, что ли, управлять?
В иих декорации менять,
И, вместо всяких развлечений,
Людьми, как шашками, играть,
И, как актерами плохими,
Отнюдь не увлекаться ими,
Ни скучной пьесой!.. Нет! клянусь,
Я в боги вовсе не гожусь...

Лукан

Нет! не страшат меня загадки
Того, что будет впереди!
Жаль бросить славных дел начатки
И всё, что билося в груди,
Что было мне всего дороже,
Чему всю жизнь я посвятил!
Мне страшно думать — для чего же
Во мне кипело столько сил?
Зачем же сила эта крепла,
Росла, стремилась к торжествам?
Титан, грозивший небесам,
Ужели станет горстью пепла?
Не может быть! Где ж смысл в богах?
Где высший разум? Провиденье?
Вдруг человека взять в лесах,

Возвысить в мире, дать значенье,
И вдруг — разбить без сожаленья,
Как форму глиняную, в прах!..
Ужели с даром песен лира
Была случайно мне дана?
Нет, в ней была заключена
Одна из сил разумных мира!
Народов мысли — образ дать,
Их чувству — слово громовое,
Вселенной душу обнимать
И говорить за всё живое —
Вот мой удел! Вот власть моя!
Когда для правды бесприютной,
В сердцах людей мелькавшей смутно,
Скую из слова образ я,
И тут врагов слепая стая
Его подхватит, злясь и лая,
Как псы обглоданную кость, —
Всё, что отвергнуто толпою
Всё веселилося со мною,
Смотря на жалкую их злость!..
А злоба мрачных изуверов,
Ханжей, фигляров, лицемеров,
С которых маски я сбивал?
Дитя — их мучил и пугал!
Столпов отечества заставить
Я мог капризам льстить моим —
Тем, что я их стихом одним
Мог вознести иль обесславить!
С Нероном спорить я дерзал —
А кто же спорить мог с Нероном!
Он ногти грыз, он двигал троном,
Когда я вслед за ним читал,
И в зале шепот пробегал...
Что ж? не был я его сильнее,
Когда, не властвуя собой,
Он опрокинул трон ногой
И вышел — полотна белее?
Вот жизнь моя! и что ж? ужель
Вдруг умереть? и это — цель
Трудов, великих начинаний!..
Победный лавр, венец желаний!..

О, боги! нет! не может быть!
Нет! жить, я чувствую, я буду!
Хоть чудом — о, я верю чуду!
Но должен я и — буду жить!

Входит центурион со свитком в руке.

Люций

(указывая на центуриона)

Вот и спаситель! Ну! покуда
Тут нет еще большого чуда.

(К центуриону.)

Какие новости?

Центурион

(подавая ему свиток)

Декрет
Сената.

Люций

Други! шлет привет
Сенат к нам! Уваженье к власти!

Лукан

Читай!

Люций

Стой! Кто решит вперед —
Жизнь или смерть? Заклад идет?

Лукан

Я б разорвал тебя на части
За эти шутки!

Вырывает свиток и читает декрет, в котором, между прочим, сказано, что Цезарь, в неизреченной милости своей, избавляет их от позорной казни, дарует им право выбрать род смерти и самим лишить себя жизни; сроку до полуночи. Центурион обязан наблюсти за исполнением декрета и о последующем донести.

Люций

Недурен слог. Писать умеют.

Лукан

Злодеи! Изверги!

Люций

Притом
Приличье тонко разумеют —
Что одолжаться палачом
Неблагородно человеку...

(К центуриону.)

Но что ты смотришь на Сенеку?

Лукан

Ты тронут! Ты потупил взгляд!
В твоем лице следы смущенья!
О, верь мне, то богов внушенье!
Спаси нам жизнь! Благословят
Тебя народы! Пред тобою
Мудрец с маститой сединою —
Он чист, как дева, как Сократ!

Центурион

Мой долг...

Лукан

Твой долг! А жить без славы!
Для дикой прихоти губя
Людей, отечество, себя,
Прожить слепцом в грязи кровавой!
О, если долг в твоей груди
Не всё убил, то отведи
Меня в Сенат! Как с поля битвы
Пред смертью ратнику, сказать
Дай мне последние молитвы!
Дай мне пред смертью завещать
Без лжи, перед лицом вселенной,
Всё, что привык я неизменной,
Святою истиной считать!

Центурион, не обращая внимания на Лукана, удаляется в глубину комнаты. Лукан продолжает в сильном волнении.

Я им скажу: в них чести нет!
В них ум какой-то мглой одет!
Для них отечество и слава —
Речей напыщенных приправа!
Величие народа в том,
Что носит в сердце он своем;

Убив в нем доблести величье,
Заставив в играх и пирах
Забыть добра и зла различье,
В сердца вселяя только страх,
От правды казнью ограждаясь
И пред рабами величаясь,
Они мечтают навсегда
Избегнуть кары и суда...
Я им скажу: готовят сами
Свой приговор себе они!
Что, упоенные льстецами
И мысля в мире жить одни,
Себе статуи воздвигают,
Как божества, на площадях...
Но век их минет: разломают,
С проклятием растопчут в прах
Отцов статуи их же дети!
Детей проклятий ряд столетий
Не снимет с головы отцов...

Сенека

Лукан! оставь, оставь слепцов!

Люций

Пришла ж охота на циклопов,
На двуутробок и сорок
Взглянуть пред смертью! Взять урок
У них дилемм, фигур и тропов!

Лукан

Но как без боя всё отдать!..
Хотя б к народу мне воззвать!
Певец у Рима умирает!
Сенека гибнет! И народ
Молчит!.. Но нет, народ не знает!
Народу мил и дорог тот,
Кто спать в нем мысли не дает!

Люций

Да, мил, как бабочка ночная,
Покуда крыльев не ожжет,
Через огонь перелетая...

Народ твой первый же потом
И назовет тебя глупцом.

Лукан

(закрыв лицо руками)

Но Цезарь! .. Мы ведь с ним когда-то
Росли, играли, как два брата!
Он вспомнит время детских игр
И приговор свой остановит...
В нем сердце есть... Ведь он не тигр...
Рим часто попусту злословит...
Что я ему? Мои мечты
Да песни — все мои заботы! ..

Люций

Мой бедный мальчик, с жизнью счеты
Еще не кончил, видно, ты!

Один из учеников Сенеки входит в комнату. С ним раб. Он говорит шепотом.

Ученик

Друзья, чур тише, — я с надеждой!

Лукан

Прощенье? ..

Ученик

В доме выход есть;
Со мной две женские одежды.
Пробраться к Тибру, в лодку сесть —
И в Остию! Беги с Луканом,
А я останусь здесь с рабом.
Лукан с ним сходен видом, станом,
Я сед, гляжу уж стариком...
Бегите! Время есть до срока.
И вы уж будете далеко,
Как нас найдут здесь поутру.

Лукан

Я говорил, что не умру!

Сенека

Беги, Лукан! Мне с сединою
Нейдет уж бегать от врагов.

Люций

А жаль! я б посмотрел, каков
Ты в юбке! ..

Ученик

Гибель пред тобою!
Смерть в каждом доме! Целый Рим —
Что цирк. Людей травят зверями.
Постум убит рабом своим;
Пизон вскрыл жилы. Под досками
Раздавлен Кай. Чего ж вам ждать?

Сенека

Мой друг, не дважды умирать!
Раз — это праздник!

Ученик

Но с тобою
Погибнет всё! Ты много нам
Не досказал!

Сенека

Найдешь и сам
Всё, что осталося за мною, —
Лишь мысли, истину любя.

Лукан

Учитель! я молю тебя!

Ученик

Ведь ты последняя лампада
Во мраке лжи!

Сенека

Оставь меня.
Ни просьб, ни лести мне не надо.
Верь, каждый шаг свой — знаю я!

Ученик

Я это знал... я знал тебя!
О, горе! Что же будет с нами! ..

Жить в мраке, плача и скорбя,
Что свет мелькнул перед глазами —
И скрылся! .. Ты душой высок!
Ты недоступен нам, Сенека!
Ах, правда, в сердце человека
Есть нечто высшее, есть бог! ..
Сейчас я видел — и смущеньем
Я поражен как мальчик был...
Я через форум проходил.
С каким-то диким изумленьем
Народ носилки окружил.
В иосилках труп Эпихариды...
(Под видом праздников Киприды
Пизон друзей сбирал к ней в дом.)
Вчера она, под колесом,
В жестоких муках, не винилась
И иикого не предала! ..
Трещали кости, кровь текла...
В носилках петлю изловчилась
Связать платком — н удавилась.
Воскликнул сам центурион:
«В рабынь вселился дух Катонов!»
А Рим? Сенат? Весь обращен
Иль в палачей, или в шпионов!

Лукан

Эпихарида!

Ученик

Да, она —
Душа безумных сатурналий!

Лукан

И ты хотел, чтоб мы бежали!

Люций

Бывают, точно, времена
Совсем особенного свойства.
Себя ие трудно умертвить,
Но, жизнь поняв, остаться жить —
Клянусь, немалое геройство!

Лукан

И смерть в руках ее была
Для целой половины Рима —
И никого не предала!
А жить бы в золоте могла!
На площадях боготворима
В меди б и в мраморе была,
Как мать отечества! .. О, боги!
Сенека! и взглянуть стыжусь
На образ твой, как совесть, строгий!
Да разве мог я жить как трус?
Нет, нет! Клянусь, меня не станут
Геройством женщин упрекать!
Последних римлян в нас помянут!
Ну, Рим! тебе волчица — мать
Была! Я верю... В сказке древней
Есть правда... Ликтор! я готов...
Я здесь чужой в гнилой харчевне
Убийц наемных и воров!
Смерть тяжела лишь для рабов!
Нам — в ней триумф.

(Обнимает Сенеку и друзей и говорит, подняв глаза к небу.)

О боги! боги!
Вы обнажили предо мной
Виденья древности седой
И олимпийские чертоги,
Затем чтоб стих могучий мой
Их смертным был провозвещатель! ..
Теперь стою я, как ваятель
В своей великой мастерской.
Передо мной — как исполины —
Недовершенные мечты!
Как мрамор, ждут они единой
Для жизни творческой черты...
Простите ж, пышные мечтанья!
Осуществить я вас не мог! ..
О, умираю я, как бог
Средь начатого мирозданья!

Лукан, обняв Сенеку и Люция, уходит, сопровождаемый ликторами.

Сенека

(хочет за ним следовать, но останавливается на движение бросившихся к нему учеников и, проведя рукою по челу, говорит тихо и торжественно)

Одну имел я в жизни цель,
И к ней я шел тропой тяжелой.
Вся жизнь моя была доселъ
Нравоучительною школой;
И смерть есть новый в ней урок,
Есть буква новая, средь вечной
И дивной азбуки, залог
Науки высшей, бесконечной!
Творец мне разум строгий дал,
Чтоб я вселенную изведал
И, что в себе и в ней познал,
В науку б поздним внукам предал;
Послал он ввстречу злобу мне,
Разврат чудовищный и гнусный,
Чтоб я, как дуб на вышине,
Средь бурь, окреп в борьбе искусной,
Чтоб в массе подвигов и дел
Я образ свой напечатлел...
Я всё свершил. Мой образ вылит.
Еще резца последний взмах —
И гордо встанет он в веках.
Резец не дрогнет. Не осилит
Мне руку страх. Здесь путь свершен, —
Но дух мой, жизнию земною
Усовершен и умудрен,
Вступает в вечность... Предо мною
Открыта дверь — и вижу я
Зарю иного бытия...

Друзья с воплями обнимают колена философа. Смотря на них, он продолжает.

Жизнь хороша, когда мы в мире
Необходимое звено,
Со всем живущим заодно,
Когда не лишний я на пире,
Когда, идя с народом в храм,
Я с ним молюсь одним богам...
Когда ж толпа, с тобою розно,

Себе воздвигнув божество,
Следит с какой-то злобой грозной
Движенья сердца твоего,
Когда указывает пальцем,
Тебя завидев далеко, —
О, жить отверженным скитальцем,
Друзья, поверьте, нелегко:
Остатки лучших поколений,
С их древней доблестью в груди,
Проходим мертвые, как тени,
Мы как шуты на площади!
И незаметно ветер крепкий
Потопит нас среди зыбей,
Как обессмысленные щепки
Победоносных кораблей...

Наш век прошел. Пора нам, братья!
Иные люди в мир пришли,
Иные чувства и понятья
Они с собою принесли...
Быть может, веруя упорно
В преданья юности своей,
Мы леденим, как вихрь тлетворный,
Жизнь обновленную людей.
Быть может... истина не с нами!
Наш ум ее уже неймет,
И ослабевшими очами
Глядит назад, а не вперед,
И света истины не видит,
И вопиет: «Спасенья нет!»
И, может быть, иной придет
И скажет людям: «Вот где свет!»
Нет! нам пора! .. Открой мне жилы! ..
О, величайшее из благ —
Смерть! ты теперь в моих руках! ..
Сократ! учитель мой! друг милый!
К тебе иду! ..

(Уходит, сопровождаемый учениками.)

Люций

Ты кончил хорошо, Сенека!
И славно выдержал! .. Ну, вот —

Героем меньше! .. Злость берет,
Как поглядишь на человека!
Что ж из того, что умер ты?
Что духом до конца не падал?
Для болтовни, для клеветы
Ты Риму разговоров задал
Дня на два! Вот и подвиг твой!

(Смотрит в окно на небо и дальние горы.)

Как там спокойно! Горы ясны...
Вот так и боги безучастно
С небес глядят на род людской!
Да что и видеть? ..
(Оглядывается в комнату.)
Здесь ужасно
И жить, не только умирать!
А жить осталося не много...
Что ж пользы Немезиде строгой
Час лишний даром отдавать?
Для дел великих отдых нужен,
Веселый дух и — добрый ужин...
По смерти слава — нам не в прок!
И что за счастье, что когда-то
Укажет ритор бородатый
В тебе для школьников урок! ..
До тайн грядущих — нет мне дела!
И здесь ли кончу я свой век
Иль будет жить душа без тела —
Всё буду я не человек! ..
Ну, а теперь, пока я в силе,
С почетом отпустить могу
Я тело — старого слугу...
Эй, раб!

Входит раб.

Люций

В моей приморской вилле
Мне лучший ужин снаряди,
В амфитеатре, под горами.
Мне ложе убери цветами;
Балет вакханок приведи,
Хор фавнов... лиры и тимпаны...
Да хор не так, как в прошлый раз:

Пискун какой-то — первый бас! ..
В саду открой везде фонтаны;
Вот ключ: там в дальней кладовой
Есть кубки с греческой резьбой, —
Достань. Да разошли проворно
Рабов созвать друзей... Пускай,
Кто жив, тот и придет. Ступай
К Марцеллу сам. Проси покорно,
Хранится у него давно
Горацианское вино.
Скажи, что господин твой молит
Не отказать ему ни в чем,
Что нынче — умирать изволит!
Ну, всё... ты верным был рабом
И не забыт в моей духовной.

Раб упадает к его ногам.

Да не торгуйся, не скупись —
Чтоб ужин вышел баснословный! ..
Да! главное забыл... Стучись
В палаты Пирры беззаботной!
Снеси цветов корзины ей,
И пусть, смеяся безотчетно,
Она ко мне, весны светлей,
На ужин явится скорей.

Раб уходит.

И на коленях девы милой
Я с напряженной жизни силой
В последний раз упьюсь душой
Дыханьем трав, и морем спящим,
И солнцем, в волны заходящим,
И Пирры ясной красотой! ..
Когда ж пресыщусь до избытка,
Она смертельного напитка,
Умильно улыбаясь, мне,
Сама не зная, даст в вине,
И я умру шутя, чуть слышно,
Как истый мудрый сибарит,
Который, трапезою пышной
Насытив тонкий аппетит,
Средь ароматов мирно спит.

⟨1861⟩

335. СТРАННИК

ПОСВЯЩАЕТСЯ Ф. И. ТЮТЧЕВУ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Гриша, двадцати лет.
Странник, сорока пяти лет.
Нищий.

Страннопримная келья при купеческом раскольничьем доме, на фабрике, близ большого села. В келье стол, лавки, образа старого письма, лампадка.

Гриша

(один стоит в раздумьи)

Как он войдет, то прямо объявлюся:
«Аз грешный, мол, во тьме заблудший, свету
Желающий!.. Отверзи мне источник
Премудрости твоей, бо алчу, отче,
Я твоего учительского слова...»
Так и скажу ему, как затвердил!
А тут пока прибраться...

(Оглядывает келью.)

Ишь, подушку
Откинул он и положил поленце...
Голубчик! Снял ведь и соломку с лавки!
Пошел с своей посудинкой на речку...
Вот с лишком две недели: всю-то ночь
На правиле стоит, а днем читает...
И как себя-то соблюдает строго!
Раз отдохнуть прилег: вдруг едет тройка,
Да с песнями, — и кинулся молиться
Да час иль два поклоны клал земные...

Что, если б знал он, что я тут же, подле,
Из каморы своей смотрю всё в щелку?
Что ж! разве я то делаю для худа?
Томлюся я, что Даниил во рву...
Горе всечасно обращаю очи —
Не явится ль господень светлый ангел!
Да нет, не сходит!..

(Поправляет лампадку на полке, где видит книги.)

Вот книги-то его!..
Евфимиев *Цветник*... Да нешто он
Из бегунов?.. А это Аввакума
Послания... Как ведь писал, страдалец!

(Открывает книгу и читает.)

«У греков такожде пропала вера.
С поганым турком потурчали: пьют
Табак, приходят в церковь в шапках; жены
Того скверней, — им церковь яко место
Соблазна: груди голы, очи дерзки.
Сам патриарх браду обрил и с турком
Ест рафленых курей с единa блюда.
Нет, русачки мои не таковы!
В огонь скорее, миленькие, внидут,
А благоверия не предадут».
Воистину сказал: «Не предадут!»

(Перевертывает несколько страниц и читает.)

«К тебе, о царь, пред смертью из темницы
Я, как из гроба, ныне вопию:
Опомнися! Покайся!.. Изболело
Мое всё сердце по тебе, царю!
О душеньке своей попомни, милый!
Слукавили лгуны перед тобою!
Какие ж мы еретики, помысли!
Порушили ль мы где уставы церкви?
Вели престать нас звать бунтовщиками:
Мы пред твоим величеством, голубчик,
Ниже в малейшем не повинны! Токмо
Что о душе печемся, бога ради...»

Слыша шаги, поспешно кладет книгу на место и становится к стене. Входит странник, несет бурак с водою; проходит мимо Гриши, не замечая его и продолжая богомыслие.

Странник

Из глубины паденья моего,
О господи, к тебе взываю, грешный!
Вонми моим рыданиям и призри
С высот твоих, есмь немощен и шаток,
И дух мой, аки вал морской, всечасно
То в небеса пред светлый лик твой рвется,
То падает во ад кромешный паки! ..

(Ставит бурак на стол, достает медный складень и готовится стать на правило.)

Гриша

(робко подходя к нему)

Не прогневись, благоутробный отче:
Аз грешный... аз, учительского слова
Из уст твоих желающий услышать...

Странник

Ох, что ты, сыне? .. Мне ль учительское слово
Кому держать! И сам бы поучился
От мудрого! Сам возлюбил бы плеть
Духовную от праведного мужа!

Гриша

Позволь с тобой на правило мне стать!

Странник

Нельзя!

Гриша

Я тоже старой веры, отче!

Странник

Что ж старой? Все вы нынче — пестряки!

(Садится.)

Да! благодать давно взята на небо!
Вселенная пуста, и стадо верных
День ото дня в миру оскудевает! ..
Ты грамотный?

Гриша

Почитываю книги,
Да одному не всё-то в них понятно!

У нас народ на фабрике всё буйный
И токмо что рекутся староверы.
Вот иногда у постояльцев спросишь, —
Да знающих не много между ними.

Странник

Коль грамотен еси, то прочитал ли
И помнишь ли, что писано о верных?

(Читает наизусть.)

Егда Христос приидет паки в мир,
Обрящет ли свою он веру чисту?
Он приидет в великие хоромы
С златым шатром, с подзоры и убрусы;
Покои ж багрецом наряжены;
И в тех покоях восседят мужи,
Во ферязях, сырцом и златом шитых;
А на столе и лебедь, и журавль,
И сахары, и всякое печенье,
И, жемчугом унизаны, подносят
Вина им в сребряных сосудах жены,
И поклоняются им, и лобзают,
Греховной срамоты не убояся,
Усты в уста. Он скажет: «Блудодеи
Вси суть они, и не мои суть овцы!»
Он приидет к властям, к архиереям;
Узрит: един с блистанием на митре
И злата, и жемчужных херувимов,
И бархатом на мантии кичася,
На башмаках же крест Христов имея,
Чтоб скверными топтать его ногами;
И вкруг синклит его, попы и мнихи,
И римские певцы, партесным пеньем
Не божью, а его поющи славу;
И все думцы его в парчах и камиях,
Окрест его седяще полукругом;
И купно всем собором измышляют
Погибель христианству, наказуя
По всей стране противящихся им
Во срубах жечь, и вешать на крюки,
И зарывать живых по перси в землю;
Он скажет: «Се не пастыри, а волки!»

В пустынях лишь, в лесу, забегших в горы
Найдет подвижников: им же молитва —
Кормленье, слезы — утоленье жажды,
И беса посрамление — веселье,
Гоненние — сговóр, а смерть — невеста...
И скажет он: «Со мною вы пребысте,
И с вами аз, отныне и вовеки».

Гриша

(в умиленьи)

Ты наизусть святые книги знаешь!
Вот всю бы ночь, кажись, тебя прослушал!

Странник

Великий змий вселенную обвил
И царствует... Про змия-то читаем:
«И было зримо, како по ночам
Сей змий, уста червлены, брюхо пестро,
Ко храмине царевой подползал,
И царское оконце отворялось,
Царь у окна сидел, а змий, вздымаясь
По лестнице клубами, подымался
Вверх до окна и голову свою
Великому царю клал на плечо.
(И так он был огромен, что лежал
По лестнице всем туловищем темным,
А хвост еще из патриаршей сени
Не вылезал.) И так, к цареву уху
Припав, шептал он лестные слова:
«Не слушай честных старцев, о царю!
И старых книг, владыко, боронися!
Бо тесноты они тебе хотят!
А полюби, царь, Никоновы книги:
В них обретешь пространное житье,
И по средам и пятницам всеястье,
И телесам твоим во услажденье
Все радости мирские и утехи».

Гриша

Про змия, отче, я читал и знаю.
Исшел из ада он и днем являлся

Под видом Никона лжепатриарха,
А ночью принимал опять вид змия.
Про Никона написано еще:
Его видали, как в златой палате
От многих он бесов был почитаем.
Они его садили на престол,
Венчали, как царя, и лобызали,
И кланялись ему, и говорили:
«Ты больший брат наш и любезный друг
И нам поможешь крест Христов сломити».
Но это всё стоит про никоньянцев,
И в их-то веру змий пустил свой яд.

Странник

Во все! во все! .. От змея народились
Змееныши; чуть вылезли из яиц —
И выросли, и стали жрать друг друга,
И своего отца грызут, — и все
В единый клуб свились, дышащи злобой
И лютости огнем распалены.
В писании стоит ведь явно: «Внидут
В селенья праведных и сластолюбцы,
И блудники, и тати, аще добрым
Очистятся постом и покаяньем,
Но в оное не внидет ни богатый,
Ни еретик». А ваш Андрей Денисов
Что сотворил? Когда явился Петр,
То был уж сам антихрист во плоти:
Одел себя и весь свой полк звериный
В немецкие кафтаны и по царству
Их разослал ниспровергать законы
Отечески и свой регламент ставить;
И позавел он разделенье в людях,
И свар, и бой, и брань междуусобну;
И вывез клеймы он из римских стран,
И стал клеймить везде себе людей;
А на кого уж то клеймо легло —
Так на весь род пойдет: и отрекутся
Отеческих святынь, преданий, даже
Гробов отцов, и будут что чужие!
Ужасно есть сие помыслить токмо!
Пойдут дружить со всяким вражьим духом,

Против всего, что сотворили древле
Великие цари, митрополиты
Московские Иона, Алексей, —
Их же трудами собрана земля
Российская и их цвела нарядом.
А славный ваш Андрей Денисов с оным
Антихристом, еже Петр Первый есть,
Хлеб-соль водил, копал ему руду
На цепи и с важнейшими его
Персонами братался; блудно жил,
Да блудно так и помер: девка,
Ишь, приворотным зельем опоила!
Он всю-то жизнь антихристу работал,
В империи торги-то разводя.
С него вот и пошли купцы-тузы:
Первейшие в Москве — всё их хоромы!
В хоромах-то картины и статуи
Поганские; как бал-то зададут,
По окнам-то не стекла — зеркала;
Зажгут такие белые шары,
Что солнца светят! Пляс и музыканты!
Перед крыльцом-то конная всё стража!
Карет, карет-то! Всё князья да графы
И всех наук бесовских хитрецы!
Вот, брат, цветы какие распустились
Из семени Андреева! Ликуют,
А вас-то, дурней, держат в кабале,
Иконами да лестовкой морочат!
Я побывал и у Таганья Рога,
На Иргизе, и в Керженце, на Выге,
И в Питере, Москве, в Казани, Ржеве:
Везде одно! Обоз идет: ан чей?
Чьи там плоты реку загородили?
Чьи баржи тянут огненною силой,
Да караван за караваном? Сало,
Пенька ли, хлеб — спроси ты только, чьи?
А пристани по городам, буяны?
А в Нижнем кто ворочает делами?
Всё веры древлия благочестивцы,
И всем-то им заводчик — ваш Андрей!
А на кого трудятся? Нешто богу?
Антихрист-то им нешто враг? Поди-ко,

Царю листы какие восписуют:
«Все за тебя, мол, животы положим!»
Вот каково! И погоди маленько,
Как уж совсем гоненье поутихнет
Да потесней спознаются друг с другом,
Да льгот дадут, — всем миром под *большие*
Колокола пойдете и с попами
Все в голос запоете! Тако будет!
Поширь вам только!

(Опускает голову и задумывается.)

Деньги, сыне, деньги!
Погибель вся от них! Они и есть
Мошна в сети, в которую, что рыбу,
Вас дьяволы шестами загоняют,
А вервия другие бесы тянут
Ко брегу, он же ад, а сатана
В аду-то у окна сидит и рад,
Что тяжело идет треклятый невод,
Что бесы-то потеют и пыхтят
От бремени!

Гриша

Ужель нельзя спастися?

Странник

Здесь, в мире? Нет! Но милосердьем божьим
Спасенья путь оставлен узкий, токмо
Немногие идут по нем.

Гриша

Кто грешен,
Тот уж ступить на оный путь не может?

Странник

А ты на совести имеешь грех
Особенный?

Гриша

Имею грех великий!
Так и лежит на сердце... так и мучит...
Ах, отче, я великий грешник!

Странник

Если
Доверие имеешь, то откройся!
Пооблегчит.

Гриша

Я знаю, полегчало б!
И это в мыслях я имел... Вот видишь...
Я расскажу тебе уж всё, как было...
К божественному был я склонен смлада.
И как был взят в привратники сюда,
От странников был в вере наставляем
По древнему закону. Только странник
Ведь поживет, да и уйдет потом.
А сколько их притом непутных бродит!..
И соблюдать себя я начал строго;
Кремиями, стеклами постель усыпал,
От всяких яств отстал, питался былием,
Во дни же постные совсем не ел.
Тут надо мной кругом смеяться стали,
И я возмнил, что есмь един безгрешен,
И смех их был мне в сладость... Начал
Уж помышлять, что сам меня нечистый
Не победит. «Не одолеешь, бесе!» —
Твержу, а он зовет на вечерницу:
«Там власть свою яви ты надо мною —
И поклонюсь тебе...» Я и пошел...

Странник

Пошел? Ну, что ж?

Гриша

И... одолел лукавый...

Странник

Ну, как же он к тебе там подступился?
Во образе жены?

Гриша

Нет, уж уволь!
Что говорить!..

Странник

Стыдение имеешь.

(Подумав.)

Ох, сыне, сыне! Растлена земля
Людьми уже на тридцать сажен вниз!
И к господу всечасно вопиет,
Да попалит огнем ее господь
И от грехов и всяких скверн очистит!
Твой грех не есть еще великий грех...
Грехи бывают, сыне, потягчае...
Примером — кровь, непутное житье
С разбойники, и тати, и блудницы...
Но ты сего еще не разумеешь,
И дай господь не разуметь вовеки!

С людьми толчешься — что по рынку ходишь:
Шум, гам! Купцы те зá полы хватают
И в лавки тащат, и товар свой суют:
«Купи, купи, почтенный! Вовсе даром!..»
Ты и берешь, и невдомек, что эти
Купцы-то — переряженные бесы,
Товары — смертные грехи, а платишь
За них душой, оно и выйдет даром,
Она бо есть невидима, душа-то!..

Ох, миленький! В пустыньку б бог сподобил
Укрытися! Там райское-то есть
Веселие! Поют тебе там пташки!
Пустынька вся нарядится цветами!
Студен ручей с горы крутой падет...
Сиди над ним!.. А круг — густые ели...
Олень аль прочий зверь придет напиться...
И пташка тут на камешек же сядет
И крылушки полощет... Так-то любо!
И так душа исполнится твоя
Величием господним... и восплачет
Умильными и тихими слезами...
Вот там помолишься!.. Да, брат Григорий,
Велико дело есть пустыня!

Гриша

Отче,
А как же там зимой-то жить?

Странник

А славно!
Сидишь ты словно в светозарном царстве,
Как зорьки-то играют на снегу...

Гриша

Ты, может, отче, и живешь в пустыне
И ради неких нужд исшел?

Странник

Живал ..
Да токмо гладом нудим был изыти.
Не одолел плотского человека,
И плоть еще не омерзила вдосталь;
А может, бог назначил и страданье,
И муки претерпеть мне, чтобы душу
Очувствовать... Но я умру в пустыне!
Святые тоже ведь не все родились
Во святости... Зато потом, смотри,
Какое житие прешли, смывая
С души своей греховные-то пятна!
В огне молитвы душу, яко в горне
Заржавое железо, распаляли
И правилом духовным, яко млатом,
Ее сгибали, да приемлет вид,
Какой ей дан был в помысле творца
И искривлен потом житейской нужей.
Прочти вот о святых мужах о наших.

(Достает книгу, перевертывает листы и дает Грише.)

Вот об отце Савватии стоит.

Гриша

(читает)

«И бысть еще сожжен отец Савватий,
В писании искусен, просветлен
Безмолвием. Когда молился он,
То был ли шум, смятенье ль между братий —
Ни душу к ним, ни ухо, ни глаза
Не обращал, но, в бозе пребывая,
Стоял что столп недвижим, в небеса
Молитвенной цевницей ударяя...»

Странник

(берет у него книгу и перевертывает несколько страниц)

А вот еще о Гурии читай.

Гриша

(читает)

«А также от земного бытия
И Гурий отошел. Блаженством жития
Был чуден: день и ночь молитвословил
И правила келейного вперед
На тридцать лет начел и наготовил.
Жил в бозе он, и егда нощь придет,
И егда день. И оттого блистала
Душа его премудростью творца,
Как солнцем озаренное зерцало».

Странник

(берет книгу)

Вот, сыне, свет, на оный и грядем!

Гриша

Так, отче... да!.. Но как же к сим мужам
Приблизиться? Они ведь, яко звезды,
Над нами в высоте небес сияют!

Странник

А от земли пошли!

Гриша

Что ж надо делать?

Странник

А что они творили? Под начало
Сперва к мужам достойным поступали
И, приобыкнув волю их творить,
Уж господу потом трудились сами.

Гриша

Возьми меня на послушанье, отче...

Странник
(как бы в испуге)

Ох, что ты! что ты! бог тебя храни!
И не моли! об этом и не мысли!
Я не гожусь! .. Наставника б обоим
Жестокого найти нам и в пустыню
Укрыться — да!

Гриша

Да отчего же, отче?

Странник

Не говори об этом... Ты не знаешь.

Гриша

Аль чем тебя я прогневил?

Странник

Молчи!
Не человек есмь — скот, и хуже, хуже!

Слышен стук в окно.

Голос нищего
(нараспев)

Мы здесь ни града, ни села не знаем!
Подайте милостыньку, христиане!

Гриша отворяет окно.

Странник
(вздрогнув)

Вот адовы-то цепи!

Гриша

Это нищий.
Я сбегаю за хлебом к пекарям.

(Уходит.)

Странник
(оглядываясь и подходя к окну, сурово)

Чего пришел?

Нищий

(высовывая голову в окно)

А что ты, черт, пропал?
Ведь две недели! От артели послан,
Чего ж валандаться? Аль уж попался,
Мы думали, — да Фенька угадала:
Уж человек такой непостоянный —
Там, мол, сидит, наверно замолился,
Вздыхает по пустыне.

Странник

И в пустыню б
Ушел — то вам какое дело?

Нищий

Волки —
Не мы, брат, нет! В артель не примут! Так-то
В пустыне жить — живот сведет. Да полно!
Кончай скорее да иди в Акулькин
Кабак. Уж встречу приготовим. Разом
Отдохнешь от поста-то... Вольный воздух,
Веселые головушки!.. Слышь, Фенька
Ругается: «Иди, мол, беспременно,
Да не пустой. Гулять хочу с ним», — бант;
Не то, смотри, гулять пойдет с Отпетым.

Странник

(глухо)

А что тебе за дело, с кем гуляет?

Нищий

Да мне-то что? Ты зарычишь, не я.

Странник

Я зарычу?.. Как я-то зарычу —
Все у меня оглохнете вы, сволочь!
Анафемы! Да что вы, слать приказы
Мне вздумали?.. Мне токмо бог закон!
Сам сатана не может надо мною
Возобладать! Уж думает, что держит,
Уж поборол, уж ухватил за горло
И говорит мне: «Отрекися бога» —

И не отрекся я! .. А вы? Да с вами
Когда я по земле иду, так лесу
Стоячего и облака я выше
Ходячего! .. И что хочу творю!
Хочу — у вас живу, хочу — уйду;
А восхощу мучений, сам явлюсь
К мучителям, и буду я спасен
Чрез муки добровольные... А вы,
Кроты, в норах живущие, вы, черви,
Во ад попадаете все, как сор,
Что баба выметает за порог!

Нищий

Ну, полно, дядя, больно осерчал!

Странник

Проваливай!

(Отходя.)

«Гулять хочу с ним...» Аспид!
Иродиада! Вздумала пугать!
Ну, нет! Еще постой, ты мне, голубка,
Поклонишься, мне руки целовать,
Ехидна, будешь! .. Знаю вас я! ..

Входит Гриша, подает нищему хлеба.

Гриша
(в окно)

Может,
Поотдохнуть ты, дяденька, желаешь?

Нищий

Нет, родненький, спасибо! Тут дорога
Большая. Побреду. Господь с тобою!

Гриша
(затворяет окно)

Что ж, отче? Не возьмешь на послушанье?

Странник
(глядя пристально на Гришу)

Возьму.

Гриша

Ах, отче, то есть вот как буду
Служить тебе!

Странник

(в сторону)

Антихристова челядь!

Гриша

Когда же мы пойдем?

Странник

Когда пойдем...
Да ты тут у хозяйки как живешь?
Ты по дому ей нужен?.. И она
Тебе во всем ведь верит!.. Ты и ночью
В моленной поправлять лампадки ходишь?

Гриша

Хожу.

Странник

А там и сундуки стоят,
И деньги в особливом сундуке?

Гриша

И деньги.

Странник

Так. И невелик сундук?

Гриша

Да, невелик.

Странник

Спохватится, и станут
Искать тебя.

Гриша

Да я ж уйду не тайно.

Странник
(запальчиво)

А я б тебе сказал: пойдем сейчас!
Не знаешь, что такое послушанье?
Ты должен всё оставить и идти.
Наставник — голова, а ты — рука!
Сказала голова, рука и делай!
А ладно ли, не ладно ли веленье —
Не разбирай! Иди себе и делай!

Гриша

Всё знаю, отче! Всё, как есть, исполню!

Странник

А если ты окажешь противленье?

Гриша

Зачем же противленье? Буду вечно
Как раб твой.

Странник

Ну, смотри, завет свой помни!
Приемлю тя под длань свою.

Гриша становится на колени, странник кладет ему руку на голову.

Помилуй
Нас, господи Исусе, сыне божий!

Гриша
(целуя его руку)

Аминь!

(Встает.)

Ух! словно отлегло от сердца!

Странник
(пройдясь по комнате и обращаясь с важным видом)

Так вот же, чадо, вот тебе теперь
И первое веленье: пой мне песню
Бесовскую!

Гриша

(в изумлении)

Бесовскую петь песню?

Странник

Пой песню — ну, хоть «Дядя Селифан»!
Пой и пляши!

Гриша

(тревожно)

Да что ты, отче, как же?
Всё говорил такое... а теперь...

(Смотрит пристально на странника и в ужасе отступает.)

А если он не человек!.. а тоже,
Как и тогда... такое ж наважденье
От дьявола... как запою — и схватит,
И унесет!..

(Хватаясь за голову, и жмурясь, и пятясь, кричит.)

Отыди в место пусто,
Безводно! Князь бесовский! Запрещаю
Тебе крестом! Исчезни!.. Сгинь!.. Исчезни!..

(В бессилии опускается на скамью.)

Странник

(смеясь с укоризной)

Не выдержал и первого искуса!

(Подходя к нему.)

Да что ты, сыне, ты совсем сомлел?..

(В испуге отходя от него на авансцену.)

Аль чистая душа его-то чует
Другого господина моего...
Не поборол! Острожное исчадье!
Непостоянный, аки лист древесный!
Отыди! Сгинь! Заклятие младенца
Не повернуло всё нутро твое?
Отыди, зверь, во дебри и вертепы!..
Там обрасти струпьем и волосами,

Чтоб в ужасе и зверь и человек
Тебя бежал...

(Падает на колени.)

О господи! спаси!
И вся мирская злая — яко бурю
На озере Генисаретском словом
Утишил — укроти в душе моей!
Да с миром из сего изыду дому!

(К Грише.)

Очнися, сыне! что ты? бог с тобою!
Садись со мной, и облегчит господь!

Гриша

(вырываясь от него, живо)

Я знаю, что мне делать: утоплюсь!
Так что за жизнь? Там словно свет какой,
А тут, вблизи — всё темное! Всё рои
Бесовские... кувыркаются, скачут,
По лестнице бегут передо мною,
Согнувшися, что свиньи... хари, морды...
Так жить нельзя! Уж гибнуть, так уж сразу!

Странник

Ну, полно! Не хули ты дар господень!
Против бесов молитва есть... Я тоже
Егда был млад, то вочию их видел,
И дал от них заклятие мне старец.
С гор, сказывал, Кирилловых явился...
Кирилловы-то горы знаешь?

Гриша

(рассеянно)

Что там,
Какие горы!

Странник

(с негодованием)

Эх, Григорий! мало ж
Ты просветлен! А христиане тоже!
В Ерусалим небесный, вишь, пошли,
Да в полпути, куда пошли, забыли!

Кирилловы-то горы! Даже власти,
Прослыша, знать хотели, что за горы
Чудесные, какие, мол, там старцы
Скрываются? Круг всей бродили Волги,
И двадцать раз чрез самую обитель
И мимо самых старцев проходили,
А токмо лес и видели да камень:
Бо старцы и обитель зримы токмо
Для верных. Так господь сие устроил.
Но ты сего вместить еще не можешь
И многого, иде же благодать
Господня есть и действует поныне,
Спасая, аки праведного Ноя
С семьей средн великого потопа,
Немногое число избранных верных.

Гриша

Не гневайся, а отпусти мне, отче,
Вину мою! Со мной уж было это
От беса омраченье... Вот как было.
Тому теперь недели три, сошлися
К нам странники, да трое, разных вер,
И спорили, и всяк хвалил свою,
Да таково ругательно и блазно!
Как улеглись, я тоже лег на одр.
И так-то у меня заныло сердце,
И мысленно я стал молиться богу:
«Дай знаменье мне, господи, какая
Перед тобой есть истинная вера?»
И не заснул — вот как теперь смотрю:
Вдруг в келью дверь тихонько отворилась,
И старичок такой лепообразный
Вошел и сел на одр ко мне, и начал
Беседовать, да ладно так и складно!
Все хороши, мол, веры перед богом;
Зрит на дела, мол, главное, господь;
А что когда, мол, знать желаешь больше,
Так приходи к соборному попу...
И как сказал он только: «Поп» — я вздрогнул,
Вскочил и крикнул: *«Да воскреснет бог!»*
Он и пропал — ну, видел я — во прах
Рассыпался... С тех пор и опасаюсь...

Странник
(вполне веря)

И следует. Напущено от змия.

Гриша

Что я не спал, то верно!

Странник

Верно, верно!

Гриша

А что же, отче, ты про старцев начал?

Странник

Про старцев? .. Да, великое то дело! ..
Вот прочитай из книжицы, увидишь,
Какие это старцы, как живут...

(Достает книгу и отыскивает место.)

Единого от них тут есть посланье
Ко братии... Отсель: «А обо мне...»

Гриша
(читает)

«А обо мне вы не скорбите, братья!
Живу я в месте истинно покойном.
Живу я со отцы святыми. Мужи
Сии цветут, что финики, что крины,
Что кипарисы в тихом, злачном месте.
От уст их непрестанная исходит
К всевышнему сердечная молитва,
Что миро добровонное, что ладан,
Что сладкий дым звенящего кадила.
И, егда нощь, сия молитва зрима:
Из уст их огненным столбом восходит
Она на небеса, и всей стране
В то время свет бывает от нее,
И можно честь без свещного сиянья.
И бог сие им дал, что возлюбиша
Всем сердцем господа, и сам господь
Их возлюби; и всё дает, что просят.
А просят же они не благ житейских,

Не временных, прелестных здешних благ,
А тишины и радости духовной,
Дабы, когда судить живым и мертвым
Приидет он во славе и сияньи,
За подвиги великие им воздал
Веселием во царствии небесном».

(Останавливается и смотрит на странника в тихом изумлении.)

Ужели есть теперь такие старцы?

Странник

Ну и куда б еще деваться им?
Ведь сказано, что будут пребывать
Незримы до пришествия Христова!

Гриша

Так... так... Ну, а молитва их и ныне
На небе огненным столбом видна?

Странник

Видать-то все видают, да не знают,
Отколь столбы.

Гриша

А где же это будет?

Странник

Где? И в Поморье... и на Белом море...
Там с карбаса, идя на рыбный промысл,
Видали. Паче же — на Волге, место
Над Балахной, в стране нижегородской:
Там горы-то Кирилловы и есть!
И мимо их судов проходит много.
Коль на судах народ благочестивый,
То, что врата, разверзнутся вдруг горы,
И друг за другом старцы те выходят,
И кланяются судоходцам в пояс,
И просят их свезти поклон ко братьям,
Живущим вниз по Волге, в Жигулях;
И подойдет расшива к Жигулям,
И судоходцы кличут громким гласом:

«Гой, старцы жигулевские! везем
Мы вам поклон с Кирилловой горы!»
И расступаются тут паки горы,
И алебастр разверзнется и камень,
И друг за другом выступают старцы
И за поклон пловцов благословляют.
И полетит тогда в низовье судно,
Граждено от бурь и непогоды
Напутствием боголюбивых старцев.
А вот еще другое место есть:
Есть целый град, стоящий многи веки
Невидимый, при озере. И было
Сие вот так: егда на Русь с татары
Прииде лютый царь Батый, и грады
Вся разорял, и убивал людей,
И, аки огнь, потек по всей стране,
Против него великий князь Георгий
Ходил с полки свои, и был побит,
И побежал во славный Китеж-град —
Его же сотвори во славу божью;
И погналися татарове за ним;
И бысть во граде плач; и прибегоша
Во храмы люди, умоляя бога, —
И бог яви свою над ними милость
И сотвори неслыханное чудо:
Егда татары кинулись на приступ,
Внезапу град содеяся невидим!
И по ся дни стоит незрим, и токмо
На озере, когда вода спокойна,
Как в зеркале, он кажет тень свою:
И видны стены с башнями градскими,
И терема узорчаты, часовни
И церкви с позлащенными главами...
Пречудное то зрелище! И явно —
Всё на тени: как люди идут в церковь,
И старицы и старцы, в черном платье,
По старине одетые... И слышен
Оттуда гул колоколов... И тамо
Жизнь беспечальная, подобно райской!
А виден град всем жителям побрежным
Круг озера по утренней заре
Иль в тихие вечерние часы, —

Но внити в оный может токмо тот,
Кто путь прейдет, ни на минуту бога
Из мысли не теряя; бо сей путь,
«Батыева тропа» рекомый, страхи
И чудищи различными стрегом!
Претерпишь хлад и глад. Зверь нападет
И змии на тебя. Восстанет буря.
И бесы на тебя наскочут, с песьей
Главою, с огненными языками,
И эфиопы черные, как уголь!
Ты всё ж иди вперед и богомысли!
И победишь все дьявольские страхи,
Ни хлад тебя, ни глад не остановит,
Ни зверь, ни змий, ни сатанинский табор
Нигде тебе в пути не воспретит —
Тебе врата отверзнутся во граде,
И выйдут старцы друг за другом, с песнью
Приемлющи сподвижника и брата.

Гриша

О, господи Исусе!

(Живо.)

Вот что, отче, —
Что хочешь, я исполню! Всё, что хочешь!
А покажи хоть тень святого града!..
Как древние ходили человеки...
И звон-то, звон колоколов послушать...

Странник

А звон у них серебряный и чистый,
И словно как не колокол гудит,
А ровно что небесная лазурь
Сама звенит.

Гриша

(в изумлении)

Хрустальное-то небо!

Странник

Сие всё вам, в миру живущим, чудно,
Бо в тьме пребысте, а чудес немало
Есть на Руси. Град Китеж не один.

Есть церкви, перешедшие в пустыню
Из людных мест, с попами и с народом.
С Суры-реки из града Василя
Шел крестный ход в Перепловеньев день.
И люди те так богу угодили,
Что церковь вдруг пошла пред крестным ходом,
И крестный ход за ней! За ней! .. И горы
Ровнялися, и расступались реки, —
Всё шел народ с хоругвями и пеньем,
Доколе в Керженских пустынях церковь
Не стала, и взошли в нее все люди,
И до сих дней стоят в ней, и пребудут
До страшного пришествия Христова,
Святой канон пасхальный воспевая.
Поведаю о сем я благовестье
Тебе за то, что возлюбил тебя
И что твою неопытность жалею;
Бог даст, найдешь кого из добрых старцев
И под его началом укрепишься:
Бо добрая еси ты почва, семя
Не на песок он кинет, не на камень;
Прозябнет и, быть может, плод подаст,
И вкусишь ты от благодати...

(Со вздохом.)

Я же
Еще свершу здесь некакий обет
И удалюсь безмолвствовать в пустыню.
Прощай пока.

Гриша

(упадая на колени)

Я, отче, не отстану —
Возьми меня.

Странник

Нет, миленький, оставь!

Гриша

Не погуби! Возьми! Возьми с собой!
Уж говорю, всё сотворю. На смерть
Пойду! На муки! Ни единой мыслью
Не усумнюсь! Всем существом твой буду!

Возьми!.. Имею рвенье, отче... Только
Возьми меня!

Странник

(в сторону)

Ну вот ведь: сам толкает!
Сам лезет!.. Аль уж с ним пойти... Как знать?
Мне, окаянному, господь, быть может,
В сем отроке спасенье посылает...

Гриша

(встает и живо)

Петь повелишь мне песню и плясать?

Подпирает руки в боки. Слышно, как проезжает телега с колокольчиком и песнями.

Странник

(Вскакивая)

Гуляют...

Гриша

Повелишь?

Другая тройка; женский голос слышнее прочих.

Странник

(в сторону)

С Отпетым катит!..
Ишь залилась! Чтобы ей пусто было!

(К Грише, сурово.)

Ну, что ты вздумал петь... Вон те орут...
А нам с тобой не это надо...

Гриша

Что же?
Что повелишь — всё сделаю.

Странник

(решительно)

А вот что:
Взаправду ли готов ты всяко бить
Антихриста? Еретики бо суть!..

Гриша

(горячо)

Еретика убить ведь можно?

Странник

Нет уж,
Что убивать! А если убивать —
Хозяйку-то убей ты сундуком...
Тот, с деньгами, подымешь ли?

Гриша

Могу.

Странник

Ну, так поди, неси его сюда!
Затопим печь и запалим! Иди!

(Толкает его к двери. Гриша уходит.)

Вот я ж вам дам ломаться надо мною!
Блудница вавилонская! Да стерли б
Ей черти черные-то брови! Змеи б
Ей высосали ясны очи!

(Затапливает печь, кидает дров и соломы перед печью; надевает суму, шапку-треух, охабень. Начиная собирать книги, останавливается перед ними.)

А грех-то сделан...

(Энергически.)

Ну, в последний раз!

(Выходя на авансцену.)

Всё замолю! всё замолю! Зарок
Даю! Ты благ, господь! Ты милосерд!
Разбойнику, блуднице ты простил...
Изыдут у меня слезами очи!
К ногам твоим паду — и уж не встану,
Доколе не простишь! Спасу и мальца...
Надену власяницу. Плоть растлил —
Ожесточу!..

Гриша

(приносит сундук, бледный, дрожащий)

Вот, отче.

Странник

Ладно, ладно.

(Кладет ему руку на плечо.)

Как только нечто справим здесь — в пустыню!
Теперь постой же.

(Достает из кармана связку отмычек и отпирает сундук.)

Гриша

Ровно как в тумане!

Странник

(выбирая бумаги)

Тут векселя... бумаги именные —
В огонь, в огонь!.. А это взять покамест.

(Сует в сумку пачки денег.)

Ну, зажигай!

(Зажигает солому.)

Да надевай шубенку!
Чего стоишь, Григорий! Заруби же:
Что б ты ни увидал теперь — не блазнись!
Наутрие в пустыню! Ну, скорее!

(Толкает его перед собой.)

Уходят. Пожар разгорается.

(1864)

336. БАЛЬДУР

Песнь о солнце, по сказаниям Скандинавской Эдды

1

Ночь и буря снежная в пустыне,
Вьюги рев неистовый и хохот...
Лишь на миг проглянет бледный месяц
И осветит мутным светом камни,
Между камней вековые ели,
И мелькнет, как тень, на горном гребне
Темный образ всадника... То Конунг,
На пути застигнут бурей, едет.
Ветер треплет волосы седые,
Рвет с могучих плеч медвежью шубу, —
Конунг бури яростной не слышит.
Добрый конь идет не оступаясь
По корням древесным и по камням,
Для него привычен путь пустынный:
Там в горах живет маститый старец,
А к нему не только люди — боги,
В виде смертных странствуя по свету,
На совет заходят и беседу.

Мрачны своды в темном подземельи.
По изломам их идет далёко
С очага колеблющийся отблеск.
Вещий старец и великий Конунг
У огня сидят в глубокой думе.
Тень от них едва дрожит на сводах.

Сын погиб у Конунга — последний
Из троих, и с ним погас могучий
Гальфов род, исшедший от Одина.
Девять дней среди пустых чертогов
Взаперти сидел великий Конунг.

Наконец коня спросил и молча
В горы к старцу вещему поехал;
Издали за ним следили слуги.

Пышет пламя всё светлей и выше,
Но сидит, потупив очи, Конунг:
И теперь, и дома, и как ехал,
У него повсюду, неотступно,
Атли труп безмолвный пред очами.

Вдруг возник — как бы сходящий с неба —
Луч пред ним и тихо проплывает,
А в луче ряд Конунгов брадатых.
Наверху, далёко — некто светлый.
Ниже — лица Конунгу знакомы:
Прадед, дед, отец; последний — сам он,
А за ним уж луч как бы обрезан.
Сдвинулись его густые брови...
Но виденье проплыло и скрылось;
Понемногу снова пред глазами
Атли труп безмолвный выступает...

Вот из тьмы опять выходит словно
Поле битвы. Ветер гонит тучи.
Между туч просвечивает месяц.
Девы битв, Валкирии, возводят
Падших в небо: Конунгов меж ними
Средний сын. Видение сокрылось...
Тьма опять кругом; перед очами
Снова труп безмолвный выступает —
Но не Робберт, а всё тот же Атли.

Вот из тьмы плывет блестящий город.
Корабли причаливают с моря.
Приступ. Люди на стенах, сам Конунг,
Вдруг в глазах его валится мертвый
Старший сын... И всё опять умчалось.
Снова тьма кругом; перед очами
Труп опять безмолвный выступает —
Но не Вилли, а всё тот же Атли.

Бурный мыс — скалистый дикий берег.
Сонм проклятых душ — убийц и татей,

Бедняков озлобленные души —
Вылетают вдруг из-за ущелий,
Корабли разбрасывают, топят;
Вот сам Конунг — держится за мачту...
Вдруг волна. Корабль захлестнут. Конунг
Борется средь пенящейся бездны, —
А вверху, над ним простерший руки,
Необъятный, во всё небо, образ,
Но лица, как на тени, не видно...
Проплыло видение и скрылось,
Выступает снова тело Атли —
Но над ним остановился образ
Необъятный, без лица и темный,
И схватить руками тело хочет...

В этот миг заговорил вдруг вещий:
«Боги — в небе, в мире — человеки,
В темном аде — яростная Гелла;
Надо всем — Судьба, лица которой
Не видал никто во всей вселенной.
Как слепцы, мы бродим в этом мире;
Жребий всем дается при рожденьи,
И его не только люди — боги
Изменить не властны».
Головою
Покачал, не отвечая, Конунг.

Уж огонь на очаге слабеет,
И горой лежит горячий уголь,
Словно дышит золото живое.
И еще длиннее и темнее
От сидящих протянулись тени.

«Сын был у Одина Бальдур, — снова
Молвил вещий старец. — Тщетно боги,
Тщетно вся вселенная стенала:
Жертву смерть не отдала; и боги
Сами ждут судьбы своей покорно».

Поднял Конунг против воли очи.
«Я тебе о Бальдуре, о Конунг,

Расскажу». И — словно мирозданья
Глубина пред ним открылась — вещий
Устремил в пространство взор и начал:

2

«Мрак был в мире. Вдруг орлы вскричали,
С гор небесных пролилися воды,
Грянул гром и свет в пространство брызнул:
Народился Бальдур златокудрый!
Народился и помчался в небе,
Сыпля стрелы в недругов бегущих,
Юный, светлый, в панцире и шлеме,
В колеснице с белыми конями.
Клик и пенье в воздухе раздались,
Восклицали все народы: слава!
Восклицали боги в небе: слава!
Слава свету родшемуся, слава!
Слава родшим — Фригге и Одину!

Так потом — на Бальдуровой свадьбе —
Вдохновитель песен, светлый Брагги,
Пел ему с заздравным кубком славу.
Да! тогда божественный не думал,
Что придется скоро песнь иную
Спеть ему на Бальдуровой тризне...

Уж в тот миг, как он родился, Фригга
Слышит — ворон ворону прокаркал:
«Чую, чую, народился Бальдур,
Радость в небе, да и пир у Геллы».
У подножья мирового дуба,
У ключа медвяного, так норны
В то же время предрекли Одину:
Век недолгий Бальдуру назначен;
Он умрет — всё в мире пошатнется,
И настанет общее крушенье.
Вдруг струя медвяная иссякнет,
От которой с каждою зарею
Боги пьют и почерпа́ют силу,

Блеск и юность вечную, и крепость,
И они внезапно поседеют,
А на древе жизни свянут листья.
Все враги, которых лишь сковавши,
Боги мир создать могли, восстанут.
Лютый змей, на дно морское ими
Вкруг земли поверженный в оковах,
Встрепенется, пламенем и смрадом
Небеса наполнит, потрясая
И земли и неба твердь, а воды
От его ударов расплеснутся
И с земли, окроме гор, всё смоют.
Волк Фенрир, которому насилу
Увязали боги пасть, — он путы
Разорвет и челюсти раскроет,
А когда раскроет, то коснется
До земли одной, другой до неба, —
А уж он одним льдяным дыханьем
Убивает всё, что встретит. Солнце
И луну проглотит он, и боги —
Кто пойдет с ним в бой, окаменеет;
Светлый Азград рушится, и смертный
Мрак и хлад вселенную постигнет.

Вот что норны мрачные сказали
При рожденьи Бальдура Одину,
Отчего у миродержца разом
На челе тогда ж запечатлелись
Две бразды, да так уж и остались.
Все с тех пор творения и боги
Устремили к Бальдуру лишь очи,
И когда задумчивый он выйдет
Иль совсем не явится на небо —
По вселенной трепет и смятенье.

3

Но о смерти и не думал Бальдур;
Не давал мечу в ножнах заржаветь,
Сыпал щедро золотые стрелы,

Избавляя страны и народы
От чудовищ, населявших землю.
Неудачу только раз он встретил:

Выезжал он мир смотреть, и видит —
Чудные на севере чертоги.
К золотым вратам подходит дева,
Подымает руку, чтоб щеколду
Отодвинуть, а от рук внезапно
Воздух, воды и весь мир чудесным
Озарились светом, а на землю
Вдруг цветы посыпались и жемчуг.
Удержал коней невольно Бальдур.
На него через плечо взглянувши,
Дева словно замерла. Вдруг слышен
Точно зверя рев: бежит косматый
Великан — и закричал, затопал,
Стал грозить на Бальдура, а деву
Вмиг жезлом серебряным ударил,
И она, как мертвая, упала.
На плечо ее косматый вскинул
И ушел с ней в горы, там и скрылся;
Бальдур отыскать не мог и следу,
Как ни бился. Наконец ударил
По коням и прискакал в Валгаллу.
Пышет гневом, шлем и панцирь сбросил,
Заперся в свой терем, повторяя,
Что ему лишь умереть осталось.

Всполошились боги и послали
Собирать со всей вселенной вести.
И вернулись вестники, сказали:
Великан тот — чародей великий,
Побежден был некогда Одином
И ушел на север; там построил
Изо льдов дворец себе чудесный
И сидит там, дожидаясь часа.
Дева — дочь его. Ей имя Нанна.
И, жезлом ее ударив, старый
Не убил, а в сон поверг глубокий,
И в горах на самую крутую

Положил, ту гору вплоть до неба
Окружив живым огнем, как тыном.

Друг за другом полетели боги
И пытались проскочить сквозь пламя —
Но напрасно! Пламя так и воет!
То сробеет конь, а то и всадник.
Слышит Бальдур: вдруг поднялся с ложа,
Панцирь, шлем, и — на коня! И только
Боги в страхе видели, как пламя
Взволновалось и за ним закрылось.
Он прорвался.

А прорвавшись, Бальдур
Видит — терем; входит — ряд покоев.
Тишина глубокая. Из окон
Полосами падая, играет
На столбах хрустальных красный отблеск.
Вот в последнем наконец покое
Видит он: в тяжелой броне, в шлеме,
Спит его красавица. Тихонько
Снял он шлем — рассыпалися кудри;
Распорол мечом ремни на броне —
И открылась грудь девичья; вскрикнул —
Тихо очи спящая открыла...
И чрез миг уж с нею мчался Бальдур,
И встречали радостно их боги.
Пир венчальный закипел на славу:
Из Валгаллы раздавались громы,
Дождь златой блистая падал с неба,
Молодая сыпала на землю
Полной горстью и цветы, и жемчуг.

Вот с тех пор и началось то время,
Что потом все золотым назвали, —
Всюду жертвы Бальдуру дымились,
Всюду песни в честь его гремели.
Боги стали даже прорицанье
Забывать — как вдруг оно восстало
В полноте ужасной перед ними.

Утром — раз сошлись они на завтрак —
Вдруг вбегает Нанна и, в колени
Бросясь к Фригге, вся в слезах, вскрнчала:
«Скоро Бальдур наш умрет». Вскочили
Боги с мест, едва не расплеснувши
Мед из чаш своих. «Ему приснилось, —
Говорила Нанна, — что в глубокой
Он сидит темнице; рвется, рвется
И никак уж вырваться не может.
Хочет крикнуть — крику нет... и начал
Задыхаться... и еще рванулся —
И глаза открыл. Вскочил. На ложе
Весь в поту сидит... Всё это — к смертн!»
Побежать хотела Фригга к сыну,
Но Один ей повелел остаться,
На богов кругом сурово глянул,
Сделал зиак невестке и с ней вместе
Вышел в спальню к Бальдуру. Шептаться
Стали боги, знаками являя,
Что недобрый это сон. Вернулся
Царь Один и сел на троне, молча
И чело нахмуря. Фригга, Герда,
На него взглянувши, испустнли
Вопль, такой пронзительный и сильный,
Что на полках зазвенели чаши.
Вслед за нимн — кто вопить и плакать,
Кто кричать, чтобы унять тревогу,
Кто молить — но уж никто не слушал, —
Спор и крнк, каких и не бывало,
Поднялся в обители блаженных.

Но между богами только Локки
Не упал один, казалось, духом.
Брат Одину, красотой с ним сходный,
Гордо он держал себя с богами,
Помнил все их промахи и рад был
Иногда в их мед влить каплю яду.
Вечно с новой выдумкой, он часто
И вводил их в тяжкие напасти,
И спасал порой от бед великих.

Между тем как вкруг его кричали,
Он, глазами упершися в землю
И поднявши плечи, начал — точно
Сам с собою — говорить; лишь после,
Увидав, что начинают слушать
И смолкать, к нему тесняся, боги,
Постепенно возвышал свой голос
И с обычным говорил искусством.
Он сказал, что, может быть, напрасны
Все тревоги. Не всегда правдивы
Сны бывают. Иногда напротив:
Страшный сон провозвещает радость.
Прорицаньям тоже он не очень
Доверяет: «Вещие те жены
Уж давно покоятся в могилах,
А из слов нх не сбылось доселе
Ничего. Да и откуда может,
В самом деле, быть для нас опасность?
Те враги, которых мы когда-то
Заковали в цепи, — те не могут
Двинуться, пока жив будет Бальдур;
Стало быть, беда придет от твари
Иль от нас, богов. Но боги — кто же
На себя подымет руку? Твари —
А от тварей взять бы можно клятву,
Чтоб хранили, как зеницу ока,
Дорогого Бальдура, не смели б
Повредить ему никак, ни ранить,
Ни язвнть, нн напускать болезни.
От огня, воды, от руд и камней,
От ехидн и змеев, зелий, ядов,
От дерев и трав, от всех взять клятву,
И дадут все, рады будут. Бальдур
Всем нм мил. Тогда чего ж бояться?»

Осторожны были боги с Локки,
Но при этой речи, видя ясно,
Что коварства нет в ней никакого,
Стали духом веселеть. И вправду,
Рассудить нельзя б, казалось, лучше!
Локки сам доволен был, высоко

Тотчас поднял голову; а боги
Повторяли дружно: «Ай да Локки!»
И решили тотчас же исполнить,
Что сказал он, и самой же Фригге
В мир пуститься за всеобщей клятвой.

Фригга, вздев пернатую сорочку,
Обернулась лебедью и тотчас
В мир стрелой помчалась из Валгаллы.

5

Но Один, отец и мироздатель,
Из собранья, с золотого трона,
Поднялся, не просветлевши ликом.
Оседлал коня он и поехал
В темный ад. Там, близ чертогов Геллы,
Был курган из диких камней сложен;
Под курганом тем была могила,
А в могиле этой схоронили
Валу, ту из вещих жен, что много
Мудростью и даром прорицанья
Помогла Одину в оно время.
С ней теперь он пожелал беседы
И из тьмы ее решился вызвать.

Загремело и загрохотало
Вдруг по темным адским подземельям,
Как влетел в него огнедышáщий
И скакал по камням конь Одинов.
Адский пес с разинутою пастью,
Грудь и шея облитые кровью,
Ринулся схватить его за горло —
Но тотчас же, сшибленный копытом,
С громким визгом покатился наземь.
У могилы бог остановился
И, с коня спрыгнув, немедля начал
Вызывать покойницу из гроба:
Спел сперва, какую надо, песню
И сказал слова; потом ударил

По земле жезлом, на север глядя,
И, трикраты громко крикнув: «Вала!» —
Повелел восстать ей из могилы.

Из могилы поднялася Вала.

И о том, что ими говорилось,
Так в старинных сказывают песнях.

Вала

Кто дерзнул мой вечный сон нарушить?
Много лет в земле сырой лежу я.
Надо мною бушевали вьюги,
Дождь мочил, роса меня кропила.
Я мертва была. Кто ты? Что надо?

Кто он — скрыть хотелося Одину,
Он назвался смертным человеком.

Один

Смертный я — и странствую по свету.
Я — свет белый, ты — мир темный знаешь.
Для кого ж, о вещая из вещих,
Расскажи, у вас в подземном царстве
И скамью, и ложе золотое,
Кольцами украшенные, ставят?

Вала

В чаше мед кипит, щитом покрытый, —
Бальдур будет пить. Скамья и ложе
Для него ж. Но прекрати расспросы,
Страшные ты спрашиваешь тайны.
Поневоле говорю я. Будет!

Один

Погоди, скажи еще мне, Вала!
Знать еще хочу я: кто из смертных,
Кто лишит наследника Одина?
От кого погибнет светлый Бальдур?

Вала

Годр слепой — не смертный. Он откроет
К адской Гелле светлому дорогу.

Страшные ты спрашиваешь тайны.
Поневоле говорю я. Будет!

Один

Погоди, скажи еще мне, Вала,
Я желаю знать: неотомщенным
Бальдур быть не может. Мстить кто будет?

Вала

У Одина будет сын от Ринды.
Он волос чесать, мыть рук не будет,
Не отмстив виновному. Довольно.
Поневоле говорю я. Будет!

Один

Погоди, еще скажи мне, Вала!
Я еще желаю знать: как имя
Той жены, что не захочет плакать,
Как по Бальдуре все плакать будут,
И покрова с головы не снимет?
Прежде чем заснуть опять — скажи мне.

Вала

Ты всё знаешь сам, давно я вижу,
Но желал бы лучше ошибиться,
Чем всё знать. Один, отец вселенной!
Удались, — и можешь похвалиться,
Что меня не вызовет из мрака
С сей поры уже никто, — до часа,
Как придет всемирное крушенье.

И в могилу опустилась Вала.
Ускакал Один еще мрачнее.
Так в старинных говорится песнях.

6

Фригга, взяв от всех творений клятву,
Чтоб не ранить Бальдура ни в сердце,
Ни в сырую кость, ни в ясны очи,
Ни во всё живое бело тело,
Чтоб хранить его от всякой боли,

Всякой скорби, всяческой напасти,
Воротилась в Азград, и все боги
Были рады, высыпали нá луг —
С Бальдуром играть и забавляться.
Все кругом красавца обступили
И давай метать в него — кто стрелы,
Кто каменья, с копьями, с мечами
Нападали на него с разбегу;
Но каменья, стрелы мчались мимо,
Копья и мечи по нем скользили,
И стоял в кругу неуязвимый
И еще светлей, чем прежде, Бальдур;
Боги шумно радовались, глядя;
У богинь вокруг счастливой Фригги,
Издали следившей за игрою,
Был и смех, и говор; только Нанна
Не могла смеяться и сидела,
Точно лань пугливая, тревожно
Провожая взором каждый камень
И стрелу, что в Бальдура летели.
Отовсюду восхваленья Локки
Раздавались у богов; но Локки,
Одержим какой-то новой мыслью,
Устремил орлиный взгляд на Фриггу;
Улучив минуту, вдруг он принял
Образ старой Фриггиной служанки
И подсел к ней, меж богинь пробравшись.
«Отчего, владычица, — спросил он, —
Отчего так разыгрались боги?»
Улыбаясь отвечала Фригга:
«Тешит их, что наш красавец Бальдур
Стал теперь неуязвим ни стрелам,
Ни каменьям, ничему на свете.
Я взяла со всех творений клятву,
Что вредить ему никто не будет».
— «Да от всех ли отбрала ты клятву,
И кого, смотри, не позабыла ль?»
— «Все клялися! — отвечала Фригга. —
Разве только у ворот Валгаллы
Мелкий есть кустарник — можжевельник,
Ну, да он так мал и так незначащ, —
Чем, кому он может быть опасен?

Чтó с него, я думала, брать клятву!
А то все — и дуб, и кедр клялися!»

Локки тотчас из ворот Валгаллы;
Можжевельник срезал, сделал стрелку
И — назад. Стоял вдали от прочих
Годр и не играл с богами: слеп был.
— «Что ж ты, — крикнул Локки, —
не стреляешь?»
— «Я, увы! и Бальдура не вижу, —
Отвечал слепой со вздохом, — где мне!»
Локки ж: «Эх, на радости попробуй,
Только так, хоть для одной потехи!
Вот стрела и лук, и вон где Бальдур,
Становись, а я стрелу направлю».
Боги, видя Годра тоже с луком,
Вкруг него столпилися, смеяся.
Бальдур сам слепому улыбался
И к нему оборотился грудью.
Локки Годру помогал прицелить;
И взвилась стрела, и полетела —
Прямо в сердце Бальдуру: шатнулся
И на землю пал он мертвый. Нанна
В то ж мгновенье бросилася к мужу
И со страшным, но коротким криком
Замертво упала на супруга.
Прибежали боги, смотрят, кличут,
Трогают то Бальдура, то Нанну —
Оба мертвы!.. Сами словно в камни
Обратились и стоят, не в силах
Молвить слова, бледными зрачками
Упершись друг другу очи в очи.

Годр — убийца — он за слепотою
Не видал, не понимал, что сделал,
И стоял вдали от всех. Как только
Первый ужас отошел, рыданьем
Неудержным разразились боги.
Сам отец Один, хоть знал, что будет,
Но, когда свершилось, омрачился
Пущей скорбью, лучше всех провидя,
Сколько зла от Бальдуровой смерти
И богам, и людям приключится.

Фригга — та не верила, что Бальдур
Навсегда от них сокрылся: Гелла
Возвратит его, не сомневалась,
В новом виде и еще прекрасней, —
И к богам немедля обратилась:
«Кто-нибудь скорей ступайте к Гелле
И какой угодно будет выкуп
Я, скажите, дам ей — только б тотчас
Отпустила Бальдура на небо».

Сын Одинов, Гермод быстроногий,
Побежал на вызов и в минуту
На коне отцовском в ад уж мчался.

7

Боги ж тело Бальдурово взяли
И снесли на берег синя моря.
Срублен был корабль и в море сдвинут,
И на нем костер устроен. Тело
На костер возложено. И Нанну
Тоже подле мужа положили.
Привели коня покойникова, тоже
На костер возвесть, и все при этом
Залилися новыми слезами.
Сто рабов и сто рабынь убитых
На костер уложено; оружье
И монеты, кольца, всё как должно;
Домочадцы, слуги и служанки
Пели песни жалостные, слезно
Причитали. Наконец, когда уж
Всё готово было, громовержец
Тор свой молот всеразящий бросил —
Грянул гром, и молния сверкнула,
И костер мгновенно объял пламень,
И корабль, пылая, поплыл в море.
Вслед за ним по воздуху громадный
Потянулся похоронный поезд.

Похорон таких уж не бывало
Ни потом, ни прежде, и не будет!
Все на них присутствовали боги.

Был Один на колеснице с Фриггой:
Впереди — орел, простерши крылья;
За орлом неслися с воем волки;
Над главою вороны кружились,
А вокруг блестящей колесницы,
На воздушных конях, в светлых латах,
Девы битв, Валкирии; за ними,
Тоже все в блистающих доспехах,
Бесконечным полчищем герои,
С поля битв восшедшие на небо.
В колеснице тоже, запряженной
Кабаном, красавец Фрейр и Герда;
На козлах золоторогих дальше
Ехал Тор, на плечи вскинув молот;
Там — другие боги и богини,
На оленях, лебедях и рысях;
А за ними карлы, великаны,
Духи в виде чудищ и драконов, —
Без конца тянулся пышный поезд!

Из богов там не был только Локки.
Он, когда свалился Бальдур мертвый,
Испугался больше всех: руками
Ухватившись за голову, мигом
Убежал из Азграда. По правде,
И не думал он, что всё так выйдет,
И, когда его хватились боги,
Он, дрожа, сидел уж в самых темных,
В самых страшных пропастях подземных.

8

Гермод в ад спускался девять суток
По глубоким рытвинам, во мраке.
И достиг до адской он решетки.
Там увидел: бледный свет, палата,
Длинный стол, и на почетном месте
Между теней Бальдур восседает.
Обратился Гермод с просьбой к Гелле:
«Отпусти ты брата снова в небо;
Все о нем жестоко плачут боги

И какой угодно предлагают
За него тебе богатый выкуп».
Отвечала адская богиня:
«Отпущу, пожалуй, но с условьем:
Если все, что только есть на свете,
Существа по Бальдуре заплачут,
Бальдур в небо снова возвратится.
Если ж нет, и хоть один найдется,
Кто о нем не будет плакать, Бальдур
Никогда на свет уже не выйдет».

9

Воротился Гермод снова в Азград
И привез ответ свирепой Геллы.
Как ответ тот услыхала Фригга,
Призывает тотчас буйных Ветров,
Говорит им: «Полетите, Ветры,
Вы во все концы по белу свету,
И скажите всякой божьей твари,
Синю морю, месяцу и звездам,
Темну лесу, всякой мелкой пташке,
И большим зверям, и человекам,
Что скончался Бальдур, мол, пресветлый,
Чтоб молили, да отпустит Гелла
Всем опять его иа радость в небо».
Понеслись по белу свету Ветры
С лютой вестью каждой божьей твари, —
И поднялся стон со всей вселенной:
Взвыли Ветры, море заревело,
И леса завыли, заскрипели,
Люди, звери, у кого есть голос,
Возопили; у безгласной твари ж,
У металлов и у гор и камней,
Слезы вдруг безмолвные, такие,
Как весной лиют они, встречая
После хлада н мороза солнце
(Но тогда на радость, тут от скорби),
Потекли обильными струями...
Но была в горе одна пещера.
Там, покров свой белый не скидая
Никогда, сидела великанша

(Некогда она царила в мире,
Но была побеждена Одином
И в пещере темной укрывалась).
Та на слово вестников небесных
Из скалы угрюмо отвечала:
«Я с сухими разве лишь глазами
О красавце Бальдуре заплачу:
Будь он жив иль мертв — он мне не нужен!
Пусть его сидит себе у Геллы!»

Так у Геллы и остался Бальдур».

10

Кончил вещий старец. Слушал Конуиг
И еще поник главою ниже.
Сквозь золу едва мерцали угли.
В забытьи склонился вещий старец.
Поутру открыл он очи: Конунг
Так же всё сидит на том же месте;
Чуть свалилась с плеч медвежья шуба,
Бледный луч скользил кой-где по складкам
Золотой истершейся одежды,
Освещая грозный облик, с длинной
Бородой, с нависшей бровью. Конунг
Был уж мертв. Судьбы его свершились.

(1870)

337. КНЯЖНА***

Трагедия в октавах

«КАК НАШИ ГОДЫ-ТО ЛЕТЯТ!»

1

Давно ль, давно ль, на траурных конях,
Под балдахином с княжеской короной,
Богатый гроб в гирляндах и цветах
Мы провожали... Поезд похоронный
Был без конца... Все в лентах и звездах,
Посланники, придворные персоны,
И духовенство высших степеней,
И во главе его — архиерей...

Мы крестимся всегда при виде гроба,
Прощаемся, молясь за упокой,
Будь то бедняк, будь важная особа...
Обычай, полный смысла, глубиной
И злейшего пленявший русофоба...
И тут прощалась с чьею-то душой
И дальше шла толпа... Но в высшем свете
Событьем были похороны эти...

Княжна... Но нет! письму я не предам,
Нет, не предам я новому злословью
Фамилии, известной с детства нам!
В войну и мир, и разумом и кровью
Служил сей род отчизне и царям
И встарь почтен народной был любовью...
Он в наши дни, с достоинством, одной
Представлен был покойною княжной.

И видом — ах! теперь как исполины
Пред нами те герои старины!..

Видали ль вы времен Екатерины
Ее штатс-дам портреты?.. Все, полны
Величия полунощной Афины
И гением ее осенены,
Они глядят как бы с пренебреженьем
Вослед идущим мимо поколеньям...

Могучий дух, не знающий оков,
Для подвигов не знающий границы,
Без похвальбы свершавший их, без слов, —
Всё говорит, что это те орлицы,
К кому из царства молний и громов,
Свершители словес своей царицы,
Ее орлы с поднебесья порой
Спускалися на миг вкусить покой...

Из этой же породы самобытной
Была княжна, хоть сгладился уж в ней
Весь этот пыл, весь пламень ненасытный
Под веяньем иных, счастливых дней.
Там — гордый страж пустыни сфинкс гранитный,
В тысячелетней простоте своей;
Здесь — Пракситель или резец Кановы,
Где грация и дух уж веет новый.

Ей этот лоск был Франциею дан!
Да, Франция — и Франция Бурбонов,
Что пережить сумела как титан
Республику и гнет Наполеонов, —
Она княжну, цветок полночных стран,
К ней кинутый крылами аквилонов,
С любовию в объятья приняла,
И матерью второю ей была.

Ее певцов она внимала лирам,
Ораторов волнующим речам,
Всё приняла, чтоб властным быть кумиром
И первою звездой в созвездьи дам;
И даже Он, пришедший к людям с миром
И взоры их поднявший к небесам,
Ей просиял как свет и как защита
В проповедях отца иезуита...

Что?.. Странно вам слова мои звучат?..
Народность — всё же из понятий узких,
И в этом шаг мы сделали назад,
От образцов отрекшися французских...
Но — век таков! И все теперь хотят
Преобразиться в православных русских,
Меж тем как многие едва-едва
Осилить могут русские слова...

Вон — князь Андрей на это, лоб нахмуря,
Глядит как на опасную игру!
И говорит, что уж «глаза зажмуря
Давно живу и вечно на юру»,
Что, «впрочем, нас бы не застала буря,
А там — всё пропадай, когда умру!..»
Он в этом видит признаки паденья
И нравственных начал и просвещенья...

И до сих пор упрямый старый туз
Твердит одно: «Европа есть обширный
Салон, где всякий — немец иль француз —
Своя семья! У всех один, всемирный,
Тон, образованность, и ум, и вкус!
Нас только *терпят* там, пока мы смирно
Сидим себе, как дети за столом,
On nous subit — à contre coeur [1] притом...»

Но князь чудак! Он парадокс ходячий!
Он отрицал Россию! И с княжной
У них всегда, бывало, спор горячий.
Патриотизм княжны был огнь живой!
России честь, победы, неудачи —
Воспринимала всё она душой,
Всё обсуждая без предубежденья,
С высокой, европейской точки зренья...

И вот с такой душою и умом,
Всё восприняв, что запад просвещенный
Взращал веками в цветнике своем,
Она явилась с ношей благовонной

---

[1] Рожденные внезапно — против воли (франц.). — *Ред.*

В наш свет — и так поставила свой дом,
Что сам Кюстин, вторично занесенный
Судьбой в наш край, уж бы не написал,
Что к медведя́м и варварам попал!

Свидетели — опять-таки французы!
Да! из французов сливки, высший слой,
Твердили в хор, что грации и музы
Из Франции, от черни бунтовской,
Как от Персея с головой Медузы,
Умчалися на север ледяной,
Перенеся в салон княжны, в России,
Весь ум французской старой монархии.

И это знал и оценил наш свет,
И перед нею всё в нем преклонилось...
И хоть прошло событий много, лет,
И хоть княжна давно уж устранилась
От поприща успехов и побед,
Но всё ее звезда не закатилась —
Отшельница из своего угла
На мнения влияла и дела.

К обычному стремились поклоненью
К ней Несторы правительственных сфер;
Вступая в свет, к ее благословенью
Являлися искатели карьер;
К ней шли, к ее прислушаться сужденью,
Творцы реформ по части новых мер,
И от княжны иметь им одобренье
Бывало то ж, что выиграть сраженье...

Все знали, что ее словцо одно
Имело вес и слушалося мненье
В таких пределах, где не всем дано
Име́ть и сметь сказать свое сужденье...
Конечно, ум тут много значил... Но
Один ли ум?.. У вас уж и сомненье?
О жалкий век! Как скор твой приговор!
Мерещится тебе лишь грязь да сор!

Нет-с! уж Париж, знаток по этой части,
Видавший цвет сынов своих княжной

Отвергнутых, со всем их пылом страсти,
Клялся богами, небом и землей,
Что нежных чувств она не знает власти,
Что перед ней, в досаде плача злой,
Сам Купидон, лукавый бог и смелый,
Разбил колчан и изломал все стрелы!

Хоть хроника падений и побед
Для света служит легкой лишь забавой,
И не педант он в нравственности, свет, —
Но высоко и достодолжной славой
Почтит он ту, в которой пятен нет!
Всегда в виду весталки величавой,
Как в оно время развращенный Рим,
Расступится с почтением немым!..

Княжна всю жизнь, как с кованой бронею,
Где каждая блестит на солнце грань,
Сквозь этот мир соблазнов, пред толпою
Чиста как день прошла... И отдал дань
Ей гордый свет, упрочив за княжною
До поздних дней названье Chaste Diane. [1]
Был этот титул ей всего дороже,
Она гордилась им... и вдруг... О, боже!..

Нет! не могу!.. Ее вступленья в свет
Я не застал, — но с первого мгновенья,
При первой встрече, юноша-поэт,
Был поражен!.. Серьезность выраженья
(Ее встречал я не на бале, нет!
В прогулках, по утрам, в уединеньи),
Задумчивость, вдаль устремленный взор —
По небу ль грусть, земле ль немой укор?..

О, дальние дорожки Монплезира...
Или тенистый Царскосельский сад...
И вдруг — виденье неземного мира...
Чуть слышно кони быстрые летят...
О Пушкин! — думал я. — Твоя бы лира...
Ты лишь умел, твой вдохновенный взгляд,

---

[1] Целомудренной Дианы (франц.). — *Ред.*

Вмиг указать, где божество во храме,
Вмиг разгадать Мадонну в светской даме!..

Признанье позднее... Княжна была
Моим надолго тайным идеалом...
Трагической кончиной умерла —
Трагедию ж смешали со скандалом!
Она всегда известного числа
Давала бал, и перед самым балом
Упал кумир, и что страшней всего:
С ним рухнул образ нравственный его...

Да, падают империи — но слава
Переживает. Упадает храм,
Но бог, в нем живший, составляет право
На память и почет тем племенам,
Что с именем его прошли, как лава,
Как божий бич, по суше и морям...
Но человек, в котором уважались
Достоинства, которого боялись

Лишь потому, что он был совершен,
Со всех сторон велик и безупречен, —
И вдруг внутри его лишь гниль и тлен!..
Но нет! я не сужу!.. Кто беспорочен?
В падении, быть может, сокровен
Глубокий смысл, и, может быть, уплочен
Им страшный долг... А мы с своим умом
В чужой душе чтó смыслим? Чтó прочтем?..

2

На месте я из первых был. Успели
Едва лишь подхватить ее — куафёр,
Модистка — и сложили на постели.
На голове богатый был убор,
А между тем глаза уж потускнели...
А тут кругом блеск ламп, трюмо, прибор
Помад, духов, и надо всем — незримый
Из вечности посол неумолимый.

Да, этот гость был всеми ощутим...
Взглянул он всем в глаза мертвящим взглядом,

Всем в ужасе стоявшим тут живым...
И дрогнули под праздничным нарядом
У всех сердца... Эх! шутим мы, труним
Над смертию, над судищем и адом,
А покажись чуть-чуть она — ей-ей,
Раскланяться забудем даже с ней!

Конечно, всё, как при внезапном громе,
Чтó было двор, чтó около двора,
Чтó приживало в старом барском доме,
Всё — в будуар! Явились доктора,
Но, главное, при этаком содоме,
Швейцар, без ног и впопыхах с утра,
И невдомек, чтоб, при событьи этом,
Отказывать являвшимся каретам.

И бальною, разряженной толпой
Весь дом наполнился. Толпа врывалась
И в будуар. При вести роковой
Цветы, брильянты — гасло всё, казалось.
Но над померкшей этой пестротой
Одна фигура резко отделялась:
Недвижно, руки на груди сложив
И — точно с вызовом на бой — вперив

В покойную упорный взгляд, стóяла
Одна пред ней девица. Всё кругом
Ее как будто в страхе обегало.
Чужим для всех, казалось, существом
Она была и точно предвещала
Чтó роковое... Так перед судом
Господним ангел, может быть, предстанет
Нам возвестить, что — се грядет и грянет...

Сравненье это, впрочем, я схватил
Так, на лету... Передо мной их много
В тот миг как будто вихорь проносил.
То вспоминал дельфийского я бога,
Когда стрелу в Пифона он пустил,
То Каина мне чудилась тревога,
Когда он смерть увидел в первый раз,
Оставшись с мертвым братом глаз на глаз...

Вразрез со всем была девица эта,
Одета — самый будничный наряд —
В суконном черном платье, без корсета,
И волосы откинуты назад
A l'étudiant.[1] Ни брошки, ни браслета.
Всем уловить ее хотелось взгляд,
Хотелось угадать, чтó в ней творится,
Что на челе высоком отразится?

Но ничего — всё тщетно! — не прочли!
Княжне судьба как будто услужила,
Чтоб угадать у мертвой не могли,
Какая мысль в последний миг застыла
У ней в лице, под дымкой poudre de riz,[2] —
Но та, живая, юная, таила,
Пожалуй, глубже чувства, и везде
Держал их ум в натянутой узде...

А между тем хотелося так страстно
Их допросить... Не смерть уж тут одна,
Тут шепот пробегал еще ужасный...
«Как? Эта самая... она... она —
Воспитанница эта — вот прекрасно!
Она ей дочь?.. Возможно ли! княжна,
La chaste Diane?.. И так всё скрыто было?
И вот она-то, дочь, ее убила?..»

8

И матери увозят дочерей
Скорее прочь. Во все концы столицы
Летит толпа распугнутых гостей;
Вестовщики помчались, вестовщицы,
Заволновался свет, и князь Андрей
Уже к восходу розовой денницы,
Сообразя все факты и слова,
Доказывал, что всё — как дважды два...

«Во-первых — сходство. Чудными глазами,
Известно, отличался весь их род.

[1] Как у студента (франц.). — *Ред.*
[2] Рисовой пудры (франц.). — *Ред.*

Глаза княжны воспеты и стихами,
И очень метко: «В них гроза живет.
Когда в душе всё тихо, то над нами
Зарницами играет, — всё цветет,
Смеется вкруг; но мысль одна иль слово —
И молния разрушить мир готова!

И счастье, что над этою грозой
Сильна так власть ума и сердца». — Это
Едва ль не сам Гюго своей рукой
Вписал в альбом княжны — два-три куплета.
У девочки точь-в-точь: и взгляд такой,
Зрачки того ж изменчивого цвета,
Ресницы только больше и острей,
И та же складочка между бровей.

Засим — характер. Помните сравненье,
Ведь ваше, — та была еще дитя, —
Друг против друга станут в изумленье,
Уж больше слов как бы не находя, —
Ну так похожи, как изображенье
Большого «Я» и маленького «я»!
В обеих та ж непогрешимость, вера
В себя и то ж произношенье *эра*...

Ну-с, а когда, бывало, та поет, —
Ведь у княжны, мы помним, на всю залу,
Бывало, сердце просто такт ей бьет!
Ну-с, а когда...» — «Да будет! Ну, пожалуй,
Будь так, по-вашему!.. Мы после счет
Сведем грехам и всякому скандалу!..
Теперь же вспомните — ведь кто угас?
Кого не стало?.. Лучшей между вас!..»

О, человек! о, слабое творенье!
За честь княжны я обнажаю меч,
А в самого уж крадется сомненье
И падает на полуслове речь...
А если — да?.. Какое откровенье!..
Но как же узел гордиев рассечь?!.
Сравненье с «Я» мое, без мысли всякой, —
Княжна тогда вся вспыхнула, однако!

Но пусть как знают и решат вопрос!
Одно я помню: сколько счастья, света
С собою в дом ребенок этот внес!
Чтó красоты, гармонии, привета
В самой княжне бог весть отколь взялось!
Ах, это был венец ее расцвета!
Все думали тогда: «Ну! влюблена!
Да! наконец-то!..» Бедная княжна!..

Но маленькое «я» всё подрастало
И начало теснить большое «Я»,
И выше всё головку подымало.
Тут нужен стал уж высший судия,
И миротворцем няня выступала —
Старушка крепкая, хоть жития
Под пятьдесят тогда ей, верно, было:
Она княжну вскормила и взрастила.

Она, внизу заслыша только «бой»,
Взойдет да покачает головою,
Да на княжну посмотрит — как водой
Ее обдаст, и ласково рукою
Потреплет девочку: «Ну, ты, герой,
Поди-ка повинись перед княжною», —
И та на шею к няне, а потом
Уж и к княжне, и плачут все втроем...

Но эти бури только лишь скрепляли
Союз сердец. Уютна и тиха
Текла их жизнь, и в лад сердца стучали,
Как два с богатой рифмою стиха.
Одна росла; глаза другой читали
В ее душе, и не было греха
(Какие же грехи!), ни мысли тайной,
Что бы от них укрылись хоть случайно!

И дивный мир их души наполнял,
И всё вокруг сияло чистотою,
И, к ним входя, порой я ощущал,
Что вот сейчас же, спугнутый лишь мною,
От них как будто ангел отлетал...

Княжна умела обладать собою,
И хоть входил я к ним с доклада слуг —
В ней точно легкий пробегал испуг...

4

Ах, эти дни! Уж как они далёко!
Я молод был... Я принят был княжной
Так, зáпросто... О, как стоит высоко
Она, всегда казалось, предо мной!
Нет, свет ее не знал, я был глубоко
В том убежден: пленяясь красотой,
Героя видит только в поле боя!
Нет, как он дома, посмотри героя!

И этот дедовский, старинный дом
В один этаж каким-то властелином,
С задумчиво нахмуренным челом,
Стоял, с своим высоким мезонином,
С колоннами... два льва перед крыльцом...
Теперь, увы! запасным магазином
Иль складом служит, с улицы же он
Другим большим совсем загорожен...

Внутри же эти залы — точно храмы
Истории... Портреты вам твердят:
Бендеры, Кунерсдорф, где сам упрямый
Великий Фридрих был разбит... весь ряд,
Всё служит историческою рамой
Жилым покоям, где «Армидин сад»,
Как говорили, где уж шло движенье
Вокруг самой, при новом освещенье...

Но этот старый мир в пыли, в тени,
Из сумрака веков как бы глядящий
Разумным оком, в шуме болтовни
И смеха строгий вид один хранящий,
Лишь с глазу на глаз нам про наши дни,
Про нас самих свой суд произносящий, —
Княжна их понимала ль?.. Да!.. Но как?
По-своему... Один там был чудак,

Чудак совсем особенного рода,
Не дед, и не отец — последний был
Лихой гусар двенадцатого года
И декабрист, — в Париже больше жил;
Дед — вольтерьянец: век такой уж, мода
Тогда была. Нет, тот, который слыл
При жизни чудаком, — глубоко чтила
Его княжна, хоть часто говорила:

«Il me fait peur parfois,[1] мой прадед — тот,
Что с Фридрихом сражался. Он железный
Был человек; фантаст во всем, деспот;
Как на войне — ни пропасти, ни бездны
Ему ничто, и сам всегда вперед —
Он для солдат был идол их любезный, —
Таков и в мире! Ужас наводил
На целый край! Чего уж не творил!

В дому — гарем; дела по всем приказам, —
И вдруг он всю губернию зовет
На пир. Все едут. Все к его проказам
Привыкли. Ждут. И вот двенадцать бьет,
И в черной ризе входит поп. Всё разом
Смолкает, музыканты, пир. Встает
С сиденья князь и — в ноги всем, прощенья
Прося за все грехи и преступленья,

Гостям, жене и людям, в ноги всем.
Приносят гроб — ложится. Поп читает
Над ним отходную, и он затем
Как бы совсем из мира исчезает...
Дверь на запор — и двадцать лет ни с кем
Не говорит, не видится. Вкушает
Лишь хлеб с водой. Когда же умер, тут
На нем нашли вериги с лишком в пуд.

En v'la un homme! ..»[2] Да, в человеке этом
Та крепкая сказалась старина,

---

[1] Он меня пугает иногда (франц.). — *Ред.*
[2] Вот это человек! .. (франц.) — *Ред.*

Что вынесла Россию... Пред портретом
Подолгу так стоит порой княжна...
На нем он был изображен атлетом,
Генерал-аншеф. Живопись темна,
И лишь глаза, их взгляд невозмутимый,
Их каждый чувствовал, кто шел лишь мимо.

«Смирился, — нянька говорит о нем. —
И спасся...» И в ее понятьях это
Возможно и теперь... прийти — во всем
Покаяться — и умереть для света!
В Ерусалим уйти, одной, пешком...
Как просто всё у них! Всё кем-то, где-то
Уставлено...» — сказала раз она...
Я думал: «Эй, хандрите вы, княжна!»

А в Крым поездка?.. Жажда ль искупленья
Во дни войны туда ее вела?
Там весь дворец она в своем именье
На берегах Салгира отдала
Под госпиталь... Что ангел воскресенья
Для страждущих у их одра была...
Ох, узнаю! Под бранной лишь грозою
Становишься ты, Русь, сама собою!..

Геройский дух, что там осуществил
Великую в народах эпопею,
На всех свой отблеск славный положил,
Всех озарил поэзией своею...
Генерал-аншеф — что ж, доволен был?
Доволен был — и очень, думать смею! —
Когда княжна, из Крыма воротясь,
О тамошних делах вела рассказ,

О том, как под огнем, на бастионах,
Шутя со смертью, смех не умолкал;
Как наконец, в виду врагов смущенных,
Наш старый вождь им город оставлял.
«В развалинах твердынь окровавленных, —
Суровый аншеф точно повторял, —
Парижский мир — не велика проруха!
За нами главное: победа духа!..»

С загаром на лице, душа полна
Неведомых дотоле впечатлений,
Как хороша тогда была княжна!
Чтó в этот мир ничтожных треволнений,
В салонный свет свой принесла она
И новых чувств, и новых откровений,
Душой святому подвигу уж раз
Со всем народом купно причастясь!..

5

А если — дочь?.. Так вот она, изнанка
И тайный смысл тревогам и слезам!
Так вот она какая «итальянка»!
В Италии подобрана, вишь, там!
Вот для кого нужна и англичанка,
Француженка и немка — языкам,
Предметам обучать, а там, с годами,
Учителя — и что с учителями!..

«Вот за детей кто богу даст ответ! —
Княжна, бывало. — Уж не то чтó Жене,
Большому оглупеть!.. j'en perds la tête![1]
Тот буквы ѣ и ъ, а тот спряжений
Не признает!.. Поэзии — уж нет!
Один, так вместо всяких упражнений
В грамматике стал девочку учить —
Да нет! о том *мне* стыдно говорить!

Взяла другого. Чем же началося?
Читать стихи дал Пушкина «Поэт»
И сделал двести тридцать два вопроса,
Чтоб девочка на все дала ответ.
На этом — год ученье уперлося!
Да все поэты опротивят!.. Нет,
Они — о, прелесть! — сделали открытье,
Что нужны нам не знанья, а — развитье!»

Развитье, впрочем, удалось, — хотя
В ущерб грамматики, и муз, и граций.

---

[1] Я от этого теряю голову! (франц.) — *Ред.*

Но что-то в нас проснулося, светя
Огнем в глазах; мы всё, без апелляций,
Решили вмиг; все силы посвятя
Развитью смертных без различья наций,
Мы стали «женщиной» в осьмнадцать лет,
В которой всё но́во от А до Z.

В то время все, севастопольским громом
От гордой дремоты пробуждены,
Мы кинулись ломать киркой и ломом
Всё старое, за все его вины;
Вдруг очутились в мире незнакомом,
Где снились всем блистательные сны:
Свобода, правда, честность, просвещенье
И даже — злых сердец перерожденье...

И у княжны сиял тогда салон;
Сужденья были пламенны и смелы, —
Но умерял их вкус, хороший тон,
И знала мысль разумные пределы.
Потом всё в стройный облеклось закон,
И жизнь пошла, и началося дело,
Корабль был спущен — лозуиг кормчим дан —
И мы вошли в безбрежный океан...

Всё Женя слушала — и не беда бы...
Но тут к княжне племянничек ходил,
Блондин и золотушный мальчик, слабый
И в золотых очках. Он подружил
Своих «сестричек» с Женей: «То-то бабы,
Да-с, Новая Россия! — он твердил. —
Не неженки, не шваль, не сибаритки!
Всё вынесут — и каземат, и пытки!»

Смешные были: сядут все кружком,
Как заговорщики, так смотрят строго
Из-под бровей и шепчутся тайком.
На всё ответ короткий, слов не много,
Отрубят раз и уж стоят на том.
Княжна терялась: резкость мысли, слога,
«Ужасный тон» и эта брань на свет,
Что это мир фразерства, лжи, клевет...

Откуда это? что это такое?
Послушать их, так все мы только лжем,
Живем, чтобы жуировать в покое
И праздности! Свой «кóмфорт» создаем
На крови и костях! А остальное —
Народ, le peuple, держим под ярмом
В невежестве, чтоб нам покорны были, —
Народ, который мы ж освободили!..

А о себе что думают! Какой
При этом фанатизм! В огонь и воду
Сейчас готовы! *жертвуют* собой!
Уверены, что бедному народу
В них лишь спасенье! Век, вишь, золотой
Откроют — братство, равенство, свободу!
Ну, пусть племянник, — он уж из пажей
Был исключен, — но Женя? С ней что, с ней?

Княжна терялась, и, что день, то, видит,
Всё хуже. Началось молчанье. Спор
Лишь вспышками, бывало, только выйдет.
И, помню, раз: «Все эти толки вздор! —
Княжна сказала с жаром. — Ненавидит
Она меня — вот в чем весь разговор!»
И разрыдалась. Мне досадно стало:
Ведь малодушье только оказала!

6

Пропало всё веселие у нас!
Весь дом затих, и пенье замолчало,
И музыка как бы оборвалась;
Как будто два хозяина в нем стало
И надвое душа разодралась,
Что в нем жила и жизнь всему давала,
И стало две, и каждая с враждой
Следит упорно всюду за другой...

«Хоть кто-нибудь придите, ради бога,
Да помогите!..» Слава в дни те шла
Про одного в столице педагога —

Княжна тотчас его и позвала,
Про ум его наслышавшися много,
А главное, что вел свои дела
Он без педантства, действуя с успехом
На молодежь иронией и смехом.

Уж был в чинах и в гору вдруг пошел,
Благодаря проекту пересадки
Каких-то к нам из-за границы школ.
Введись-ка план и все его порядки,
Он, уверяют, чудо б произвел!
Вся б наша Русь, от Прута до Камчатки,
Однообразием пленяя взгляд,
Вся б обратилась в чудный детский сад!

Прекрасная и смелая попытка
Уравновешенья духовных сил!
У нас в умах не стало б ни избытка,
Ни недостатка: всё б он устранил,
Все б ровно шли, не вяло и не прытко.
И вот свой план он в общем изложил;
Потом, когда уж по его расчетам
Была пора, он ловким поворотом

На главный пункт направил разговор,
Что, мол, хаос везде, раздор, тревога:
«Мальчишки — даже те вошли в задор,
Учителям толкуют, что нет бога,
Отечество, религия — всё вздор!
Что требуют от них уж слишком много,
И, с важностью взъерошивши вихры,
Шипят: одно спасенье — топоры!

Пусть мальчики б одни, молокососы, —
Нет с барышнями справы! Покидав
И музыку, и пяльцы, режут косы
И, как-то вдруг свирепо одичав,
В лицо кричат нам: вы, мол, эскимосы,
У женщин всё украли! Прав нам, прав!
Работы нам, разбойники, работы!..
Как будто мы-то трудимся с охоты!..»

Он был доволен. Думал — удалось.
Смеялся больше всех, но не смеялась
Лишь молодежь; и только поднялось
Всё общество, как Женечка подкралась
И показала педагогу «нос»,
И с хохотом наверх к себе помчалась;
Блондин же хамкнул: «В полдороге, брат,
Глупцы да подлецы одни стоят».

Как полководец, потеряв сраженье,
Стоял наш ритор... Но грустней всего,
Что вывела такое заключенье
Потом княжна по поводу его:
«Пусть Жени неприлично проявлеиье, —
Но в сущности и сто́ит он того:
Они все — красные! Кто так, из моды,
От глупости, кто плут уж от природы».

7

А занимала Женечка меня!..
Был у княжны обед — кой-кто из света
И, между знаменитостями дня,
Ее друзья, известных два поэта.
Один — он чудная душа! Огня,
Любви исполнен, жаждал мира, света,
Мог всё иметь, ио презрел блеск и шум
И предпочел свободу чистых дум...

Он горячо душой скорбел за долю,
Что русскому народу суждена.
Разбросан по лесам, прикован к полю,
Он искони и сам, и вся страна
Обречены на вечную неволю...
Сперва — Орда!.. Едва низложена,
Встает Москва — с ней батоги и плаха,
И, как Молох, царит лишь силой страха...

«Чем можем мы гордиться? Где тут честь?
Где рыцарство? Крестовые походы?

Где революции святая месть?
Где истины исканье и свободы?
Чтó человечеству могла принесть
Россия в дар, чтобы ее народы
Благословить могли? Чтó создала?
Угрозой лишь для них всегда была.

А жаль! Народ с душой, как мир, широкой,
С поэзией, со страстью и умом!..»
Все поняли порыв души высокой,
И князь Андрей воскликнул с торжеством:
«Я говорю, поплатимся жестоко
За гордость мы и беды наживем:
Дождутся эти наши самоучки,
Что нас возьмут да в Азию под ручки!»

Тут вышел спор... Не чудно ли, ей-ей!
Россия! ты — с заоблачной главою
Разлегшийся между пяти морей
Чудесный сфинкс, — а мы перед тобою,
Пред вечною загадкою твоей,
Кружим, жужжим, подобно мошек рою,
И спорим, — ты же, в думу углубясь,
Глядишь куда-то... только не на нас...

Другой поэт — он, голову понуря,
Сидел и слушал, но в душе его
Уж, видимо, накапливалась буря...
О, полное видений существо!
Я как теперь гляжу: глаза зажмуря,
Как бы помимо зримого всего,
Ты в глубь веков уносишься душою,
И говоришь как будто сам с собою:

«Да, бедная Россия!.. Лес и бор,
А с юга — степь! Не обозреть равнину!
И в людях: *род восста на род*, раздор,
Живяху бо по образу зверину...
И вот туда идет с Афонских гор
Смиренный инок, что *во челюсть львину*,
И дикарям являет идеал,
Что на кресте распятый миру дал...

Идет один — в леса, в места глухие
До Соловков, — и край преображен!..
Нахлынули народы кочевые,
Встает ислам и папа, с трех сторон
Крушится всё, крушится Византия,
Но уж в Москве оплот сооружен,
И пробил час из мрака ей изыти,
Как третий Рим, четвертому ж не быти...

И стал отсель ее народов дух
Един хранитель истины Христовой...
Что ж? Продолжать?.. — Смотря с улыбкой вкруг,
Спросил поэт. — Одно лишь, впрочем, слово!
Мы — высший свет — мы спрашиваем вдруг,
Что́ создала Россия, и нам ново,
В чаду чужих идей забыв свое,
Припомнить то, что создало ее!..

Там — силой мир был сплочен феодальный
И пестрый сброд племен в один народ;
Здесь весь народ, дотоль как бы опальный,
Великое призванье сознает,
И ради той идеи колоссальной
Он весь — от смерда до царя — идет
И государству в крепость отдается,
И терпит всё, лишь вера да спасется!

И вот предстал он в образе Петра
Пред миром вдруг как грозный триумфатор...
Содрогся мир: уж не пришла ль пора
И уж идет Восточный император?..
Но тут и блеск Версальского двора,
И Запада профессор и оратор
Пленили нас, поверили мы им, —
Да на раздумьи грустном и стоим!..»

Поэт умолк. В его горячем слове
Послышалась такая глубина,
Что смолкли все... «E pur si muove, [1] —

---

[1] И всё-таки она движется (итал.). — *Ред.*

Послышалось, — и всё идет она,
Всё та ж *святая* Русь, своей основе,
Сама того не ведая, верна!
И всё ей впрок! Что нынче так оставит,
То завтра взять само себя заставит...»

То высказал какой-то старичок,
Когда-то бывший консул на Востоке.
Он продолжал: «Восток — нам свет, Восток!
В России — все несемся мы в потоке;
Нам не видать, куда летит поток,
Что океан могучий и широкий!
Нет! встань на Гималай, смотри с Балкан,
Лишь там поймешь ты этот океан!..»

Его слова затронули поэта,
Он подхватил: «И только б раздалось
С высот Кремля и до высот Тайгета
Одно словцо — и разрешен хаос!
Словцо — Восточный император...» Это
Я потому привел, что весь вопрос
Тогда же предложил на обсужденье
Девиц, и Женя высказала мненье:

«Наш век, — слова чеканила она, —
Век личности. И разум и свобода —
Его девиз. Былая жизнь должна
Окончиться для всякого народа;
И будет жизнь людей везде одна,
Без государств и без различья рода
И племени». — «Коммуна, так сказать?»
— «Как вам угодно можете назвать,

А уж так будет». — «Это ваша вера?»
Спросил я. «Математика, — ответ. —
Я не люблю ханжи и лицемера,
Но искренни тот и другой поэт, —
Да старики!.. Для них свята химера
Их государства!.. Тысячи ведь лет
Уходят на него умы, таланты...
А про святых он — ну уж, обскуранты!»

8

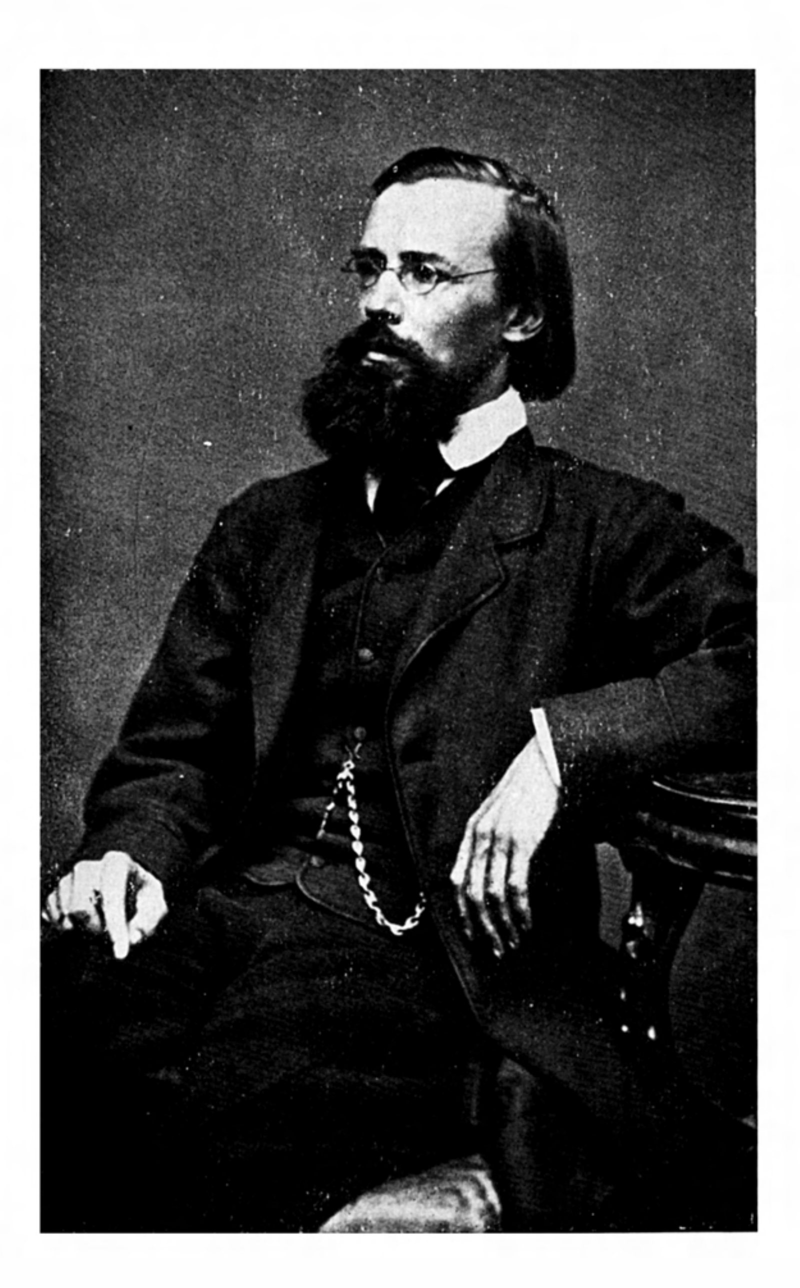
Потом я видел Женю только раз.
Кой-кто собрался. Светская, живая
Шла болтовня, и Женя, наклонясь
В углу между своих над чашкой чая,
Ну отпускать «словца» на всех на нас,
И вслух. «Какая же вы нынче злая», —
Сказал я ей, смеясь, как все ушли.
Она ж запальчиво: «Жгу корабли!»

Тот вечер был решительный. Пропала
Она из виду с этих пор. Княжна
Старалась скрыть от света всё сначала.
Всё вышло так: оставшися одна,
Уж проводив гостей, она послала
Позвать к ней Женю. В этот раз она
Явилася тотчас же пред княжною,
Но — боже! — как? .. С обрезанной косою! ..

Княжна лишь ахнула. И вдруг, в сердцах:
«Вон, стриженая, вон!» Не дрогнув бровью,
Та повернулась и пошла. В слезах
Легла княжна в постель. Наутро — кровью
В ней сердце облилось: нет Жени! Страх,
Двоякий страх: и поприще злословью,
Да и жива ль? .. И как она могла?
И отчего, зачем, куда ушла? ..

Куда ушла! .. В неведомое море!
Как утлый челн, оторванный волной!
Что ж манит так тебя в его просторе?
Какую пристань видишь пред собой,
Безумная! .. Нет пристани! Лишь горе
Да вечное скитанье пред тобой!
И час придет — очнешься ты над бездной
Разбитая, одна, во тьме беззвездной...

Я говорил, но уж трещал канат,
Уж ветер дул; она лишь улыбалась!
Гремел громов далеких перекат,
В ее глазах лишь пламя разгоралось,
И, на меня подняв с насмешкой взгляд,
Она хотела высказать, казалось:



«Ты слышишь ли, что сердце мне поет?
Звучнее ль песнь мне разум твой найдет?..»

О, если бы да наш не зачерствелый
В сомненьях ум иную тему дал,
И сами б мы уверенно и смело
Держали путь на светлый идеал, —
Иную песнь тогда б ей сердце пело,
Иной бы ветер челн ее помчал!..
Но разве в нас душа так обнищала,
Что у самих у нас нет идеала?

И, цвет народа, мы бредем впотьмах
И мечемся в кругу, как эфемеры,
Без верной цели, без любви в сердцах,
Без корня, без плода?.. Для нас химеры —
Добро и зло? И для всего в руках
У каждого свои весы и меры?
Нет идеала, нет того у нас,
Что живо так в инстинкте темных масс?

Нет, много их, но служат лишь отзывом
Все на чужой! Побрежный люд, должны
Бороться мы без устали с приливом
К нам издали катящейся волны...
Взлетит к нам всплеск неистовым порывом
Бог знает где взмущенной глубины,
Зальет поверхность и, до новой смены,
Уйдет, оставя гнить здесь клубы пены...

9

От Жени, впрочем, на столе у ней
Нашлась записка: «Рано или поздно
Мы разойтись должны, и, чем скорей,
Тем лучше. Вместе жить, глядеть же розно —
И тяжело, и подло. Из детей
Я вышла. В жизнь давно смотрю серьезно.
Иду. Вам не понять, чего ищу.
Ищу я *правды*; правды лишь хочу».
И всё. . . . .

О, как с тех пор все изменились лица!
И как неправ к княжне я был! Она,
Видал я, то, как бешеная львица,
По комнате металась: «Я сильна,
Скажу лишь слово, и она, срамница,
Уж будет здесь! .. Я езжу к ней, княжна!
Прошу, молю... И что ж я ей? Забава?
Наладила одно: „У вас нет права!“»

Не то — так слезы, малодушный стон.
Лицо в подушку и рыдает страстно...
Я изумлен бывал и возмущен.
Я думал: вот он, деспот самовластный!
Привыкла жить и не встречать препон,
И вдруг теперь от сироты несчастной
Нашла отпор! .. Конечно, права нет!
Не дочь тебе и вышла уж из лет...

Но... если б знать, что в этих муках лютых
Больное сердце матери скорбит;
Что это — львица, в собственных же путах
Захлестнута, бессильная, лежит;
Что в этих горьких днях, часах, минутах
Всей жизни ложь несчастную казнит...
О, как теперь всё кажется иначе!
Любви что было в гневе том и плаче! ..

Любви! .. И вот чего ей не понять:
«Так измениться вдруг! .. И отчего же?
Ребенком без меня не шла и спать, —
Откуда ж ненависть? За что? За что же?»
Да, да, княжна! теперь могу сказать:
В госпитале вам легче было (боже!),
Где, вольный крест на рамена взложив,
Вы в воздухе вдыхали кровь и тиф! ..

Так с лишком год прошел. О бегстве Жени
Узнали все, жалели о княжне.
Сама она от первых потрясений
Уж успокоилась, и даже мне

О ней ни слова. Впрочем, на дом тени
Как будто пали. В мертвой тишине
Княжна как будто погреблась. Часами
Сидит, охватит голову руками,

Не слышит ничего, не говорит...
Или в огромном зале ходит, ходит...
Поедет вдруг в собор и там стоит,
Спустив вуаль; с пречистой глаз не сводит,
И руки жмет, душа вся к ней летит,
И шепчет ей, и точно не находит
Слов, наконец на помост упадет...
А вкруг — кадил бряцанье... хор поет...

Так подошел и бал. И, как всё было,
Мне куафёр рассказывал потом.
Княжна казалась в духе и шутила,
Прической любовалась и венком...
Вдруг входит та, да разом и хватила:
«Позвольте документы о моем
Рожденьи. Замуж выхожу. Желают
Читать попы. Иначе не венчают».

Княжна глядит недвижна и нема.
Та ж, глаз не опуская, без смущенья:
«А не дадите, так пойду сама
И расскажу всё в Третьем отделенье.
Я знаю, чья я дочь». — «Да ты с ума
Сошла! Чья дочь!» — «Да ваша». В то ж мгновенье,
Глядим, княжна шатнулась. «Эдуар, —
Кричит, — воды!» — и кончилась. Удар.

Тут шум и гвалт. Никак уже скандала
Не избежать. Прихлынули толпой.
Очнулась няня первая и стала
Всех просто гнать. Тотчас, сама собой,
Став выше всех, она уже вступала
В бесспорные права над трупом той,
Что ей младенцем, с божья изволенья,
Была дана в любовь и береженье.

Осталась только Женя как была,
Да я промешкал несколько мгновений.
Крестясь, старуха к трупу подошла.
«Чего ж стоишь, простись!» — сказала Жене.
Та только тут как будто поняла.
В лице невольных несколько движений,
И вдруг — что вижу? — Женя — боже мой! ..
Та, гордая, статуей роковой

Стоявшая, как будто ледяная,
Обрушилась внезапно над княжной
И, страстно труп холодный обнимая,
К княжне на грудь прижалась головой
И плакала... И, плакать не мешая,
Взгляд на нее кидая лишь косой,
Кругом старушка стала прибираться...
Мне долее не шло уж оставаться...

11

О, тут роман и интерес огромный,
Я чувствовал... Но нить уж порвана!
Один источник, но источник темный,
Старушка няня, и притом она
К княжне пристрастна, верный, не наемный,
Старинный человек, и хоть умна,
Но где ж понять ей высших сфер волненье,
И тонкость чувств, и даже слов значенье! ..

Весь век с княжной, и странствовала с ней
И на́ воды, и по столицам мира,
Видала жизнь народов и людей
До берегов почти Гвадалквивира,
Фортуны прихоти, игру страстей —
Всего видала на веку, но мира
Души ее ничто не потрясло,
И, как мираж, всё мимо лишь прошло...

Ничто ее не подчинило игу
Ни чуждых форм, ни веяний чужих;

Неся свой крест как вольную веригу,
Она жила всё в мире душ простых,
Где набожно одну читают книгу,
Одной лишь верят — жития святых,
Как встарь еще, в блаженные те веки,
О внутреннем радея человеке...

Но как же быть! Все бросилися к ней,
Как на медовый цвет шмели и осы.
«И каково ж! Представьте (князь Андрей
Рассказывал потом): на все расспросы
Насупилась, молчит! Глядит темней,
Чем из-под туч Каламовы утесы!
Уж я просил, всё ставил ей на вид,
И соблазнял, и уличал, — молчит!..»

Я спрашивать не думал уж нимало,
И вообще жалел лишь о княжне.
«Вот подивись, — она мне рассказала:
Вхожу к ней утром. Вижу — вся в огне,
И говорит, — как раз канун был бала, —
«Я видела прадедушку во сне».
— «Что ж?» — говорю. «Да приходил за мною».
— «Ну, полно, — я опять, — господь с тобою!»

Перекрестила, ну, мол, ничего!
Ан — вот и сон!» Меж тем уж в ход пустили
И телеграф, и почту; до всего
Дошли и всё как должно разъяснили,
И князь Андрей скакал (о, торжество!)
Рассказывать, какие вести были
Получены им первым: в миг один
Он просиял и вырос на аршин!

Я, кажется, без очерка оставил
Вам князь Андрея? Впрочем, про него
Что ж и сказать? Себя он не прославил
Ничем, хотя честили все его;
Ни черт лица особенных, ни правил...
Милейшее был, впрочем, существо!

Княжна его хоть в шутку называла
Le prince «Tout le monde»,[1] но очень уважала.

«Cette pauvre princesse, — он говорил, — как раз
Tout est connu![2] Теперь всё очень ясно!
Экстаз, религиозный был экстаз —
И — оскорбленье! Переход ужасный!
Душа искала пищи, а у нас
Где эта пища — да с такою страстной
Притом натурой? .. Ну-с, в Париже был
Тому лет двадцать проповедник. Слыл

Он за святого. Делал обращенья
Во множестве. Un saint François[3] собой,
Аскет, траппист. Княжне как откровенье
Он свыше был. Всей бросилась душой
В католицизм. Уж все приготовленья
Окончены, и вдруг как громовой
Удар — уехала! .. И вот теперь — разгадка!
Faut convenir,[4] что сделано всё гладко!»

И рад был, рад и счастлив князь Андрей.
Свет был не то что рад, но злоязычью
Дать пищу рад; рад каждый был пигмей
Подставить ножку падшему величью
(Самоуслада маленьких людей), —
Но внешнему не изменил приличью,
В глубоком трауре и в орденах
На пышных весь он был похоронах...

Шли речи в группах... Образ величавый
Еще в сердцах у всех был как живой.
И кто ее заменит: столько здравой
В ней было мысли, этот взгляд прямой,
Возвышенный характер, вкусы, нравы...
Вопрос же насчет Жени суд людской

[1] Князь «Весь мир» (франц.). — *Ред.*
[2] Эта бедная княжна... все понятно! (франц.) — *Ред.*
[3] Святой Франциск (франц.). — *Ред.*
[4] Следует признать (франц.). — *Ред.*

Так порешил: «Да! анекдот скабрёзной,
Но ей вольно же брать всё так серьезно! ..»

«Что анекдот, ну лопнула струна,
Не в этом дело! — слышалось сужденье. —
Тут — исторический момент! Княжна —
Полнейшее его лишь выраженье.
В истории нет личностей. Одна
Идея смысл дает им и значенье», —
Сказал один адъюнкт, — конечно, вздор,
Но, подхвативши этот приговор,

Москвич известный — борода большая —
Припомнил вот что: кто-то раз весной,
Княжну в чужие краи провожая,
Сказал ей вслед: «Поехала домой! ..»
О Жене тоже, что она «такая,
Как и княжна, но только век иной,
В них в каждой книжка говорит чужая,
В княжне одна, а в девочке другая».

О Жене, кстати, отзыв привелось
Иной мне слышать. Встретились «сестричкн»
И в голос прокричали иа вопрос:
«Что Женя?» — «Сволочь! Барские привычки!
Разнюнилась, как действовать пришлось!»
И вдаль помчались стайкою, как птички,
Как будто нес их вихорь-богатырь,
Что по Руси гуляет вдоль и вширь...

12

Итак — княжна... Но — мнр во гробе спящим!
И грех живым, идущим к их гробам
С своим судом, лишь в злобе дня судящим
И в похвальбе своим делам и дням!
И мы, чредой, и с нашим настоящим
Предстанем все к таким же судиям...
А кто безгрешен? Все мы — человеки!
Мир праху твоему, княжна, вовеки!

Два слова, впрочем. Няня сорок дён
Служила панихиды, всё как надо.
По случаю каких-то похорон
Я с нею встретился. Казалось, рада,
Что видит, ласковый, спокойный тон.
Речь о княжне, конечно — вот, отрада
Была ей Женя, да и та... «Да, да, —
Вздохнув, она сказала, — молода,

Еще глупа: ни что к добру, что к худу —
Понятья нет!.. Вон — замуж-то идет:
Я только так, мол, с ним и жить не буду!..
Все на нее теперь, что вот, мол, вот!..
Дивятся детской дури, словно чуду!
Эх, друг! *и небо, и земля пройдет*,
А дурь-то нешто вечная? Минует!
Дух у нее большой. Вот и бушует!..

Княжна, бывало, по ночам не спит:
«За что, мол, на меня-то держит злобу!
А, чай, теперь в нужде какой сидит!
Снеси-ка, — денег даст мне, — да попробуй,
Пообразумь». Приду: «Нет, — говорит, —
И не моги! Нога моя до гробу
Не будет к вам. А денег — хоть умру,
А не возьму». Ну в эдаком жару,

Гляжу, что делать? Время только трачу!
А бедность-то кругом: диванчик, стол
Да стул — и всё!.. Ведь забрала ж задачу!
Гостей встречала у нее. Пришел
Раз целый сонм. Галдят! А я-то плачу,
В уголушке сижу. «Да с кем те свел
Непутный», — говорю. Она ж: «Да, путных мало!»
Сама, поди ж ты, это понимала...»

«А что теперь она?» — «Да как сказать!
Никто как бог! Захочет — сердце тронет.
Что гордость-то людская? Благодать
Земных владык и тех главу приклонит!..»

Тут, признаюсь, не с тем, чтобы болтать
Ее заставить, я сказал: «Прогонит
Всю эту дурь, как разглядит, она, —
Как прогнала ж ведь патера княжна...»

Старушка на меня взглянула косо
И поднялася с места, от меня
Боясь прямого, может быть, вопроса,
Но обернулась... Изумился я:
Я чувствовал, что скорби поднялося
В ее душе! И, голову склоня:
«Коли судить, — сказала мне, — берешься,
Слыхал ли то: не падши, не спасешься?..

Затем — прости!» И тихими шагами
Вдаль побрела. Смотрел я долго вслед.
Тут свежий холм, усыпаниый цветами,
Ее любовь и гордость стольких лет,
Та, что прошла победными стопами
Свой в мире путь, вкруг разливая свет,
Деля *со всеми* блеск, все жизни розы,
С *одной* лишь с ней — страдания и слезы.

Но отчего ж?.. И кто ей указал?..
Та, для кого великие стремленья
И всякий высший века идеал
Доступен был и близок, — утешенье
Нашла лишь там, куда не проникал
Ни блеск, ни шум всемирного движенья,
Где теплится лампада да одне
Лишь шепчутся молитвы в тишине...

Пылинка влаги, в небеса взлетая,
Там золотом горит и серебром,
То в радугах цвета переливая,
То разнося и молнию, и гром...
Отбушевав и отблистав, кончая
Свой горний путь, теряется потом
В бездонных глубинах, где от иачала
Ни зыби не было, ни бурь, ни шквала...

Счастлив, тысячекрат счастлив народ,
В чьем духе есть те ж глубины святые,
Невозмутимые и в дни невзгод,
Где всякие страдания земные
Врачуются, где разум обретет
И нищий духом на дела благие,
Затем что там от искони веков
Царит всецело чистый дух Христов.

1874—1876

338. ДВА МИРА

Трагедия

По поводу трагедии «Два мира» считаю необходимым сказать несколько слов. Давно, еще в моей юности, меня поразила картина столкновения древнего греко-римского мира, в полном расцвете начал, лежавших в его основании, с миром христианским, принесшим с собою новое, совсем иное начало в отношениях между людьми. Я тогда же попытался изобразить ее в поэме *Олинф и Эсфирь.* Затем следовала поэма *Три смерти,* вторая часть которой, именно встреча с христианами, так и осталась недописанною. В 1863 году явилась и эта вторая часть, и поэма была напечатана в «Русском вестнике», под заглавием *Смерть Люция.* Далее, однако, углубляясь в изучение того и другого мира, я чувствовал всю недостаточность, всю внешность черт, какими характеризовал ту и другую сторону в моих опытах, и к 1872 году поэма у меня совершенно пересоздалась. В *Смерти Люция* героем, представителем греко-римского мира, у меня являлся эпикуреец; но этого мне показалось мало. Герой должен был вмещать в себе всё, что древний мир произвел великого и прекрасного: это должен был быть великий римский патриот, могучий духом, и вместе с тем римлянин, уже воплотивший в себе всю прелесть и всё изящество греческой образованности. Эпикуреец остался далеко назади пред этим образом. Вокруг этого нового героя, которого я назвал Децием, чтобы порвать всякое отношение к эпикурейцу, я сосредоточил всё разнообразие элементов современного ему римского общества времен падения, как фон, на котором должна была нарисоваться его фигура. Здесь я уже сделал всё, что мог, в изображении языческого мира. Но понять христианский мир не только в отвлеченном представлении, а в живых осмысленных образах, в отдельных личностях, оказалось гораздо труднее, чем сладить с миром языческим. Какое-то внутреннее неудовлетворявшееся чувство не давало мне успокоиться, и я не пропускал ничего, что могло познакомить меня ближе с духом, образом и историей первых христиан, главное почерпая сведения уже не

из вторых и третьих рук, а ища прямо в литературе, во главе которой стоит Св. Евангелие. Так, мало-помалу, без ведома для меня самого, с какою целью я это делаю, у меня накопился материал, позволивший мне теперь выполнить вполне мою первоначальную идею, и даже по тому плану, какой был составлен до 1872 года. План этот следующий. Поэма должна состоять из трех частей (или актов). Первая часть — из двух сцен, из коих одна должна была служить преддверием к христианскому миру, а другая к языческому. Обе сцены были написаны тогда же. Вторая часть должна ввести нас в самый христианский мир, имевший свой центр в Риме — в катакомбах. Она-то мне и не давалась и является только теперь. Третья часть — пир Деция, явление к нему друзей его, христиан Марцелла и Лиды, и смерть его. Таким образом, в трагедии, как она появляется ныне, вся вторая часть новая; первая сцена первой части вся переделана, а заключительная сцена третьей части значительно изменена.

Может быть, многим покажется странным, что человек чуть не всю свою жизнь возится с одною художественною идеей или, по крайней мере, столько раз к ней возвращается. Но, видно, я следовал инстинкту, подсказывавшему мне, что лучше сделать что-нибудь одно, да «по мере сил»...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

СЦЕНА ПЕРВАЯ

На одном из холмов Рима входные ворота в палаты Деция, знатного римского патриция времен Нерона. По обеим сторонам ворот на цепи по рабу: старец Иов и молодой человек Дак. Иов в забытьи, прислонясь к стене. К Даку подходит его однолеток Гет. Оглядевшись во все стороны, он садится рядом с Даком. Весь разговор их полушепотом, настроение их таинственное.

Гет

Что, старец дремлет?

Дак

Тс! Молчи!
Как будто задремал немного,
А может быть, и нет. В ночи
С ним было чудо: видел бога.

Гет

Как видел бога?

Дак

Говорил
Он как, да слаб уж очень был,
Невнятно. Час, пожалуй, целый
Лежал он словно помертвелый.
Так страшно было! Я будил,
Не слышит.

Гет

Бога видел!
А впрочем, если уж кому
И видеть бога, так ему!
Ну есть ли кто, кого б обидел
Хоть словом он?.. Вот за кого
Я б душу отдал — понимаешь,
Так, чтоб в мученьях!..

Дак

А ты знаешь,
У цепи он из-за чего?

Гет

Нет.

Дак

Видишь, прежде он в почете
Был в доме. Ни к какой работе
Не понуждали. Господин
С ним разговаривал. Один
Вот этог Давус ненавидел,
И раз стал бить его. У нас
Был мальчик: это он увндел,
Да хвать за нож, и тут как раз
Конец бы Давусу, да кто же
Его, как думаешь ты, спас?
Сам старец Иов.

Гет

Боже! боже!

Дак

Да, ухватил и удержал.
А Давус: «Это, — закричал, —
Твои дела! Ты их сбираешь,
Ты их мутишь и развращаешь,
Да у меня короток суд».
Ну, мальчика к муренам в пруд,
А старца к цепи!

Гет

(подумав)

А кто знает?
Ведь мальчик-то теперь в раю!
Всё ж душу положил свою
За ближнего!.. Вот что бывает
Со мною: будто у меня
Есть враг; и я иль из огня,
Иль из воды его спасаю,
И на меня дивится он.
И вот ему я объясняю,
Что уж таков Христов закон:
«Люби врага...» И так всё живо,
И говорю, и сам горю,
И даже плачу...

Молчание.

Дак

А ты во сне видаешь дом?

Гет

Уж редко.

Дак

Ну, а я видаю.
У нас крутой был спуск к Дунаю,
А против поле, и на нем
Становят станы: всё кругом,
Всё вежи... Шум такой и ржанье...
Тут как-то снилось, что пришли
С войны и пленных привели
И их готовят на закланье
Богам. И начал я просить,

Чтоб их не трогали; хулить
Стал идолов, и — закричали
И на меня все разом — взяли
И тащат, и хотят убить,
А я-то всё за них молюся...
И старец Иов вдруг уж тут
Явился...

Слышно хлопанье бича. Гет вскакивает и смотрит с горы; возвратясь впопыхах.

Гет

Давуса несут...
Бегом да в гору!

(Толкает Иова.)

Старче!
Проснися! Давус!..

(Убегает.)

Подбегают десять рабов, несущие золотые носилки, и ставят их перед воротами. Как остановились, двое из них упали без чувств, остальные с трудом переводят дух. Из носилок вылезает толстый дворецкий Дециев Давус.

Давус

(расправляя руку, держащую плеть)

Мерзавцы! Ломит ведь плечо!
Сегодня умирать изволит
Их господин, а им еще
Прибавить шагу трудно!..

(Смотрит на упавших.)

Пали,
Собаки! Слабосильны стали!

(Ударяя Дака плетью.)

Ты что глазеешь? Отворяй!

(К носильщикам, увидев, что они хотят поднять упавших.)

Да бросьте: мало их!.. Ступай
Вы все вперед, бегом! Стучите
В большую доску десять раз;

Потом чуть-чуть повремените —
Опять ударить десять раз!
Еще чуть-чуть повремените —
Опять ударить десять раз!
Пир на весь Рим! .. Ну, что стоите!

(Рабы бегут; Давус им вслед.)

Чтоб вылезали все из нор!
Бежали б к делу все, весь двор,
Чтоб все одеты, чисты были! ..

Чего не позабыл ли? .. Ну,
Не в первый раз! Рим покормили
В свой век, и кесари хвалили!

Хор, танцы — этим я начну;
Цветы ко всяким переменам,
Бой гладиаторов — финал!

(Оглядываясь на рабов.)

Лишь бы из них кто не сплошал...
Да у меня — тотчас к муренам!
Не знаю всё — что мой народ?
Уж смирны очень, терпеливы...
Нет воровства совсем! .. Идет
Всё в струнку... Только молчаливы
И что-то шепчутся... И к ним
Всё кто-то шмыгает, к собакам...
Ох, на волкане мы стоим!
Спартаком пахнет, да! Спартаком!

(Уходит в ворота.)

Дак
(затворив двери, к упавшим)

Сс! .. Азиатик! Буривой!
Не слышат...

Входит Лида, молодая женщина, в темной тунике, с белым покровом на голове, низко спускающимся на лицо; за нею несколько человек христиан.

Лида

(увидя трупы)

Это кто?.. Кровь льется...
Несите вниз туда, к больным.

Несколько человек уносят тела.

Дак

Надорвались!.. Не жить уж им!..
Жаль Буривоя... Вместе взяли
И привели нас...

Иов

(с тихою скорбью; вообще речь его кроткая)

Отстрадали
Свой век и к господу предстали,
И пред его теперь лицом...
Святую кротость их помянет
Всевышний на суде своем!

Дак

И вот же, в эту ж ночь предстанет
И господин туда, и там
Их встретит... Здесь собой надменный,
Великий, недоступный нам,
А там — из огненной геенны
Смотреть он будет в светлый рай,
К своим рабам!..

Иов

Не упреждай
Господень суд!

Лида

О господине
Ты что сказал?

Дак

А хочет ныне
Он умирать...

Лида

Он болен!

Дак

Нет.

Сказал тут Давус — умирает
Сегодня...

Лида

(про себя)

Боже! И его
Я не спасу!..

Дак

Весь Рим сзывает
На пир. И Давус оттого
В тревоге...

Лида

Деций умирает!
Он, Деций! Да ведь в нем весь Рим,
В веках держащийся корнями, —
И сдвинуть слабыми руками
Мне, женщине?.. О нет, нет, нет!..
Безумная! а ты обет
Себе давала...

(К Иову.)

Отче, может
Поверить он?

Иов

Чего не может
Господь? Велит он, и гора
Подвигнется...

Лида

Ведь он добра,
Он истины искал...

Иов

Помилуй
Всех, господи! Всем даруй силу
Гордыни тяжесть превозмочь
И распознать, где день, где ночь!

Лида

К тебе я, отче; вот в чем дело:
Поручено мне от Марцелла
Сказать, что выйдет, может быть,
Декрет сегодня ж: объявить,
Чтоб завтра утром мы явились
К властям, как богу поклонились
Статуе кесаря, а нет —
То смерть. Чтоб обсудить решенье,
Всех в катакомбы на совет
Зовет Марцелл.

Дак

(восторженно к Иову)

Твое виденье!..

Лида

Предложат каждому один
Вопрос: ты кто? христианин?
Ответишь «да» — и отбирают,
К зверям иль в пламя назначают,
И тут же всех пытать тотчас,
Чтоб в муках вырвать подтвержденье
Всего, что взводится на нас.

Дак

Вот ангелов зачем виденье!

Лида

(к Иову)

О чем он, отче, говорит?

Дак

(живо, указывая на Иова)

Сегодня ночью откровенье
Имел он свыше!..

Иов

Смысл сокрыт
Видений... Вряд ли подобает
Об этих тайнах говорить...
Хотя и то же может быть:
Господь в виденьи возвещает

Свою нам волю...
Да! со мной
Свершилось ныне то, что даже
Я и теперь как сам не свой...
Сидел я здесь, и над собой —
А время шло к четвертой страже —
Вдруг слышу голос: «Встань!» — и вдруг
Как будто что меня подняло
На высоту — и только дух,
А тело на земле лежало,
Что риза снятая, — его
Я видел: бледно и мертво,
И без движенья... Подивился
Я сам в себе и взор возвел
На небо, и как бы раскрылся
Там облак... Вижу я: престол,
И некто был на нем седящий,
И свет великий вкруг него,
Как бы от солнца, исходящий
В пространство от лица его;
И, словно в радужном тумане,
С блистанием мечей и лат,
Полки несметные, ко брани
Готовые, кругом стоят;
И, с распростертыми крылами,
Внизу, на воздухе, пред ним
Всё были ангелы с мечами
В руках... И говорил он им:
«Которые не поклонились
Кумирам идольским, ни мук,
Ни смерти злой не устрашились, —
Блюдите души их...» И вдруг,
Всшумев крылами, обернулся
К земле сонм ангельский, и вниз
Они в пространство понеслись...
Я поглядеть на них нагнулся,
Но облак быстро запахнулся,
И скрылось всё... Темно кругом —
И так мне тяжко, страшно стало!
И я глаза открыл с трудом —
И всё как прежде: портик, дом,
И цепь — всё тут... Чуть-чуть светало...

Один старик

(благоговейно)

Господь уж это... по делам
Твоим... восхитил к небесам
Твой дух... быть может, упреждает
Через тебя, что сам идет
Судить, и знаменье дает...

Иов

Когда господь придет, не знает
Никто!.. И мир его узрит
Внезапно, во мгновенье ока,
Как молния: блеснет с востока
И разом небо озарит
До края запада...

Лида

...Теперь, отец, прости,
Иду к другим.

Иов

Всем повести!

Дак

(ей вслед)

Уж завтра встретимся, быть может,
При гласах трубных... день суда!

Лида

(делает несколько шагов и останавливается)

Сердца их радуются... Да!
Но душу мне еще тревожит
Обет, не совершенный мной...

(Оглядываясь на дворец Деция.)

О Деций, Деций... Боже мой!
Ужель и в миг, когда над бездной
Теперь стоит он, ты ему
Не бросишь луч свой с тверди звездной
Во всю им пройденную тьму!

(Уходит.)

СЦЕНА ВТОРАЯ

Комната в термах. Деций, богатый римский патриций, отдыхает после бани, окруженный клиентами. Вдали, у выходной арки, толпа рабов. Ювенал, молодой человек, заглянув в комнату, поспешно входит.

Ювенал

Ах, Деций! на одно мгновенье!

По знаку Деция клиенты и рабы удаляются.

Ужели правда?

Деций

Жаль одно!
Задумал я уже давно,
Да отлагал всё исполненье
И кесарю доставил честь
Напомнить! Вот что мне обидно!
Я знаю, стоит произнесть
Мне только слово, — с тем бесстыдный
И назвался ко мне евнух
Миртилл на ужин: обнимает
И ластится, как нежный друг,
На все лады мне намекает,
Скажи, мол, слово, и тотчас
Всё позабыто! Но уж нас
Врасплох, надеюсь, не застанет!

Ювенал

Ужель вся буря оттого,
Что декламацией его
Ты не был тронут?

Деций

Как кто взглянет!
Ему на чтеньи три лица
Своим присутствием уж в зале —
Помпоний, Руф и я — мешали,
И крикнул он: «Три мертвеца!» —
И вышел, в нас швырнувши свиток...
Что ж? Слово кесаря — закон!
В нем — Рим!.. Я тут же на прощанье
На пир всё пригласил собранье...

Но тотчас спохватился он:
От казней, от убийств и пыток
Рим отдохнуть успел едва;
Везде читаются слова
Предсмертные Сенеки; шепот
Еще идет, как умирал
Пизон и Люций, даже ропот
В преторианцах пробежал, —
И к нам клеврета за клевретом
Он шлет с намеком иль советом.
Руф и Помпоний, перед ним
Те извинились: *мы* молчим...
Весь анекдот, пожалуй, в этом.

Ювенал

В какое время мы живем!..
И жизнь, и смерть — всему значенье,
Цена утрачена всему!

Деций
(равнодушно, полушутливо)

Что значит жизнь? Из тьмы и в тьму
Промчался мотылек, мгновенье
Блеснув на солнце!.. Человек
Сам по себе что значит в мире?
Кому он нужен? Кончен век,
И за прибор его на пире
Другой садится...

(Вдруг одушевляясь.)

Но для нас,
Для старых римлян, для фамилий,
Которых с Римом жизнь слилась,
Которых предки Риму были
Отцами и которых дух
Из рода в род передавался
И держит Рим, — уж то нейдет
Сравненье!.. В Рим теперь собрался
Со всей вселенной всякий сброд;
В курульных креслах восседают
Чуть не вчерашние рабы
И грязным пальцем наклоняют,

Куда хотят, весы судьбы...
От этой сволочи презренной
Мы устранились и смиренно
Живем в провинциях, в полях;
На Рим, пока он в их руках,
Глядим извне, как чужестранцы
Или как трезвые спартанцы
На перепившихся рабов...
Мы ждем, и наша вся забота
Лишь в том, чтоб старый дух отцов
Являлся требовать отчета
В палаты кесарей порой;
Чтоб у поруганного трона
Он появлялся судией,
Грозящим призраком Катона, —
А этот призрак всякий раз
Встает, во все дома стучится,
Лишь только новое свершится
Самоубийство между нас!

Ювенал

Самоубийство, меч, отрава!
И в этом — лучших из мужей
Теперь величие и слава!
Что ж с бедной музою своей
Поэт тут сделает?.. Не знаешь,
На чем стоишь! Почти теряешь
Уж и понятие о том,
Что называть добром и злом!

Деций

Да, жаль мне вас!.. На вашу лиру
Из мира нечему пахнуть,
Чтобы аккордом звучным миру
Ей отозваться как-нибудь!..
У диких скифов и тевтонов
Видал ночные я пиры:
Среди глухих, лесных притонов
Зажгут они свои костры,
В кругу усядутся в долине
И пьют меды, а посредине
Поет певец. Напев их дик,

Для нас, пожалуй, неприятен, —
Но как могуч простой язык!
Как жест торжествен и понятен!
И кто там больше был поэт —
Певец нль слушатели сами?
Но эта ночь, в лесу, с кострами,
И между листьев лунный свет,
И в лихорадочной тревоге
Кругом косматый этот люд —
Всё — даже самые их боги,
Что в вихрях мчатся, тоже тут,
С высот внимают, — всё дышало
В тех песиях пламенных... Но в них
Певец вливал в свой звучный стих
То, что толпа ему давала...
А вы? Куда вас повлекут
И что вам слушатели скажут?
Какие цели вам укажут
И в ваши песни что вольют?

Ювенал

И Рим такой же был когда-то!
Такая ж песнь и в нем жила!
Ои пел Виргинию, дела
Кориолана, Цинцинната!..
О Деций, нет! с собой самим,
С тобой к чему мне лицемерить?
Но я почти не верю в Рим!

Деций

Кто верит в разум, тот не верить
Не может в Рим!.. Афины — в них
Искусства нам явилось солнце;
Их гений в юном Македонце
Протек между племен земных,
С мечом неся резец и лиру.
Рим всё собой объединил,
Как в человеке разум; миру
Законы дал и мир скрепил.
Находят временные тучи,
Но разум бодрствует, могучий
Не никнет дух... И сядь на трон

Философ — с трона свет польется,
И будет кесарев закон
Законом разума. Вернется
Златой, быть может, век. Твой дар
Сатира. Помни ж, что сатира —
Дочь разума. Ее удар
Разит перед глазами мира.
Чтоб мир признал твои права,
Ты должен сам стоять высоко:
Стрела тогда лишь бьет далёко,
Когда здорова тетива!
Вот что тебе я на прощанье
Сказать могу!..

По знаку Деция рабы и клиенты к нему подходят и надевают на него верхнюю тогу.

Ювенал

(в раздумьи)

...Ужасное сознанье!
В чем, где же эта высота?
В душе кипит негодованье,
Под ним же, боги, пустота!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В КАТАКОМБАХ

Большая зала в катакомбах. Направо, налево внутренние подземные входы. При них лампады. По стенам несколько ниш для гробниц, и над ними надписи. В глубине сцены вырубленная в скале лестница. На повороте этой лестницы, в половину ее высоты, сидит Дидима, девочка, слепая; тут же светильник и свечки. В глубине сцены, около стены, где лестница, значительная группа разных лиц, странников и преимущественно рабов, слушающих Иова.

Дидима

(заслыша шаги приближающихся двоих, нараспев)

Свечечкой, свечечкой,
Зрячий, от слепенькой
В путь запасись!

Один из проходящих

Мы к старцу Иову... Господь
С тобой, Дидима!

Дидима

С вами тоже!

Они сходят с лестницы и присоединяются к слушателям.

Девочка

(сама с собою, нараспев)

Мне он ненадобен,
    Светоч земной!
Всё озаряет мне
Света небесного
Искорка малая
    В сердце моем...

Один из группы слушающих Иова

А после женщин он потом
Ученикам явился днем?

Иов

Да, ввечеру. Как прибежали
К ученикам они, сказали,
Что видели, те всё почли
За их мечтанье. С этим двое,
Клеопа и Лука, пошли
В Эммаус. Место там пустое
Дорогой. Шли они одни —
Вдруг между них явился третий
И их спросил: о чем они
Печалятся и плачут? Эти
Дивятся: как же это он
Не знает, быв в Ерусалиме,
Что там Исус-пророк казнен!
Он речь повел об этом с ними,
И слушать сладко было им,
И на слова его горело
Их сердце. Между тем стемнело.
Подходят к дому. Дольше с ним
Побыть им хочется, и просят,
Чтоб с ними в дом и он вошел.
Зажгли светильник. Хлеб приносят,
Вино. И, взявши хлеб, возвел
Горе он очи, преломляя
Его с благословеньем: вмиг

Как бы открылись очи их,
И оба вдруг они признали,
Что это Сам Он — с ними шел,
И говорил, возлег за стол,
И делал так всё, как видали,
Он делал, — и взыграл их дух:
«Равви», — хотели уж воскликнуть
И броситься к нему, как вдруг,
Глядят, он стал невидим...

Слепая

(у себя наверху)

Свечечкой, свечечкой,
Зрячий, от слепенькой
В путь запасись!

Двое молодых людей, Главк и Эвмен, подходят к ней, берут свечи.

Эвмен

(спускаясь с лестницы)

Отсюда без огня уж нам
Нельзя идти.

Главк

(указывая на девочку)

Она слепая?

Эвмен

Слепая, но по всем путям,
Свои приметы наблюдая,
И здесь, и в городе пройдет
Везде одна...

Главк

И раздает
Нам, зрячим, свет!

Эвмен

(приближаясь к авансцене)

Да, но простая
Одна случайность... Видишь, тут
У нас для странников приют,
Их первый отдых. Издалека
Приходят — с запада, с востока,

Из Африки. От всех церквей
Приносят вести, край от края,
Со всей земли. Вокруг гостей
Всегда беседа.

Главк

Тут слепая,
Свет раздающая!.. в цепях
У входа старец — руки, плечи
Изъязвлены, а в небесах
Витает дух и на устах
Любви исполненные речи, —
Всё это точно чудный сон!

Эвмен

Тот старец? Оглянись, вот он!
Как люди кончат труд, с тяжелой
Он цепи сменится — всё тут!
Все, как на цвет медвяный пчелы,
Послушать слов его бегут...
Начитан древних книг еврейских,
Сам он с Востока, был вождем
Племен каких-то арамейских
(Язык их сходен), жил царем,
Полн гордых замыслов когда-то, —
И вдруг разгром! Всего утрата!
Пленен и продан, дни влачит
Рабом — и что же?.. Говорит,
Что бытия познал он сладость
Лишь тут, по благости творца;
Что тут вкусил и понял радость
Он вдруг прозревшего слепца;
Что лишь в цепях, на жестком ложе,
Обрел он то, что нам дороже
Земного скиптра, и венца,
И всех сокровищ мира, — бога
И путь к нему! И с этих пор,
Как путник ночью у порога
Пред освещенным домом, взор
Он с совершенств его не сводит,
И в созерцаньи их находит
Ту мудрость, силу и покой,

Чем всех невольно покоряет,
И в высоты, где пребывает,
Всех увлекает за собой...

Главк

Не в этом ли и всё ученье
Христа, Эвмен? Не всё ль в одной
Молитве «Отче наш»? В моленье
О царстве божьем на земли?
Когда б мы все постичь могли
Отца святое совершенство
И все исполнились бы им, —
Жизнь стала б вечное блаженство
И мир стал раем бы земным!
Его лишь волю б мы творили,
И зло исчезло б навсегда...
Не только кары, мы б суда
Нαзванье даже позабыли!

Эвмен

Ах, Главк, умом хоть и поймешь
И видишь дивные примеры,
Да вдруг ни силы нет, ни веры,
И ты колеблешься и ждешь,
Как перед пропастью, — спасенье
Иль шаг изменит — и паденье!
Пример нам старец Иов... Но...
Вот видишь, Главк, раздвоено
Всё существо мое! Тревожит
Меня сомненье: дай совет.
Назавтра брак мой, и, быть может,
Назавтра ж кесарев декрет!
Быть может, страх мой и не к месту,
Но против воли трепещу,
Что поведу я вдруг невесту
Не к алтарю, а к палачу, —
И тут испуг или невольный
Прочту укор в ее глазах,
Сам поколеблюсь... Вот мой страх!
И с ним мне тяжело и больно!
Так молода! Почти дитя...
Вхожу вчера, в душе так мрачно,

Она, с подругами шутя,
Спешит наряд окончить брачный,
И спор у них — из-за шитья!
Чтоб я решил, еще хотела!..
Потом другое: вечерело,
В саду сидела вся семья;
Два белых голубя над нами
Взлетали плавными кругами
Всё выше в синеву небес;
Она следит, дохнуть не смея,
Как светлой искрой, всё слабея,
В лазури вдруг их след исчез...
Она мне крепко сжала руку
И шепчет: «Это мы с тобой!»
И улыбается... Какой —
Ну как сказать — восторг и муку
В тот миг я разом ощутил...
Что отвечал уж — и не знаю...
Прости мне, Главк! Хоть облегчил
Признаньем сердце...

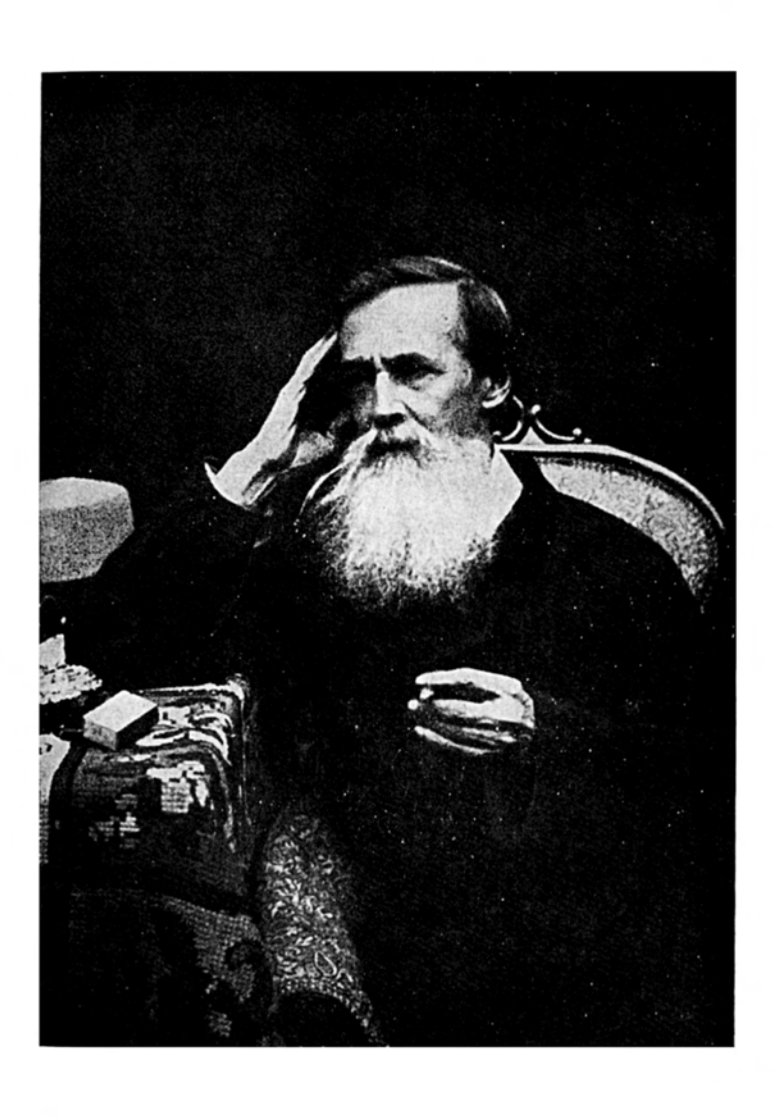
Главк

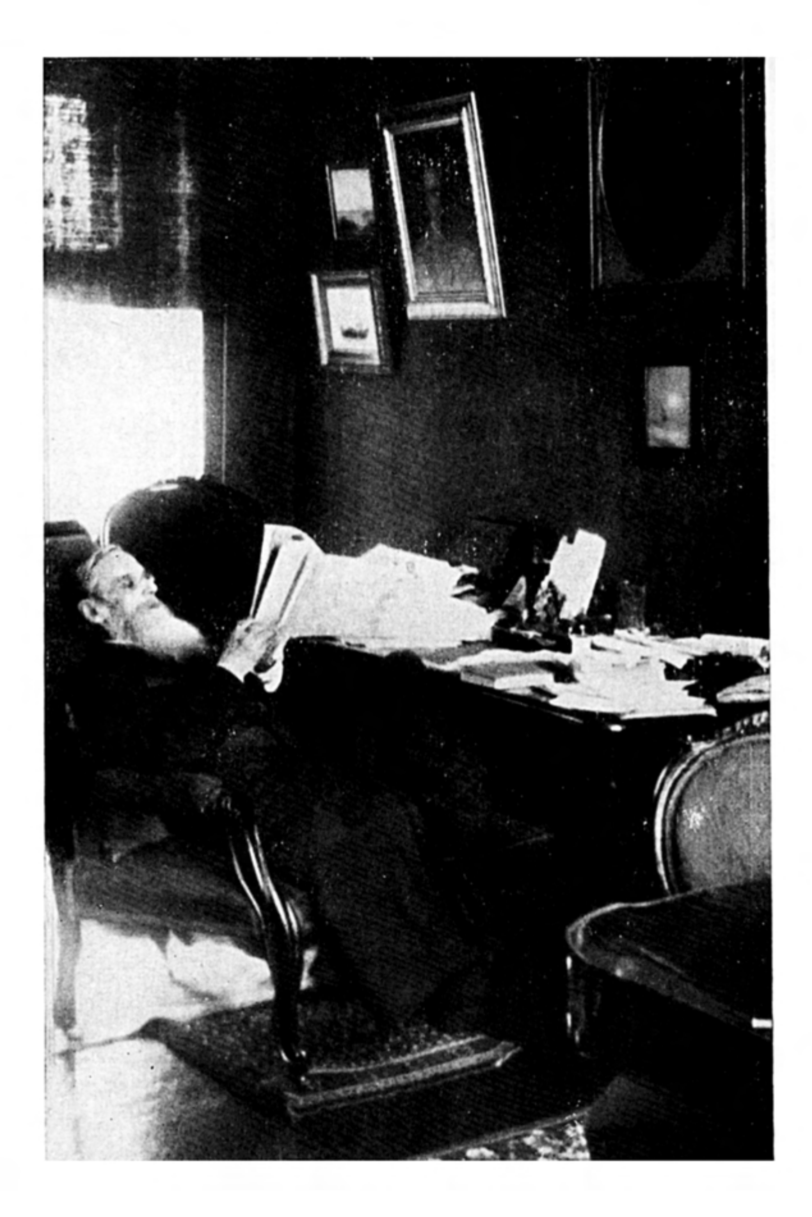
Понимаю.
Но вряд ли прав ты перед ней.
Всей новой жизнию моей —
А этой жизнью называю,
Когда Христа лишь начал знать, —
Я женщине обязан. Мать
Меня взрастила в неге, в холе.
Из этой роскоши потом
Вдруг очутился я рабом,
Но роскошь та же и в неволе:
Хозяин мой был меценат,
Поэт, певец, над ним, скорее,
Я деспот был, и он был рад
Служить любой моей затее,
Гордясь лишь правом надо мной.
Так я страстям не знал преграды
От детских лет; всегда с толпой
Друзей: где явимся — пощады
Уж нет и нет на нас суда!
Вдруг воспылал я страстью — да! —

К замужней женщине... Бывало,
Полуспустивши покрывало,
Идет... Ребенок иногда
За палец держится... Сгораю
Я, вспоминая, от стыда...
Я тотчас план изобретаю
Из дома выманить, увлечь
И обмануть. Обдумал речь —
Уже заране торжествуя, —
Друзья в засаде, в дом вхожу я
И вижу: на густых коврах
Она, ребенок на руках,
Другой целует шею, третий
Из-за плеча, с боков, в ногах,
Кругом смеющиеся дети,
И улыбается она,
Живым венком окружена
Из детских лиц; все во мгновенье
Прижались к ней. В самой смущенье —
«Кто ты? Зачем?» — порыв души,
Здесь до меня без опасенья
Царившей в тайне и тиши
Своей святыни... Все расчеты,
Вся ложь, с какой вошел я к ней,
Разбились в прах. Что из детей,
Окроме двух, те все сироты,
Что это христианский дом,
Я прежде знал. Стою, стыдом
Как бы прикованный на месте...
Эвмен, я то хочу сказать:
Мне кажется, в твоей невесте
Должна, уж в девице, сиять
Такая ж будущая мать
И то ж для близких провиденье,
Как та мне сделалась потом...
Ну, в свой черед мне извиненья
Просить — я задержал, идем.

Уходят, засветив свечи.

С лестницы между тем спускается слепой старик, ведомый мальчиком.





Слепой старик

(к мальчику)

Здесь и сберутся и объявят
Декрет? .. Ну, вот! до своего
И дожил дня! .. Ведь я его
Сам близко видел... Запоздали
В пути мы и как раз попали,
Как выводил его Пилат
К народу... Помню этот взгляд,
Слегка опущенные веки,
Весь образ, — я был зряч тогда, —
Ну — точно в сердце навсегда
Отпечатлелся, уж навеки...
Два факела по сторонам,
И он в венце из терний сам...
Ослеп потом, и потускнело
Всё в памяти... Он как живой
Один остался...

(Останавливается, прислушиваясь к голосу Иова.)

Иов

Не льститесь благами земными!
Вот ты сокровищ приобрел
И спрятал — сердцем будешь с ними
Везде, куда бы ни ушел!
Сбирай сокровища для вечной
Лишь жизни...

Слепой старик

А! Иов тут! .. Пойдем к нему!
Ох, дивный муж!

Присоединяются к группе Иова.

Из галереи справа выходит Лида, ведя под руку пожилую женщину Мениппу, сажает ее на скамье.

Лида

Приотдохни, садись сюда!
Ты так устала, ослабела...

С лестницы спускается несколько человек детей; с ними женщина. Лида подходит к ним, оправляет их, ласкает.

Мениппа

(одна)

Всё видела, всё осмотрела, —
И в Риме нет... Всё нет! .. Куда
Еще теперь? Куда? В какие
Еще края? .. И хоть бы след!

(К Лиде, к ней подходящей.)

Как хорошо у вас! .. Такие
Все добрые... Ко всем привет!
Пещеры... своды... лица эти —
Всё мирно, тихо... Я б у вас
Осталась...

Лида

Что же? В добрый час...

(Указывая на детей.)

А эти дети — «божьи дети»
Мы их зовем — на площадях
Подобраны, на пустырях...
Кто бросил? Чьи? Никто не знает:
Вот «божьи» и зовем мы их!

Мениппа

(содрогнувшись, сильно)

Злодеи! Зверь детей своих,
И дикий зверь не покидает!

С лестницы несут на носилках раненого.

Лида

(к несущим)

Ко мне?

Носильщик

Уж перевязаи. Раны
Не глубоки. Был принесен
Без чувств.

Мениппа

(бросается к раненому, смотрит и возвращается грустная. Детей между тем уводят)

Всё нет! Не он, не он!

(Возвращается на свое место.)

А так же, может, бездыханный
Подобран был... и был спасен...

(К Лиде.)

Нет, я не в силах... Нет, таиться
Я не могу — душа моя
Должна перед тобой открыться:
Я вас обманывала!.. Я —
Не христианка... Из Милета
Я родом. Век жила я там —
И вот теперь шестое лето
Скитаюсь по чужим землям...
Я *сына* всё ищу!.. Когда-то
Мы жили пышно и богато...
Но вдруг война... Свои враги...
Муж умер... Началась расплата —
И сын взят в рабство за долги!
Он был учен, играл на лире,
Слагать гекзаметры умел...
Раз господин ему велел
В честь Афродиты петь на пире.
Он отказался! Отчего —
Доселе не знаю! Говорили,
Что христиане соблазнили...
Все поднялися на него,
Вмешалась чернь — такие нравы
У нас уж! Крики, брань и стон!
Бегу я, вижу след кровавый,
Его разорванный хитон,
А он исчез!.. Одни вопили —
Убит и в море труп стащили,
Другие — кем-то унесен.
Что ж? жив иль нет?.. Я больше году
Томлюсь! Покоя ни на миг...
Иду раз в гавани. Народу
Толпа! Грузят товары. Крик!
Вдруг предо мной остановился
Матрос. «Он жив», — шепнул и скрылся.
Жив!.. Где ж искать его? Пошла
Я наудачу, где землею,
Где морем, к Риму прибрела

И тут... тут встретилась с тобою,
У вас смотрела... Что ж теперь?

Лида

Несчастный!.. Но надейся, верь:
Есть бог!

Менинпа

(не слушая, сама с собою)

Шесть лет передо мною
В глазах — разорванный хитон,
И площадь, лужа крови или
Залив и корабли — и он,
В даль уходящий!.. И манили
Опять надежды, и я шла...
О, да! скажу, что полила
Слезами долгий путь...

Лида

Ты с нами
Останься: может быть, найдем.
Скажи, как звать его. Потом
Расскажем старшим... Ах, путями,
Поверь, неведомыми нам
Ведет нас бог, и встретишь там,
Где и не чаешь... А слезами
Политый путь он видит... Сам
Христос прошел его...

Менинпа

Ты добрая душа...

(Вдруг от нее отпрянув.)

А если... умер?

Лида

Умер... боже!..
Ей, откровенья чуждой, что же
Скажу я?.. Что мои слова!

(Увидав вошедшую пред тем и остановившуюся пред одною в стене гробницей Камиллу, молодую женщину с двумя детьми, мальчиком 8—10 лет и другим 4-х, указывает на нее.)

Смотри, вот мать с детьми, вдова.
В гробнице этой прах хранится
Отца их... Видишь, подняла
Ребенка к камню приложиться...
Гляди, как смотрит, как светла
Улыбка! .. К старшему нагнулась...
Тсс... слушай... говорит...

Камилла

(сыну)

Так помни ж, в этой нише прах,
Прах вашего отца. Он львами
Разорван был, и в небесах
Теперь душа его и нами
Любуется, когда творим
Мы доброе и бога чтим,
А нет, то плачет... Может статься,
У вас и маму бог возьмет.
С ним вместе с голубых высот
Мы вами будем любоваться...
Смотри же, помни этот ход,
А подле крест и надпись...

(Припадает к камню головой на руки и шепчет.)

Милый!

Мальчик

(читает надпись)

Ж, д, у — жду — вас.

Камилла

(Быстро вставая и отирая слезу и обращаясь к гробнице)

О, прости!
Невольно изменяют силы! ..
(Становится с детьми на колени.)
Моли, чтоб нам к тебе пройти
Чрез все земные испытанья,
И суеты, и тяготы
Такими ж чистыми, как ты!
Чтоб там, где нет ни воздыханья,
Ни слез, ни скорби, ни стенанья,

Ты нас бы принял, веселясь
И духом радуясь о нас...

Менниппа

(Лиде)

Они с *ним* говорят?..

Лида

Он в небе!
Он видит их, их слышит... С ней
Свести тебя?

Мениппа

(радостно, тихо, с любопытством)

О да!

Лида

Камилла!
Вот мать несчастная — тебе
Довольно, чтоб принять участье...

Камилла

(подавая руку Мениппе)

Да кто же счастлив здесь?.. Мне счастье
Вот — дети. Я живу лишь в них...
А что до счастия других —
То вот нам Лида провиденьем
Ко всем несчастным послана
Как добрый ангел с утешеньем...

Лида

(с испугом и удивлением)

Камилла, что ты, что!

Камилла

Она,
Где только слышит — есть страданье,
Она уж там, чужой ли, свой...

Лида

(быстро, с упреком)

Камилла!..

Камилла

Всё существованье
Ее для ближних! .. Боже мой!
А дети, сирые, больные...

Лида

(Менинпе порывисто)

Не верь!

Камилла

В заботах день-деньской,
Как неусыпная Мария...

Лида отходит в сторону, в лице следы внутренней тревоги.

Когда б ты видела ее
Средь заключенных, средь страдальцев,
В тюрьме, где сотни у нее
Хотят одежд коснуться, пальцев,
Услышать слово...

Лида припадает к скамье, закрыв лицо руками.

Всё кругом
Благодарит, благословляет...

Слышны рыдания Лиды.

Но, боже мой! .. Она рыдает...

(К ней с тревогой и заботой.)

Что, что с тобой?

Лида

Оставь!

Менинпа

(тихо Камилле)

Уйдем!

Камилла

Да что с тобой?

Лида

(с большим нетерпением)

Уйди!

Камилла

Не знаю...

Что ж я...

Лида

(почти в отчаянии)

Уйди же... умоляю...

Мениппа

(Камилле тихо)

Знать, тоже горе...

Камилла

Своего

У Лиды горя не бывает!

Мениппа

Свое, чужое ли — кто знает!
Одна пусть выплачет его!

Уходят.

Лида

(одна, сев на скамью)

Я — как вчера еще была —
Той, что теперь, — и суд и кара!
Оставил дух!.. Что я могла
Сказать ей?.. Вдруг не стало дара
Ни слез, ни слов, душа нема, —
Что в ней горело, погасает...
Вошла и всё растет в ней тьма!
Два слова: «Деций умирает» —
Одни звучат в ней...
Деций...
Из прошлого лишь он один
Мне виден... Он лишь не разгадан...
Один стоит, как властелин,
Над этой тьмой...
Но что ж влечет меня к нему?
Тот мир уж обречен во тьму!
Тому ж, кто выше всех главою,
И первой молнии удар

Господня гнева. . .

Что же

Меня влечет к нему?. . Любовь?
Любовь, но та уж, для которой
В мученьях источить всю кровь,
Пройти моря, подвигнуть горы
Возможно — всё, чтобы *спасти!*
Бог указует ей пути,
И, может быть, чтоб сделать чудо,
Меня избрал — и мне велит —
И дух пошлет — и совершит, —
И дело здесь не до сосуда,
Куда он влил воды живой
Для путника в палящий зной. . .

(Падает на колени.)

Ты, сердцеведец, прозираешь
С твоих высот и в глубь морей,
И в глубь сердец! В моем, ты знаешь,
Нет места для земных страстей!
Даруй мне, сильный, да разрушу
Его гордыню! Да спасу
И в дар тебе да принесу
Его смирившуюся душу. . .

(Встает спокойнее, но судорожно-отрывочно продолжает.)

Но время нечего терять:
Сегодня ж этот пир безбожный! . .
Там быть и ждать. И написать
Марцеллу, «старый друг, надежный» —
Всегда звал Деций. . . А пойдет
Марцелл? Спасти — пойдет, пойдет! . .

Вынимает таблетку и пишет. В это время слышны слова Иова.

Иов

Исус сказал ему в ответ: «Сказано в писании: „Не искушай господа бога твоего“».

Молодой человек

(поспешно сошедший с лестницы, подает Лиде таблетку)

Вот от Марцелла.

Лида

(берет ее и вручает свою)

А в обмен
Отдай Марцеллу. 5,5

Между тем зала всё наполнялась христианами. Одни присоединяются к слушателям Иова, другие группируются в разных местах залы, между ними и Главк. Другие садятся на скамьи у стен. Между прочими Павзаний.

(Прочтя письмо, обращается к присутствующим.)

Марцелл нам пишет — просит вас:
«В вину мне братья да не ставят,
Что медлю; жду и тот же час
Прибуду, только лишь объявят
Декрет, касающийся нас...»

(Уходит вверх по лестнице.)

Один

(в группе молодых людей)

И всё еще не решено...

Другой

И вдруг отменится решенье...

Главк

(спокойно)

На всё господня воля!

(Вдруг одушевляясь.)

Но —
За что нас гонят? Озлобленье
На что — постичь я не могу!
И чем Христос, — он, отдающий
Динарий кесарю, врагу
Прощающий, свой крест несущий
Покорно, учащий любить,
Любить бесстрашно и безлестно,
И в мире совершенну быть,
Как совершен отец небесный, —

Чем ненавистен им?

(Помолчав.)

И всё ж
К нему придут! И зло, и ложь
Падут. Богатый и убогий,
Простой и мудрый — все придут!
Со всех концов земных дороги
Всех ко Христу их приведут...
Людское горе и страданья,
Все духа жажды и терзанья,
Источники горючих слез, —
Все примет в сердце их Христос,
Все канут в это море! ..

Близ группы этих молодых людей сидит на скамье, с мрачным видом, Павзаний. На последние слова он отвечает.

Павзаний

(мрачно и с возрастающим отчаянием)

Братья!
Блажен, кто сам пришел к Христу,
Соблюв красу и чистоту,
Как дева к жениху в объятья;
К кому же низошел он сам
Его извлечь среди крушенья
Из волн кипящих, — о! спасенье
Тебе быть может тяжелей,
Чем смерть в волнах... В душе твоей
Все язвы прежние огнями
Горят... И слышишь над собой:
«Кто понесет мой крест, тот мой», —
Но помнишь: чистыми руками
Он нес свой крест... А у тебя
Они в крови, и над тобою
Гремит проклятье...

Опускает голову на грудь. Молодые люди хранят благоговейное молчание, смотря на Павзания с участием и недоумением. Среди минутного молчания слышен голос Иова.

Иов

Поистине скажу вам: плачь,
Кому он скажет в осужденье,

Что ни студен ты, ни горяч...
Любовь — огонь, а сердце злато;
Лишь чрез огонь пройдя, оно
Светло и чисто...

Тем временем входят Эвмен и Аркадий и останавливаются близ Павзания, мрачно сидящего склонив голову.

Эвмен

(продолжая разговор)

Я часто думал о тебе.
Знал, ты несчастлив, — мать крестила
Меня, когда еще мне было
Двенадцать лет, — в твоей судьбе;
Я думал, мир и утешенье
У нас, в Христовом лишь ученье, —
И вижу — ты идешь сюда!
Аркадий! расскажи ж, когда,
Как было это обращенье?

Аркадий

Как на вопрос твой дать ответ?
Ведь человек, родясь на свет,
Не знает, что был до рожденья!
Был слеп я и стал видеть; глух —
И слышать. Знал одно лишь тело,
И ощутил бессмертный дух,
Живую душу. Просветлело
Всё предо мной, и я в других
Прозрел такую ж душу. Все же,
Хоть разны жребии у них,
Перед отцом небесным те же
Возлюбленные дети...

(Помолчав.)

Тьма —
Та назади. И что в ней? Скроет
Пускай навек, мертва, нема!..

(Вздохнув.)

Да! сердце иногда заноет,

Но вспомнишь...

(Обрывает речь, вдруг увидав Павзания, отступает назад и смотрит с ужасом.)

Боже мой! .. Он! он!

(Хватаясь за грудь.)

Как бьется сердце... Он! .. И тоже
К Христу пришел... Чего ж, чего же
Стою и медлю?.. Чем смущен?

(Пересилив себя, делает несколько шагов к Павзанию.)

Павзаний! ты?

Павзаний

(содрогнувшись)

Аркадий! боже!

(Смотрит на Аркадия и, не смея взять протянутую к нему руку, медленно опускается перед ним на колени. Молодые люди от них незаметно отступают.)

Твой погубитель.. твой злодей...

Аркадий

(стараясь его поднять)

Забудем всё, что совершилось
Там, там, во тьме!

Павзаний

(обнимая его колени)

Ох, истомилась
Душа моя...

Аркадий

Да будет в ней
Покой и мир!

Павзаний

(страстно)

Шли вереницей
Года, а я живу всё в *том* —
Когда как друг вошел в твой дом —
И выбежал потом убийцей!

Аркадий

Оставь!

Павзаний

Дай говорить мне, дай!

(Шепотом.)

Евфимия...

Аркадий

(с болью)

Не вспоминай!

Павзаний

(судорожным шепотом)

Святая тень! .. Она молила! ..

Аркадий

Молчи!

Павзаний

(с силой)

Последним словом было:
«Будь проклят!»

Аркадий

(живо)

Нет! как я, — простила!

Павзаний

Как ты?.. И ты... простил?.. Простил...
И смотришь на меня — и плачешь...

Аркадий

От радости: я победил
Себя, себя, Павзаний!

(Обнимает его и уводит в глубину сцены.)

Сцена между тем всё наполняется. Приходят Мениппа и Камилла. Последние к авансцене.

Камилла

Муж мне говаривал не раз:
Не мы детей, нас дети учат
И довоспитывают нас!

При них не сделает, не скажет
Отец, не поглядев вперед:
Ведь сеешь семя! То взойдет,
Что в сердце с детских лет заляжет!
Ах, милая! с детьми воочью
Увидишь бога! .. Разболится —
Ты что тогда? .. Горит, томится,
Всю душу надорвет твою,
И нет тебе ни дня, ни ночи!
Ты чувства все окаменишь,
Дохнет ли, двинется ль — следишь,
Вся в нем! И наконец нет мочи!
Сил что осталось соберешь
И выльешь все в одно их слово:
«Спаси, спаси!» — и упадешь
Пред тем, кто может всё...

Менилпа

Ужасно!
Ох, знаю, знаю! Поняла!
И всё теперь мне стало ясно! ..
Уж ты-то очень мне мила!
И скажешь-то так всё понятно,
И речь-то тихая твоя...
Ах, ты мой ландыш ароматный,
Фиалка нежная моя!

(Обнимает ее.)

Ведь я давно о вашем боге
Уж помышляю! Всем богам,
Где только вижу по дороге,
Всегда снесу к их алтарям
Я хоть цветок. Да раз попала
Вот так и в христианский храм,
В горе, в Фессалии. Сначала
Мне стало страшно: свечи, мрак;
Жрец говорит в толпе молящих.
Вдруг он сказал, да ясно так,
Слова: «Наш бог — бог всех скорбящих!»
И точно в сердце у меня
Что дрогнуло. Упала я,

И стала этого я бога
Молить, да плакать лишь могла.
Вдруг слышу: «В Рим твоя дорога,
Там всё найдешь». Я подняла
Глаза: как раз передо мною
Какой-то старец был, но тут
Исчез. Все, вижу, вон идут, —
Я к выходу; перед собою
Всех пропустила — старца нет!
Я в путь, чуть занялся лишь свет,
И на корабль, и в Рим, и всюду
Как будто надо мной звучит:
«Бог всех скорбящих возвратит
Его. . .» И жду. . . И точно к чуду
Готовлюсь. . . А уж как теперь,
Не знаю. . .

Лида

(поспешно сойдя с лестницы)

Марцелл идет. . . декрет объявлен!

Общее движение.

Иов

(сойдя со своего места и выступая несколько вперед, как бы в центре полукруга всех присутствующих)

Се день, блаженнейший из дней!
Мы, церковь видимая, вступим
Уж в сонм невидимой и с ней
Сольемся в общем восклицанье:
«Господь наш бог благословен!»

Слепой старик

Господь наш бог благословен —
Да всякое гласит дыханье!

Все

(наклонясь головами к Иову)

Господь наш бог благословен!

После минутного благоговейного молчания, во время которого около Иова смыкается кружок, между прочими начинаются полушепотом частные разговоры.

Дидима

(раздает свечи, нараспев повторяя)

Готовьте светильники,
Близок жених!

Мениппа в волненьи рассматривает приходящих и присутствующих; Камилла близ нее, около гробницы мужа, прижав к себе детей, взор на небо.

Эвмен

(увидав между женщин Агнессу, свою невесту)

Агнесса! .. в брачном одеяньи! ..

Агнесса

Да нынче брак ведь наш, Эвмен,
На небесах... И я невеста...

Эвмен

(восторженно)

Агнесса! ты меня спасла! ..

Павзаний

(схватив за руку Аркадия с порывом)

Теперь душа уж не страшится
Встать перед ним лицом к лицу!

Главк

(к молодым людям, восторженно)

Знать, что чрез миг душа помчится
Чрез океан лучей к отцу! ..
И что же смерть христианину, —
В глазах у всех стоит Христос!
Скорбеть о том ли, что покину
Обитель горечи и слез?
Что преступлю через мгновенье,
Здесь кесарю отдавши дань,
К отцу всего, в его селенья
Уже достигнутую грань?
Душа, им полная, ведь знает,
Что оболочка сих телес
Ее едва лишь отделяет,
Как легкий завес, от небес!
Вдруг этот завес упадает...

Мениппа

(всматривается в него, бросается к нему с криком)

Главк, сын мой! Главк! ..

Главк

Мать! Ты жива! ..

Кидаются друг другу в объятья.

Мениппа

(не выпуская его из объятий)

Вот он, мой вдохновенный...
Мой *выстраданный*, вот он! ..

(Ища взорами Камиллу)

Камилла! .. вот он...

(Берет ее за руку и вдруг остановясь.)

Но как ты здесь?.. Христианин?

Главк

А ты? ..

Мениппа

(вдруг вспомнив)

Бог всех скорбящих...

(Опускается на колени.)

Несколько человек поспешно сходят с лестницы, тихо сообщая направо и налево: «Марцелл, Марцелл», все передают друг другу это имя. Все становятся полукругом, оставляя место Марцеллу. Он показывается на лестнице, наверху.

Марцелл

(спускается с лестницы и со второй или третьей ступени)

Господне будь благословенье
И мир вам, братия! ..

Все тихо: «Аминь».

Зовет
Нас ныне бог на прославленье
Его любви, его щедрот

И на свидетельство пред миром,
Что он есть дух, и он один
Земли и неба властелин,
Что честь ему, а не кумирам,
Кумир же, чей бы ни был он,
Рукою смертной сотворен.

Идем пред кесаря. Поставлен
От бога он царем племен.
Во всем, чем может быть прославлен
Он на земле и вознесен —
Победой над неправдой, славой
В защите сирых, торжеством
Хотя б меча и мзды кровавой
Над буйной силой, над врагом
Ему поверенного царства, —
Служить ему нам бог судил
Всем сердцем, до последних сил,
Без лжи, без всякого коварства.
Всё, что у нас земное есть, —
Вся наша кровь, всё достоянье
И всё умение и знанье, —
Готовы каждый миг принесть
Мы с духом радостным к подножью
Его престола. Но чтоб быть
Ему слугой, чтобы не ложью
Был наш обет, должны хранить
Мы душу чисту, только к божью
Суду внимательну во всем,
Что божье, что стоит вовеки
И в чем должны все человеки —
И кесарь сам — пред тем судом
Отдать отчет.

Повелевает
Нам кесарь: бога в нем признать,
Его ж кумиру честь воздать,
Как божеству лишь подобает;
Ослушным смерть. Пусть ваш совет
Решит, что делать. Наше тело —
Есть кесаря. Наш дух — всецело
Господень.

Один из старцев

Двух решений нет —
Идти! Но как не налагает
Христос ярма на душу — ей
Дан разум, воля, — то решает
По правде внутренней своей

(Обращаясь к собранию.)

Пусть каждый сам.

Общее благоговейное движение.

Голоса

(тихие, как бы каждый сам с собой; взор на небо)

— Идти, идти
К отцу небесному! .. — В селенья
Его святых! . — Из заточенья,
Из тьмы на свет! .. — Идти, идти!

Слепой старик

Его узреть во славе! ..

Павзаний

Сложить с души все тяготы
У ног его! ..

Главк

...Исчезнуть в созерцаньи
Неизрекомой красоты...

Пауза. Взоры обращены на Марцелла.

Марцелл

Итак, грядущая заря
Для нас последней будет в мире —
И первой там! ..

Иов

(из глубины сердца)

О ты, седяй в эфире,
Во свете вечном, со отцом,
Прославленный и вознесенный —
Лишь по любви неизреченной
Тобою поднятым крестом!

Ты пастырь, нас в едину паству
Овцу сбиравший за овцой!
Ты их вспоил живой водой
И тучную им подал яству, —
Когда бы, где б ни прозвучал
Твой рог призывный — где преграды,
Где те загоны, те ограды,
Где та стена, тот ров, тот вал,
Который их бы удержал
На зов твой ринуться мгновенно, —
Свет бо светяй нам с небеси,
Свет истинный, свет неистленный,
Жизнь и спасенье ты еси!

Слепой старик

Слава тебе, победившему мир!

Все с зажженными свечами становятся на колени. При спускающемся занавесе слышно пение заутрени.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Пиршественная зала на террасе Дециева дворца, выходящей в сад аркой. Ночь. Зала освещена канделябрами и висячими светильниками. Три длинные стола с ложами. Гости одни возлежат, другие прогуливаются по зале и опять садятся на свои места; вообще свободно группируются, сообразно требованиям минуты. За одним столом Деций. Рабы приносят и уносят кушанья. Хор певиц, флейты и лиры. Танцовщицы.

Хор

Ловите, ловите
Часы наслажденья!
Спешите, спешите
Пожить хоть мгновенье!
Как мошки на солнце
В эфире роями
Кружатся и блещут,
Мы, оры, блистаем
Мгновение в мире, —
Ловите, ловите,
Не то улетим.

Танцовщицы удаляются.

Клавдий

(Молодой патриций вслед танцовщицам, мимо его проскользнувшим)

Еще поймаем! .. Но пока
«Тем насладись, что под руками», —
Нас учит мудрость. А пред нами

(Указывая на яства.)

Рог изобилья и река
Забвенья — всё естествознанье!
Я шел сюда на обонянье.
Одни уж запахи кричат
Тебе за милю: «Здесь, прохожий!»

Лелий

(другой молодой патриций)

Жаль, как ни лезь себе из кожи —
Всё съешь за одного!

Клавдий

Ну, да!
Два пальца в рот, и вся беда!
А вот что будет, как ворвется
Сюда весь женский Рим! Начнется
Вот тут-то оргия! ..

(Декламирует.)

«Опротивеют уж яства...
Не изменит лишь вино!
Хлоя под руку иль Дафна —
Всё равно!
Флейты! трубы! Шум и грохот,
Песни, пляски! Всё вверх дном!
В голове хаос и в чувствах,
И хаос — кругом!»

Лелий

Да, Деций молодец! И жаль,
Что только раз он умирает!

Клавдий

А мой старик, моя печаль
И сокрушенье, процветает!

В один обед съедает три
И с астрологом до зари
Всё гороскопы составляет!..
Боится смерти! Я ж ему
Твержу, что смерть его боится...
У варваров не засидится
Небось старик: они отцов
Торжественно, в виду богов,
При всем народе убивают!
И это старики считают
Себе за честь!

Лелий

Здесь старики
Законы пишут, там же, видно,
Не старики!..

Хохочут.

Галлус

(Адвокат, прохаживавшийся с другим адвокатом, Гиппархом, остановясь близ великого жреца и указывая рукою на всё собрание, заключает частный свой разговор самодовольною речью)

Вы посмотрите, сколько нас:
Я галл, вон свев, ты фессалиец,
Он из Египта, тот сириец, —
А что же общего у нас
С Египтом, с Галлией, странами,
Где и взросли б мы дикарями,
Когда б не Рим!.. В одно нас слил
Его язык, закон, свобода!
Мир он в жилище обратил
Для человеческого рода.
На общий мы сошлися пир,
И хоть мы все разноплеменны,
Но все, как граждане вселенной,
Чтим за отечество весь мир!

Гиппарх

(эффектно-адвокатским тоном)

Единство в мире водворилось.
Центр — кесарь. От него прошли

Лучи во все концы земли,
И, где прошли, там появилась
Торговля, тога, цирк и суд,
И вековечные бегут
В пустынях римские дороги!

Великий жрец Энний

(Старик, оборачиваясь к ним, внушительно, громко, чтобы все слышали. Молодые патриции, Клавдий, Лелий, и другие мало-помалу подходят к кружку)

Всё хорошо на первый взгляд,
Да вот беда: уходят боги!
Везде оракулы молчат!
Вот в Дельфах: пифию насильно
Ввели в святилище, молчит,
Бледнеет, льется пот обильно.
Все ждут, и вдруг она бежит
С ужасным криком из пещеры
И, как упала, умерла!
В богов умалилося веры,
И боги покидают нас
На произвол судьбы!..

Адвокаты улыбаются.

Галлус

(насмешливо)

Иные
Уж умерли!..

Великий жрец

И день, и час
В анналы вписан городские:
При Августе, перед концом,
Корабль шел. Заштилело море
Перед каким-то островком.
Все ветра ждали. Вдруг в просторе
Небес и моря, с островка,
Раздался голос, при котором
Всё потряслось — и облака,
И вод поверхность; точно хором
Сто тысяч медных труб зараз
Провозгласили в мир: «Скончался

Великий Пан...» И повторялся
Три раза голос... Весь рассказ
Я слышал сам от морехода:
Его Тиверий призывал,
И я ж дословно записал
В анналы римского народа!

Галлус

Не боги покидают мир,
А суеверья...

Клавдий

(своим товарищам)

Люблю, чуть разгорелся пир —
И спорят!..

(Увидав рабов, приносящих жареных фазанов.)

Впрочем, прилетают
Фазаны, и молчат враги!..

Возвращаются на свои места.

Лелий

А факты иногда бывают,
Что с толку вас совсем сбивают.

Клавдий

(не давая ему досказать)

Еще бы! Например, долги!

Лелий

(продолжая)

У нас на прошлой же неделе
Был случай...

Клавдий

(вскакивая и со смехом указывая на Лелия)

Жертвы приносил
На той неделе ты, и скрыл!
Скрыл, признавайся?

Молодые патриции

(смеясь)

В самом деле?

Клавдий

Козленка, говорят.

Лелий

(сконфуженный, перебивая его)

Да мать
Послала!.. Вот что рассказать
Я вам хотел. Как вам известно,
У нас в саду есть грот. Чудесный
Там для пиров устроен зал,
И я намедни угощал
Там кой-кого...

Клавдий

А! Дионею.
А завтра я пирую с нею!

(Декламирует.)

«Мирта Киприды мне дай!
Что мне гирлянды цветные!..»

Лелий

(не обращая внимания на Клавдия)

Вдруг мы сидим и слышим стон...
Откуда ж?.. И всё ближе, ближе —
Из-под земли!..

Клавдий

(декламирует)

«Прозерпину бьет Плутон,
Стонет Прозерпина!..»

Молодые патриции

Ах, этот Клавдий! Нынче он
Невыносим! Да замолчи же!
Теперь везде, со всех сторон
Все говорят: то стон, то пенье
Послышится, то привиденье
Появится...

Лелий

(серьезно)

Ведь в старину,
Известно, мертвых хоронили

В подземных склепах, и прорыли
От склепа к склепу ходы...

Клавдий

(таинственно)

Ну,
Так это значит...

Все

Что такое?

Клавдий

(помолчав, с притворно-серьезным видом)

Гм!.. Предки наши...

Лелий

Ты в смешное
Всё обратишь.

Клавдий

Я не смеюсь!
И не люблю. чтобы шутили
Над предками, — сам их боюсь:
Такие ж аспиды все были,
Как этот Фабий, — вон скелет!
Вон череп голый! Вон таращит
Глаза на канделябры!.. Стащит
Он что-нибудь здесь, людоед!
Вздыхает всё по древнем праве,
По силе коего меня
Он мог бы в рабство взять...

За другим столом Фабий, из древнейшей римской фамилии, своему соседу, квестору Теренцию.

Фабий

Пойми, я Фабий — и в сенате
Мне места нет!.. Кто ж там сидит?
Иберец, грек, сириец, бритт!
И что же стал сенат? В разврате
Все чувства их притуплены;
В особых заседаньях судят,
Что значат кесаревы сны!

Ну что в них слово «Рим» пробудит?
Им лишь погреться б от казны!
Ты посмотри-ка, в легионах
Кто полководцы? Всё из нас.
А при дворе?.. Они! В поклонах
И лести мастера уж! Да-с!
За то и откуп, и претура —
Всё их!.. Потом адвокатура:
За деньги за твои тебя ж
Так оберут, что ты отдашь
Последнее, лишь бы отстали...

За главным столом: Деций, по сторонам его философ Харидем и старый проконсул Публий, беззубый, лысый и шепеляет. Далее, средних лет, мрачного вида, сенатор Аспиций и завитой, пышно одетый молодой патриций Корнелий.

Публий

Ах, Лезбия!.. нас принимала
За туалетом!. Что за грудь!
Ну если б даже и скрывала,
То видно — дочь царей!.. Дохнуть
Не смели . трое нас... сидели...
Всё старички... потеха.. да!
Сидим.

Деций

Картина в самом деле
Преинтересная!

Публий

Беда!
Она, конечно, нас дурачит:
То ножку вдруг поцеловать
Протянет и тотчас опять,
Как только бросимся мы, спрячет...

Все слушают с улыбающимися лицами.

Сенатор Аспиций
(довольно едко)

А дорого за посмотренье?

Публий

(так же простодушно)

Да что! уж думаю просить
Провинцию на поправленье!
Она ж поможет!..

Деций

(Харидему)

Была иная между нас...
Ты помнишь оду Сафо:
«Перед жрицей Аполлона
Не гордися, не кичись
Красотой чела и лона,
Шелком кос и блеском риз.

Ты умрешь, и всё в мгновенье
С красотой твоей умрет!
На земле твой след забвенье,
Словно вихорь, заметет!

В адских пропастях бездонных
Пропадешь средь темноты,
В сонме душ, не просветленных
Вдохновеньем, как и ты!»

Вот это б Лезбии сказать
Могла — ты угадал кто? — Лида!

Харидем

О, Лида, то другая стать!
Но где она? Совсем из вида
Пропала!

Деций

Да!.. Она всегда,
Как бесприютная звезда,
Весь век металась средь хаоса!
Не раз с Левкадского утеса
Хотела броситься; потом,
Глядишь, — с Изидиным жрецом
Умерших тени вызывает;
Потом опять, глядишь, блистает
В Афинах, в Риме...

Харидем

Знаешь ты
Экспромт, ей сказанный в Афинах
Однажды на пиру?
«С зеленеющих полей
В область бледную теней
Залетела раз Психея,
На отживших вдруг повея
Жизнью, счастьем и теплом.
Тени вкруг нее толпятся, —
Одного они боятся:
Чтобы солнце к ним лучом
В вечный сумрак не запало,
Чтоб она не увидала
И от них бы в тот же час
В светлый луч не унеслась».

Деций

Психея!.. Это к ней идет...

Входит Циник с дубиной в руках, на плечах, сверх лохмотий, мех, как у Геркулеса; останавливается впереди залы и, указывая на Деция пальцем, говорит:

Циник

Э, да ты вот как!

Разные голоса

Ну, пропал
Веселый пир! Ведь затесался!

Циник

Приятель! умирать собрался
И не подумал, не позвал
Меня взглянуть на представленье!
Ишь вкруг тебя какой букет!
Сенаторы, мое почтенье!
Философы, вам мой привет!

(Насмешливо кланяется на обе стороны.)

Всё ж без меня букет не полон:
В средине главной розы нет!

Ведь мудрости венец и цвет
Во мне! .. За то я вам и солон!
Уж дальше моего нейдет
Ум человеческий! Помалу
Свой цикл свершил, пришел к началу —
И больше некуда вперед!

Деций

Прошу, садися!

Циник

(присаживаясь на ложе завитого, пышно одетого щеголя Корнелия)

Друг любезный,
Откинь-ка ноги! Мне присесть
Ведь как-нибудь, лишь бы поесть.

Корнелий

Садись, не спорю!

Циник

Бесполезно!
Так сяду!

Деций

(к рабам)

Ложе, эй!

Фабий

Свинья!

Циник

(поместившись на ложе Корнелия, берет цельного фазана и ест, разрывая руками)

Нерону я сказал, что двое
Людей на свете: он да я.
Всё прочее — так, тля, пустое!
Мы что хотим, то и берем
И ничего не признаем!
Он тотчас понял, что свобода
Вся в этом! Прочее всё ложь!

(К Харидему.)

Ну, что ты морщишься? Всё — ложь!

Будь счастлив тем, что даст природа!
Родился гол и гол умрешь!
В природе ж, в этой общей чаше,
Нет ярлыков: мое и ваше!
Бери что хочешь, всё твое,
На что глаза лишь разбежались!
А чтобы люди не кусались,
Кусайся сам!.. Вот вам и всё!..
А то, глядишь, нагромоздили
Понятий, тонкостей, интриг,
Да и невмочь пришлось! Уныли
И ходят, высунув язык!
Нерон поправит вас: устроит
По Диогену! Сам возьмет
Дубину, города сожжет
И всех вас по лесам разгонит!

Деций

(смеясь)

Что ж после будет?

Циник

Ничего
Не будет!.. Главное, не будет
Философов!

Клавдий

(посреди общего смеха)

Долгов не будет —
Еще главнее!..

Провинциальный претор

(сидящий за столом с Фабием, к своему соседу, квестору Теренцию)

Скажи, дружок, — я здесь чужой,
Живу в провинции глухой, —
Кто этот господин с дубиной?
И с кесарем он говорил?

Квестор Теренций

С дубиной? Этою скотиной
Не знаю, кто нас подарил!

Раб, что ль, он беглый?.. Нет ведь знака
На роже! Лает как собака
На всех! И как сюда попал,
Так влез и к кесарю: пленился
Им кесарь! Только он сказал,
Что ты да я, и восхитился!
Дубину прннести велел,
Всех напугал и озадачил!

Фабий

И нас устраивать уж начал
По Диогену: Рим горел
Неспро́ста!

Квестор Теренций

Только он, по счастью,
Охотник строить: этой страстью
И отвлекли. А этот скот
С тех пор и тешится, и кстати,
Некстати нас ругает, пьет
И жрет...

Фабий

Уж будет он в сенате,
Как эта бестья, например,
Миртилл...

Вдруг умолкает при виде входящего евнуха Миртилла, в блестящей одежде, с лавровым венком на голове. Публий и Харидем предлагают ему свои места. Он принимает место Публия, который садится ниже. Цннику тоже подано ложе, но он то приляжет, то начнет обходить столы и чрез головы гостей берет кушанья.

Харидем

(Миртиллу)

Здоровье кесаря?

Миртилл

Богам
Благодаренье — солнце светит!

Провинциальный претор

(квестору Теренцию)

...А это кто же?

Квестор Теренций

Тс! тише! если только кожей
Ты дорожишь! .. Евнух Миртилл,
Певец и мим. Да вот в чем сила:
В ногах у кесаря лежит
Весь мир, а кесарь сам сидит
У ног вот этого Миртилла!

Провинциальный претор

Так вот оно! ..

Квестор

Да, да, оно!
Так, genus neutrum... [1]

Миртилл

Сегодня кесарю представлен
Проект дворца. Позолочен
Весь корпус, на горе поставлен,
И целый лес кругом колонн,
Всё белый мрамор, загляденье!
Внутри ж что шаг, то изумленье!
Хотя бы пиршественный зал:
Он сверху будет окропляться
Духами. Стены из зеркал;
Плафон же будет раздвигаться,
И вдруг средь пира с высоты
На вас посыплются цветы.

Разные голоса

Как это мило: вдруг цветы!

Циник

А если б вдруг весь зал с гостями
Насыпать доверху цветами?
Ароматический конец!
Шепни-ка кесарю, певец!

Фабий

(тихо квестору)

А надоумит ведь, подлец!

---

[1] Средний род (лат.). — *Ред.*

М и р т и л л

(смеясь)

Забавное соображенье!..
Ах, этот милый кесарь! Он
Три дня в великом восхищенье:
Из Дельф намедни привезен
Был этот дивный Аполлон,
И кесарь перед ним проводит
Всё время!.. Даже ночью встал
И факелами освещал!..

В е л и к и й ж р е ц Э н н и й

(тихо адвокатам)

Как я сказал, так и выходит:
Вон пифия-то умерла!
Из храма взять да в залу оргий
Поставить бога!..

С е н а т о р А с п и ц и й

(идет со своего места и, подсаживаясь к Децию, говорит ему тихо)

Я точно как в глубокой тьме!
Пойми ты кесаря Нерона:
Как совмещает он в уме
И циника и Аполлона?

Д е ц и й

(с улыбкой смотря на него и не отвечая на вопрос, декламирует два стиха)

«Дельфийский бог! и он познал
Длань сокрушительную Рима!..»
Когда впервые увидал
Его я в Дельфах, волны дыма
От дорогих курений храм,
Как легкий облак, наполняли.
На чудный образ упадали
Лучи, и он по облакам
Как будто несся, быстробежный,
И перед ним в дали безбрежной
От светлых стрел его толпой
Титаны тьмы бежали!..

Завитой патриций Корнелий

Это

Эллады гений: по землям
Свершил он странствие и к нам
В суровый Рим луч бросил света,
И сделал нас людьми!

Фабий

(со своего места, громко)

Людьми
Иль нет, а только перестали
Мы римлянами быть!

Корнелий

Узнали
По крайней мере, что зверьми
Дотоле были!

Фабий

Побеждали
Зато врагов! Разврат, пойми,
У нас от греков!..

Корнелий

В старину-то
Лишь полбу ели, да ячмень,
Да сыр!

Фабий

Зато имели Брута,
Кориолана! Ночи в день
Не обращали... Даже гадко
Их слушать!.. Ох, ужасный век!

(К Децию.)

Скажи ты, умный человек,
Кто лучше — римлянин иль грек?

Циник

(который во время предыдущего разговора лежал, разостлав свой мех на полу)

Стой! Разрешу одной загадкой:
Дурак болтун у дурака

Из простяков сидит на шее
И погоняет простяка,
И едут в ров! .. Ну... кто умнее?

Все принужденно смеются. Между великим жрецом и адвокатом громкий спор.

Великий жрец Энний

(кричит)

От философии!

Галлус

Тревоги
Напрасные!

Великий жрец

От новых вер!

Галлус

Отцеубийства и подлоги
От новых вер! Да, например,
Каких же?

Великий жрец

Мало ль? Из Халдеи,
Из Персии, из Иудеи!
Адонис! Митра! .. У рабов
Свой даже бог — освободитель
От всякой власти и оков —
Христос, всемирный, вишь, спаситель!

Публий

(со своего места)

Там тоже спор у них: о чем? ..
Ученых споров я любитель!

Галлус

Всё о безбожьи и о том,
Что бога нового открыли
Себе рабы, зовут Христом.

Публий

А, христиане! да, знаком,
Знаком я с ними! .. Говорили,
Что Рим они сожгли?

Великий жрец

Схватили
Тогда же многих их с огнем!

Сенатор Аспиций

Живут всегда особняком,
Уж тем внушают подозренье:
От всяких должностей бегут,
Ни кесаря не признают,
Ни государства Рима!..

Великий жрец

(вне себя)

Пьют,
Свершая жертвоприношенье,
Кровь человеческую!

Сенатор Аспиций

Их
Нельзя терпеть!.. весьма опасно!
Мы терпим много сект дурных,
Но эти...

Децний

(смеясь)

Вот уж страх напрасный!
Ведь это жители небес!

Галлус

(Гиппарху)

От них всю жизнь хоть бы процесс,
Представь!

Гиппарх

Да, да! Но... почему же?

Фабий

Ну-с, эти уж и греков хуже!
Они работают во мгле,
Повсюду что ключи в земле,
И всевозможные химеры
Вбивают в головы рабам...

Миртилл

(вставая с места и жестом успокоивая общее движение)

Позвольте! .. Приняты уж меры!
Предписано: по городам
И здесь чтоб завтра же явились
Все к квесторам и поклонились
Статуе кесаря, его
Признавши тут же божество,
Как признается всей вселенной.
А воспротивятся — пойдут
Одни для травли в цирк, другие
Рубашки взденут смоляные,
Им в глотки факелы воткнут,
К столбам привяжут их, зажгут,
И кесарь в пышной колеснице
Между пылающих их тел
Проедет ночью по столице!

Великий жрец

И боги воздадут сторицей
Ему за это...

Фабий

...Прекрасно! Я б узнать
Желал, чья мысль?

Квестор

Да, без сомненья,
Его, Миртилла! Потешать
Умеет Рим!

Миртилл

А всех их будет
Здесь в Риме тысяч сто! .. В других
Провинциях мильоны...

Разные голоса

...Боги! Пусть же их
Огулом всех на смерть осудят!
Всех с корнем вон!

Харидем

(встает и поднимает чашу)

Благодаренье
Тому, кто бодрствует за нас!
Во здравье кесаря!

Рабы наливают вина в чаши.

Общий клик

(все встают)

Во здравье кесаря!..

Циник

(вскочив с полу)

Он да я!
Всех прочих с корнем вон!..

(Вырывает из рук Фабия чашу и пьет.)

Фабий за его спиной показывает ему кулаки.

Фабий

(обращаясь к молодым патрициям)

Вы напоили бы его,
Чтоб уж совсем он с ног свалился!

Молодые патриции привлекают к себе Циннка и поят его.

Миртилл

(ласково Децию)

А ты смеешься и не пьешь,
И наших мер не признаешь
Во благо Риму?

Деций

Мер напрасных!
Жечь не опасных никому
Мечтателей!..

Миртилл

Как, не опасных?

(Указывая на всех.)

А глас народа?

Входит Лезбия в одежде восточных цариц; с нею несколько женщин и толпа рабов-эфиопов.

Клавдий

Метелла, Туллия! вы к нам!

Циник

Эван! эвое!
Мясцо живое!
К нам! к нам!

Женщины присоединяются к молодежи. Лезбия идет прямо к Децию. В то же время с другой стороны Лида и Марцелл являются и помещаются в глубине сцены за Децием, маскируемые рабами.

Лезбия

Герой мой, здравствуй! Очень рада,
Что ты еще не умер. Да!
Стремглав летела я сюда,
И главное затем, что надо
Тебя мне очень побранить!

Деций

(к рабам)

Эй, ложе!

Лезбия

Можем разделить,
Когда позволите, и ваше!
Лежи!

Деций

Раб вечной красоты,
Жду приказаний.

Лезбия

(садясь на его ложе, в ногах его)

Прежде ты
Скажи, какой не трогать чаши?

Деций

А вот — от деда.

Лезбия

Много лет
Живет на свете! Золотая...

С волчицей крышка... небольшая...
А яд — стряпня Локусты?

Деций

Нет,
С востока тоже вывез дед,
Одна парфянка подарила.

Лезбия

Ну, им не соблазнишь меня!
Я жить хочу! ..
(Громко, чтоб все слышали.)
К вам прямо я —
От кесаря!

Общее движение. Публий, вставший и поднявший чашу, чтобы приветствовать Лезбию, поспешно садится на свое место.

Фабий

(тихо квестору Теренцию)

Смотри, Миртилла
Как будто жаба укусила...
Она же смотрит на него,
Как на Пифона Феб...

Лезбия

Имела
Я счастье в первый раз его
Услышать пенье... Ничего
Подобного не знаю! Млела
И плакала я даже! .. Да!
А говорят, я никогда
Не плачу! .. Как он держит лиру!
Как смотрит в небо — Аполлон! ..
Да, римляне! вы храбры! Миру
Вы предписали свой закон,
Но я скажу, что пред искусством
Вы — варвары! Не стоит Рим
Таких художников! С твоим —
Уж извини — изящным чувством
Ты б мог один его ценить!
Он это знает...

Деций

Не за то ли
Меня и хочешь ты бранить?

Лезбия

Отчасти...

Квестор Теренций
(провинциальному претору)

...Ты совсем растаял?

Провинциальный претор

Вот красота-то!.. И не чаял
Подобной встретить отродясь!
Патрицианка?

Квестор Теренций

Нет, иная
Генеалогия у нас.
Происхожденьем массильянка,
Отец был галл, а мать гречанка.
Он был плясун. По городам
Таскал повсюду дочь с собою.
Потом Изидиным жрецам
Ее он продал. С их толпою
Чуть не во всех странах земных
Перебывав, пришла к Афинам,
Везде попрыгав с тамбурином
И в банделетках золотых.
Тут распрощалася с жрецами
И появилась между нами —
Прелестной внучкою царей
Понтийских — и все верят ей:
Осанка, гордый вид царицы,
Перед крыльцом живых два льва.
Гляди, как смотрит: голова
Назад закинута, ресницы
Что стрелы, молньеносный взгляд,
А профиль?

Провинциальный претор

Голова Медеи!
И косы вкруг чела лежат,
Что перевившиеся змеи!

Квестор Теренций

Да, змеи! .. Как сказала тут,
Что к нам от кесаря, так сжалось,
Друг, сердце! Так и показалось,
Что змеи всюду уж ползут
По Риму, бьют фонтаны ядом,
И под ее упорным взглядом
Вокруг всё падает и мрет!

Провинциальный претор

Такая красота...

Раздаются звуки труб. Общее движение.

Разные голоса

Э! гладиаторов трубят!
Бой будет, бой! ..

Циник

(стоя среди залы и передразнивая всех)

А! крови, крови!
Сказался зверь! А не хотят
По Диогену жить! ..

Все

Места! места!

Входят гладиаторы. Попарио проходят мимо Деция, кланяются ему и потом строятся в ряд в глубине сцены. Рабы сдвигают ложа, очищая место для боя. Деций и Лезбия остаются на своих местах.

Лезбия

Вот это в римском вкусе! Браво!
И уж за это честь и слава
Вам, римлянам! .. Да, да... Люблю!
Ты много держишь их? .. Я знаю
В них толк, сама их покупаю,
Кормлю, учу и продаю —
Превыгодно!

Деций

Ста два!

Лезбия

Так мало?

Два гладиатора выходят на средину залы.

Недурны люди. Это — галл,
А этот... свев. Держу за галла,
А ты — за свева.

Гладиаторы наступают друг на друга. Галл с мечом. Свев с палицей. Сыплются удары на щиты.

(Следя за боем.)

Ну — пропал!
А! извернулся!.. Этот свев
Раскормлен очень... Впрочем, годен
Для палицы. Вот галл — свободен,
Увертлив, худ и быстр, как лев
Ливийский!..

Свев наносит страшный удар. Галл роняет щит.

Деций

Ну, ты проиграла!

Свев снова замахивается. Лезбия встает на ложе. Деций смотрит, приподнявшись на локте.

Лида

(глухо)

И Деций смотрит!..

Но галл увертывается; тяжелый удар свева падает на пол. Галл быстро вонзает свой короткий меч ему между ребер. Свев падает.

Лезбия

Угадала!
Ура! победа!..

(Рукоплещет, и все с нею.)

Галл вопросительно смотрит на Лезбию, наступив ногой на свева.

Лезбия

Ну, кончай!
Vae victis! [1]

Общие крики

Кончай! кончай!

Галл закалывает свева под горло.

---

[1] Горе побежденным! (лат.) — *Ред.*

Лезбия

(спрыгивает с ложа, подбегает к свеву и смотрит на рану. Около нее сбираются и другие женщины и молодые люди)

Удар на славу!

(К Децию, указывая на галла.)

Ты, Деций, мне его отдай!

Деций

Да всех бери! .. Хоть бы в забаву
Что удалось!

Циник

(шатаясь, подходит и толкает ногой убитого)

Матерый зверь!

Туллия

Уж близок к Стиксу, чай, теперь,
Так вот ему на переправу.

Кладет убитому в рот монету. Все смеются.

(Децию)

Теперь что ж? Общий бой? ..

Лезбия

(возвращаясь на свое место)

Нет, полно! Некогда! вина
Налей мне! Жажда мучит. Рада
Всю ночь смотреть! .. до бела дня! ..
Теперь к делам. Вот что мне надо.
Во-первых, ты поздравь меня
С другой победою! .. Большого
Она мне стоила труда, —
Но без труда и нет плода!
Теперь сказать мне только слово:
«Ты Деция мне подари!» —
И ты живешь...

Деций

(прерывая с закипающим негодованием)

Не говори,
Не думай... Это невозможно.

Лезбия

Не горячись. Мне всё возможно.
Ты выслушай. Дня через три —
Я всё обдумала — устрою
Я небывалый пир: с борьбою —
Род олимпийских игр — певцы
И бег... Конечно, все венцы
Получит кесарь... И, мой милый,
Ведь мы живем в чудесный век!
Его понявши, человек
Всего добьется, только б силы
Достало и ума. А ты
Такой достигнуть высоты
И славы можешь... Я ведь знаю
Людей и в будущем читаю,
Как пифия. Ты должен жить.

Деций

И в жизни лишь тебя любить!

Лезбия

Да, да, союз. А цель — тебе я
Могу лишь на ушко шепнуть:
Цель — *«Кесарь Деций»*, и ничуть
Не трудно. Надо лишь умея
За дело взяться. Ты богат
И дашь мне средства...

Деций

(полунасмешливо)

О Цирцея!
Всё, всё за царственный твой взгляд!

Лезбия

(обидясь)

Упрямство, Деций, даже в детях
Нехорошо! С таким умом,
Как ты...

(Увидев Публия, который приближается к ней с чашей в руках.)

Да выгони мне этих

Bралей! Останемся вдвоем,
Я убедить тебя сумею:..

Деций

Довольно! .. Всё, что я имею,
Твое, но с тем, чтоб не мешать
Мне умереть...

Лезбия

(смутясь)

Как понимать?

Деций

(в полном разгаре гнева)

Да! не мешать! .. И передать
Нерону, что, собравши силы,
Я, издыхая, из могилы
Пред целым миром прокричать
Ему хочу! Пускай он знает,
Что с легионами рабов
Не сломит в нас он дух отцов,
Что кесарь — сам он забывает,
Что этот дух в лице его
Себя лишь чтит за божество,
И кесарь он — пока лишь полон
Сам этим духом! ..

Общее оцепенение. Все притаились на своих местах.

Лезбия

(соскочившая со своего места во время речи Деция, смотрит на него с испугом, потом с озлоблением; наконец, принимая повелительный вид)

Да заколите же его
Во имя кесаря! ..

Все нерешительно поднимаются с места.

Деций

(указывая на чашу с ядом)

Напрасно! Не трудитесь...

(Вполне овладев собой, к Давусу.)

Эй! Дав! открыть им галереи,
Все кладовые, все музеи,

Им все сокровища открыть,
Подвалы с золотом!.. Берите
И виллу всю хоть разнесите
По камню!..

Общее молчание; глухой радостный гул проносится в толпе.

Квестор Теренций
(про себя)

Ух! отлегло!..

Фабий
(тихо соседу)

Всё нам дает?

Галлус
(хватает чернильницу за поясом, тихо Гиппарху)

Акт не составить ли? Donantis
Mens ne mutata sit? [1]

Гиппарх

Ну, вот!
Уж тут jus primi occupantis! [2]

Давус
(поднимая связку ключей, ко всем)

Прикажете?..

Все бросаются со своих мест.

Сенатор Аспиций
(мрачно про себя)

Чем кончится всё это!..
(Уходит опустив голову.)

Фабий
(оглядывая столы)

А это всё — сосуды, кубки...

---

[1] Дающему не изменил ли разум? (лат.) — *Ред.*
[2] Право — захватившему первым (лат.). — *Ред.*

Харидем

(подле него, берет один кубок)

Вот вещь изящная!.. Голубки
Целуются...

Фабий

(вырывая у него этот кубок)

Давай сюда!
Рабы растащат же!

Публий

(берет разную утварь)

Да, да!
В гостинец внучкам!..

Великий жрец

(тихо)

Я богам!

За ними все, кроме Лезбии и Циника, который, совсем опьянев, развалился на ложе, хватают сосуды, чаши и пр. Опрокидывают многие канделябры.

Лезбия

(неподвижно смотревшая на Деция, с досадой)

...Эх, Деций!

(К эфиопам, указывая на толпу.)

Дорогу мне!

(К Давусу, пропуская его вперед.)

Иди!

Эфиопы расталкивают толпу.

Клавдий

(пропустив Лезбию, бегом возвращается с молодежью и женщинами на середину сцены и, потрясая огромным золотым сосудом)

Ты, Деций, бог!

Вся толпа

Бог! бог!

(Убегают, опрокидывая последние канделябры.)

Деций

Стократ проклятье вам! .. И мог
С ватагой этой ненасытной
Одним я воздухом дышать!

Циник

(бессознательно увлекаемый общим движением, пробует встать, но падает опять на ложе и кричит)

Хозяин! будешь умирать,
Так разбуди! Прелюбопытно! ..
Всё хорошо! .. Эй, вы! .. Вы к нам,
Вы, самки! .. Туллия...

(Засыпает.)

Деций

Еще раз всем проклятье вам!

Зал остается с опрокинутыми седалищами и канделябрами, освещенный только висящими сверху светильниками. Деций опускается на свое ложе, облокотясь на стол пред золотою чашей и глядя на нее.

Ну, что же? .. «Кончим представленье»,
Как тот сказал! ..

(Берет чашу.)

Лида и Марцелл к нему приближаются.

Нужна не сила воли нам,
Чтоб жизнь порвать, а отвращенье,
Да, отвращенье к жизни! ..

(Сильным движением поднимает чашу, чтобы выпить ее.)

Лида

(бросаясь к нему и удерживая)

Стой!
Стой, Деций...

Деций

(быстро поставив чашу на стол)

Лида... ты! .. Марцелл! ..

Лида

(едва удерживая рыдание)

Несчастный! видишь... видишь — вот
Что создала вам мудрость ваша!
Ты лучше всех, так яду чаша!..

Деций

Печально! да!..

(Протягивая руку к Лиде.)

Но где ж исход,
Философ милый, где ж исход?
И если б был — то утешенья
Не много: поздно!

Лида

Никогда
Не поздно!.. Одного мгновенья
Увидеть разом свет, понять, —
Мгновенья одного довольно!
А там, что делать, что начать,
Само уж скажется невольно.
Увидя свет, уж никому
Назад не хочется во тьму!

Деций

(смотря пристально на Лиду)

Но что, скажи, с тобою, Лида?
Ты как в огне! Какой наряд!
Простая, темная хламида,
Покров широкий... Как горят
Глаза... Да где же ты скрывалась?
В последний раз передо мной
Ты по ристалищу промчалась
На колеснице золотой,
Сама конями управляла
И оглянулась на меня...
Весельем, розами сияла,
Мне в дар улыбку уроня!..

Лида

Я выплыла из этой бездны!
Туда оглядывалась я

Лишь на тебя!.. Душа твоя,
Я знала, бьется бесполезно,
Ища в ней берега... И шла
Я указать тебе спасенье...
И сколько раз!..

Деций
(в недоумении)

Ты мне несла
Спасенье, Лида?.. Ты нашла?

Лида

Ты знаешь христиан?

Деций
(озадаченный)

Спасенье
Мне в хрнстианах? Их ученье
Я знаю и не раз слыхал
Их проповедников: худые
И загорелые, босые...
Их в Риме много... Одного
Я живо помню. Был забавен
Восточный выговор его,
И жест порывист и неплавен,
Но диким пафосом своим
Он поражал... Я помню, было
Вне Рима. Солнце заходило,
И он указывал на Рим...
Сам на горе стоял... Открытый,
Высокий лоб... Народ кругом...
И мы подъехали верхом
С прогулки... «Змей многоочитый, —
Он восклицал, — ты мир земной,
Обвив, сдавил его собой,
И здесь, на семихолмье, в Риме,
В златом венце и диадиме
Главой покоишься своей...»
Я оглянулся: блеск заката,
Весь вечный город, блеск огней,
Златая кесарей палата,

Водопроводы, виллы... Змей —
Великолепное сравненье!
Он разумел разврат, паденье
И порчу нравов; говорил
Всё в апологах, но оставил
В нас впечатленье. Впрочем, был
Из римских граждан...

Лида

(быстро)

То был Павел!

Деций

Ты знаешь их по именам?

Лида

Я христианка.

Деций

Как? Давно ли?

Лида

Всё дело в истине, а там,
Как к ней пришел, не всё равно ли?..
Вот слушай...
В цирке раз, среди
Несчастных, обреченных казни,
Одна стояла — на груди
Сложивши руки, без боязни
Смотря на зверя и кругом
На нас, на кесаря — без гнева,
И чудо красотою дева...
К кому-то вдруг вверху подняв
Глаза и точно повстречав
Кого-то там, рукой взмахнула,
И улыбнулась, и взглянула
Так, как бы к матери могла
Взглянуть невеста... Шум и клики
Тут поднялись... Но мне уж дики
Казались люди... Я ушла...
И с той поры три ночи рядом
Та дева, с тем же кротким взглядом,

Ко мне являлася и те ж
Слова мне тихо повторяла:
«Иди и мать мою утешь...»
И я пошла... И всё узнала...
И там, средь тихих, светлых слез,
Я всё нашла, чего искала, —
Я поняла, кто был Христос...

Деций

(уклоняясь от впечатления)

Виденье... А, Марцелл, ты веришь,
Что Бруту Цезарева тень
Являлась на рассвете в день
Фарсальской битвы?..

Марцелл

К убийце? Может быть. Не знаю...
Но я виденье понимаю,
Что было Павлу... Он скакал
В Дамаск, пустыней, в злобе дикой
На христиан — он замышлял
Их истребить, — и вдруг великий
Увидел свет и из него
Услышал голос: «Для чего
Меня ты гонишь, Павел, Павел!»
Пред ним стоял Христос... И Павел,
Прийдя в Дамаск, уж не к врагам
Пошел Христовым, а к друзьям.
Такая ж, как о Павле, повесть
И обо мне. Мы все пройти
Должны по Павлову пути.
Неумолимой правдой совесть
Перепытать, как он в тот путь;
Так глубоко в себя взглянуть,
Чтоб въявь Христа увидеть...

Деций

(в изумлении, почти в испуге)

Боги!

(Вскакивает.)

И ты! ты, римлянин, ты, строгий

Патриций, воин, жизнь свою
Проведший в лагере, в бою...
Да ты... Ведь этот Рим Нерона,
Припомни, говорил ты сам,
Что два иль три бы легиона,
И разнесли вы по клочкам...

Марцелл

(по-прежнему спокойно и твердо)

Да, думал я, верна победа.
Но вдруг был в лагерь приведен
Ко мне под стражей Павел. Он
Судьбу мою решил!.. Беседа
Единой ночи!.. Весь раскрыт
Я перед ним стоял, разбит,
Как червь раздавлен...

Децим

(с возрастающим ужасом, перебивая его)

Озлобленье
В тебе, отчаянье...

Марцелл

Да! да!
Всё было: даже яд всегда
С собой носил...

Лида

Прозренье,
Прозренье внутрь себя!

Марцелл

(тоном глубокого убеждения)

...Я понял, нам
Не бог предметом поклоненья
Во храме был, а самый храм!
Порядок в людях водворяя,
Цель жизни — мы открыли им?..
Одна случайность роковая
Являлась в ней и нам самим!..
Таков наш Рим: что он ни строит,
Он строит на песке морском;

Придет волна и зданье смоет,
И всех, кто жизни чает в нем...

Деций

(перебивая с величайшею живостью)

О, Рим гетер, шута и мима —
Он мерзок, он падет!.. Но нет,
Ведь в том, что носит имя Рима,
Есть нечто высшее!. Завет
Всего, что прожито веками!
В нем мысль, вознесшая меня
И над людьми, и над богами!
В нем Прометеева огня
Неугасающее пламя!
В символ победы это *мной*
В пределах вечности самой
Навек поставленное *знамя*,
Мой *разум*, пред которым вся
Раскрыта тайна бытия!
И этот Рим не уничтожит
Никто! Никто *меня* не может
Низвергнуть с этой высоты...

Марцелл

(горько; потом строго)

И вот один перед толпою,
На высоте, всем чуждый, ты
Лишь сам любуешься собою
И с чашей яду лишь глядишь,
В красивой позе ль ты стоишь!..
Он, разум, значит, злая сила,
Когда, чтоб в высоте стоять,
Мильоны ближних надо было
Ему себе в подножье взять...

Деций

(в высочайшем разгаре страсти)

Мильоны ближних!.. Что такое
Мне эти ближние... Рабов
Ты разумеешь!.. О, пустое
Мечтанье *этих* мудрецов!
Рабы и в пурпуре мне гадки!

Как? Из того, что той порой,
Когда стихии меж собой
Боролись в бурном беспорядке,
Земля, меж чудищ и зверей,
Меж грифов и химер крылатых,
Из недр извергла и людей,
Свирепых, диких и косматых, —
Мне из того в них братьев чтить?..
Да первый тот, кто возложить
На них ярмо возмог, тот разом
Стал выше всех, как власть, как разум!
Кто ж суеверья их презрел
И мыслью смелою к чертогам
Богов их жалких возлетел,
Тот сам для них уже стал богом
И в полном праве с высоты
Глядеть, как в безотчетном страхе
Внизу барахтаются в прахе
Все эти темные кроты!..
Да! если есть душа вселенной,
Есть божество, — оно во мне!
И если, чтоб ему вполне
Раскрыться, нужно непременно,
Чтоб гибли тысячи тупых
Существ, несмыслящих, слепых —
Пусть гибнут!.. Такова их доля!
Им даже счастие неволя!
Лишь с дня, когда он в рабство впал,
Для мира раб хоть нечто стал!

(Продолжает ходить.)

Марцелл

(строго и горько)

Всё знаю! Так нас поучал
Наш славный разум! Он, который
Сам о себе нам говорит:
«Я истина», и без опоры
На меч бледнеет и дрожит!
Нерон, он убежден, что тоже
В нем истина!.. Великий жрец
И циник также... Отчего же
Твой разум лучше всех, мудрец?

Лида
(смотрит на Деция с ужасом)

Как ночь душа его мрачна!
Он — боже! — никого не любит...

(Плачет истерически.)

Их гордость римская... Она
Их ум мрачит... Она их губит...

Деций
(останавливаясь перед нею)

К чему же слезы?.. Перестань...

(Смотрит на нее внимательнее.)

Но как ты, Лида, изменилась...
О, как ты стала хороша...

Лида
(после сильного напряжения, голосом искреннего чувства и всё более одушевляясь)

Я, Деций!.. Я давно простилась
Со всем земным!.. Твоя душа —
Ты мир обнять не можешь взором,
И вознестись на высоту,
И ту постигнуть красоту,
То совершенство, пред которым
Ничто твой жалкий, бедный мир,
Где ты лишь сам себе кумир!
Да, гордость, Деций!.. Ослепила
Она тебя!.. В земных цепях
Душа источник свой забыла,
А он, о Деций, в небесах!
Слова Христовы западают
Мгновенно в душу — оттого,
Что нам его напоминают
И возвращают нам его...
И тут уж смерть — конец разлуки,
Победный выход из тюрьмы, —
И примешь всё ты — смерть и муки,
Чтоб к свету вырваться из тьмы...
Ах, Деций! мир — одно терзанье!

И к свету раз открыл пути —
Ты будешь знать одно желанье:
Всем указать — и всех спасти!..

Деций

Ты точно вне уж мира, Лида!
Куда умчалась ты? Из вида
Теряю... Точно от земли
Оторвалась — меж звезд носилась
И к нам на землю воротилась
В их золотой еще пыли...

(Смеясь.)

Вот видишь, ты не ожидала, —
Перед тобой и я поэт!..

Лнда

Он шутит!..

Деций

Бросим этот бред, —
Прости, Марцелл, но только детям
И можно увлекаться им...

Лида

(с новым одушевленьем)

Бред, говоришь ты? Но уж Рнм,
Уж мир исполнен бредом этим!
Уж мы на рубеже стоим,
И в Риме уж теперь два Рима!
Здесь — этот Рим; уж он как тень
Теперь, как призрак... Близок день, —
И он рассеется... и новый
Откроет Рим...

Слышно издали пение, и в глубине сада показываются медленно проходящие в сиянии светочей христиане.

Пение христиан

Ясный, немеркнущий,
Тихий свет утренний!
Ныне ведешь ты нас
К незаходимому

Свету бессмертному,
Дню беззакатному!

Деций

Кто это?

Лида

(торжественно)

Новый Рим!
Да! здесь
У вас пиры, а там, под вами,
В земле, там, в катакомбах, весь
Всечасно молит со слезами
О вас же — христианский Рим,
Чтоб вседержитель бог дал силы
Ему спасти вас...

Деций

Новый Рим!
Так христиане — новый Рим?!
Тут, в катакомбах, где могилы
Великих предков?!

(С судорожным хохотом.)

Новый Рим!
Да разве может быть два Рима?
Два разума! две правды! два
Могущества, два божества!..

Марцелл

И тот, где ложь, — неотвратима
Его погибель!.. Пусть нас жгут...

Деций

(порывисто)

Ужель мильоны вас?

Марцелл

(нерешительно)

...Не знаем...

Деций

Декрет ты знаешь?

Марцелл
(указывая на идущих христиан)

Исполняем,
Как видишь...

Деций

Как? Они идут
На смерть?

Лида

Что смерть!

Деций
(мрачно, смотря на христиан)

Глазам не верю!
На казнь идти и гимны петь,
И в пасть некормленному зверю
Без содрогания глядеть...
И кто ж? Рабы...

(Почти в исступленьи.)

Да кто ж вы? Кто вы?
Марцелл! ведь строя Рим твой новый,
Пойми, ты губишь Рим отцов!
Созданье дел их! Труд веков!..
Рим, словно небо, крепким сводом
Облегший землю, и народам,
Всем этим тысячам племен,
Или отжившим, иль привычным
Лишь к грабежам, разноязычным,
Язык свой давший и закон!
И этот Рим, и это зданье
Ты отдаешь иа растерзаиье...
Кому же?.. Тем, кто годен был,
Как вьючный скот, в цепях, лишь к носке
Земли и камня, к перевозке
Того, что мие б и мул свозил!
Рабы!.. Марцелл, да где мы? Где мы?
Для иих ведь камни эти немы!
Что нам позор — им не позор!

Они

(Указывая на статуи.)

Пред этими мужами
Не заливалися слезами,
С стыдом не потупляли взор!
И вдруг, без всякого преданья,
Без связи с прошлым, как стада
Зверей, которым пропитанье —
Всей жизни цель, придут сюда!
И где ж узда для дикой воли?
Что их удержит? .. Всё падет!
И Пантеон, и Капитолий
Травою сорной зарастет! ..

Лида

Проходит зримый образ мира,
Но, Деций, мир не погубить
Пришел Христос, а словом мира
В любви и правде возродить...

Марцелл

И жизнь вдохнуть в него!

Деций
(к Марцеллу с презрением)

Несчастный!

(Взглянув на чашу с ядом.)

О, умирать теперь ужасно!
Или игралищем судьбы
Я был досель? С врагами бился,
А злейший враг меж тем подрылся
Уже под самые столбы
Нас всех вмещающего храма!
Я тени предков вызывал,
Противу моря зла упрямо
Средь ярых волн его стоял
Живым укором и проклятьем,
Непобедим, неколебим...

Циник

(проснувшись)

Хозяин, умер?

Марцелл

Вот твой Рим
Тебя зовет: к его объятьям
Стремись скорее, — что нужды,
Что этот муж в своем паренье
Не видит далее еды?
Одной вы матери рожденье,
Того же дерева плоды!

Между тем почти рассвело. Христиане, всё в возрастающем числе, продолжают проходить вдали, при пении гимнов. Из них выделяются группы рабов Деция, которые останавливаются пред входом в залу и потом, впереди Иов, входят в залу, по окончании следующей речи Марцелла. Марцелл и Лида делают несколько шагов к ним и смотрят на них с благоговением. Деций отступает на другую сторону сцены. К нему присоединяется Циник, со словами: «Это что?» — указывает на христиан и прислушивается.

Гимн христиан

Ясный, немеркнущий,
Тихий свет утренний,
Ныне ведешь ты нас
К незаходимому
Свету бессмертному,
Дню беззакатному...

Марцелл

Ну, Деций! время... Со своими
Я ухожу... Прощай...

(Хочет идти, но возвращается опять и говорит Децию, указывая на христиан.)

Ты видишь — вот — живые
Все души, в каждом разум свой,
Но все любовию одной,
Как солнцем глубины морские,
Озарены!.. Здесь нет вождей!
Творят дела здесь уж не люди!
Для всех, как для простых орудий,

Сокрыты цели! Без мечей
Идем к победе несомненной!
Пойми ж, что свыше лозунг дан!
То божий дух по всей вселенной
Летит, как некий ураган...
Что было светом — в мрак отходит!
Все солнца гаснут! Новый день
И солнце новое восходит,
Всё прежнее бежит как тень.
Что ж, гордый человек, усильно
За тень хватаясь, вместе с ней
Исчезнуть хочешь в тьме могильной,
В безумной гордости своей!
Себя поставивши судьею
Над всей вселенной, никогда
Уж не признаешь над собою
Глаголов божьего суда?..

Деций

(к Марцеллу твердо и выразительно)

Мой суд — я сам! Всё, чем мой разум
Могуч и светел, дал мне Рим, —
И пусть идут все боги разом,
И с ними все народы — им
Не уступлю и упреждаю
Их вызов...

(Берет чашу; Лида бросается к нему, он ее отталкивает.)

Прочь!

(К Цинику.)

А ты беги
И в Риме всем кричи: враги
В его стенах! Что умираю
Я на посту своем за Рим!
За вечный Рим!..

(Выпивает чашу.)

Лида

(закрывая лицо руками и падая на колени)

Боже! Я
Имела веры не довольно!

Деций

(увидав вошедших христиан)

Прочь!

Иов

Боже сильный! отпусти
Ему грех вольный и невольный!

(Приближаясь к Децию.)

Ты ж, господин, ты нас прости,
Коль в чем виновны пред тобою!

Деций

(сурово)

Что надо вам?

Лида

Твои рабы
Идут на смерть и молят, Деций,
Чтоб бог простил тебя и ты
Простил бы их!..

Деций быстро от них отворачивается.

Циник

О чем хлопочут?
И ведь не плуты, не морочат!
Поди ж, ведь создают себе
Мученья!.. Мудрецы все!..

(Уходит.)

Деций

(склонясь на ложе, Марцеллу)

А если все нас так рассудят,
Марцелл?

Лида

(искренно, страстно)

Суд только божий будет!
Ты, Деций, ты любил, что знал:
Знал Рим! Его любил ты много,
Собой пожертвовал, страдал...
О! жертва всякая у бога
Сочтется...

Деций

(с ненавистью, грозно)

Лида! я б вас гнал,
Когда бы жил еще! Терзал
Зверьми б, живого б не оставил!..

Лида

(слезы в голосе)

Ты б гнал, покуда б не узнал,
Покуда б не прозрел, как Павел,
И больше нас тогда б Христа
Великим разумом прославил!
В тебе была ведь прямота!
Прозрев, отдался б в искупленье
Всех зол, что сотворил!.. Прощать
Ты б научился... да!.. прощать!
Ведь христианство, всё ученье,
Нет, не ученье — жизнь — прощенье,
Ежеминутное прощенье,
Прощенье вечное!..

Деций

(приподнимаясь и пристально смотря на Лиду)

Не та!..
Не та!.. Так кто же ты?.. Виденье?
Дай руку...

(С ужасом.)

Свет вокруг тебя!
Что ж это? Что?

(Падает и умирает.)

Лида

(опускаясь перед ним на колени)

Он был один,
Кто был еще мне дорог в мире!..

Марцелл

(смотря на Деция)

Сын века! свет был пред тобой...
Не видел ты!

Солнце полным блеском озаряет сцену.

Уж солнце! Вот он,
Наш день!

Лида

(подымаясь)

Твоя теперь, господь,
Вся, вся твоя!

Иов

Слава тебе, показавшему нам свет!

Присоединяются к христианам и уходят с ними с пением гимна: «Ясный, немеркнущий» и пр. Занавес падает.

1872, 1881

НЕ ВОШЕДШЕЕ
В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

339. НА СМЕРТЬ ЛЕРМОНТОВА

И он угас! и он в земле сырой!
Давно ль его приветствовали плески?
Давно ль в его заре, в ее восходном блеске
Провидели мы полдень золотой?
Ему внимали мы в тиши, благоговея,
Благословение в нем свыше разумея, —
И он угас, и он утих,
Как недосказанный великий, дивный стих!

И нет его! .. Но если умирать
Так рано, на заре, помазаннику бога, —
Так там, у горнего порога,
В соседстве звезд, где дух, забывши прах,
Свободно реет ввысь, и цепенеют взоры
На этих девственных снегах,
На этих облаках, обнявших сини горы,
Где волен близ небес, над бездною зыбей,
Лишь царственный орел да вихорь беспокойный, —
Для жертвы избранной там жертвенник достойный,
Для гения — достойный мавзолей!

Сентябрь 1841

340

Во мне сражаются, меня гнетут жестоко
Порывы юности и опыта уроки.
Меня влекут мечты, во мне бунтует кровь,
И знаю я, что всё — и пылкая любовь,

И пышные мечты пройдут и охладятся
Иль к бездне приведут... Но с ними жаль
расстаться!
Любя, уверен я, что скоро разлюблю;
Порой, притворствуя, сам клятвою шалю, —
Внимаю ли из уст, привыкших лицемерить,
Коварное «люблю», я им готов поверить;
Порой бешусь, зачем я разуму не внял,
Порой бешусь, зачем я чувство удержал,
Затем в душе моей, волнениям открытой,
От всех высоких чувств осадок ядовитый.

1843

341. СЕН-ДЕНИ

О нет, мне не забыть готического склепа,
Где вы покоитесь в порфире и венце,
С руками, на груди скрещенными, в лице
С застывшей мыслию, недвижные, немые
Во мраке мраморы, вы, лики гробовые
Почивших королей... Ты, набожный тиран,
Свирепый Людовик, и мудрый Карломан,
И варвар царственный, ты, богочеловека
Познавший в дикости, и ты, о идол века,
Версальский полубог... державная семья,
Соединенная за прагом бытия
Там небом пламенным, здесь сводом подземелья...
Вот звуки чудные несутся в ваши кельи:
Божественный орган звучит, и вторит храм
Священным трепетом безвестным голосам...
Покойтесь — этот звук не трубы пробужденья,
А человеческий, без дара воскресенья.

Еще не колебал безмолвные гробы
Всё зиждущий глагол архангела трубы,
Но их уж расторгал глагол суда людского...
У мертвых требовать отчета рокового
Народ, как шумный вал морей, сюда проник
И, плюя на лица почиющих владык,
На прахе вымещал ярмо порабощенья.
Кто ж прав, кто виноват? .. Под цепью угнетенья

Не эти ли мужи, тебя в поту чела
Уча как школьника, хранители от зла,
Искусства развили и сеяли науки?..
Созрело семя. Час настал. Ты взрос — и руки
Простер к свободе: «Прочь! не нас уже учить!
Своей указкою довольно нас водить!
Мы сильны, мы взросли, и нянек нам не надо!»
И кости королей изъяты из ограды,
В полях разбросаны при кликах торжества.
И с плахи царская катится голова,
И чернь безумная, кичася наглым правом,
Свирепо пьянствует на помосте кровавом!..

1843

342. РОЖДЕНИЕ КИПРИДЫ

(Из греческой антологии)

Зевс, от дум миродержанья
Хмуря грозные черты,
Вдруг — средь волн и всю в сиянье
Зрит богиню Красоты.

Тихо взором к ней поникнул
Он с надоблачных высот
И, любуясь ей, воскликнул:
«Кто хулить тебя дерзнет?»

Слово Зевса подхватила,
В куче рояся, свинья
И, подняв слепое рыло,
Прохрипела: «Я, я, я!»

1845 или 1846

343

Только пир полночный,
Как задремлют старцы,
Продолжая речи
Важные впросонках;
Только смех вакханки

Дерзкой и румяной —
И люблю я в жизни.

Сладки поцелуи,
Если в опьяненьи
У тебя, у девы,
Голова кружится
И еще не знаешь,
Кто тебя осилит:
Купидон иль Бахус.

Лепет уст и говор,
Страстное дыханье,
Кровь в упругих жилах,
Даже сами мысли
В слухе отдаются
Музыкой чудесной, —
Точно всюду струнный
Гул идет, волнуясь:
Тут и самой смерти
Не услышишь зова.

(1851)

344

Сухим умом, мой милый, ты
В меня сомненье не забросишь.
Ты из поэзии мечты,
Как декорации, выносишь.
Нет, мой философ, я поэт!
Мне нужны ангелы и духи,
Все эти тайны, этот бред,
Что завещали нам старухи;
Мне нужны вера в чудеса,
И рай, и ад, и злых тревога,
И если пусты небеса,
То сам бы выдумал я бога.
Я не стою за них горой,
Они пугают лишь невежду, —
Но в них для истины святой
Я вижу дивную одежду.

1852 или 1853

345. ПОЭТУ

Хвалами ты свой дух насытил,
И мыслишь, внемля торжеству,
Что лавр ты Пушкина похитил
И им обвил свою главу.
А думал Пушкин простодушный,
Что прочен здесь его венок...
Но видел я другой урок
Фортуны гордой и бездушной.
Раз, близ Неаполя, осел
На гроб Вергилия забрел
И — лавр поэта многовечный
Переломил бесчеловечно,
И, что ужаснее всего —
Представь себе, — он съел его!

1853

346. Н. А. НЕКРАСОВУ
ПО ПРОЧТЕНЬИ ЕГО СТИХОТВОРЕНИЯ «МУЗА»

С невольным сердца содроганьем
Прослушал Музу я твою,
И перед пламенным признаньем,
Смотри, поэт, я слезы лью!..
Нет, ты дитя больное века!
Пловец без цели, без звезды!
И жаль мне, жаль мне человека
В поэте злобы и вражды!
Нет, если дух твой благородный
Устал, измучен, огорчен,
И точит сердце червь холодный,
И сердце знает только стон, —
Поэт! ты слушался не Музы,
Ты детски слушался людей.
Ты положил на душу узы
Их нужд строптивых и страстей;
И слепо в смертный бой бросался,
Куда они тебя вели;
Венок твой кровью окроплялся

И в бранной весь еще пыли!
Вооруженным паладином
Ты проносился по долинам,
Где жатвы зреют и шумят,
Где трав несется аромат,
Но ты их не хотел и видеть,
Провозглашая бранный зов,
И, полюбивши ненавидеть,
Везде искал одних врагов.

Но вижу: бранью не насытясь
И алча сердцем новых сил,
Взлетев на холм, усталый витязь,
Ты вдруг коня остановил.
Постой — хоть миг! — и на свободе
Познай призыв своей души:
Склони усталый взор к природе.
Смотри, как чудно здесь в глуши:
Идет обрывом лес зеленый,
Уже румянит осень клены,
А ельник зелен и тенист;
Осинник желтый бьет тревогу;
Осыпался с березы лист
И как ковром устлал дорогу, —
Идешь — как будто по водам, —
Нога шумит... И ухо внемлет
Смягченный говор в чаще, там,
Где пышный папоротник дремлет
И красных мухоморов ряд,
Как карлы сказочные, спят;
А здесь просвет: сквозь листья блещут,
Сверкая золотом, струи...
Ты слышишь говор: воды плещут,
Качая сонные ладьи;
И мельница хрипит и стонет
Под говор бешеных колес.
Вон-вон скрыпит тяжелый воз:
Везут зерно. Клячонку гонит
Крестьянин, на возу дитя,
И деда страхом тешит внучка,
А, хвост пушистый опустя,
Вкруг с лаем суетится жучка,

И звонко в сумраке лесном
Веселый лай летит кругом.

Поэт! Ты слышишь эти звуки...
Долой броню! Во прах копье!
Здесь достояние твое!
Я знаю — молкнут сердца муки
И раны гнойные войны
В твоей душе заживлены.
Слеза в очах как жемчуг блещет,
И стих в устах твоих трепещет,
И средь душевной полноты
Иную Музу слышишь ты.
В ней нет болезненного стона,
Нет на руках ее цепей.
Церера, пышная Помона
Ее зовут сестрой своей,
К ней простирают руки нежно —
И, умирив свой дух мятежный,
Она сердечною слезой
Встречает чуждый ей покой...
Отдайся ей душою сирой,
Узнай ее: она как мать
Тебя готова приласкать;
Брось человеческого мира
Тщету и в божий мир ступай!
Он лучезарен и чудесен,
И как его ни воспевай —
Всё будет мало наших песен!

1853

347. ПАМЯТИ ДЕРЖАВИНА

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИЗВЕСТИЯ О ПОБЕДАХ ПРИ СИНОПЕ И АХАЛЦИХЕ

Что слышу? Что сердца волнует?
Что веселится царский дом?..
Опять Россия торжествует!
Опять гремит Кагульский гром!

Опять времен Екатерины,
Я слышу, встали исполины...
Но мой восторг неполон! Нет!
Наш век велик, могуч и славен;
Но где ж, Россия, твой Державин?
О, где певец твоих побед?
И где кимвал его, литавры,
Которых гром внимал весь мир?..
Неполны воинские лавры
Без звона неподкупных лир!
Кто днесь стихом монументальным
Провозвестит потомкам дальным,
Что мы всё те же, как тогда,
И что жива еще в России
О христианской Византии
Великодушная мечта!
К тебе, Державин, как в молитве,
К тебе зову! Услышь мой глас,
Как слушал бард о чудной битве
Простого пахаря рассказ.
С тех пор как жреческий твой голос
Умолкнул, много Русь боролась
Со злым врагом и клеветой.
В нас сил твоих недоставало
К ним стать лицом, поднять забрало
И грянуть речью громовой.
Пора забыть наветы злые,
Пора и нам глаза открыть
И перестать нам о России
С чужого голоса судить.
Пора! Завеса разорвалась!
В нас сердце русское сказалось!
Мы прозреваем наконец
В самосознании народном —
Нам не в Париже сумасбродном,
Не в дряхлой Вене образец.
В Европе слишком много кровью
Сама земля напоена;
Враждой упорной, не любовью
Взрастила чад своих она;
Там человека гордый гений
Зрел средь насильств и потрясений;

Дух партий злобу там таит;
Все живы старые обиды;
Над каждым мрачной Немезиды
Там меч кровавый тяготит.
А мы за нашими царями,
Душою веруя Петру,
Как за искусными вождями,
Пошли к величью и добру.
Они одни лишь угадали,
Какая мощь и разум спали
В богатыре земли родной,
Лишь бы монгольских зол заразу
С него стряхнуть и, как алмазу,
Дать грань душе его младой.
Чем быть во изумленье миру —
Ему впервой разоблачил
Тот, кто сложил с себя порфиру
И как матрос и плотник жил;
За Русь пошел страдать, учиться,
Кто восхотел переродиться,
Чтоб свой народ переродить!
Познай, наш враг хитроугрозный!
С ее царем дороги розной
России ввек не может быть.
И пусть она еще ребенок,
Но как глядит уже умно!
Еще чуть вышла из пеленок,
Но сколько ею создано!..
Державин! Бард наш сладкострунный!
Ты возвещал России юной
Всё, чем велик здесь человек;
Ты для восторга дал ей клики,
Ты огласил ее, великий,
Трудов и славы первый век!
Восстань же днесь и вижды — как снова
Родные плещут знаменá!
Во славу имени Христова
Кипит священная война,
И вновь Россия торжествует!..
Пускай Европа негодует,
Пускай коварствует и лжет:

Дух отрицанья, дух сомненья,
Врагов бессильное шипенье
Народный дух в нас не убьет!
У нас есть два врага — мы знаем!
Один — завистников вражда:
Не усмирив их, не влагаем
Меча в ножны мы никогда;
Другой наш враг — и враг кичливый —
То дух невежества строптивый!..
О Русь! их купно поражай!
Одних мечом, других сатирой,
И бранный меч с правдивой лирой
Единым лавром обвивай!
В ряду героев Измаила
Да узрят наши имена,
Да знают: с ними в нас одна
Мощь разума и длани сила;
Да глубже мысль нам ляжет в грудь,
Что наш велик в грядущем путь, —
И тень певца Екатерины
На наше кликнет торжество:
«Они всё те же исполины
И помнят барда своего!»

2 или 3 декабря 1853

348

Нет, не для подвигов духовных,
Не для спасения души
Я б бросил мир людей греховных
И поселился бы в глуши, —
Но чтоб не видеть безрассудства
И ослепления людей,
Путем холодного распутства
Бегущих к гибели своей.
Нет, с правдой полно лицемерить!
Пора решиться возгласить:
В грядущем — не во что нам верить
И в жизни нечего любить!

Одно безмолвие природы,
Поля и лес мне могут дать,
Чего напрасно ждут народы, —
Спокойной мысли благодать.

1853 или 1854

349. ОСЕНЬ

Два раза снег уж выпадал,
Держался день и таял снова...
Не узнаю леска родного —
Как светел он, как редок стал.
Чернеют палки гнезд вороньих
На дереве; кой-где дрожит
Один листок, и лес молчит...
А утопал он в благовоньях,
И лепетал, и зеленел,
В грозу шумел, под солнцем зрел.
И всё мне здесь твердит уныло:
И ты пройдешь огонь земной,
И захиреешь ты душой
Еще, быть может, до могилы.
Нет, — тайный голос мне звучит, —
Нет, что-нибудь да устоит
Во мне в крушеньи прежней силы,
Как эта царственная ель,
Еще блестящая досель
В своем зеленом одеянье, —
Не ум, так сердце; не оно —
Так чувство чистое одно,
Одно отрадное сознанье,
Что путь свой честно я свершил
И для чего-нибудь да жил.

1853 или 1854

350. КОЛЯСКА

Когда по улице, в откинутой коляске,
Перед беспечною толпою едет он,
В походный плащ одет, в солдатской медной каске,
Спокойно-грустен, строг и в думу погружен, —
В нем виден каждый миг державный повелитель,
И вождь, и судия, России промыслитель
И первый труженик народа своего.
С благоговением гляжу я на него,
И грустно думать мне, что мрачное величье
В его есть жребии: ни чувств, ни дум его
Не пощадил наш век клевет и злоязычья!
И рвется вся душа во мне ему сказать
Пред сонмищем его хулителей смущенным:
«Великий человек! Прости слепорожденным!
Тебя потомство лишь сумеет разгадать,
Когда история пред миром изумленным
Плод слезных дум твоих о Руси обнажит
И, сдернув с истины завесу лжи печальной,
В ряду земных царей твой образ колоссальный
На поклонение народам водрузит».

5 марта 1854

351. ПАСТУХ

Ох, дорога ль моя, ты дороженька!
Ты меня на добрый путь наставила,
Дурака меня оболванила,
Добрым молодцем в люди вывела,
Как я был еще млад-младешенек,
А потом как был и на возрасте,
Нерадивый был, непонятливый.
Возьмусь за соху — полоса крива,
Возьмусь за косу — из рук валится.
Только песни петь умел девкам я,
Да разжалобить хмель кабацкую
В стариках умел я по праздникам.
Долго ждал-глядел и грозил отец,
Да и грянул вдруг, что по небу гром,

И, что гул в бору, мать поддакнула.
Отобрали мой новый синь кафтан,
Шляпу с пряжкою, пояс шелковый,
Дали в руки кнут да дыряв зипун,
В пастухи меня, дурня, отдали.
И пастух-то я нерадивый был:
Пас в лесу сперва — да соскучился,
Стал в луга гонять — закручинился,
Норовил потом на дороженьку
На проезжую, на шоссейную.

Ох, дорога ль моя, ты дороженька!
Как пришло тебе твое времечко,
Не дорогой ты — стала улицей.
Разлетелися галки, вóроны,
По березничку в стороне сидят;
Серый заинька в кустик спрятался,
Приложил ушки, сам дрожит как лист;
Господа ль катят, шестерик валит —
В стороне и те дожидаются;
Тройка ль бойкая несет купчика,
Пьян ямщик стоит, гонит что есть сил, —
Да и ты, купец, поворачивай:
Ровно птицы снуют всё фельдъегери.
Только утро-свет замерещится,
Уж скрыпуч обоз без конца ползет,
Всё добро везут, кладь казенную,
Вслед полки идут, едет конница,
Кони фыркают, сабли звякают,
Усачи сидят, подбоченились,
Говорят-шумят добры молодцы,
Пастуха корят рохлей-увальнем,
Дураку кричат: «На кобылу сядь,
Сядь на пегую, да лицом к хвосту,
Мы с собой возьмем, прямо в вахмистры!»
А потом идет артиллерия:
Пушки медные, все сердитые,
Фуры крашены с сизым порохом;
Офицер идет хоть молоденький,
Только быстрый взгляд, носик вздернутый.
Пастуха опять дразнят молодцы,
Дурака корят рохлей-увальнем

И с собой зовут позабавиться:
«Эй, деревня, слышь! Зубки беличьи!
Погрызи, поди, всласть и досыта, —
У нас фуры вон всё с орешками,
Всё с орешками, всё с чугунными».
Им пехота вслед: вперед музыка,
С запевалами, с пляской, с гиканьем;
Ружья — что твой лес! Каски медные,
Полы загнуты, сапоги в пыли:
Идут — стонет дол! Чуешь — сила валит,
Проучила меня зевать конница,
Проучила глазеть артиллерия:
Уж пехоте я в пояс кланялся,
С головы скидал шапку старую,
Заслужил пастух слово доброе.
Брал я удали, заговаривал,
Провожал солдат семь и восемь верст;
Разузнал от них, на чем свет стоит,
Сколько в свете есть городов и сел,
И которые христианские,
И которые басурманские;
Как задумали злые нехристи —
Полонить пришли землю русскую,
Наругаться пришли над иконами,
Обижать пришли царя белого;
Да легко сказать — надо с бою взять,
А на то пошло — так не выдадим:
С нами бог и царь, дело правое.

Ох, дорога ль моя, ты дороженька!
Ты не долго была битой улицей,
И прошло твое красно времечко,
Поосела пыль, позатихла молвь,
Тишина легла безответная.
Приосмелился заяц, выглянул
На дороженьку, стал осинку драть;
Галки, вороны почали скакать,
И один пастух одинешенек
При дороженьке, сиротинушка;
Он стоит, глядит в дальню сторону:
Словно всех родных проводил с двора,
Проводил на пир, сам не прошен был.

И брала его тоска лютая,
И привиделся небывалый сон.
Словно буря идет, с громом, с молнией;
С треском небо, гляжу, разорвалося,
И в сияньи стоит высока жена
Красоты в очах неописанной.
Громким голосом на все стороны
Говорит она, мать детей зовет:
«Подымайтеся, детки милые!
Обижают меня, ох, соколики!»
И по слову ее, что ковыль-трава,
Колыхается, подымается
С четырех сторон рать великая;
И, что лебеди по заре кричат,
По поморью кричат камышовому,
Детки матери откликаются:
«Слышим, матушка! Не бойсь, выручим!»
И, отколь возьмись, белый конь летит,
На меня пахнул из ноздрей огнем;
И схватил коня я за гривоньку,
На коня вскочил храбрым витязем,
И на мне доспех — воронена сталь,
Полетел как вихрь, засверкал мечом
И откликнулся звонким голосом,
Как откликнулись храбры полчища:
«Слышим, матушка! Не бойсь, выручим!»

А как крикнул я, то и сон пропал,
И вскочил, гляжу — а и нет коня,
Не доспех на мне, а дыряв зипун,
Не булат в руке — пастуховский кнут.
И швырнул я кнут, залился слезьми,
Наземь ринулся, рвал сыру траву.
В сердце зла тоска пуще прежнего.
«Али хуже я да честных людей?
Аль что плох пастух — так нет удали?
Да хоть песни петь молодецкие
Пригожуся я, как пойдут на бой!..»
Трое суток я пропадал с села,
Трое суток я не гонял коров.
На четвертые поздно вечером
Я пришел с степи к отцу, к матери,

До земли челом поклонился им,
Заклинал забыть гнев родительский,
Что я сам нашел свою долюшку
Без отцовского изволения.
«Грех с души сними, родна матушка,
Отпусти вину, родной батюшка, —
Сплю и вижу я: мне в поход идти».
Испужалася родна матушка,
Почала корить, горьки слезы лить.
Сердце рвалося, да не сдалося!
Что надумалось во сыром бору,
Что под благовест намолилося
(Сам дивлюсь теперь, отколь речь взялась),
Пошел сказывать, перепархивать
Сперва птенчиком низко по земи,
А потом пошел что орел гулять,
Что в своей воде рыба вольная.
Всё ей выложил: рассуди сама,
Коль губить — губи! В пастухах держи —
Лыко драть, лапти плесть — да коров гонять!
Молча слушал отец, на печи лежал;
А и вижу, с печи опускается,
Сед как лунь, старик, прямо к образу,
На колени пал; замолчала мать.
Был грозён-умён родиой батюшка.
«Не кори, — сказал, — не вопи, жена.
Не по глупости говорит дитя,
Он добро сказал, и добру быть так!
Ты зажги свечу перед образом,
Осени дитя, как быть следует,
Нерушимым ввек крестным знаменьем:
Сам свезу чем свет и сдам в рекруты».

Просбирала мать во всю ночь меня,
Просидел отец до зари со мной.
С солнцем впряг коней, словно к празднику,
С расписной дугой, сбруя с бляхами.
Девки, молодцы все сбежалися,
Как с родным, со мной попрощалися.
Гордой поступью вышел батюшка:
Шапки снял народ, расступилися.

Помолясь еще, тронул вожжи он —
Кони взвилися, люди ахнули,
Завопила мать, наземь грянулась,
Подхватили ее люди добрые.
Понеслись мимо нас избы с клетями,
Зелены луга, ходуны-мосты,
С громом въехали мы в губернию.
Тут и жизнь моя пошла сызнова.

Ох, дорога ль моя, ты дороженька!
Не видал я, где ты начинаешься,
А уж знаю теперь, где кончаешься.
Привела меня ты, дороженька,
К славну городу к Севастополю —
Отстоять его, коли бог судил,
Или лечь костьми во честном бою.

1854

352. АРЛЕКИН

Меня всю ночь промучил сплин...
Передо мной, к стене прибитый
И, видно, няней позабытый,
Висел бумажный арлекин.
Едва хочу я позабыться —
Вдруг арлекин зашевелится,
Начнет приплясывать, моргать
И точно хочет что сказать.

Я ободрил его. Он начал:
«У вас мне просто нет житья.
Здесь для детей забава я,
А то ли я в Европе значил?
Там все уж знают и твердят,
Что нынче век арлекинад.
Мы маскируемся, хлопочем,
Кутим, жуируем, морочим
И, свет волнуя и губя,
Тишком смеемся про себя.

Но ты меня не понимаешь...
Не мудрено! Ты знаешь свет
Из книг французских да газет;
И, верно, всё воображаешь,
Что арлекин — остряк и шут,
Философ жизни, умный плут,
Друг Бахуса и всякой снеди —
Есть вымысл площадных комедий.
Так было прежде, в старину.
Тогда нас в строгости держали,
Тогда мы роль свою играли
Исправно... Даже не одну
Услугу людям оказали...
Скажу не обинуясь: мир
Вперед мы двигали чудесно,
Когда какой-нибудь безвестный
Нам роли сочинял Шекспир.
Таких Шекспиров было много
Во всех родах. Их здравый ум
Всем и всему судья был строгой.
Их смех был плод глубоких дум...
На площади за ширмой пестрой
Мы зло язвили шуткой острой,
И к нам езжала даже знать,
Чтоб каламбур у нас занять, —
Инкогнито!.. Мы беспристрастно
Тартюфов ставили на смех;
Критиковали даже тех,
Кого критиковать опасно:
Известный взяточник и вор
Боялся нас как привиденья;
В делах правленья самый двор
Нас принимал в соображенье.
А шарлатанов-докторов,
Сластолюбивых старичков
И легких модников аббатов,
Скупцов и плутов-адвокатов,
Старух — охотниц до интриг —
Держал в острастке наш язык.
Так в нашем смехе и злословье
Нашли орудье короли,
Чтоб сор мести с лица земли;

И нас любили все сословья:
В них силы наша болтовня
Возобновляла, как лекарство,
Тем в равновесии храня
Все элементы государства.

Пленясь критическим умом
И нашей речи бойкой солью,
Нас свет иной, важнейшей ролью
Решился наградить потом.
«Вы гнать умеете пороки, —
Сказал, — подайте же вы нам
Высокой мудрости уроки!
Как дети вверимся мы вам.
Всей государственной машине
Вы чудный сделали разбор, —
Так перестройте ж нас вы ныне,
Да новый мир пойдет с сих пор!»

В нас ум всегда был смел и скор.
Вмиг план готов, и ухватились
За труд с уверенностью мы.
Мы к той поре уж поучились
И наши бойкие умы
Уж в философию пустились;
Пьеро надел уже парик,
И точно — царь был в царстве книг!
И мы пошли ломать. Трещало
Всё, что построили века...
Грядущее издалека
Нам средь руин зарей сияло...
Но вдруг средь наших сладких снов,
Средь наших пламенных теорий —
Мы слышим черни ярый рев:
Как будто вдруг из берегов,
Бушуя, выступило море!..
Мы в ужасе глядим кругом,
И что ж? Как демоны в потемках,
Одни стоим мы на обломках:
Добро упало вместе с злом!
Все наши пышные идеи
Толпа буквально поняла

И уж кровавые трофеи,
Вопя, по улицам влекла...

Но это всё тебе известно;
Ты знаешь, как одни из нас,
Противу черни ополчась,
Погибли праведно и честно;
Но ты не знаешь одного —
Что многим голову вскружило
Господство, власть и торжество,
А с тем и деньги... Да, мой милой!
Кто раз уж сладко ел и пил,
Тот аппетит уж наострил!
Мы взять попробовали силой —
Да не смогли. «Ну так постой, —
Мы думали, — народ пустой!
Подобье вечное Сатурна!
Мы как-нибудь найдем лафу,
И так подденем на фу-фу!
Половим рыбки: море бурно!...
Мир сам пойдет своим путем,
А мы с него свое возьмем —
И вот как: решено, что дурно
Всё старое, как сгнивший плод,
Ну, так возьмем наоборот,
Перевернем всё наизнанку,
Взболтаем целый мир, как склянку:
Чему на дне быть — упадет,
Чему вверху — наверх всплывет!..
То, что считалось безобразным,
Мы совершенством назовем;
Что искони казалось грязным,
Мы в том высокое найдем...»
Но, впрочем, эти штуки мелки,
И занимают лишь детей
Литературные проделки.
Тут были вещи покрупней.
Притом у нас литература
Была неважная фигура:
Один слезами тешил дур,
Другой ругался чересчур,
Так что открылась штука эта,

И мир смекнул, стряхнувши сплин,
Что в маске чахлого поэта
Румяный крылся арлекин.

Нет, вот где более отваги!
Смотри-ка, дерзость какова!
Мы появилися как маги,
Вещали чудные слова;
Со всем величием пророка
Провозглашали: «Нет порока!
Для плоти наступил свой век!
Стыд, совесть — робких душ тревога!
В страстях познайте голос бога,
И этот бог — есть человек!..»
Благоуханными словами
Навербовали мы толпами
Жрецов, а особливо жриц
Из жен, скучающих мужьямн,
И неутешенных вдовиц.
В своем бессовестном ученье
Открыв всем мерзостям прощенье,
Пустили по свету гулять
Мы Мессалин и Дон-Жуанов,
И куча мелких партизанов
Пошли их роль перенимать.
Они взялись за дело прочно
И, пред испуганной толпой,
Плевали с наглостью тупой
В лицо весталки непорочной,
Им недоступной, им чужой!
Прнкрывши грацией бесстыдство,
Они всем блеском сибаритства
Ловили в сети и детей,
Их развращая в цвете дней...
Тут было чистое злодейство,
Но наши новые жрецы
Втирались в мирные семейства
И утучнялись, как тельцы...

Но всё же этим аферистам
Не так проделка удалась,
Как арлекинам-журналистам.

В них оценить ты можешь нас.
Вот знают, где и как ударить!
Вот мастера-то, черт возьми,
Насчет умов в карманах шарить
И слыть честнейшими людьми!
Сбирая дани с муз и граций
Натурой, деньгой, тем и тем,
Они для верных спекуляций
Каких не строили систем!
Уж в чем других не уверяли,
Не веря ровно ничему!
Казалось всем, они лишь знали,
Что не известно никому,
Род человеческий так падок
Ведь на таинственность: они,
Как сфинксы, полные загадок,
Являлись черни в оны дни!
От них услышать голос божий
К ним собиралися толпы
Великодушной молодежи,
Чуть не целуя их стопы.
И сфинкс, в них разжигая страсти,
Себе прокладывал в тиши
На их плечах дорогу к власти
И с благородства их души
Сбирал тихонько барыши.
Так шарлатанством и коварством
Опять вступили мы в почет,
Опять правленье государством
Вручил нам ветреный народ,
И — мы попали в депутаты...
О, если б видел ты палаты!
Вот маскарад-то! Шум и гам!
Куда ни взглянешь — тут и там
Всё арлекин на арлекине
В патриотической личине!..
Ну, тут пошел такой кутеж,
Что уж теперь не разберешь!
Во имя братства и свободы
Мы взбаламутили народы,
Им обещая дать устав,
Как жать, не сеяв, не пахав.

Хоть, правда, два-три человека
Наладить думали ход века, —
Да где им? Главная-то часть
Была у нас — казна и власть,
В руках — голодной черни стая,
Толпа фанатиков слепая
Да беглецы со всей земли.
Так мы в республику сыграли,
Потом империю создали,
В парламент английский вошли...
И, два враждебные народа
Сдружив для Крымского похода,
На помощь туркам повели...
Всё б это ничего, конечно,
Когда бы в то, что мы творим,
О чем мы пишем и кричим,
Мы верили чистосердечно, —
Нет, веры нет в нас на алтын!
Ведь смех: почтенный господин
Громит с трибуны — плещут массы,
А подо все его возгласы
В душе витии арлекин
Толпе коверкает гримасы!

Я сам... Да что и поминать!
Увы! Nessun maggior dolore,[1]
Как вспоминать про счастье в горе!
Нас стали там уж понимать.
Народ — не тот, что пьет и пляшет,
А тот, который жнет и пашет, —
Стал дело, кажется, смекать;
А этих пахарей печальных,
Отцов семейств патриархальных,
Возросших средь лесов и гор,
Мы очень трусим с давних пор...
К тому ж еще удар жестокой:
Оскорблена в душе высокой,
Уж видит наша молодежь,
Что силы, ум ее, здоровье

[1] Нет большей боли (итал.). — *Ред.*

Погибли, защищая ложь,
В великолепном пустословье,
И многие в душе своей
Дают обет — от критиканства,
От пустоты и шарлатанства
Предохранить своих детей...

Я думал, уж не дать ли тягу
Да здесь, в России, покутить...
Но как наказан за отвагу!
Не знаю, как и пережить!
Ведь вы одни для нас и грозны.
Вы слишком вообще серьезны.
Я здесь без весу, без гроша.
Иначе тешится Россия!
У ней и в смехе есть душа,
И в шутках — думы вековые!
У вас есть вера в вашу Русь —
А ведь и камни движет вера!
Нет, я ошибся. Признаюсь,
Уж вот урок-то! Вот карьера!
Мальчишка дергает шнурок,
А я и прыгай что есть ног,
Пока не пустит он шнурочка!..
Послушай, сжалься надо мной!
Пусти меня! Сними с гвоздочка!
Мне, право, надобно домой!
Идет к концу арлекинада —
Так приготовиться мне надо
Собой украсить мавзолей
Великих тамошних людей».

1854

353

Окончена война. Подписан подлый мир.
Отцы отечества! устраивайте пир,
Бокалы с торжеством высоко поднимайте!
И лживый манифест с потоком слез читайте!

Чего еще вам ждать — написано красно!
Не в первый раз [уже] бумажным крючкотворством
Пришлося вам прикрыть отечества пятно,
Подьячие в звездах, с умом и сердцем черствым.

1856

354. ВИХРЬ

(Отрывок)

Полн черных дум, я в поле проходил,
И вдруг, среди истомы и тревоги,
Неистовым настигнут вихрем был.

Средь тучи пыли, поднятой с дороги,
Древесные кружилися листы,
Неслись снопы, разметанные стоги,

Деревьев ветви, целые кусты.
Стада, блея и головы понуря,
Помчались; рев и вой средь темноты

Такой поднялся, что, глаза зажмуря,
Я побежал и думал, что разбить
Иль вымести хотела землю буря.

Мгновенно дум моих порвалась нить.
Попавши в круть и силяся напрасно
Запорошенные глаза открыть,

Я вспомнил Дантов адский вихрь ужасной,
Который гнал, крутя, как лист в лугу,
Теней погибших вечно сонм злосчастной.

И что же? Вдруг я слышу на бегу,
Что не один я схвачен адской кручей
И волочусь в безвыходном кругу.

На миг открыв глаза, сквозь вихорь жгучий
Я множество узрел голов и лиц,
Одежд, как парус бившихся летучий,

Взбесившихся коней, в пыли возиц,
Детей и женщин, подымавших руки
Из-под колес разбитых колесниц.

Лишь по устам, открытым в страшной муке,
Я понимал, что все они вопят,
Но вихорь вырывал из уст их звуки,

И мчал он их, как щепки водопад...
Я вдруг попал в затишье за скалою,
И провожать бегущих мог мой взгляд.

И видел я: тяжелою стопою,
Как мчатся в страхе по полю быки
И между них телята — хвост строкою, —

Бежали юноши и старики.
Над ними вихрь кружил листы бумаги
И рвал с голов седые парики...

Педантов вмиг узнал я в сей ватаге:
Их жалкий круг когда-то охранял
Наук святыню и, в слепой отваге,

Дорогу к ней иароду преграждал...
За ними вслед — исчадье канцелярий —
Дельцов, пройдох печальный сонм бежал...

Тут были мопсов морды, волчьи хари,
И головы ушастых лошаков,
И Зевс миров подьяческих, и парий.

Их точно гнал незримый рой бесов.
Один толстяк упал, изнемогая,
Но вихрь его, средь пыльных облаков,

То вниз, то вверх кидал, как мяч швыряя;
Другому же блудница на плеча
Повисла, как вампир, его кусая:

Он бил ее, зубами скрежеща...
За ними дам толпы, в наряде бальном,
В венках из роз, в гирляндах из плюща,

Как будто плыли в вальсе музыкальном,
Подобные летящим лебедям
Над синей степью к озерам зеркальным,

И франтов рой бежал по их следам,
Толкаяся и руки простирая
За улетающей толпою дам,

Так спугнутых домашних уток стая
Бежит по пруду, шлепая крылом
И взвиться в воздух силы напрягая...

Но вихорь стал еще сильней потом,
Опять толпы помчались в урагане,
Как армии в дыму пороховом.

Как в разноцветном, огненном фонтане,
И голубых и алых лент цвета
Передо мной мелькали, как в тумане.

Я чувствовал: страшна та высота,
С которой вихрь низвергнул сих несчастных...,
Но вдруг, смотрю, яснеет темнота,

И пыли столб, и с ним толпа безгласных
И жалких жертв в клубящемся песке,
Весь просиял в отливах света красных,

И в белой ризе, крест держа в руке,
Маститый старец стал перед толпами,
Как каменный утес в упор реке.

Он вопиял: «Покайтесь!» — и перстами
Указывал на город... Я взглянул —
И онемел... Огонь, клубясь волнами,

Над городом всё небо обогнул.
Из дыма искры сыпались, как семя
От веяла, — и вдруг, сквозь треск и гул,

С небес раздался глас: «Приспело время!
Се тот, кого забыли вы! Долой,
О блудное и ветреное племя!»

Я в ужасе упал полуживой.

1856

355

В часы полунощных видений
Как часто предо мной встают
В тумане милые две тени,
И как лепечут, как поют,
Как верят в счастье, как играют
И в жизнь, и в слезы, и любовь, —
И как легко они страдают,
Как быстро радуются вновь!

Их смех игрив, их взоры ясны,
Улыбки — веянье весны!
О боже! как они прекрасны!
О боже! как они смешны!
Как в них себя узнать нам трудно...
Ужель и впрямь была пора,
Когда так веровалось чудно
В возможность счастья и добра!

23 октября 1859 у Полонского

356

На белой отмели Каспийского поморья,
Работой каторжной изнеможен, лежал
Певец. Вокруг песок; ни кустика, ни взгорья...
Лишь Каспий брызгами страдальца освежал,

Лишь Каспий вызывал певца на песнопенье...
Вот в сердце узника забилось вдохновенье,
Задвигались уста, сверкнул потухший взор,
Он руки к родине, как к матери, простер
И очи обратил с молитвой жаркой к богу;
Но двое часовых уж видят — быть греху!
И взводят уж курки, отставили уж ногу,
Готовясь выстрелить по первому стиху
И в крепости поднять военную тревогу...

1859

357. ПРАЗДНОСЛОВЫ

Кумиры старые разбиты,
И их разогнаны жрецы,
И разных вер сошлись левиты,
И разных толков мудрецы.
Сошлись во всеоружьи бранном,
В тиарах, в пудре, в колпаках;
Восток и Запад в братстве странном
Уселись рядом на скамьях.
И толк пошел — широко, пышно,
Но с каждым мигом всё сильней,
И наконец уже не слышно
Совсем за криками речей:
Друг друга каждый лишь порочит,
И громко бога своего
На место свергнутого прочит,
И счастья ждет лишь от него...
А мир, от гнета векового
Меж тем свободный, засиял,
И прыснуть жизнь везде готова,
И лист уж почку завязал...
И туча пыли, мглы и смрада
Ушла с ликующих небес,
И зданья нового громада
Стоит уж, полная чудес...
И перед тем, кто дал спасенье,
Пред кем разодралася тьма, —
Уже встает из разрушенья,

Живая, Истина сама...
Но, — хоть у всех глаза открыты, —
Ее не узрят гордецы,
И не поймут ее левиты,
И не узнают мудрецы!

1859 или 1860

358. ДРУГУ ИЛЬЕ ИЛЬИЧУ

Илья Ильич! Позволь, пока еще я смею
Гордиться дружбою высокою твоею,
Позволь воспеть звезду всходящую твою!
Покинешь скоро ты друзей своих семью
И потеряешься для них в сияньи света,
Недосягаемом для бедного поэта!
Позволь мне хоть сказать, как я люблю тебя,
Как мил ты мне, когда, гаванский дым клубя,
Прихлебывая, пьешь ликер ты благовонный
Иль сельтерской водой клико остепененный;
И в этот сладкий час, между еды и карт,
В бюрократический приходишь вдруг азарт,
И перестроивать, с верхов до основанья,
Всё заново начнешь общественное зданье!
О, как мы слушаем! Как наш ученый Шмит —
Сей нигилистов бич — от счастия пыхтит!
А юный правовед — сей баловень фортуны, —
Как будто ловит он речей твоих перуны
И прячет их в карман, чтоб ими, может быть,
В бумагах деловых эффектно погромить!
А Петр Петрович! Тит Фомич! И я-то, грешный, —
Мы таем, учимся, и — верь — не безуспешно!
Какие новые пружины и винты
В гражданский механизм искусно вводишь ты!
Какой из рук твоих, в жизнь дикого народа,
Ручной голубкою влетела бы свобода!
Я слушаю, лежу спокойно на софе
И вижу, что и я, в особенной графе,
В теории твоей стою, и так же точно
Все — пирамидою, осмысленно и прочно
Сложились шестьдесят мильонов русских душ!

И как мы все цветем! О, богом данный муж!
У всех одна лишь мысль, все трудимся мы вместе,
Чтоб всё, что ты завел, стояло век на месте.
Не только старики, — ты счастьем всех смирил,
Всех! Даже молодежь ты так переродил,
Что исчезает в ней уж в школе пыл и ярость,
И прыгает она из детства прямо в старость...
Мне даже кажется, что стали наезжать
Уж немцы к нам твое созданье изучать,
Дивясь, какой судьбой на «свинской» почве русской
Вдруг стало пахнуть всё идиллией французской!
Конечно, иногда меня смущает тут
Одно сомнение: народец русский — плут!
Не спорит никогда, но всюду — как по стачке,
Как в яму спустит вдруг, глядишь, поодиначке,
Созданья лучшие ученейших голов.
И как ты ни пиши, что с ним ни трать ты слов, —
Он от тебя бежит под сень родного мрака,
Как от немецкого намордника собака!
Но ты — ты сладишь с ним... вот только б проложить
Тебе тропинку-то!.. Вот только б обратить
Вниманье... знаешь... там!.. Лишь *там* бы захотели
Понять твои мечты, способности и цели!
Тогда б ты сладил, да! Ведь ты не то, что был,
Ну, хоть твой папенька!.. Ах, вижу, рассмешил
Тебя сравненьем я! Хохочешь?.. Слава богу!
Мне лестно! очень! да!.. Вспадет же на язык!
Вот в самом деле был забавный-то старик!
Полжизни на плацу вытягивал он ногу,
Был губернатором, здесь чем-то управлял...
Застегнут, вытянут, каким-то дикобразом
Старался выступать, — казалось, съест вот разом!
Пугать всегда хотел — и вовсе не пугал!
В нем, знаешь, не было — руководящей нити...
А ты — учтив всегда, без этой лишней прыти,
И, не поморщив бровь, сгоняешь со двора
Без объяснения, лишь почерком пера,
Всех этих практиков и самоук несчастных,
С великой мыслию твоею несогласных!

Не слушаешь мольбы ни жен их, ни детей...
А папенька? Смешно и вспомнить-то, ей-ей!
Воришку мелкого, на сотенном окладе,
Бывало, призовет, кричит, сам весь в надсаде,
Раздавит, кажется... Ан смотришь, покричит —
И сам расплачется, да тут же и простит!
Закона — не любил! Его боялся даже,
Всегда в нем видел то, против чего на страже
Быть должно всякому, и, встретясь с ним в пути,
С ним только вежливость старался соблюсти...
Вот в чем всё горе-то! В мундир весь век родился,
Но сквозь мундир его халат всегда сквозился!
Вот ты, — так и в пальто, без звезд и без крестов,
А точно, кажется (я, впрочем, это слышал
От маменьки твоей), на свет в мундире вышел!
Конечно, память твой *папа́* у стариков
Оставил добрую, — и ставят пред иконы
И нынче за него свечу; но, милый мой,
Тебя благословят — не тот и не другой,
Не Прохор, не Кузьма, не Сидор — а мильоны!
И пусть кричат слепцы: ты деспот! ты тиран!
Не слушай! Это толк распущенных славян,
Привыкших к милостям и грозам деспотизма!
Тиран ты — но какой? Тиран либерализма!
А с этим можешь ты — не только всё ломать,
Не только что в лицо истории плевать,
Но, тиская под пресс свободы, — половину
Всего живущего послать на гильотину!

1861, ⟨1863⟩

359—360. *НЕДАВНЯЯ СТАРИНА*

1

ПРЕЛЮДИЯ

Люблю в его осеннем увяданье
Родной лесистый этот уголок...
Идешь — чуть слышно ветерка дыханье,

И в воздухе здоровый холодок;
Верхи дерев уж в розовом сиянье,
А по траве и в колеях дорог,
Усыпанных листвою пожелтелой,
Еще сребрится заморозок белый...

Ах! юность в жизни видит пред собой
Лишь то, что как посев весенний всходит...
Старик следит с участьем и тоской
За тем, что отцвело и вдаль уходит...
Увядший лист, поверженный грозой
Могучий дуб на сердце грусть наводит:
Пройдем и мы, падет и самый храм,
Что созданным навек казался нам...

Уж он что день — то никнет и ветшает,
И падают столбы то там, то тут,
Столб за столбом... И взор кругом блуждает
И ищет им замены — тщетный труд!
И старость грустно, грустно повторяет:
«Конец всему!» И вот на этот суд
Ответствует ей юность: «Только с нами
Явился свет, ожиданный веками!

Прочь, привиденья мрака! *мы* идем!»
И — боже мой! — два возраста! два стана!
Там крик «спасай!», там возглас «напролом!».
Подумаешь — восстание титана
Против богов! И молнии и гром!
Ормузд в борьбе с сынами Аримана!
Всё есть там: оба Брута, Цинциннат
И даже — монтаньяры и Марат!..

Но это там, на высотах, те бури!
А здесь, в полях, — торжественный покой!
Лишь пенье птички, вьющейся в лазури,
Да голос жниц... пожалуй — ветра вой,
Да крик ребят, да споры сельских фурий...
Над всем же благовест, над всей страной
Вещающий о боге и о небе,
Что «будешь сыт не о едином хлебе!..».

Иной здесь мир!.. Отсюда тех высот
Волнения, те возгласы, те стоны —
Одна лишь зыбь на океане вод!
Своя здесь жизнь, свои у ней законы,
Своя у ней история идет,
Само собой, сквозь всякие препоны,
В сердцах растет, что в них заложено, —
Не *нами* насажденное зерно...

2

Поэма — и в октавах! Стало быть —
Тут будет смех, и шутка, и остроты...
Хоть, признаюсь, не мастер я острить,
Да и шутить, ей-богу, нет охоты!
Теперь все шутят — без того и жить
Почти нельзя: свести пришлось бы счеты
Со многим, что так за сердце щемит!
А шутка всё покроет, хоть на вид!

Моя поэма — песнь тревожной Музы!
Дай волю ей — слезами б изошла!
И я беру *тройных созвучий* узы
И шутку — obligato,[1] — чтоб была
В них для ее порывов — род обузы,
Чтоб в высший свет она теперь вошла,
Собой владея и в порядке строгом...
Не выдержит, пожалуй... Ну да с богом!

1874—1875

361

Люблю его — не баловнем Лицея,
Питомцем чуждых муз — и на заре годов
Уже поклонником Фернея
Вслед офранцуженных отцов;

Не юношей, чей расцветавший гений,
И свежесть чувств, и первый сердца пыл

[1] Обязательно (итал.). — *Ред.*

Под звуки Байрона уж отуманен был
Налетом им не прожитых сомнений...

Люблю его, когда уже прозрел
Он в этой мгле блистательной, но ложной —
И ранней славы блеск счел мишурой ничтожной,
И правды захотел.

Прочь Чайльд Гарольдов плащ! долой всю ветошь эту!
В искусстве мы должны пробить свою тропу!
Прочь возгласы, которыми поэту
Легко так волновать толпу, —
Нет, независимость от всякого кумира
И высшее из благ, в себе — лишь прямоты
И правды внутренней ища в явленьях мира,
Познал он тайну красоты.

1879 или 1880

362—386. *ЭПИГРАММЫ*

1

И. И. Л. В 1850-м ГОДУ

Говорят в вас, анонимом,
Луи Блан, Жорж Занд, Прудон,
Фейербах с почтенным Гримом,
Иногда и Пальмерстон —

Что прочли вы днем и на ночь...
Одного бы я желал,
Чтобы в вас Иван Иваныч
Сам мне что-нибудь сказал.

1850

2

С народом говори, не сдержанный боязнью
Придворных развратить, а паче же всего

Чиновников. О царь, начни за воровство
На Красной площади казнить торговой казнью.

1853 или 1854

3

В. П. Б.

Подчиняясь критиканам нашим,
Не пойдем далёко мы вперед.
Честно ниву ведь свою мы пашем,
Так посев наш, верю я, взойдет —
Хоть под дудку их мы и не пляшем.

1855 или 1856

4

Видал ли ты на небесах комету?
Видал ли ты, как хвост ее поймал
И, привязав к нему свою карету,
Езжал один известный генерал?
Народу что сбежалось — о мой боже!
Видал ли ты? — Нет, не видал. — Я тоже,
А Григорович так видал.

1855 или 1856

5

Бездарных несколько семей
Путем богатства и поклонов
Владеют родиной моей.
Стоят превыше всех законов,
Стеной стоят вокруг царя,
Как мопсы жадные и злые,
И простодушно говоря:
«Ведь только мы и есть Россия!»

1855 или 1856

Валуев

Левски — чином из последней —
Но как воваем, светел он!
Это — пошлости политической
Министерский
Аполлон!

6

[Щербина] слег опять. — Неужто?
— Еле дышит.
— Бедняжка! — Да, и это всякий раз,
Как кто-нибудь, друзья, из вас
Стихи хорошие напишет.

Между 1857 и 1859

7

От всех хвала тебе награда,
Ты славу вдруг завоевал, —
Для полноты ж успеха надо
Еще, чтоб Зотов обругал.

Между 1857 и 1859

8

С трудом читая по складам,
Хотят читать между строками,
И, что сказать хотели б сами,
То придают чужим стихам.
Их вразумлять — труды напрасны!
Так и заладили одно!..
Стихи-то, кажется, и ясны,
Да в головах у них темно!

1864

9

ВАЛУЕВ

Мысли — тени ни малейшей,
Но как важен, светел он!
Это — пошлости полнейшей
Министерский Аполлон!

Между 1864 и 1866

10

Академия кутит,
В буйстве меры не имеет.
Значит, рок свое вершит:
Академия русеет.

1867

11

У Музы тяжкая рука.
Вот Пушкин дураком лишь назвал дурака —
Да так и умер с тем Красовский.
Какой тебе урок, Шидловский!

1870 или 1871

12

Вы «свобода» нам кричите,
Я одной себе ищу —
Думать так, как я хочу,
А не так, как вы хотите!

Середина 1870-х годов

13

О дети, дети! чем ваш пыл умерить!
Знать, всех нас рок одной обрек судьбе, —
Вам неудержно хочется проверить
Отцов ошибки на себе!

Середина 1870-х годов

14

DE MORTUIS...[1]

Давно всеобщею моралью решено:
«Об мертвых говори хорошее одно».
Мы ж заключение прибавили такое:
«А о живых — одно дурное».

Середина 1870-х годов

---

[1] О мертвых... (лат.). — *Ред.*

15

По службе возносяся быстро,
Ты стал товарищем министра,
И дорогое имя Тертия
Уже горит в лучах бессмертия.

1878

16

Пишешь сатиры? — Прекрасно. Бичуешь порок? —
Превосходно.
Значит: ты лучший из нас? Ты — добродетельней
всех?

1878

17

Почетным членом избирает
Меня словесный факультет —
И в ваш почтенный круг вступает,
Вам низко кланяясь, поэт.
Всё, что в науку вашу входит,
И вас самих он чтил всегда, —
Не понимает лишь, когда
Речь о поэзии заходит.

1888

18

⟨АВТОЭПИГРАММА⟩

Устал я жить, устал любить
И трепетать за всё святое!
Любовь — цель жизни, может быть,
Но и ярмо мое земное!..

1888

19

(Горбунову)

За погремушкою шута
Не замечают в нем поэта!

1888

20

Киев, весной радостной,
Слышит голос сладостный,
То кричит Аверкиев:
«Ты ли мне поверь, Киев,
Я стою здесь с самою
Лучшей своей драмою».

1888

21

Вот Дамаскин Алексея Толстого — за автора больно!
Сколько погублено красок и черт вдохновенных задаром.
Свел житие он на что? На протест за «свободное слово»
Против цензуры, и вышел памфлет вместо чудной легенды.
Всё оттого, что *лица говорящего* он не видал пред собою...

1888

22

М......МУ

В вас есть талант — какой тут спор!
Но, чтобы свет ему увидеть,
Пошли, господь, весь этот вздор,
Что вы писали до сих пор,
Вам поскорей возненавидеть!

1888

23

ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ

Как ни шатай — не пошатнуть!
Пускай вражда кругом клокочет,
Она, в его ударясь грудь,
Как мяч резиновый отскочит.

1888 или 1889

24

ДЕКАДЕНТЫ

В степи *поет* заря. Река *мечтает* кровью.
Бесчеловечною по небесам любовью
Трещит душа по швам. Озлобился Ваал.
Он душу за ноги хватает. Снова в море
Искать Америку пошел Колумб. Устал.
Когда же стук земли о гроб прикончит горе?

1893 или 1894

25

У декадента всё, что там ни говори,
Как бы навыворот, — пример тому свидетель:
Он *видел* музыку; он *слышал* блеск зари;
Он обонял звезду; он щупал добродетель.

1894

ПОЭМЫ

387. ДВЕ СУДЬБЫ

Быль

> Кто более достоин сожаления? Чья судьба ужаснее?..
> Увы! Я не смею произнести приговора...
>
> *Хор из Софокловой трагедии «Трахинийки»*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

На креслах, пред растворенным окном,
Один сидел больной Карлино. Сладко
Дыша в тени прохладным ветерком,
Он отдыхал, избитый лихорадкой.
Он снова жизнь улыбкою встречал,
В ней помня радости, забывши муки,
И весело, как будто по разлуке,
Знакомые предметы узнавал:

2

В углу кумир языческого бога,
Отрытый им в саду, без рук, без ног...
«Бог даст, — он думал, — сыщется знаток,
Даст пятьдесят пиастров: мне подмога...»
На золоте мадонна со Христом,
Сиенских старых мастеров работа,
Ряд древних копий с Липпи иль с Джиотта,
Оставленных ему еще отцом.

3

На полке книги — да, о человеке
Вы можете наверно заключать
По избранной его библиотеке,
В его душе, в понятиях читать, —
Лежали там комедии Гольдони,
История мадонны и святых,
Либретто оперы, стихи Тассони
Да календарь процессий храмовых...

4

Как старый друг, он встретил их улыбкой;
Потом на даль он перевел свой взор...
А что за виды с Фраскатанских гор!
Там дерева́ лозой обвиты гибкой,
Там в миртовых аллеях пышных вилл
Статуи, бюсты, мраморные группы;
Там римских пин зонтообразны купы
И кипарис, печальный друг могил...

5

Как рад он был, что снова видит дивный
В тумане очерк купола Петра
И в Рим дорогу лентою извивной
Между руин .. А уж была пора,
Как солнце гасло, ночь шла от востока,
И слышно на долине лишь дроздов
Да караван навьюченных мулов,
Гремушками звенящий издалёка.

6

Не долго наш больной покоил взор
На дали и долиной любовался;
Заботливо порой он обращался
В соседний виноградник чрез забор.
Он видит там, меж листьями мелькая,
В корсете алом, белою рукой
Пригнув лозу, смуглянка молодая
Срывает с ветки гроздий золотой.

7

Пурпурный луч мерцающей денницы
Ее античный профиль озлащал,
И смоль косы, и черные ресницы,
И покрывало пышно обагрял.
«Нинета!» — ей кричит он чрез ограду,
И тотчас, легче серны молодой,
С корзинкою златого винограду
Влетела девушка в его покой.

8

«Проснулся ты? Тебе, Карлино милый,
Сегодня лучше?.. Знать, недаром я
Поутру в монастырь святой ходила
К обедне и молилась за тебя.
Я отнесла мадонне ожерелье».
И целовала дева-красота,
Резвясь, едва не плача от веселья,
Устами алыми его уста.

9

«Нинета! Ты всё прежняя резвушка!
Будь и всегда такая, и в те дни,
Как будем мы — господь тебя храни! —
Я — дряхл и хил, ты — добрая старушка.
Как мне легко! Как весел я душой!
Я будто вновь родился, и родился
К блаженству... Этот вечер, ты со мной...,
Как будто ангел с неба мне явился...,

10

Ах скоро ль я женой тебя введу
В свой дом! Пора! Наш домик будет раем.
Хозяйкою ты станешь... Мы сломаем
Докучливый забор в твоем саду.
Взгляни: мой виноград в твой садик, к лозам
Твоим через забор перебрался,
Твой олеандр к моим пригнулся розам,
И плющ мой вкруг него перевился.

11

Всё любится вкруг нас! Мы друг для друга
Назначены судьбой!» Упоена,
Молчала Нина. Думала ль она
О счастии, как будет мать, супруга,
Жалела ли девичьих вольных дней,
Иль страстных слов она не понимала,
Но молча им, рассеянно внимала,
Как колыбельной песенке своей...

12

Так следует головкою стыдливой
Цветок полей движеньям ветерка,
Так носится струями ручейка
Листок заблудший... Бурные порывы
И бес любви ее не трогал сна,
В ее душе ключом не бил, не стукал;
К любви Карлино искренней она
Еще привыкла в пору игр и кукол.

13

В ее душе читал он, как на дне
Прозрачного ручья: мечты, желанья,
Вся, вся она была его созданье;
Как юного орленка в вышине
Отец и мать, следил он мысли Нины,
Лелеял мир души и сердца сон;
А сердце спало в ней, как средь пелен
Младенец спит, про то не знал Карлино.

14

Как сердце спало? Стало быть, она,
Не знав любви, Карлино не любила?
Зачем же в монастырь она ходила
О нем молиться? Отчего одна
Она в дому его? И даже — боже! —
Что ж ничего она не говорит,
Как он ее целует? Что за стыд!
Ведь ни на что всё это не похоже!

15

Позвольте, всё вам верно объясню;
Но расскажите мне, когда угодно,
Зачем мы часто любим так свою
Собаку старую, халат негодный,
Одну всё трубку, няню, старый дом,
Тетради школьные? .. А если будем
Должны их бросить? Бросим и уйдем!
К вещам привычка! Точно то ж и к людям,

16

Покуда их та мысль не потрясла
И сердца их та страсть не взволновала,
Которая в душе у нас росла,
Бушует в ней или отбушевала...
Подобных встреч не много нам дано,
И с близкими мы часто как с чужими...
Иных же встретишь... кажется, давно
Видал их, знал, страдал и думал с ними.

17

Как к воздуху своих Фраскатских гор,
Как к небесам безоблачным Сабины,
Как к амбре роз, привыкло сердце Нины
К слепой любви Карлино с давних пор.
В ней даже мысли не было тревожной,
Что и других любить ему возможно...
А ей? .. Но вот ударило кольцо,
Какой-то гость идет к ним на крыльцо.

18

Широкий плащ свой на плечо закинув,
На брови шляпу круглую надвинув,
Вошел он к ним. Овальное лицо,
Высокий лоб и очи голубые,
И русый ус, и кудри золотые —
Всё означало в нем, что он был сын
Иной земли, небес, иной природы,

Не обожженный солнцем Апеннин,
Не оживленный дикой их свободой.
Умение собою управлять,
Морщины ранние и дум печать,
Во всех приемах легкая небрежность
И благородство говорили в нем,
Что он рожден и рос в краю таком,
Где с юных лет души порыв и нежность
Подавлены, где страсть — раба ума,
Жизнь — маскарад, природы глас — чума!..

19

Он русский был, дитя страны туманной,
И жил давно уже в краю чужом...
Его хозяйка, сьора Марианна,
Бывало, говорила так о нем:
«Он малый скромный, платит аккуратно
И добр: моим ребятам завсегда
Дает гостинца; только иногда
Так грустен, бедный! Впрочем, и понятно:

20

Ведь он язычник... Может быть, господь
Погибшего печалью посещает.
Дай бог ему спасти свой дух и плоть!
Легко ль! Не верит в папу он! Бывает,
Что целый день проводит он как тень
За книгами, или в долине бродит,
Иль блажь такая на него находит,
Что на коне он рыщет целый день».

21

Владимир (так мы гостя назовем)
Был поражен сей мирною картиной:
Полубольной Карлино, и при нем,
Облокотясь на спинку кресел, Нина;
И мать ее (простите, я забыл
Вам возвестить ее приход) глядела
На юную чету, и как яснела

Ей будущность!.. А по небу светил
Небесных лики ночь разоблачала,
И дымка влажная ночных паров
Вилась вокруг руин, гробниц, холмов,
Дышали розы... Музыка играла...

22

Владимир

На юг лишь сходит, только в этот рай,
Подобный вечер...

Карлино

А у вас, далёко
На севере, не то?

Владимир

О нет, жестоко
И зло природой наш обижен край.

Карлино

Зато, синьор, вы сильны, вы богаты?

Владимир

Да, но ни солнца, ни небес иных
Не прикупить за дорогую плату:
И что нам в них, в богатствах покупных?
Карлино, верьте, право, я желал бы
На вашем месте быть, клянусь душой.
Я жил бы здесь спокойно, изучал бы
Мир древности и отдыхал порой
Под сенью моего же винограда;
И умереть была бы мне отрада,
Я знал бы, что поплакать, помечтать
Придет на гроб мой друг любимый.

Нина

Боже!
Карлино был мне с детства братом...

Владимир

Что же?

Нина

И только, больше ничего сказать
Я не хочу.

Владимир

Простите мне, синьора,
Но вид блаженных южных стран во мне
Рождает грусть, и о родной стране
Во мне болеет мысль, полна укора;
Мне грустно, я хандрю еще сильней,
А тяжко на душе — язык вольней,
И говоришь о том, что так тревожит.
Но, впрочем, вас мой сплин занять не может,
Вы счастливы, как может быть счастлив
Здесь человек.

Он замолчал, сдавив
Украдкой грустный вздох в груди. Карлино
Сжал руку Нины, тихо обратив
К ней полные восторгом светлым взоры;
Она молчала, очи устремив
На дальние темнеющие горы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В дни древности питомцы Эпикура,
Средь мраморов, под шум падущих вод,
Под звуки лир, в честь Вакха и Амура
Здесь пиром оглашали пышный свод.
Толпы невольниц, розами убранных,
Плясали вкруг скелетов увенчанных;
Спешили жить они, пока вино
В их кубках было ярко и хмельно,
Пока любовь играла пылкой кровью
И цвел венок, сплетенный им любовью.

2

Они всё те ж, Авзонии сыны!
Их пир гремит при песнях дев румяных,

В виду руин — скелетов, увенчанных
Плющом и миртом огненной весны.
Меж тем как смерть и мира отверженье
Вещает им монахов мрачный клир,
В земле вскипает лава разрушенья, —
Блестит вино, поет веселый пир,
И царствует богиня наслажденья.

3

Как я люблю Фраскати в праздник летний!
Лавр, кипарис высокой головой,
И роз кусты, и мирт, и дуб столетний
Рисуются так ярко на густой
Лазури неба и на дымке дали,
На бледном перламутре дальних гор.
Орган звучит торжественно. Собор
Гирляндами увит. В домах алеют
Пурпурные ковры из окон. Тут
С хоругвями по улицам идут
Процессии монахов; там пестреют,
Шумят толпы; луч солнца золотой,
Прорвавши свод аллеи вековой,
Вдруг обольет неведомым сияньем
Покров, главу смуглянки молодой:
Картина, полная очарованьем!
Для пришлеца она как пышный сон!
Ее любил Владимир; тихо он
Бродил, но посреди толпы и шума
Обычная теснилася в нем дума.

4

Любил он видеть праздник сей живой
И тип племен в толпе разнонародной.
Какая смесь! Сыны страны холодной
Сюда стеклись, гонимые хандрой;
Там немец, жесткий, будто пня отрубок,
С сигарою и флегмою своей,
И фраскатанка с негой алых губок
И с молнией полуденных очей;
Француз, в своих приемах утонченный,

И селянин Кампании златой
С отвагою и ловкостью врожденной;
И важный бритт, предлинный, препрямой,
Всех сущих гидов строгий комментатор,
И подле — огненный импровизатор.

5

А русские? .. Там много было их,
Но уклонялся русский наш от них.
Как сладко нам среди чужих наречий
Вдруг русское словечко услыхать!
Так рад! Готов, как друга, ты обнять
Всю Русь святую в незнакомой встрече!
Захочется так много рассказать
И расспросить... Но вот удар жестокий,
Когда в своих объятиях найдешь
Всё тех же, от кого бежал далеко,
Как горько тут порыв свой проклянешь!

6

Тот вывез из степей всё то ж татарство,
Средь пышности ничтожность, пустоту,
Тщеславие наследственного барства
Или вчерашних титулов тщету;
Без мненья голова, а речь педанта;
Всё русское ругает наповал;
Всё чуждое превыше всех похвал;
Всего коснется — от червя до Данта;

7

Сан вес дает речам его тупым;
Осудит он как раз Микеланджело,
И приговор его непогрешим,
Как приговор подписанного дела.
Отчаянный в речах радикалист,
Иль демагог, иль буйный кондотьери,
А между тем вчера дрожал как лист
Вельмож блестящих у приемной двери.

8

Другого есть покроя молодцы:
Те чужды всем идеям басурманским,
Им храм Петра ничто перед Казанским
И лучше винограда огурцы;
По ним, весь запад сгнил в мечтах бесплодных,
И Тьер, Гизо, О'Коннель — дураки,
И во сто раз счастливее свободных
Живут их крепостные мужички.

9

На бледные смотря их поколенья,
Владимир часто думал: «Боже мой!
Ужели плод наук и просвещенья
Купить должны мы этой пустотой,
Ничтожностью, развратом униженья?
О русские, ведь был же вам разгул
Среди степей, вдоль Волги и Урала,
Где воля дух ваш в брани укрепляла;
Ведь доблестью горел ваш гордый взор,
Когда вы шли на Ярославов двор,
И вдохновленные отчизной речи
Решали спор на Новгородском вече;
Не раз за честь родной своей земли
Вы города и храмы ваши жгли,
Не склонные нести, в уничиженье,
Чужую цепь и стыд порабощенья;
Ужель, когда мессия наш восстал,
Вас пробудил и мир открыл вам новый,
В вас мысль вдохнул, вам жизнь иную дал, —
Не вняли вы его живое слово
И глас его в пустыне прозвучал?
И, грустные, идете вы как тени,
Без силы, без страстей, без увлечений?
Или была наука вам вредна?
Иль, дикого растлив, в ваш дух она
Не пролила свой пламень животворный?
Иль, ленью окованным позорно,
Не по плечу вам мысли блеск живой?
Упорным сном вы платите ль Батыю
Доселе дань, и плод ума порой,

Как лишний сор, сметается в Россию?
И не зажгла наука в вас собой
Сознания и доблестей гражданства,
И будет вам она кафтан чужой,
Печальное безличье обезьянства?..
. . . .

10

Родной язык, язык баянов давных,
Боярских дум и княжеских пиров,
Ты изгнан из блистательных дворцов!
Родной язык, богатый, как природа,
Хранитель слез, надежд и дум народа,
Чем стал ты? Чем? Невежества клеймом
И речью черни; барин именитый —
Увы! — теперь с тобою незнаком,
И русских дев сердца тебе закрыты.
Теперь тебя красавицы уста
Стыдятся, как позора убегая, —
Что ж будешь ты, о речь моя родиая,
Ты, лучшая уст женских красота?»

11

Владимир создал для себя пустыню
В своем быту. Он русских убегал,
Но родину, как древнюю святыню,
Как мать, любил, и за нее страдал
И веселился ею. Часто взоры
Он обращал на снеговые горы,
И свежий ветр вдыхал он с их вершин,
Как хладный вздох родных своих долин.

12

Да, посреди полуденной природы
Он вспоминал про шум своих дубров,
И русских рек раскатистые воды,
И мрак и тайну вековых лесов.
Он слышал гул их с самой колыбели
И помнил, как, свои качая ели,
Вся стоном стонет русская земля;

Тот вопль был свеж в душе его, как стоны
Богатыря в цепях. Средь благовонной
Страны олив он вспоминал поля
Широкие и пруд позеленелый,
Ряд дымных изб, дом барский опустелый,
Где рос он, — дом, исполненный затей
Тогда, псарей, актеров, трубачей,
Всех прихотей российского боярства,
Умевшего так славно век конать,
Успевшего так дивно сочетать
Европы лоск и варварство татарства.

13

Как Колизей, боярское село
У нас свою историю имеет.
Одна у всех: о доме, где светло
Жил дед его, наследник не радеет.
Платя хандрой дань веку своему,
Он как чужой в родном своем дому;
Ища напрасно в общей жизни пищи,
Не может он забыться средь псарей;
Сокрывшися в отеческом жилище,
Ругает свет, скучая без людей.

14

Ах, отчего мы ста́реемся рано
И скоро к жизни холодеем мы!
Вдруг никнет дух, черствеют вдруг умы!
Едва восход блеснет зарей румяной,
Едва дохнет зародыш высших сил,
Едва зардеет пламень благородный,
Как вдруг, глядишь, завял, умолк, остыл,
Заглох и сгиб, печальный и бесплодный...
О боже! Влей в жизнь нашу полноту,
Пролей в пустой сосуд напиток силы
И мыслию проникни пустоту,
Сознаньем укрепи наш дух унылый!

15

Пошли еще пророка нам, и мы
Уверуем в его живое слово,

Пусть просветит он хладные умы,
Поведает, кто мы? Зачем громовый
Орел наш стал могуч своим крылом?
Зачем на нас глядят в недоуменье,
Со страхом, все земные поколенья?
Что нового мы в жизнь их принесем?
Зачем на нас, как на звезду полночи,
Устремлены с надеждой теплой очи
Печальных наших братиев — славян
У снежных Альп, в ущелнях Балкан?

16

Из сей главы, печальной и угрюмой,
Из этих черт глубоко-тяжкой думы
Поймете вы, как мыслил мой герой
В те дни еще, когда в груди младой
Есть жизнь и в ней волканом бродит
Всё, из чего потом в душе выходит
Осадок жалкий — черная хандра!
. . . .

17

Сей пустотой душевною, жестоким
Уделом нашим, мой герой страдал.
Он дома, видя всё одно, скучал
И увлечен всеобщим был потоком:
Наполнить жизнь и душу он хотел,
Оставивши отеческий предел,
Среди иных людей, в краю далеком.

18

И посетил он новый Вавилон,
Вождя народов к жизни вечно новой,
Где ум кипит, свободен, вдохновлен,
На подвиг доблести всегда готовый.
Нашел ли он себе отраду в нем?
Он чувствовал, средь общего волненья,
Среди торжеств, побед иль пораженья,
Он всё чужой на празднике чужом...
Вкруг жизнь кипит: витийствуют палаты,

Решается давно зачатый спор, —
Там каждый в сей божественной, богатой
Общественной комедии актер...
А он пришлец, он незван и непрошен,
На чуждый пир судьбой случайно брошен!

19

То завистью, то скорбию томясь,
Жизнь сих племен кипящих, юных вечно,
На небеса Италии беспечной
Он променял, и думал он не раз:
Там, посреди святых ее трофеев,
Среди ее руин и мавзолеев,
Там, в сумраке старинных галерей,
Пред мрамором античного ваянья,
Среди святынь ее монастырей,
Библиотек ученого молчанья,
Доступны всем и пища, и покой,
И царство дум с восторгом и мечтой...

20

Он прав: искусств в глубоком созерцаньи
Найдешь приют для сердца, головы;
Но здесь, среди людей?.. Вот праздник шумный;
С каким огнем и радостью безумной
Толпы бегут... Но наш пришлец — увы! —
Уж новости в народном пульчинелле
Не находил; его скрипач слепой,
Как юных дев, собравшихся толпой,
Не призывал к веселой сальтарелле.

21

Пускай себе под небом золотым
Поет народ за кубком круговым,
Пусть пляшет там смуглянка молодая,
Как вдохновенная, перед кружком,
То топая звенящим башмачком,
То тамбурин гремучий потрясая...

Он поглядел на них, а там опять
Задумался и снова стал скучать.
В любимых думах тяжкие сомненья
Теснились в нем. Ища уединенья,

22

Оставил он пирующий народ
И на гору направил путь. Идет,
И вот пред ним часовня. Вяз зеленый
Над ней раскинул листьев темный свод,
И теплилась лампада пред мадонной.
Две женщины склонились перед ней:
Старушка Ave Maria читала,
И подле Нина грустная стояла.
В ее руках венок был из лилей,
И капли слез струились из очей...

23

«У счастия свои есть тоже слезы! —
Владимир думал. — Боже, как бы я
Желал так плакать! Да! Молись, дитя!
Твоей души младенческие грозы
Так сладостны... О, проклят будь стократ,
Кто у тебя отымет этот клад, —
Невежества блаженные остатки
И дивный мистицизм молитвы сладкой.

24

О ком, о чем молилася она?..
Не шепчут слов уста полуоткрыты...
Я верю, не была заучена
Ее молитва в школе езуита:
В ней не было определенных слов,
Но теплое и смутное слиянье
И чувств и мысли, страха и желанья...
Пугал ли Нину тайный мрак годов?
О друге ль детства кроткие молитвы?
Или о том, кто вынес жизни битвы?
То тайна сердца девы, и она
Владеет этой тайною одна.

Владимир не хотел своим явленьем
Смутить молитв их таинство; как бес
Пред светлым праздником (его сравненьем
Я пользуюсь), в аллее он исчез.
А там ему навстречу смех и споры,
И кинулся ему на шею вдруг
Приятель, граф ***.

Граф

Здравствуй, друг!
Скажи, где ты? Уж вот неделя скоро
Я здесь живу и всё тебя искал.
Был у тебя, ни разу не застал...
Ты схимник стал... Имею честь поздравить!
Здоров ли? Но позволь тебе представить...
Попутчик, вместе ехали мы в Рим.

Владимир

Ах, очень рад.

Лев Иваныч

Имею честь... я статский
Советник, Лев Иваныч Таракацкий.
А с кем имею честь?..

Владимир

***

Лев Иваныч

Чин?
Изволили служить?

Владимир

Служил.

Лев Иваныч

В отставке?

Граф

Э, после, Лев Иваныч, ваши справки
Вы наведете... Как живешь?

Владимир

Один,

Как видишь, хорошо.

Граф

Ты знал княгиню

Донскую? Здесь она.

Владимир

Мне всё равно.

Граф

Я здесь нашел родню свою, графиню
Терентьеву.

Владимир

Ты знаешь, я давно
Не езжу в свет.

Граф

Но нет, ведь мы иную
Здесь жизнь ведем. Я нынче не танцую.

Владимир

Что ж? Дипломатом стал?

Граф

Совсем не то.
Кузина, я, княгиня, м-сье Терто́,
Один француз, мы вместе изучаем
Здесь древности. Мы смотрим и читаем,
И спорим... Прелесть этот древний Рим,
Где Колизей и Термы Каракаллы!
Поэзия! Не то, что фински скалы!
Жаль, умер Байрон! Мы бы, верно, с ним
Свели знакомство! С Байроном бы вместе
Желал я съездить ночью в Колизей!
Послушал, что бы он сказал на месте,
Прославленном величьем древних дней!
Как думаешь? Ведь это было б чудо!

Владимир

За неименьем Байрона покуда
Я вам скажу, что лучше вам есть сыр,
Пить Лакрима, зевать на Торденоне

Да танцевать на бале у Торлони,
С графинями не ездя в древний мир.

Граф

Нет, ты жесток, и ты меня не знаешь.
Донская ангел... Но ужели ты
Так зол? Ужель ты вправду полагаешь,
Что мы не чувствуем всей красоты
Италии? Природа и искусства
Рождают в нас совсем иные чувства.

Лев Иваныч

Помилуйте! Я то же испытал
И на себе. Конечно, мне в России
Жить дома — лучше: связи и родные,
Карьера вся, почтенье... Но я стал
Совсем иной, и мысли всё такие,
Которых не видал бы и во сне.
Я многое здесь очень охуждаю;
Бездомность, жизнь в café я осуждаю;
Но многого и нет в иной стране.
Не нравятся мне торсы, Аполлоны,
Но как зато понравилися мне
Здесь обелиски! Вечные колонны
Везде одне... И мысль есть у меня,
Как заменить колонну обелиском;
И в Петербург писать намерен я,
Подать проект... сначала людям близким...
Комиссию нарядят для того:
Построить портик, оперев его
На обелиски... Как моя затея
Вам нравится?

Владимир

Чудесная идея!
Исакий, жаль, к концу уже идет.

Граф

Да, точно.

Владимир

Жаль, идея пропадет.

Лев Иваныч

Вот видите, влияние какое
Италия имеет на умы,
Перерождаемся в ней тотчас мы.

Владимир

О да, ее влиянье роковое!
Студент, советник статский, генерал,
Чуть воздухом подышит Буонарроти,
Глядишь, уж знатоком, артистом стал,
Совсем иной по духу и по плоти!
В Венецию ступайте: там, где дож...

Лев Иваныч

Поеду, но в каком же отношеньи
Венеция так интересна? Что ж
Особенно в ней стоит осмотренья?

Владимир

Как для кого. Вас го́ндолы займут,
Быть может, там; на Риве балаганы,
Паяцы, доктора и шарлатаны,
Иль музыка — по вечерам поют
На площади, — всё это так приятно!

Лев Иваныч

(таинственно)

Остатки всё республики, понятно!

Граф

А женщины! Какая красота!

Лев Иваныч

Для женщин я уж стар, не те лета,
И уж пора домой, к жене и деткам.

Граф

Соскучился уж Лев Иваныч наш,
Всё просится к своим гусям, наседкам.

Лев Иваныч

Так создан я, и не пересоздашь.
Взгрустнется раз иной; всё б отдал, право,

За свой кружок, домашний самовар,
Да борщ, да щи вчерашние с приправой,
Да костоломной русской бани пар.
Что, батюшка? А санки беговые?
Рысак в корню, дугою пристяжные...
Я рад, что я чужбину посетил,
А край родной, как худ ни будь, всё мил.

Владимир

Прекрасно, Лев Иваныч, дайте руку!

Лев Иваныч

Что, батюшка, вздохнул?

Граф

Ну, вот, пошли...
Чуть выехав из варварской земли,
Оплакивают скифы с ней разлуку!
О, скифство!

Владимир

Да, мы скифы. Много в нас
Есть, точно, скифских свойств.

Граф

Гиперборейцы!
С любовию к лесам, к степям, для вас,
Ей-ей, ввек будут чужды европейцы.
Нет, истинно разумный человек —
Космополит. В нем душу восторгает
Развитие, успех; он наблюдает,
Как всё вперед, вперед стремится век,
И где успех, он там отчизну видит.
Отсталое одно он ненавидит.
Жаль, некогда теперь мне; подожди,
Nous discuterons [1] — решенье впереди...
Но, странно, ты не бросил за границей
Патриотических своих идей?

Владимир

Никак не мог: во мне еще сильней...

---

[1] Обсудим (франц.). — *Ред.*

Граф

Всё вздор: поверь, окончишь ты больницей
Умалишенных... Faut que je te quitte,[1]
Прощай, о скиф!

Владимир

Прощай, космополит!

Кто ж прав из них? Ей-ей, решить боюсь...
Какая сила в этом слове — Русь!
Вздохнешь, его промолвя, глубоко́,
И мысль пойдет бродить так широко,
Грустна, как песни русской переливы,
Бесцветна, как разгул родных равнин,
Где ветер льнет ко груди полной нивы,
Где всё жилье — ряд изб в тени рябин,
А дале — небо бледными краями
Слилось с землею, с синими лесами...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда впервые Нина услыхала
Слова, каким дотоле не внимала,
Когда нашла больную душу, ей
Казалося безмерно расстоянье
Меж ней и тем, кто эти знал страданья.
Сперва зажглось лишь любопытство в ней;
Потом ей втайне сделалось приятно
Жалеть о друге новом; непонятно,
К нему неслись ее все мысли; он,
Казалось ей, достоин лучшей доли, —
А как помочь? В ее ли это воле?
Быть может, он озлоблен, оскорблен
И рождена она, как знать, с призваньем
Вновь помирить его с существованьем...

Владимир

Что ваш больной, Нинета?

---

[1] Нужно, чтобы я тебя покинул (франц.). — *Ред.*

Нина

Ничего,
Гораздо лучше. Нынче понемногу
Он стал гулять. Припадки у него
Всё реже.

Владимир

Стало быть, угодны богу
Молитвы ваши?

Нина

Я за всех молюсь,
Кого люблю.

Владимир

Счастливец!

Нина

Но Карлино...
Он не один... Синьор, я вам кажусь
Простою девочкой, так — бедной Ниной;
Вам кажется — где мне вас оценить...
Но есть у женщин в сердце голос ясный;
Что вам дают науки, может быть,
У нас врожденное, ведь вы несчастны,
Признайтесь?

Владимир

Кто же вам сказал?

Нина

Ваш взгляд
И сердце. Вы несчастны?

Владимир

Ради бога,
Оставим это. У мужчины много
Есть в сердце струн, которые молчат
И чужды в женском сердце. Есть заботы,
Недуги есть, безвестные для вас,
А их лечить нет сил и нет охоты
Ни у кого.

Сьора Тета (мать Нины)

Да, да, не ровен час.
Покойник мой был свеж; однажды рано
Пришел домой, весь бледен, как сметана.
Стал охать, слег. Я к доктору. Тотчас
Пустили кровь. Три доктора собрались —
И все лечить бедняжку отказались.
Как стукнет час, так не уйдет никто.

Нина

Ах, маменька, да это ведь не то.

Сьора Тета

Ну как не то? Вот поживи на свете...
Но, впрочем, вы себе толкуйте, дети,
Мне некогда, и к делу своему
Пора.

Нина

Скажите мне: я вас пойму!
У вас, синьор, душевные страданья?

Владимир

Как вам назвать их? Нету им названья!
Душевной пустотой? Нет. Иногда
Душа полна восторга, и в волненье
Ее приводит доблесть, вдохновенье
И образ гениального труда...
Иль сном ума? Нет, он не спит и шумно
Работает, и любит он труды;
Он труженик: как рудокоп безумный,
Всё роется и ищет он руды;
Но до нее не может он дорыться,
И подрывает только то, что в нем
Святейшего, небесного таится.

Нина

Любили ль вы? Любимым существом
Вы были ль поняты?

Владимир

Да, *жизни розы,*
Как говорят поэты, знал и я, —

И терн ее я знаю. Жизнь моя —
Увы! — полна поэзии и прозы
Двух страшных слов: любил и разлюбил!
Я многое достойно оценил!
Была пора: все жребии земные,
Казалось, я в руках своих держал;
Для общества людей я посвящал
Все чувства лучшие, мечты святые,
На благо им, я думал, я рожден —
И мог бы быть... Смешной и глупый сон!
С горячей головой, горячей кровью,
В душе к добру, к прекрасному с любовью,
Принесть я думал на алтарь любви
Свой труд и славу, все мечты свои...
Гражданской доблестью кипел я рано...
Ах, бросим это, бросим! Это рана
Болящая, и женщине нельзя
Ее понять... В груди ее нося,
Я дорожу ей: то знаменованье,
Что я рожден был жить для лучших дней, —
То лучших чувств последнее дыханье!
Обманутый, весь пыл моих страстей,
Всё, что ценил, я назвал пустяками;
Во всем тогда вдруг усомнился я,
Что так срослось с моей душой, с мечтами.
Я колебался. Адская змея
Как будто облила мне душу ядом.
Бесился я, слепцом себя я звал...
Потом и сомневаться перестал,
И равнодушия был облит хладом:
И зло теперь меня не удивит,
Добро не поразит, не оживит, —
Что ж мне осталось в жизни?

Нина

Без сомненья,
У вас враги есть?

Владимир

Нет их, к сожаленью!
Или, когда хотите, сам себе

Я враг. Зачем я раньше пламень чувства
Не утушил, покорствуя судьбе?
Не изучил бесстрастия искусство?
Зачем я пылкий ум не заморил
В бездействии? Тогда б, как камень вечный,
Как статуя, я прожил бы беспечно;
И под конец, конечно бы, вкусил,
Всем прихотям судьбы своей покорный,
Нелепое блаженство жизни вздорной.
Не понимать, не видеть, не слыхать,
Безумно лучшей цели не искать,
Не чувствовать — мне было бы отрадой,
И вечный мир за то б мне был наградой!
А то теперь все прежние мечты,
Все высшие души моей начала —
Всё злобный образ демона приял!
И демон этот следует за мной:
Он с красоты срывает покрывало,
Он между мною и трудом моим,
Меж мной и другом лучшим, между мною
И женщиной — скелетом гробовым
Становится... Насмешливостью взоров
Спасает ли меня в грядущем он
От новых бед, мучений и укоров —
Не знаю, но им век мой отравлен.

Нина

О боже, боже! Вы мечтатель страстный!
Страдаете вы только потому,
Что вы одни, а волю дать уму,
Живя в пустыне, тяжко и опасно.
Быть может, жизнь веселая недуг
Излечит ваш иль дружба... Верный друг
Есть лучшая опора нам в страданьи...
Любовь... Она должна вам посвятить
Всё: жизнь свою, мечты, существованье...
И вы ее найдете, может быть...

И бедная, закрыв лицо руками,
Вдруг залилась горячими слезами.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Вы спросите, пред девочкой простой
Владимир для чего так откровенно
Всё высказал, что было за душой?
То был ли в нем или порыв мгновенный,
Иль хорошо рассчитанный удар?
Хотел ли повторить он с сердцем Нины
Урок, давно затверженный в гостиной,
И этот вздох, и этот чувства жар,
И горечь жизни трудной и бесцельной.—
Ужели всё фальшиво и поддельно?..
Да, трудно дать на то прямой ответ, —
Как вам сказать... И да и нет.

2

Владимир был воспитан в школе света.
Он знал любовь — и только раз любил,
Как любим все мы в молодые лета;
Потом слегка любовию шутил...
Он раз любил: все, думал, совершенства
Заключены в избраннице его;
Потом он понял (и прости блаженство!),
Что он любил себя лишь самого:
Что в ней, как солнце в море, отражались
Лучи его мечтаний молодых,
Что видел в ней всё, что в мечтах своих
Хотел он видеть... Но мечты умчались:
Он увидал, как, сбросив маски с лиц,
Избранницы его преображались
В боярынь из мечтательных девиц,
В Настасии Лукьяновны из Насти...
Не умерев, однако ж, от тоски,
Он посмотрел на жизнь, на сердце, страсти
Анализа в холодные очки.

3

Как согласить все эти переходы
Из нежных дев в боярынь — он не знал,
И бледностью полунощной природы
Он бледность лиц и душ нх объяснял;
Он овладел заманчивым искусством
Играть, шутить н управлять их чувством;
И даже иногда был так счастлив,
Что пробуждал к высокому порыв
У наших дам — сих жриц роскошной лени,
Что, погрузясь диваиа в мягкий пух,
Покоятся, как жены ханской сени,
Откуда Гименей, как злой евнух,
Прогнал и муз, и бога песнопений...
Но с тем прости пора волшебных снов,
И в душу пустота легла невольно:
Что таинство для черни богомольной —
Не таинство для опытных жрецов.

4

Так наш герой из этой светской школы
Извлек урок печальный и тяжелый.
Он в главный догмат кодекса любви
(Любви девиц и мальчиков) не верил:
На бытие двух душ *родных* свои
Не полагал надежды; чувство мерил
Не целой вечностью, но он ценил
Минутное, быть может, увлеченье
И, к горю дев, давно им говорил:
Вернее вечности одно мгновенье.

5

А здесь, теперь? Один в самом себе
Свидетель внутренней глубокой драмы,
Один и зритель и атлет в борьбе
Высоких чувств души с судьбой упрямой, —
Невольно он пред первым, кто спросил
С участием: «О друг мой, что с тобою?» —

Что было в нем, доверчиво излил
И летопись печальную раскрыл
Пред чистою, невинною душою...

6

Раз встретил он мать Нины. Смущена,
Как полоумная была она.
«Что ваша Нина?» — «Нина? Две недели,
Как всё больна и не встает с постели:
Горячка страшная... Я день-деньской
Всё на ногах... За что, за грех какой,
О господи, нас посетил слезами!
К себе пускает лишь одну меня.
Карлино не видал ее три дня.
Она зовет вас, бредит только вами,
Придите к нам».

Владимир

Как мне?.. Нет, мне нельзя.
Мое явленье может быть опасно —
Я испугать ее могу. Напрасно
Боитесь вы. Пройдет, уверен я,
Ее болезнь. Горячки в эти лета
Бояться нечего. Притом пора,
Мне ехать надо нынче в ночь, до света,
Прощайте, я уеду до утра.

Сьора Тета

Как ехать? Что вы? Что вам торопиться?
У вас квартира на год ведь. Что ж так?
Куда?

Владимир

Еще не знаю.

Сьора Тета

С ней проститься
Вы не хотите?

Владимир

Не могу никак.

7

Он понял всё... Что делать? Надо
Бежать, бежать от новых тяжких зол
И, может быть, от счастья и отрады...
Кто знает, для него, быть может, цвел
В сени олив и лавров фраскатанских
Сей горный цвет на камнях тускуланских,
Затем, быть может, *высшая рука*
Его вела чрез Альпы снеговые,
В сей пышный край звала издалека
И дни ему сулила золотые, —
Так наш Владимир думал и мечтал,
Готов был верить и захохотал.

9

Да, дело есть мешаться в сплетни наши
Началу всех начал и нисходить
С высот небес во область щей и каши?
Карлино, Нина, дай вам бог вкусить
Все радости от счастия земного,
Дай бог плодиться вам и долго жить
По разуму евангельского слова.
О, женщинам удел завидный дан —
В несчастии — покорность и терпенье!

10

И выдвинул он пыльный чемодан,
Сложил свои невинные творенья —
Бумаги, где описывал он Рим,
Десяток книг, пейзажи и портреты,
Все древности, отысканные им,
И зарядил в дорогу пистолеты.
«В путь, в путь, друзья мои! В краю ином
По-прежнему мы с вами заживем!
В России мирно лежа на лежанке,
Не в первый раз нам чувство подавлять,
Утешимся, а там начнем писать
Еще стихи к прелестной фраскатанке!
Конечно, их, по счастью, не прочтут...

Но все меня поэтом назовут, —
Поэтом быть — великая отрада!
Все думают: иначе он рожден,
Иначе чувствует и мыслит он...
О жизнь, о жизнь! Ты дар небес иль ада?

11

Я еду. Долг и честь мне так велят.
Но отчего, на *подвиг благородный*
Решившися, ни грустен я, ни рад
Особенно? С решимостью холодной
Мне всё равно идти, что в смертный бой,
Что за обед. . . . .
Плод это сплина или воспитанья?

12

Да, Нину испугала пустота
Моей души. Душа без упованья,
Без пламенных стремлений и мечтанья!
История ж ее или проста,
Как хроника монаха-грамотея,
Иль полная, живая эпопея.
Всё дело в том лишь, как ее понять.
Есть случаи, и их ни рассказать,
Ни описать, — а сколько в них значенья,
Дум сладостных, для сердца вдохновенья!
Хоть наша встреча... Как тут описать?
С Наташей... Странная еще отрада
Мне в имени ее и до сих пор.
Казалось нам — и с первого уж взгляда, —
Что дружны мы давно, и разговор
Наш был как бы друзей давнишних, взор
Досказывал неконченные речи, —
А тот восторг, а те полуслова,
Пожатье рук, условленные встречи!..
А этот вздор, которым голова
Моя тогда пылала! Жажда славы!
Как всюду я кидался на лукавый
Ее привет... Всё улыбалось мне;

Науки были ясны так, как слепы
Ученые и книги их нелепы;
Как подорвать, я думал в тишине,
Весь хлам систем их... Но, наскучив ими,
Я бросил их, назвавши их смешными.

Мне действовать хотелось! А у нас
Как действовать? Чужою быть машиной?
Ума и совести и чести не спросясь,
Как вол, ломися лбом. Зачем? Причины
Не знай — и ты отличный гражданин,
Здесь — малый царь, а там — холопий сын.
Слиянье власти с рабством!.. Утопист,
Осуществить я жаждал указанья
Разумных прав и светлого познанья —
Прослыл я как разбойник, дуэлист!
Я думал, что в воинственном разгуле
Есть больше жизни! Браво! На Кавказ!
Вот факт простой: случалося не раз,
В каком-нибудь разграбленном ауле,
В ущелии стоишь на карауле.
Где больше прозы? А как заглянуть
Тогда мне в душу, в сердце, в грудь —
Какая там поэма клокотала!
Какая рама ей была!.. Потом
Всё просто: я спешил в любнмый дом —
Увы! — кумир мой замужем. Сначала
Не верил я, а там поверил. С ней
Мы виделись — о прошлом ни полслова,
Как будто всё в порядке шло вещей.
Упрека и отчаянья смешного
Не обнаружил я и, как Катон,
Всё перенес... А сколько есть Катонов?
Что ж это? Плод общественных законов?
Кто не таков, тот нынче и смешон...
Сократы века! Яд мы пьем послушно,
Не жалуясь, что смертоносен он, —
Живьем себя хороним равнодушно!»

Так он сидел, добыча тяжких мук,
Свеча горела тускло у камина;
Стихали вкруг соседи к ночи. Вдруг
Открылась дверь, в дверях явилась Нина.
Она была вся в белом. По плечам
Вилась коса. Порыв души смятенной
И сумрак придали ее очам
Чудесный блеск. Не девою смиренной,
Она была Сибиллой вдохновенной,
Внимающей божественным речам...
Огонь любви, огонь негодованья
Прекрасные черты одушевлял;
Румянец с бледностью в лице играл,
Вздымало грудь неровное дыханье.

Владимир

Как! Нина, здесь? Так поздно...

Нина

О, ты мой!
Ты здесь еще! .. Нет, то обман, я знала.
Ведь ты не думал, не хотел меня
Убить... Их шутка! .. А как я страдала
От этой шутки!

Владимир

Бедное дитя!
Что, что с тобою?.. Нина, успокойся,
Ты так встревожена.

Нина

О нет, не бойся!

Владимир

Ты плачешь?..

Нина

Нет, теперь уж я смеюсь —
Ведь я с тобой. Пускай придет мир целый,

Я вкруг тебя руками обовьюсь,
Как змей... Я буду биться львицей смелой
И не отдам тебя.

Владимир

Скажи ж, чего
Боялась ты?

Нина

Ты едешь?

Владимир

До того
Кому нужда?

Нина

Ты едешь?

Владимир

Да... и скоро.

Нина

О, есть ли сердце у тебя? Гляди
В глаза мне прямо. Что в моей груди?
Прочти, что в ней?. .Ты понял? Приговора
Судьбы ты не прочел в ней?.. Так иди,
Прочь, камень северный, палач жестокий...
Прочь! По свету скитайся одинокий!
Но... милый друг, клянись мне навсегда...

Владимир

Мой ангел, успокойся.

Нина

Я тверда,
Я в памяти. Не глупый бред простуды
Мои слова... Послушай, я клялась...
Мне сердце — бог; я сердцу отдалась.
Через мой труп ты выйдешь лишь отсюда.

Одно лишь слово — и решилась я.
Скажи мне прямо: любишь ли меня?

И взор, сверкавший некой дивной силой,
Она в него безумно устремила.

Он был в борьбе с собой.

Нина

Не любишь, нет?
Знай, где б ты ни был, я пройду весь свет.
Я отыщу... отмщу... Сам бог порука!

Владимир

Меня ты знаешь, Нина. Жизнь мне мука.
Тебя обречь той муке — нету сил
Во мне. Быть может, я б тебя любил
Последнею любовию моею,
Любил бы так, как, может быть, никто.
В моей душе ведь только заперто,
А не погасло чувство, — но не смею
Души твоей я отравить собой.

Нина

Не думай обо мне. Здесь жребий мой —
Любовь. Любовь не есть расчет презренный
О благах жизни, а закон священный.
Где голос сердца — голос божий в нем!
Нельзя любить и разлюбить потом...
В последний раз тебе, быть может, ныне
Твой жребий ясен. Друг мой, выбирай:
Его отвергнуть хочешь ли? Но знай,
Отказ твой — смерть твоей несчастной Нине.
Я смерть найду.

Владимир

Но, Нина, погляди,
Чего ты хочешь? Ко всему презренье
Питаю я; но у меня в груди
К невинности осталось уваженье.
Тебя поймать в расставленную сеть
Легко; упиться ласками твоими,

И после к ним остыть, охолодеть,
И после бросить...

Нина

О, клянусь святыми,
Я поняла огонь твоей души
И благородство чувств.

Владимир

Итак, реши,
Мой ангел.

Нина

Я тверда.

Владимир

Семью родную,
Старушку мать и родину святую
Оставить ты должна.

Нина

Всё знаю я.

Владимир

Оставить край, где всё — сады, поля
Блистают розами, где небо пышет
Лазурью жаркой, звезды так горят,
Где с детства всё лелеяло твой взгляд,
И променять всё то на край, где дышит
Почти весь год и вьюга и мороз,
В нагих полях ни миртов нет, ни роз,
И люди ходят — мехом обвитые!

Нина

Я знаю всё.

Владимир

Оставить круг друзей
И променять их... на каких людей?
Ты знаешь ли, что значит свет? Какие
Там существа? Ты с ними век живешь,
И каковы они — не назовешь.

В них скрыто маской чувство и природа,
И даже сердца скована свобода!
Как ты войдешь, от головы до пят
Тебя измерит их холодный взгляд;
Пустой привет их речи — шип змеиный;
Их пустоту под пышною личиной
Ты в силах снесть?

Нина

На всё готова я,
На всё, на всё! В тот миг, когда тебя
Я встретила, тогда лишь я узнала,
Что у меня в груди есть сердце. Ты
Его извлек из сна и темноты,
И с той поры мне жизнь понятна стала,
Ты вкруг меня разлил чудесный свет...
Нет, я Карлино ие любила... нет!

И, как звезда вечерняя, склонила
Она головку ко груди его,
И повторяла, глядя на него:
«О нет, нет, я Карлино не любила...»

Карлино
(входит)

А он тебя, преступница, любил,
Неблагодарная, любил душою!..

Нииа

Он здесь, о боже!

Карлино

Здесь и слышал всё.

Нииа

Ты слышал?.. Что ж, ты следуешь за мною?

Карлино

Ты думаешь, что счастие свое
Продам такой я низкою ценою?

(Вынимает нож.)

Молись, в последний раз молись! Змея!

Н и н а

Владимир... Боже! Он убьет меня...

Владимир берет кинжал. Нина бросается между ними.

Н и н а

(Владимиру)

Оставь его: он зверь! он зверь!.. Карлино!
От детства знала друга я в тебе —
Молю я, выслушай!.. Моей мольбе
Отказа ты не знал... Я та же Нина...

К а р л и н о

Та ж Нина!.. Мной пригретый змей...
Та Нина! Та, кого от детских дней
Лелеял я, как мать лелеет сына,
Иль более — ведь так не может мать,
Как я тебя, любить и обожать...
И что ж? С другим целуясь, всё забыла,
Клянется, что меня и не любила!..

(Владимиру.)

Оставь ее, оставь: она моя!

В л а д н м и р

Бой с женщиной... постыден бой неровный...
Стыдися! За нее отвечу я!
Условимся спокойно, хладнокровно.
Сойдемся за горой с рассветом дня.
Судья нам будет бог.

К а р л и н о

Изволь, с тобою
Сойдемся завтра... нынче с ней расчет.

Н и н а

Не верь ему, Владимир, он убьет,
Обманет!

К а р л и н о

Замолчи!..

(Убивает ее.)

Знай, я любить умел — умею мстить!..
Людей пустых угроз я не робею,

Я жил с людьми: был добр, умел любить,
И наругаться ими я сумею!

Нина

Беги! .. Ему, о друг мой, не вверяйся,
Знай, знай, Карлино, я его люблю.

Владимир

О Нина...

Нина

Друг... увидимся... спасайся...

Владимир

Убийца низкий! Я отмщу, злодей!

Карлино

Увидим!

(Кидается к окну.)

Эй! На помощь! Помогите!
Разбой, разбой! Преступник здесь! Вяжите!

Вбегает народ.

Вот он: давно за Ниною моей
Ухаживал и сети ставил ей.
Он заманил ее: угрозой, лестью
Он обольстить, злодей, ее хотел.
В слезах она противилась бесчестью,
Кричала. Я на вопль ее поспел.
Вломился в дверь. Он, яростью кипящий,
Ее зарезал! .. Нина, ангел мой!!
То ль было нам обещано судьбой?

Владимир

Он лжет, он лжет...

Народ

— Она как ангел спящий!
— Ужели он убил?
— Он был всегда
Так добр.
— Да, добр; всегда похож на волка.

Я говорил, не будет никогда
От этих выходцев пути и толка.
— Ах он злодей!
— Карлино бедный! Жаль
Его: они друг друга так любили!
— А мать чего смотрела? Были
Советы ей.
— Ее убьет печаль.
— Да, с полчаса тому, как забегала
Она ко мне и дочери искала.
— И к нам!
— И к нам!
— Я только что ложусь,
Карлино в дверь: ведь испугал, божусь!

Сьора Тета

Где, где она?.. Дитя мое родное!
Дитя мое!.. Проснися, золотое!
Откликнись! Что я сделала тебе?
Нинета! Или ты меня не знаешь?..
За что, о боже, ты меня караешь?..
К такой ли я готовила судьбе
Тебя, мой ангел... О бесчеловечный,
Я изорву тебя... Я кровь твою
Испью... Или убей меня, молю,
Я буду с ней, с моею Ниной, вечно!

Карабинеры

Прибрать старуху. Тело унести.

Народ

Да, бедной ей пришлось теперь плести
На дочкин гроб гирлянды подвенечны.

Карабинеры

Преступника, свидетеля свести
В тюрьму. Карлино! Где он? Где он? Скрылся!

Народ

Чтоб с горя он на жизнь не покусился...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Идут года... С Адама мы твердим
Единодушно эту правду злую.
Оставимте Италию святую,
Оставимте Фраскати, пышный Рим,
На нашу Русь заглянемте родную.
Я думаю, уж я наскучил вам,
Твердя одно: «Италия святая!»
Но ведь она не вовсе нам чужая,
Дары ее завещаны и нам,
И нам ее отворены чертоги,
И мы званы священствовать во храм,
Где царствуют досель, назло векам,
Из мрамора изваянные боги;
Где властвует над нежною душой
И красоты и славы мощный гений;
Где в золоте и в бронзе вековой
Повсюду мысль протекших поколений
Записана их творческой рукой...
Вкруг этих черт бродящие народы,
Читая их, вы поняли ль ее?
В себе, в себе узнали ль бытие
Иной, святой, возвышенной природы
И чувств иных биение в груди?
Не поняли? Так бог уж вас суди!

2

Итак, прости, прости на годы многи!
Быть может, я под мирт твой вновь приду,
Но тот же ль буду? Те же ли найду
Здесь сердца сны, восторги и тревоги?
Иль постепенно север заморит
То, что меня теперь животворит...
Прощай, руин зеленый плющ и розы,
И ты, царица спящих сих долин,
Грусть думная, восторженные слезы...
Пойму ль когда опять язык руин?
Отвечу ль им высокими страстями?..

Прощай, о говор вечно шумных струй,
И ты, смуглянка с яркими очами,
И жаркий наш под миртом поцелуй...
О, трудно мне последнее прощанье,
Италия, в слезах тебе сказать,
Как тяжело, о милое созданье,
О ангел мой, в последнее лобзанье
От уст твоих уста мне оторвать.

3

Прислушайтесь... звучат иные звуки...
Унынье и отчаянный разгул.
Разбойник ли там песню затянул
Иль дева плачет в грустный час разлуки?
Нет, то идут с работы косари...
Кто ж песнь сложил им? Как кто? Посмотри
Кругом: леса, саратовские степи,
Нужда, да грусть, да думушка, да цепи.

4

Пойдем на звук волынки полевой.
Как вечер тих! В росе фиалка дышит,
И свищет соловей в глуши лесной,
И долго в ночь заря на небе пышет.
Вот барский дом на хо́лме. Вкруг стоят
Пушистые березы вековые,
Ряды теплиц, а под горою сад
И пруд, а там избушки тесовые
По берегу излучистой реки.

5

Вот на гору поднялись мужички,
Всё с песнями; но только увидали
Господский дом, примолкли, шапки сняли;
Приказчик к барину пошел один,
Чтоб доложить, как много десятин
Распахано, и скошено, и сжато.

6

Кто ж барин-то?.. Узна́ете ль его,
Читатели?.. Рассказа моего
Он был герой в Италии богатой.
Да полно, он ли? Как он потолстел
(Что значит ведь у нас — похорошел),
Румян, здоров, глаза как масленисты,
И праздничный какой имеет вид!..
Что ж? Дай господь! В деревне аппетит,
Движенье, сон, хозяйство, воздух чистый...

7

Владимир! Здравствуй! Как-то ты живешь?
Рисуешь, пишешь, классиков читаешь?
Остришь над всем? Влюблен? Успешно?..
Что ж?
О, милый мой, как громко ты зеваешь!..
Посмотримте, как он проводит день.

8

Он, возвратясь давно из-за границы,
И не заехал в русские столицы,
А в глушь своих забился деревень.
Выписывал газеты и журналы,
Сперва читал их все, а после мало,
И наконец читать их перестал.
Он «Quotidienne» и «Siècle»[1] получал,
И прочие различного объема,
Различные умом и остротой,
И, наконец, «Diario di Roma»[2]
С его кузиной «Северной Пчелой».

9

Раз дождик шел. Как кровлею тяжелой,
Всё небо тучею обложено.
Туман сокрыл и холмики и долы;
И грязь, и сыро, скучно и темно.
Владимир поздно встал, пил чай душистый;
Кольцом пускал из трубки дым волнистый;

---

[1] «Ежедневная газета», «Век» (франц.). — *Ред.*
[2] «Римский дневник» (итал.). — *Ред.*

Насвистывал затверженны давно,
В Италии еще, два-три мотива —
«Fra poco» из Лучии, «Casta diva»[1]
Из Нормы — и, свистя, смотрел в окно
Иль в комнате ходил диагонально.
Остановясь перед окном, в стекло
Стал барабанить. «О, климáт печальный!
Какая грусть! Ни выйти на село,
Ни на гумно! Чай, озимь пострадает...
Поехать на охоту?.. Да хромает
Пегас. К тому ж, я что-то тяжело
И неспокойно ночью спал сегодня,
Дай загляну в какой-нибудь журнал».
Он кипу целую журналов взял,
Случайно вынул нумер прошлогодний
Diario di Roma и читал:
«Богоотступник и злодей Карлино,
Оставивши Абруцци, между скал
Разбил свой стан, под самой Палестриной.
Известный лорд *** тут проезжал
В Неаполь и, с семейством и женою,
Зарезан был разбойничьей толпою.
Меж жителей распространился страх;
Правительство усиливает меры:
Отправлены туда карабинеры,
Учреждены конвои на путях».
«Карлино?.. Уж не он ли тот Карлино,
Которого знавал я?.. Может быть».
Он далее читал:
«Но изловить
Не могут шайки, и от Палестрины
Уже к Дженсано перешел злодей.
Намедни шли в Альбано капуцины
И девушка. Презренный изверг сей
Заставил их плясать, а сам с своей...»

Но, на беду, вошел на месте этом
Павлушка в дверь (смотритель за буфетом),

Ужасно хочется мне в мой рассказ
Всего два слова лишние прибавить

[1] «Скоро», «Пречистая дева» (итал.). — *Ред.*

Насчет Павлушки, чтоб, шутя, для вас
Всю биографию его представить.
Он барином еще покойным, стариком,
Был взят во двор господский казачком,
Одет был в казакин и панталоны
Широкие, а на груди патроны.
Доныне казакина своего
Он не лишил нашивки сей. Его
Павлушкой звали девушки-вострушки,
И до седин остался он Павлушкой.
Вот всё.

П а в л у ш к а

Обед готов-с.

В л а д и м и р

Что, суп иль щи?

П а в л у ш к а

Вы приказали щи.

В л а д и м и р

Еще что будет?

П а в л у ш к а

Жаркое дичь; с подливкою лещи...

В л а д и м и р

Скажи-ка повару, не то забудет,
Чтоб он в подливку луку покрошил.
Пойти обедать.

За обедом.

П а в л у ш к а

Утром приходил
Петрушка Чáйковский.

В л а д и м и р

Ну, что ж?

П а в л у ш к а

Ишь, барин
Его просил откушать вас. Татарин
И Лыков будут.

Владимир

Что ж мне до сих пор
Не доложил?

Павлушка

Он был часу в десятом,
Вы почивать изволили. Да в двор
Еще наехал было Ласлов с братом,
Я отказал.

Владимир

Что ж это? За меня
Распоряжаться стали вы?

Павлушка

Да я
Подумал так, что будет неугодно
Вам их принять.

Владимир

Я мог бы отказать
И сам. Какой вы все народ негодный!
Мне всё вперед докладывать, сказать.
Ты слышишь?

Павлушка

Слушаю. Еще в то ж время
Приказчик был и приносил вам семя
Какое-то, прислали в образец.

Владимир

Зайдет пусть после. Рябчик пережарен.

Обед свой жирный кончив наконец,
Отправился всхрапнуть часок наш барин;
Проснувшись, стал пить чай и взял
Доканчивать начатый им журнал.
«Посмотрим, как плясали капуцины
Под дудочку несчастного Карлино;
А девушка?»
«Презренный изверг сей
Заставил их плясать, а сам с своей
Богопротивной шайкой любовался,

И после распял, как уж наругался
(На небесах награда будет им:
Их церковь сопричислила к святым).
А девушка, обняв его колени,
Молила умертвить ее скорей,
Но не внимал свирепый изверг ей,
Не тронули его мольбы и пени...
И обнял он ее и целовал,
И у себя три дня ее держал.
Меж тем, такой же страстию пылая,
Озлобленны товарищи его
Предать вождя решились своего
(Их вразумила дева пресвятая,
Заступница людей перед творцом).
К Неттуно перешел своим он станом.
Проснувшись утром, поглядел кругом
И видит — он один, пред атаманом
Исчез его разбойничий народ,
Наместо их карабинеров взвод.
Он взят; сидит в Сант-Анджело, и скоро,
По составленьи формы приговора,
Близ храма Весты будет он казнен.
На исповедь идти не хочет он».
«Карлино! Мы с ним встретились однажды.
Был в жизни нам один урок, но каждый
По-своему его растолковал.
Несчастный! Помню, он всегда бывал
Так скромен, тих, в мечтаньях благороден...
Я помню... Но я разве с ним не сходен?
Обманут был он жизнью так, как я;
Мы оба стали те же мизантропы, —
Над ним гремят проклятия Европы,
А я слыву как честный человек...
Да чем же лучше я? О, жизнь! О, век!
Павлушка! Эй! Приказчику Ивану
Скажи, доклад я принимать не стану.
За ужином я гуся буду есть
Да сыр. В еде спасенье только есть!»

16(28) декабря 1843, 1844
Париж, Петербург

388. МАШЕНЬКА

Куда как надоел элегий современных
Плаксивый тон; то ль дело иногда
Послушать старичков-рассказчиков почтенных
Про молодости их удалые года, —
Невольно веришь им, когда, почти с слезою,
Они, смотря на нас, качая головою,
Насмешливо твердят: «То ль было в старину!»

Теперь из их времен я свой рассказ начну.
Хоть он в моих устах теряет сто процентов;
Хоть ныне далеки мы от блаженных дней,
Дней буйных праздников, гусарских кутежей,
Уездных Ариадн, языковских студентов;
Хоть этих лиц теперь почти уж боле нет;
Хотя у нас теперь иные люди, нравы, —
Но всё еще поймем мы были прошлых лет
И дедов старые проказы и забавы.

ЧАСТЬ 1

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Жил на Песках один чиновник. Звали
Его Василий Тихоныч Крупа.
Жил тихо он. В дому лишь принимали
По праздникам с святой водой попа;
А братии своей мелкочиновной
Он никогда почти не приглашал,

Хоть знали все, что службой безгреховной
Он тысячу рублишек получал,
Да дом имел, дочь в пансионе даром,
Так «скуп старик» — все говорили с жаром.

2

Когда бы вы увидели его,
Вы, чуждые чиновничьего мира,
«Чудак, чудак!» — сказали б про него;
И воротник высокий вицмундира,
И на локтях истертое сукно,
Уста без жизни, волосы клочками,
Глаза тупые с бледными зрачками, —
Да, точно б вы сказали: «В нем давно
Всё человечество умерщвлено».

3

Он двигался, как ма́шина немая;
Как автомат, писал, писал, писал...
И что писал — почти не понимал;
На благо ли отеческого края,
Иль приговор он смертиый объявлял —
Он только буквы выводил... Порою
Лишь подходил к соседу стороною,
Не для того, чтобы прогнать тоску
Иль сплин, а так... понюхать табачку.

4

Над ним острился молодой иарод:
«Чай, в сундуках у вас есть капиталец,
А ведь, злодей, к себе не позовет.
— Что деньги вам: ведь вы один, как палец.
— Куда-те! Говорят, что дочка есть.
Скажите! Что, на вас она похожа?
— Ну, если так, вам иебольшая честь.
— И у нее шафрановая кожа?»
Старик молчит или, поднявши глаз,
Из-за пера шепнет: «Получше вас».

5

Так жизнь его ползла себе в тиши,
Без радости и без тоски-злодейки. . .
Ни разу не смущал его души
Ни преферанс задорный по копейке,
Ни с самоваром за город пикник.
Но вдруг все в нем заметили движенье,
Стал о погоде говорить старик
И цену спрашивал французских книг;
Видали, он на Невском, в дождь, в волненьи,
Глядел в окно у магазина мод —
«Ишь, старый черт! .. Кого-нибудь да ждет».

6

Однажды встал он рано; задыхаясь,
Всю ночь почти он глаза не смежил.
Вздел туфли и открыл окно. Он был
Тревожим чем-то, так что, одеваясь,
Наместо колпака чуть не надел
Чулок. Был праздник; день светился яркий;
Кругом далеко благовест гудел;
Тут в берегах тесьмой канал блестел:
В кружок теснясь, за миской щей на барке
За полдником сидели бурлаки...
Какое утро с свежестью и жаром!
Земля как будто дышит ранним паром,
А небеса так сини, глубоки!

7

Василий Тихоныч открыл окошко
Другое, в сад, — и ветерок с кустов,
Как мальчик милый, но шалун немножко,
Его тихонько ждавший меж цветов,
Пахнул в лицо ему, в покой прорвался,
Сор по полу и легкий пух погнал,
На столике в бумагах пошептал
И в комнате соседней потерялся.
Василий Тихоныч глядел кругом
На зелень, на сирень, большим кустом
Разросшуюся там, — и улыбался.

8

Единственной забавою всегда
И собеседником его, и другом
Был чижик. С ним одним между досугом
Он разговаривал, и иногда
Не только о вещах обыкновенных,
Но даже о предметах отвлеченных.
Почувствовав прохладный ветерок,
Чиж стал скакать по клетке и забился;
Вдруг сел, чирикать начал и залился
Потом так громко, чисто, как звонок.
Василий Тихоныч, ему с улыбкой
Грозя, речь начал: «Что, куда так шибко?
Что, Шурочка, распелся так куда?
Что весел так? Иль знаешь разве?.. А?

9

А кто сказал тебе? Подслушал, верно,
Как говорил вчера Анютке я?
Подслушать тоже любишь?.. Я тебя!
Мошенник! Наказать его примерно!
Сейчас скажу директору!.. Смотри!
Ну, что ты слышал, Шурка? Повтори!
Что?.. Машенька к нам будет?.. Знаешь Машу?
Не знаешь? То-то ты и спал всю ночь.
Полюбишь ли ее, голубку нашу?
Смотри же — полюби: она мне дочь.

10

Она тебя за то полюбит тоже...
Ну, а как нет? А как начнет скучать,
И станет плакать и худеть, вздыхать?
Не пережить мне этого... Эх, боже!
В три месяца, чай, к роскоши она
Привыкла у княгини... Ведь не шутка —
Балы, театр... А здесь?.. Не сметена
Ведь даже пыль... Что ж дрыхнешь ты, Анютка!
Да подмети, да пыль сотри. Ишь, сад
Зарос совсем. Дай заступ поскорее, —

Куртинки пообрежу... да в аллее
Проклятый подорожник вон... а с гряд
Крапиву... Ах, мой бог, какая гадость!
Что, старый хрыч, о чем же думал ты?
Щавель, крапива — славные цветы!
Вот хорошо готовил дочке радость!»

11

Он принялся копать, возил песок,
Полол и рыл, как записной садовник.
Ну, глядя на него, никто б не мог
Подумать, что он классный был чиновник...
Уж полдень был. Затихнул ветерок;
Недвижные листы к земле склонились;
Железо крыш и камни накалились;
На улицах всё пусто; тишь кругом;
Один мужик на барке да собака
На солнце спали; голубн рядком
Под крышею, под слуховым окном,
Уселися, ища прохлады мрака.

12

Василий Тихоныч, кряхтя, отвез
Последний сор. «Ну, эдак будет лихо!»
Сел на скамью под ветвями берез,
Отер свой лоб и любовался тихо,
Как мак, нарцисс пестрели между роз.
«Ну, лихо будет! .. Уф, как жарко, душно!
Умаялся». Совсем не думал он,
Чем за свой труд он будет награжден:
Лишь не было б здесь только Маше скучно.
«Ну, дождался, голубушка, тебя!
Целковики копил недаром я!
Вот поживем годок-другой, а там уж
Как раз пристроимся и выйдем замуж!
Ух! Набежит пострелов! Кликни клич —
Лука Лукич, да что Лука Лукич!
Столоначальники... мое почтенье!
Бей выше... сам начальник отделенья! ..

Анютка, выйдь-ка в переулок, — что?
Не видно ль там... не едет там никто?
Гляди, гляди, послушай-ка, что это?»
— «Да ничего не видно...» — «Врешь, карета...
Как ничего? Гляди... Я слышу стук».
— «Да кабы стук, так слышно б... (Старый
бредит!)»
— «Анютка! .. Эй, беги, подай сюртук,
Да что ж стоишь ты, дура?.. Едет, едет!»

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Василий Тихоныч не мог довольно
Налюбоваться дочкою своей.
Заботливо показывал он ей
Сад, комнаты и, трепеща невольно,
Смотрел, как ей понравится? «Вот тут
Гостиная... У нас пойдут балишки.
Ух! гости то иаедут, набегут;
Постарше кто — посадим за картишки...
В саду — фонарики со всех сторон.
А здесь, смотри, какой у нас балкон, —
По вечерам мы будем на балконе
Пить чай».
— «Ах, да! Я буду вам читать
Всю ночь, всю ночь! Я так люблю не спать!
Как весело! Не то что в пансионе —
Там в десять уж извольте почивать!»

2

«Какая ты хорошенькая, Маша! —
Любуясь ею, говорил папаша. —
Да поцелуй меня еще, дружок...
Эх, нет покойницы Настасьи
Ананьевны! Знать, не судил ей бог,
Как мне, дожить до этакого счастья! ..»
Старик отер слезу, и из очей
У Машеньки блеснули слезки тоже.

«Эх, старый я дурак! Ну! царство ей
Небесное! Ты мне всего дороже!
Не плачь, дружок, развеселись скорей».

3

Как описать вам Машу беспристрастно?
В ее чертах особенности нет,
Хотя черты так тонки и прекрасны,
Замаичив щек прозрачный, смуглый цвет,
Коса густая, взор живой и ясный. . .
Но не люблю я дев ее поры:
Они — алмаз без грани, без игры;
И я, смотря на деву молодую,
Прекрасную, как мраморный антик,
Твержу — ах, если б жизни луч проник
И осветил чудесную статую!

4

Действительность, где страждет нищета,
Где сдавлен ум ярмом порабощенья,
Где ищет дух отрады в усыпленьи,
Где чувство сдавлено, где жизнь пуста,
Вся в кукольной комедии приличий;
Где человек — манкен, где бог — обычай, —
Была для Маши пламенной чужда
И называлась *прозою презренной.*
В ней разум спал; зато ее мечта
Работала, как зодчий вдохновенный:
Фантазия без образов, без лиц,
Как дивное предчувствие чего-то,
Творила мир без цели, без границ,
Блестевший яркой, ложной позолотой.
То гением хотелось ей парить
И человечеству благотворить:
Одним движеньем палочки волшебной
Пролить покой и силою целебной
Больные раны излечать; то в глушь
Уйти, меж гор и бездн; жить в гроте диком
С одним созданьем избранным, великим
И утопать в гармонии двух душ. . .

5

Для старика не много измененья
В житье-бытье произошло тогда,
Как появилась Маша: иногда
Был на гулянье с дочкой в воскресенье;
Ложился позже, позже стал вставать;
На цыпочках ходил, когда читать
Изволит Маша... Лилии, тюльпаны
В саду явились; в зале фортепьяны
(Хоть музыкантшей Маша не была)
Да пяльцы у рабочего стола.
На столике валялось разных книжек
Десяток — вот и всё... Ах, нет, забыл,
Из Шурочки вертлявый желтый чижик
Повышен: Ламартином назван был,
Хоть старику темна была причина —
«Да чем же хуже Шурочка Мартына?» —
Почти не изменилось ничего;
Предметы те же, но с иной душою,
С иною жизнью. Свойство таково
У женщины: наполнить всё собою!
Вокруг нее как будто разлита
Нам чуждая, другая атмосфера,
Какой-то свет, и мир, и теплота,
Любовь и смех, спокойствие и вера.

6

Прошла неделя — Маша весела;
Глубокий мир ее уединенья
Воспламенял ее воображенье...
Сердилась лишь, скучна она была,
Когда старик опаздывал обедать,
Да на подруг роптала — не могла
Никак понять: как можно не проведать?
Не раз она в Морскую в *бельэтаж*
Послания по почте отправляла;
Решилась *объясниться* и писала...
Как вдруг гремит знакомый экипаж,
И с дочерью подъехала старушка.

7

— Zizine!
— Marie! Вот, видишь ли, Marie,
Как слово я держу.
— Zizine! Ах, душка!
О, мы друзья, и вечно? Говори!
— О, вечно! ..
— У меня так было много
Тебе сказать...
— И мне!
— О, ради бога,
Скорей!
— Постой. Как мило у тебя —
Цветы...
— Цветы? Всё накупил папаша.
Ты не поверишь, душка, как меня
Он любит.
— Твой papa? .. Ах, Маша,
Мне кажется, я полюблю его
За то, что он тебя так любит... Право...
Хоть он такой...
— Zizine!
— Ах, ничего,
Ну, не сердись. Что это за кудрявый
Цветок?
— Простой.
— А этот вон, большой,
Высокий, желтый? Верно, дорогой!
— Подсолнечник.
— Милашка! Ах, конечно,
Я для себя велю купить... Marie,
Завидовать тебе я буду вечно!
Как хорошо тебе здесь, посмотри,
Счастливица! Аллея! Сколько тени!
Какой чудесный запах от сирени...
Как весело здесь целый день гулять,
Мечтать и думать, думать и мечтать.
— Конечно... Но одной, без друга, скучно!
— А я-то что ж? Ты только напиши,
Верь, я явлюсь. Мы были неразлучны
И в классах. Ты — ты часть моей души.

— Ах, добрая Zizine!
Смеясь сквозь слезы,
Подруги обнялись. Как вешни розы,
Пылали щеки их; рука с рукой;
Головка Маши смуглой и живой
Лежала на груди блондинки Зины.
У Греза есть подобные картины.

8

Маша

Я многое обдумала одна,
О, боже! Для чего я не богата!
Ты знаешь, душка, я ведь не жадна
И, верь, презренного металла, злата
Желала б я для счастия людей.
Пренебрегла бы я законы света:
Нет, где-нибудь, в лачуге, без друзей,
В страданиях, нашла бы я поэта;
К нему б пришла я ангелом любвн,
Сказала бы: «Ты удручен судьбою,
Но я даю тебе, своей рукою —
Любовь мою и золото: живи!
Живи!..» Ему была б я вдохновеньем,
Он миру бы слова небес вещал,
И целый мир ему б рукоплескал...
Как я б была горда своим твореньем!

— Когда б, Marie, была поэтом я,
Я б выбрала тебя своею музой!
Но ведь поэты — гадкие мужья;
Брак, говорят, им тягостные узы...
Кто это, погляди, Mimi, скорей!
Кавалерист и на коне... Вот чудо!
Вообрази: знакомый! Точно, он
Бывал всегда у Верочки Посуды.
— Противный! Как он был всегда смешон!
Я презираю!
— Что же он здесь скачет?
Ах, погляди, какой чудесный конь!
А латы, каска блещут, как огонь!
Ах, душка — каска! Что же это значит?

Зачем он здесь?
— Как смел?
— Скорей уйдем.
Подумает, что мы нарочно ждем.
— Заговорит, пожалуй! .. Фи, как стыдно!
— Ах, боже! Маменька, за мной... Прощай, Marie!
— Прощай, Zizine, не забывай!
— Ах, quelle idée[1]! Мне, право, преобидно!
— Нет, поклянись!
— Я раз уж поклялась.
— Так мы друзья?
— Ах, боже мой, конечно!
— И вечно?
— Да!
Карета понеслась,
И девушки расстались с криком: «Вечно».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Чуть освежась холодною водой
И наскоро свернувши косу змейкой,
В капоте легком, с обнаженной шейкой,
Красавица являлась в садик свой,
К своим цветам, то с граблями, то с лейкой.
Потом в тени, среди семьи цветов,
Как их сестра, садилась и читала.
О, как тогда ее кипела кровь!
Из рук порою книга выпадала.
И в сладком забытье неслась тогда
Душа ее... бог ведает куда...

2

Кавалерист меж тем являлся чаще...
То будто вихрь промчится на коне
В красивой каске, в блещущей броне;
То так идет, расстроенный, молящий.

[1] Какая мысль! (франц.). — *Ред.*

Он Машеньку немножко занимал
(Так, крошечку! Предмет ее мечтаний
Всё был поэт — дитя святых страданий).
«А этот что? Быть может, проиграл!
Ведь эти гадкие мужчины, право,
Бог знает, как живут! .. Противный он!
Обкрадывать друг друга им забава!»
Она ушла, захлопнувши балкон,
Но на себя потом досадно стало:
«Кто право дал его мне оскорблять?
Могу ль я людям запретить гулять
По улице? Им нравится — пожалуй!
Пускай и он... Привыкла я давно;
Быть может... О, мне, впрочем, всё равно!»

3

Как звезды средь небесного селенья,
Он совершал обычное теченье.
Так медленно идет, усы крутит,
Вздыхает, в сад задумчиво глядит.
Раз, встретив взоры Маши, поклонился,
Но так был бледен, грустен и угрюм,
Что в этот миг ей не пришло на ум,
Что надо рассердиться. Он сокрылся.

4

Другой, быть может, бросил бы письмо.
Но сей герой писал не очень шибко,
Он размышлял: в письме одна ошибка
Испортит дело — вечное клеймо!
Ведь девушка из пансиона часто
Напишет правильней, чем Марс усастый.

5

Остановясь однажды за решеткой,
Заговорил он так печально, кротко,
Что Маша испугалася его.
— Сударыня, вам ничего не стоит
Страдальца осчастливить.
— Мне, кого?

Что вам угодно?
— Если беспокоит
Вас просьба — я, пожалуй, замолчу.
— Что вам угодно?
— Ах, прошу... позвольте...
Из сада вашего иметь хочу
Цветок я непременно.
— Вот, извольте.
— Нет, нет, не этот.
— Розан?
— Нет, не тот.
— Который же? Скажите, я не знаю.
— Ах, если б мог я указать... Ну, вот
Что подле лилии...
— Не понимаю,
Тут был нарцисс — его я сорвала.
— Нет, не нарцисс... Вы им так любовались!
Тюльпан, где, помните, еще ползла
Букашка, вы сначала испугались...
— Не знаю, где же мне его найти?..
— Позвольте на минуточку войти?
— Как это можно? Папеньки нет дома.
— Так что ж, ему расскажете потом,
Что прнходил я только за цветком.
Что ж тут дурного?
— Вы ведь незнакомый! —
И думала она, как Гамлет: *быть*
Или не быть — впустить иль не впустить?
— Ах, что вы? Что вы? Боже мой, уйдите!
Я закричу.
— Уйду-с. Из-за цветка
Уж вы поднять историю хотите!
Вы лед: душа в вас как гранит жестка.
Вы слезы лить готовы над романом,
А человек пред вами хоть умри —
Вам всё равно. Каким-нибудь тюльпаном,
Который свянет нынче ж до зари,
Вы дорожите... Это ведь ужасно!
— Возьмите, я хоть все цветы отдам,
Мне их не иадо... Но зачем же вам
Тюльпан так нужен?
— Ангел мой прекрасный,

И можете вы спрашивать — зачем?
Глядеть и знать, что вы его касались,
Что вы ему с любовью улыбались —
А я слезами оболью... Затем,
Чтоб он всегда мне вспоминал мгновенье,
Когда от вас теперь, из сожаленья,
Он дан мне... Вы не знаете, ваш лик,
Как ангела господня, я встречаю,
С тех пор, как вас увидел, я постиг
Все ваши совершенства.
— Я не знаю,
Чего же вы хотите!
— Иногда
Позвольте видеть, слышать вас, хоть тайно,
Хоть издали; улыбку, хоть случайно,
Мне искупить ценою слез моих —
Позволите? О, я вам благодарен
За жизнь. Ах, дайте ручку!..—
В этот миг
Анютка из окна шепнула: «Барин!»
— Ах, папенька! Пустите.
— Я приду
Сюда же завтра.
— Боже мой, скорее
Уйдите! —
«Машенька, где ты? В саду?
Анютка, собирай обед живее!
Здорово, Маша, ангелочек мой.
Не знаю, право, друг мой, что со мной?
Я смолоду трезов был в поведеньи;
И нынче разве что для дня рожденья
Сотерну рюмку. Я, вот видишь, встал;
Ну, к должности пришел, дела сыскал —
Всё хорошо. Кузьма Ильич Батыев
Перебелить мне предписанье дал
В палату в Могилев, нет, прежде в Киев, —
Всё хорошо, окончил, написал
Сел за другое — тут меня схватило
Под ложечкой, в глазах аж помутило,
Да, слава богу, тут случись со мной
Ошлепников, Панталеон Иваныч.
«Что с вами, говорит, вы б шли домой

Да выпили чего такого на ночь».
Насилу вышел — тут уж отлегло,
И, слава богу, вот совсем прошло».
— «Ах, бедненький! Ах, добрый мой папаша!»
Как коршуна избегший голубок,
К отцу прижавшись, зарыдала Маша.
— «Эх, дурочка! Прошло ведь. С нами бог!»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Как тонкий яд в взволнованную кровь,
Прокралась в сердце Машеньки любовь;
И мощно вдруг в душе проснулись юной
Живым аккордом дремлющие струны.
Ей чудный мир открыл врата свои,
Мир сладких тайн, пленительных мечтаний,
Мир с негою блаженства и страданий,
Со всею милой глупостью любви.

2

О, не беги любви, дитя мое!
Пусть розы цвет лицо твое утратит,
Зато твой дух, всё бытие твое
Такою полной жизнию охватит!
Вокруг тебя пока мир целый спит;
Потом проснется вдруг, заговорит,
В блаженстве ты душою с ним сольешься,
Тогда найдешь ты друга в нем себе:
Он засмеется, если ты смеешься,
Заплачет, если плачется тебе.
И звезды вечера тебе укажут
Свой тайный смысл; поймешь внезапно ты,
Что шепчут ночью листья и цветы;
И слезы дивные глаза увлажут;
Услышишь: мир шепнет тебе «люблю» —

И этот звук проникнет грудь твою,
И грудь твоя, уста и очи скажут:
«И я люблю...»

3

У Машеньки в глазах
Всё изменилось: будто на крылах
Какой-то гений, дух неуловимый,
По комнате ее порхал незримо,
Над нею вился, жил в ее цветах.
Как часто вдруг, себя не понимая,
Невольно остановится она,
Глядит и внемлет, втайне замирая,
Как будто бы она там не одна:
В ее окно ворвавшиеся ветки
Черемухи, сирени и берез,
И ветерок, дышавший негой роз,
И чижик, резво прыгавший по клетке,
Как будто с кем-то были заодно
И видели не видимое ею...
И Маша думала: «Душа его
Является беседовать с моею...»

4

Теперь, в часы волшебных вечеров,
Когда заря полнеба обнимала,
Понятною, торжественною стала
Ей музыка. Язык ее без слов
Так ясен был, так полн душевной боли,
И в этом царстве воплей, бурь и слез
Неосязаемый редел хаос,
Мир возникал веленьем высшей воли;
Но книга, прежде верный, милый друг,
Теперь у ней уж падала из рук:
Казалось ей там всё так глухо, немо...
Что ей Омир и Шекспир, если в ней
Творилася великая поэма,
Всех эпопей громадней и живей?
Как ни возись с октавой иль сонетом —
Всё будешь перед ней плохим поэтом!

5

Какие ж песни пела муза ей?
Какой она заслушивалась лиры?
В величии героев древних дней,
Строителей Бабе́ля и Пальмиры,
Иль рыцарем креста, любви и дам,
Иль музыкальным странником Прованса
Ее герой предстал ее мечтам?
В его речах — то нежный стих романса,
Исполненный любви, и слез, и нег,
У окон замка, с арфой, ночью лунной;
То вопли Байрона, земле перуны,
Угрозы небу; мощный, гордый смех,
Великий, злой — хоть женски-малодушный.
И чувству новому во всем послушно
Вся отдалась она своей душой;
Участия хоть в ком-нибудь искала;
И, наклонясь над розой молодой,
Как другу, тайно ей она шептала
События романа своего,
Тоску любви и трепет ожиданья,
Восторг и робость тайного свиданья
И долгого лобзанья волшебство...

6

Он говорил: «Мы будем неразлучны,
Поедем в полк, возьмем отставку; там
Постранствуем по разным городам,
В Италию, — о, нам не будет скучно!
Но мой отец — он человек крутой,
Меня женить он хочет на другой,
Но пусть меня оставит он без крова —
Лишь сердце может друга указать...
Но надобно до времени молчать
И папеньке не говорить ни слова.
Уж он кому-нибудь словцо ввернет:
Расскажет — ну, хоть чижику, а тот
Анютке, Аннушка — куме Феклуше,
И прокричат по улицам кликуши».

7

О, боже мой! Всё есть в его словах,
Чтоб поширять фантазии летучей:
Гоним отцом, ему душой могучей
Противостал; он презрел *тлен* и *прах*
(Касательно наследства); как изгнанник,
Скитаться он пойдет, печальный странник;
Но с ним она — под небом голубым
Италии; там гóндолы и Брента,
Там мир искусств, Феррара и Сорренто,
Везувий, море, Колизей и Рим!!!

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Василий Тихоныч имел привычку,
Обед окончив, поласкавши птичку,
Пойти всхрапнуть.
                                Однажды той порой
В ближайшей к дому улице глухой
Остановилась странного размера
Извозчичья карета. У угла
В шинелях два стояли офицера,
И бойкая у них беседа шла.

2

Один из иих был давннй наш знакомец —
Кавалерист и маменькин питомец;
Хоть летопись боярской их родни
Давио храиила имена одни
Прокофия, Егора и Ивана,
Но вследствие какого-то романа
Обычая порядок изменен
И Клавдий — Клавдием был наречен.

3

Другой — его я имени не знаю,
Да вряд ли кто и знал, я полагаю;
Он вышел сам из строевых чинов,
Его все звали просто — Гвоздарев.
Он слыл всегда отчаянным рубакой,
Лихим товарищем, а оттого
Не обходилось дело без него,
Грозившее опасностью иль дракой.

4

Гвоздарев

Ну, брат, поддел! Уж если ты не врешь —
Забавная история!
— «Прекрасно!
Изо всех лжей, в таких вещах, брат, ложь —
Гнуснейшая, порок, братец, ужасный!
Скажи, соврал ли я когда-нибудь?
Ты помнишь Соню — прелесть что такое!
Ведь не соврал! Я не могу надуть
Товарища. Потом, княгине Зое
Не сам ли ты записки отдавал?..
Да что тут говорить — увидишь скоро».
— «Ну, молодец! Ведь дело не из спора.
Вот Вьюшкин — фу ты, черт, как врет! —
сказал,
Что подцепил посланницу, — да только
Посланница-то просто...»
— «Ну, нашел!
Понравится он женщине: осел!»
— «Посланница!.. Ведь правды ни на столько!
Я только так тебе теперь сказал;
Не знаю, что за стать тебе возиться
С девчонками; и из чего тут биться —
Слез... Господи! Навяжутся... Пропал!
Я не могу — расплачусь сам как дура.
Что делать, братец, — скверная натура!
Нет, женщин я люблю, да вот таких,
Как кто-то написал стихи про них:
„Милей мне жрица наслаждений
Со всею тайной упоений..."»

— Эге! давно ль ты стал читать стихи?
— Читал, братец, да много чепухи.
— Так девочки...
— «Ни нá что не похожи.
— И я тебе скажу стихами тоже,
Старинные: как в корпусе я был,
Еще тогда их как-то затвердил, —
С девицами мне очень пригодилось.
Как, знаешь, брякнешь вдруг: *«Постыли мне*
Все девы мира!» Смотришь — и склонилась
Головкою и тает, как в огне;
А я себе реку, как жрец искусства:
«Ты рождена воспламенять...» Фу, черт!
Соперник тут — капут и à la porte! [1]
Да вот стихи: скажи, какое чувство
Сравниться может с торжеством
Над ниспровергнутым врагом?
Перед тобой твой враг — невинность,
Стыд, добродетель и закон.
Друзья — природа, кровь, и сон,
И места нега и пустынность.
Нет, в женщине всего милей
Самой себе сопротивленье
И прелесть трудного паденья.
Люблю дразнить я сердце в ней,
Навесть на душу сон глубокий,
В ней чувством разум подавлять
И к упоению порока
В ней тихо душу приучать».
— Да, хорошо в стихах, а так-то гадко,
Поплачешься. Ей-богу, никогда
Не буду брать я на себя труда
Вам помогать. Бьет, точно лихорадка.
— Эх, баба, трус! Тебе б гусей пасти;
Да если ты боишься, так поди.
— Нет, что! Уж обещал.
— Чего ж ты трусишь?
— Да, как заплачет, так язык прикусишь.
Смотри, мелькнуло что-то там, в саду.
— Ну, жди меня, я тотчас с ней приду.

---

[1] За дверь (франц.). — *Ред.*

— Ступай, ступай! Уж эти мне интрижки!
Как не побьют их, право, никогда!
Как будто делом заняты мальчишки.

Добро б мещанка — ну, туда-сюда,
Ну, немка, швейка или хоть цыганка,
А то ведь всё, как нн было б, дворянка.
Чай, у нее и связи, и родня...

5

Клавдий, Маша.

— Ну, ангел мой, давно я жду тебя;
Что, наконец успела ты собраться?
— Куда же, друг мой?
— Как куда? Венчаться.
— Послушай, Клавдий, нынче я всю ночь
Проплакала.
— Что так?
— Мне страшно было...
— Пожалуйста, дурного не пророчь.
— И не было во мне день целый силы
Глядеть на папеньку; зачем скрывать
От старика?
— Ну, расскажи, пожалуй —
А он пойдет по городу болтать.
И план наш, счастье — всё как не бывало!
Нет, ты меня не любншь. Для тебя
Я броснл всё... Что ж, этого всё мало?
Нет, это не любовь.
— Ах, полно! Я твоя...
— О чем же плачешь ты, душа моя?
— Не знаю... Так... Мне в этот миг казалось,
Что будто бы навек я расставалась
И с домиком и с садом...
— Пустяки!
Мы завтра же сюда как раз подкатим.
Папá нам будет рад — ведь старики
Посердятся, а там, глядь, в три ноги
Ударят сами... Но мы время тратим.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Прошло три дня. Поутру Гвоздарев
Шел к Клавдию. «Черт знает что со мною!
Ведь, кажется, натурой боевою
Я наделен, и двадцать пять годов
На линии чуть с чертом не сдружился.
А тут теперь с девчонкой повозился...
Стал сам не свой, и гадко, чай, взглянуть.
Уж не болезнь ли это? Ноет грудь...
Нет, ие болезнь, а просто скверность. То-то,
Всё думаешь затылком. Помогать
Черт знает в чем припала вдруг охота!
Да не подумал, к роже ль, есть ли стать!»
— Эй, Куликов; ну что, не прииимают?
— Да иé звали; должно быть, почивают.
— Здоровы?
— Слава богу.
— А она?
— Кто-с, барыня? Да что им?
— Очень плачет?
— Известно, плачут.
— Чай, она больна?
— Да, то больна, а то поет и скачет.
— А барин что? .. Он крепко полюбил?
— Насчет того не слышно разговора,
Да мы не долго ведь — наскучит скоро.
— Ну, ты скажи, что я, мол, приходил.

2

А Клавдий, с трубкой длинною в руках,
На канапе сидел, как падишах,
В халате шитом, в узорочной феске.
Луч солнечный, скользя сквозь занавески,
Прозрачный дым разрезав, заклубив,
По комнате лился златой струею;
И мимоходом, ярко озарив
Тальони бюст, хрусталь с живой игрою,
Он упадал на голову, на грудь
Марии спящей.

3

Милое созданье!..
Кто на нее, в волшебном обаяньи,
Не загляделся бы, боясь дохнуть?
Как живописно, как небрежно ловко
Она раскинулась: одна рука
Заброшена за милою головкой;
К другой прижалась жаркая щека;
И косы, пышные, как шелк развитый,
Бегут, блестя, с подушки пуховой;
Там ножки так заманчиво открыты,
И очерк форм прекрасных... чудный вид...
Устами бы коснулся, упоенный,
Холодных плеч, щеки воспламененной!..
Но эта мысль, которая не спит
И спящею красавицей играет,
То пурпуром лицо ей обагряет,
То бледностью в ланитах пробежит,
То сдавит грудь, и грудь ее заноет,
Как будто крик обиды в ней замрет,
То ужасом уста ее раскроет,
То в поцелуй горячий их сомкнет;
Нет, эту мысль, ту деющую душу
В ней чувствуя и с трепетом следя,
Ты, очарован, скажешь: «Спи, дитя,
Сна таинства я дерзко не нарушу».
И Клавдий думал: «Пусть она поспит,
Покуда самовар не закипит».

4

— Ну, розанчик, насилу встала ты,
Ленивица. А я уж приступаю
К чаям.
— Зачем же ты, не понимаю,
Не разбудил?
— У вас ведь всё *мечты*.
Особенно под утро — о, я знаю!!!
Скажи же, что ты видела во сне?
А, покраснела!
— Вам какое дело?
— Признайся, всё мечтала обо мне?

— Вот вздор какой! Нималo.
— Покраснела!..
Мадам прислала шляпку и бурнус.
Когда не так — прошу уж извиненья, —
Я виноват: я выбрал на свой вкус.
— Ах, шляпка белая... я в восхищеньи!
Вот именно какой хотелось мне.
— Да не ее ль ты видела во сне?
— Пожалуйста!.. Ах, как сидит чудесно!
Бурнус прекрасный. Этот цвет небесный
Ко мне идет. Ведь я всегда бледна,
И брови черные, глаза большие,
Ну, погляди, я, право, недурна.
Я выпущу тут локоны: густые
И черные на голубом — charmant![1]
Вся завернусь в бурнусе с гладкой спинкой,
На шее с легкой палевой косынкой,
В атласных башмачках, — mais c'est piquant![2]
— У! божество мое!
— И мы с тобою
Поедем за город, где нет людей.
— Хоть за сто верст.
— Я жажду всей душою
Увидеть небо, лес, простор полей.
Ведь я почти природы не видала;
Раз только летом с папенькой гуляла:
За нашим домом поле и ручей, —
Как весело... Ах, что-то мой папаша!
Что с ним теперь! Ах, боже мой, где он?
Он не простит меня!.. Он раздражен,
Он так любил меня!..
— Что это, Маша,
Опять ты плачешь, — скучно! Я сказал,
Что он нам даст свое благословенье,
Но надо ждать. Священник не венчал
И не хотел венчать без позволенья
Родителей, но после обещал,
Поеду, говорит, к архиерею.
Меня ты сердишь глупостью своею.

[1] Очаровательно! (франц.). — *Ред.*
[2] Это так пикантно! (франц.). — *Ред.*

— Прости меня. Я верю, я о том
Не буду даже думать.
— И прекрасно!
И вот она опять с улыбкой ясной,
Исчезла вмиг сверкнувшая слеза;
Она глядела так ему в глаза
Доверчиво, как смотрят только дети.
— Послушай, Клавдий, ты мне всё на свете,
Ты счастлив ли, как я?
— А мог ли б быть
Я меньше счастлив?
— О, как жизнь прекрасна!
А жизнь в одном лишь слове — век любить.
А ведь живут и без любви... Ужасно!
Не верю я: жить без любви — страдать.
Но знаешь ли, когда б меня спросили,
Как я люблю и сколько, — отвечать
Я б не могла... Ужели б заключили,
Что не люблю я? О, как свет смешон!..
— Эге, так вот, не в этом ли твой сон?
— Ах, ты всё шутишь!.. Помнишь ли, об этом
Ты говорил со мной давно уж, летом;
Ты, помнишь ли, сказал мне, что любовь
Без жертв не есть любовь; я этих слов
Значение теперь лишь угадала.
Хоть я тебе покорна, как судьбе,
Всё кажется, что сделала я мало
И что ничем не жертвую тебе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Как опустел наш домик на Песках!
Закрыты ставни, заросли травою
Дорожки, и крапива в цветниках.
Недавно бурей сломаны ночною,
Лежали ветви желтые дерев;
Никто прибрать не думал их с дорожки,

Ни подвязать попорченных кустов,
Ни вставить стекол выбитых в окошки.
Василий Тихоныч лежал больной,
Без памяти, в горячке. День-деньской
При нем была сиделка нанятая,
Гадавшая спокойно при больном,
Что скоро ли ее докука злая
Окончится каким-ннбудь концом,
И вымещавшая на кофеишке
Заботы о проклятом старичишке.

2

Нет, время не старик. Нет, в старце ум
Спокоен, мудр, безгневен, тверд, угрюм.
Нет, время — женщина, дитя; ревниво,
И легкомысленно, и прихотливо;
Капризное, вдруг радость унесет,
За миг блаженства вырвет злые слезы,
Сорвет с чела цветущий мирт и розы
И тернием колючим обовьет;
Но вдруг потом пробудится в нем жалость,
И выкупить свою захочет шалость, —
Тут явится оно опять, как друг,
И исцелит мучительный недуг.
Василий Тихоныч, чуть-чуть, помалу,
Стал поправляться, в комнате бродить
И иногда на солнце выходить,
Гулять один в соседстве, по каналу.

3

Осенний день был ярок. Громкий звон
Гудел далёко. Было воскресенье.
Василий Тихоныч встал рано. Он
Всю ночь не спал. Тяжелые виденья
Его терзали, отгоняя сон.
Он вышел на крыльцо. Цыплята, куры,
Кудахча, там теснилися к пшену.
Он их ласкал при этом в старину,
А нынче отошел, сказавши: «Дуры».
Он в залу. Солнцем оживленный, там

Веселый чижик песнью заливался,
Как в дни, когда, бывало, по утрам
Здороваться старик к нему являлся
И говорил, что было за душой.
Теперь он стал с поникшей головой;
Особенно теперь он вспомнил ясно
Иные дни, которых не вернешь...
А чижик пел всё так же звонкогласно...
«Да что, дурак, ты горло-то дерешь,
Да замолчи, сверчок, ушам ведь больно!»
Он отошел, сердитый, недовольный.

4

По службе был приятель у иего.
Уж двадцать лет они сидели рядом;
Вернее — двадцать лет друг к другу задом
Они сидели... Боже мой! Чего
Не делает судьба на свете белом!
Приятели по дням сидели целым,
Друг друга слыша, чувствуя, следя,
Почти в лицо друг другу не глядя.

5

Давно Иван Петрович в службе высох.
Но, может быть (не знаем мы того),
У множества голов сих странных, лысых,
Как кажется, умерших для всего,
Которых мир так жалко обезличил,
Всё есть одно, куда живым ключом
Прорвалась жизнь и с чувством и с умом...
Так узник был, который пауком
Всю жизнь ума и чувства ограничил.

6

— Василий Тихоныч, пойдем гулять.
— Где мне гулять!
— На острова поедем.
— Эх, полно вам.
— Да что же вам лежать

Весь день в берлоге этаким медведем...
Поедемте, наденьте вицмундир.
— Ах, знаете ль, не хочется, ей-богу!
— Ну, полно же, живей, марш-марш в дорогу!
В трактир зайдем пить чай.
— Ну, уж в трактир
Я не пойду. Там, чай, народу много,
И в публику мне страшно выходить.
— Вот то-то, всё сидит да дома тужит!
Что б, например, к обедне вам сходить?
Отец Андрей так трогательно служит!
— Нет, не пойду, Иван Петрович.
— Что ж?
— Так, не могу.
— Уж вы надели брюки?
— Всё не могу.
— Вас, право, не поймешь.
Да ну, скорей мундир да шляпу в руки!
— Меня как будто лихорадка бьет,
Так на сердце нехорошо.
— Пройдет!
— Нет, не пройдет; уж разве богу душу
Отдам, тогда пройдет. Так не *пройтить*.
— Охота вам так страшно говорить,
И всякий смертен.
— Смерти я не трушу.
— Берите шляпу.
— Что мне смерть теперь?
— Да полно, говорят.
— Так околею,
Как пес, какой-нибудь поганый зверь,
Глаз некому закрыть мне, как злодею.
— Ну, ну, пойдем. Ну, запирайте дверь.

7

Чиновники скромненько ваньку взяли
И поплелись рысцой на острова.
«И летом был денек такой едва ли,
Смотрите-ка, ведь будто спит Нева».

Василий Тихоныч хранил молчанье,
Зато Иван Петрович говорил:
«Как пыльно! Уф! Дышать почти нет сил!
Да слезем тут, пройдемте до гулянья.
Смотрите-ка, народу что идет,
Чай, всякие — держитесь за карманы,
Кто их теперь в толпе-то разберет...
Глядите-ка, пристал какой-то пьяный
К купчихе, знать: повязана платком.
Здоровая, ей-ей, кровь с молоком!
Чай, ест за трех! Ишь жирная какая!
Эге, ругнула! Вот люблю, лихая!
Да это что, смотрите-ка сюда:
Здесь прежде будки не было. Когда
Поставили? Спросить бы часового...
Ах, нет, была, да выкрашена снова.
Послушаем шарманки. Ишь какой
Тальянец — мальчик, а уж черномазый.
Чай, сколько он проходит день-деньской!
Как вертится! Ах, дьявол пучеглазый!
Есть нечего в своей земле у них,
И суются куда бы ни попало.
Да. Ну, у нас бы припугнули их.
Вот немец — тоже честный надувало:
Я чай, сигар из браку наберет,
А тут, поди-ка, сунься, так сдерет
За штучку гривенник да пятьалтынник.
Вот что! И знай.
                                    Подвинемтесь туда,
К каретам. Ты, седая борода,
Слышь, не толкай! Посторонись, аршинник!
Не видишь, что чиновники... Скорей,
Василий Тихоныч, не пропустите,
Директорша. Да шляпу-то снимите.
Проехала. Директор не при ней.
А вон коляска .. Да кто в ней, глядите —
Не знаете? Ведь стыдно и сказать...
Вся в кружевах теперь и блондах... Танька,
Та, что жила у Прохорова нянькой!
И шляпка вниз торчит... Тож лезет в знать!
Чуфарится! Туда ж с осанкой барской!..
А ведь сегодня скучно. Для меня

Гулянье не в гулянье, как нет царской
Фамилии да батюшки царя.
Василий Тихоныч, что ж вы стоите?
Пойдем пить чай!»
— Глядите-ка... глядите...
— Кто там?
— Глядите...
— Кто?
— Она, она!..
Разряжена... Как весела... Смеялась...
— Пойдемте прочь, вам просто показалось.
— И он верхом... Мерзавец!.. Как жена,
С ним говорит... Да что вы, не держите.
— Василий Тихоныч! Уйдем, молчите!
Вы в публике... вниманье обратят.
Подумают, что вы... свести велят
В полицию...
— Она того хотела,
Так нá же, пусть в полицию сведут!
Пускай при ней и свяжут и возьмут!
Пусти меня!..
— Опомнись, это тело
И кровь твоя...
— Ну, тело, кровь, пусти!
Отца забыть! С любовником уйти!
Отец — он стар, дурак! Какое дело,
Есть или нет отец... Пускай ревет...
Оставила... Пускай с ума сойдет,
Что жить ему: околевай, собака!
Смотрите все: вон, вон она, вон та —
Анафема! Будь веки проклята!..
— Уф, страх какой!
— Что тут за шум?
— Что? Драка? —
Старик умолк. Дрожащие уста,
Казалось, говорить еще хотели,
Но голос замер, ноги ослабели,
И он упал. Коляска понеслась
Как вихрь. Толпа кругом еще теснилась.
— Я с духом всё еще не собралась.
Вот ужасти! Она, моя родная,

Как взвизгнула!
— Да бледная такая!
— Что тут такое?
— Проклял дочь отец.
— Да, проклял; да за что же? Злая доля
Тому, кто проклят... Ишь ведь молодец!
— Ах, батюшка! Родительская воля!
— Ишь, проклял!..
— Он ведь как безумный сам.
Смотрели бы за ним все по пятам —
Воды-то много тут. Чтоб не случился
С ним грех какой...
— Ты слышал, тут один
Порядочно одетый господин,
Чиновник, проклял дочь и утопился?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Пришла весна. Светлеют неба своды;
Свой белый саван сдернула зима,
Дома темны, как древние дома;
По улицам, журча, струятся воды;
Нева блестит и дымчатой волной
Играет с жемчугом зеленой льдины.
Я Петербург люблю еще весной.
Как будто есть движенье: цепью длинной,
В грязи шумя и плеща колесом,
Стремятся экипажи; по колено
В воде еще кой-где, вертя кнутом,
С санями ванька тащится, рядком
С лошадкою, покрытой белой пеной;
И тротуар на Невском оживлен;
Толпы ползут туда со всех сторон;
Людей, как мух, живит весны дыханье;
И раздаются шумно восклицанья:
«Что, брат, весна! Я просто в сюртуке —
И ничего!» — «Я тоже налегке».
Лишь скептик, жертва местного недуга

(Зараза эта так у нас сильна),
Заметит: «Да, пожалуй, и весна,
А всё, гляди, ужо потянет вьюга».
Ну словом, жизни уличной простор!
Точь-в-точь Париж: кофейни, лавки, клубы,
Трактиры, моды, книги, шляпы, шубы,
Журнальных даже множество контор, —
А скептики еще толкуют злые
С сомнением — в Европе ли Россия?

2

Пойдемте вслед за яркою толпой.
Вот, пышными нарядами пестрея,
Две барыни и барин с бородой,
И с ними сзади красная ливрея.
— Как Петербург нашли вы, мосье Paul?
Довольны ли вы северной столицей?
— Что делать? Возвратясь из-за границы,
Невольно старую играешь роль —
Роль Чацкого.
— Ах, это, право, мода!
— Кто странствовал, тот любит наблюдать
В лице толпы особенность народа,
Души его оттенки подмечать.
Один народ угрюм, спокоен, важен;
Тот вдохновеньем блещет; а другой
В лохмотьях — горд, беспечен, но отважен.
А здесь, взгляните, — вид полубольной,
И мутные глаза без выраженья.
Рабы, рабы!.. Теперь гулять весной
Все будто бы идут из принужденья!
Вы скажете — героем смотрит тот,
Но где же гордость, мысль — душа геройства?
Всмотритесь лучше — этот весь народ
Есть юноша, убитый от забот
И поседевший в ночь от беспокойства.
Безличие, в душе холодный лед,
Животной жизни сон и апатия —
И вот чем вас приветствует Россия!
— Ну, признаюсь, чудесный разговор

На улице!.. Давно ль, с которых пор
Вы бойки так, совсем другие стали!
Я помню вас студентом...
— Я созрел,
В два года много я узнать успел.
— Ужели сердцем вы не трепетали,
Когда родной язык вы услыхали?
— Какой язык, и как здесь говорят!
Французские слова на русский лад!
Не тот язык, что искрится алмазом,
И радует, и поражает разом
В устах француза; нет, совсем другой,
Сухой, дипломатически-пустой,
Какая-то привычка к мертвым фразам.
Вы, женщины, вы корень зла всего.
Одушевить язык своей улыбкой,
Сроднить его с своей природой гибкой
И женским сердцем воспитать его
Вы не хотите... Грубая ошибка:
Как ни возись с упрямым языком
Писатели — прозаики, поэты, —
Он будет сын, воспитанный отцом,
Не знавший ласк сестры и не согретый
Улыбкой матери.
— Кто ж виноват?..
Вы точно Чацкий... Желчь и злость — что слово.
Вы нынче вечер с нами?
— Очень рад...
Я так увлекся... Тетушка здорова?
— Merci.
— А дядюшка?
— Он очень хил.
— Кузины?
— Вас увидеть будут *ради.*
Додо уж замужем... И после дяди
Получит много муж... Он очень мил.
— А ваши все друзья?.. Мими?
— Какая
Мими?
— Брюнетка, помните, живая,

Ваш друг.
— Fi donc![1]
— Вы вышли вместе с ней
Из пансиона...
— Боже мой, молчите!
— Мими... ваш друг?
— Ах, что вы говорите!
— Вот дружба-то!
— Нет у меня друзей.
— Жива ль она?
— Да, умерла... для света.
Maman, maman, чудесная карета,
Что привезли из Лондона Sophie...
— А где Sophie?
— Вон там.
— А с ней мосье
Fifi?

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Но где она, где героиня наша,
Где бедная, где любящая Маша?..
Убита ли нечаянной грозой?
Иль чистая душа и с ней сроднилась?
Из уст отца проклятье разразилось,
Как гром небес, над юной головой;
Надменный свет, ласкающий невежду
И мытаря, грабителя, шута,
Для ней навек закрыл свои врата
С ужасной надписью: «Оставь надежду»...
(Ты пал — так падай глубже; не мечтай
Когда-нибудь опять увидеть рай,
Где человек блажен, безукоризнен,
Так скучно-чист, так чопорно-безжизнен.)

[1] Фи! (франц.). — *Ред.*

2

Мария всё — увы! — пережила...
Пережила; она, как прежде, любит.
Пусть страсть ее гнетет, терзает, губит, —
Ее любовь под бурею была
Еще сильней и пламенней. Казалось,
Что дивная душа проснулась в ней;
Как под грозой прекрасный цвет полей,
Она в слезах, казалось, укреплялась.
Пусть свет ее карает и разит,
Пусть страшный остракизм на ней лежит,
Что суд толпы посильно беспорочной,
Ругающей непризнанную страсть,
Хотя о ней мечтающей заочно
И каждый миг готовой втайне пасть?

3

А Клавдий? О, как ей мечталось сладко
Всю жизнь свою ему лишь посвятить,
Смягчать его, исправить недостатки,
Врожденное добро в душе раскрыть.
Любовь надеется... Однако ныне
Неделя, как исчез он. Жив ли он?
И целый мир для Маши стал пустыней.
Он вспыльчив, он, быть может, завлечен
В дуэль... Быть может, кровью истекает,
И не она как друг при нем была...
«Ах, лучше пусть убит, чем изменяет», —
Вопило сердце, но она ждала.

4

Звонят. «Он, он!» И молнией блеснула
Ей радость. Взор мгновенно просветлел,
Но крик, напрягший грудь, вдруг излетел
Глубоким вздохом: сердце обмануло —
То был не он.

Вьюшкин

— Я к вам... я послан к вам
От Клавдия.

— От Клавдия? О, боже,

Он жив? .. Ах, где он?
— Жив-то жив.
— Так что же?
— Как вам сказать, не знаю, право, сам;
Довольно трудно, хоть всего два слова.
— Ах, говорите, я на всё готова!
— Он в полк уехал; срок стал выходить...
— Уехал? Без меня? Не может быть,
Я вас не понимаю.
— Очень ясно:
Уехал в полк.
— И я пойду за ним.
— Послушайте, от вас скрывать напрасно:
Отец его суров, неумолим,
И Клавдий... вас оставил.
— Нет, вы лжете
— С чего ж мне лгать пришла охота вдруг?
Вот вам письмо.
— Подложное!
— Прочтете,
Того не скажете.
— «Любезный друг,
Чтоб избежать несносных объяснений,
Мне тягостных, а также и тебе,
Беру перо. Оставь все слезы, пени,
Сообрази и покорись судьбе.
Пора, мой друг, нам наконец расстаться.
Ты — умница, ты всё сама поймешь;
Ты хороша, одна не пропадешь;
Итак, прощай, счастливо оставаться!
Верь, не забуду я любви твоей, —
На первый раз вот тысяча рублей».
— Вот видите, каков он?
— Боже, боже! ..
— Я говорил: ни нá что не похоже
Ты, братец, делаешь; а он свое:
Что надоела, надобно ее
Оставить.
— Изверг!
— Изверг, и ужасный!

Да что вы плачете? Ей-ей, напрасно!
Слезинки б я не пролил за него.
В его душе — святого ничего!
Он говорит, что женщин только любит,
Пока ему противятся оне,
Что вопль и слезы только в нем сугубят
Презрение... Мария, верьте мне,
Ни ваших слез, ни мыслей он не стоит...
Не знаю, право, что вас беспокоит.
Да плюньте на него. Несправедлив
Он к вам; да вы ужель его не знали?
Он эгоист бескровный и едва ли
Когда любил, быть может, и счастлив
Он оттого бывал у женщин в свете.
Хотите ль знать, каков он? В нем всё ложь,
И доброго и чести ни на грош;
Письмо — всё вздор; резоны эти
Всё выдумки, всё те же в сотый раз.
Он просто в Царском, пьет напропалую,
Кутит как черт, ведет игру большую.
Я очень рад, что он избавил вас
От объяснений, — это труд напрасный.
Вы стали бы тут плакать, он — курить
И в потолок пускать колечки дыма...
Послушайте... Вы будете любимы.
Нельзя вас видеть миг и так уйти,
Не полюбить... Клянусь, вы так прекрасны..
Не плачьте. Верьте, вы не так несчастны,
Как кажется... Клянусь, вам впереди
Так много в жизни... Маленькая тучка
Примчалась, и чрез миг пройдет гроза,
И эти косы, дивные глаза,
И эта ножка, пухленькая ручка...
Мария! Дайте вашу ручку мне...

(Целует руку.)

Ах, ручка, ручка! Только ведь во сне
Такую видишь... Ангел черноокий,
У ваших ног клянусь любить всегда,
Всю жизнь свою любить, как никогда
Он не любил... Не будьте же жестоки,
Позвольте мне любить вас, век любить!..

И он рукой старался охватить
Марии стан. Его прикосновенье
Вдруг вывело ее из онеменья.
— Стыдитесь, что вы?
— Ангел милый мой!
Отдайтесь мне.
— Пустите!
— Ангел милый!

Отчаянье в ней пробудило силы,
Глаза зажглись обиды полнотой,
И — хлоп пощечина... Но наш герой
Нашелся.
— Ну, теперь уж расцелую!
— Подите вон!
— Нет, расцелую!
— Вон!
Я вас убью!
— Ты шутишь шутку злую!
Но полно, мир воюющих сторон,
И руку! Вы не в духе?
— Прочь подите!
— Вы шутите?
— На шаг лишь подступите,
Я размозжу вам голову!
— Уйду-с...
Эк подняла какую ведь тревогу!
Нет, Клавдий, ты надул меня, ей-богу!
Бесенок! Право, лучше уберусь...
— Ах, Клавдий, Клавдий! Где ты?.. Что со мною?
Что сделал ты?

5

И голос ослабел,
Румянец, вызванный обидой злою,
Угас, и лик как будто помертвел.
Недвижная, поникши головою,
Она, казалось, силилась понять,
Что было с ней... Хваталася руками

За голову, как будто удержать
Стараясь разум; мутными глазами
Искала всё кого-то... Давит грудь
Стесненное, тяжелое дыханье...
О, хоть бы слезы... Но — увы! — в страданьи
И слезы даже могут обмануть...
Потом как бы вернулась сила снова,
И вырвались из уст и стон, и слово:
«Он обманул!.. Я всем теперь чужда...
Он прав, все скажут: он ведь никогда
И не любил, она одна любила...»
И горькое рыданье заглушило
Ее слова...

6

Что ж думала она?
Какая мысль в душе свинцом лежала?
Что из груди разбитой исторгало
То стон, то плач, то хохот, то порой
В очах сияло тихою слезой?
Одно: «Он разлюбил...» В ней сердце, разум,
Вся жизнь ее, казалось, были разом
Убиты этим словом роковым.
«О, если б хоть увидеться мне с ним!
Вот деньги... О, палач без состраданья!
Он выкуп дал позора моего!
Ах, где он сам, где низкое созданье?
Я б бросила ему в лицо его
Червонцами... Одно, одно осталось!»
И будто светлой мыслию чело
Вдруг просияло: точно отлегло
От сердца. Что-то страшное, казалось,
Она задумала.

7

Мария шла дрожащею стопой,
Одна, с больной, растерзанной душой.
«Дай силы умереть мне, правый боже!
Весь мир — чужой мне... А отец?.. Старик...
Оставленный... и он... Он проклял тоже!

За что ж? Хоть на него взглянуть бы миг,
Всё рассказать... а там — пусть проклинает!»
Она идет; сторонится народ,
Кто молча, кто с угрозой, кто шепнет:
«Безумная!» — и в страхе отступает.
И вот знакомый домик; меркнул день,
Зарей вечерней небо обагрилось,
И длинная по улицам ложилась
От фонарей, дерев и кровель тень.
Вот сад, скамья, поросшая травою,
Под ветвями широкими берез.
На ней старик. Последний клок волос
Давно уж выпал. Бледный, он казался
Одним скелетом. Ветхий вицмундир
Не снят; он, видно, снять не догадался,
Придя от должности. Покой и мир
Его лица был страшен: это было
Спокойствие отчаянья. Уныло
Он только ждал скорей оставить мир.
Вдруг слышит вздох, и листья задрожали
От шороха. «Что, уж не воры ль тут?
А, пусть всё крадут, пусть всё разберут,
Ведь уж они... они ее украли...»
Старик закрыл лицо и зарыдал,
И чудятся ему рыданья тоже,
И голос: «Что я сделала с ним, боже!»
Не зная как, он дочь уж обнимал,
Не в силах слова вымолвить. «Папаша,
Простите!» — «Что, я разве зверь иль жид?»
— «Простите!» — «Полно! Бог тебя простит!
А ты... а ты меня простишь ли, Маша?»

(1845)

389. СНЫ

Поэма в четырех песнях

ПОСВЯЩЕНИЕ

Уж в зелени берез есть ветки золотые;
По небу рыхлые, как комы снеговые,

От севера плывут грядами облака;
Всё ясно говорит, что осень уж близка;

Выходят старики, поля обозревая,
И колос шелушат, про умолот смекая,

Пытаясь вынести из годовых трудов
Крупицу опыта для будущих годов...

И в жизни так пора приходит: разум строгий
Велит уж подводить под прожитым итоги, —

И память повела его, как чародей
В волшебный лабиринт, средь темных галерей,

И ряд картин пред ним во мраке озаряет...
На всё, что предо мной оиа разоблачает,

Уже взираю я с спокойною душой.
Уж всё так далеко, всё кажется мечтой!

Фигуры движутся, как в дымке фимиама,
Уже на всё легла эпическая рама,

И свет таинственный, и муза в тишине
Всё взором обняла и песни шепчет мне...

О сын мой, милый сын, как резвый и живой
Малютка розовый, играешь ты со мной!

Тебе по вечерам я сказываю сказки,
И вдруг ты тяжело дышать начнешь, и глазки

Блеснут слезинкою... Задремлешь ли порой,
Задумываться я люблю перед тобой

И губок подвижных в изменчивом движенье
Угадывать твои невинные виденья...

И вот ты вырастешь... Быть может, для тебя
Судьба не даст сказать мне сказку про себя,

Вот *Сны* тебе мои... В них всё, что хладный опыт
Открыл мне, проведя чрез слезы, скорбь и ропот.

Свидетель будешь ты уже поры иной:
Быть может, наши *Сны* сочтешь уже мечтой

И сказкой наш удел и наших дней страданья...
Молю — да будет так!..

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

Есть домик — он теперь глядит уж старцем сирым,
Но некогда он мне казался целым миром!

Уютно он стоит между берез и лип;
У дома спуск крутой, а там — реки изгиб,

И за рекою луч, сквозь дождевую тучу,
Блестит на городке, на домах, сбитых в кучу.

Веселый смех детей, как в роще пенье птиц,
Звучит в том домике; в нем нет угрюмых лиц,

И видимо на всем благословенье бога,
Хоть бедность не чужда была его порога;

Зато там был приют простых и добрых чувств
И билися сердца при имени искусств.

Искусства труженик, без жажды славы лживой,
Отец мой там обрел приют себе счастливый.

Что в жизни вынес он, каким достиг путем
Житейской мудрости — не знали мы о том...

Вокруг его друзья немногие сбирались;
Все вместе старились... лишь смертью
разлучались...

Нам свято имя их: они учили нас...
Но он, божественный, бывало, углубясь,

Как бы исполненный душевного виденья,
Он пишет в мастерской святых изображенья, —

Всё из саду к нему заглядываем мы...
Всё было чудно нам средь влажной полутьмы

В пространной мастерской: болезненная дума
В лице художника, творящего без шума,

В самозабвении, статуи возле стен,
Холодные как смерть, и подвижной манкен

С румяной маскою, с горою кудрей жестких,
Сидящий как пророк на плотничьих подмостках.

Но бросил кисть отец, и «дети» крикнул нам,
И мы со всех сторон бежим по цветникам,

Все, даже меньшие, к нему, привстав на цыпки,
Руками тянутся и ждут его улыбки...

О, много я часов в той мрачной мастерской
Провел потом, носясь бог знает где душой!..

Из братьев я хоть был всех старее годами,
Но разум спал во мне, как озимь под снегами...

Когда сбирались мы в кружок по вечерам
И мать из Библии урок читала нам,

Тяжелый сон меня одолевал при чтенье...
Но помню, раз она о первых днях творенья

Рассказывала нам по книге Бытия, —
Впервые изумлен, внимал прилежно я,

И после чтения, как братья шли уж в спальни,
Тихонько убежал я сада в угол дальний

И, взоры устремив на звездный свод небес,
Казалось, понял смысл прочитанных чудес.

С тех пор ума во мне господень перст коснулся,
И он от праздного бездействия очнулся.

И много лет потом я помнил этот миг,
И посвятил ему свой первый детский стих.

Когда же мать моя нашла его случайно,
Я, вспыхнув, убежал, стыдясь за труд свой тайный,

И плакал я, когда она меня нашла,
И кудри гладила, и с лаской обняла,

Стараясь мне взглянуть в потупленные очи...
Я точно вышел вдруг на свет из мрака ночи,

И в чудном блеске мне являются всегда
И отрочества дни, и школьные года,

Когда беспечно пел я солнце, моря волны,
Волною на песок закинутые челны

И дев невидимых, которых посвящал
Я в красоты лесов, пустынь и диких скал.

Но город, где я рос, мой дар считал юродством.
Хоть люди в нем цвели от праздности дородством,

Но праздность видели в занятиях моих
И кару в худобе моей за чтенье книг.

И лишь немногие и близкие знакомцы
Да бурсы городской смиренные питомцы

Мои творения читали — кто бранил,
Кто неумеренной хвалой превозносил.

Но я почувствовал, что их суда мне мало.
Иное поприще мечта мне открывала.

К нам быстрая молва за вестью весть несла,
Что в мире поднялась борьба добра и зла,

И каждое ловил я огненное слово,
И жаждал искусить свой дух в борьбе суровой...

Так в замке, на скале, на дне сырой тюрьмы,
Вдруг слышно узнику среди глубокой тьмы,

Что с моря выстрелы несутся боевые,
Всё ближе... Вот дрожат граниты вековые,

Вот парус как пятно в окне его мелькнул,
И ветр к нему занес и дым, и криков гул;

Кругом шипят в воде и бьют о камень ядры;
Он слухом лишь следит, как движутся эскадры,

И кинулся б к окну — да окна высоки!
И, проклиная цепь, он плачет от тоски...

И я решил отцу открыть свои мученья
И на далекий путь просить благословенья.

Спокойно выслушал слова мои старик
И, помню, просиял как юноша в тот миг.

«Тебе не место здесь», — сказал он, вдохновенный,
И к матери повел в покой уединенный.

И говорил я ей, что гибну я в глуши;
Что дар коснеет мой в бездействии души;

Что славное пришло для человека время;
Что новое господь на землю бросил семя;

Что в душу избранных его он насадил
И страждущим раздать велел, и — час пробил —

Сияет и для них надежды свет любезный,
Как Ною радуга над беспредельной бездной;

Что зданья старого дрожит уже скелет
И в трещины его уж новый блещет свет;

Что некий муж, в ночи являясь, мне глаголет:
«Где посох твой? Вставай!» — и в путь идти
неволит.

«Пусти, — я умолял, — я буду утешать
Надеждой скорбного и добрых прославлять!

Всё выслушав, она промолвила мне строго:
«Но где же знаменье, что это голос бога?

Нам сказано: не все внушенья — от небес,
И образ ангела приемлет часто бес».

А я: «Нет, не земным подвигнут я внушеньем,
Его проверил я молитвой и сомненьем.

Кто знает? То, над чем и старец изнемог,
Нередко лепетом младенца скажет бог!

О, не держи меня и дай благословенье,
Да чистый шествую я ближним во служенье».

И голову склонил к ее коленам я.
И, взор то на отца стремя, то на меня,

Сказала дивная дрожащими устами:
«Тебе ответствовать могу я лишь слезами!

Останешься ль у нас — ты будешь тосковать
И скрытой скорбию мне душу надрывать!..

Уйдешь... о, для чего тебя я породила!..»
Но больше говорить ей сила изменила,

И плакала она, склонясь ко мне главой,
И тихо молвила: «Иди! Господь с тобой!»

Досель, о дивная, мне образ твой сияет!
Слеза безмолвная с ресницы упадает...

Покорно говорят уста твои: «Иди!»,
А руки жмут меня к взволнованной груди...

Но вот отец развел твои тихонько руки,
И обнял он тебя, свои скрывая муки,

Мне подал знак уйти, а сам тебе шептал
Слова святых надежд и в очи целовал...

И я оставил сень отеческого дома.
И дни прошли в пути. Душевная истома

Меня лишала сил. Осенний ветер выл...
Впервые понял я, как дом отцовский мил.

Я всюду видел мать: душа ее болела,
Всё что-то высказать, казалось, мне хотела...

Из сердца моего, бог ведает куда,
Мечты умчалися, как птички из гнезда...

Я на горы взошел. Долины в мгле тонули,
И звезды в небесах холодные блеснули...

И страшным сном в ту ночь мой дух был
возмущен.
То был пророческий, тревоги полный сон.

Он возвестил мне всё, что после совершилось...
Но поздно мне его значение раскрылось.

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

Мне снилось, что я всё в горах еще бродил.
Всечасно на пути мой шаг меж плит скользил.

Лопух, чертополох за платье мне цеплялись,
И будто духи, в них дремавшие, взвивались

И били крыльями, как птицы. Грудь мою
Сжимал пустыни страх. Вдруг вижу, на краю

Обрыва гор стоит почтенный странник, резко
Рисуясь статуей на небе, полном блеска.

Я радостно, узрев живое существо,
Как младший старшего, приветствовал его.

Он поднял голову, как будто с неохотой
Прощаясь с думою и тяжкою заботой.

«Куда стремишься ты?» — спросил он. Я в ответ:
«Ищу я истины, иду туда, где свет».

Он на слова мои так горько улыбнулся,
Что я потупил взор и духом содрогнулся.

Но тотчас прежний вид спокойствия приняв,
Он молвил кротко мне: «Да, юноша, ты прав.

Иди за мной. Тебе я славный путь открою».
Сказав, он до меня дотронулся рукою,

И полетели мы в пространстве голубом,
Как два орла летят, не двигая крылом.

Воздушный сей полет мне не казался странным.
Дол скрылся. Месяц всплыл над облаком туманным,

Как будто снежную метель в нем серебря,
И дух мой весел был. Когда ж зажглась заря,

Обширный увидал я город. В нем, как ленты,
Шли улицы. Кругом дворцы и монументы,

И башни, и мосты. Народ везде кишил,
Как в муравейнике, и к площади валил,

Где цельные быки на вертелах вращались,
Пылали маяки и знамена качались.

И стал я различать, спускаясь, звук трубы,
И стон, и вой, и крик, и частый треск пальбы.

У городских ворот спустились мы на землю,
И я едва успел опомниться, как внемлю,

Что по полю на нас толпа людей валит,
Как туча черная, и дико голосит.

Как пух во облаке поднятой вихрем пыли,
Помчался с ними я. Они в крови все были,

И я гляжу — на мне одежды не мои!
Я тронул их рукой — смотрю, рука в крови;

Я крикнуть к спутнику хотел, но вижу: красным
Он машет колпаком и голосом ужасным

Перед толпой вопит, как зверь свиреп, космат...
«То он ли?» — думал я и страхом был объят.

Но он, схватив меня рукой, «Беснуйся с ними!
Кричи! — сказал. — И прочь с сомненьями пустыми!»

Вбежали в город мы. Дома одни горят,
Другие грудою дымящейся лежат;

Повсюду битвы след. Размощены дороги,
Об мертвых, что ни шаг, то путаются ноги.

Там, с шпагою в руке, патриций молодой
Лежит, упав навзничь, с разбитой головой.

Там женщина: с одежд струею кровь лиется
А на груди ее живой ребенок бьется.

За горло двое там схватясь, разинув зев,
Валялись мертвые, в борьбе окостенев.

Там груды целые, и мы чрез них неслися,
И выбежали вдруг на площадь, где стеклися

Несметные толпы и точно ждали нас,
Вокруг больших костров крича и веселясь.

И начали кидать в костер сокровищ груды.
Со звоном лопались хрустальные сосуды.

Церковной утвари расплавленный металл
С костра горящими ручьями ниспадал.

На куклу вздев венец и царские доспехи,
Ее повергли в огнь при сатанинском смехе.

«Воспой их торжество!» — мой спутник мне вопил,
Но новый шум меня сильней того смутил.

Я вижу — женщину везут на колеснице
И честь ей воздают, как следует царице.

То полная была, румяная жена.
Чело в венке из роз, до чресл обнажена,

На клики и почет, что чернь ей расточала,
Ругательством она и смехом отвечала.

Вокруг танцовщицы шли, бубнами стуча,
Жрецы, и трубачи, и вестники, крича:

«Раздайтесь! Се Любви богиня, Мать-Природа!»
Как змей ползет в нору, вся вереница хода

По лестнице во храм ушла. И я толпой
Туда же вдвинут был. Тут дух смутился мой

Иным позорищем. Весь храм сиял огнями.
От верху до низу, как в цирке, ступенями,

Шел помост, как цветник, толпой мужей и жен
Пестрея. Посреди был идол водружен —

Сатир, при хохоте вакханки богомерзкой,
Срывающий покров с весталки лапой дерзкой.

У ног кумира сонм жрецов стеной стоял
И в пламенных речах собранью возглашал:

«Возрадуйтесь! Конец насильству и работе:
Мы мир преобразить грядем во имя плоти!»

В ответ, при стуке чаш, при кликах торжества,
Вокруг раздался взрыв хулений божества,

И с наглостью мужи и жены пред собраньем
Являли свой восторг бесстыдным лобызаньем.

Мой спутник тихо мне: «Сегодня кончен бой
За власть. Наутро же подымется другой.

Покуда — твой черед. Мгновение приспело,
И слава — твой удел, лишь что скажу я — делай!»

Сказав, явился он в кругу жрецов других,
Как их верховный жрец, в одеждах дорогих.

Пред голосом его их крики были малы.
Так пред рыканьем льва смолкают вдруг шакалы,

И хор болотных жаб, и крики птиц ночных,
И всякий звук в степи замрет на краткий миг.

Ругаясь над трудом, над троном, над святыней,
Он чернь превозносил и, призывая ныне

Ее к великому свободы торжеству
И наглым образом уподобляя льву,

Который, цепь разбив и надышавшись волей,
От гнева отдыхать улегся на престоле,

Воззвал ко мне: «Певец! Вот наше божество! —
На идол указав. — Воспой же нам его!»

И подал с высоты мне золотую лиру.
Но, любострастному в лицо взглянув сатиру,

Негодования не мог я превозмочь
И лиру срамную отбросил гневно прочь.

«Свобода, — я вскричал, — не пир, не рабство крови,
А духа торжество и благодать любови!

От сердца песнь моя; а сердцем чужд я вам
И гимна не спою разнузданным страстям!»

Мой спутник с высоты меня окинул взором,
И взор его блеснул, как молния, укором.

Но я, трепещущий, далёко был. В тот миг
Виденья чистые моих пустынь родных

И профиль матери, пред образом стоящей,
Мелькнули предо мной... Так путник, весь дрожащий,

В грозу, при молнии увидит пред собой
Вдруг церковь белую средь темноты густой.

Но то был миг один. По храму гул промчался.
И, точно гром в горах, ужасный крик раздался:

«В огонь его, в огонь поборника цепей!»
И всё задвигалось. Жрецы от алтарей,

С подмосток вся толпа, как лютых тигров стая,
Рванулась на меня, всё на пути ломая...

Я схвачен, поднят был и, слыша дикий вой,
На зверских лицах вкруг конец читая свой,

Я бился, выскользнуть стараясь на свободу,
Как угорь пойманный скользит и рвется в воду

Из рук детей, в весну шумливою гурьбой
Пришедших на расплёс, оставленный рекой.

Но, выбившись из сил, уже я помню смутно,
Что с хохотом слился народа рев беспутный,

И я над бездною туманною стою,
И подле путник мой, личину сняв свою,

Как прежде, важен, тих, и с кротостью благою
«Прощай, — мне говорит, — мы встретимся с тобою.

Но помни: океан, бушуя, ил со дна
Подъемлет, но потом уляжется волна,

И берега цветут от брошенного ила».
Значенье этих слов тогда мне тайной было.

От ужаса едва сознание храня,
Я смутно понимал, что вождь мой спас меня.

И он исчез. И тут от скорби и смятенья
Я стал переходить в холодное забвенье.

Лишь чувствовал, что мрак вокруг меня густел,
Сырой, ужасный мрак... и я летел, летел...

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

Когда заблудшийся в ночи, в лесу густом,
Вдруг слышит шепот струй и, слухом лишь ведом,

Приходит к озеру, и вдруг на влаге спящей
Увидит — огонек плывет к нему дрожащий,

Поняв, что то ладьи вдоль берега кружат,
Что раков ловят там иль сонных щук багрят,

Он мыслит, что спасен от голода и зверя,
И дышит радостно, в свое спасенье веря, —

Так жизни свет в душе я снова ощутил.
Еще без голоса, но очи уж открыл

И, приходя в себя, был рад, что сердце билось,
И всё понятнее кругом мне становилось.

На лестнице дворца лежу я, недвижим,
В ином уж городе. Патруль прошел. Но им

Я не замечен был. Заря меж тем вставала,
И бледная лазурь на небе оживала.

Я встал и в путь пошел. Всё тихо. Ни собак,
Ни запоздавшихся по улицам гуляк.

Вот зданье — всё темно, но уж над ним зарею
Сияла статуя, держа весы рукою.

Там первые лучи заискрилися вдруг
На буквах золотых. Прочел я: «Храм наук».

Я дальше. Вот чертог. Уж окон верхний ярус
Горит как жар. Лес мачт, кой-где алевший парус,

Меркурий и Нептун мне дали разуметь,
Что то торговли храм. Успел лишь оглядеть

Его, как пантеон узрел я величавый
«Гражданских доблестей и дел воинской славы».

На солнце он уж весь сиял. К нему пути
Уставлены людьми, литыми из меди.

С гранитной лестницы, опершись о перила,
Смотрел я вниз — и дух мой радость окрылила.

Столб солнечных лучей забрызгал по реке;
С церквей понесся звон. Вблизи и вдалеке

Задвигался народ; суда пошли, обозы...
«О, вот счастливый край!» — воскликнул я сквозь слезы.

Тут двинулись полки, литаврами гремя.
Народ в какой-то храм бежал. За ним и я.

«Алтарь отечества», — прочел я у фронтона.
Войска туда несли развитые знамена.

Явился царь. Как лев, спокоен был он, тих;
Как солнце он сиял средь подданных своих,

Среди сподвижников цветущих и маститых,
Широкой лентою через плечо повитых.

С явлением его в строю блестящих рот
Раздался звучный клик, и шапки снял народ.

Мне в душу ясный лик царя запал глубоко,
И я для сей страны стал гимн слагать высокой.

Попарно уж стихи рождались в голове;
Виднелась бездна рифм, как по лугу в траве

Блестящие цветы, и ими прихотливо
Стал мысль я убирать и стих ловить счастливый,

Как праздник кончился и, говора полна,
От храма хлынула народная волна.

Я с нею двинулся. Но дух мой умиленный
Смущен картиною нежданною мгновенно.

В народе, вижу я, схватили старика.
С бумагою его костлявая рука

Махала высоко в толпе над головами.
«К царю, к царю!» — вопил он, скрежеща зубами.

«Что это?» — я в толпе ближайшего спросил,
Но, оглядев меня, тот взоры отвратил.

Когда же, стражею осилен, старец скрылся,
Стоявший предо мной ко мне оборотился

И, задыхаяся от внутренней грозы,
Сказал мне, осуша в ланитах след слезы:

«Ты, верно, здесь чужой иль вырос на безлюдье,
Что смеешь говорить пред делом правосудья!»

Но, умягчась потом: «Старик тот в годы слез
Всё достояние отечеству принес.

Но комиссар хотел присвоить часть из дара,
И жаловаться он пошел на комиссара.

И как уж суд судил — не знаю до сих пор, —
Но он был обвинен как казнокрад и вор,

А комиссар и днесь, без всякой укоризны,
Жиреет бедствием народа и отчизны».

Заметив мой испуг, он продолжал смеясь:
«Однако не всегда блаженствует у нас,

Кто смело заповедь нарушит «не укради».
Ссылают и воров, разнообразья ради.

Как пес прикормленный, здесь вору друг — закон,
Лишь не воруй один. Строжайше заведен

Порядок у воров, и в том их самохвальство,
Чтоб часть была тебе, а часть бы для начальства!

В всеобщем грабеже — всеобщий и дележ!
А грянет свыше гром — виновных не найдешь!

В начальстве — ни пятна, и честны ревизоры,
А царство целое едят, как черви, воры!

Старик тот ждал царя... Мы рвемся все к царю!
Да свечи за него мы ставим к алтарю!

Он — вечный труженик, он строг и мудр, мы
знаем, —
Но путь до истины ему недосягаем.

Куда ни взглянет он, сам жаждой знать томим,
Мгновенно вид иной приемлет всё пред ним!

Стеной клевет, и лжи, и лести ядовитой
И царство от царя и царь от царства скрыты.

Но... боже! что со мной! — сказал он, вздрогнув
весь. —
Всё видеть и молчать — в том мудрость жизни
здесь!

Да рвется из души невольно злое горе».
Замолкши, канул он в толпе, как камень в море.

Мне душу охватил неведомый испуг.
Увидя вдалеке знакомый храм наук,

Я в сень его спешил искать успокоенья.
Тут новое меня сразило изумленье.

Я вижу — юноши сидят на ступенях,
С котомкою у ног, с слезами на глазах.

На их одеждах пыль дороги отдаленной.
Украдкой между них нырял старик согбенный

И, озираясь вкруг, им книги раздавал.
Меня увидя, он в отчаянье вскричал:

«Еще один! и ты, как в край обетованья,
Из дальней, чай, страны пришел ко храму знанья!

Увы, несчастные! закрыт для вас сей храм!»
И, отойдя со мной, он волю дал речам:

«Ты старше всех, тебе за тайну я открою:
Наука сражена была здесь клеветою.

«Наука — это бунт!» — твердили в слух царя...
Коснулся дерзкий лом его уж алтаря.

Затушен был огонь, и, как воспоминанье,
Для вида надпись лишь оставлена на зданье.

Лишь избранная там вкушает молодежь
В софизмы дикие обернутую ложь...

Наука, вся в слезах, как скорбная Ниоба,
Средь воплей чад своих, которых давит злоба,

Возводит взор к царю... Но слух его закрыт!..
О, если бы ты знал, как грудь ее скорбит!

Устроен трибунал под веденьем сержанта,
Чтоб крылья обрезать у всякого таланта.

Сломив сатиры бич и в форменный наряд
Одевши резвых муз, от мзды спасли разврат,

Как будто видели в его распространенье
Необходимое для царства учрежденье!..

Беги от здешних мест, пока есть мощь в душе!
Я — стар, и зло допью в заржавленном ковше...

Был тоже молод я, был верный жрец науки...
Беги, — сказал он, сжав мне крепко обе руки, —

Беги, иль, оробев однажды навсегда,
Не знай в душе своей ни чести, ни стыда,

Не то — да будет вот, смотри, тебе уроком», —
И оглянулся я: в молчании глубоком

Пред нами скованных колодников вели.
Солдаты с ружьями вкруг их сурово шли,

Прохожие в суму монету им кидали
И молчаливо их глазами провожали.

Меж зверских лиц один пленил меня красой
И взглядом женственным, и я, скорбя душой,

Несчастному подать желая утешенье,
Спросил, приблизившись: «В чем ваше преступленье?»

Один ответил тут мне с хохотом в устах
Такою шуткою, что мозг в моих костях

Сотрясся и душа почуяла злодея.
То слыша, юноша, собою не владея,

С цепями длань подняв, «о боже» простонал
И, видя ужас мой, весь вспыхнув, мне сказал:

«Не думай, что мы все безбожники такие!
Мы терпим ту же казнь, но за вины другие,

Хоть выше кары нет, как чувствовать весь век,
Что об руку с тобой есть зверь, не человек!»

«За что ж, — спросил я, — ты страдаешь, отрок милый?»
— «О, юности моей потерянные силы!

Как почки сочных роз, вы сгибли не цветя! —
Воскликнул он. — Я был почти еще дитя,

Почти по слухам знал отечества я раны,
И — дети — строили безумные мы планы!

Но в детском лепете был слышен правды глас, —
И вот — с злодеями сравняли казнью нас!»

«Несчастный!» — я вскричал, ушам не доверяя
И жаркие к нему объятья простирая, —

Но сторож с важностью меня отсторонил
И, перепуганный, вкруг взоры обводил;

Старик же за руку схватил меня тревожно.
«Что ты? — он закричал. — Что ты, неосторожный!

Несчастье ближнего прилипчивей чумы!
О, горе нам теперь! погибли оба мы!»

И, судорожно сжав мне руку, он стрелою
Помчался в ужасе, влача меня с собою.

Я падал, я стонал, а он вопил: «Беги!» —
Как будто гнали нас незримые враги.

Вот город кончился, вот поле вкруг глухое,
А всё в ушах «беги!» звенело роковое,

«Беги!». Но скоро я упал, изнеможен,
Вцепяся в спутника, но гневно рвался он...

Так утопающий товарища хватает,
Который сам терять уж силы начинает

И в ужасе, презрев несчастного мольбу,
В богопротивную вступает с ним борьбу...

Но миг — и вырвался вожатый мой и скрылся...
Широкий горизонт вкруг мраком обложился...

В тупом бессмыслии глядел я, как исчез
Последний лоскуток лазуревых небес,

И показалось мне, что бог во глубь эфира
Уходит, отвратя лицо свое от мира,

А сумрачный Князь Тьмы, с тиарой на челе,
Победно шествует владыкой по земле,

И с ним его сыны, как псов голодных своры,
Трибуны и жрецы, клеветники и воры...

И вот уж с грохотом тяжелых колесниц
Всё ближе визг и вой... Я пал на землю ниц,

Слова младенческих молитв припомнить тщился
И только «Отче наш» сказал — и пробудился.

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ

С тех пор прошли года... Обманут верой страстной,
Я в жизни изнемог... Сбылся мой сон ужасный!..

Повсюду пламенным мечтам моим в ответ
В судьбах народов я читал: «Надежды нет!»

С презрением в душе к бессилью человека,
Все боли разделив обманутого века,

Равно я поражал насмешкою своей
И веру стариков, и страстный пыл детей.

Сомненье стало мне и гордостью, и мукой,
И им кичился я над чернью близорукой.

Лишь тот, кто слышал раз, как, падая, стучит
Земля о хладный гроб, где труп любезный скрыт,

Поймет, как тяжело душе, в порыве к благу,
С горячей верою, терять на жизнь отвагу;

Поймет, как тяжело, стуча рукою в грудь,
В отчаяньи стонать: «Всё тщетно! Кончен путь!

Нет! с жизнью нечего мне больше лицемерить,
В ней нечего любить, и не во что в ней верить!»

Болящею душой в забвеньи потонуть
Хотелось мне, и вот опять я вышел в путь...

Дохнуть мне воздухом пустынных мест хотелось,
Где сладко некогда мне думалось и пелось...

Я шел — и каждый миг ясней мне образ был,
Каким я тот же путь когда-то проходил.

Тот образ точно шел теперь со мною рядом,
Как мальчик с старцем, то допрашивая взглядом

Иль словом старика, то мчась за мотыльком,
То лепеча с собой бог ведает о чем.

И душу умилил мне спутник мой незримый,
Святым неведеньем и верою водимый.

Вон церковь вдалеке — и он свернул с пути
Туда вечерние молитвы принести;

Колодезь — там стоит крестьянка молодая,
Толпятся овцы вкруг, у пойла ожидая, —

Он деву мысленно Ревеккою зовет.
Там жатва: труд кипит, сверкает серп, и вот —

Из книги Руфи стих, как рожь, благоуханный,
Твердит он, запахом колосьев обаянный...

И вот на рубеже лесов и гор родных
Благословенный сон коснулся вежд моих.

Мне снилось: сквозь туман ищу я всё дорогу,
Но вот густая мгла редеет понемногу;

Долина чудная открылась предо мной,
Сады цветут вдоль гор, алеющих зарей;

Озера розовым вдали сияют блеском,
И воды нежат слух, как арфы, звучным плеском.

Прохладный ветерок на голову и грудь
Порхнул мне, и едва я им успел дохнуть,

Как вижу — предо мной та Муза, что слетала
Ко мне в те дни, как мать нам Библию читала,

И та же у нее звучала песнь в устах,
И в этой песне всё, как в утренних лучах,

Дышало свежестью — святые сердца грезы,
Молитвой тихою исторгнутые слезы,

И счастья, и добра высокий идеал...
И, слушая ее, я тихо зарыдал.

Она ж мне ласково: «Мечтатель одинокий!
Как смертный, как слепец свершил ты путь далекий!

Из жизни мира ты единый видел миг:
Его не обнял ты и смысла не проник!

Последуй же туда, где смертных суд смолкает».
И вот — небесная мне руку простирает,

И, как две горлицы, теряяся в лучах
Златого утра, мы помчались в небесах.

В странах заоблачных полет наш удержала
Она и молча вниз рукой мне указала.

Святая на земле царила тишина.
Я жадно узнавал, где город, где страна,

В которых я бывал, где тщетно тратил силы,
Где лучших сверстников оплакивал могилы...

Но — чудо! Города, которые кляня,
В слезах отчаянья навек покинул я,

В которых, думал я, всё гибнет без возврата
От беззакония, слепотства и разврата, —

Блистают и цветут! На всем печать труда!
Как чайки к ним плывут крылатые суда...

Вон слышны молотов удары, вздохи ма́шин,
И рог пастушеский, и песнь с лугов и пашен,

И, изумлением проникнут, я спросил:
«Какой же это мир? Откуда столько сил?

Вот край. Он сдавлен злом, но рвется жизнь отвсюду,
Как сочная трава сквозь каменную груду.

А это что?.. Смотри: там люди строят храм...
Ужель то зодчий их?.. Да, точно!.. То он сам!..

Его я видел раз... он был тогда ужасен!..
Как он задумался! Как силен! Как прекрасен!..»

Она ж: «На время дух пытливый усмири.
Я трепещу сама. Все силы собери,

Как бы готовяся на подвиг чрезвычайный...
Я подыму покров теперь с великой тайны».

И вот, клубясь, с земли промчался фимиам,
Как в арфе струнный гул, послышалося нам,

Что звуки носятся по горнему чертогу.
И Муза: «То летят мольбы народов к богу!

Внимай!» И, трепеща, в мольбах земных племен
Услышал я слова: «Отец! ты совершен, —

Да будем, яко ты, и мы все совершенны!»
Тут точно с глаз моих покров совлекся тленный,

Но Муза мне: «Молись от сердца полноты!
Пред человечеством глубоко грешен ты.

Знай, к свету жизнь его стремится шагом твердым.
В ней страсти розные звучат одним аккордом.

И слышит полноту и мощь его лишь бог.
Мысль не проходит мир без жертвы и тревог,

И зло в руке творца есть жезл вождя железный,
Вам указующий на пропасти и бездны.

Ты человечества таинственный удел
Лишь жизнью смертного измерить захотел...

Нет, поколенья в нем, события и люди —
Как цвет один, как мысль, как вздох могучей груди.

Идет оно вперед, безмолвно, как судьба,
Ступает на цветы, ступает на гроба,

Упадших жертв в среде своей не замечая,
То руша, то творя и каждый миг мужая...

Безумец, подыми в веселии чело!
В самом в нем сила есть, врачующая зло!

Там — грянет вдруг она торжественным ударом:
Войной, и ужасом, и кровью, и пожаром;

Здесь — всходит, как заря, в предызбранных мужах,
Нередко с царскою порфирой на плечах...

Ты плачешь... То слеза любви и умиленья!..
Но вижу я в тебе еще одно сомненье.

Как созерцаньем звезд, ты мыслию одной
О человечестве подавлен, и с тоской

Ты мыслишь: что же ты в безгранном этом море?
Былинка, прах, ничто? Что труд твой? Слезы, горе?

Из малых капель слит могучий океан:
Так с человечеством, о смертный, ты слиян!

Ты — часть его, ты — луч единого светила!
Твой жребий с ним один, в тебе одна с ним сила!

Стремися лучшим быть, трудись, иди вперед —
И веруй: чистый труд во благо всех идет...

И ты, певец, блажен, — блажен, что знал страданья!
Ты утвердишь на них души своей созданья!

Терновый путь ведет певца до высоты,
Откуда ясен мир, — ее достигнул ты,

И пусть из царства зорь, из мира благовоний,
И вечной юности, и света, и гармоний

На землю падает святая песнь твоя,
Как в знойный день роса, свежащая поля,

Как лучшей жизни весть, как пенье вольной птицы,
Мелькнувшей узнику в отверстии темницы.

Блаженством чистых слез смягчив сердца людей,
Та песнь их возродит для новых, лучших дней...»

О, речи чудные!.. И я впивал их жадно,
Как нива в засуху впивает дождь отрадный...

Мой жребий просиял. Мгновенно новый свет
Мне разом озарил событья многих лет..

Как шум незримых вод, в грядущем в то мгновенье
Почуял я тоску и радость вдохновенья...

И, полн восторга, в путь я снова поднялся...
И вот — они шумят, родимые леса!

Вот старых лип верхи, и вот, меня встречая,
Визжит домашний пес... Вот дом, вот
мастерская,

И у треножника сидит седой старик
И пишет, прослезясь, Скорбящей Девы лик.

Знакомым голосом встревожен, кисть бросает..
Вот с воплем мать бежит, смеется и рыдает,

И к сердцу жмет меня, и шепчет в тишине:
«На горе ты рожден... но тем и мил ты мне!»

(1855)
Петербург

Корвет «Баян»
1856—1858

ПРИМЕЧАНИЯ

А. Н. Майков прошел более чем полувековой творческий путь. Первый сборник его стихотворений вышел в 1842 г., а последнее прижизненное собрание сочинений Майкова в трех томах было издано в 1893 г. Вслед за первой книгой в 1847 г. были изданы «Очерки Рима», а в 1855 г. — составленный из стихотворений, связанных с событиями Крымской войны, сборник «1854-й год». В 1858 г. вышло первое собрание произведений Майкова в двух книгах, в 1872 г. — новое издание (в трех частях). Между ними, в 1864 г., появился сборник «Новые стихотворения А. Н. Майкова» (1858—1863).

В 1884 г. вышло в свет первое «Полное собрание сочинений» в трех томах. На титульном листе значилось: «Издание четвертое, исправленное и дополненное автором» (в качестве трех первых рассматривались, по-видимому, сборники 1842, 1858 и 1872 гг.). Об этом издании Майков писал 22 ноября 1883 г.: «...полное в смысле того, что автором выбрано и одобрено. Не вошло многое» (ГПБ). В 1888 г., в связи с пятидесятилетним юбилеем творческой деятельности Майкова, была издана небольшая книга его стихов, названная по дате юбилейных торжеств «30 апреля». В том же 1888 г. вышло следующее, пятое издание «Полного собрания сочинений» с очень небольшими дополнениями по сравнению с предшествующим, четвертым. Последнее прижизненное (шестое по счету) «Полное собрание сочинений» Майкова было издано в 1893 г. После смерти поэта, в 1901 г. его сочинения вышли седьмым изданием в четырех томах. В четвертый, дополнительный, том вошли произведения, которые, как писал редактор издания П. В. Быков, «были в прежнее время помещаемы автором в журналах, или входили в издания прежних годов, либо были издаваемы в виде отдельных сборников, но затем исключены из собрания позднейших произведений А. Н. Майкова им самим». В 1911 г. под редакцией П. В. Быкова было издано восьмое собрание сочинений Майкова, а в 1914 г., как приложение к журналу «Нива», вышло девятое, наиболее полное собрание сочинений под редакцией П. В. Быкова и с его критико-биографической статьей, посвященной творчеству поэта.

В советское время избранные поэтические произведения Майкова выходили в трех изданиях Малой серии «Библиотеки поэта», подготовленных Н. Л. Степановым (1937 и 1957) и Н. М. Гайденко-

вым (1952). В 1961 г. в серии «Библиотека драматурга» вышло подготовленное и прокомментированное Е. И. Прохоровым издание: «Л. Мей. Драмы. А. Майков. Драматические поэмы».

Настоящее издание является первым опытом научно подготовленного собрания избранных стихотворных сочинений А. Н. Майкова. При его подготовке была проведена сплошная проверка текстов по всем прижизненным изданиям сочинений поэта, отдельным публикациям (Майков печатался более чем в пятидесяти журналах различного направления и многочисленных альманахах и сборниках) и сохранившимся рукописным источникам.

Рукописное наследие Майкова сосредоточено в основном в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук СССР (Ленинград), где содержится около 1300 единиц хранения, включающих в себя объемные черновые тетради поэта, автографы отдельных произведений (как правило, в нескольких редакциях), автокомментарии, обширную переписку. Значительное количество творческих рукописей поэта сосредоточено в Отделе рукописей Государственной библиотеки им. В. И. Ленина (Москва), Отделе рукописей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (Ленинград), Центральном государственном архиве литературы и искусства (Москва). Документы, связанные с цензурной историей некоторых произведений Майкова, хранятся в Центральном государственном историческом архиве (Ленинград) Материалы из названных архивохранилищ, использованные в примечаниях, имеют соответствующую ссылку. Отсутствие ссылки указывает на то, что данный материал находится в Рукописном отделе Пушкинского дома.

В результате сопоставления всех печатных и рукописных источников в настоящем издании восстановлены цензурные изъятия, возвращены к первоначальному виду тексты, подвергшиеся автоцензуре. Произведения, не только не вошедшие в последнее прижизненное собрание сочинений поэта, но и не переиздававшиеся им после первой их публикации (три поэмы 40—50-х годов: «Две судьбы», «Машенька», «Сны»), имели сложную цензурную историю, отраженную в соответствующих цензурных документах («Две судьбы», «Машенька») или в переписке автора («Сны»). Цензурные изъятия двух первых поэм Майков восстановил в нескольких экземплярах своих книг, подаренных им разным лицам. Относительно третьей поэмы мы располагаем многочисленными свидетельствами автора и его современников, выражающих глубокое сожаление по поводу цензурного вмешательства в ее текст. Таким образом, в данном случае, восстанавливая цензурные и отчасти автоцензурные изъятия, составитель настоящего издания опирался на зафиксированную во множестве разнообразных документов авторскую волю. В стихотворении 1843 г. «Сен-Дени», опубликованном в искаженном виде в 1845 г. и более не переиздававшемся, характер разночтений печатного текста с автографом свидетельствует о несомненном цензурном вмешательстве, не подтвержденном, однако, соответствующими документами. Тем не менее составитель счел необходимым восстановить текст стихотворения в первоначальном виде. Некоторые произведения, включенные Майковым в последнее прижизненное собрание сочинений: стихотворения «Мраморный фавн», «Palazzo», «Поля» и поэма «Барышне»,

также несомненно подверглись цензурному или автоцензурному вмешательству при первой и последующих публикациях. Тем не менее при перепечатке названных произведений и включении их в последнее прижизненное собрание сочинений Майков не счел необходимым восстановить текст в первоначальном, не искаженном цензурой виде, сохранив лишь в местах, подвергшихся цензурному или автоцензурному вмешательству, строки точек, указывающие на такое вмешательство. В данном случае доцензурный текст не восстанавливается, а соответствующие сведения о характере переработки, так же как и строки, подвергшиеся изменениям, приводятся в примечаниях.

Сплошная сверка всех печатных и рукописных источников позволила также устранить опечатки предшествующих изданий, в том числе и прижизненных, уточнить даты написания целого ряда произведений, неверно (по памяти, а иногда и в связи с цензурными соображениями) датированных автором.

Работа Майкова над совершенствованием текстов своих произведений в основном проходила в рукописи. Текст почти каждого его стихотворения, поэмы и всех лирико-драматических произведений подвергался огромной правке, а зачастую по нескольку раз переписывался заново. Поэтому объем вариантов рукописных редакций значительно превышает объем всего майковского поэтического наследия. Печатные варианты, вопреки распространенному мнению, также достаточно обширны, причем бо́льшая их часть приходится на поэмы и лирические драмы.

Таким образом, в настоящем издании не представляется возможным без ущерба для публикации основных текстов выделить специальный раздел, посвященный другим редакциям и вариантам. Лишь в примечаниях к некоторым произведениям демонстрируется работа Майкова над ними, при этом преимущественное внимание уделяется тем вариантам текста, которые связаны с его цензурной историей или коренным изменением авторского замысла.

При составлении своих сборников и собраний сочинений Майков придавал серьезное значение их композиции. Начиная с издания 1858 г. поэт располагал свои произведения в определенном, но не хронологическом порядке, объединяя их в большие тематические или жанровые разделы, которые в совокупности создавали представление о движении и развитии авторской мысли, идейных и нравственных исканиях автора, важнейших этапах его биографии, его пристрастиях и интересах. От издания к изданию название и наполнение некоторых разделов менялось, но сама идея распределения стихотворений по определенным разделам оставалась неизменной.

В основу настоящего издания положено последнее прижизненное собрание сочинений Майкова 1893 г., дополненное и исправленное самим автором. Полностью сохраняется авторская композиция, т. е. распределение произведений по томам, названным Майковым: «Лирика», «Картины», «Поэмы», а внутри томов — по тематическим разделам («В антологическом роде», «Подражания древним» и т. д.). Не меняется также порядок расположения текстов внутри разделов. Однако бо́льшая часть этих разделов печатается не в полном составе, поскольку и объем, и задачи настоящего издания предполагают публикацию лишь той наиболее характерной части поэтиче-

ского наследия Майкова, которая сохраняет эстетический или исторический интерес.

Составляя собрание своих сочинений, Майков проводил тщательный и придирчивый отбор текстов, оставляя за пределами издания как те произведения, которые казались ему устаревшими или слабыми, так и те, концепция которых по прошествии многих лет представлялась ему неприемлемой.

Следуя в этом отношении авторской воле, составитель настоящего издания счел необходимым отступить от нее в тех случаях, когда то или иное произведение Майкова, им не переиздававшееся, имеет принципиальное значение для характеристики идейной и творческой эволюции автора. В первую очередь это относится к поэмам Майкова 40—50-х годов («Машенька», «Две судьбы», «Сны»). Включены в настоящее издание и такие произведения, как «Коляска», «Арлекин» и некоторые другие, неприемлемые по своей политической тенденции, но ставшие предметом широкой полемики и сыгравшие определенную роль в идейном размежевании 50—60-х годов.

В соответствии с изложенными выше композиционными принципами, в первые три раздела настоящего издания помещены только те произведения, которые были включены Майковым в последнее прижизненное собрание сочинений (1893). В последний раздел вошли стихотворения и поэмы, не включенные автором в это основное собрание или извлеченные из архива поэта (внутри жанровой рубрикации они расположены в хронологическом порядке).

Даты первой публикации (или год, не позднее которого написано произведение) заключены в угловых скобках; предположительные даты отмечены вопросительным знаком; двойные даты, отделенные запятой, указывают время написания и существенной (иногда коренной) переработки текста; двойные даты, отделенные тире, означают, что произведение создавалось в течение ряда лет. Все примечания в тексте, не оговоренные как редакторские, принадлежат автору.

В разделе «Примечания» приводятся необходимые историко-литературные сведения о каждом произведении, кратко характеризуется его творческая или цензурная история. В библиографической части примечаний вслед за порядковым номером произведения указывается его первая публикация, затем (через точку с запятой) последующие ступени изменения текста и (после точки) источник, по которому печатается данное произведение. Ссылка на первую публикацию без дальнейшего указания на источник текста означает, что произведение печатается по первой публикации, так как его текст не перепечатывался более или перепечатывался без изменений. Простые перепечатки текста (в том числе и отдельные издания) в библиографическую справку не включаются. Целый ряд произведений Майкова при жизни автора, но, по-видимому, без его ведома перепечатывался (часто с искажениями текста или в ранних, отмененных Майковым редакциях) в хрестоматиях, книгах для народного чтения и сборниках стихотворений, предназначенных для исполнения на эстраде.

Сведения об этих публикациях в библиографической справке не приводятся. Также не сообщаются в примечаниях данные о музыкальных произведениях, написанных на слова Майкова. Они

имеются в справочнике Г. Иванова «Русская поэзия в отечественной музыке» (до 1917 г.), вып. 1, М., 1966.

Объяснение устаревших слов, географических названий, а также имен и названий, связанных с античной и библейской мифологией, историей и т. п., вынесено в Словарь (при пояснениях в Словаре, так же как и в примечаниях, учитывается контекст, в котором встречается поясняемое слово). Выделенные в комментариях разрядкой имена и названия поясняются в соответствующих местах Словаря, определяемых алфавитом.

Орфография и пунктуация текстов приближены к современным. Сохранены только те индивидуальные и исторические особенности написания, которые имеют значение для произношения слов, ритма и интонации стихов.

Условные сокращения, принятые в примечаниях:

БдЧ — «Библиотека для чтения».

Белинский — В. Г. Белинский, Полное собрание сочинений, тт. I—XIII, М., 1953—1959.

Библиотека — Библиотека Белинского. Статья и публикация Л. Р. Ланского. В кн.: «Литературное наследство», т. 55, кн. I, М., 1948.

Блок — А. Блок, Собрание сочинений в 8-ми т., М.—Л., 1960—1963.

БП — «Библиотека поэта».

БС — Большая серия «Библиотеки поэта».

В — «Время».

ВЕ — «Вестник Европы».

Г — «Гражданин».

ГБЛ — Рукописный отдел Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

Герцен — А. И. Герцен, Собрание сочинений в 30-ти т., М., 1954—1961.

ГМ — «Гражданские мотивы. Сборник современных стихотворений, изданный под редакциею А. П. Пятковского», СПб., 1863 (ц. р. 10 ноября 1862).

Гоголь — Н. В. Гоголь, Полное собрание сочинений, тт. I—XIV, М., 1937—1952.

Гончаров — И. А. Гончаров, Собрание сочинений в 8-ми т., М., 1952—1955.

Горький — Собрание сочинений в 30-ти т., М., 1949—1955.

ГПБ — Рукописный отдел Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

ДЛЧ — «Для легкого чтения. Повести, рассказы, комедии, путешествия и стихотворения современных русских писателей», т. 1, СПб., 1856.

Дневник — А. В. Никитенко, Дневник в 3-х т., М., 1955—1956.

Добролюбов — Н. А. Добролюбов, Собрание сочинений в 9-ти т., М.—Л., 1961—1964.

Достоевский, Письма — Ф. М. Достоевский, Письма, тт. 1—4, М.—Л., 1928—1959.

др. ред. — другая редакция.

Дружинин — А. В. Дружинин, Собрание сочинений, тт. I—VIII, Пб., 1865—1867.

ДС — «„Две судьбы". Быль Аполлона Майкова», СПб., 1845 (ц. р. 30 декабря 1844), с цензурными купюрами, обозначенными строками точек.

ДС 1—2 — два неполных автографа первоначальной редакции ДС (см.) под загл. «Русский», без многих страниц и начала, с позднейшей карандашной пометкой Майкова и многочисленными карандашными пометками Владимира Андреевича Солоницына. В конце первого автографа дата: «Париж, 1834 (описка — должно быть: 1843), дек(абрь) 16/28».

ДС 3 — наборная рукопись (копия) под загл. «„Две судьбы". Поэма А. Майкова» (зачеркнутое загл. «Русский»). С правкой автора и цензора А. В. Никитенко и цензурным разрешением. На верху рукописи — дата поступления ее в цензуру: «11 декабря 1844. № 386».

ДС 4 — экземпляр отдельного издания ДС (см.). На титульном листе дарственный автограф: «Владимиру Григорьевичу Бенедиктову от автора». Рукой Майкова частично восстановлены цензурные купюры.

ДС 5 — экземпляр отдельного издания ДС (см.), подплетенный между сборником стихотворений А. Фета (СПб., 1850) и «Стихотворениями Эдуарда Губера» (СПб., 1845) вместе с поэмой «Машенька» и стих. «Грезы». Рукой Майкова частично восстановлены цензурные купюры.

Ежегодник, 1974 — Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1974 год, Л., 1976.

ЖМНП — «Журнал министерства народного просвещения».

З — «Заря».

Зл — М. Л. Златковский, Аполлон Николаевич Майков, СПб., 1888.

ИВ — «Исторический вестник».

Избр. — А. Майков, Избранное, «Библиотека поэта» (Малая серия), Л., 1952. Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания Н. М. Гайденкова.

Избр. 1 — А. Майков, Избранные произведения, «Библиотека поэта» (Малая серия), Л., 1957. Вступительная статья, составление, подготовка текста и примечания Н. Л. Степанова.

Короленко — В. Г. Короленко, Собрание сочинений в 10-ти т., М., 1953—1956.

ЛА — «Литературный архив».

ЛН — «Литературное наследство».

Лн — рукописный альманах «Лунные ночи» (ПД).

М — первая публикация поэмы «Машенька» в составе кн.: «Петербургский сборник, изданный Н. Некрасовым», СПб., 1846 (ц. р. 12 января 1846), с. 391, с цензурными купюрами, обозначенными строками точек.

М 1 — неполные беловой и черновые автографы и списки отдельных глав поэмы «Машенька».

М 2 — оттиски М (см.) с авторской правкой (частично восстановлены цензурные купюры). Подплетено между сборником стихотворений А. Фета (СПб., 1850) и «Стихотворениями Эдуарда Губера» (СПб., 1845) вместе с поэмой «Две судьбы» и стих. «Грезы». На первой странице «Машеньки» дарственный автограф: «Победоносцеву — автор».

М 3 — переписанные рукой Аполлона Александровича Майкова строки поэмы «Машенька», запрещенные цензурой (ГПБ).
ММ — «Модный магазин».
Н — «Нива».
Некрасов — Н. А. Некрасов, Полное собрание сочинений и писем, тт. I—XII, М., 1948—1952.
НС — Новые стихотворения (1858—1863) А. Н. Майкова, М., 1864 (ц. р. 20 января 1864).
ОА — «Одесский альманах на 1840 год» (ц. р. 22 декабря 1839).
ОЗ — «Отечественные записки».
«Олинф и Эсфирь» — Поэма Майкова «Олинф и Эсфирь. Сцены времен пятого века христианства».
ОР — Очерки Рима Аполлона Майкова, СПб., 1847 (ц. р. 10 декабря 1846).
Островский — А. Н. Островский, Полное собрание сочинений, тт. I—XVI, М., 1949—1953.
П — Письма.
ПД — Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук СССР.
Переписка — Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым, тт. 1—3, Пб., 1896.
Писарев — Д. И. Писарев, Сочинения, тт. I—IV. М., 1955—1956.
Писемский — А Ф. Писемский, Собрание сочинений, тт. I—IX, М., 1953.
ПС — «Поэзия славян». Под редакцией Н. В Гербеля, СПб., 1871.
ПСС — Полное собрание сочинений.
ПССиП — Полное собрание сочинений и писем.
ПСС 4 — Полное собрание сочинений А. Н. Майкова в 3-х т., изд. четвертое, испр. и доп. автором, СПб., 1884 (изд. А. Ф. Маркса).
ПСС 5 — Полное собрание сочинений А. Н. Майкова в 3-х т., изд. пятое, испр. и доп. автором, СПб., 1888 (изд. А. Ф. Маркса).
ПСС 6 — Полное собрание сочинений А. Н. Майкова в 3-х т., изд. шестое, испр. и доп. автором, СПб., 1893 (изд. А. Ф Маркса).
ПСС 7 — Полное собрание сочинений А. Н. Майкова в 4-х т.: тт. 1—3 — изд. седьмое, испр. и доп. автором, т. 4 — испр. и доп., СПб., 1901 (изд. А. Ф. Маркса).
ПСС 8 — Полное собрание А. Н. Майкова в 4-х т., изд. восьмое, СПб., 1911 (изд. А Ф. Маркса).
ПСС 9 — А. Н. Майков, Полное собрание сочинений, с критико-биографическим очерком П. В. Быкова. Девятое, испр. и доп. изд., под ред. П. В. Быкова, СПб., 1914 (изд. т-ва А. Ф. Маркса). Приложение к журналу «Нива» на 1914 год.
РА — «Русский архив».
РВ — «Русский вестник».
РЛ — «Русская литература».
РС — «Русское слово».
РСт — «Русская старина».
с. — страница
С — Стихотворения Аполлона Майкова, СПб., 1842 (ц. р. 16 октября 1841).
С 1 — Стихотворения Аполлона Майкова, СПб., 1858 (изд.

гр. Г. А. Кушелева-Безбородко). Книга первая (ц. р. 29 октября 1857). Книга вторая (ц. р 4 марта 1858).

С 2 — Стихотворения А. Н. Майкова в трех частях, СПб., 1872, изд. третье (изд. кн. В. П. Мещерского).

С 3 — «30 апреля. Стихотворения А. Н. Майкова (1883—1888)», СПб, 1888 (ц. р. 25 марта 1888).

Салтыков — М. Е. Салтыков-Щедрин, Собрание сочинений в 20-ти т., М., 1965 (продолжается).

Сборник — «Сборник лучших произведений русской поэзии». Издание Николая Щербины, СПб., 1858.

Скл. — «Складчина, литературный сборник, составленный из трудов русских литераторов в пользу пострадавшего от голода населения Самарской губернии», СПб., 1874, с. 429

Совр. — «Современник»

СС — Собрание сочинений.

ст. — стих

стих. — стихотворение.

Тургенев — И. С. Тургенев, Полное собрание сочинений и писем в 28-ми т., М.—Л., 1960—1968.

«1854-й год» — «1854-й год. Стихотворения А. Н. Майкова», СПб., ⟨1855⟩.

Хомяков — А. С. Хомяков, Полное собрание сочинений, тт. I—VIII, М., 1900—1907.

ЦГАЛИ — Центральный Государственный архив литературы и искусства.

ЦГИА — Центральный Государственный исторический архив.

ц. р. — цензурное разрешение.

Чернышевский — Н. Г. Чернышевский, Полное собрание сочинений в 15-ти т., М., 1939—1953.

ЭС — «Эротические стихотворения русских поэтов. Собрал Григорий Книжник ⟨Г. Н. Геннади⟩», СПб., 1860 (ц. р. 31 декабря 1859).

ЛИРИКА

В АНТОЛОГИЧЕСКОМ РОДЕ

1. С, с. 3. Автограф без загл., с датой: 1841; список. Стих. вызвало одобрение В. Г. Белинского (Библиотека, с. 474).

2. С, с. 4. Печ. по С 1, кн. 1, с. 10. Стих. вызвало одобрение В. Г. Белинского (Библиотека, с. 474).

3. ОА, с. 571, подпись: М.; С 1. Печ. по С 2, ч. 1, с. 8. Автограф с зачеркнутым подзаг. «Из греческой антологии» и датой: 1839, С⟨анкт-⟩П⟨етербург⟩; авторизованный список и список (Лн). *Богиня мирная* — Диана. «Вот лучшее стихотворение в «Одесском альманахе», — писал В. Г. Белинский критику В. П. Боткину 1 марта 1840 г., — стихотворение, достойное имени Пушкина...» (Белинский, ПСС, т. 11, с. 476). Об этом стих. он отозвался одобрительно и в неподписанной статье «Римские элегии» (ОЗ, 1841, № 8, отд. V), посвященной анализу антологической поэзии. Эту статью Майков назвал «превосходной» (набросок письма в редакцию ОЗ. По содержанию датируется 1841 г.).

4. С, с. 17, без даты и места написания. Печ по С 1, кн. 1, с. 14. Список с датой: 1840, черновой автограф с датой: 1840, 10 апр⟨еля⟩. *Неведомые боги* — см. примеч. 82.

5. С, с. 19. Автограф с датой: 1838, С⟨анкт-⟩П⟨етербург⟩, список.

6. С, с. 20. Печ. по С 1, кн. 1, с. 17. Список (Лн), с подзаг. «Сонет»; автограф с датой: 1838 О⟨ранненбаум⟩ (др. ред.); автограф с датой: ⟨ию⟩нь 7, 1838; беловой автограф; авторизованный список. Стих. помечено В. Г. Белинским словом «хорошо» (Библиотека, с. 474).

7. С, с. 23.

8. С, с. 36. Печ. по С 1, кн. 1, с. 22. Список с датой: 1840; черновой автограф.

9. С, с. 38. Автограф с датой: 18 $\frac{41}{40}$.

10. БдЧ, 1841, № 2, с. 96 (ц. р. 31 декабря 1840); С; С 1, кн. 1; С 2, ч. 1. Печ. по ПСС 4, т. 1, с. 15.

11. С, с. 43. Печ. по С 2, ч. 1, с. 16. Список (Лн); список с датой: 1838, О⟨раниенбаум⟩; список и черновой автограф.

12. С, с. 45. Печ. по С 1, кн. 1, с. 28. Список с датой: 1840, Каболовка.

13. С, с. 48. Печ. по С 1, кн. 1, с. 30. Список с датой: 1840; автограф под загл. «Excordium, fragmentum» («Начало, отрывок» — *лат.*); черновой автограф и автограф.

14. С, с. 49. Печ. по С 1, кн. 1, с. 31. Ст. 1 восходит к стих. А. С. Пушкина «Осень (Отрывок)», где есть строка: «Иль думы долгие в душе моей питаю»

15. С, с. 56, без указания на источник перевода. Печ. по С 1, кн. 1, с. 33. Список с датой: 1840, Каболовка. Перевод стих. французского поэта А. Шенье (1762—1794) «J'étais un faible enfant, qu'elle était grande et belle. . .».

16. С, с. 59; С 1, кн. 1. Печ. по С 2, ч. 1, с. 22. Список с датой: 1841, январь.

17. ОЗ, 1841, № 11, с. 2, подпись: А. М-в. Список с датой: 1841; черновой автограф без загл., с датой: 1841; автограф. Стих. вызвало одобрение В. Г. Белинского (Библиотека, с. 474). Навеяно древнегреческими мифами о П а н е.

18. С, с. 74. Печ. по С 1, кн. 1, с. 37. Список с датой: 1841, февраль; черновой автограф. Стих. вызвало одобрение В. Г. Белинского (Библиотека, с. 474).

19. ОЗ, 1841, № 10, с. 310, подпись: А. М-в. 2 наброска без загл.; список с датой: 1841, март; беловой автограф. Стих. вызвало одобрение В. Г. Белинского (Библиотека, с. 474).

20. С, с. 81. Печ. по С 1, кн. 1, с. 41. Список с датой: 1841, февраль; черновой автограф без загл., с датой: 1841, ф(евраль).

21. С, с. 93. Список; черновой автограф под загл. Л. М.

22. С, с. 97. Печ. по С 1, кн. 1, с. 46. Авторизованный список с датой: 1839, С(анкт)-П(етербург); автограф. В стихотворении отразились некоторые мотивы поэзии А. С. Пушкина. Ср. его поэмы «Цыганы» («Взгляни: под отдаленным сводом...» и т. д.) и «Езерский» (строфа XIII).

23. С, с. 98; С 1, кн. 1. Печ. по С 2, ч. 1, с. 30. Наброски и черновой автограф; авторизованный список с датой: 1840; беловой автограф с правкой. *Бог лесов* — Пан.

24. С, с. 105 Печ. по С 1, кн. 1, с. 49. Список с датой: 1839, С(анкт-Петербург); беловой автограф с правкой и список.

25. С, с. 110, без загл. Печ. по С 2, ч. 1, с. 33. Черновой автограф без загл.; беловой автограф. Оба с датой: 1841.

26. БдЧ, 1841, № 2, с. 108 (ц. р. 31 декабря 1840). Печ. по С 1, кн. 1, с. 52. Список (Лн); список с датой: 1839, С(анкт-Петербург); неполный автограф с датой: 1838, 30 октября.

27. С, с. 131. Черновой автограф без загл.

28. С, с. 142. Авторизованный список с датой: 1840; черновой автограф без загл. и автограф с датой: 1840, 21 апреля.

29. С, с. 161.

30. С, с. 169.

31. С, с. 170. Автограф без загл. с датой: окт(ябрь) 1841; черновой автограф без загл.

32. ОЗ, 1842, № 2, с. 237 (ц. р. 31 декабря 1841) под загл. «Памятник»; С 1, кн. 1. Печ. по С 2, ч. 1, с. 47. Черновой автограф и список под загл. «Памятник»; черновой автограф без загл. с датой: октябрь; черновой автограф.

33. С, с. 171; С 1. Печ. по С 2, ч. 1, с. 43. Черновой автограф.

34. С, с. 172. *Пусть полудикие скифы* и т. д. Ср. в стих. А. С. Пушкина «Кто из богов мне возвратил...»: «Как дикий скиф хочу я пить». Восходит к Горацию (кн. II, ода VII).

35. С, с 175; С 1, кн. 1. Печ. по С 2, ч. 1, с. 45. Беловой автограф с правкой.

36. С, с. 176. Список с датой: 1840; автограф с датой: 1840, апреля 13; черновой автограф.

37. БдЧ, 1842, № 10, с. 109; С 1, кн. 1, с. 67; Сборник, с. 235, с подзаг. «(Подражание Анакреону)». Печ. по С 2, ч. 1, с. 48 «Г-н Майков как будто ошибкою родился не в Элладе и не в век Перикла... Что может быть, так сказать, *античнее*, например, этой пьески...» — писал в 1847 г. В. Г. Белинский о стихотворении «Барельеф» (Белинский, ПСС, т. X, с. 83). Вл. Соловьев считал, что в ряду антологических стих. Майкова «Барельеф» «выше всяких похвал» (статья «А. Н. Майков» в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона).

38. С, с. 177. С 1, кн. 1, с. 69, с датой: 1841. Беловой автограф под загл. «Евгении Петровне Майковой» с датой. *Е⟨вгения⟩ П⟨етровна⟩ М⟨айкова⟩* (урожд. Гусятникова, 1803—1880) — мать поэта.

ПОДРАЖАНИЯ ДРЕВНИМ

Сафо

С, с. 107, в цикле «Подражания Сафо». Печ. по С 1, кн. 1, с. 109.

39. Список в цикле «Подражания Сафо» под загл. «Фаону».

40. Список в цикле «Подражания Сафо».

Анакреон

41. С 1, кн. 1, с. 113. Черновой автограф без загл.

Проперций

42. С, с. 57, с подзаг. «(Из Проперция)». Печ. по С 1, кн. 1, с. 115. Подражание XIV элегии первой книги Проперция. *Лесбийский сок* — вино с острова Лесбос.

43. С, с. 140, с подзаг. «(Из Проперция)». Печ. по С 1, кн. 1, с. 117. Подражание XI элегии первой книги Проперция.

Гораций

44. С, с. 147, под загл. «Из Горация. Ода V». Печ. по С 1, кн. 1, с. 119. Список под загл. «Из Горация. Ода V». Черновой автограф под тем же загл. Подражание V оде первой книги од Горация. *Ризы влажные.* Восходит к стих. А. С. Пушкина «Арион».

45. С, с. 156, как оригинальное стих.; С 1, кн. 1, с. 119. Печ. по С 2, ч. 1, с. 91. Подражание XXIII оде первой книги од Горация.

Марциал

46. С 1, кн. 1, с. 122. Черновой автограф.

Овидий

47. ОЗ, 1843, № 7, с. 2, как оригинальное стих. (др. ред.) с датой: 1843; С 1, кн. 1, с. 123, с подзаг. «(Вольное подражание)» (др. ред.). Печ. по ПСС 6, т. 1, с. 63. Автограф без загл. Стих. ближе всего к IX посланию, входящему в книгу Овидия «Письма с Понта». В послании поэт обращается к Помпонию Грецину, назначенному в 16 г. н. э. консулом. Некоторые мотивы Майков заимствовал из VII элегии пятой книги «Скорбных элегий» Овидия.

48—50. Печ. по ПСС 6, т. 1, с. 66. См. примеч. 334.
1. С, с. 191, включена в «Олинф и Эсфирь»; С 1, кн. 1.
2. С, с. 195, включена в «Олинф и Эсфирь». Список под загл. «(Из поэмы «Олинф и Эсфирь»)» с датой: 1840, июль, Каболовка. *Бог гроздий* — Дионис.
3. С 1, кн. 1, с. 129.

ИЗ ВОСТОЧНОГО МИРА

51—52. Печ по С 2, ч. 1, с. 53
1. С, с. 21, под загл. «Еврейская песнь»; С 1, кн. 1. Автограф под загл. «[Еврейская мелодия] Еврейская песнь» (др. ред.) с датой: 1838, С⟨анкт-Петербург⟩; список. *Не кину свой народ* и т. д. Ср. Псалтирь, CXXV.
2. С, с. 199, включена в «Олинф и Эсфирь»; С 1, кн. 1, без загл. Автограф под загл. «Песнь Эсфири». *Введение во храм.* Согласно христианским легендам, дева Мария в детстве была приведена родителями в храм и посвящена богу. Сюжет неоднократно использовался в живописи.

53. С, с. 79. Список с датой: 1839.

54. С, с. 86. Черновой автограф с датой: 1841, сентябрь.

55. С, с. 154.

ЭЛЕГИИ

56. БдЧ, 1841, № 12, с. 136, под загл. «Падение». Печ. по С, с. 133. Черновой автограф без загл. и автограф.

57. С, с. 103 в цикле «Две элегии»; «Дамский альбом, составленный из отборных страниц русской поэзии», СПб., 1854, под загл. «Элегия». Печ. по С 1, кн. 1, с. 97. Черновой автограф с датой: 1841, март.

58. С, с. 85. Печ. по С 1, кн. 1, с. 98. Черновой автограф с датой: 1841, март; автограф с датой: 1841, марта 28.

59. С, с. 127; С 1, кн. 1 с датой: 1839. Печ. по С 2, ч. 1, с. 74.

60. С, с. 94; С 1, кн. 1; С 2, ч. 1. Печ. по ПСС 4, т. 1, с. 74. Авторизованный список с датой: 1839, С(анкт)-П(етербург).

61. С, с. 166; БдЧ, 1841, № 12 (ц. р. 31 октября 1841); С 1, кн. 1. Печ. по С 2, ч. 1, с. 78. В автографе после ст. 47 следует восемь ст., обозначенных в С, БдЧ, С 1 восемью строками точек, а в последующих изданиях — одной строкой точек:

Скажи, перед собой видал ли ты царей —
Под бременем венца, и скиптра, и порфиры
Чело, изрытое печалями... Тогда,
Скажи мне, мученик державного труда
Вам не завидовал, насмешники-сатиры?
И сардонический ваш смех им не вещал,
Что их порфира — ткань, венец — пустой металл?
Их нет уже, а ты ... доныне ты остался?

Отсутствие этой строфы в первых публикациях скорее всего является результатом автоцензуры или прямого цензурного вмешательства.

62. С, с. 100; С 1, кн. 1. Печ. по С 2, ч. 1, с. 103. Список с датой: 1841, апр(ель), черновой автограф окончания с датой: апр(еля) 4, 1841. *Изабелла* (1451—1504) — королева Арагона и Кастилии; при ней снаряжались экспедиции Колумба *(Генуэзца)*.

ОЧЕРКИ РИМА

Большая часть этого раздела впервые была опубликована в ОР и ОЗ, 1847, № 1 (ц. р. 31 декабря 1846). Тексты обоих изданий, порядок их следования и состав идентичны. Сохранились многочисленные автографы ряда стих., вошедших в «Очерки», в том числе тетрадь, открывающаяся стихотворным циклом «Отрывки из Дневника в Риме», с зачеркнутым посвящ. его редактору ОЗ С. С. Дудышкину. В «Очерках» отразились римские впечатления Майкова, который в 1842—1843 гг. совершил заграничное путешествие, субсидированное Николаем I по ходатайству министра просвещения С. С. Уварова (Переписка, т. 1, с. 515).

63. ОЗ, 1844, № 9—10, с. 178. В ОР и ОЗ, 1847, № 1, не вошло. 2 автографа.

64. ОЗ, 1847, № 1 и ОР (др. ред.). Печ. по С 2, ч. 1, с. 173. Автограф ст. 13—22, в составе стих. «Цирк Ромула», черновой автограф под загл. «Прогулка». *Италия святая*. Ср. в стих. А. С. Пушкина «Герой»: «Тогда ль, как с Альпов он взирает На дно Италии святой...».

65. ОР и ОЗ, 1847, № 1. Автограф. По воспоминаниям писателя Г. П. Данилевского, в 1851 г. Н. В. Гоголь, одобрительно отзываясь о Майкове, прочел наизусть две первые строки стих. и заметил при

этом: «Не правда ли, как хорошо?» («Гоголь в воспоминаниях современников», М., 1952, с. 440).

66. ОР и ОЗ, 1847, № 1. Печ. по С 1, кн. 1, с. 198. Автограф под загл. «Серенада», другой автограф, наброски без загл.

67. ОР и ОЗ, 1847, № 1; С 1, кн. 1; ПСС 4, т. 1, с. 192. Печ. по ПСС 5, т. 1, с. 192. Автограф неполный, без загл.; автограф с зачеркнутым загл. «Антики». Ст. 12—25 вошли в автографе в состав цикла «Искусство» как второе его стих. *Ватиканский музей* — собрание картин и скульптур, размещенное в различных строениях Ватикана. Майков имеет в виду скульптурную группу «Лаокоон» (ок. 50 г. до н. э.) и статую «Аполлон Бельведерский» (начало н. э.). *Потемкинские палаты* — дворец кн. Г. А. Потемкина-Таврического (1739—1791) в Петербурге (ныне Таврический дворец в Ленинграде).

68. «Метеор на 1845 год», СПб., 1845, с. 9, в цикле «Два отрывка из дневника в Риме». Печ. по ОР и ОЗ, 1847, № 1. Автограф в цикле «Два отрывка из дневника в Риме» (см. примеч. 340). «Тот, кто так начал и так продолжал, — писал Н. А Некрасов об этом стих. в 1856 г., — конечно не мог возбудить сомнения в своем таланте...» (Некрасов, ПСС, т. 9, с. 394).

69. ОР и ОЗ, 1847, № 1 (др. ред.). Печ. по ПСС 4, т. 1, с. 195. Набросок без загл. и черновой автограф без загл.

70. ОР и ОЗ, 1847, № 1; С 1, кн. 1. Печ. по С 2, ч. 1, с. 182.

71. ОР и ОЗ, 1847, № 1, с датой: 1844.

72. ОР и ОЗ, 1847, № 1; С 1, кн. 1; ЭС, с. 18. Печ. по С 2, ч. 1, с. 186. Автограф под загл. «Леонора». *Без размышлений, без тоски, без думы роковой.* Эти слова, процитированные точно или с отступлением от источника, нередко встречались на страницах демократической прессы 60-х годов XIX в. Иронически переосмысленные, они направлялись не только против других идейных противников, но и целили в их автора. Недавно неточная цитата из «Фортунаты» обнаружена в заметке В. И. Ленина «Среди газет и журналов» (1906): «Бросьте же торг, генерал, и «без тоски, без думы роковой, без напрасных и пустых сомнений» вручите вожжи новому кучеру» (см.: В. Н. Фойницкий, «О поэтической цитате в заметке В. И. Ленина „Среди газет и журналов“» — РЛ, 1964, № 3, с. 211).

73. ОЗ, 1844, № 9—10, с. 85. Печ. по ОР и ОЗ, 1847, № 1.

74. ОР и ОЗ, 1847, № 1. Печ. по С 2, ч. 1, с. 189. *Туллий* — вероятно, Цицерон. *Ратники новыя веры* — христиане.

75. ОР и ОЗ, 1847, № 1. Печ. по С 1, кн. 1, с. 220.

76. ОР и ОЗ, 1847, № 1. Печ. по С 1, кн. 1, с. 223. 2 автографа.

77. ОР и ОЗ, 1847, № 1. Печ. по С 1, кн. 1, с. 224.

78. ОР и ОЗ, 1847, № 1. Беловой автограф (др. ред.) с датой: 1843. Печ. по С 2, ч. 1, с. 196.

79. ОР и ОЗ, 1847, № 1; С 1, кн. 1. Печ. по С 2, ч. 1, с. 198. Автограф без загл.

80. ОР и ОЗ, 1847, № 1. Печ. по С 2, ч. 1, с. 200. Автограф без загл. *Винкельман* И. (1717—1768) — немецкий историк античного искусства, один из основоположников эстетики как науки.

81. ОР и ОЗ, 1847, № 1. Печ. по С 2, ч. 1, с. 202.

82. ОР и ОЗ, 1847, № 1; С 1, кн. 1, с. 237, с датой: 1844; С 2, ч. 1, с датой: 1839. Черновой автограф под загл. «Ватиканский музей». *Алтарям Неизвестного бога.* В «Деяниях апостолов» (XVII, 23) сообщается, что в Афинах был жертвенник с надписью «Неведомому богу».

83. ОР и ОЗ, 1847, № 1, две последние строки заменены строками точек. Печ. по С 1, кн. 1, с. 239. Наброски и беловой автограф (др. ред.). Эпиграф — лозунг римской черни при Августе. Эти слова упоминает Ювенал в своих «Сатирах» (X, 81). См. отзыв об этом стих. в письме И. А. Гончарова Майкову от 2 марта 1843 г. (Гончаров, СС, т. 8, с. 234).

84. ОР и ОЗ, 1847, № 1. С 1, кн. 1, с. 241 — датировано: 1845.

85. ОР и ОЗ, 1847, № 1 (др. ред.); С 1, кн. 1. Печ. по ПСС 6, т. 1, с. 141. Черновой автограф (др. ред.) и набросок (др. ред.). Стих., по-видимому, подвергалось цензурным преследованиям. В ОР и ОЗ вместо ст. 30—34 напечатано с цензурными купюрами:

> Таким же кончил ты . . . .
> . . . .
> Пусть сыплет золото он сонму низких слуг,
> Продавших доблести и предков гордый дух:
> Пускай трибуна глас сердца толпы не движет...

В С 1, кн. 1 и С 2, ч. 1 отсутствует строка точек на месте ст. 29. Автограф поврежден огнем. Сохранившаяся часть в основном соответствует редакции ОЗ и ОР и дает возможность представить направление работы Майкова, испытывавшего, по-видимому, не только творческие, но и цензурные затруднения. Вместо ст. 23—33 в автографе читается:

> Великие в добре и в битве и в сенате,
> Великие в бедах, великие в разврате.
> Здесь руку Сцевола, не дрогнув бровью, жег;
> Здесь Брут своих сынов на казнь спокойно вел;
> Отсюда Регул шел на смерть во имя Рима;
> Отсюда, бросив прах отцов и кров родимый,
> Озлобленный народ ушел с родных холмов,
> Из Рима вынося в душе одну свободу,
> И кланялся сенат строптивому народу;

Здесь ратовал Колонн, вонзая в грудь кинжал,
Сюда вперивши взор из Утики пустынной,
Он Риму рабскому пред страшною кончиной,
Последний Римлянин, проклятье [слал].

(Далее три строки оборваны)

Ты пал, но пал как муж.

Далее стихи, за исключением мелких словесных разночтений, совпадают с редакцией ОР и ОЗ. Черновой набросок дает еще один вариант, вошедший (в измененном виде) в стих. «Лихая болесть» (опубликовано И. Г. Ямпольским — Ежегодник, 1974, с. 128).

86. ОР и ОЗ, 1847, № 1, со строкой точек вместо ст. 53. Печ. по С 2, ч. 1, с. 211. В автографе после ст. 40 следует строфа, обозначенная в печатном тексте строкой точек:

О, думу тяготит язык былых веков,
Отвсюду слышатся проклятия и стоны,
И вопли пытками замученных рабов...
На трупах и костях воздвигнутые троны...
И лики праотцев, как будто из гробов,
Потомкам шлют урок, страданьем наученный,
Как смерти муками охваченный злодей,
Любви к добру своих учащий сыновей.

В том же автографе ст. 53 и 55 имеют разночтения с печатным текстом: «От прав, украденных насильно у народа» и «И движет вами клик: „Равенство и свобода!"». Характер этих разночтений, так же как и содержание выпущенной во всех публикациях строфы, безусловно свидетельствует об автоцензуре или прямом цензурном вмешательстве.

ЖИТЕЙСКИЕ ДУМЫ

87. С 1, кн. 2, с. 201. Печ. по ПСС 4, т. 1, с. 161. Черновой автограф без загл. с датой: ноябрь 1853; беловой автограф с правкой. Стих. Майкова «После бала», «Утопист» и «Старый хлам» были включены в ГМ. В предисловии составителя указывалось, что в подготовленном им издании «собраны лучшие произведения новейших русских поэтов, носящие на себе печать истинной любви к родине и гражданского служения ее благу». М. Е. Салтыков-Щедрин в рецензии (1863) на ГМ писал, что стих. «После бала» не может рассматриваться как «гражданское» и что для такого рода произведений скорее подошел бы сборник «Эротическо-гражданских стихотворений» (см.: Салтыков, СС, т. 5, с. 334). Несколько по-другому расценивал проникновение «гражданской» тематики в поэзию Майкова Н. А. Некрасов. Он причислял Майкова к тем, кто наряжается «по мере надобности, в платья гражданского покроя, какой бывает в моде» (Некрасов, ПСС, т. 9, с. 442).

88. С 1, кн. 2, с. 205.

89. Совр., 1855, № 11, с. 50. 2 черновых автографа.

90. С 1, кн. 2, с. 199. Печ. по ПСС 6, т. 1, с. 155. 3 автографа (черновой и 2 беловых).

91. Совр., 1855, № 12, отд. II, с. 284, под загл. «Отрывок из поэмы „Земная комедия"», с подзаг. «(Памяти Пушкина)». Печ. по С 1, кн. 2, с. 212. 2 черновых автографа. В Совр. заключает собой статью Н. А. Некрасова «Заметки о журналах за ноябрь 1855 года», в которой говорилось о нападках реакционных журналистов К. А. Полевого и Ф. В. Булгарина на А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя. Как и статья, направлено против хулителей. *«Да, чувства добрые он пробуждал в сердцах!»* Ср. в стих. А. С. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...»: «... чувства добрые я лирой пробуждал...» *Вождь мой.* В «Божественной комедии» Данте сопровождает в его странствованиях Вергилий. По первоначальному замыслу Майкова, это стих. являлось частью поэмы «Земная комедия», подражание Данте, позднее названной им «Сны» (см. стих. и примеч. 389).

92. РВ, т. 8, кн. 2, 1857, с. 283. *Михаил Иванович Глинка* умер 3 (15) февраля 1857 г.

93. ОЗ, 1857, № 3—4, с. 659. Печ. по С 2, ч. 2, с. 252.

94. С 1, кн. 2, с. 155.

95. С 1, кн. 2, с. 200.

96. РВ, 1857, № 9—10, с. 409. Печ. по С 1, кн. 2, с. 207. Черновой автограф без загл.

97. С 2, ч. 2, с. 411. Черновой автограф без загл.

ФАНТАЗИИ

98. ОЗ, 1857, № 5-6, с. 664. Печ. по С 1, кн. 2, с. 158.

99. Совр., 1853, № 1, с. 157 (ц. р. 31 декабря 1852) (др. ред.). Печ. по С 1, кн. 2, с. 166.

100. С 1, кн. 2, с. 180. Печ. по ПСС 6, т. 1, с. 191.

101. С 1, кн. 2, с. 182.

102. РВ, т. 12, 1857, с. 202, без посвящ., без даты. Печ. по С 1, кн. 2, с. 175. Автограф без посвящ., автограф в письме Майкова Я. П. Полонскому от 14 октября 1857 г., беловой автограф. *Григорьев Аполлон Александрович* (1822—1864) — русский поэт, прозаик, критик и переводчик (перевел, в частности, комедию Шекспира «Сон в летнюю ночь»). Майков высоко ценил Григорьева-критика, считая его продолжателем лучших сторон критической деятельности Белинского (см. его письмо к жене от октября 1864 г. — РЛ, 1962, № 1, с. 206). Знакомство их относится к первой половине 1850-х годов. В 1852 г.

Григорьев посвятил Майкову одну из своих важнейших статей «Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства» (БдЧ, 1858, № 1, с. 1—42; см. также письмо Григорьева к Майкову в кн.: «А. А. Григорьев. Материалы для биографии», Пг., 1917, с. 215—217). В 1853—1855 гг. Григорьев стоял во главе «молодой редакции» журнала «Москвитянин», о которой позднее Майков вспоминал: «В одну из самых тяжелых для меня эпох, в Крымскую войну 1853—1855 годов, я бросился из Петербурга в Москву, чтобы почувствовать под собою почву... Я попал в молодую редакцию «Москвитянина»... У них я нашел не только оправдание и сочувствие, но и увидел в них совсем моих единомышленников...» (ИВ, 1888, № 6, с. 694—695). На другой день после похорон Григорьева, 29 сентября 1864 г., Майков писал жене: «Теперь уж в литературе петербургской у меня нет друзей, т. е. душевно меня понимавших. Аполлон Григорьев все собирался разбирать мои стихи — да так и не успел. Теперь уж никто не в состоянии написать мой литературный портрет» (ЛН, т. 86, 1973, с. 397). Стих. спародировано А. Н. Андреевым (см.: И. Г. Ямпольский. Сатирическая журналистика 1860-х годов, М., 1964, с. 547).

КАМЕИ

103. Совр , 1852, № 3, с. 109. Печ. по С 1, кн. 2, с. 96. *Иван Александрович Гончаров* — см. примеч. 113. По мнению Н. А Некрасова, это стихотворение «можно без преувеличения поставить рядом с удачнейшими антологиями Пушкина» (Некрасов, ПСС, т. 9, с. 239).

104. Совр., 1854, № 1, с. 9 (ц. р. 31 декабря 1853); С 1, кн. 2. Печ. по С 2, ч. 1, с. 327. Авторизованный список и черновые наброски.

105. Совр., 1853, № 11, с. 5; Сборник; С 1, кн. 2. Печ. по С 2, ч. 1, с. 333. Авторизованный список, черновые наброски без загл. и автограф. По мнению Н. А. Некрасова, стих. входило в число «более или менее *заметных (если не замечательных)* стихотворений, появившихся в последние годы» (Некрасов, ПСС, т. 9, с. 243).

106. С 1, кн. 2, с. 94. Черновые наброски без загл и черновой автограф.

107. С 1, кн. 2, с. 109.

108. С 1, кн. 2, с. 106, с цензурной купюрой в ст. 23 (выпущено слово «богомольный»). Печ. по С 2, ч. 1, с. 340. Автограф под загл. «Сатир (Селянин путешественнику)»; черновой автограф без загл.; черновые наброски.

ПОСЛАНИЯ

109—110. Печ. по С 1, кн. 2, с. 285, с исправлением по автографу в ст. 3 первого стих. цикла опечатки, прошедшей по всем изданиям.

1. С 1, кн. 2, с. 285. Автограф в альбоме Я. П. Полонского с датой записи (?): 1857, 28 февраля.

2. БдЧ, 1857, № 9, с. 1. Черновые наброски и автограф в письме Полонскому от июня 1857 г., список с датой: Гатчино. Июль 1857. *Яков Петрович Полонский* (1819—1898) — русский поэт, цензор Ко-

митета цензуры иностранной, председателем которого с 1882 г. был Майков. «Единственный человек в Петербурге из числа пишущих, с которым сошелся я, — писал Полонский А. Н. Островскому 10 ноября 1851 г., — это А. Н. Майков» («Неизданные письма к А. Н. Островскому», М.—Л., 1932, с. 438). Литературная критика того времени объединяла Майкова, Полонского и А. А. Фета в «триаде» поэтов «чистого искусства». Сам Майков, говоря о «тройственном союзе поэтов» (Фет, Полонский, Майков), по-видимому, также хотел подчеркнуть свою творческую близость к этим лирикам (см. № 329). Стих. получено Полонским в августе 1857 г. Он откликнулся посланием «А. Н. Майкову. Ответ на стихи его: „Полонский! суждено опять судьбою злою..."» (БдЧ, 1857, № 10, с. 215). В архиве Майкова сохранилось несколько автографов его стих. «Музе Полонского» (опубликовано И. Г. Ямпольским — Ежегодник, 1974, с. 134) и автограф стих. (без даты) «В альбом Полонскому». *Вазари* Д. (1511—1574) — итальянский архитектор, живописец, автор жизнеописаний итальянских художников. *Сладостный певец Тибура и Пестума* — Вергилий. *Где Штернберг? Где Иванов? Ставассер милый мой?..* С живописцем В. И. Штернбергом (1818—1845) и скульптором П. А. Ставассером (1816—1850) Майков встречался во время своего пребывания в Италии в 1842 г. О каком Иванове идет речь — не совсем ясно. Возможно, имеется в виду скульптор Антон Андреевич Иванов (1815—1848); в 1841—1846 гг. он находился в Риме как пансионер Академии художеств. *А брат мой, милый брат* и т. д. Речь идет о трагической гибели В. Н. Майкова (1823—1847), критика и журналиста.

111. С 1, кн. 2, с. 293, с датой: 1850. Автограф в письме Майкова Плетневу. *Петр Александрович Плетнев* (1792—1865) — критик и поэт, связанный с кругом А. С. Пушкина, ректор Петербургского университета, сыграл важную роль в судьбе Майкова — начинающего поэта, представив его стихотворения высшим властям (Переписка, т. 1, с 515) и популяризируя их в литературных кругах. Так, он рекомендовал стихотворения Майкова Жуковскому (см. примеч. 327) и Гоголю («Гоголь в воспоминаниях современников», М., 1952, с. 447), с одобрением отзывался о них в письмах к Я. К. Гроту (Переписка, т. 1, с. 483). Сохранились стихотворные послания, которыми обменялись Майков (черновой автограф и список рукой Плетнева, начинающийся словами: «Ваш светлый ум и верный вкус Всегда отечественных муз Нелицемерным был судьею...») и Плетнев (автограф с датой: 2 февраля 1842 г., с эпиграфом из Жуковского «Не нам тебя благословлять») по случаю выхода в свет первого сборника стих. Майкова (С). В рецензии Плетнева на этот сборник о молодом поэте говорилось: «...Судя по верности умопредставлений, сочувствует он с антологическими поэтами Греции, как сочувствовал с ними Дельвиг, а судя по музыкальному, воздушно-прозрачному стиху, с Батюшковым, Жуковским, Пушкиным и А. Шенье» (Совр., т. 26, 1842, с. 50). В письме к Я. К. Гроту от 3 марта 1842 г. Плетнев с похвалой отозвался о статье Белинского (ОЗ, 1842, № 3, отд. V, с. 1—16), в которой давалась высокая оценка «Стихотворениям Аполлона Майкова» (Переписка, т. 1, с. 498). *За стаею орлов* и т. д. Имеется в виду появление в России вслед за плеядой полководцев, выдвинутых Оте-

чественной войной 1812 г., плеяды русских поэтов, к которой, несмотря на свой скромный дар, принадлежал и Плетнев

112. С 1, кн. 2, с. 294. *Михаил Ларионович Михайлов* (1829—1865) — русский поэт, прозаик, переводчик и революционный деятель, родился на Урале, с Майковым познакомился в Петербурге в начале 1850-х годов. *Простые племена* и т. д. Речь идет о собирании Михайловым башкирского фольклора во время поездки на родину в 1856—1857 гг. *Далекая любовь* — вероятно, к Л. П. Шелгуновой, жене публициста и революционера Н. В. Шелгунова. *Пришел ты снова к нам.* Михайлов вернулся в Петербург в мае 1857 г.

113. С 1, кн. 2, с. 291. Печ. по С 2, ч. 2, с. 253. *Иван Александрович Гончаров* (1812—1891), близкий друг семьи Майковых. В 1835 г. Гончаров стал домашним учителем Майкова и его брата Валериана. По мнению И. И. Панаева, он «без сомнения, много способствовал развитию эстетического вкуса» в своем ученике (И. Панаев, Литературные воспоминания, М., 1950, с. 106). А. М. Скабичевский, напротив, считал, что «в качестве учителя поэта Аполлона Майкова он, конечно, озаботился привить достаточное количество бюрократического яда в голову своего ученика» («И. А. Гончаров в воспоминаниях современников», Л., 1969, с. 70). Гончаров принимал участие в рукописных альманахах семьи Майковых «Подснежник» и «Лунные ночи». Стих. относится к тому времени, когда писатель, вернувшись из кругосветного путешествия на фрегате «Паллада», стал публиковать свои путевые очерки. Кроме комментируемого, Майков посвятил Гончарову стих. «Анакреон» (№ 103) и «Рыбная ловля» (№ 304). Обращаясь к поэту в день его юбилея, 30 апреля 1888 г., Гончаров писал, что его дружба с Майковыми на протяжении пятидесяти лет «никогда ничем не омрачалась, не охлаждалась и была всегда тепла, чиста и светла», как поэзия юбиляра (Гончаров, СС, т. 8, с. 500).

НА ВОЛЕ

114. РВ, т. 13, 1858, с. 396 без загл Печ по ПСС 4, т 1, с. 375. «Помните у Майкова «Весну»? — писал М. Горький М. Г. Ярцевой. — .. Восемь строчек — 16 слов и полная картина» (Горький, СС, т. 28, с. 216).

115. С 1, кн. 2, с. 113, под загл. «Весна». Печ. по ПСС 4, т. 1, с. 376. Черновой автограф.

116. С 2, ч. 2, с. 5.

117. ОЗ, 1857, № 9, с. 1. Черновые наброски.

118. С 1, кн 2, с 125, в цикле «Летний дождь» без загл. Печ. по С 2, ч. 2, с. 7. Черновые наброски без загл.

119. РВ, т. 5, 1856, с. 352 (др. ред.). Печ. по С 1, кн. 2, с. 138. Стих. вызвало одобрительный отзыв И. С. Тургенева в письме к Д. Я. Колбасину от 2 (14) ноября 1856 г. (Тургенев, ПССиП, П, т. 3, с. 34).

120. С 1, кн. 2, с 130 Черновые наброски без загл.

121. З, 1869, № 11, с. 74, в цикле «Заметки и мгновения». Печ. по С 2, ч 2, с. 11.

122. РВ, 1856, № 11, с. 305. Печ по С 1, кн. 2, с. 126. Черновые наброски без загл. В списке стих., сделанном Майковым, под загл. «Пенье в лесу». Беловой автограф (ЦГАЛИ) с датой: 1856, декабря 21.

123. С 1, кн. 2, с. 119

124. С 1, кн. 2, с. 142.

125. С 1, кн. 2, с. 132. Печ по С 2, ч 2, с. 17.

126. С 1, кн. 2, с. 140. Черновой автограф без загл. *А были дни, мое воображенье* и т. д. Майков говорит о своих итальянских впечатлениях 1842 г. (см. примеч. 63—86).

127. З, 1869, № 12, с. 104, под загл. «Полдень» (др. ред.). Печ. по С 2, кн. 2, с. 21. В З примеч. Майкова к загл. стих.: «Пан (от греческого слова Παν, что означает *все*) Греческий бог, олицетворявший собою жизнь природы; от того же слова происходит и название *пантеизма*, философской системы, обожествляющей природу». Автограф под загл «Полдень» и черновой автограф под загл. «Полдневные чары» без подзаг.; черновые наброски

128. «Подснежник», 1858, № 2, с. 1; С 1, кн. 2. Печ. по С 2, ч. 2, с. 25. См. стих. и примеч. 346

129. БдЧ, 1856, № 12, с. IV. Печ. по С 1, кн. 2, с. 143. Черновые наброски без загл

130. «Эпоха», 1864, № 1-2, с. 496, с датой: 1863. Печ. по С 2, ч 2, с. 29.

131. ОЗ, 1856, № 12, с. 259. Печ. по С 1, кн. 2, с. 145. Черновые карандашные наброски без загл.

132. Совр., 1857, № 1, с. 165 (ц. р. 31 декабря 1856) (др. ред.). Печ. по С 1, кн. 2, с. 150.

133. Совр., 1856, № 3, с. 84; С 1, кн. 2. Печ. по С 2, ч. 2, с. 35. Наброски без загл.

ИЗ ДНЕВНИКА

134. С 1, кн. 2, с. 160. Печ. по С 2, ч. 2, с. 39. Стих. вызвало резко-отрицательный отзыв Н. А. Добролюбова (Добролюбов, СС, т. 9, с. 306).

135. С 1, кн. 2, с. 165, в цикле «Из прошлого». Печ. по С 2, ч 2, с. 41.

136. ОЗ, 1842, № 8, с. 160; С 1, кн. 2, в цикле «Из прошлого». Печ. по С 2, ч. 2, с. 42. Беловой автограф и список.

137. С 1, кн. 2, с. 168. Автограф.

138. Совр., 1853, № 2, с. 331; С 1, кн. 2; ЭС. Печ. по С 2, ч. 2, с. 44. Черновые наброски.

139. ОЗ, 1857, № 3-4, с. 658. Печ. по С 1, кн. 2, с. 171. Беловой автограф.

140. С 1, кн. 2, с. 163, без загл. Печ. по С 2, ч. 2, с. 48.

ДОЧЕРИ

Дочь Майкова Вера, родившаяся в 1855 г., умерла 11 лет от роду.

141. ПСС 4, т. 1, с. 419. Автограф с пометой «Из старой тетради». *Она еще едва умеет лепетать.* Строка использована М. Е. Салтыковым-Щедриным в качестве названия одной из глав «Помпадуров и помпадурш».

142. С 1, кн. 2, с. 162. Печ. по С 2, ч. 2, с. 51.

143. З, 1869, № 11, с. 73, в цикле «Заметки и мгновения». Печ. по С 2, ч. 2, с. 53. Автограф под загл. «23 апр(еля) 1866».

ИЗ СТРАНСТВОВАНИЙ

144. ОЗ, 1859, № 11, с. 243, без загл. Печ. по НС, с. 81. Черновой и беловой автографы без загл.

145. З, 1869, № 11, с. 73, в цикле «Заметки и мгновения». Печ. по С 2, ч. 2, с. 59. Черновой автограф без даты и беловой с датой: Биарица. 1859.

146. В, 1861, № 9, с. 242, под загл. «В горах»; НС в цикле «В Альпах» под загл. «Ледники». Печ. по С 2, ч. 2, с. 60. Черновой автограф без загл., автограф и беловой автограф под загл. «В виду Альпийских ледников» с датой: 1858. *На чей-то зов: «Туда! Туда!»* Ср. в стих. Гете «Миньона». «. . .Туда, туда! Уйти бы нам, мой милый, навсегда!» (пер. Майкова — см. стих. № 178).

147. «Московский вестник», 1860, 22 апреля, с. 233, под загл. «На чужбине»; НС в цикле «В Альпах». Печ. по С 2, ч. 2, с. 61. Черновой автограф без загл. и автограф (ГБЛ) под загл. «У часовни».

148. ОЗ, 1862, № 12, с. 350, в составе «Неаполитанского альбома»; НС. Печ. по С 2, ч. 2, с. 63. Черновой автограф

НЕАПОЛИТАНСКИЙ АЛЬБОМ

(Мисс Мери)

1858—1859

Впервые в полном составе был опубликован в ОЗ, 1862, № 12, с. 327, без подзаг. После ОЗ публиковался в НС и С 2, ч. 2, под загл.

«Мисс Мери» и далее во всех собр. соч. Майкова. Черновые автографы отдельных стих. и полная наборная рукопись под загл. «Неаполитанский дневник». В ОЗ сопровождался примеч. автора: «Все стихотворения этого альбома относятся к Неаполю 1859 года. С тех пор там многое изменилось, но я уверен, что общий фон картины и теперь тот же: море и воздух Неаполя не изменятся с переменою правительств и не перестанут производить веселое и светлое расположение духа в человеке, туземце или заезжем; Сан-Дженнаро еще долго будет делать свое чудо, а Везувий... вот, один только Везувий вдруг всему может положить конец». В «Искре» (1863, № 4, с. 58) была напечатана пародия В. Буренина на майковский «альбом» под загл. «Парижский альбом» и с посвящ. А. Н. Майкову. Примеч. Майкова к «Неаполитанскому альбому», в котором мимоходом говорится о политических событиях, потрясших Италию (освободительная война под предводительством Гарибальди), дало повод Буренину и свою пародию тоже снабдить примеч: «Все стихотворения этого альбома относятся к Парижу прошлого года. Я уверен, что с той поры ничего не изменилось; там то же правительство, те же полисмены, тот же И. С. Тургенев; недостает только меня, но летом я думаю побывать туда» («Поэты „Искры“», т. 2, БП, БС, Л., 1955, с. 715). Д. С. Мережковский находил в этом цикле «искусное подражание Гейне» (статья «А. Н. Майков» в сб. «Философские течения русской поэзии», СПб., 1896, с. 333), а Вл. Соловьев увидел в нем не более чем «альбомное остроумие весьма относительного достоинства» (статья «А. Н. Майков» в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона). Сохранился автограф прозаического и стихотворного предисловия Майкова к «Неаполитанскому альбому», из которого следует, что поэт предвидел возмущение критики легковесностью «эскизов», «накиданных в стихах в этом альбоме», и пытался оправдаться, хотя и не без иронии:

Точно кто меня спросит: давай, что принес мне, голубчик!
Даже страшно и совестно (...)
Что ж с собой привезу? Ни полезных советов,
Ни идей для дальнейшего хода прогресса в России,
Ни правительству важных каких указаний...

Авторская датировка раздела — условная. Ряд произведений, вошедших в «Неаполитанский альбом», написаны Майковым по возвращении в Россию, в 1860-х годах.

149. Совр., 1859, № 1, с. 321, под загл. «Неаполитанское утро», с датой: 1859, Неаполь; ОЗ, 1862, № 12. Печ. по НС, с. 93. Автограф.

150. ОЗ, 1862, № 12, с. 337. Печ. по С 2, ч. 2, с. 90. Черновой автограф и наброски.

151. ОЗ, 1862, № 12, с. 338. Черновой автограф под загл. «Народная песня. Пел рыбак Лоренцино».

152. ОЗ, 1862, № 12, с. 338. Беловой автограф и черновые наброски. Анонимный автор некрологической заметки о Майкове в газете «Русские ведомости» (1897, 10 марта, с. 1) написал, ссылаясь на это стих., что социальные идеи Майкова середины 50-х годов «не идут далее узко славянофильских тенденций с прославлением Византии и

иногда злобно-насмешливым отношением ко всему, что напоминает новаторство».

153. «Светоч», 1861, кн. 1, с. 13; ОЗ, 1862, № 12. Печ. по С 2, кн. 2, с. 95. Черновой автограф без загл., автограф под загл. «Неаполь» (др. ред.), черновые наброски. *Чудовище* — вулкан Везувий.

154. ОЗ, 1862, № 12, с. 341. Печ. по С 2, ч. 2, с. 99. Беловой автограф с правкой и черновой автограф.

155. ОЗ, 1862, № 12, с. 347. Беловой автограф.

156. ОЗ, 1862, № 12, с. 347. Беловой автограф с правкой. *Шла народная волна.* См. примеч. 389.

157. ОЗ, 1862, № 12, с. 348. Беловой автограф с правкой.

158. ОЗ, 1862, № 12, с. 351. Беловой автограф с правкой. *И Сицилия горит* и т. д. Имеется в виду освобождение острова Сицилия от власти австрийской династии Габсбургов в результате похода Гарибальди в мае 1860 г.

159. ОЗ, 1862, № 12, с. 352. Черновой автограф с посвящением «Мери» и другой черновой автограф. Войска Гарибальди вошли в Неаполь 7 сентября 1860 г.

ДОМА

160. БдЧ, 1862, № 1, с. 3, без загл. и «Подснежник», 1862, № 5-6, с. 61. Печ. по НС, с. 64. Карандашный автограф без загл.

161. Н, 1880, № 19, 10 апреля, с. 373, с посвящ. Н. Трескину. Печ. по ПСС 4, т 3, с. 125. Черновые наброски без загл. и беловой автограф с правкой. *Коля Трескин* — вероятно, сын Н. А. Трескина (1838—1894), цензора Московского цензурного комитета, директора учительского института при Московском воспитательном доме. Н. А. Трескин в студенческие годы дружил с братом поэта Л. Н. Майковым, который впоследствии стал крестным отцом Коли Трескина. В ПД хранится стих. Н. Н. Трескина «Аполлону Николаевичу Майкову. В память 30 апреля 1888 года» и письмо его Л. Н. Майкову от 11 марта 1897 г. с соболезнованиями по поводу кончины поэта.

162. «Подснежник», 1858, № 1, с. 1.

163. «Подснежник», 1858, № 1, с. 2. Печ. по С 1, кн. 2, с. 128. 2 беловых автографа с правкой и черновой автограф.

164. ММ, 1863, № 1, с. 1 (ц. р. 2 января 1863), под загл. «Отрывок из поэмы „Поля"»; НС с подзаг. «(Отрывок из поэмы «Поля»)»; С 2, ч. 2. Печ. по ПСС 4, т. 2, с. 119.

165—169. Впервые в составе цикла (без стих. 3) — З, 1870, № 2, с. 83. Печ. по ПСС 4, т. 2, с. 121. Автограф всего цикла без общего загл ; беловой автограф цикла (без стих. 3).

1. З, 1870, № 2, с. 83. Автограф под загл. [«Ночная гроза»], автограф (др. ред.) без загл.

2. З, 1870, № 2, с. 84. Автограф без загл.; беловой автограф.

3. Скл., с. 428, под загл. «В степях», с датой: 1862, вне цикла. Автограф под загл. «В степях» с датой: 1862 (судя по пометам, был представлен в Скл.).

4. З, 1870, № 2, с. 84, без загл. Беловой автограф без загл.

5. З, 1870, № 2, с. 85, без загл. Черновой автограф без загл. и без эпиграфа; автограф с эпиграфом без загл.; автограф под загл. «Черный див»; беловой автограф без загл.; наброски.

170. РВ, т 7, кн. 2, 1857 (ц. р. 14 января 1857), с. 835 С 1, кн. 1. Печ. по ПСС 4, т. 2, с. 126. Черновой автограф без загл.; черновой автограф. Включалось в многочисленные дореволюционные хрестоматии для народного чтения. Н. А. Добролюбов пародировал «Ниву» в стих. 1858 г. «Жизнь мировую понять я старался...» (ст. 7—10) и отрицательно отозвался о ней в рецензии 1859 г. (Добролюбов, СС, т. 4, с. 355).

171. З, 1869, № 1, с. 1. Печ. по С 2, ч. 2, с. 343. Послано Ф. М. Достоевскому с письмом от 22 ноября 1868 г. 11 (23) декабря 1868 г. Достоевский писал Майкову: «Ваша «У часовни» — бесподобно. И откуда Вы слов таких достали! Это одно из лучших стихотворений *Ваших*» (Достоевский, Письма, т. 2, с. 439). *Это — медный грош вдовицы, Это — лепта бедняка.* Восходит к тексту Евангелия (Марк, XII, 42; Лука, XXI, 2).

СТРАНЫ И НАРОДЫ

172. З, 1869, № 11, с. 75, в цикле «Заметки и мгновения». Печ. по С 2, ч. 2, с. 255. Автограф; беловой автограф с правкой под загл. «Красота». Переложение третьей песни поэмы Гомера «Илиада» (ст. 149—158).

173. ПСС 6, т. 1, с. 381. Автограф.

174. «Огонек», 1881, № 17, с. 324 (факсимиле); ПСС 4, т. 3, под загл. «Подражание Сафо». Печ. по ПСС 6, т. 1, с. 382.

175. «Книжки „Недели“», 1892, март, с. 51, с подзаг. «(Из провансальских романсов)». Печ. по ПСС 6, т. 1, с. 383. Автограф под загл. «Бертран де Борн». Вольный перевод стих. провансальского трубадура Бертрана де Борна (ок. 1140 — ок. 1215) «Eu m'escondisc, donna, que mal mon mier...» (указано М. Б. Мейлахом).

176. ОЗ, 1863, № 1, с. 70, без ст. 13—14. Печ. по НС, с. 74. Черновой автограф под загл. «Петрарка. Can⟨zona⟩ 302»; автограф без загл.; черновой незаконченный автограф. Перевод сонета CCCXLVI

из книги «На смерть мадонны Лауры» итальянского поэта Франческо Петрарки (1307—1374).

177. РВ, т. 24, кн. 1, 1859, с. 147, с датой: 1859. Печ. по НС, с. 85. Автограф и черновой автограф без загл. После ст. 28 зачеркнуто:

Я плачу, да! и духом чую,
Что, свой рисуя идеал,
Всю душу чистую, святую,
В свой труд художник полагал.

И, плача, мыслню взываю
К тебе, певец страны родной,
Тебя молю и заклинаю —
Чтоб ты уверовал со мной:

Не для минутного успеха,
Не для ничтожных слов и чар,
Не для кощунства, не для смеха
Тебе ниспослан божий дар!

Не заходи во храм искусства
Ни мимоходом, ни как тать,
Чтоб на блажную мысль иль чувство
Огонь украсть и убежать...

Входи в него лишь страха полный,
В нем каждый шаг твой буди свят,
Пусть вкруг бушующие волны
Лишь дальним эхом там звучат.

Восторгом чувств своих владея,
Твори — в тот миг лишь бога знай,
В свои созданья, не жалея,
Свою всю душу полагай!

178. ММ, 1866, № 21, с. 321, под загл. «Миньона» (в оглавлении указан источник). Печ. по С 2, ч. 2, с. 364. Черновой автограф без загл. и автограф под загл. «Песня Миньоны». Перевод стих. Гете «Mignon», помещенного в его романе «Страдания молодого Вертера».

179. Г, 1874, № 4, 29 января, в подборке «На севере и юге». Печ. по ПСС 4, т. 3, с. 144. Прозаический перевод, черновой и беловой автографы. Перевод стих. «An Lida».

180—181. Печ. по ПСС 6, т. 1, с. 391. Цикл, по-видимому, представляет собой поэтическую переработку стихов и прозы Гете, посвященных его роману с Лилли Шенеман. Второе стих. одновременно — свободное переложение гетевского «Selbstbetrug».

1. «Книжки „Недели"», 1889, № 1, с. 72, вне цикла, без загл. и подзаг.; РВ, 1891, № 2 под загл. «Лилли» вне цикла.

2. «Книжки „Недели"», 1889, № 10, с. 63, под загл. «Визави», вне цикла и без надзаг.; РВ, 1891, № 2 под загл. «Vis-à-vis» вне цикла.

182. Г. 1874, № 4, 29 января, с. 119, в подборке «На севере и юге»; Н, 1879, № 9, с. 162. Беловой правленый автограф. Печ. по ПСС 4, т. 3, с. 142. *Гафиз* (Шамседдин Хафиз, 1300—1389) — персидско-таджикский поэт. Майков переводил Гафиза, по-видимому, с немецких переводов.

183—188. В составе пяти стих. (без стих. 5) — РВ, 1879, № 1, с 262. В составе четырех стих. (без стих. 3, 6) — Н, 1892, № 4, 25 января, с. 85. Печ. по ПСС 4, т. 3, с. 149. Черновой автограф всего цикла. 6 января 1879 г. Майков писал А. А. Майкову об этом цикле: «Скажу по секрету, что хоть они и названы из испанской антологии, но это только для проформы. Некоторые темы взяты в испанск(ом) репертуаре, но турнюра, пуанты, оправа и токарная работа — мои собственные» (ГПБ).

189—190. З, 1870, № 12, с. 3; ПС, с. 45 Печ. по С 2, ч. 2, с. 397. Беловой наборный автограф, предназначенный для З. В З сопровождалось примеч. Майкова: «Песни эти изготовлены для сборника славянской поэзии, издаваемого Н. В. Гербелем. Основа первой очень древняя: видоизменялась она в разные эпохи». Переложение обеих песен сделано Майковым по «Сборнику памятников народного творчества в Северо-западном крае» (Вильно, 1866, с. 126, 19), составленному этнографом П. А. Гильдебрандтом (1840—1905), с которым поэт был лично знаком. Из этого сборника Майков перевел всего семь песен (см. ПС). См. также: И. Степунин, Защитник хлопов. — «Неман», 1971, № 4, с. 190—191.

1. Перевод стих. «Далеко слыхаты».

2. Перевод стих. «Ой, сынкі мае...». Черновой автограф вне цикла.

191. «Подснежник», 1860, № 1, с. 11, без указания на источник перевода. Печ. по НС, с. 76. Перевод стих. американского поэта-романтика Г. Лонгфелло (1807—1882) «The Slave's Dream». См. также: С. П. Бантина, «Стихотворение Г. У. Лонгфелло «Сон раба» в двух переводах». — «Филологический сборник», вып. 11, Алма-Ата, 1973, с. 56—65.

192. ММ, 1863, № 6, с. 69, под загл. «На берегах Ганга» и с подзаг. «Санскритский мотив»; НС, с. 78. Печ. по С 2, ч. 2, с. 405.

193—195. «Беседы в Обществе любителей российской словесности», 1871, № 3, с. 141; ПС. Печ. по С 2, ч. 2, с. 408. Беловой автограф цикла под загл. «Три сонета Мицкевича». Крымские сонеты («Sonety Krymskie», 1825) — цикл стихотворений Мицкевича, неоднократно переводившийся многими русскими поэтами.

1. Перевод стих. «Stepy Akermańskie». Беловой автограф с правкой, без загл. *Зов с Литвы далекой.* Мицкевич родился в Белоруссии, учился в Литве, в Вильне, интересовался историей, фольклором литовцев (см. его поэму «Конрад Валленрод»).

2. Перевод стих. «Baidary». Автографы, один из которых беловой без загл

3. Перевод стих. «Ałuszta w dzień». Автограф без загл. и предисловие к переводам.

196. НС, с. 72, под загл. «По прочтении Байронова „Падения Иерусалима“». Печ. по С 2, ч. 2, с. 347. Подражание стих. Байрона «On the Day of the Destruction of Jerusalem by Titus». Майкову принадлежит также точный перевод этого стих. под загл. «На разорение Иерусалима Титом» («Английские поэты в биографиях и образцах». Сост. Н. В. Гербель, СПб., 1875, с. 271).

197. Н, 1883, № 13, с. 299. Черновые наброски без загл. и черновой автограф под загл. «Из мира Эдды». В ПСС 4, т. 3, с. 134 с датой: 1883.

ПЕРЕВОДЫ И ВАРИАЦИИ ГЕЙНЕ

Впервые значительная часть переводов (17 стих.) была опубликована в БдЧ, 1857, № 4, с. 133—144 с посвящ. историку литературы и переводчику А. Ф. фон Видерту и с предисловием, в котором Майков указывал, что «более старался передать тон и впечатление подлинника, нежели гонялся за буквальною верностью». Несмотря на двойственное отношение к немецкому поэту («У Гейне многому можно поучиться, — писал он в архивной заметке, относящейся к 1880-м годам, — но вместе с тем это опасное знакомство»), — к переводам из него Майков обращался в течение всей жизни, публикуя их в периодике (Совр., ОЗ, ММ, РВ) и в составе своих сборников. В ПСС 6, т. 1 включены 42 перевода, собранные в специальном разделе, и один перевод («Принцесса Шабаш») — в разделе «Века и народы» (т. 2, с. 111). Успеха они не имели. Н. А. Добролюбов отметил лишь «Пролог», т. е. оригинальное стих. Майкова, назвав его «прекрасным» (Добролюбов, СС, т. 2, с. 488). Д. Минаев откликнулся насмешливым стих. «В могиле» («Поэты „Искры“», т. 2, Л., 1955, БП, БС. с. 136). Оценивая майковские переводы, А. Блок заметил: «Майков слишком чужой Гейне...» (Блок, СС, т. 6, с. 121).

198. С, 1857, № 10, с. 309, без подзаг. Печ. по С 1, кн. 2, с. 225. Черновой набросок под загл. «К Гейне» и автограф под загл. «Гейне».

199. С 1, кн. 2, с. 227. Перевод стих. «Nun ist es Zeit, daß ich mit Verstand...».

200. БдЧ, 1857, № 4, с. 134; С 1, кн. 2. Печ. по С 2, ч. 2, с. 184. Перевод стих. «Der bleiche, herbstliche Halbmond...».

201. БдЧ, 1857, № 4, с. 137. Печ. по С 1, кн. 2, с. 236. Перевод стих. «Doch die Kastraten klagten...».

202. БдЧ, 1857, № 4, с. 142. Печ. по С 1, кн. 2, с. 248. Перевод стих. «Der Brief, den du geschrieben...».

203. БдЧ, 1857, № 4, с. 142, с авторской сноской к первой строфе: «В подлиннике иначе» и цитацией 1-й строфы оригинала. Печ. по С 1, кн. 2, с. 249. Перевод стих. «Ein Weib».

204. С 1, кн. 2, с. 267. Перевод стих. «Wie rasch du auch vorüberschrittest...».

205—209. ММ, 1866, № 4, с. 49, под загл «Роман в пяти стихотворениях Гейне». Печ. по С 2, ч. 2, с. 229. Перевод стих.: 1. «Ein Fichtenbaum steht einsam...». 2. «Dein Angesicht so lieb und schön...». 3. «Mein Liebchen, wir saßen beisammen...». 4. «Es leuchtet meine Liebe.. ». 5. «Am Kreuzweg wird begraben...».

210. ММ, 1866, № 23, с. 353, под загл. «Из Гейне». Печ. по С 2, ч. 2, с. 236. Два автографа. Перевод стих. «Du schönes Fischermädchen...».

211. ММ, 1867, № 2, с. 22, с подзаг. «(Гейне)». Печ. по С 2, ч. 2, с. 237. Автограф без загл. параллельно с немецким текстом, список (ЦГАЛИ). Перевод стих. «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten...».

212. БдЧ, 1857, № 4, с. 143; С 1, кн. 2. Печ. по С 2, ч. 2, с. 243. Перевод стих. «Sie erlischt...».

EXCELSIOR

Название раздела заимствовано у Лонгфелло (см. о нем примеч. 191, перевод стих. Лонгфелло «Excelsior» см. № 215).

213. ПСС 4, т. 3, с. 148. Автограф.

214. ПСС 4, т. 3, с. 111. Наброски.

215. «Огонек», 1881, № 16, с. 306, с датой: 1881, подзаг. «По Лонгфелло» и сноской к загл.: «От excelsus, высокий, возвышенный, благородный, совершенный». Печ. по ПСС 4, т. 3, с. 145. Наброски без загл. и черновой автограф (др. ред.); автограф без загл.

216. РВ, 1890, № 1, с. 33, в подборке «Стихотворения А. Н. Майкова». Печ. по ПСС 6, т. 1, с. 492. Автограф в письме к сыну Владимиру от 27 октября 1889 г.

217. «Художественный журнал», 1882, № 2, с. 69, под загл «К художнику», с датой: 1881. Печ. по ПСС 4, т. 3, с. 132. Автограф с датой: 1881; черновой автограф без загл. с пометой «Во время писания „Катакомб"», т. е. второй части трагедии «Два мира».

218. З, 1869, № 11, с. 74, в цикле «Заметки и мгновения». Печ. по С 2, ч. 2, с. 253. Черновой и беловой автографы. *Есть мысли тайные в душевной глубине.* Ср. в стих. Ф. И. Тютчева «Silentium!»: «Молчи, скрывайся и таи И чувства, и мечты свои, — Пускай в душевной глубине Встают и заходят оне...».

219. З, 1869, № 11, с. 75, в цикле «Заметки и мгновения». Печ. по С 2, ч. 2, с. 254. Автографы.

220. С 3, с. 39 и РВ, 1887, № 3, с. 369. Автограф в письме К. Р. (см. о нем примеч. 225) от 21 февраля 1881 г.; беловой автограф.

221. РВ, 1891, № 2, с. 64. Черновой автограф; наброски; беловой автограф.

222. РВ, 1887, № 1, с. 340 и С 3, с. 15. Черновой автограф под загл. «Пушкину».

223. РВ, 1890, № 3, с. 32. Печ. по РВ, 1891, № 2, с. 74. Черновой автограф и автограф в цикле «Камеи».

224. РВ, 1887, № 3, с. 365. Черновой автограф без загл.; беловой автограф. *Арсений Аркадьевич Голенищев-Кутузов* (1848—1913) — русский поэт и переводчик; с Майковым его связывали многолетние дружеские отношения. Голенищеву-Кутузову принадлежит стих. «А. Н. Майкову», которое он прочел на юбилее поэта 30 апреля 1888 г., а также некролог поэта (ЖМНП, 1897, ч. СССХ, № 4, с. 46—53). Он утверждал, что Майков является продолжателем пушкинской линии в русской поэзии и едва ли не преемником Пушкина. В архивной заметке Майков дал характеристику поэзии Голенищева-Кутузова: «Кутузов перешел в школу Пушкина. Но еще ему мешает тургеневский элемент, т. е. поэтическое Тургенева *в прозе.* Он эту поэтическую прозу ввел в стихи, оттого растянутость, мелочность, подробность и — прозаизм».

225. РВ, 1887, № 3, с. 365. Беловой автограф в альбоме М. И. Семевского «Знакомые». *Константин Константинович Романов* (1858—1915) — русский поэт (подписывал свои стихотворения литерами К. Р.), считал Майкова (наряду с Фетом и Полонским) своим учителем, состоял с ним в переписке, посвятил ему два стих. (см.: К. Р., Новые стихотворения, СПб., 1889, с. 117—118, 128—129). В архиве Майкова хранится ряд его неопубликованных стихотворений, посвященных К. Р. Первая публикация данного стих. предваряется стих. К. Р., адресованным Майкову.

226. РВ, 1888, № 2, под загл. «Л — у». Печ. по С 3, с. 34. Автограф (др. ред.) при письме Майкова сыновьям Владимиру и Аполлону от 6 июня 1887 г. и черновой автограф под загл. «Лебедеву — юноше, ответ на стихи»; беловой автограф (др. ред.) под загл. «Юному поэту». В архиве Майкова сохранился автограф стих. Лебедева, обращенного к Майкову: «К тебе, поэт, я прибегаю...». В письме сыновьям, посылая им стих. Лебедева, Майков сообщает: «Стихи эти я получил недавно. Видно, юноша, но как будто что-то есть...» О своем стих. он замечает: «Главный порок в них, кажется, тот, что начал игриво, а кончил-то высоко». «Ответ» Майкова навеян следующими строками из стих. Лебедева:

> Скажи, поэзия ль святая
> В желанный час тиши ночной
> Овладевает всей душой,
> И ум и сердце увлекая;
> Когда как будто свет встает
> В душе неопытной поэта
> И мысли дерзостной полет
> Несется за пределы света.

В беловом автографе он начинался словами:

Ах, попущением небес
В часы восторженных пантий
Под видом Музы часто бес
«Иский кого бы поглотити».

227. РВ, 1887, № 3, с. 366. Черновой набросок; беловые автографы в альбоме О. П. Козловой и альбоме М. И. Семевского «Знакомые».

228. С 3, с. 52 и РВ, 1888, № 4, с. 50. *Адский вихрь* — образ, восходящий к «Божественной комедии» Данте (Ад, V).

229. РВ, 1889, № 10, с. 41. Печ. по ПСС 6, т. 1, с. 510. Автограф в письме к сыну от 8 сентября 1889 г. Об истории создания стих. см.: И. Г. Ямпольский, Из архива А. Н. Майкова (Ежегодник, 1974, с. 27).

230. РВ, 1883, № 1, с. 138, в подборке «Стихотворения», посвященной Вс. С. Соловьеву. Печ. по ПСС 6, т. 1, с. 511. Автограф в письме к сыновьям Владимиру и Аполлону от 8 сентября 1889 г.

231. РВ, 1888, № 1, с. 253, под загл. «В⟨ладимир⟩у и А⟨поллон⟩е» с датой: Кадыкиой, 1887, окт⟨ябрь⟩. Печ. по С 3, с. 49. Автограф в письме к сыновьям Владимиру и Аполлону от 2 мая 1888 г.; неполный черновой автограф без загл.; черновой автограф без загл.; беловой автограф с правкой под загл. «В. и А. М⟨айковы⟩м».

232. С 3, с. 54 Стих., по-видимому, связано с юбилеем Майкова — пятидесятилетием его творческой деятельности.

АКВАРЕЛИ

1885—1890

233. ПСС 4, т. 3, с 140. Набросок без загл. и беловой автограф с правкой. *Иван Константинович Айвазовский* (1817—1900) — русский художник-маринист, с которым у Майкова были дружеские отношения. Майков рецензировал выставку картин Айвазовского (ОЗ, 1847, № 4, с. 166—176, без подписи). В стих. говорится о картине Айвазовского «Закат на море», которая находилась у Майкова (см.: А. М. Федоров, «А. Н. Майков». — «Пробуждение», 1917, № 3, с. 154).

234. РВ, 1887, № 3, с. 368. Черновой и беловой автографы под загл. «После бури»; автограф без загл.; беловой автограф под загл. «Мертвая зыбь после бури».

235. РВ, 1887, № 3, с. 367. Беловой автограф.

236. РВ, 1887, № 3, с. 368. Наброски без загл. параллельно с французским текстом; автограф под загл. «Иоанна д'Арк»; два списка; беловой автограф; черновой автограф без подзаг.; беловой автограф под загл. «Иоанна Дарк» с четырьмя заключительными строками, адресованными мисс Мери и позволяющими относить начало работы над этим стих. ко времени создания «Неаполитанского альбома»,

то есть к 1860-м годам. Эта дата подтверждается записанным на том же листе неопубликованным стих. «У Рибейры есть картина...», также обращенным к героине «Неаполитанского альбома» мисс Мери. Об истории создания стих. см: И Г. Ямпольский, Из архива А Н. Майкова (Ежегодник, 1974, с. 27).

237. «Север», 1888, № 17, с. 1. Черновой автограф без загл. и подзаг. в тетради 1860-х годов; автограф; черновой автограф без загл. и подзаг. (др. ред.); беловой автограф без подзаг., текст его совпадает с окончательной ред.

238. РВ, 1888, № 2, с. 130 (в подборке «Стихотворения А. Н. Майкова»). Печ. по С 3, с. 36. Беловой автограф и черновые наброски без загл.

239. РВ, 1888, № 7, с. 50. Беловой автограф

240. «Гусляр», 1889, № 39, с. 609, без загл.; РВ, 1891, № 2, с. 65. Печ. по ПСС 6, т. 1, с 531. Черновой автограф без загл. с датой: 1889, август. *Франсуа Коппе* (1842—1908) — французский поэт, примыкавший к группе «Парнас». О близости Майкова к «парнасцам» впервые писал В. В. Чуйко в статье «Современная французская поэзия» («Искра», 1873, № 31, с. 2).

241—243. Н, 1888, № 11, 12 марта, с. 276, с датой: «1887, Кадыкиой» и С 3, с. 55. Беловой автограф цикла под загл. «На Мраморном море»; черновые автографы вне цикла. Лето и осень 1887 г. Майков провел в Константинополе и его окрестностях.

244. РВ, 1893, № 6, с. 2, с датой: 1891. Печ. по ПСС 6, т. 1, с. 538. Автограф под загл. «В вагоне. По берегу Коринфского залива», с датой: «По дороге из Азии в П⟨етербург⟩. Окт⟨ябрь⟩ 1890».

АЛЬБОМ АНТИНОЯ

Из драматической поэмы «Адриан и Антиной»

В конце 70-х — начале 80-х годов Майков работал над «драматической поэмой» «Адриан и Антиной». В его черновых тетрадях сохранились многочисленные наброски отдельных сцен. Замысел поэмы был связан с постоянным интересом Майкова к переходным эпохам, к истории и философии древности. Сохранился набросок стих., объясняющего обращение поэта к эпохе Адриана, который, по словам Майкова, «постигнуть тщился существо души и мира»:

[Из цезарей, которых лики
Сберег потомству Ватикан,
Один мне близок — Адриан;
При жизни славимый, великий]
Законодатель, сердцевед,
Художник, мыслитель, поэт,

Военачальник, триумфатор, —
Недоставало лишь ему —
Покоя сердцу и уму —
Покоя — бедный император!

Поэма не была завершена. В печати появилось лишь несколько отрывков, объединенных впоследствии в «Альбом Антиноя» (8 стих.). Из них в наст. изд. печатаются стих. 2, 3, 8. Авторская нумерация не сохраняется.

245. ПСС 4, т. 3, с. 152.

246. «Полярная звезда», 1881, № 4, с. 2, в цикле «Из альбома Антиноя» с подзаг. «(Из поэмы «Антиной»)». Печ. по ПСС 4, т. 3, с. 152. Автограф вне цикла с пометой «В Антиноев альбом».

247. ПСС 4, т. 3, с. 152.

ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ

248. Скл., с. 429. Печ. по ПСС 4, т. 3, с. 107. 2 черновых автографа без загл ; автограф (др. ред.), беловой автограф и список. В автографе, предназначавшемся, судя по пометам, для Скл., после стих. — запись Майкова: «Имел в виду не одних писателей, а всю интеллигенцию, т е. весь образованный класс. Ясно это или нет?» Откликаясь на стих. Майкова, критик народнического направления Н. К. Михайловский писал: «Мне кажется, его так и следует понимать исключительно как вопрос. . .», но вопрос, по мнению критика важный, ибо, «что, в случае надобности, дадим мы народу из запаса своей духовной пищи? Многого он не возьмет ни за что... или по крайней мере будет отбиваться изо всех сил. Многое мы, пожалуй, и посовестимся дать. Многое он знает не хуже нашего. . .» (ОЗ, 1874, № 4, с. 402).

249. РВ, 1889, № 1, с. 95. В сделанном Майковым списке стих. указано, что «написано после издания 1888», т. е. после ПСС 5. Черновой набросок; беловой, наборный автограф, предназначавшийся для РВ, с датой: 1888 и посвящ. А. П. Милюкову (см. примеч. 332). *Мани — факел — фарес* (халдейское mane, thekel, fares) — исчислено, взвешено, разделено. По преданию, эти слова, внезапно появившиеся на стенах чертога, в котором пировал царь Валтасар, предвещали гибель его царства (Библия, кн. Даниила, V).

250. РВ, 1887, № 3, с. 367, без загл. Печ. по С 3, с. 22. Автограф без загл. *Ex tenebris lux*. Ср. в стих. Вл. Соловьева «Мы сошлись с тобой недаром. . .» (1892): «Свет из тьмы. Над черной глыбой. . .» Восходит к Библии (Бытие, I, 4, 18).

НАБРОСКИ

251. ПСС 4, т. 3, с. 109.

252. ПСС 4, т. 3, с. 110.

253. ПСС 6, т 1, с. 565. Беловой автограф (листок из альбома) с датой: 1891, 13 февраля (ЦГАЛИ); беловой автограф с правкой, без посвящ., с датой: 1891, марта 28; беловой автограф (листок из альбома) с датой: 16 октября 1892 (ГБЛ); карандашный автограф (др. ред.). Обращено к жене поэта А. А. Голенищева-Кутузова (см. примеч. 224).

254. ПСС 6, т. 1, с. 566. 2 автографа и черновые наброски.

О ПАМЯТЬ СЕРДЦА! ТЫ СИЛЬНЕЙ РАССУДКА ПАМЯТИ ПЕЧАЛЬНОЙ

Эпиграф раздела — цитата из стих. К. Н. Батюшкова «Мой гений», ошибочно приписанного Майковым Пушкину. «...Я помню, что в юношестве моем, когда я начал писать стихи, — писал Майков П. Н. Батюшкову 12 апреля 1887 г., — его произведения, а именно: «Умирающий Тасс», «На развалинах замка в Швеции», «Я берег покидал туманный Альбиона», «Есть наслаждение», которые я все знаю наизусть от начала до конца, и потом «Антология греческая» — имели главное и решающее влияние на образование моего слуха и стиха. Пушкинское влияние уже легло на эту почву» (РСт, 1887, № 11, с. 561—562).

255. РВ, 1889, № 6, с. 285. Печ. по ПСС 6, т. 1, с. 570. 2 беловых автографа.

256. РВ, 1887, № 3, с. 366. Черновой набросок и беловой автограф

257. РВ, 1890, № 1, с. 33, в подборке «Стихотворения А. Н. Майкова» под загл. «———й». Печ. по РВ, 1891, № 2, с. 71.

ИЗ АПОЛЛОДОРА ГНОСТИКА

Стих Аполлодора Гностика — литературная мистификация Майкова. «Вы знаете, что это за Аполлодор Гностик? — спрашивал Майков М И. Сухомлинова в письме от 28 сентября 1889 г. — Это моя выдумка: не люблю обнаруживать моих интимнейших мыслей и представлений, вот и прибег к такой уловке. Но секрет обнаруживаю не многим, а многих оставляю в заблуждении (даже филологов), что будто есть такой поэт II века; некоторые отвечали мне: „Знаю, знаю!"» (РСт, 1899, № 3, с. 494).

258. Н, 1877, № 16, с. 247, в цикле «Стихотворения (Два отрывка из записной книжки)» (др. ред.); Г. 1883, апрель, с. 87, «Литературное приложение», в подборке «Из гностиков». Печ. по ПСС 4, т. 3, с. 117. Черновой автограф вне цикла.

259. ПСС 4, т. 3, с. 118. Беловой автограф.

260. Г, 1883, апрель, с. 87, «Литературное приложение», в подборке «Из гностиков». Печ. по ПСС 4, т. 3, с. 119. Черновой автограф.

261. РВ, 1891, № 2, с. 57. Карандашный автограф.

262. РВ, 1891, № 2, с. 67, в подборке «Из Аполлодора Гностика». Печ. по ПСС 6, т. 1, с. 591.

263. РВ, 1889, № 12, с. 44, в подборке «Из Аполлодора Гностика».

264. РВ, 1889, № 12, с. 45, в подборке «Из Аполлодора Гностика»; РВ, 1891, № 2, с. 68, в подборке «Из Аполлодора Гностика». Печ. по ПСС 6, т. 1, с. 594. Автограф под загл. «Из Аполлодора Гностика» с датой: окт⟨ября⟩ 4, 1889; беловой автограф с правкой под загл. «Цельзию. Из Апол. Гностика. (Подражание)».

265. РВ, 1893, № 1, с. 1. Карандашный набросок и автограф с датой: янв⟨аря⟩ 23. Другой автограф включен в набросок речи Майкова «На академическом обеде. 29 дек⟨абря⟩». Текст стих. предваряется следующими словами: «Мм. гг. Я имею счастье в настоящую минуту находиться посреди, т⟨ак⟩ ск⟨азать⟩, последних слов науки, на пределах человеческого знания во всех его сферах и направлениях. Я выбрал прочесть нижеслед⟨ующее⟩ стихотворение и — был бы счастлив, если бы кто-нибудь из сотни мужей науки ⟨...⟩ сказал бы мне с убеждением, что сказанная в стихах мысль — неверна, что чувство, ее вызвавшее, он никогда не испытывал и никакой представитель истинной науки не должен его испытывать». *Из бездны вечности.* Восходит к Псалтири (CXXVIII, 1).

266. РВ, 1883, № 3, с. 1, в содержании названо «В пустыне». Печ. по ПСС 6, т. 1, с. 599. Несколько автографов и набросков. Об истории создания этого стих. см.: М. И. Сухомлинов, Особенности поэтического творчества А. Н. Майкова, объясненные им самим. — РСт, 1899, № 3, с. 494—497. *Время... подымет нас в своем стремленье.* Ср. стих. Г. Р. Державина «Река времен в своем стремленьи...».

КАРТИНЫ

ВЕКА И НАРОДЫ

267. БдЧ, 1857, № 1, с. 4; С 1, кн. 2; С 2, ч. 1. Печ. по ПСС 4, т 1, с. 265 с исправлением по первой публикации и автографам опечаток в ст. 37, 75 и 79. Те же опечатки в ПСС 6, т. 1. Ст. 171 в БдЧ, С 1, С 2 читался: «Доминиканца ж клик суровый». Возможно, в ПСС 4, ПСС 5 и ПСС 6 опечатка. Однако, поскольку по автографу ее проверить невозможно (все автографы дают другую редакцию финала), эта строка не исправляется. Беловой автограф (др. ред.) (ЦГАЛИ); два автографа (др. ред); авторизованные списки (ПД, ГПБ); черновой автограф (ГПБ); неполные черновые автографы. В БдЧ сопровождалось указанием Майкова, что это стих. составляет эпизод из поэмы «Вечный жид». Работа Майкова над стих. была сложной и длительной. Некоторое представление о ее характере дает статья Ф. Д. Батюшкова «„Два мира“, трагедия А. Н. Майкова, ее происхождение и ее критики» в его кн.: «Критические очерки и заметки», СПб., 1900, с. 75—76. Там же приводится одна из ранних редакций стих. По воспоминаниям писателя Г. П. Данилевского, стих.

«Савонарола» было горячо одобрено Н. В. Гоголем, которому автор мемуаров читал в 1851 г. отрывки из этого стих., а также из «Трех смертей» (оба произведения ходили в списках). (См.: «Гоголь в воспоминаниях современников», М, 1952, с. 439—440). 6 октября 1851 г. П. А. Плетнев писал М. П. Погодину, имея в виду, по-видимому, стих. «Савонарола» и поэму «Три смерти»: «На днях Майков читал мне новые свои два стихотворения (исторического содержания)... Если бы жив был Пушкин, о! как бы крепко обнял он Аполлона по имени и по ремеслу!» (ГБЛ) *Савонарола Д.* (1452—1498) — религиозно-политический реформатор, глава Флорентийской республики, был низложен папой римским, повешен, а труп его сожжен. *Медичи* — флорентийский род, игравший важную роль в политической жизни средневековой Италии, из него вышли правители Флоренции. *Te Deum* (laudamus) — начальные слова католического благодарственного гимна.

268. ОЗ, 1854, № 4, с. 175 (др. ред.); «Известия императорской Академии наук», т. III, 1854 (ц. р. 24 января 1855); «1854-й год»; С 1, кн 2, без ст 210—297; С 2, ч. 1, без ст. 210—297; ПСС 4, т. 1, без ст. 210—297. Печ. по ПСС 5, т. 1, с. 276. Наброски и оттиск издания «1854-й год» с незначительной авторской правкой; автограф (ГБЛ); автограф в письме С. П. Шевыреву (ГПБ). *Клермонтский собор* — церковный собор, созванный в 1095 г. во французском городе Клермон. На нем был провозглашен крестовый поход против мусульманских стран. В 1853 г. «христианские» Англия, Франция и Сардиния в союзе с «мусульманской» Турцией выступили против «христианской» же России. О настроении Майкова в годы Крымской войны до некоторой степени дает представление его недатированное письмо к С. П. Шевыреву (к письму приложен автограф «Клермонтского собора»): «Чем бы ни кончилась настоящая война, но она долго будет памятна по тому одушевлению, которым сплотила весь русский народ, — вот вам истинно демократическая минута в нашей жизни, которая, по необъяснимой странности, не чувствуется только нашими... демократами. Вообще ... не люблю никаких партий, и всегда жил себе особняком». Сходные мысли и чувства нашли выражение в письме Майкова к А Ф Писемскому от 5 августа 1854 г. («Санктпетербургские ведомости», 1854, 11 августа), в котором он особо упомянул написанное в 1854 г. стих. К. Павловой «Разговор в Кремле» («Полное собрание стихотворений», БП, БС, М.—Л., 1964, с. 158), близкое по духу и смыслу его «Клермонтскому собору». Сложная и неоднозначная реакция русского общества на события Крымской войны нашла отражение в отзывах о стих. «Клермонтский собор». Так, историк и археограф академик Я. И. Бередников готов был приветствовать в Майкове «нового Тиртея» (письмо 1854 г. — РА, 1910, № 4, с. 567) (Тиртей — древнегреческий поэт, своими песнями вдохновлявший соотечественников на воинские подвиги). «Как хорошо окончание, последние строки в вашем Клермонтском соборе! — писал Ф. М Достоевский Майкову 18 января 1856 г. — Да! разделяю с вами идею, что Европу и назначение ее окончит Россия» (Достоевский, Письма, т. 1, с. 165). Н. А. Добролюбов, прочитавший стихотворение Майкова в списке, писал А. И. и З. В. Добролюбовым 1 марта 1854 г.: «...Маленькая поэмка Майкова под названием «Клермонтский со-

бор» — прекрасная вещь и имеющая тоже современный интерес» (Добролюбов, СС, т. 9, с. 115). С осторожной (очевидно, по цензурным соображениям) критикой «Клермонтского собора» выступил А. В Дружинин (Совр., 1854, № 4, с. 101—102, под псевдонимом «Иногородний подписчик»). В частности, «не совсем согласными с поэзиею» он считал следующие строки стих. Майкова: «За то, что мы матерьялизмом Не расснастили разум свой, Не наглумилися с цинизмом Мы над бессмертною душой». Майков счел необходимым не только разъяснить свою позицию в письме в редакцию ОЗ (1854, № 5, отд. IV, с. 76—78), но и исправить первоначальный текст, исключив из него упомянутые Дружининым строки. Н. Г. Чернышевский в рецензии на сборник Майкова «1854-й год» с одобрением упомянул «Клермонтский собор» (Чернышевский, ПСС, т. 2, с. 645). Однако несколько позже он пересмотрел свое отношение к этому стих. «Майков, — писал он Н. А. Некрасову 24 ноября 1856 г., — одинаково несвободен, о чем ни пишет, — у него все по заказу: и антологические стихотворения, и „Две судьбы", и „Клермонтский собор"» (Чернышевский, ПСС, т. 14, с. 314). *Ощупать язвы вашим пальцам.* Восходит к тексту Евангелия (Иоанн, XX, 25). *Людовик* IX *Святой* (1226—1270) — французский король, участник крестового похода. *Лучше смерть, чем срам.* Ср. в «Слове о полку Игореве»: «Лучше быть убиту, чем плененну!» (пер. Майкова). Ср. также известное обращение князя Святослава к русским воинам в 970 г.: «Мертвые сраму не имут». *С ненасытной жаждой Бессмертья, славы и добра.* Ср. в «Стансах» А. С. Пушкина: «В надежде славы и добра...»

269. С 1, кн. 2, с. 80. Печ. по ПСС 4, т. 2, с. 204. Переложение стих. немецкого поэта-романтика Адальберта Шамиссо (1781—1838) «Der alte Sänger». *Я — в пустыне вопиющий.* Восходит к Библии (Исайя, XL, 3) и означает напрасный призыв, оставшийся без ответа.

270. «Время», 1861, № 1, с 185 (ц р. 1 декабря 1860) с надзаг. «Легенда об испанской инквизиции», под загл. «Исповедь королевы», с подзаг. «Поэма, часть первая», без трех последних строф; НС, без трех последних строф. Печ. по С 2, ч. 1, с. 269. Героиня легенды, по-видимому, королева Кастилии и Арагона *Изабелла* (1451—1504). Она покровительствовала наукам, при ее содействии снаряжались экспедиции Колумба. В то же время под влиянием своего духовника Торквемады (1420—1498) Изабелла восстановила в Испании инквизицию. 30 декабря 1860 г. А. В. Никитенко сделал запись в дневнике: «Вечером читал у меня А. Н. Майков свое новое произведение: «Испанская инквизиция». Это, бесспорно, одно из лучших его стихотворений» (Дневник, т. 2, с. 168). Н. Г. Чернышевский об «Исповеди королевы» отозвался иронически (Чернышевский, ПСС, т. 7, с. 950—951). *Дон Фернандо* — Фердинанд V (1452—1516), король Арагона и Кастилии, муж Изабеллы. *Резные буквы* и т. д. Речь идет о книгопечатании, которое в Европе возникло в 40-х годах XV в. *От пути Иезавели* и т. д. В стих. игра слов: библейское имя Иезавель соответствует испанскому «Изабелла».

271. РВ, т. 13, кн. 1, 1858, с. 207; С 1, кн. 2. Печ. по С 2, ч. 1, с. 300 Автограф без загл. и черновой неполный автограф.

272. РС, 1860, № 1, с. 79 (ц. р. 31 декабря 1859) с подзаг. «Легенда об Иоанне Гусе» и датой: 1859; НС. Печ. по С 2, ч. 2, с. 356. Черновой автограф без загл.; автограф. И. С. Тургенев назвал это стих. «прелестным» (Тургенев, ПССиП, П, т. 4, с. 7). В. Г. Короленко процитировал «Приговор» в статье «Приносятся ли вотяками человеческие жертвы?» (Короленко, т. 9, с. 376), которая была направлена в защиту жертв судебного произвола. *Констанцский собор* — вселенский собор католической церкви (1414—1418), проходивший в городе Констанце. *Гус Иоганн* (Ян, 1371—1415) — чешский национальный герой, возглавивший борьбу народа против католической церкви, феодалов, иноземного засилья, был осужден Констанцским собором и сожжен 6 июля 1415 г. *«Да воскреснет бог»* — из псалма LXVII, ст. 2.

273. РС, 1861, № 2, с. 100, без подзаг., с примеч. Майкова: «Форма этой пьесы и некоторые стихи и черты заимствованы из Гете: «Der neue Pausias und sein Blumenmädchen»; НС, без подзаг. Печ. по С 2, ч. 2, с. 366. Черновые наброски; беловой автограф с правкой под загл. «Новый Павзий и цветочница»; беловой автограф с правкой и зачеркнутым подзаг. «Заимствовано из Гете» и примеч. автора; беловой наборный автограф.

274. РВ, 1870, № 1, с. 166. Печ. по С 2, ч. 2, с. 376. Беловой автограф с правкой, с подзаг. «(Из Гетевой элегии)»; черновой автограф с подзаг. «Гетевская элегия»; беловой автограф с тем же подзаг. Перевод стих. «Alexis und Dora».

275. РВ, 1860, № 3-4, с. 393, под загл. «Сербская песня»; НС. Печ. по ПСС 5, т. 2, с. 197. 2 черновых автографа без загл. Перевод песни «Дjевоjка и коњ момачки» или песни «Будљанка дjевоjка и коњ» из сборника сербских народных песен Вука Караджича. См. об этом стих. статью Ф. Я. Приймы «Джерело Шевченкового «Подражанія сербському». — «Радянське літературознавство», 1964, № 6, с. 56—57.

276. «Будильник», 1866, № 85—86, 11 ноября, с. 338, подпись: М. Печ. по ПСС 4, т. 2, с. 199. Автограф и черновой неполный автограф без загл. *Дон Педро* — имя нескольких королей Арагона и Кастилии. Один из них был прозван Жестоким (1334—1369). Возможно, в легенде к образу испанского короля присоединились черты характера короля португальского Педро Правосудного (1320—1367).

277. С 2, ч. 2, с. 353, с датой: 1869. Дата: 1859 в ПСС 6, т. 1, с. 108, по-видимому, ошибочна: черновой и беловой автографы находятся в тетрадях стих. 60-х годов. ПСС 4 и ПСС 5 с датой: 1869. Представляет собой романтическую стилизацию, не связанную с поэзией трубадуров (указано М. Б. Мейлахом).

278. Н, 1886, № 12, с. 308. Печ. по С 3, с. 3. Автограф. В стих. пересказан эпизод из жизни Гете, отраженный в его поэзии («Kenner und Enthusiast»). Сохранился майковский перевод этого стих. (черновой автограф). *Я. П. Полонский* — см. примеч. 109—110. *Критик твой достопочтенный.* Имеется в виду К. К. Арсеньев (1837—1919) и его статья «Поэты двух поколений» (ВЕ, 1885, № 10, с. 758), где,

наряду с общей положительной оценкой Полонского, делаются критические замечания. *Винкельман* — см. примеч. 80.

279. Н, 1888, № 17, с. 426. Печ. по ПСС 6, т. 2, с. 125. Набросок без загл. В подстрочном примеч. Майкова неточность: начиная с первой публикации (Совр., 1856, № 7, отд. V, с. 11), первый пушкинский стих читается: «Ночь тиха; в небесном поле. . .» *Лев святого Марка* — бронзовая статуя в Венеции, герб города.

ИЗ СЛАВЯНСКОГО МИРА

280. З, 1870, № 3, с. 104, под загл. «Бей его!» и с подзаг. «Первая встреча славян с римлянами». Печ. по С 2, ч. 3, с. 3. Наборный автограф, предназначавшийся для З; черновой автограф под загл. и с подзаг., идентичными З; автограф без загл. и подзаг.; черновые автограф и наброски. Неоднократно перепечатывалось в сборниках переводов из славянской поэзии. В журнальной публикации сопровождалось примеч. Майкова: «Пьеса эта (по-словацки «Mor'ho», т. е. «убивай его»), взятая из словацкого поэта Халупки и переданная по-русски для изготовляемого Н. В. Гербелем «Сборника славянской поэзии», была читана в торжественном заседании Славянского благотворительного комитета в С.-Петербурге 14 февраля 1870 года. Эпизод, взятый г. Халупкой за основание его рассказа, находится у Аммиана Марцелина и относится к IV веку по Р. Х.». При переводе Майков исключил четыре первых, а также пятьдесят шесть завершающих стихов, тем самым значительно смягчив актуальный в то время политический радикализм подлинника. *Халупка* Само (1812—1883) — словацкий поэт-романтик. *Римский царь* — очевидно, император Юлиан (331—363 н. э.). *Меч иль мир во длани* — перефразировка евангельского текста (Матф., X, 34). *Горе побежденным* — слова, с которыми галльский вождь Бренн обратился к побежденным им римлянам (Тацит, История, V, 48, 9).

281. «Беседа», 1871, № 4, с. 74, с подзаг. «Чешское предание»; С 2, кн. 3; сб. «Славянство», изд. 2, СПб., 1877, с эпиграфом из перевода этого же стих., выполненного Н. Бергом (ст. 1—10 оригинала, не переведенные Майковым). Печ. по ПСС 4, т. 2, с. 249. Автограф и черновой незаконченный автограф с позднее вписанным загл. и примеч. В журнальной публикации сопровождалось примеч. Майкова: «Стихотворение это заимствовано из Краледворской рукописи и хроник Далемила и Козьмы Пражского». Перевод эпической песни «Любушин суд» («Libušin soud») из «Краледворской рукописи», сборника подделок под старочешскую поэзию, созданного чешским поэтом, филологом и общественным деятелем В. Ганкой. В 1843 г. рукопись была полностью издана в Праге, и Майков, живший в этом же году в Праге, завязавший знакомство с Ганкой, мог видеть не только печатное издание, но и самую рукопись, подложность которой была доказана лишь в 1880-х годах.

282. З, 1869, № 2, с. 1. Печ. по ПСС 6, т. 2, с. 149. В ПСС 4, т. 2, с. 256 дата в оглавлении: 1870. Черновой автограф под загл. «Обретенная сабля» с подзаг. «Из сербских песен». Черновые автографы и набросок. Перевод песни «Марко краљевић познаје очину сабљу» из

сборника сербских народных песен Вука Караджича. *Вукашин* — сербский король (с 1367 г.). *Марко* королевич — герой сербского эпоса, борец с турками, сын Вукашина.

283. З, 1870, № 5, с. 5; С 2, ч. 3 с ошибочной датой: 1871; сб. «Славянство», изд. 2, СПб., 1877. Печ. по ПСС 4, т. 2, с. 278 с исправлением ошибочной даты (1871). Из примечания редакции в журнальной публикации явствует, что стих. было прочтено на вечере в пользу Славянского благотворительного комитета 1 апреля 1870 г. Неполный черновой автограф без загл. и подзаг. (др. ред.). Источник перевода не установлен. Следует предположить, что это — оригинальное стих. Майкова. В сб. «Славянство» стих. печаталось с двумя примечаниями от редакции: 1) «Королевич Марко — любимый богатырь сербских народных былин; он имеет в сербских былинах такое значение, как в русских — Илья Муромец»; 2) к строкам «Вот — Белград позорившее знамя Спущено навек с его кремля»: «До 1870 г. в Белградской крепости (кремле) находился отряд турецкого войска; в этом году сербы настояли на том, чтобы турки были удалены из Белграда». После ст. 64 как финал стих. следуют строки, создание которых вызвано было, по-видимому, надеждами Майкова на освобождение Болгарии от турецкого гнета в связи с начавшейся в 1877 г. русско-турецкой войной. *Марко* — см. примеч. 282. *Орлы Екатерины* — государственные деятели и полководцы периода царствования Екатерины II: П. А. Румянцев, Г. А. Потемкин-Таврический, А. В. Суворов, А. Г. Орлов-Чесменский и др. Восходит к стих. Г. Р. Державина «На кончину графа Орлова». *Милош Обренович* (1780—1860) — сербский князь.

284. «Огонек», 1879, № 7, с. 147, под загл. «О славном гайдуке Радойце» с подзаг. «(Далматинское сказание)». Печ. по ПСС 4, т. 1, с. 492. Перевод песни «Мали Радојица» из сборника сербских народных песен Вука Караджича.

НОВОГРЕЧЕСКИЕ ПЕСНИ

РВ, 1861, № 1, с. 463 (21 песня) под общим загл. «Мотивы из народной поэзии нынешних греков»; НС, с. 116 (26 песен) в разделе под тем же загл. Несколько других песен печаталось до и после РВ и НС в периодике («Подснежник», ММ, «Иллюстрация», РВ и Совр.). ПСС 6, т. 2 в разделе «Новогреческие песни» — 33 песни. Автографы нескольких песен с предисловием в форме письма к «Фету, Мею, Михайлову, Бергу» и разрозненные автографы. Создание новогреческих песен связано с участием поэта в морской экспедиции корвета «Баян» на Архипелаг в 1858—1859 гг., в состав которой он был включен по «рескрипту» великого князя Константина Николаевича (ЦГИА, формулярный список Майкова). Готовясь к предстоящему путешествию, Майков брал уроки новогреческого языка, тщательно изучал новогреческую историю и культуру. В журнальной публикации цикл сопровождался следующим примеч. Майкова: «„Мотивами из народной поэзии нынешних греков“ я назвал предлагаемое собрание стихотворений потому, что было бы не совсем верно назвать их переводами, по крайней мере некоторые из них... Для избежания всяких нареканий я откровенно сознаюсь, что более старался передать поэти-

ческий характер новогреческих песен, общее впечатление, жертвуя буквальною точностью; в выборе своем руководствовался какою-нибудь поэтическою чертою, имеющею общее значение, например, старался сохранить эту любовь к жизни и чувство красоты природы, и именно природы Греции...» Примеч. с незначительными стилистическими изменениями повторено в НС, в др. изд. отсутствует. В предисловии (ПД) Майков, выражая благодарность Г. С. Дестунису, которому «обязан знакомством с языком и миром Новой Греции», ссылается на его свидетельство о том, что «местный колорит и общий поэтический строй новогреческой народной поэзии сохранен в этом сборнике».

285. РВ, 1861, № 1, с. 463 Автограф.

286. РВ, 1861, № 1, с. 464. Печ по ПСС 4, т. 1, с. 492. Набросок первой строфы без загл. В РВ и НС сопровождалось примеч. Майкова: «Этой песни нет ни в одном сборнике. Я слышал ее в 1858 году на острове Милосе; к сожалению, не записал, и по памяти передаю теперь ее содержание».

287. «Подснежник», 1858, № 2, с. 6, под загл. «Ласточка», с подзаг. «(Народная новогреческая песня)». Печ. по С 1, кн. 2, с. 275. В «Подснежнике» примеч. Майкова к ст. 2: «Белым морем нынешние греки называют Архипелаг».

288. РВ, 1861, № 1, с. 465. Черновой автограф.

289. РВ, 1861, № 1, с. 466. Черновой автограф и черновой автограф без загл. В РВ и НС сопровождалось примеч. Майкова: «Все собиратели полагают, что эта песня сложена где-нибудь на островах Архипелага, Марцеллус прямо указывал на Парос, Мустоксиди — на Корфу».

290. Совр., 1858, № 3, с. 254, в цикле «Новогреческие песни». Печ. по С 1, кн. 2, с. 279.

291. РВ, 1861, № 1, с. 467. Черновой автограф без загл. *Что лимоны, груди поднялись*. «Обыкновенно встречаемое в новогреческих песнях сравнение» (примеч. Майкова в РВ и НС. Там же приводится греческий текст).

292. С 2, ч. 2, с. 138. Черновой автограф.

293. «Иллюстрация», 1862, № 246, 22 ноября, с. 339, в цикле «Новогреческие песни». Печ. по НС, с. 133. Беловой автограф с правкой.

294. РВ, 1861, № 1, с 468. Наброски без загл. и черновой автограф без загл. В РВ и НС сопровождается примеч. Майкова: «Это одна из самых известных новогреческих песен. Киссав — это древняя Осса. Олимп собственно турки никогда не могли покорить; это было единственное прибежище свободы греков; в его ущельях гнездились клефты и вели вечную войну с турками. Во всех сборниках, однако, она приводится в другом виде, как и перевели ее по-немецки Гете и по-русски Берг. Но в сборнике Томазео ... изложена она в этой редак-

ции, которая показалась мне гораздо целостнее и выдержаннее, что и соблазнило меня передать ее по-русски».

295. PC, 1861, № 1, с. 471. Печ. по С 2, ч. 2, с. 150. Черновой автограф без загл. *Али-паша* (1741—1822) — турецкий наместник в Албании, в 1803 г. покорил сулиотов.

296. РВ, 1861, № 1, с. 472. Черновой автограф без загл.

297. РВ, 1861, № 1, с. 473.

298. РВ, 1861, № 1, с. 473. В РВ и НС сопровождалось примеч. Майкова, относящимся к последним девяти стихам: «Образчик мириологов, то есть причитаний, которых так много в новогреческих песнях».

299. РВ, 1861, № 1, с. 474. Наброски без загл. В РВ и НС сопровождалось примеч. Майкова: «Понятия греков о смерти представляют странную смесь древних и средневековых понятий... Духовно-христианское начало, очевидно, не восторжествовало над пластическими представлениями греков». *У меня жена есть молодая* и т. д. «В подлиннике о жене он выражается так: «У меня жена есть молодая! Как она останется вдовою? Засмеют ее, засудят люди: Скоро ль выйдет — скажут, мужа хочет. Тихо ль выйдет — скажут, мужа ищет». То есть на людей не угодишь, идешь ли тихо, идешь ли скоро, всё истолкуют как-нибудь обидно».

ОТЗЫВЫ ЖИЗНИ

300. «Финский вестник», 1845, т. 1 (ц. р. 15 декабря 1844), с. 1; ПСС 4, т. 1, с. 107. Печ. по ПСС 6, т. 2, с. 231. Наброски с карандашной пометой Майкова: «В этих четырех листиках материал, из коего вышел *Дух века»*. В обзоре «Русская литература в 1845 году» В. Г. Белинский назвал «Дух века» в числе весьма немногих «счастливых вдохновений таланта», появившихся в 1845 г. (Белинский, ПСС, т. 9, с. 392). Стих. представляет собой одну из многочисленных в европейских литературах поэтических вариаций, порожденных средневековой немецкой легендой о *Фаусте* — ученом, вступившем в сношение с дьяволом Мефистофелем ради знаний, богатства и мирских наслаждений, и трагедией Гете «Фауст». *Готфред* Бульонский (ок. 1060—1100) — французский герцог, один из предводителей Первого крестового похода, первый правитель Иерусалимского королевства. Васко *де Гама* (1469—1524) — португальский мореплаватель, проложивший морской путь из Европы в Южную Азию. *Кук* Д. (1728—1779) — английский мореплаватель. *Ченслор* Р. (Ченслер, ум. 1556) — английский мореплаватель, положивший начало торговым отношениям России и Англии, оставил описание своего пребывания в России. *Гамбс* — фамилия известных петербургских мебельных мастеров (XVIII—XIX вв.).

301. «Вчера и сегодня. Литературный сборник, составленный гр. В. А. Соллогубом, изданный А. Смирдиным», кн. 2, СПб., 1846, с. 53 (ц. р. 27 марта 1845 г.), с цензурными купюрами и без подзаг.; С 1, кн. 1, с цензурными купюрами, без подзаг.; С 2, ч. 1, без цензур-

ных купюр. Печ. по ПСС 4, т. 1, с. 122, с исправлением по автографу и первой публикации опечатки в ст. 75. Автограф ст. 356—397 (дополнение к наборной рукописи — ЦГАЛИ); беловой автограф главок 1—5, соответствующий в основном первой публикации, без подзаг. с эпиграфом:

«Природа всемогущая!..
Работница неутомимая...
Дева первородная,
Дева вечная,
Сила всемогущая,
Движущая звезды небесные,
Всем видимая,
Никому не постижимая
В своих сокровенных глубинах.
Божество, заключающее власть всех богов,
Страшная злым,
Друг справедливых,
Разум [всеобщий] вселенной,
Богиня, являющаяся во всех видах,
Нам дающая законы,
Молю тебя . . . .»

Орфей. «Гимн Природе»

и беловой автограф с правкой, начиная с 6-й главки до конца, без загл. и подзаг.; несколько редакций ст. 396—419: набросок, черновой автограф, беловой автограф (листок из альбома — поздняя запись в виде самостоятельного стихотворения). Стих. подверглось цензурным преследованиям. В первой публикации вымараны цензурой и обозначены двумя строками точек ст. 351—384 (до слов «есть в нас»), ст. 389—392, 397—398. После ст. 427 читалось:

Полумертвы, умом своим
В предел безвестный мы летим.
. . . .
. . . .

В С 1, кн. 1 ст. 351—384 и 389—392, так же как в первой публикации, отсутствуют, ст. 397—398 восстановлены, после ст 427 следует строка точек. В автографе ст. 184—190 даны в другой, недоработанной редакции. Нецензурность этих строк послужила, вероятно, препятствием для их дальнейшей доработки: строка точек в начале 8-й главки имеется и в автографе. На цензурные преследования сборника «Вчера и сегодня» намекает, по-видимому, Белинский в своей рецензии (см. Белинский, ПСС, т. 9, с. 583). О майковском стих. он отзывается в этой рецензии сдержанно

302. Совр., 1847, № 4, с. 467, с эпиграфом: «„Monsieur, vous l'oracle!". „Быть оракулом, быть оракулом!" (Les petits jeus de société)»; С 1, кн. 1. Печ. по С 2, ч. 1, с. 131. Беловой автограф начала с французским эпиграфом, совпадающим с эпиграфом Совр., и разночтениями в тексте эпиграфа, заключенном в скобки: «(Невинные игры)». В беловом автографе полного текста и в черновых набросках после ст. 284 следует ст, замененный во всех публикациях строкой точек:

«В чулках, при шпаге и в ливрее». Его отсутствие в печатном тексте объясняется, вероятно, или прямым цензурным вмешательством, или автоцензурой.

303. ОЗ, 1854, № 1, с. 6, под загл. «Дурочка Дуня» без подзаг.; ДЛЧ, т. 1, СПб., 1856; С 1, кн. 2, с. 55. Печ. по С 2, ч. 2, с. 285 Черновой автограф с датой: «Задумано и начато в июне 1853 и кончено в октябре 1853»; беловой автограф под загл. «Дурочка Дуня» с подзаг. «Идиллия» и датой: 1853 окт‹ября› 24; черновой автограф (др. ред.) без загл.; три автографа под загл. «Дурочка Дуня»; беловой автограф; оттиск ОЗ с авторской правкой (ГПБ). «...Майков написал небольшую поэму «Дуня-дурочка», — писал Н. А. Некрасов И. С. Тургеневу 17 ноября 1853 г., — это решительно лучше всего, что он писал» (Некрасов, ПСС, т. 10, с. 199). В 1860 г. в рецензии Н. А. Добролюбова это стих. оценивается уже по-иному — как дань моде изображать сцены «простого быта» (Добролюбов, СС, т. 6, с. 50).

304. ОЗ, 1856, № 3, с. 287, с подзаг. «Поэма», в посвящ. отсутствует имя А. И. Халанского; ДЛЧ, т. 5, СПб., 1857; С 1, кн. 2. Печ. по С 2, ч. 2, с. 273. Наброски и черновой автограф без загл. Посвящено лицам, для которых рыбная ловля, как и для самого Майкова, была «благородной страстью» и даже предметом переписки (см.: Н. Коваль, Писатели-рыболовы. — «Рыбоводство и рыболовство», 1961, № 3, с. 51—52). *Сергею Тимофеевичу Аксакову* (1791—1859) принадлежат «Записки об уженье рыбы» (1847); он посвятил Майкову стих. «17 октября» (1857) — о рыбной ловле. Майков писал о своем увлечении не только в частной переписке (см. его письмо к А. Ф. Писемскому от 5 августа 1851 г. в «Санктпетербургских ведомостях» 1854 г., 11 августа, посвященное жгучим вопросам современности). Н. А. Некрасов в 1856 г. отозвался о «Рыбной ловле» как о стихотворении «превосходном» (Некрасов, ПСС, т. 9, с. 393). Н. Щербина свое стих. «Уженье» (1854) после появления «Рыбной ловли» печатал с посвящением Майкову. Д. С. Мережковский, считавший, что современная тема в целом Майкову не дается, писал: «Несомненно лучшая из современных поэм Майкова „Рыбная ловля“» (в его сб. «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», СПб, 1893, с. 128).

305. РВ, 1861, № 9, с. 299, с датой: 1861, февраля 28; НС. Печ. по С 2, ч. 2, с. 312. Наброски. Стих. Майкова, отражающее либерально-дворянскую реакцию на отмену крепостного права, перепечатывалось в бесчисленном количестве сборников и хрестоматий, выходивших в дореволюционной России. Вместе с тем оно было встречено единодушно отрицательной оценкой демократической прессы (см., напр., пародию П. Шумахера «Кто она? (В pendant к «Картинке» Майкова)». — Поэты «Искры», т. 2, БП(БС), Л., 1955, с. 883; рецензию М. Е. Салтыкова-Щедрина (1864) на НС (Салтыков, СС, т. 5, с. 434—435).

306. В, 1862, № 1, с. 103, с подзаг. «Отрывок из неоконченной поэмы»; НС под загл. «Старое и новое» с подзаг. «(Отрывок из поэмы «Поля»)»; С 2, ч. 2. Печ. по ПСС 4, т. 2, с. 131. Черновые наброски без загл.; автографы (беловой и черновой). В начале 60-х годов стих. пользовалось эстрадным успехом. Майков «декламировал превосход-

но... Без «Полей» не обходилось ни одно литературное чтение, и стоило Майкову появиться на эстраде и прочесть что-либо другое, как из публики начинали раздаваться требования: «Поля!», «Поля!», что подало повод одному из сатирических журналов («Искра». — *Ред.*) изобразить Майкова пред многочисленной аудиторией, с ужасом повторяющего вместе с нею свой стих: „А там поля, опять поля!"» (А. Ф. Кони, Воспоминания о писателях, Л., 1965, с. 136—137). Однако архивные материалы свидетельствуют о том, что даже это стих., скромный либерализм которого вызывал насмешки демократической печати, подвергалось цензурным преследованиям. В заключении Петербургского цензурного комитета от 2 декабря 1861 г. сообщается, что отрывок из стих. «Поля» одобрен для публичного прочтения, «за исключением стихов, не пропущенных Государственною канцеляриею и зачеркнутых красным карандашом» (ЦГИА). Сохранился беловой автограф стих. под загл. «Отрывок из стихотворения „Поля"» — вариант, представлявшийся в цензуру. Ст. 44—58 отчеркнуты сбоку простым карандашом, ст. 59—102 отчеркнуты простым карандашом и вычеркнуты красным карандашом цензора, каждая строфа отдельно. Ст. 13—24 в автографе отсутствуют. После ст. 12 — зачеркнутая простым карандашом никогда не публиковавшаяся строфа:

И знаю я: им нет конца!
И тот, кто, дни свои губя,
В натуге сил, в поту лица —
Трудился здесь не для себя.

Наброски этих ст. в разных редакциях (одна из них: «Кто ж в мире выше был тебя, Народ, что здесь, в поту лица, Прожил, трудясь не для себя?») записаны в нескольких черновых тетрадях Майкова, в том числе среди стих. «Неаполитанского альбома», созданного до реформы 1861 г. Отсутствие этих стихов несомненно результат автоцензуры.

307. В, 1861, № 5, с. 235. Печ. по НС, с. 14. Черновой автограф без загл.; в списке стих., сделанном Майковым, под загл. «Бабушка». В НС стих. датировано нарочито неверно: 1862. Верная дата в ПСС 6, т. 2. В черновой тетради Майкова автограф среди стих. 1857 г. Не исключено, что стих. косвенно связано со смертью Николая I, к которому Майков относился весьма сложно и в разные годы по-разному (см примеч. 350).

308. НС, с. 8, с подзаг. «Глава из поэмы „Поля"». Печ. по С 2, ч. 2, с. 329. Упоминается в письме соредактору РВ П. М. Любимову от 9 января 1864 г. под загл. «Монастырь» (ЦГАЛИ). Черновые и беловые наброски; автограф без загл. среди стих. «Неаполитанского альбома». *Жил пустынным житием*, т. е. в отшельничестве. *Царь Иван* — очевидно, Иван Грозный (1530—1584). *Тяжелый млат ковал тебя*. Ср. в поэме А. С. Пушкина «Полтава»: «Так тяжкий млат, Дробя стекло, кует булат». Позднее Майков иначе характеризовал деятельность Ивана Грозного (см. примеч. 312).

309. РВ, 1877, № 5, с. 256, с подзаг. «Баллада». Печ. по ПСС 4, т. 3, с. 71. Беловой автограф; черновые автографы (др. ред.); черно-

вые наброски. В РВ ст. 109, по-видимому, в автоцензурной редакции: «Подписанный начальством просвещенным». Я. К. Грот писал П. А. Плетневу 13 декабря 1865 г.: «...Он читал мне новую, очень оригинальную поэму свою „Два беса"» (Переписка, т. 3, с. 716). *Все заповеди* и т. д. Имеются в виду этические нормы, которые, согласно библейской легенде, бог заповедал еврейскому народу через Моисея: не убивай (шестая), не прелюбодействуй (седьмая), не пожелай дома ближнего твоего (десятая) и др. Все десять заповедей были высечены на скрижалях (Исход, XX, 1—17).

ОТЗЫВЫ ИСТОРИИ

310. Г, 1875, № 1, с. 16, с посв. В. А. Чембулатовой; ПСС 4, т. 3. Печ. по ПСС 5, т. 3, с. 3. Наборный беловой автограф, предназначенный для Г; наброски без загл.; беловой автограф под загл. «Емшан» (ГПБ); черновой автограф с посв. В. А. Чембулатовой; черновые наброски отдельных строф, среди которых автограф трех последних строф с датой: 1874. Окт(ябрь) 31. *Волынская летопись* (точнее: галицко-волынская) содержит описание событий с начала XIII в. до 1292 г, отличается светскостью, поэтическим колоритом.

311. «Семейные вечера», 1878, № 12, с. 141. Набросок без загл. и черновой автограф под загл. «Городец в 1263». *Князь Александр* — Александр Невский (ок. 1220—1263), умер, как и его *отец* Ярослав Всеволодович (1190—1246), возвращаясь на родину после переговоров в Золотой Орде. *Князь Михаил* — Михаил Всеволодович, князь Черниговский, в 1246 г. убит в Орде за отказ от соблюдений местных обычаев. *Чрез огнь я прошел.* Речь идет об обычае очищения от злых умыслов, для чего надо пройти горящий костер. *Биргер Я.* (ум. 1266) — шведский воевода, был ранен Александром Невским копьем в лицо во время Невской битвы. *Памятен им пооттаявший лед.* Имеется в виду Ледовое побоище (1242). *Всё лишь вконец претерпевый — спасен.* Восходит к тексту Евангелия (Матф., X, 22). *Видит он: облитый словно лучом золотым* и т. д. При Петре I *(кормчий)* в 1724 г. мощи Александра Невского были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург (в Александро-Невскую лавру). *«Наше солнце зашло!»* — слова митрополита Кирилла, возвестившего о смерти князя (приводятся Майковым близко к тексту, по-видимому, по Псковской второй летописи).

312. РВ, 1888, № 5, с. 116. Печ. по С 3, с. 40. Беловой наборный автограф, предназначенный для РВ, и беловой с правкой под загл. «Перед гробом Грозного» без эпиграфов. Черновой набросок без загл. в черновой тетради 60-х годов и черновой автограф без загл. В журнальной публикации стих. были предпосланы эпиграфы: «Как тогда (в Ветхом Завете) вместо креста потребно было обрезание, так и вам вместо царского владения потребно самовольство. Тщуся с усердием людей иа истину и свет наставить, да познают единого истинного бога, в Троице славимого, и от бога им данного государя, а от междуусобных браней и строптивого жития да престанут, которыми царство растлевается» *(Письмо Иоанна к кн. Курбскому)*; «На христианский же род (свой народ) никаких мучительных сосудов (орудий) не умышляем; но паче за них желаем противу всех врагов их не токмо

до крови, но и до смерти пострадати» (там же); «Сей Государь (Иоанн IV) мой предшественник и образец, но я с ним еще не мог сравняться» (Слова Петра В. см. Штелина 1801. Москва, ч. II, с. 93—95)». *Грозный* — Иван IV Васильевич (1530—1584), первый русский царь (с 1547 г.). Апология Грозного в стих. Майкова встретила неодобрительное отношение поэта и философа В. С. Соловьева. См. его письмо к К. Ф. Головину от 12 марта 1897 г. («Письма В. С. Соловьева», т. 3, СПб., 1911, с. 9) и пародию на стих. (В. Соловьев, Стихотворения и шуточные пьесы, БП, БС, Л., 1974, с. 171). В своей статье о Майкове, написанной еще при жизни поэта, В. С. Соловьев, специально останавливаясь на стих. «У гроба Грозного», писал: «Нельзя, конечно, заподозрить гуманного поэта в сочувствии злодеяниям Ивана IV, но они вовсе не останавливают его прославления, и в конце он готов даже считать их только за „шип подземной боярской клеветы и злобы иноземной“» (Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона). *Княгиня-мать* — Елена Глинская (ум. 1538), по некоторым свидетельствам, была отравлена. *Шуйские* — русский княжеский род, представители которого играли видную роль в Московском государстве в XV—XVI вв. Во время малолетства Ивана IV заняли руководящее положение, но в дальнейшем были отстранены от власти. *Бельский* Б. Я. (ум. 1611) — князь, приближенный Ивана IV, противник Годунова, участник авантюры Лжедмитрия. *Мстиславский* И. Ф. (ум. 1586) — князь, полководец. Был обвинен царем в измене, после того как ему не удалось защитить Москву от вторжения войск крымского хана. *Курбский* А. М. (1528—1583) — князь, близкий сподвижник Ивана IV. Опасаясь опалы, бежал в Литву, откуда писал царю письма, обвиняя его в неоправданной жестокости. Иван Грозный в свою очередь обвинял Курбского в сепаратистских устремлениях и в ненависти к царице Анастасии.

313. РВ, 1868, № 2, с. 554; С 2, ч. 3, с. 48. Печ. по ПСС 4, т. 2, с. 282, с исправлением опечатки по РВ и автографу в ст. 169 Та же опечатка в ПСС 6, т. 2. Набросок без загл.; списки; автографы; черновой автограф под загл. «Стрельцы»; черновой автограф трех последних строф без загл., где вместо последней строфы читается:

[Ладно, братцы! щи вам с кашей! ..
Ну-ко, птенчик, наливай!
Поживи сперва ты с наше —
Да тогда и рассуждай.]

Ф. М. Достоевский советовал Майкову сделать стих. «эпизодом в *целой поэме* из того времени» (Достоевский, Письма, т. 2, с. 80). *Софья Алексеевна* (1657—1704) — дочь царя Алексея Михайловича, правительница государства при малолетних Иване V и Петре I. В 1689 г. была низложена Петром I, заключена в монастырь, затем пострижена в монахини. Раскола она не поддержала. *Никоньянские попы*. Никон (1605—1681) — патриарх русской православной церкви. Его церковные реформы привели к религиозному расколу. Раскольники не признавали Никона, его вероучение объявляли «ложью». *Аки римская блудница На драконе восседя* — из сочинения А. Денисова (см. примеч. 335). Майков, по-видимому, цитирует по книге С. Максимова «Рассказы из истории старообрядства» (СПб., 1861, с. 55).

314. С, с. 138 (др. ред.). Печ. по С 1, кн. 1, с. 139. В ПСС 6, т. 1 с ошибочной датой: 1868. Список ранней редакции с датой: 1841. Входило в дореволюционные хрестоматии для народного чтения и неоднократно исполнялось на публичных чтениях для народа. *Всадник* — царь Петр I (1672—1725). Майков высоко оценивал его деятельность. Так, 7 марта 1868 г. он писал Ф. М. Достоевскому: «Мы все будем гордиться Петром, простив ему кое-что...» (Достоевский. Письма, т. 2, с. 416). Позднее, в 1880 г. о том же он писал жене: «...Признаю гений Петра и необходимость его реформ...» (ЛН, т. 86, М., 1973, с. 508). См. также стих. № 315, 362—386.

315. Г, 1874, № 43, с. 1078, без загл., в статье «Сказание о Петре Великом». Печ. по ПСС 4, т. 3, с. 8. Поэтическое переложение «рассказа» VII из опубликованных известным фольклористом Е. В. Барсовым записей «Петр Великий в народных преданиях Северного края» («Беседа», 1872, № 5, с. 306—307). В журнальной публикации сопровождалось обширной вступительной заметкой и примеч. Майкова. Другой вариант предисловия сохранился в архиве поэта.

316. «Описание празднества, бывшего в С.-Петербурге 6—9 апреля 1865 г. по случаю столетнего юбилея Ломоносова. По поручению высочайше утвержденного Ломоносовского комитета составлено членом его П. Мельниковым», СПб., 1865 и «Русский инвалид», 1865, № 75 (др. ред.). Печ. по ПСС 4, т. 3, с. 84. Наброски и черновые автографы без загл.; беловой автограф под загл. «Ломоносову» (др. ред.) с подзаг. «(На юбилей его в 18 году)», то есть с пропущенной датой, список первоначальной редакции (ГБЛ). Стих. было прочтено 7 апреля 1865 г. на обеде в память 100-летия со дня смерти *Михаила Васильевича Ломоносова* (1711—1765). Майков был одним из инициаторов и организаторов Ломоносовского юбилея 1865 г. и принадлежал к тем общественным кругам, которым удалось придать юбилею Ломоносова официозный характер. В этом духе Майков высказался в заметке «Несколько слов по поводу столетней памяти Ломоносова» («Сын отечества», 1865, 31 марта, № 77, с. 607—610) и в комментируемом стих. (в особенности в первой редакции, прочтенной на юбилейном обеде). «Стихи хороши, — писал А. В. Никитенко, — только сильно направлены против немцев» (Дневник, т. 2, с. 503). «Немцефобный» характер стих. Майкова был отмечен министром внутренних дел П. А. Валуевым (Дневник П. А. Валуева, т. 2, М., 1961, с. 34). Демократический лагерь отмежевался от юбилейных торжеств и к юбилейным выступлениям Майкова отнесся отрицательно (подробно см.: П. Н. Берков, Ломоносовский юбилей 1865 г. Страница из истории общественной борьбы шестидесятых годов. — «Ломоносов. Сб. статей и материалов», вып. 2, М.—Л., 1946, с. 216—247; И. Г. Ямпольский, Сатирическая журналистика 1860-х годов, М., 1964, с. 291). Текст стих., прочитанный на юбилейном обеде, был опубликован в искаженном цензурой виде. Впервые доцензурную редакцию опубликовал проф. И. А. Шляпкин в журн. «Русский библиофил», 1911, № 7, с. 109. В недатированном письме М. Н. Каткову (ГБЛ), говоря о предполагаемой публикации стихотворения в РВ (публикация не обнаружена), Майков писал: «Стихотворение переделано во многих местах, почему прошу печатать с этого последнего оригинала, а прежний порвать ‹текст стихотворения отсутствует. — *Сост.*›. Желательно бы

мне было, чтобы пьеса была напечатана и в „М(осковских) ведомостях“ и в „(Русском) вестнике“». Стих. так и не было опубликовано в РВ, и, по-видимому, не случайно. В набросках статьи, посвященной откликам на ломоносовский юбилей, Майков возражает и «Московским ведомостям», заявившим, что на ломоносовские торжества публика приведена была «какой-то темной агитацией», и «Санктпетербургским ведомостям», опасающимся, что ломоносовский праздник «вредно повлияет на „общечеловеческую науку“». «Немцефобный» характер выступления Майкова здесь несколько смягчен; главной мыслью статьи является утверждение того, что торжества имели целью «сознательно почтить память великого праотца самостоятельности русской мысли, первого, который дал русскому уму веру в себя». *Он — кормчий был* и т. д. Ср. в стих. А. С. Пушкина «Моя родословная»: «Сей шкипер был тот шкипер славный» *Мономах* — великий князь Киевский Владимир Всеволодович (1053—1125), по преданию, получил от императора Византии знаки царского достоинства: венец и бармы. *Курляндский конюх.* Имеется в виду Э.-И. Бирон (1690—1772) — фаворит императрицы Анны Иоанновны, которая дала ему титул герцога. Недоброжелатели Бирона утверждали, что его дед был конюхом Курляндского герцога. *Елизавета Петровна* (1709—1761) — российская императрица, дочь Петра I. *Екатерина II* (1729—1796) — российская императрица, которую Ломоносов воспел в ряде своих од. *Орлы Екатерины* — см. примеч. 283.

317. Скл., с. 427, без подзаг. Печ. по ПСС 4, т. 3, с. 17. Черновые автографы без загл. и подзаг.; список и беловой автограф, предназначавшийся для Скл. с подзаг. «Рассказ дедушки», беловой автограф. *Армидины сады* — см. примеч. 337. *Государыня* — Екатерина II (1729—1796). *Граф Орлов-Чесменский, Суворов, Князь Таврический* — см. примеч. 283.

318. ПСС 4, т. 3, с. 20. Черновые наброски без загл.; черновой автограф без загл.

319—320. Печ. по ПСС 6, т. 2, с. 396. Автограф.

1 Н, 1870, № 1, с. 1, вне цикла, под загл. «В альбом» с подзаг. «(Экспромт)» и датой: 1867; ПСС 4, т. 3, с. 31 вне цикла, под загл. «Из послания».

2. РВ, 1887, № 7, с. 364 (том посвящен памяти М. Н. Каткова), под загл «In oriente lux» с посвящ.; С 3, с. 26, вне цикла, под загл. «М. Н. Каткову»; ПСС 5, т. 3, с. 417, вне цикла, под загл. * * * с подзаг. «(М. Н. Каткову)». Беловой автограф под загл. «Oriente lux», вне цикла, ст. 1 имеет вариант: «Что может Риму дать восток?..» *Михаил Никифорович Катков* (1818—1887) — русский журналист и публицист, редактор газеты «Московские ведомости», владелец и редактор журнала «Русский вестник» (с 1856 г.). В 50-е годы придерживался умеренно либеральных взглядов, в 60-х годах перешел на реакционные позиции. Майков сотрудничал в журнале Каткова и, хотя и с некоторыми оговорками, выражал согласие с его позицией (см. письмо Майкова к жене от 19 июня 1880 г. — ЛН, т. 86, М., 1973, с. 508). *Ермоген* (Гермоген, не позже 1530—1612) — патриарх, церковный и политический деятель, во время нашествия поляков был ими заточен в монастырь, а затем уморен голодом в тюрьме. *«Что может*

миру дать Восток» и т. д. Ср. программное стих. В. С. Соловьева «Ex oriente lux» (1890). Ср. в трагедии «Два мира» (№ 338, ст. 209—214) и четверостишие Майкова, записанное там же, где и черновой автограф данного стих.:

С востока, о смертный, жди чуда,
С востока спасение нам,
И звезды восходят оттуда,
И солнце рождается там.

См. также примеч. 250.

321. «В память Ф. М. Достоевского», СПб., 1881, с. 12. Печ. по ПСС 4, т. 3, с. 103 с исправлением по автографам опечатки в последнем ст., прошедшей по всем изданиям. Стих. было прочитано Майковым на торжественном общем собрании С.-Петербургского благотворительного общества 14 февраля 1881 г. Беловой правленый автограф с подзаг. «(В 1865 году в альбом)». Другой автограф — в тексте одной из допечатных редакций поэмы «Княжна» (см примеч. 337), посвященной памяти Ф. И. Тютчева, под загл. «Вместо Пролога» с подзаг. «Стихи, ему написанные в 1869 г.». Во всех печатных изданиях имеет дату: 1874. Однако стих., по-видимому, написано при жизни поэта, т. е. не позднее 15 июля 1873 г. «...Знакомство с Ф. И. Тютчевым, — писал Майков в 1887 г. своему сослуживцу и биографу М. Л. Златковскому, — окончательно поставило меня на ноги, дало высокие точки зрения на жизнь и мир, Россию и ее судьбы в прошлом, настоящем и будущем...» (Зл, с. 41). В архиве Майкова сохранилось недатированное стих. «Ф. И. Тютчев»:

Есть чудный старец между нас:
Всегда — хотя на миг вас встретит —
Он что-нибудь в душе у вас
Своею мыслию осветит.

Поймите лишь и т. д. По воспоминаниям Майкова, Ф. М. Достоевский по поводу этих строк «воскликнул: „Да, да, поймите лишь! именно, именно, только бы поняли! Да нет, не поймут!..“» («В память Ф. М. Достоевского», с. 13).

322. РВ, 1878, № 11, с. 430, под загл. «Молитва»; «Огонек», 1880, № 9, с. 165, с подзаг. «На манифест 19 февраля 1861 года». Печ. по ПСС 6, т. 2, с. 425. 6 января 1879 г. Майков спрашивал А. А. Майкова: «По сердцу ли тебе пришлась моя «Молитва» в «Русском вестнике»? Я счастлив от двух последних стихов... Ведь это то, что искала Русь православная, в особенности наша, великороссийская» (ГПБ). Получив ответ А. А. Майкова, он писал: «Удивился я твоим словам, что в моих стихах «Молитва» нашел ты или предполагал во мне нечто политическое. Политики в поэзии я не терплю. Поэзия партий для меня не существует» (ГПБ).

323. РВ, 1880, № 8, с. 885, без посвящ., под загл. «Пора». Печ. по ПСС 5, т. 3, с. 53. Черновой автограф без загл. и посвящ.; текст русского эпиграфа более распространенный: «Попы увели народ в Унию, попы и назад приведут. [Наука увела интеллигенцию на запад,

наука и возвратит ее на русскую почву.] (Наука ⟨у⟩ нас обезличила интеллигенцию, она же её и обрусит.) Из одной диссертации». *Константин Константинович Случевский* (1837—1904) — русский поэт и прозаик; посвятил памяти Майкова поэму «Ларчик». Ему принадлежит также стих. «А. Н. Майкову». В архиве Майкова сохранилось стих. «Случевскому» (6 декабря 1878). Стих. «Суд предков» соотносится с поэмой Случевского «Призрак». Первый эпиграф — из стих. французского поэта Антуана-Венсана Арно (1766—1834) «Листок» («La feuille»).

ЮБИЛЕИ

324. «Эпоха», 1864, № 3, с. 494, под загл. «Шекспир» с подзаг. «Читано на его трехсотлетнем юбилее 23 апреля». Печ. по ПСС 4, т. 3, с. 81. Черновой автограф под загл. «Шекспир»; автограф без загл.; черновой автограф без загл. Инициатива проведения юбилея, принадлежавшая русской художественной интеллигенции, натолкнулась на сопротивление властей, и юбилейные торжества приобрели, таким образом, неофициальный характер (см.: «Шекспир и русская культура», М.—Л., 1965, с. 410—413).

325. Скл., с. 429, под загл. «У памятника Крылова» (др. ред.). Печ. по ПСС 4, т. 3, с. 89. Список и беловой автограф, предназначенные для Скл. под загл. «У памятника Крылову»; беловой автограф (ЦГАЛИ) и беловой автограф под тем же загл.; автограф с датой: 4 ⟨или 14 или 24 — лист оборван⟩ ян⟨варя⟩ 1868. Здесь же набросок юбилейного слова о Крылове. По свидетельству А. А. Плещеева (сын поэта А. Н. Плещеева), стих. было впервые прочитано Майковым на литературном вечере 16 марта 1874 г. Памятник Крылову работы скульптора П. К. Клодта в 1855 г. был установлен в Петербурге, в Летнем саду. Цоколь памятника украшен горельефными изображениями различных животных, персонажей басен Крылова. *Вот — побасенками старик потешил вас* и т. д. Ср. рассуждение о «побасенках» в «Театральном разъезде» Н. В. Гоголя (Гоголь, ПСС, т. 5, с. 170—171).

326. РВ, 1867, № 2, с 501, с подзаг. «⟨Неоконченное стихотворение⟩». Печ. по ПСС 4, т. 3, с. 91. Черновые автографы без загл. (ПД, ГБЛ), черновые наброски без загл. (др. ред.). *Николай Михайлович Карамзин* (1766—1826) — русский писатель-сентименталист, публицист, историк, автор многотомной «Истории государства Российского» (1816—1829). Историческая концепция Карамзина стала официальной концепцией русского дворянского государства. *Михаил Петрович Погодин* (1800—1875) — русский писатель, публицист, историк официального направления. Ему принадлежит биографический свод «Н. М. Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников» (ч. 1—2, М., 1866). На юбилейных торжествах 1866 г. Погодин произнес речь «О Карамзине как о человеке и гражданине». Майков с уважением относился к историческим трудам Погодина (см.: Н. П. Барсуков, Жизнь и труды М. П. Погодина, т. 13, СПб., 1899, с. 404—405). В наброске недатированной статьи о М. П. Погодине Майков писал: «Россия — в ее прошедшем, настоящем и будущем, со всеми людьми, в ней живущими, без исключения какого-либо со-

словия, какого-либо проявления в ней человеческого духа, Россия как она создалась веками в силу своих исторических судеб — вот тот бог, на служение которому он с юности посвятил свои силы». *В соборы ль древние с гробницами царей, Первосвятителей.* Русские цари и патриархи погребались в Архангельском и Успенском соборах, в церквах Рождества и Благовещенья. *Иван Великий* — колокольня, построенная на территории Кремля в 1505—1508 гг *Храм святого Спаса* — древнейший собор Кремля, был заложен в 1330 г. на месте обветшалой деревянной церкви. *Князь* — Иван I Калита (ум. 1340). *Святитель* — митрополит Петр (ум. 1326), он перенес из Владимира в Москву стол митрополита «всея Руси». *Ломали без следа святыни старины.* Речь идет о реконструкции Кремля, сделанной в середине XVIII в. по проекту архитектора В. Растрелли. *Здание, что строил Годунов* — Кремлевские царские палаты. *Романов* Михаил Федорович (1596—1645) — основатель царской династии в России.

327. РВ, 1883, № 1, с. 384, под загл. «К юбилею Жуковского 29 января 1883» с редакционным примеч. под строкой: «Ко дню 29 января, сотой годовщины рождения Жуковского, мы получили это стихотворение А. Н. Майкова для напечатания в „Моск(овских) вед(омостях)". Спешим поместить его одновременно и в „Русском вестнике"»; «Правительственный вестник», 1883, 1 (13) февраля, с. 1—2, без загл., без ст. 36. Печ. по ПСС 5, т. 3, с. 96. Набросок без загл. В газете публикации стих. предшествовала заметка от редакции: «30-го января в императорской Академии наук происходило торжественное собрание второго отделения ее в память столетия со дня рождения В. А. Жуковского... После речи О. Ф. Миллера А. Н. Майков прочел следующее стихотворение». Незадолго до смерти Жуковский через посредство П. А. Плетнева (см. примеч. 111) познакомился с ранними поэтическими опытами Майкова. «Благодарю вас за доставление стихов Майкова, — писал Жуковский Плетневу, — я прочитал их с величайшим удовольствием. Майков имеет истинный поэтический талант; я не читал его других произведений; слышу, что он еще молод; следовательно, перед ним может лежать еще долгий путь. Дай бог ему понять свое назначение, дай бог ему приобресть взгляд на жизнь с высокой точки, то есть быть тем поэтом, о котором я говорю в моем письме к Гоголю, и избежать того эпикуреизма, который заразил поэтов и осквернил поэзию нашего времени» (П. А. Плетнев, Сочинения и переписка, т. 3, СПб., 1885, с. 716—717). *Голгофский крест.* По евангельской легенде, Христос был распят на кресте, воздвигнутом на горе Голгофа, близ Иерусалима. *Тот был — кроткий сердцем* и т. д. Имеется в виду Александр II, в правление которого произошла отмена крепостного права. Жуковский был воспитателем будущего царя.

328. Н, 1880, № 25, 2 июня, с. 503, под загл. «Стихи, прочтенные на Пушкинском обеде в Москве, 6 июня». Печ. по ПСС 4, т. 3, с. 100. В ПСС 6, т. 2 неверная дата: 1883. Набросок без загл.; автограф. Написано ко дню открытия в Москве памятника А. С. Пушкину и прочитано Майковым на торжественном обеде в Москве 6 июня 1880 г. и в тот же день на «литературном утре» в Петербурге «за отсутствием поэта — проф. Незеленовым» («Венок на памятник Пуш-

кину...», СПб., 1880, с. 69). «Это широкая река светлых вод, — писал Майков о Пушкине, — текущих по возвышенной стране и вдруг разбившихся в низменности на множество ручьев и речек — один из этих ручейков и во мне — и вся забота в том, чтоб сохранить чистоту доставшейся струи» (набросок благодарственного письма по случаю приглашения на Пушкинский праздник, без даты, адресат не указан (ПД). На обороте листа, на котором записано данное стих., — стих. о Пушкине — см. № 361). В наброске речи, предназначавшейся, по-видимому, для произнесения на своем юбилее, Майков писал: «У нас... величайший поэт и писатель — Пушкин. Я думаю, что я его верно характеризую, если скажу: он строго служил искусству и твердо знал, «что чувства добрые он лирой пробуждал», лирой — т. е. этим строгим жречеством своей музе». *Уж тебя честит и славит Всяк народ и всяк язык.* Ср. стих. Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

329. РВ, 1887, № 4, с. 817. Печ. по С 3, с. 12. Черновой автограф под загл. «Полонскому Я. П.» (карандашом), без подзаг. (др. ред.). *Яков Петрович Полонский* — см. примеч. 109—110. *Три мальчика* — Полонский, Фет (см. примеч. 330), Майков. *Полустолетье наших муз.* Пятидесятилетие литературной деятельности Полонского отмечалось в 1887 г., Фета — в 1889 г., Майкова — в 1888 г. *Поэтический, наш верный, Наш добрый тройственный союз.* Ср. в стих. В. К. Кюхельбекера «Царское Село»: «...Наш тройственный союз, Союз младых певцов и чистый и священный...»

330. РВ, 1889, № 2, с. 233. Печ. по РВ, 1891, № 2, с. 61. Черновые карандашные наброски без загл.; черновой автограф без загл. и подзаг. *Афанасий Афанасьевич Фет* (1820—1892) — русский поэт; литературная критика того времени объединяла его с Майковым и Я. П. Полонским (см. примеч. 109—110) в «триаде 40-х годов» (см напр.: П. Перцов. Литературные воспоминания, М.—Л., 1933, с. 48).

331. «Газета Гатцука», М., 1886, 22 февраля, с 110, без загл. Печ. по С 3, с. 9 с исправлением по автографу опечатки в ст. 12. Автограф; автограф (ГПБ). При первой публикации сопровождалось примеч. редакции: «Стихотворение А. Майкова об игре Рубинштейна, вошедшее в альбом, поднесенный последнему 14 февр. в Петербурге».

332. Н, 1890, 14 апреля, № 15, с. 394, под загл. «А. П. М.....ву», без подзаг., с датой: 1888, 5 мая; РВ, 1891, № 2. Печ. по ПСС 6, т. 2, с. 463. Карандашный набросок и беловой автограф с подзаг. «(На приветствие его 30 апреля 1888 г.)». *Александр Петрович Милюков* (1817—1897) — писатель, критик, историк литературы, товарищ Майкова по университету. *Не унесет поток времен.* См. примеч 266.

СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ

333. Отрывок под загл. «Игорь в плену» с подзаг. «Отрывок из перевода „Слова о полку Игореве“» — ММ, 1868, № 8, с. 138. Впервые полностью: З, 1870, № 1, с. 82 С изменениями: С 2, ч. 3; ПСС 4,

т. 2; ПСС 5, т. 2 с датой: 1869. Печ. по ПСС 6, т. 2, с. 507, с исправлением неверной даты и опечаток по предшествующим изданиям и автографам. Беловые автографы поэтического перевода, в различной степени подвергшиеся правке; черновые автографы перевода и наброски; гранки с корректурной авторской правкой и неполный экземпляр корректуры; беловые и черновые автографы предисловия и примечаний; часть автографов предисловия в форме письма к сыну Николаю; автограф под загл. «Вместо предисловия: несколько слов о древнейшей поэзии русского народа и в особенности о „Слове о полку Игореве"»; автограф под загл. «Слово о полку Игореве. Несколько слов вместо предисловия». В одном из автографов запись: «Еще с 1844 года, когда я принялся за изучение русской старины и за «Слово о полку Игореве»... запала во мне и первая мысль о переводе Слова». Один из черновых автографов предисловия в форме письма к сыну с эпиграфом: «„Отцы и братие! не позазрите худоумию моему и грубости. Да не будет в посмеяние написание сие" (Из старинной рукописи)». Наброски, черновые и перебеленные автографы примечаний. В журнальной публикации и собраниях сочинений Майкова перевод «Слова» сопровождался обширными вступительными замечаниями и подробным комментарием, которые в настоящем издании опущены. В одном из вариантов предисловия Майков так охарактеризовал переведенный им памятник: «Несмотря на семь веков, отделяющих нас от его певца, — он чрезвычайно близок к нынешней нашей литературе. Его поэма точно зародыш, таящий в себе все лучшие качества последней. В этих образах князей Остромысла Галицкого, от престола которого грозы текут по землям, Всеволода Суздальского, что «мог бы Волгу веслами раскропити, а Дон шеломами вылити», Романа, что в замыслах возносится широко, что Сокол ширяяся на ветрах, высматривая добычу, — слышится что-то родственное державинским изображениям Екатерининских орлов. В описании битв тоже. Во всем же здоровом тоне поэмы, в этом кованом языке, на который древность наложила какую-то свою особую, вековую печать, в этой поэзии действительности — как бы чувствуется пушкинская стройность, определенность, сдержанность и меткость выражений. Далее эти описания природы, эта жизнь степи, в ее мрачном виде, вся эта прелестная идиллия бегства Игоря, эти «дятлы тёктом путь к реке казуют», вся речь Игоря к Донцу — как он лелеял князя на серебряных берегах своих, — во всем этом таится как бы зародыш лучших страниц Тургенева ⟨...⟩ [а этот сарказм, полный любви, не ожил ли в Гоголе?] Чувствуется, несмотря на перерыв многих веков, один и тот же гений в творчестве лучших людей тогда и ныне...» 3 ноября 1867 г., задолго до окончания своего переводческого труда, Майков писал Ф. М. Достоевскому: «Я все перечитываю бездну книг для Сл⟨ова⟩ о полку Игореве, пишу введение к нему, хочется, чтобы было хорошо, т. е. не срамно со стороны научной... Вообще мне хочется, чтоб это был мой маленький monumentum, приношение мое на „алтарь отечества"» («Ф. М. Достоевский. Статьи и материалы», сб. 2, Л.—М., 1924, с. 343). Майков не только изучал научную литературу, посвященную «Слову», а также другим произведениям древнего эпоса, русского и иноземного, но и пользовался советами ученых: И. И. Срезневского, М. А. Максимовича, Прахова и др. Посылая свой перевод Максимовичу, Майков писал 20 февраля 1870 г.:

«Четыре года посвятил я этому труду, и наконец явился он в печати... Мне все казалося, что я исполняю как будто какой-то долг, и потому обязан исполнить его строго и свято, сил не жалеючи» («Русский филологический вестник», 1908, № 3, с. 188—189). Первые чтения переведенных отрывков «Слова» состоялись, по-видимому, в 1867 г. 13 октября этого года А. В. Никитенко записал: «А. Н. Майков читал у меня свой перевод «Слова о полку Игоря». Это прекрасный труд» (Дневник, т. 3, с. 101). Высокая оценка переводческой работы Майкова характерна для подавляющего большинства отзывов о ней. Вместе с тем И. И. Срезневский ставил Майкову в упрек то, что некоторые места подлинника переведены слишком свободно («Памяти И. И. Срезневского», кн. I, Пг., 1916, с. 249). Д. С. Мережковский расценивал майковский перевод как «искусное, иногда художественное *переодевание* его классической музы, а не *перевоплощение*...» (в его кн.: «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», СПб., 1893, с. 126). «...Поэт слишком сгладил в «Слове» его лиризм, — писал И. Ф. Анненский, — черта характерная для самого Майкова» («Русская школа», 1898, № 2, с 51). В предисловии к современному авторитетному изданию древнерусского текста «Слова» и его переводов работа Майкова рассматривается как «последний действительно значительный перевод, сделанный большим поэтом в дореволюционное время» («Слово о полку Игореве», БП, БС, Л., 1967, с. 84). Комментарий к самому памятнику см. в изд.: «Слово о полку Игореве», М.—Л., 1950; «Слово о полку Игореве», Л., 1967.

ПОЭМЫ

334. БдЧ, 1857, № 10, с. 195, с подзаг. «Лирическая сцена из древнего мира», без посвящ., с обширными авторскими примеч., более не переиздававшимися, и цензурной купюрой ст. 284—292, замененных двумя строками точек; С 1, кн. 2; НС как первая часть «Лирической драмы „Люций“», с датой: 1852; С 2, ч. 1; ПСС 4, т. 1; ПСС 5, т. 1. Печ. по ПСС 6, т. 3, с. 3, с исправлением по автографам опечатки в ст. 23, прошедшей по ряду изданий. Ранний незавершенный автограф под загл. «Выбор смерти» и с подзаг. «Дифирамб». Черновые завершенные автографы первоначальной редакции под загл. «Выбор смерти», один из них с подзаг. «Дифирамб». Черновые наброски авторского предисловия и примеч. к первоначальной редакции драмы и незаконченный автограф примеч. (в тексте отмечены комментируемые строки); авторизованный список первоначальной редакции под загл. «Три смерти», авторизованный список окончательной редакции со значительной авторской правкой, наклейками и т. п. Список первоначальной редакции (ГПБ) в архиве П. А. Картавова с его надписью: «Майков Аполлон Николаевич. Произведение его «Три смерти», переписанное рукою его жены Анны Ивановны Майковой и правленное и подписанное им»; неавторизованные списки первоначальной редакции под загл. «Выбор смерти» (ГПБ, архив В. А. Жуковского; ПД, архив Я. К. Грота); неавторизованные списки первоначальной редакции под загл. «Три смерти» (ПД и ГБЛ), наброски отрывков с датой: 1851, ноябрь; прозаические наброски неосуществленного продолжения поэмы. Монолог Лукана (ст. 184—

218) имеет в первоначальных редакциях несколько вариантов (ГПБ, архив Жуковского; ГБЛ). Из них особенно важны ст., навеянные размышлениями Майкова о современности:

Друзья! наш мир есть мир идей:
То, что зовем мы нашим веком,
Величье, слабость наших дней,
Всё разнородное сплетенье
Страстей, пороков, убежденья,
Всё, что кладет свою печать
На нас и с нами вместе зреет;
И жить хочу я, чтобы знать,
Что упадет, что одолеет! ..

О! горько рано в жизни пасть,
Знать, что враги теперь спокойно
Спать будут, зла упрочат власть,
Свершат свой замысл недостойный!
И что никто не сдержит их,
Не кинет бешеный им стих.

В одном из вариантов имеется замечание Лукана:

Триумф у греков легче был —
Народ свободный там судил.

Вместо ст. 258 — в большей части автографов и списков ранней редакции: «Служить политике кровавой». Сцена прихода центуриона и реакция героев на декрет сената в первоначальной редакции значительно острее. См., например, реплики Лукана (ср. ст. 233—251):

Ужель, о боги! .. умереть...
Нет, вы не римляне, не люди!
Чудовищ слуги вы, не судий!
Зачем вы здесь? Иль чтоб смотреть
Как умирают братья ваши,
Льют кровь свою, пьют яду чаши?
Чтобы составить протокол,
Как мы тирана произвол
Средь самых мук благословляли
И подлый славили сенат?
Ужели мрачные скрижали
Самоубийством довершат,
О Рим, твое бытописанье! ..
Когда бы жизни, жизни мне!
О, я сложил бы в тишине
О нем кровавые сказанья!

Далее, обращаясь к центуриону, Лукан говорит:

Пойди к ним! вразуми! Нерон
Сам за меня готовит мщенье:
Народный бунт подымет он!

Вместо ст. 283 в ряде списков и автографов: «В нем палачей себе они!» В том же и ряде других списков и автографов важный вариант:

Народам мил и дорог тот,
Кто спать в цепях им не дает...
Толпы не дремлют, не оглохли!..

Услышав эти слова, Люций спрашивает Сенеку: «В уме Гомер наш или нет?» Далее следует монолог Сенеки:

Не горячись, дитя-поэт!
Народ целует тот декрет,
Который присудил нас к казни;
Он в школе пыток и боязни
Утратить должен навсегда
Свой сан великий гражданина
И доблесть правды и стыда;
Раб новостей — ему едино,
Что веселить свой праздный взор,
Как обезглавлен раб иль вор,
Что травлей тешиться кабаньей,
Что видеть гордое страданье
И казнь достойнейших сынов;
И ждешь ты сердца от рабов!

(ср. ст. 305–309.) С небольшими вариантами в других списках и автографах. Вместо ст. 436—448 в ряде автографов и списков:

Им мне отечество дано,
В уста витийство вложено,
Чтоб я явил во всем сиянье
Добра великое зерно —
Мое прямое достоянье;
Чтоб в массе подвигов и дел
Я образ свой напечатлел.
Я всё свершил. Его ж десницей
Указан выход мне в темнице,
И смерть есть благо, и его
Здесь не отнять ни у кого.

Лирическая драма «Три смерти» представляет собой часть обширного творческого замысла Майкова, связанного с постоянным интересом поэта к истории античности и раннего христианства. Замысел возник в конце 30-х годов. Первой попыткой его воплощения явились «римские сцены времен пятого века христианства» «Олинф и Эсфирь» (1841), напечатанные в С. В предисловии к публикации автор писал, что эти сцены «суть опыт изобразить противоположность» двух диаметрально противоположных начал, которые явились в Римской империи периода упадка и «не могли остаться в мире: чувственность и духовность, жизнь внешняя и внутренняя, явились во вражде, в противодействии, в борьбе на жизнь и смерть» (С,

с. 180). Первый опыт не удался поэту, «сцены» при его жизни никогда не перепечатывались полностью. Два отрывка («Мирта Киприды мне дай...» и «Блестит чертог; горит елей...») были включены им впоследствии в цикл «Эпикурейские песни» (см. стих. № 48—49 и авторские примеч.). Туда же было введено стих. № 50, приписанное в одной из первоначальных редакций «Трех смертей» Лукану (ГБЛ). Отрывок из «Олинфа и Эсфири» был включен в С 1, кн. 1, с. 142. Значительную роль в формировании драматического цикла сыграл, по-видимому, отзыв Белинского, в котором не только были отмечены серьезные недостатки «Олинфа и Эсфири», но и определены возможности развития интересовавшей Майкова темы, им не реализованные (Белинский, ПСС, т. 6, с. 22—23). Мысли Белинского об истории Рима, обращенные скорее в современность, чем в прошлое, оказались, по-видимому, созвучными размышлениям и настроениям поэта в начале 1840-х годов и в какой-то мере способствовали осуществлению нового замысла Майкова — созданию лирической драмы «Три смерти», первоначальный набросок которой, как установил И. Г. Ямпольский, относится к июню 1842 г. (Ежегодник, 1974, с. 25). О дальнейшем развитии замысла Майкова в связи с его политической и творческой эволюцией, о произведениях, его воплощающих, см. примеч. 338 Работе Майкова над этим драматическим циклом предшествовало и сопутствовало серьезное изучение важнейших источников и исторических сочинений, относящихся к интересовавшей его эпохе. «В университете и после университета я жадно занимался историей, — писал Майков в одной из заметок, сохранившихся в его архиве. — В эту эпоху возникли «Три смерти». Но «Три смерти» должны были начать вторую часть по первоначальной идее, но не с тем, чтобы показать сущность христианства, а почти как острота, что все эти христиане помешали Люцию умереть, как он предполагал, и что последняя его надежда, Лида — воплощение для него беззаботной жизни, эпикурейский идеал — изменила ему, ушла в другой мир. Первое начертание не удалось. Стал я читать Шатобриана, Гердера и пр., вышла 2-я часть, что в Рус⟨ском⟩ Вестнике. Опять не удалось. Я догадался бросить обработки истории христианства и обратиться к Евангелию и Посланиям — с целью схватить нерв». В архиве поэта сохранились наброски предисловия к «Трем смертям», где он намеревался дать свое истолкование того периода истории, к которому относится его произведение, и охарактеризовать главных действующих лиц драмы. «Всякому ясно, — писал Майков, — что эта пьеса представляет три взгляда на жизнь людей древнего мира, в эту эпоху уже быстро катившегося к своему падению. ⟨...⟩ Сам этот эпикуреец более по имени эпикуреец, или представитель эпикурейцев последних времен Рима, когда они далеко ушли от учения своего основателя... Они в эти времена скорее были скептики в своих метафизических понятиях, и из доктрин учителя сохранили только любовь к наслаждениям земными благами... Сенека представляет противуположную сторону — твердое убеждение в своей философии — и страдание оттого, что она отвергнута миром, и оттого, что он чувствует бессилие человека спасти мир без непосредственной помощи божества. Лукан — молодой человек, избалованный счастьем, увлекающийся минутой. Спасти жизнь — его главная цель. Оттого такая непоследовательность в его мыслях: то он стращает возмутить

Рим, то рвется у ног Нерона испросить прощение. Геройский конец женщины вдохновляет его — и он умер героем. В изложенных мною общих чертах я строго старался соблюсти историческую верность. Характер эпохи, картина общества, характер каждого лица — вот черты, от которых уклониться было бы грех. Что же до фактической верности — то перед нею я сильно погрешил: впрочем, кто хочет знать историю, тот обратится к Тациту, а не к моей пьесе, которая не более как поэтическое воспроизведение в картине духа эпохи». Последнее замечание в полной мере подтверждается сравнением текста драмы с ее источниками. Как видно из незаконченных примеч. Майкова к драме, он собирался специально оговорить наиболее существенные отступления от исторических фактов, как, например, сцена смерти Сенеки. В «Трех смертях» можно отметить и ряд других эпизодов, восходящих к сочинениям историков и переданных с некоторыми изменениями Таков, например, рассказ Лукана о поэтическом состязании с Нероном (ср.: Гай Светоний Транквилл, Жизнь двенадцати цезарей, М., 1964, с. 244—245) или Ученика — об Эпихариде (ср. Корнелий Тацит, Сочинения в 2-х т., т. 1, Л., 1969, с. 301). Драма была закончена, по-видимому, в конце 1851 г. Ее первоначальная редакция, значительно более острая с политической точки зрения, чем окончательная, по цензурным условиям не могла быть ни поставлена, ни напечатана, распространялась в списках и воспринималась как протест против тирании, как выступление в защиту свободы личности и свободы слова. «Майков написал превосходное стихотворение «Выбор смерти»... — писал П. А. Плетнев Я. К. Гроту 29 сентября 1851 г. — Это что-то небывалое в новейшей поэзии нашей» (Переписка, т. 3, с. 559). «Оба новые стихотворения свои, — продолжал он 31 октября того же года, — Майков читал у меня сам: одно «Выбор смерти», а другое «Савонарола» 〈...〉. Только теперь и думать нельзя о напечатании: цензура покамест похожа на удава, который инстинктивно бросается душить все, что дышит» (там же, с. 560). 19 ноября того же года Плетнев писал М. П. Погодину: «О печатании новых стихотворений Майкова при нынешней цензуре нечего и думать, хотя в них ничего нет, кроме высокой и прекрасной исторической истины» (ГБЛ). «Весело думать — и почти не верится, — писал Г. П. Данилевский М. П. Погодину 26 декабря 1851 г., — что в наше время еще являются такие произведения, как „Свои люди — сочтемся" и „Выбор смерти"!» (ГБЛ). В декабре 1854 г. драма была разыграна в доме архитектора А. Штакеншнейдера, причем Сенеку играл автор, Лукана — поэт В. Г. Бенедиктов, Люция — домашний учитель рисования Н. О. Осипов (Е. А. Штакеншнейдер, Дневник и записки, М.—Л, 1934, с. 44). Современники и в дальнейшем высоко оценивали драму Майкова. «С новым удовольствием прочел я лучшее поэтическое произведение нашего времени в октябрьской *Библиотеке* 〈*для чтения*〉, — писал Майкову 27 ноября 1857 г. известный публицист П. Л. Лавров, — и с нетерпением ожидаю появления полного собрания стихотворений не только первого, но и единственного нашего объективного поэта» (ЛА, т. 2, М.—Л., 1940, с. 285). В «Трех смертях» «мы не можем не признать венца всей майковской деятельности...» — утверждал в 1859 г. критик А. В. Дружинин (Дружинин, СС, т. 7, с. 513). В 1861 г. Д. И. Писарев назвал «Три смерти» в числе лучших произведений

Майкова (Писарев, СС, т. 1, с. 196). «Несомненно лучшее произведение Майкова — лирическая драма «Три смерти», — утверждал Д. С. Мережковский («О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы», СПб., 1893, с. 122). М. Горький рекомендовал включить драму «Три смерти» в один из сборников русской поэзии, выпускавшихся издательством З. И. Гржебина («Летопись жизни и творчества А. М. Горького», вып. 3, М., 1959, с. 244). *Николай Аполлонович Майков* (1796—1873) — отец поэта. *«Послание к смерти»* — оригинальное стих. Майкова. В черновых тетрадях поэта сохранился его набросок (др. ред. с датой: 1851. Ноябрь). *Как волки, щелкают зубами.* К этому ст. в БдЧ примеч. автора: «Здесь Люций пародирует насмешки Лукиана над языческими богами — черта, показывающая лучше всего падение веры в древнюю мифологию в римском мире». *Ну, Рим! тебе волчица — мать* и т. д. По преданию, Рим был основан братьями-близнецами Ромулом и Ремом, которых нашла в лесу и выкормила своим молоком волчица. *Иные люди в мир пришли.* Эту мысль Майков комментировал следующим образом: «Имелося в виду предание о знакомстве Сенеки с апостолом Павлом» (см.: Ф. Д. Батюшков, «Два мира». Трагедия А. Н. Майкова. — В его кн.: «Критические очерки и заметки», т. 1, СПб., 1900, с. 65). Речь идет о легенде, распространявшейся в средние века католической церковью, которая высоко ставила учение Сенеки. *Горацианское вино* — фалернское, воспетое в одах Горация.

335. РВ, 1867, № 1, с. 20, с подзаг. «Первая часть поэмы «Жаждущий» и послесловием автора; С 2, ч. 3; ПСС 4; ПСС 5 с датой в оглавлении: 1866. Печ. по ПСС 6, т. 3, с. 33, с исправлением по РВ и последующим изданиям ст. 76, 88, 545. Перебеленный автограф завершенного текста с огромной правкой карандашом и чернилами под загл. [«Гриша. (Сюжет заимствован из рассказа П. И. Мельникова)»] и новым загл. «Странник» с подзаг. «Драматическая сцена»; автограф отрывков текста; автограф предисловия и неавторизованная копия другого текста предисловия под загл «Предисловие автора к поэме „Странник“». Наброски без загл.; отрывки под загл. «Из Аввакума»; черновой набросок; автограф «Эпилога» к поэме, не вошедшего ни в одно издание. «Бегуны, иначе странники, иначе сопелковское согласие (по селу Сопелкам Ярославского уезда, где их корень), — писал Майков в журнальных примечаниях к «Страннику», — так называется одна беспоповщинская секта, составляющая крайнюю точку отрицания в расколе. ...Бегун должен все оставить, разорвать все общественные и семейные связи и жить токмо как «Христов человек». Это воззрение высказывает мой странник (ср. в «Русском архиве» 1866 года, № 4, статью Л. Н. Трефолева с примечаниями И. С. Аксакова)». Здесь же указаны источники поэмы: «Исторические очерки поповщины» П. Мельникова (ч. 1, М., 1864), «Рассказы из истории старообрядства» С. Максимова (СПб., 1861), «Песни, собранные П. В. Киреевским» (вып. 4, М., 1862, с. CXVIII—CXXXI), сочинения историка раскола и ортодоксального критика старообрядчества Н. И. Субботина и др. В архиве Майкова сохранился автограф предисловия к «Страннику»: «Вся обстановка, все образы и картины этой пьесы заимствованы мною из рукописной раскольничьей литературы; большая часть их, впрочем, приведена в трудах

С. В. Максимова и П. И. Мельникова, которого повесть «Гриша» и взята в основание моей сцены. Во всех этих образах и картинах... могущественно выразилась творческая сила фантазии — весьма значительной части русского народа, я надеюсь, на меня не посетует публика за то, что я, разумеется с литературной точки зрения, будучи сам увлечен этими поэтическими красотами, попытался воспроизвести их, насколько мог, в новой, нынешней форме поэзии». Взяв в «основание» своей «сцены» повесть П. И. Мельникова (псевдоним Андрей Печерский, 1818—1883) «Гриша» (1861), Майков не сохранил целого ряда бытовых сцен повести, эпизодов «искушения» Гриши любовной страстью, усилил драматический эффект окончания «Странника», введя сцену поджога дома, отсутствовавшую в повести Мельникова. «Странник» был закончен не позже 3 декабря 1864 г. В этот день Майков читал свои «сцены» на вечере Литературного фонда (см.: Е. А. Штакеншнейдер, Дневник и записки, М.—Л., 1934, с. 347—348). Произведение получило высокую оценку Ф. М. Достоевского: «А. Н. Майков написал драматическую сцену, в стихах... Это произведение можно назвать, безо всякого колебания, chef d'œvre'ом *из всего того*, что он написал... Я слышал ее на разных чтениях (в домах) и не устаю слушать, но каждый раз открываю новое и новое. Все в восторге» (ЛН, т. 86, М., 1973, с. 130). *Евфимий* (ум. 1792) — основатель (в последней четверти XVIII в.) секты бегунов, или странников; ему принадлежит «Цветник десятословный». *Аввакум* (1620 или 1621—1682) — протопоп, один из основателей старообрядчества, выдающийся писатель своего времени, написавший ряд религиозно-полемических сочинений — «посланий». Был предан анафеме, сослан в Пустозерский острог, сожжен в деревянном срубе по царскому указу. *У греков такожде пропала вера* и т. д. Ср. «Письма к Симеону» («Житие протопопа Аввакума», М., 1960, с. 233). *К тебе, о царь, пред смертью из темницы* и т. д. Ср. «Пятую челобитную царю Алексею Михайловичу» (там же, с. 195—202). «...Все приводимые мною места из Аввакума и др., — писал Майков в наброске предисловия к «Страннику», — суть почти только парафраз подлининика, с сохранением в стихах его духа и колорита». *Из глубины паденья* и т. д. — начало псалма CXXIX. *Един с блистанием на митре* и т. д. — патриарх Никон (см. примеч. 313). Раскольничьи легенды приписывают ему разные кощунственные поступки. *Со мною вы пребысте* и т. д. Восходит к евангельскому тексту (Лука, XXII, 28). *Внидут* и т. д. Восходит к евангельскому тексту (Матф., XIX, 23, Марк, X, 23—25). *Денисов* А. (1674—1730) — один из руководителей раскола, занимался торговлей; стремясь обеспечить процветание старообрядческих общин, он проявлял дипломатическую гибкость в отношениях со светской властью. *Иона* (ум. 1461), *Алексей* (между 1293 и 1298—1378) — московские митрополиты, строгие блюстители церковного обряда. *Под большие колокола пойдете* — т. е. отречетесь от старообрядчества. *Савватий* (XVII в.) — монах, один из первых руководителей раскола. *Гурий* (XVII в.) — монах Соловецкого монастыря, старообрядец. *Бурю на озере Генисаретском утишил*. Речь идет о чуде, совершенном Христом (Матф., XIV, 29—32; Марк, VI, 48—51). *Ерусалим небесный* — образ Апокалипсиса (XXI, 2). *Да воскреснет бог!* — из псалма LXVII (2). *В месте... спокойном... в тихом, злачном месте* — слова заупокойной молитвы. *Блудница*

Вавилонская. Восходит к Апокалипсису (XVII, 1—5). *Разбойнику, блуднице ты простил.* Ср. Евангелие от Луки (VII, 37—40), от Иоанна (VIII, 3—11).

336. З, 1871, № 1, с. 3. Печ. по С 2, ч. 3, с. 19. Наборная рукопись (список) с авторской правкой под загл. «Смерть Бальдура» и подзаг. «Из рассказов Скандинавской Эдды»; черновой текст с огромной правкой (несколько вариантов разной степени завершенности и с вариантами подзаголовка). Обработка ряда эпизодов из «Видения Гюльви» в «Младшей Эдде» (1222—1225) — литературном памятнике, принадлежащем перу исландского поэта Снорри Стурлусона. В этом произведении нашла отражение мифология скандинавских и — шире — германских народов (см.: «Младшая Эдда», Л., 1970, с. 48—50). В архиве Майкова сохранилось несколько незаконченных вариантов предисловия к «Бальдуру», значительно отличающихся друг от друга по содержанию. Приводим часть одного из них, дающую некоторое представление о характере и содержании проектируемого предисловия в целом. «История Бальдура, — писал Майков, — ...заимствована мною из сказаний Эдды, где древнейшие мифы человечества сохранились, если можно так выразиться, в самом свежем виде. Я случайно попал в этот мир. Занимаясь словом о П⟨олку⟩ Иг⟨ореве⟩ и стараясь угадать значение Девы Обиды, я остановился на указании профессора Буслаева о родстве ее с девами Валкириями, и вот эти воинственные девы открыли мне чудеса Валгаллы. Нечто совершенно новое поразило меня, и я счастлив, если в моем переводе сохранилась хоть несколько свежесть, суровая девственная фантазия, постоянно живущая в области света, у людей, осужденных, как и мы, на долгие ночи и по месяцам не видящих за туманными тучами луча солнечного. Но рядом с красотами поэзии меня поражало в Эдде еще нечто иное: это близкое ее родство с нашими народными поверьями, древними обычаями, песнями, сказаниями, былинами. Я пришел к убеждению, что в Эдде отразилась религия, общая народам всего балтийского поморья и рек, в это море впадающих, а именно скандинавов, балтийских славян и предков нас, великоруссов. Поэтому и речь свою я должен повести, во 1-х, о составе населения в Прибалтийской Пруссии, Скандинавии, Дании и островов между ними лежащих; во 2-х, показать, как в самой Эдде рядом проходят две струи — скандинавская и славянская, получив общий колорит в устах рассказчика-скандинава, и в 3-х, определить отношение к сказанным народам великоруссов». В другом предисловии Майкова к «Бальдуру» скандинавские «Эдды» рассматриваются как древнейшие памятники германцев, скандинавов и славян (С 2, ч. 3, с. 253—254).

337. РВ, 1878, № 1, с. 72. Датируется на основании архивных материалов. Черновые наброски без загл. и под загл. «Недавняя старина». Черновой автограф первоначальной редакции под загл. «Одна семья, или Своя семья» с подзаг. «Поэма». Черновой автограф полного текста, предшествовавшего окончательному варианту, где зафиксированы авторские поиски загл.: «Фатум» (запись карандашом); «Кара» (с двумя подзаг. — первый: «Вверху и внизу», второй: «На рубеже»); «Недавние похороны» (вместо зачеркнутого загл. «Недав-

няя старина»). Ниже помещено посвящ. «Памяти Ф. И. Тютчева» и далее — под загл. «Вместо Пролога» с подзаг. «Стихи, ему написанные в 1869 г.» — стих. Ф. И. Тютчеву (см. № 321 и примеч.). На том же листе авторское примеч.: «Поэма эта набросана была в первый раз еще в 1874 г.; в конце 1875 г. она была читана уже многим из моих друзей почти в том виде, как печатается ныне. С тех пор я занимался только ее отделкой — в сущности немногие поправки коснулись несколько менее существенных мест...» Там же окончательный вариант загл. «Княжна [NN] ***. Трагедия в октавах». Черновой автограф полного текста под загл. «Недавняя старина» (в углу листа запись карандашом: «Не назвать ли „Свет"»), с посвящ: «Памяти Ф. И. Тютчева осмеливается посвятить духовный крестник его А. Майков». На страницах этой же рукописи (в разных местах) две даты, первая — авторская заметка: «Кончил ⟨...⟩ февр⟨аля⟩ 6. 1876, в три дня. Принимался же в несколько лет, много раз, вышло море стихов, каковые решась наконец совсем забыть, почувствовал себя [совершенно] свободным и сделал эту маленькую поэмку...»; вторая: февр⟨аля⟩ 21. 1876. Беловая рукопись с поправками, наклейками и вставками (текст близок первой публикации). В ЦГАЛИ сохранилась наборная рукопись гл. 4 под загл. «Старый дом» и подзаг. «Отрывок из поэмы „Недавняя старина"» (издание, для которого предназначалась эта рукопись, пока не обнаружено). Создавая «Княжну», Майков шел от замысла остросатирической поэмы («Одна семья, или Своя семья»), обличающей крепостнический и антинародный характер взглядов главной героини, к трагедии, в героине которой, по его словам, «олицетворена» «прошлая жизнь наша, т. е. высшего общества, порвавшего духовное единство с народом. Но это общество все еще связано с народом историей и — крепостным правом. Оно все еще — хранитель исторического предания, хоть по инерции, но все идет по пути исторического призвания России. От этого оно имеет свои пороки и вместе доблести, при измене духу, все-таки славные воспоминания, участие в создании величия России, хотя бы политического и военного. Но это период законченный...» («Мысли о толках, порожденных „Княжной"» — архивная заметка). «Женя, — писал он в тех же заметках, — думает начать новую жизнь. Наше либеральное общество, мои критики, думают, что с Женею — начало нового периода. Не отрицая, но даже признавая, что принципы, выводимые Женей и ее поколением, *стремление к правде* и погубило, обличив, ложь старой жизни, я все-таки далек от того, чтобы в Жене видеть *зарю* новой жизни России». В набросках и черновых редакциях «Эпилога» или «Post Scriptum'а», которыми Майков хотел завершить свою поэму, он намеревался сделать ее сестрой милосердия на фронтах русско-турецкой войны 1877—1878 гг., приобщив, таким образом, к судьбам народа и России. Впрочем, он предвидел и другие повороты в ее жизни:

И что ж? Конец рассказу моему?
Конец. А что ж о Жени — бедной Жени?
Что сталось с ней? Иль — канула во тьму?
Иль жертвою погибельных учений
В Сибирь попала наконец, в тюрьму?
Иль — мало ли бывает превращений —
Со старой нянькой «грех свой замолить»

К святым местам ушла?.. Всё может быть!
И так и эдак — торная дорога!

В демократической среде поэма Майкова вызвала резко отрицательное отношение. Об этом, в частности, свидетельствует статья М. Артемьевой «Г. Майков как судья молодого поколения женщин», предназначенная для журнала «Воспитание и обучение», но запрещенная цензурой (цензурное дело, включающее гранки статьи, — ЦГИА). Эпиграф — из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (7, XLIV). *Ее орлы* — см. примеч. 283. *Канова* А. (1757—1822) — итальянский скульптор-классицист. *Бурбоны* — французская королевская династия, игравшая активную роль в политической жизни Европы XV—XIX вв. *Кюстин А.* (1790—1857) — французский писатель, составивший описания своих путешествий по разным странам. Его воспоминания о путешествии по России, в целом весьма неточные, содержали ряд метких характеристик обычаев и нравов высшего русского общества. *Иметь и сметь сказать свое сужденье.* Намек на известную реплику Молчалина в комедии Грибоедова «Горе от ума» (д. III, явл. 3). *Монплезир* — дворец Петра I в г. Петергофе, пригороде Петербурга. *Царскосельский сад* — парк в Царском Селе (ныне г. Пушкин), окружающий дворцовые постройки; во второй половине XVIII в. там располагалась загородная царская резиденция. *Вмиг разгадать Мадонну в светской даме.* Имеется в виду сонет А. С. Пушкина «Мадонна». *Дельфийский бог* — А п о л л о н. *Бендеры* — город в Молдавии. Во время русско-турецких войн им трижды штурмом овладевали русские. *Кунерсдорф* — деревня близ Франкфурта-на-Одере. Здесь в 1759 г. произошло сражение между русско-австрийской армией и войсками прусского короля Фридриха II (1712—1786), в котором победили союзники. *В дни войны.* Имеется в виду, очевидно, Крымская война 1853—1856 гг. *Парижский мир* — мирный договор, подписанный странами, принимавшими участие в Крымской войне. Он был невыгоден России. *Севастопольский гром.* Имеется в виду героическая защита Севастополя во время Крымской войны. *Как третий Рим, четвертому ж не быти.* Ср. «Историю государства Российского» Н М. Карамзина (т. 2, СПб., 1889, с. 198—199), где приводится легенда об основании Москвы («третьего Рима»). *«Восток — нам свет, Восток!»* См. примеч. 319—320. *Пречистая* — икона богоматери. *Каламовы утесы.* Имеются в виду картины швейцарского художника-пейзажиста А. Калама (1810—1864). *Кто-то раз весной... Сказал ей вслед: «Поехала домой».* В одной из редакций «Эпилога», куда первоначально входила эта строфа, данная реплика приписана Тютчеву. В своих заметках Майков, между прочим, отметил, что под «вторым» из поэтов, ведущих на вечере у княжны разговор о будущем России, следует разуметь Тютчева (первый поэт, по-видимому, сам Майков.) За комментируемой строфой в «Эпилоге» следует:

А я еще прибавлю: средь моих
Трех героинь — коль допустить сравненье
Их с книгами — между двух книг чужих
Стоит еще, в углу, в пренебреженье,
И третья книга: «Жития святых»,
Которой дух любви и всепрощенья

Жил в той, кто сам читать и не умел...
Вы поняли: я няню разумел...

338. «Сборник „Гражданина“», СПб., 1872, ч. 2, с. 1 (без второй части, др. ред.) с подзаг. «Лирическая драма», без авторского вступления, с редакционной сноской, кратко характеризующей историю создания трагедии; С 2, ч. 2; «Два мира. Лирическая драма А. Н. Майкова», СПб., 1872 — отдельное издание; РВ, 1882, № 2, с. 659 — впервые полностью и с авторским предисловием; ПСС 4, т. 3; ПСС 5, т. 3. Печ. по ПСС 6, т. 3, с. 241. Отдельный авторский оттиск из «Сборника „Гражданина“» с правкой Майкова и краткой характеристикой некоторых персонажей, вошедшей впоследствии в письмо Я. К. Гроту (см. ниже); авторский оттиск отдельного издания 1872 г.; черновой автограф второй части; черновые наброски. Отдельное издание 1872 г. (только сцена третья) — ГПБ, с очень значительной правкой и наклейками; использовалось, по-видимому, при подготовке текста для РВ. Беловой автограф отрывка из третьей части под загл. «Камилла» (ст. 903—910) — в альбоме В. Б. Бертенсона (ГПБ) с датой записи: 1888. Мая 8. Черновой автограф начала второй части под загл. «Часть вторая. В катакомбах» (зачеркнуто прежнее загл. «Катакомбы»), с датой: май 1889 (ЦГАЛИ). Опубликовав в 1857 г. «лирическую драму» «Три смерти» (см. № 334 и примеч.), Майков продолжал работать над своим замыслом, связанным с историей раннего христианства в его столкновении с языческим миром, и в 1863 г. опубликовал во втором номере РВ новое свое произведение под загл. «Смерть Люция. Вторая часть лирической драмы „Три смерти“», с вступительной заметкой, в которой коротко рассказал о возникновении замысла и творческой истории драмы. Затем поэт включил эту драму с незначительными изменениями в тексте в НС, объединив «Три смерти» как первую часть, с датой: 1852, и «Смерть Люция», с датой: 1863, как вторую часть «лирической драмы» под загл. «Люций». Здесь же, с небольшими изменениями, он перепечатал в качестве авторской сноски к дате вступительную заметку, помещенную в РВ. Однако и это решение замысла не удовлетворило Майкова. В архиве поэта сохранился черновой автограф под загл. «Смерть Люция. Часть вторая». Эта испещренная поправками рукопись — зародыш будущей трагедии «Два мира», куда сначала в качестве второй (1872), а позднее (1882) третьей части войдет кардинально переработанная «Смерть Люция». Сохранился еще один черновой незавершенный автограф с очень значительной правкой, зачеркнутым загл. «Смерть Люция. Часть вторая» и вписанным загл. «Два мира» и эпиграфом из Евангелия:

Безумные и слепые! что
больше: золото или храм,
освящающий золото?

Матф., XXIII, 17.

В 1863 г Майков читал знакомым литераторам отрывки из «Смерти Люция» (см., напр., «Дневник П. А. Валуева», т. 1, М., 1961, с. 215, запись от 2 апреля 1863 г., и А. В. Никитенко, Дневник, т. 2, с. 330, запись от 3 мая 1863 г.). В архиве Майкова находится наборная

рукопись «Смерти Люция» с датой ц. р. 14 марта 1863 г., испещренная наклейками поверх первоначального текста, имеющими цензорские пометы о разрешении к печати. Это дает основание предполагать, что «лирическая драма» Майкова подвергалась цензурному вмешательству (к сожалению, первоначальный текст разобрать невозможно). Не исключено, что именно доцензурную редакцию «Смерти Люция» имел в виду А. Ф. Кони, вспоминавший, что в годы ученья в Московском университете он слышал в «мастерском и одушевленном чтении» автора драму «в первоначальной редакции», которая, по словам мемуариста, «оставляет далеко за собою позднейшую» (А. Ф. Кони, Воспоминания о писателях, Л., 1965, с. 229). Приступив к работе над трагедией «Два мира», Майков отказался от объединения «Трех смертей» и «Смерти Люция» в лирической драме «Люций». «Три смерти» он печатает в собраниях сочинений как самостоятельное произведение, а «Смерть Люция» при жизни поэта более не издается. Трагедия «Два мира» завершает собой многолетний поэтический труд Майкова, посвященный эпохе раннего христианства (см. примеч. 334). Первостепенное значение для истолкования трагедии (как и для понимания всего драматического цикла Майкова) имеет его письмо к академику Я. К. Гроту, написанное в связи с присуждением Майкову за трагедию «Два мира» Пушкинской премии Академии наук (частично приведено в РСт, 1899, № 3, с. 486—488). В начале письма, черновик которого сохранился в архиве поэта, Майков характеризует свои многолетние занятия всеобщей историей, перечисляя наиболее авторитетные исторические сочинения и называя многочисленных изученных им авторов: писателей, историков, богословов и т. п. (см. об этом примеч. 334). «События минувших веков, — писал он, — я старался вообразить себе по их аналогии с тем, что прожил и наблюл сам на своем веку ⟨...⟩. Таким образом, мне настоящее поясняет минувшее и наоборот». Далее Майков характеризует героев своей трагедии (и одновременно «героев» современности): «И нынешнего старого развратного сановника, бального завсегдатая и весьма неразборчивого в способах приобретения, узнаешь в Публии, [в] беззубом Проконсуле, которого дурачит Лезбия, надменного, сухого аристократа, у которого от предков остались только фамильные пороки и имя, который бранит новое только потому, что не ему достается сбирать дань с текущей жизни, признаешь в старом Фабии, скряге, скопидоме, вздыхающем о древнем праве, по силе коего он мог бы в рабство себе взять всех своих должников. В этих наших героях demi-monde'а ⟨полусвета (франц.). — *Ред.*⟩, добрых и веселых по природе, остроумных, даже и знакомых с последними словами «науки», при всем том скучающих и обремененных долгами, истощенных оргиями и наслаждениями и часто готовых на все (как Катилина) для стяжания чести и денег, — разве не узнаете вы в этой бледной толпе юных патрициев ⟨...⟩ Увидишь и обличение этой толпы, кару ее, но вместе и кость от костей ее, олицетворение ее же внутренней разъедающей ее проказы — у нас в отрицателях, обличителях, сатириках, нигилистах ⟨...⟩ у римлян в тысяче разных пройдох, крайнее выражение которых ясно в толпах циников ⟨...⟩ Я, признаюсь, особую осторожность приложил к Цинику, чтоб он не смахивал на нынешнего нигилиста (хотя в сущности он

то же самое), чтобы не заподозрили меня в умысле обличения последнего». Особое место в письме Майкова к Гроту отведено проблеме «слога» — индивидуального языка действующих лиц трагедии. С этой точки зрения охарактеризован ряд ее героев: христиане Иов, Марцелл, Эвмен, Главк, Лидия и др. Далее Майков сказал о трагедии: «В ней много *моих* «убеждений». Во-первых, главное — все, что Деций говорит о *разуме* и что возражает Марцелл, — это мои личные понятия и «убеждения». Не считая непогрешимым и высшею силою в мире *человеческий разум*, личный, я воспользовался случаем дать шпильку и коллективному разуму, так называемому vox populi ⟨глас народа — глас божий (лат.). — *Ред.*⟩, предоставив подлому Миртиллу сослаться на глас народа в восстании всех против христиан». Трагедия «Два мира» вызвала многочисленные отзывы современников Майкова, преимущественно положительные, и почти единодушно была признана самым значительным его произведением (см., напр., А. В. Никитенко, Дневник, т. 3, с. 261 и его статью о Майкове — ЖМНП, 1874, № 4, с. 389—409; книгу критика и публициста Н. Н. Страхова «Заметки о Пушкине и других поэтах» (СПб, 1888, с. 211). «Поэма г. Майкова, — говорил Я. К. Грот на заседании второго отделения Академии наук 19 октября 1882 г., — столь зрело обдуманное и тщательно обработанное художественное создание, что его нельзя не причислить к тем приобретениям нашей литературы, которыми она вправе гордиться» (Я. К. Грот, Отчет о первом присуждении премий А. С. Пушкина, СПб., 1882, с. 14). Присуждение трагедии Майкова полной Пушкинской премии как бы придавало словам Грота силу окончательного приговора. Однако И. С. Тургенев в письме от 25 октября 1882 г. к Я. П Полонскому заметил: «Вот Майкову за его поэму я не присудил бы более 75 копеек: самая красная ей цена!» (Тургенев, ПССиП, П, т. 13, кн. 2, с. 79). При общей высокой оценке трагедии уже ее первые рецензенты — Я. К. Грот и Н. Н. Страхов — разошлись, сравнивая достоинства ее частей. Страхову представлялось, что «языческие» и «христианские» сцены трагедии одинаково удались автору. Грот отдавал предпочтение первым. Большинство последующих рецензентов трагедии встало на точку зрения Грота. Майкову приходилось — в пределах дозволенного — полемизировать с ними. Не случайно среди первых откликов на свою трагедию он выделил статью «Голос из Америки» (РВ, 1883, № 4, с. 769—781, подпись: М.), автор которой, по его мнению, «угадала так многое, мною недосказанное (чего не дозволяли требования художественности), но чувствуемое и сознаваемое мною, что я оказал бы великую неблагодарность, умолчав о нем. В сущности отзыв ее о христианах сходен с отзывом г. Страхова; но гораздо более и глубже развит...» (письмо к Я. К. Гроту). Об отношении Майкова к полемике вокруг «языческих» и «христианских» сцен в его трагедии см. также пометы Майкова на рукописи Валериана Владимировича Майкова (племянника поэта), содержавшей разбор «Двух миров» (приводятся в кн.: Ф. Д. Батюшков, Критические очерки и заметки, СПб., 1900, с. 68). Его реакцию на аналогичные замечания Д. С. Мережковского в книге «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (СПб., 1893, с. 117, 123—127) см. в кн.: П. Перцов, Литературные воспоминания. 1890—

1902 гг., М.—Л., 1933, с. 109—110. Майков неоднократно сетовал на недостаточно, по его мнению, объективную оценку «Двух миров». «Дали мне премию, — писал он в одной из недатированных заметок, — и огорчили меня, поставили христиан ниже язычников, — или прочесть не умели академики? — в отзыве своем повторив банальное обо мне суждение, что, мол, *реставратор древнего мира*... Не реставратор древнего мира, а живописец... такой, который, усваивая внешние краски, *главное* полагает в усвоении духа эпохи, людей, поэзии. К каждому явлению подхожу *извнутри*. Тогда и внешность видна. Одна внешность — пустяки...» (подчеркнуто Майковым). В 1904 г. в рецензии на трилогию А. Ягодина «Из древнего мира» (драмы «Друг Калигулы», «Силий и Мессалина», «Певец Нерон») А. Блок заметил: «Воскресить древних можно только творческим путем. Так делал, например, Майков» (Блок, СС, т. 5, с. 531).

Часть первая. Сцена первая. *Люби врага.* Восходит к евангельскому тексту (Марк, XII, 31; Матф., V, 43). *Спартаком пахнет, да! Спартаком!* — т. е. восстанием рабов. *Велит он, и гора подвигнется.* Восходит к евангельскому тексту (Матф., XVII, 20). *Престол И некто был на нем седящий.* Речь Иова стилизована под слог Апокалипсиса. *Как молния: блеснет с Востока* и т. д. Восходит к евангельскому тексту (Матф., XXIV, 27). *День суда* — Страшный суд. Сцена вторая. *Рим... Миру законы дал.* Древнеримское право было наиболее развитой правовой системой рабовладельческого общества. *И сядь на трон философ* и т. д. Деций высказывается как последователь политического учения Платона (см. его «Государство»).

Часть вторая. *Он потом Ученикам явился днем?* По евангельской легенде, на третий день после казни воскресший Христос явился своим ученикам (Лука, XXIV, 13—31). *«Отче наш»* — начало и название христианской молитвы, обращенной к богу. *Он в венце из терний* — терновый венец был надет на Христа перед казнью (Марк, XV, 17; Матф, XXVII, 29; Иоанн, XIX, 2). *Он львами Разорван был* — т. е. был предан казни: погиб на арене цирка или брошен на съедение зверям. *Там, где нет ни воздыханья* и т. д. — перефразировка христианской заупокойной молитвы. *Не искушай господа бога твоего* — цитата из Евангелия (Матф, IV, 7). *Отдающий Динарий кесарю* и т. д. Восходит к евангельскому тексту (Матф., XXII, 21; Лука, XX, 21). *Он нес свой крест.* Восходит к евангельскому тексту (Лука, XIII, 27). *Готовьте светильники, Близок жених.* Восходит к евангельской притче о девах (Матф., XXV, 1—12). *Кумир же, чей бы ни был он* и т. д. Восходит к библейскому тексту (Исход, XX, 4).

Часть третья. *Ловите, ловите* и т. д. Слова Хора соотносятся с горацианским идеалом наслаждения жизнью, выраженным в его знаменитом призыве «Carpe diem!» — «Лови день!» («Оды», I, II, 8). *Скончался Великий Пан.* Греческий историк Плутарх («Об упадке оракулов», гл. 17) рассказывал, что в царствование римского императора Тиберия кормщик корабля, плывшего из Пелопоннеса в Италию, услышал возглас: «Умер великий Пан». Сообщение кормщика было обнародовано и вызвало многочисленные истолкования. Раннехристианские писатели истолковывали его как весть

о конце эпохи язычества. *Мирта Киприды мне дай!* — см. стих. и примеч. 48—50. *Нет... знака на роже* — т. е. нет рабского клейма. *Рим горел Неспроста.* Пожар 64 г. охватил почти всю территорию Рима. Он послужил предлогом для предпринятого Нероном гонения на христиан, обвиняемых в поджоге. *Плафон же будет раздвигаться* и т. д. Ср. стих. Л. А. Мея «Цветы» (1855), написанное на этот же сюжет. *Новые веры из Халдеи, Персии, Иудеи.* Речь идет о проникновении в Рим культов Астарты, Митры и Христа. *«Кончим представленье».* В античном театре зрители оповещались о конце представления словами «Acta fabula est» — «Пьеса окончена». *Змей многоочитый* и т. д. — образ, восходящий к Апокалипсису (XII; XXII, 2). *Павел* (первоначальное имя Савл) — один из апостолов, в прошлом принадлежавший к враждебной Христу иудейской секте фарисеев. По евангельской легенде, на пути в Дамаск Савл услышал голос Христа, который спрашивал· «Савл, Савл! что ты гонишь меня?», и уверовал в его учение. Впоследствии проповедовал в Риме (Деяния апостолов, IX, XXVII). *Бруту Цезарева тень Явилась* — см. «Сравнительные жизнеописания» Плутарха (Цезарь, 69). Майков допустил неточность: у Плутарха говорится о битве при Филиппах, а не о Фарсальском сражении. В С 2, ч. 2, с. 141 неточность исправлена и этот ст. читается: «Сраженья при Филиппах». В последующих же изданиях так, как в ПСС 6. *И в Риме уж теперь два Рима.* По свидетельству А. В. Амфитеатрова, Майков первоначально хотел дать своей трагедии название «Два Рима» (ИВ, 1903, № 3, с. 1012. Под псевд. Сандро).

НЕ ВОШЕДШЕЕ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

339. «Литературная газета», 1939, 15 октября (публикация Н. Л. Бродского). Автограф с датой. Там же черновик письма Майкова издателю ОЗ А. А. Краевскому с предложением опубликовать стих. на страницах его журнала: «Участие, с которым следили за развитием таланта покойного М. Ю. Лермонтова Отеч. зап., возлагает на меня нравственную обязанность поделиться с Вами впечатлением, произведенным на меня его кончиною... не желание найти предмет для песни своей музы, а истинное чувство заставило меня начертать эти строки — отчего, может быть, они и теряют несколько в литературном отношении».

340. «Метеор на 1845 год», СПб., с. 10, в цикле «Два отрывка из дневника в Риме» (см. примеч. 68). Автограф без загл. вне цикла. Список в том же цикле. В перечне стих., сделанном Майковым, упоминается под загл. «Элегия II» с датой: 1843.

341. «Репертуар и Пантеон», 1845, № 2, с. 385. Печ. по автографу. Список в перечне стих. с датой: ⟨18⟩ 43. В журнальной публикации в текст стих. в явной связи с цензурными условиями вне-

сены исправления, не только смягчающие, но местами и искажающие его смысл: выпущены ст. 23—24, в ст. 6 вместо «королей» напечатано «цезарей», в ст. 35 вместо «царская» — «короля». *Сен-Дени* — готический собор близ Парижа. В нем похоронены 25 французских королей. *Свирепый Людовик* — вероятно, Людовик Благочестивый, франкский император с 814 г., сын Карла Великого; покровительствовал церкви, жестоко подавлял восстания покоренных народов. *Карломан* (751—771) — младший брат и соправитель Карла Великого. *Варвар царственный* — вероятно, Карл Великий, франкский король с 768 г., император с 800 г., основатель французской династии Каролингов. *Версальский полубог* — вероятно, Людовик XIV, король Франции (1643—1715). *И кости королей изъяты из ограды.* Во время Великой французской революции, в октябре 1793 г., многие древние гробницы Сен-Дени были уничтожены. *И с плахи царская катится голова.* Имеется в виду казнь Людовика XVI (21 января 1793 г.).

342. Печ. впервые по беловому автографу. Датируется по содержанию. Свидетельствует об участии Майкова в борьбе В. Г. Белинского с реакционным журналистом и писателем, редактором газеты «Северная пчела» Ф. В. Булгариным. Как явствует из пометы А. А. Краевского на автографе: «Набрать на втором месте», стих. предназначалось для ОЗ. Сохранились гранки с пометой цензора А. И. Михелина: «(В От. записки)». В последней строке стих. красными чернилами цензора зачеркнуто «я, я, я!» и предложено взамен два варианта: 1. «Я дерзну, я»; 2. «Это я». Тут же карандашная запись: «Только в этом виде напечатать можно». Литерами «Я. Я. Я.» подписывал свои статьи в «Северной пчеле» реакционный журналист, писатель и критик 30—40-х годов Л. В. Брант. В них он неоднократно выступал против ОЗ, руководимых В. Г. Белинским, подвергал злобной критике, нередко граничившей с политическим доносом, издания Н. А. Некрасова («Петербургский сборник» и «Физиология Петербурга», 1845) и всю демократическую литературу. В своей борьбе с Булгариным В. Г. Белинский немалое место уделял и Бранту (см.: Белинский, ПСС, т. 4, с. 19—20, 62—63; т. 6, с. 191—194 и др.). Брант, приглашенный в «Северную пчелу», — писал критик в одной из статей, большая часть которой была запрещена цензурой, — «обрадовался, что в руках патрона своего может быть грязною тряпкою, чтобы марать порядочных людей, цепною собакою, чтобы лаять на людей лучше и выше себя, и тем добиться похвалы: „Ай, моська! Знать, она сильна, что лает на слона!“» (Белинский, ПСС, т. 9, с. 647). Тогда же Брант был высмеян в статье И. И. Панаева «Литературный заяц» (ОЗ, 1846, № 2, отд. VIII, с. 124—126). Стих. Майкова также написано, по-видимому, в 1845 или 1846 г., но не было опубликовано. Стих. метило и в самого Булгарина, что подтверждается близостью основного его мотива басне П. А. Вяземского «Хавронья», напечатанной под криптонимом *** (ОЗ, 1845, № 4, с. 328) и направленной против Булгарина как театрального критика (см. о ней: Белинский, ПСС, т. 9, с. 140, 143). На эту же басню намекает и Некрасов в своей эпиграмме на Булгарина («Он у нас осьмое чудо...»), написанной в 1845 г. и опубликованной в 1846 г.: «Как хавронья мил и чист» (Н. А. Некрасов, Полное собрание стихотворений в 3-х т., т. I, БП, БС, Л., 1967, с. 487).

343. Печ. впервые по списку первоначальной редакции поэмы «Три смерти» (№ 334) (загл. «Выбор смерти» — ГПБ, архив В. А. Жуковского), где приписано Лукану. Тот же текст — списки ГБЛ и ПД.

344. Печ. впервые по автографу. Датируется по положению среди стих. 1852—1853 гг.

345. Печ. впервые по автографу. Датируется по положению в черновой тетради среди стих. 1853 г.

346. ЛН, т. 49—50, М., 1949, с. 615, публикация С. А. Рейсера и А. Я. Максимовича (не вполне точная). Печ. по автографу. Там же черновой автограф без подзаг. Датируется по содержанию и дневниковой записи Майкова. Не исключена позднейшая доработка, т. к. в стих. введены мотивы произведений Некрасова, написанных во второй половине 50-х годов. *«Муза»* (написано в 1851, напечатано в 1854) — одно из программных стих. *Николая Алексеевича Некрасова* (1821—1878), вызвавшее острую полемику, в том числе и в стихах Н. Ф. Щербины, А. А. Фета, Д. Д. Минаева, И. С. Никитина, Вл. С. Соловьева и др. Несмотря на разницу в убеждениях, Майков в течение 12 лет (1847—1859) сотрудничал в некрасовском Совр. Известны положительные оценки Некрасовым ряда стих. Майкова (см.: Некрасов, ПСС, т. 9, с. 607—611, 393—395). В то же время Некрасов резко отрицательно отнесся к стих. Майкова, восхваляющему Николая I (см. примеч. 350). В дальнейшем в отношениях двух поэтов ведущей становится тенденция к резкому идейно-эстетическому размежеванию и полемике. См. также примеч. 351, 352. *Идет обрывом лес зеленый* и т. д. Эти строки с небольшими вариантами вошли в стих. Майкова «Пейзаж» (см. № 128, с датой: 1853 г. Ср. также дневниковую запись Майкова от 26 декабря 1855 г. по поводу некрасовской «Саши»: «Для меня любопытно, что этой пьесой как будто оправдалось мое послание к нему, за два текущих года перед сим писанное. Послание, где хороша только картина природы, а прочее надо выработать...» — РЛ, 1977, № 3, с. 101).

347. «Известия императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности», 1854, т. 3, стлб. 388. Печ. по «1854-й год», с. 5. Черновой автограф без загл. с пометой: «‹Написано в одну ночь. 1853. Дек‹абря› 2 или 3›»; неполный беловой автограф с подзаг. «На первые победы русских войск в 1853-м году. Ода». Предполагавшаяся в 1853 г. публикация стих. в Совр. не состоялась, т. к. его тема вызвала настороженное отношение цензуры, связанное с осложнением внешнеполитической ситуации в канун вступления в Крымскую войну Англии и Франции на стороне Турции (официальная переписка председателя Санктпетербургского цензурного комитета М. Н. Мусина-Пушкина и управляющего III Отделением Л. В. Дубельта от декабря 1853 г. — ЦГИА). Отзываясь о «Памяти Державина» и некоторых других стих. Майкова, Н. А. Добролюбов писал в 1860 г.: «Все это было естественно и понятно в ту пору всеобщего увлечения воинственным величием России; но все это прошло, и поэты стараются уничтожить следы тогдашних увлечений в полных собраниях стихов своих» (Добролюбов, СС, т. 6, с. 159). Критические замечания на это стих. см. также в письме А. Ф. Писемского Майкову от 8 мая

1854 г. (Писемский, СС, т. 9, с. 571). *Гаврила Романович Державин* (1743—1816) — русский поэт, воспел в своих одах военные триумфы России. *Победы при Синопе и Ахалцихе.* Во время Крымской войны, 18 ноября (ст. ст.) 1853 г., в Синопской бухте Черноморская эскадра адмирала П. С. Нахимова разгромила эскадру турецкого флота. Близ крепости Ахалцихе в Грузии 14 ноября того же года русские войска одержали победу на суше. *Кагульский гром.* Имеется в виду сражение русских и турецких войск 21 июля 1770 г. во время войны 1768—1774 гг. на берегу реки Кагул, в котором победили войска П. А. Румянцева. *Пошли к величью и добру.* Ср. в «Стансах» А. С. Пушкина: «В надежде славы и добра...» *И как матрос и плотник жил.* Ср. в «Стансах»: «То мореплаватель, то плотник.. » *Восстань же днесь и виждь.* Ср. в стих. А. С. Пушкина «Пророк»: «Восстань, пророк, и виждь, и внемли...» *Дух отрицанья, дух сомненья* — цитата из стих. А. С. Пушкина «Ангел». *Герои Измаила.* Крепость Измаил была взята штурмом войсками А. В. Суворова 11 декабря 1790 г. Державину принадлежит стих. «На взятие Измаила».

348, 349. Печ. впервые по автографу. Датируются по положению в черновой тетради среди стих. 1853—1854 гг.

350. При жизни Майкова не печ. Впервые посмертно — «Московские ведомости», 1898, 18 февраля. Печ. по автографу. Загл. Майкову не принадлежит, но, по-видимому, было им признано, т. к. позднее стих. фигурирует в его записях как известное под именем «Коляска» (Ежегодник, 1974, с. 35). Черновой автограф без загл. Список с разночтениями (ЦГАЛИ), список под загл. «Ему нет имени». Стих. было написано в дни, когда в период Крымской войны, в марте 1854 г., корабли английского флота вошли в Финский залив и угрожали Кронштадту. Панегирик Николаю I, прозвучавший в этом и других стих. Майкова 1854—1855 гг., резко подорвал репутацию автора в кругах русской интеллигенции. Всеобщее возмущение и недоумение, вызванное позицией Майкова, точно выразил в своей эпиграмме Н. Ф. Щербина, обратившись к автору «Коляски» с вопросом: «Скажи, подлец ли ты иль «скорбен головой»?» (Н. Ф. Щербина, Избранные произведения, БП, БС, Л., 1970, с. 267. Там же другие эпиграммы на Майкова). В некоторых стих., не предназначавшихся для печати или подвергнутых цензурной правке (см. примеч. 389), а также в переписке Майков критически отзывался о царствовании Николая I. Таково, в частности, четверостишие, записанное в черновой тетради 1855—1856 гг., очевидно уже после смерти царя:

Я вижу трудовых сподвижников Петра,
За ними следуют орлы Екатерины.
Там александровских встречаю генералов.
От Николая же времен
Ряд николаевских остался лишь капралов.

Через несколько лет, характеризуя положение России после реформы 1861 г., Майков писал М. Н. Каткову 15 сентября 1861 г.: «Мы чуть-чуть что ⟨не⟩ на точке поворота назад... все, что было зло на новое, что только носило маску либерализма, поспешило вдруг проявиться во всем блеске николаевщины; во всем и везде видны

заговоры, словом, обычное тупоумие выплывает теперь на всех ступенях общества, и науке и свободному развитию мысли предстоит, вероятно, новое гонение...» (ГБЛ). В дальнейшем отношение Майкова к Николаю I еще не раз менялось (см.: И Г. Ямпольский, Из архива Майкова. — Ежегодник, 1974, с. 33—42). Но его колебания не вели к попытке усомниться в основах государственного строя.

351. «Известия императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности», 1855, т. 4, стлб. 42. Черновой автограф без загл. Было прочитано в заседании Второго отделения 18 ноября 1854 г. Написано в связи с Крымской войной 1853—1856 гг. Стих. получило высокую оценку Н. Г. Чернышевского и Н. А. Некрасова (см.: Некрасов, ПСС, т. 9, с. 609).

352. Совр., 1855, № 1, с. 205 (ц. р. 31 декабря 1854) без ст. 208—211. Печ. по «1854-й год», с. ⟨43⟩. О публикации стих. в Совр. и отношении к нему Некрасова и Чернышевского см.: В. Евгеньев-Максимов, «Современник» при Чернышевском и Добролюбове, Л., 1936, с. 62; М. Гин, Н. А. Некрасов — литературный критик, Петрозаводск, 1957, с. 105—106. Резкая оценка стих. дана в эпиграмме Н. Ф. Щербины («Он в «Арлекине» воспевал Нам Третье отделенье...»). Отрицательное мнение было высказано и в анонимной рецензии ОЗ (1855, № 2, отд IV, с. 119). Считая, что его «мысли и чувства о России» были неправильно поняты, Майков писал С. П. Шевыреву (до 18 февраля 1855 г.): «Они говорили, что «непристойно говорить слогом Конька-Горбунка о великих событиях (революции) и смеяться над ними». Поддевают ловко, но недобросовестно, ибо в «Арлекине» ясно, что автор и не думал изображать картину этих мировых событий и смеяться над началами, ими выработанными, — избави меня боже! Мир не может теперь и стоять иначе как на этих началах; но я осмеял *спекуляторов на эти начала.* Я их назвал арлекинами, ибо им нет еще названия, они еще *не обличены.* Таких арлекинов в религии мы называем ханжами. Мы знаем арлекинов-патриотов ⟨...⟩ Но кроме этих есть и такие, которые опираются и на другие почтенные начала и оскверняют их, придают себе значение и набивают карман. Неужели От. зап. приняли это на свой счет?..» (ГПБ). *Тартюф* — главный герой одноименной комедии французского комедиографа Мольера, олицетворение лицемерия и религиозного ханжества. *Во имя братства и свободы* — намек на лозунг французской буржуазной революции XVIII в: «Свобода, равенство, братство!». *Крымский поход* — Крымская война 1853—1856 гг. Nessun maggior dolore ⟨che ricordarsi del tempo felice nella miseria⟩ — цитата из «Божественной комедии» Данте (Ад, V, 121—123). *А ведь и камни движет вера!* См. примеч 338

353. Печ. впервые по автографу. Датируется по содержанию и положению в черновой тетради стихов среди стих. 1856 г. В архиве Майкова сохранилась другая редакция стих. Приводим заключительные стихи из этой редакции:

Но эта брань спасла честь русского народа —
Уразумел, к чему способен он,
Когда б в его вождях был разум просветлен,
И мир на знамени б его прочел: «Свобода!»

Парижский мирный договор, положивший конец Крымской войне 1853—1856 гг., был заключен 18 марта 1856 г. на невыгодных для России условиях.

354. «Известия императорской Академии наук по отделению русского языка и словесности», 1856, т. 5, стлб. 74 (раздел «Выбор из произведений современных писателей»), с подзаг. «Из поэмы „Страшный суд“» и ОЗ, 1857, № 1-2, с. 1 (ц. р. 7 января 1857). Печ. по С 1, кн. 2, с. 189. Написано «в манере Данте» (Чернышевский, ПСС, т. 4, с 959). В это же время Майков писал и другое подражание Данте — см. примеч. 389. *Дантов адский вихрь* — в «Божественной комедии» (Ад, III). *Я в ужасе упал полуживой* — там же.

355. Печ. впервые по автографу. См. примеч. 109—110.

356. ОЗ, 1863, № 1, с. 1, с датой: 1859. Автограф. *Певец* — украинский поэт Т. Г. Шевченко (1814—1861), в 1847 г. за стих. революционного содержания был сослан в Отдельный Оренбургский корпус рядовым с запрещением писать и рисовать. Впервые адресат стих. был указан И. Г. Ямпольским (см.: «Литературное обозрение», 1938, № 9, 5 мая). Об истории знакомства Майкова с Шевченко см.: Ф. Я. Прийма, Джерело Шевченкового «Подражанія сербському» («Радянське літературознавство», 1964, № 6, с. 58—59).

357. НС, с. 31. Черновые автографы без загл.; автограф без загл. с датой: 1865, дек⟨абря⟩ 25, противоречащей датам первой публикации и положению других автографов в черновой тетради среди стих. 1859—1860 гг.

358. БдЧ, 1862, № 1, с. 1 (ц. р. 25 января 1862, др. ред.). Печ. по НС, с. 28, с восстановлением по гранкам РВ, представлявшимся в цензуру, ст. 52—53, подвергшихся цензурной правке. В посмертных изданиях Майкова (ПСС 8, т. 4, с. 429 и ПСС 9, т. 1, с. 113) печатался вариант, отличный от всех известных нам источников, хотя в оглавлении ПСС 8, т. 4 указано, что стих. публикуется по НС. Наборная рукопись, предназначавшаяся для БдЧ (с разночтениями и датой: 1862), под загл. «Послание нашему другу Илье Ильичу» (зачеркнутое загл. «Нашему другу Илье Ильичу») (ЦГАЛИ). Черновой автограф и наброски без загл. Вместо ст. 16 в наборной рукописи, предназначавшейся для БдЧ, было: «[Прудона грозный бич]», в БдЧ: «Бич Чернышевского». Вместо ст. 32—38 в БдЧ:

И как мы все цветем! О, богом данный муж!
Всё — даже дикая, шальная эта дура,
Вдруг стала умницей такой — литература!
Не бьет из пустяков отчаянно в набат,
А стала вежливо указывать разврат,
И может господин солидный преспокойно
Всё дать читать жене и дочке — всё пристойно!..

В наборной рукописи вместо двух последних ст.:

Умеренно свое желанье предъявляет
И даже цензоров таких благословляет...

Вместо ст. 48—98 в БдЧ другой текст, в котором отсутствует и характеристика «папеньки», и намеки на роль героя стих. в проведении реформы 1861 г. В ст. 69 в черновом наброске первоначально было: «[париев]» (возможно, это автоцензурное изменение, не подтвержденное, однако, другими источниками). Стих. имело сложную цензурную историю, материалы которой хранятся в ЦГИА. В числе многих других оно должно было публиковаться в приложении к РВ, вышедшем затем отдельным изданием (НС). 23 января 1864 г. председатель Московского цензурного комитета М. П. Щербинин писал министру внутренних дел П. А. Валуеву о том, что цензурный комитет, «затрудняясь одобрить» представленное редакцией РВ стих. Майкова, в котором «выставляется неизвестное официальное лицо, которое, благодетельствуя России, под видом либерализма, введением французских порядков, в сущности есть не что иное как тиран либерализма», предоставляет решение этого вопроса «на благоусмотрение» министра. 25 января, не дожидаясь ответа Валуева, Щербинин сообщил министру о своем решении печатать стих., основанном «на удостоверении редакции, что они не заключают в себе ни малейшего намека на какое-либо государственное лицо, а делается обращение к другу поэта, юному либералу, толкующему с товарищами и обнаруживающему бюрократические и лжелиберальные наклонности...». Вместо испрашиваемого Щербининым «благосклонного одобрения... такого... действия» Московский цензурный комитет получил от министра резкий выговор. «Не могу не выразить сожаления, — писал Валуев 30 января 1864 г., — о последовавшем уже напечатании стихотворения г. Майкова... так как заключающиеся в нем намеки могут возбудить такие толки и недоразумения, отстранение которых по действующим ныне узаконениям лежит на обязанности цензуры». Смятение в высших цензурных инстанциях было вызвано, как это следует из переписки Майкова с издателем РВ М. Н. Катковым, весьма опасными и для автора и для издателя слухами, распространившимися в петербургских кругах, близких ко двору и утверждавших, что стих. «Другу Илье Ильичу» — пасквиль на Александра II. Так, А. В. Головнин, который был в 1862—1866 гг. министром народного просвещения, 16 февраля 1864 г. писал великому князю Константину Николаевичу (см. о нем преамбулу к примеч. 285—299): «Посылаю Вашему Высочеству при сем стихи Майкова... пропущенные московскою цензурою, как мне сказывал сегодня Валуев, вследствие усиленной просьбы редактора Каткова. Признаюсь, что я не пропустил бы их, несмотря на все желание мое простора печатному слову. Трудно поверить, чтобы в тех стихах не было прямого порицания действий государя и чтоб автор желал просто сопоставить администратора прежнего времени и нынешнего. Очевидно, что здесь дело идет не о типе, а о портретах» (Центральный государственный архив Военно-морского флота. Текст письма сообщен М. Д. Эльзоном). Автор должен был защищаться письменно в надежде, что его заверения в лояльности дойдут до царя. «Я поставлял на вид, что стихотворение написано 3 года тому назад, — писал Майков Каткову 17 февраля 1864 г., — и в 1861 г. (кажется) было напечатано и читано публично, и никому в голову тогда не приходило такого глупого толкования...» (ГБЛ). Однако текст РВ резко отличался от первой публикации (БдЧ), и основания, позволяющие увидеть некоторые черты царя в

адресате стихотворного послания, несомненно имеются (см., например, ст. 89—90, намекающие на реформу 1861 г.). Есть в стих. и намеки на Николая I — «папеньку» героя. Это, между прочим, подтверждается совпадением ст. 433—434 поэмы «Сны», не пропущенных цензурой (см. примеч. 389): «Старик тот ждал царя... Мы рвемся все к царю! Да свечи за него мы ставим к алтарю!» со ст. 86—88 «послания»: «Конечно, память твой папа́ у стариков Оставил добрую — и ставят пред иконы И нынче за него свечу...» Наконец, в адресате стих. запечатлены и некоторые черты П. А. Валуева, с которым у Майкова в этот период были весьма напряженные отношения (см. текст и примеч. 362—386 (9). История с «пасквилем» разрешилась благополучно, о чем автор и уведомил Каткова 18 февраля 1864 г.: «Великий князь наследник прочел вслух государыне стихотворение, и они не нашли никакой черты, в которой автор имел бы в виду государя... причем государь наследник сказал со своей стороны, что он „умеет читать между строчками"» (ГБЛ). Однако общественный резонанс эта история несомненно получила, о чем свидетельствует, в частности, рецензия М. Е. Салтыкова-Щедрина на НС (Совр., 1864, № 2), в которой большой пассаж посвящен разбору стих. «Другу Илье Ильичу» (в гранках Совр. текст стих. был приведен полностью и исключен из печатного текста, по-видимому, под нажимом цензуры — см. Салтыков, СС, т. 5, с. 666).

359—360. Печ впервые по автографу. Два эти стих, по первоначальному замыслу автора, должны были открывать относящуюся к 1874—1875 гг. раннюю редакцию «трагедии в октавах» «Княжна» (см. текст и примеч. 337). Отказавшись от этого замысла, Майков, по-видимому, намеревался использовать их как самостоятельные произведения. *И я беру тройных созвучий узы.* Ср. в поэме Пушкина «Домик в Коломне»: «А в самом деле: я бы совладел С тройным созвучием». По положению в автографе, источнике публикации, 2-е стих. должно было служить непосредственным вступлением к поэме, за ним следует ст. 1 первой октавы с авторским указанием: «и т. д.». В черновой редакции поэмы расположение этих двух стих. обратное.

361. Печ. впервые по автографу. Датируется по положению в черновой тетради среди стих., написанных в 1879—1880 гг. Записано на обороте черновика стих. № 328, вслед за наброском письма, связанного с приглашением принять участие в пушкинских торжествах 1880 г. Герой стихотворения — А. С. Пушкин. *Ферней* — город во Франции, где жил Вольтер (ср. в стих. Пушкина «Монах» — «фернейский старичок»). *Прочь Чайльд Гарольдов плащ.* Ср. в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (7, XXIV): «Москвич в Гарольдовом плаще». Чайльд Гарольд — герой поэмы английского поэта Байрона «Паломничество Чайльд Гарольда», свободолюбец и протестант, разочарованный в современной действительности. Майков отрицательно относился к влиянию Байрона на европейскую литературу XIX в., о чем, в частности, свидетельствует сохранившаяся в его архиве эпиграмма на английского поэта.

362—386. В цикл собраны эпиграммы Майкова, написанные им на протяжении всей жизни и, за исключением трех, никогда не публиковавшиеся. Все они печ. по автографам. Датируются по содержа-

нию и положению среди других автографов. Эпиграммы № 10, 21, 25 публиковались ранее с разночтениями в тексте по сравнению с сохранившимися автографами (см. примеч. к ним).

1. *Иван Иванович Льховский* (1829—1867) — литературный критик либерального направления, входил в кружок Майковых. *Луи Блан* (1811—1882) — французский социалист-утопист. *Жорж Занд* (Аврора Дюдеван, 1804—1876) — французская писательница. *Прудон* П.-Ж. (1809—1865) — французский публицист и социолог. *Фейербах* Л. (1804—1872) — немецкий философ-материалист. *Грим* — вероятно, Я. Гримм (1785—1863) — немецкий филолог и фольклорист. *Пальмерстон* Г. (1784—1865) — английский государственный деятель, один из вдохновителей англо-франко-турецкой коалиции, направленной против России в период Крымской войны.

2 Написана в связи со ставшими широко известными злоупотреблениями высших царских чиновников: казнокрадством, подкупами и т. п. Обращено, по-видимому, к Николаю I (см. примеч 350). *Торговая казнь* — наказание кнутом рукой палача в присутствии народа; в Москве до 1685 г. происходила на *Красной площади.*

3. *Василий Петрович Боткин* (1811—1869) — писатель, критик и публицист либерального направления. В середине 50-х годов началось размежевание «эстетической» (Боткин, А. В. Дружинин, П. В. Анненков) и революционно-демократической (Н. Г. Чернышевский, Н А. Некрасов) критики. Майков был на стороне Боткина. Не исключено, что под «критиканами» подразумевается и Н. Ф Щербина (см. эпиграмму № 6), автор злых эпиграмм и на Майкова, и на Боткина (см.: Н. Ф. Щербина. Избранные произведения, БП, БС Л., 1970, с. 258).

4. *Дмитрий Васильевич Григорович* (1822—1899) — русский писатель. Нелестное мнение Майкова о Григоровиче разделял И. А. Гончаров (см. примеч. 103 и письмо Гончарова к Майкову от 11 апреля 1859 г. — Гончаров, СС, т. 8, с. 316).

5. Связана с реакцией Майкова на поражение России в Крымской войне 1853—1856 гг. (см. примеч. 353). В ряде неопубликованных стих. и прозаических заметок разного времени Майков, оставаясь убежденным монархистом, проявляет резко отрицательное отношение к русской аристократии, обвиняя ее в забвении интересов народа и равнодушии к его судьбе. В одном из незавершенных стих. середины 50-х годов он пишет:

Во имя гордого боярства
Не ополчусь я никогда.
В них ляха спесь и дичь татарства
Без чести, правды и стыда.

6. Записана на одном листе с эпиграммой № 7. *Николай Федорович Щербина* (1821—1869) — русский поэт, ему принадлежит несколько язвительных эпиграмм на верноподданнические и консервативные стих. Майкова периода Крымской войны (Н. Ф. Щербина, Избранные произведения, БП, БС, Л., 1970, с. 266—267).

7. Датируется по положению автографа в черновой тетради среди стих. 1857—1859 гг., в числе которых и стих. № 109. По-видимому, обращено к Я. П. Полонскому (см. примеч. 109—110) и связано с выходом в 1855—1859 гг. сборников его стих., завоевавших, как и некоторые его прозаические опыты, и поэма «Кузнечик-музыкант»

(РС, 1859, № 3), успех у читателей и критиков различных направлений (Н. А. Некрасова, А. В. Дружинина, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова и др.). *Владимир Рафаилович Зотов* (1821—1896) — беллетрист, журналист консервативного направления. В архиве Майкова сохранились две злые эпиграммы на Зотова («Влад. Зотов» и «Рецензент»), смысл которых сводится к тому, что Зотов с ожесточенным недоброжелательством встречает появление всякого нового таланта. Ср. также заключительные строки одной из редакций посвященного Полонскому стих. № 110, 28 февраля 1857 г. записанного Майковым в альбом Полонского:

Пой, пой, носися перед нами
И по земле и в небеси,
И вдохновенными стихами
Володьку Зотова беси!

8. Намекает на реакцию официальных кругов в связи с напечатанием в 1864 г. стих. Майкова «Другу Илье Ильичу» (см. № 358).

9. В черновой тетради сопровождалась карикатурой Майкова на Валуева *Петр Александрович Валуев* (1815—1890) — министр внутренних дел (1861—1868), в его ведении находилось Главное управление по делам печати. В период создания эпиграммы отношения Майкова и Валуева были сложными. Помимо личных причин (недовольство Валуева публикацией стих. «Другу Илье Ильичу» — см. примеч. 358), неприязнь и противодействие Майкова вызывали меры, предпринимаемые министром по «обузданию» катковских «Московских ведомостей» (см. примеч. 319—320). Возмущение поэта вызывали и санкционированные Валуевым цензурные преследования славянофильских изданий И. С. Аксакова, особенно газеты «День». В той же тетради, где записана данная эпиграмма, находится черновой автограф стих. под загл. «Проект предостережения Аксакову от Валуева» (другой автограф — под загл. «Пародия на Валуевские предостережения»), где высмеиваются основы деятельности министра.

10. Эпиграмма была сообщена Майковым А. В. Никитенко 29 декабря 1867 г. на обеде после годового Акта в Академии наук. «Пир был довольно шумный, — записал в своем дневнике А. В. Никитенко. — Не обошлось без некоторых прений о руссизме и немчизме» (Дневник, т. 3, с. 108—109. Там же приведен текст эпиграммы с разночтениями).

11. *Вот Пушкин дураком лишь назвал дурака* и т. д. Майков мог иметь в виду несколько эпиграмм А. С. Пушкина: «Любопытный», «Тимковский царствовал — и все твердили вслух. . .», «Как сатирой безымянной. . .». *Александр Иванович Красовский* (1780—1857) — председатель Комитета цензуры иностранной в первые годы службы Майкова (начиная с 1852) «исполняющим обязанности младшего цензора» и младшим цензором Комитета (формулярные списки Майкова — ЦГИА). О годах службы под началом реакционера и самодура Красовского, которого П. А. Вяземский в басне «Цензор» назвал «паркою ума, и мыслей, и свободы», Майков писал в стих., сохранившемся в его архиве:

. . .Что прожил я, узнал, прочувствовал тогда,
Теперь обдумалось и резкими чертами

Определилося, и просит пышных рам:
Есть боги, вера есть — осталось строить храм ⟨...⟩
Осталось бы писать: трудом упорным
Возвышенную мысль с летучей красотой
Осуществить стихом покорным.
Но тут встает как демон злой
Муж с конской мордою, с улыбкою бесовской
И вислоухий, как осел:
Сам Александр Иванович Красовский —
«Читай, читай! трудись! пошел! пошел!..»
И мысль моя опять под игом чуждых бредней!
Притом опять вопрос, и очень не последний:
Писать... но для чего? что пользы в том,
Что голос чувств и мыслей благородных
В стихах и вымыслах свободных
Послышится в стихе моем?
К чему? к чему? Ценсура не пропустит,
А не поймет, то новую беду
На голову несчастную на⟨п⟩устит —
И в рудниках иди копать руду!
О, проклят будь зависимости демон! ⟨...⟩

Михаил Романович Шидловский — начальник Главного управления по делам печати в 1870—1871 гг., откровенный реакционер, считавший, что литература и печать служат «для забавы... для того, чтобы людям, которым нечего делать, было что читать. Другого значения литература и вообще печать не имеют!» (ЛН, т. 49—50, М., 1949, с. 470). В бытность свою тульским губернатором послужил прототипом щедринского градоначальника с «органчиком» в голове («История одного города»).

12. В эпиграмме проявилось свойственное Майкову враждебное отношение к революционно-демократической мысли. Первая строка эпиграммы первоначально читалась: «[Всем] «свобода» [вы] кричите».

14. Автограф с разночтениями. Название — начальные слова латинской пословицы «De mortuis aut bene aut nihil» — «О мертвых следует говорить хорошее или ничего не говорить».

15. Адресат эпиграммы — *Тертий Иванович Филиппов* (1825—1899), писатель и публицист славянофильской ориентации, знаток и собиратель старинных русских песен. В 50-х годах — член «молодой редакции» «Москвитянина» (см. примеч. 102). *Ты стал товарищем министра.* В 1878 г. Т. И. Филиппов был назначен товарищем государственного контролера, в 1889 г. — государственным контролером (государственный контроль — учреждение царской России, соответствующее министерству; осуществляло наблюдение за правильностью и законностью поступления государственных доходов и производства расходов).

16. По-видимому, эпиграмма адресована М. Е. Салтыкову-Щедрину, в рецензиях и художественных произведениях резко, а подчас и зло критиковавшему политическую и эстетическую позицию Майкова (см. примеч. 87, 305, 358).

17. Об отношении Майкова к «академической» науке см. примеч. 339.

19. *Иван Федорович Горбунов* (1831—1895) — русский писатель и актер, мастер устного юмористического рассказа. С ним Майков познакомился еще в начале 50-х годов, в период сближения Горбунова и самого Майкова с «молодой редакцией» «Москвитянина» (см. примеч. 102, 387).

20. *Дмитрий Васильевич Аверкиев* (1836—1905) — драматург и критик консервативного направления.

21. РСт, 1899, № 3, с. 493, в составе «одного... из посланий» Майкова к молодому поэту в статье акад. М. И. Сухомлинова «Особенности поэтического творчества А. Н. Майкова, объясненные им самим». В автографе записано как самостоятельное стих. *«Свободное слово»* — название и рефрен стих. К. С. Аксакова, прочитанного им на торжественном ужине в день столетнего юбилея Московского университета (1855). Впервые в легальной печати появилось в 1880 г. *Дамаскин* — поэма *Алексея Константиновича Толстого* (1817—1875) «Иоанн Дамаскин» (опубликована в 1859 г.). В ее основе — житие христианского подвижника Иоанна из Дамаска. В архиве Майкова сохранилась следующая запись: «Всегда я чувствовал фальшь в пьесах из старой русской жизни Алексея Толстого, в его балладах, былинах и пр. ⟨...⟩ Смесь архаизмов с новейшим великорусским ухарством (чего нет в подлинных былинах олонецких). ⟨...⟩ он еще написал их все с рифмами, да еще с какими — самыми неожиданными, щегольскими».

22. Входит в список стих., озаглавленный Майковым: «Написано после издания 1888 г.», т. е. после ПСС 5. По всей вероятности, адресована поэту Н. Минскому (1855—1937), выпустившему в 1883 и 1887 гг. первые сборники своих стих. Минский, начавший свою деятельность как поэт гражданского направления, был одним из зачинателей русского символизма. На одном листе с черновым текстом данной эпиграммы сохранился набросок стих. (1888), первоначально озаглавленного «Мережковскому и Минскому», затем — «Многим», где Майков, между прочим, пишет: «Ты только *делаешь* стихи... Ядро уж вынуто другими. Ты ж ловишь брошенные ими Осколки мертвой шелухи» (полный текст этого стих., включенного в письмо Майкова к сыновьям от 1 февраля 1888 г., см. в Ежегоднике, 1974, с. 132—133, публикация И. Г. Ямпольского).

23 В 1872 г. исполнилось 200 лет со дня рождения Петра I (1672—1725), в 1882 г. — двести лет со дня его титулования царем и сто лет со дня открытия памятника ему в Петербурге («Медный всадник»). Эпиграмма Майкова, связанная, по-видимому, со всеми этими событиями, еще раз подтверждает положительное отношение автора к деятельности Петра I (см. также примеч 314, 315).

24. Как и другая (№ 25), записанная в той же черновой тетради, эпиграмма является, по-видимому, откликом на первые выступления представителей русского символизма в начале 1890-х годов. Не исключена связь этой эпиграммы, а также эпиграммы № 25 с известными пародиями В. С. Соловьева на поэзию символистов (Владимир Соловьев, Стихотворения и шуточные пьесы, БП, БС, Л., 1974, с. 164—166).

25. Избр. с. XXXIII, в составе вступительной статьи Н. М Гайденкова, с небольшими неточностями. См. также эпиграмму № 24.

387. ДС. Печ. с восстановлением цензурных купюр по ДС 1—5 и проверкой восстанавливаемых ст. по разрозненным отрывкам черновой рукописи (см. ст. 301—302, 428—430, 488—489, 816—817, 870, 871— 877, 933—942, 1199). Первоначальные варианты не восстанавливаются в тех случаях, когда правка Майкова, проведенная под воздействием цензуры, имеет концепционный или стилистический характер и является выражением последней авторской воли (начало второй главы, ст. 287—290, 294, 303—338, первоначальный вариант ст. 488—489). В нескольких случаях (ст., исключенные автором после ст. 618, ст. 903 и ст. 1056), когда мотивы авторской правки не ясны или отсутствуют достаточные основания для вторжения в текст ДС, первоначальные варианты также не восстанавливаются. Во всех случаях решающим основанием для восстановления цензурных купюр или первоначального вида ст., подвергшихся автоцензуре, является наличие соответствующих авторских исправлений в ДС 4—5, подтвержденных текстом ДС 1—3. При жизни Майкова поэма не переиздавалась. Отрывки гл. 2 напечатаны (возможно, без ведома автора) в Сборнике, с. 232, под загл. «Русские за границей (из поэмы «Две судьбы»)». Впервые в подцензурной печати одна из цензурных купюр (ст. 1199) была восстановлена П. В. Быковым по ДС 4—5 (см.: ПСС 9, т. 3, с. 66). Текст поэмы представлялся в цензуру дважды. Первый раз — 28 октября 1844 г., когда на заседании Петербургского цензурного комитета были рассмотрены и разрешены к напечатанию отрывки, вызвавшие сомнение цензора А. В. Никитенко. Второй раз — 30 января 1845 г., т. е. уже после даты цензурного разрешения, выставленной на ДС, в связи с тем, что «при печатании сей пьесы автор сделал перемены...» (ЦГИА). Вновь написанные Майковым стихи были разрешены к опубликованию, но некоторые из них появились в печати в измененном виде. Творческая и цензурная история поэмы подробно изложена в статье И. Г. Ямпольского «Из архива А. Н. Майкова» (Ежегодник, 1974, с. 28—33), там же опубликованы доцензурные варианты текста. Приводим еще несколько доцензурных и черновых вариантов, имеющих существенное значение для уяснения политических взглядов Майкова в 40-е годы. Перед ст 215 в ДС 3 имеются три зачеркнутые строфы, тема которых — трагедия порабощенной иноземцами Италии, ассоциирующаяся у автора с положением крепостной России (выделенные курсивом слова подчеркнуты в рукописи карандашом как явно неприемлемые для цензуры):

Италия! я жадно грудью пил
Твоих аллей лавровых дуновенье;
Восторг любви, слезу благоговенья,
Язык искусств я понял, оценил.
Но посреди святых твоих могил,
Среди твоих раздавленных народов,
Не радости я кликом оглашал,
А скорбию обломки древних сводов.

На языке, чужом твоим сынам,
Я пел, но скорбь, но взор, слезами полный,

Так много их высказывал сердцам!
И слушали, как слушаем мы волны,
Они мой гимн, и подняли свои,
Как *братские*, горячие объятья,
И старец прижимал меня к груди,
И юноши текли ко мне, как *братья*.
Я память слез их свято берегу:
Я их исторг во имя их отчизны...
Италия, как почесть лучшей тризны
На твой алтарь я их принять могу.
Там, где среди арены Колизея,
Быть может, мой прапредок умирал,
Пред палачом его благоговея,
Тебя, о Рим, мой дух благословлял!

Вместо ст. 287—290 в ДС 2:

Подумаешь: вот умный человек,
А поглядишь — в чужом наряде галка;
Как горд, я чай, не склонится вовек,
А по плечам вчера гуляла палка.

Ст. 294 был представлен в цензуру в ином виде: «Вельмож мишурных у приемной двери» (ЦГИА). Ст. 488—489 представляют собой автоцензурный вариант, вписанный в ДС 4 вместо двух строк точек в ДС, указывавших на вмешательство цензуры. Впервые (с вариантом: «счастливые остатки») он появился в ДС3 как замена вычеркнутых А. В. Никитенко шести строк (см.: Ежегодник, 1974, с. 31). Двухстрочный вариант ДС 4 рассматривается нами как выражение последней авторской воли. После ст. 618 в ДС 3 ст., отмеченные цензорским знаком и зачеркнутые Майковым:

В л ⟨а д и м и р⟩

Космополита титул точно то ж,
Что эгоизм, прикрытый модной фразой.

Г р ⟨а ф⟩

Ну, брат, спасибо, ты так назовешь
Все новые идеи злой заразой.

Ст. 871—879 в ДС 3 входят в строфу VIII главы пятой, а строфа X обозначена цифрой IX (далее соответственно счет строф на единицу меньше, чем в ДС). Вследствие цензурного вмешательства в строфу VIII были вычеркнуты ст. 871—877, а ст. 878—879, предшествуемые строкой точек, напечатаны в ДС под цифрой IX. Нарушение нумерации строф (пропуск цифры VIII) и строка точек в строфе IX создали впечатление двойного цензурного вмешательства в ДС, что не соответствует действительности. Ст. 871—877 вписаны Майковым в ДС 5 под цифрой IX на месте строки точек, но при переплетении книги страница с авторской правкой обрезана так, что сохранились лишь конечные слова каждой строки. Поэтому текст указанных стихов восстанавливается по ДС 3, а их местоположение и нумерация (с пропуском цифры VIII) устанавливаются в соответствии с ДС 5 как источ-

ником, фиксирующим последнюю волю автора (в ДС 4 эти стихи не вписаны). В ст. 903 на месте точек, указывающих в ДС на цензурную купюру, в ДС 3 два зачеркнутых варианта: 1. «Я, право, всё такой» (тот же вариант в ДС 1—2); 2. «Где тот огонь живой?» Третий вариант — карандашная вставка: «с демьяновой ухой». Ст. 933 в ДС усечен, за ним следует вместо ст. 934—942 строка точек. Этот цензурный вычерк восстанавливается по ДС 3, хотя ни в одном из позднейших источников не был восстановлен автором. В ДС 4 вписан (не Майковым) текст, близкий тексту ДС 3, очевидно по памяти (вместо «ломися лбом» — «ломал лбом»; вместо «холопий сын» — «собачий сын»). В ст. 1056 А. В. Никитенко предложена поправка: вместо «чувства» — «сердца», принятая автором. Ст. 1073—1119 (сцена убийства Нины) в ДС 1 имели совсем иной смысл: ревность Карлино сочеталась у него с ненавистью к Владимиру, равнодушному к судьбам Италии, раздробленной и угнетенной иноземцами. Приводим наиболее характерный в этом смысле отрывок из монолога Карлино, обращенного к Владимиру:

Зачем пришел в наш край ты из своей
Страны — гнезда разврата и порока?
Что в жизни для меня — мои мечты
Разрушены, надежды — отняты;
Любовь? Вот, вот она, — теперь другого
Целуя, поклялася, что меня
И не любила! .. Что же мне святого
Осталося? Отчизна? Нет ея
В Италии у итальянца. Чтó вы
[С ней сделали?] И все сюда! Что, вам ужель не жаль,
Сердцам, от крови пьяным, этой бедной
Италии? Снедая стыд, печаль,
Она как нищая, и голод бледный,
Бессилие, и язвы, и разврат —
Всё ваше дело! Вот она — царица!
[Народов!] Кому оплакать столько есть утрат,
И безнадежно! .. Горькая вдовица,
Обманута любовью пришлецов,
Им вверила судьбу своих сынов;
Вы ласками ее вполне упились,
Под этим небом, в миртовых садах,
Лобзаньями ее вы насладились,
Наскучив ею, бросили во прах,
Ногой ее презренно оттолкнувши,
Когда она, колена вам, в слезах,
Обняв, молила о своих сынах...
Что ж? мало вам? Вам мало, обманувши
Несчастную, сорвать с ее главы
Венец и диадиму? Ей в покое
Оплакать даже не дадите вы
Среди обломков славы горе злое
И явный (?) свой пред миром всем позор?
Вы сильны. Что ж? Богатым, вам не стыдно
У бедняка отнять покой обидный,
Последний ломоть хлеба? Нет, клянусь,

Я не продам его, как добровольно
Мы продали отчизну. Насладжусь
Еще я тем, что здесь мое: и больно
Я над людьми и миром надсмеюсь...
Проклятие стократ всему святому,
Мольбам, слезам, любви, суду людскому!

Этот монолог вызвал детальные и резкие возражения В. А. Солоницына, который, в частности, писал: «Разглагольствие об отчизне тут решительно неуместно. ⟨...⟩ Карлино совсем не в таком положении, чтобы защищать дело своей отчизны». Очевидно, под их влиянием Майков кардинально переделал всю сцену, но и в новом виде она оказалась самым слабым местом поэмы, на что указывал, между прочим, в своей рецензии В. Г. Белинский (Белинский, ПСС, т. 8, с. 635). Отзываясь о поэме Майкова, современники подчеркивали ее злободневность, глубину понимания затронутых проблем, типичность образов. В рецензии на «Две судьбы» (февраль 1845 г.) В. Г. Белинский писал: «Талант г. Майкова, подавший такие прекрасные надежды, развивается и идет вперед: доказательство — его поэма, богатая поэзиею, прекрасная по мысли, многосторонняя по мотивам и краскам» (Белинский, ПСС, т. 8, с. 635). «Майкова «Две судьбы», — записал в дневнике А. И. Герцен 17 марта 1845 г — Много прекрасных мест, много раз он умел коснуться до тех струн, которые и в нашей душе вибрируют болезненно. Хорошо отразилась в нем тоска по деятельности, наша чуждость всем интересам Европы, наша апатия дома etc., etc.» (Герцен, ПСС, т. 2, с. 411). «Ты, я думаю, не читал «Двух судеб» Майкова? — спрашивал Н. Г. Чернышевский А. Н. Пыпина в письме от 30 августа 1846 г. — Вообще в них одно замечательно: жаркая, пламенная любовь к отечеству и науке. Взгляд его на причины нашей неподвижности умственной мне ⟨не⟩ кажется важным, но в этой книге есть чудные места, особенно о науке...» (Чернышевский, ПСС, т. 14, с. 47). Процитировав сочувственно ст. 319—337 поэмы, Чернышевский далее излагает в этом важном по содержанию письме свои мысли о патриотизме, исторической миссии России, свое понимание общественного долга. Майков, по-видимому, также сознавал, что в главном герое поэмы ему удалось запечатлеть один из характерных типов русской дворянской интеллигенции 40-х годов XIX в. (см. его письмо к Ш. де Сен-Жюльену, относящееся к концу 1846 г. — ЛН, т. 58, М., 1952, с. 331) «...Владимир — такой двойственный: в нем и русские чувства из «Москвитянина», они же и мои истинные, и Белинского западничество», — утверждал Майков в письме к П. А. Висковатову. И далее говорил о главном герое поэмы, что он «вроде Печорина, только университетского и начитавшегося творений Белинского...» (не датировано, см.: Зл, с. 40). По-другому, но также признавая типичность этого образа, писал в 1855 г. о Владимире Н. Г. Чернышевский (в связи с разбором поэмы А. С. Пушкина «Цыганы». См.: Чернышевский, ПСС, т. 2, с. 510). Пересматривая позднее свой архив, Майков записал на первом листе ДС I: «Все это — сочинение, ложь, на меня не похожее, никогда я не был Владимиром, брал черты из текущей литературы. Пленной мысли раздраженье. Оттого и ненавижу эту поэму». Резкая переоценка поэмы определялась характерным для позднего Майкова утверждением решающей роли в его духовном развитии 50-х годов знакомства с «молодой редакци-

ей» «Москвитянина» (см. об этом примеч. 102) и, соответственно, отрицательным отношением к влиянию, оказанному на поэта «западниками», и в первую очередь В. Г. Белинским, под воздействием идей которого Майков находился в середине 40-х годов (см. также: А. Г. Цейтлин, И. А. Гончаров, М., 1950, с. 462, где ставится вопрос о влиянии «Двух судеб» на роман «Обломов»; Л. С. Радек, А. И. Герцен о поэме А. Майкова «Две судьбы». К вопросу о «лишнем человеке» в русской литературе 40-х годов XIX в. — «Уч. зап. Кишиневского ун-та», т. 76, 1964, с. 57—68; Ю. В. Лебедев, «Из истории русской поэмы 1840-х годов». — «Уч. зап. Ленинградского пед. ин-та им. А. И. Герцена», т. 321, 1967, с. 92—105).

Глава первая. *Липпи* — Фра Филиппо Липпи (ок. 1406—1469) или его сын Филиппино Липпи (1457—1504), *Джиотто* — Джотто (1276—1336), итальянские художники эпохи Возрождения. *К. Гольдони* (1707—1793) — итальянский драматург, создатель национальной комедии *А. Тассони* (1565—1635) — итальянский поэт, борец за независимость родины. *Купол Петра* — собор св. Петра в Риме. *Дорога в Рим* — вероятно, Аппиева дорога. Глава вторая. *Питомцы Эпикура.* Ср. в стих. Языкова «Романс»: «Попы твердят: «Любовь — мечта!» Не то питомцы Эпикура». *Казанский* — Казанский собор в Ленинграде. А. *Тьер* (1797—1847) — французский реакционный государственный деятель, историк. Ф. *Гизо* (1787—1874) — французский государственный деятель, боровшийся с рабочим движением, историк. *О'Коннель* Д. (1775—1847) — ирландский сепаратист, борец за эмансипацию католиков в Ирландии. *Ярославов Двор* — площадь средневекового Новгорода, на которой собиралось вече. *Ave Maria* — католическая молитва. Глава третья. *Фински скалы.* Ср. в стих. А. С. Пушкина «Клеветникам России»: «От финских хладных скал до пламенной Колхиды». *Торлони* — герцогская семья в Риме. *Исакий, жаль, к концу уже идет.* Строительство Исаакиевского собора в Петербурге было завершено в 1858 г В числе других художников его расписывал отец поэта Н. А. Майков. Глава пятая. *Бог песнопений* — Аполлон. *Разбойник, дуэлист* — цитата из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (д. 4, явл. 4). *На Кавказ* и т. д. Речь идет о войнах, которые вел русский царизм на Кавказе в середине XIX в Глава седьмая. *Оставимте Италию святую.* См. примеч. 64. *«Северная пчела»* (1825—1864) — русская политическая и литературная газета реакционного направления. *«Лучия»* («Лючия») — опера Г. Доницетти. *«Норма»* — опера В Беллини.

388. М. Печ. с восстановлением цензурных купюр по М 1—3 и проверкой восстанавливаемых ст. по разрозненным отрывкам черновой рукописи (см. ст 205, 375—376, 399, 404—405, 625—639, 651—652, 778, 886—887, 947—949, 1018—1019, 1035—1036, 1037—1046, 1181—1182). Ст., подвергшиеся автоцензуре, восстанавливаются в тех случаях, когда это восстановление подтверждается соответствующими исправлениями в М 2—3 и текстом черновых набросков поэмы (см. ст. 25, 610—611, 1035—1036). Не восстанавливаются ст., не внесенные в М 2—3, хотя их отсутствие в М может быть результатом автоцензуры (см. ниже ст. 94). В примеч. приводятся некоторые варианты, позволяющие судить о направлении работы Майкова над поэмой и о его взглядах в период ее создания. Впервые цензурная правка была частично устранена Н. М. Гайденковым и Н. Л. Степановым в Избр.

и Избр. 1. В обоих этих изданиях не был восстановлен доцензурный вариант ст. 25, 610—611 и цензурные купюры в ст. 625—639, 651—652, 1018—1019, а текст поэмы напечатан со значительным количеством ошибок (ст. 67, 143, 253, 259, 495, 588, 930, 931, 934, 1013, 1229). В дальнейшем в примеч. к ст., восстановленным или исправленным по архивным материалам, указываются и, по возможности, объясняются разночтения наст. изд. с Избр. и Избр. 1. Замена в ст. 25 сделана, очевидно, по требованию цензора, что подтверждается наличием в черновом автографе другого варианта: «Дочь в институте даром» (всякое упоминание учреждений, находящихся под покровительством особ царствующего дома, в том числе женских учебных заведений, основанных императрицей Марией Федоровной, проходило специальный контроль цензуры и допускалось в исключительных случаях). Вместо ст. 94 в М 1:

Не только о товарищах почтенных,
Директоре, наградах и крестах,
О докладных записках и делах...

Вместо ст. 206—207 в М 1 два варианта, из которых первый принят в Избр. и Избр. 1 (см.). Вместо ст. 205—209 в черновом автографе:

Где сдавлен ум ярмом порабощенья,
Где жизнь дозволенная так пуста,
Где сердце жаждет только усыпленья.

Ст. 404—405 в М 1 и черновом наброске в другой редакции:

Я закричу.
Уйду-с. Так вы цветка
Уж ни за что сорвать мне не дадите?

В Избр. и Избр. 1 — другой вариант чернового наброска (где описка: «цветок» вместо «цветка»). Доцензурный вариант ст. 610—611 и ст. 625—639 восстановлен по М 2 с проверкой по М 3, т. к. листы М 2 с правкой и дополнениями автора при переплетении книги обрезаны так, что часть строк не сохранилась. Варианты этих ст. также в черновых автографах поэмы. Ст. 777—778 в черновых набросках поэмы имеют вариант:

Родителей... Но я молил, просил,
И завтра он пойдет к архиерею.

В Избр. и Избр. 1 использован еще один вариант ст. 778. Ст. 887 в черновых набросках в другом варианте, принятом в Избр. и Избр. 1. Ст. 947—949 в М 3 с опиской («коли ист царской»); в Избр. и Избр. 1 тот же текст, но вместо «как» — «коль». Ст 1018—1019 в наброске читаются:

А скептики еще ⟨оставлено место для одного слова⟩ злые
Колеблются, Европа ли Россия?

Ст. 1035—1036 имеют в *М* автоцензурный вариант:

Там юг, здесь север с скукой и хандрой;
Куда ни взглянешь — вид полубольной, —

Ст. 1029—1078 в черновых набросках имеют несколько вариантов, в разной степени приспособленных к требованиям цензуры, но полностью ни один из них не использован ни в *М*, ни в *М* 1—3. Вариант ст. 1034—1046, принятый в Избр. и Избр. 1, не совпадает полностью ни с одной из архивных редакций. Вторая часть поэмы не только не была опубликована, но, по-видимому, не была и написана. По этому поводу рецензент «Санктпетербургских ведомостей» (1847, 30 апреля, № 95, с. 438, отдел «Библиография») писал: «Идеи мы напрасно искали в «Машеньке»... Но впрочем это была только первая часть, и мы не смели требовать, чтобы идея ясно обозначилась в ней. Второй же части не явилось вовсе...» В рецензии на «Петербургский сборник», сыгравший огромную роль в распространении и утверждении программы «натуральной школы» в русской литературе, В. Г. Белинский, называя поэму «прекрасною», писал: «Сюжет даже не нов. Но в художественном произведении дело не в сюжете, а в характерах, красках и тенях рассказа. С этой стороны поэма г. Майкова отличается красотами необыкновенными... Лучшая сторона новой поэмы г. Майкова — то, что на вульгарном языке называется соединением патетического элемента с комическим, которое в сущности есть не иное что, как умение представлять жизнь в ее истине. Этой истины много в поэме» (Белинский, ПСС, т. 9, с. 572; см. также т. 10, с. 37). *Куда как надоел элегий современных...* Ср. ст. 1 поэмы А. С. Пушкина «Домик в Коломне»: «Четырехстопный ямб мне надоел». *Языковских студентов.* Речь идет о поэте Н. М. Языкове (1803—1846) и изданных им в молодые годы циклах студенческих песен. *Ламартин* Альфонс (1790—1869) — французский поэт-романтик, историк, государственный деятель. Характеристика «идеальной школы» французской словесности и самого Ламартина дана Белинским (см. ПСС, т. 2, с. 467—468). *Морская* — название одной из аристократических улиц в Петербурге. *Грез* Ж.-Б. (1725—1805) — французский художник-портретист, стремившийся к идеализации натуры (знаменитые женские «головки»). *«Милей мне жрица наслаждений Со всею тайной упоений...»* — эти строки принадлежат самому Майкову, в несколько измененном виде они входили в его ранее неопубликованное стих. «Рассеян будешь в наслажденьи...»: «Милее мне раба желаний Уж в полном цвете красоты ⟨...⟩ Со всею тайной наслаждений И упоения в любви». По цензурным соображениям эти ст. в *М* были заменены оставшейся без рифмы неточной цитатой из стих. Н. М. Языкова «Элегия»: «Блажен, кто мог, о, дева ночи». *«Постыли мне Все девы мира!»* — цитата из поэмы Пушкина «Цыганы». *«Ты рождена воспламенять...»* — первая строка стих. А. С. Пушкина «Гречанке». *Да вот стихи: скажи, какое чувство* и т. д. — эти ст., изъятые цензурой, также принадлежат самому Майкову (они входили во вторую часть цитированного выше его стих. «Рассеян будешь в наслажденьи...»). *Тальони Мария* (1804—1884) — французская балерина, выступала в Петербурге в течение трех сезонов (с осени 1837 г.). — *Кузины? — Вас увидеть будут ради.* Выделенное в тексте курсивом слово «ради» — намек на вопрос Чацкого к Софье при их первом по возвращении героя свидании:

«Что ж, раде? Нет? В лицо мне посмотрите» (д. I, явл. 7). *«Оставь надежду»* — цитата из «Божественной комедии» Данте в русском переводе (Ад, III).

389. РС, 1859, № 1, с. 1. Печ. с восстановлением цензурных купюр, обозначенных в РС двумя строками точек (ст. 401—522), по беловому автографу допечатной редакции (ГПБ), сверенному со всеми сохранившимися списками и автографами поэмы и ее черновыми набросками. Впервые текст ст. 401—522 опубликован И. Г. Ямпольским (Ежегодник, 1974, с. 46—49. Там же изложена история создания и прохождения поэмы в печать). Первоначальные черновые наброски поэмы без загл. (относятся к 1855—1856 гг.); черновые наброски; неполный черновой автограф под загл. «Сон» (зачеркнуты загл. «Сон», «Сны»), с посвящ.: «Суровому Данту Гением его вдохновенный труд [Земная комедия] посвящает автор», датой: «Писано в сентябре 1855-го года» и пометой: «(28 ав(густа) получено известие о падении Севастополя)», с эпиграфом из «Божественной комедии» Данте на языке оригинала и в переводе Майкова: «На половине пути человеческой жизни Я очутился в дремучем лесу, — след Прямой стези был утрачен»; неполный беловой автограф с тем же эпиграфом (на итальянском языке) и датой, совпадающей с датой РС (по-видимому, это часть наборной рукописи, предназначенной для РС; текст песни третьей отсутствует — у загл. «Песнь третья» помета: «без перемен против списка, что у гр. Кушелева», т. е. в РС); список песни третьей с купюрами и пометой: «Русское слово», 1859. Январь» (текст идентичен РС); беловой автограф (ГПБ) под загл. «Сны» с подзаг. «Поэма в четырех песнях» и эпиграфом из «Божественной комедии» (на итальянском языке), без посвящ. (несколько его строк открывают песнь первую); черновой автограф посвящ. (без загл., как самостоятельное стих.); черновой автограф начала песни четвертой; списки поэмы полностью без купюр (авторизованный с датой: 1859 и неавторизованные). Многочисленные архивные материалы свидетельствуют о том, что Майков в течение долгого времени (1855—1859) работал над поэмой, неоднократно возвращаясь к наиболее важным ее эпизодам. Приводим некоторые варианты, важные для уяснения сложной и противоречивой политической позиции Майкова в середине 50-х годов. После ст. 20 в черновом наброске посвящ. карандашом вписаны строки, позволяющие предполагать, что первоначально оно было адресовано друзьям поэта из кружка М. В Буташевича-Петрашевского, и в первую очередь, по-видимому, Ф. М. Достоевскому:

Друзья минувших лет! [которым солнце светит]
Вы все, которых жизнь, иль смерть, или изгнанье

Сурово вырвали из дружного кружка,
Как за цветком цветок из светлого венка, —

Вы все — где б ни были! быть может, песня эта
Кого-нибудь найдет — в ней исповедь поэта!

Вместо ст. 430 в черновом автографе:

А станут разбирать — виновных не найдешь:
На армию казна мильоны отпускает.

А посмотри, солдат, как нищий, голодает —
Но служит правдою...» — «Что ж говорит народ?»

— «Он терпит, на царя надеется и ждет».
— «А царь?» — «О! царь не бог, а лишь подобье бога,

А истине к царю преграждена дорога.
Честнейший из вельмож бессилен зло убить

И мелкого щадит, чтоб крупных не озлить.

Вместо ст. 461 в черновом автографе:

«Сиянне наук подобно свету божью;
Наука лишь властна над мерзостью и ложью.

А в вашем городе я где ни проходил,
Я видел бездну школ». Он с жаром возразил:

«Наука — это бунт! — твердили в слух царя,
И чуть совсем огня не сдули с алтаря.

А в академиях во дни больших парадов
Меж поучительных других еще обрядов,

⟨2 нрзб⟩ муз на страх младым певцам,
Иные говорят, секут по временам.

Вместо ст. 545—554 (начало песни четвертой) в черновых набросках:

С тех пор прошли года. Забыв тревожный сон,
Я мира нового был шумом оглушен.

В то время новый дух в народах пробуждался,
Титан от вековых оков освобождался.

Расправил члены он — и порвался закон,
Шатнулись алтари, заколебался трон,

И зданья целых царств, сколоченных веками,
Скрипели, как корабль, когда, гоним волнами,

Он мечется — а вкруг бушует океан,
И правит наугад сробевший капитан.

После ст. 664 в черновом автографе зачеркнуто:

И виждь — на севере, при колокольном звоне,
Ликует древний град, и муж в златой короне

Из храма выступил, весь солнцем осиян.
Ему тяжелый труд, но славный жребий дан...

Та же мысль в ст. из черновых набросков:

«Се царь младой грядет, — сказала, — в нем
спасенье».

Эти строки, связанные с коронацией Александра II (26 августа 1856 г., Москва), дают возможность уточнить время создания «песни» и прояснить позицию Майкова, уповавшего на решительные преобразования, которых он ожидал от нового императора. В октябре — ноябре 1855 г. Майков читал поэму (в первоначальной редакции) близким друзьям и знакомым. «Вы помните это прекрасное стихотворение, — писал И. А. Гончаров (см. примеч. 113) Е. В. Толстой 20 октября 1855 г., — но тогда была одна половина, он прибавил другую, где сильно говорит о злоупотреблениях, ворах и невежестве в нашей родной стране и о том, как внешний вид порядка и строгости прикрывает все это. Сказанное в дантовском тоне, — это выходит величаво, мрачно и правдиво» («Голос минувшего», 1913, № 11, с. 228). См. также его письмо тому же адресату от 25 октября 1855 г. (Гончаров, СС, т. 8, с. 274). А. В. Никитенко записал в дневнике 24 ноября 1855 г.: «На днях ⟨А. Н. Майков⟩ читал у меня свое новое стихотворение «Сны». Оно написано уже в другом духе, чем последние его пьесы. Я советую Майкову не вдаваться ни в какие суетные учения или партии, а быть просто художником, к чему у него истинное призвание» (Дневник, т. 1, с. 425). (См. также: Е. А. Штакеншнейдер, Дневник и записки, М.—Л., 1934, с. 87, 110, записи от 4 ноября 1855 г. и 18 января 1856 г.). Говоря о последних пьесах Майкова, А. В. Никитенко в первую очередь намекает, по всей вероятности, на его стих., посвященные Николаю I, вызвавшие негодование демократической общественности и принесшие поэту позорную славу «Аполлона Коляскина» (см. примеч. 350). В поэме «Сны», особенно в выпущенных в печатном тексте строках, отразились совсем иные настроения автора, близкие передовой части русского общества. Тем не менее позиция Майкова была столь неустойчива, что уже в декабре 1855 г. он писал М. П. Заблоцкому, что «грех» сборника «1854-й год» «искупается не менее страстно, и следовательно опять далеко от истинной поэзии», «Сном» (опубликовано И. Г. Ямпольским — Ежегодник, 1974, с. 49). Все старания Майкова опубликовать полностью поэму в РС не увенчались успехом. После публикации «Снов» в РС в искаженном цензурой виде Гончаров писал автору, интересовавшемуся отзывами о поэме: «Я, собственно, я — не шутя слышу в ней Данта, то есть форма, образ, речь, склад... Но говорят о нем — скажу откровенно — мало... Причина этому, конечно, Вам понятна: поэма не вся напечатана, из нее вырезано сердце... словом, она искажена и со стороны архитектуры, и со стороны мысли... По-моему, ничто так сильно не доказывает Вашего искреннего и горячего служения искусству, как эта поэма: Вы создавали, не заботясь о цензуре, о печати, Вы были истинный поэт в ней и по исполнению, столько же и по намерению» (Гончаров, СС, т. 8, с. 315). Находясь в Ницце, Майков читал свою поэму в доцензурном варианте П. А. Вяземскому, который сообщал 6 (18) декабря 1858 г. М. П. Погодину: «Здесь русская эскадра, при ней русская литература: Майков и Григорович... Майков написал прекрасную поэму «Сны», где много поэзии и дей-

ствительности» (ГБЛ). По-видимому, там же поэт читал «Сны» и семье декабриста С. Г. Волконского, в архиве которого сохранилось несколько списков этой поэмы (ПД). Выбранное после некоторых колебаний (см. выше) загл. поэмы совпало с названием цикла стих. Я. П. Полонского, печатавшихся в Совр., 1856, № 4; сб. «Стихотворения», СПб., 1859; Совр., 1859, № 7 и РС, 1860, № 4. *О сын мой, милый сын, как резвый и живой* и т. д. «Посвящение» и вся поэма автобиографичны. Здесь, вероятно, имеется в виду сын поэта, Николай, родившийся 24 января 1853 г. *Искусства труженик, без жажды славы лживой* — отец поэта, художник Николай Аполлонович Майков (1796—1873). Речь идет о детских годах Майкова, проведенных под Москвой в поместье отца, сельце Никольском, недалеко от Троице-Сергиевской лавры. *Из братьев я хоть был всех старее годами.* Братья Майковы: Аполлон (1821—1897), Валериан (1823—1847), Владимир (1826—1885), Леонид (1839—1900). *Красный колпак* — фригийский. *Явился царь* и т. д. Речь идет о Николае I. Убежденный монархист, Майков тем не менее не мог не ощущать, в каком тяжелейшем положении находилась Россия во времена николаевской реакции. Однако он склонен был объяснять все злоупотребления лишь влиянием на царя окружающих его лживых, ничтожных и презирающих народ и Россию сановников (см. стих. 362—386). Ср. также запись в черновиках поэмы, без отнесения к определенному месту:

Как слуги царские от рвенья куролесят —
Царь скажет — побрани — а глядь — они повесят!

От храма хлынула народная волна. Ср. в стих. А. С. Хомякова, впервые напечатанном в 1858 г.: «Широка, необозрима, Чудной радости полна, Из ворот Ерусалима Шла народная волна». *Он — вечный труженик: он строг и мудр, мы знаем.* Ср. ст. 6—7 о Николае I в стих. № 350. *Устроен трибунал под веденьем сержанта.* У этого ст. в черновых набросках запись: «(М. П.)». По всей вероятности, имеется в виду брат Николая I вел. кн. Михаил Павлович (1798—1848), «главный начальник военно-учебных заведений».

СЛОВАРЬ[1]

Абруцци — область в Италии
Аввадон (Апполион, библ.) — ангел смерти
Авзония — поэтическое наименование Италии у римских поэтов
Австерия (остерия) — трактир, харчевня.
Агаряне (библ.) — потомки патриарха Авраама и его наложницы Агари, заселившие Аравийскую пустыню.
Аграф — пряжка, застежка.
Адонис (греч. миф.) — прекрасный юноша, из-за которого спорили богини А ф р о д и т а и П е р с е ф о н а; погиб на охоте от раны, нанесенной ему диким вепрем.
Аканф — кустарник, растущий на юге Европы; пластическое изображение листьев аканфа образует коринфскую капитель
Аксамит — дорогая бархатная ткань.
Аланы — ираноязычные полукочевые племена, населявшие Приазовье и Предкавказье в I в. н. э
Алкивиад (451—404 до н. э.) — афинский полководец и государственный деятель
Алкид (греч. миф.) — см. *Геркулес*.
Альбано — город вблизи Рима; его жительницы славились красотой и живописной одеждой.
Альгамбра — крепость мавританских государей в Гренаде.
Амальфи — городок в Италии на берегу Салернского залива.
Амарант (бархатник) — растение с красивыми бархатистыми цветами
Амфитрион (греч. миф.) — царь Тиринфа; в новой литературе его имя стало нарицательным, обозначающим гостеприимного хозяина.
Анакреон (ок. 570—478 до н. э.) — древнегреческий поэт, воспевавший чувственную любовь, наслаждение жизнью; многочисленные подражания ему в европейских литературах составили обширную анакреонтику.
Андрокл (римск. миф.) — беглый раб, встретил в пустыне хромающего льва, вынул из его лапы занозу, и лев стал верен ему, как собака. Пойманный Андрокл должен был на арене цирка сразиться со львом, но, к удивлению публики, лев стал к нему ласкаться. Андроклу была подарена свобода.
Антиохия — древний город на Ближнем Востоке, один из очагов раннего христианства.
Аониды (греч. миф.) — одно из названий муз, покровительниц искусств и наук
Аония — страна в Средней Греции (часть Беотии), где находилась гора Геликон, на которой обитали музы
Апокалипсис, или Откровение Иоанна — одна из книг Нового завета, предсказывающая судьбы мира и человечества.
Аполлон (Феб, греч. миф.) — сын З е в с а и богини Латоны, бог солнца и света, противник сил зла, защитник мореходов, покровитель искусств, предводитель муз («Мусагет»). Он изображался на колеснице, с луком и с колчаном солнечных стрел или с лирой. Один из подвигов Аполлона — уничтожение чудовищного змея Тифона (Пифона). На месте битвы Аполлон основал город Д е л ь ф ы, ставший центром его культа. В Дельфийском храме стояла статуя основателя города и храма; здесь давала предсказания жрица-прорицательница (Дельфийский оракул). Наиболее из-

[1] Имена и названия в пояснениях, выделенные разрядкой, комментируются в соответствующих местах Словаря, определяемых алфавитом.

вестные скульптурные изображения бога — Аполлон Бельведерский и Аполлон Мусагет — находятся в Ватиканском музее. Первое из них — римская копия бронзовой греческой статуи, перевезенной из Дельф в Рим при одном из первых римских императоров

Аполог — в древности род нравоучительной литературы, представляющий сцены из жизни животных.

Апполион (библ.) — см. *Аввадон*.

Арамейские племена — кочевые семитские племена, первоначально жившие на Аравийском полуострове, затем переселившиеся в Переднюю Азию.

Ариадна (греч. миф.) — дочь критского царя Миноса. Помогла герою Тезею выйти из Лабиринта (дворца с запутанной системой ходов), вручив ему клубок нитей. Тезей увез ее с Крита, затем покинул. После этого она стала супругой и жрицей Д и о н и с а.

Ариман — греческое имя древнеперсидского бога Анхра-Майнью, олицетворявшего злое начало; вечный враг своего брата О р м у з д а (Ахурамазду).

Аристид Милетский (II или I вв. до н. э.) — древнегреческий писатель, создатель произведений эротической прозы («Милетские рассказы»)

Архимагир — главный повар.

Архискептик — глава школы с к е п т и к о в

Архонт — высокое должностное лицо в древнегреческих городах-государствах

Аспазия (р ок 470 до н э.) — одна из выдающихся женщин Древней Греции, жена П е р и к л а; в ее доме бывали знаменитые современники· П л а т о н, С о к р а т, Ф и д и й и др

Аспид — ядовитая змея.

Аспид-камень — яшма.

Ассур — верховный бог ассирийцев, по преданию, основатель царской династии

Астарта — древняя богиня Вавилонии и Ассирии, покровительница природы и любви; ее культ имел эротический характер

Афр (точнее· афар) — народность, живущая вблизи Йемена, на северо-востоке Абиссинии и на севере Сомали

Афродита (греч. миф.) — богиня любви, красоты и плодородия Рожденная из морской пены, она вышла на сушу на острове Крит Одними из главных центров ее культа были острова Кипр и Кифер (отсюда ее прозвания: К и п р и д а, Киферея или Ц и т е р е я). Богине посвящены голубь, заяц, дельфин, из растений — мирт, роза, мак. Женский праздник в честь Афродиты приходился на март. Жрицы при храме богини несли ей служение, отдаваясь за деньги для храма Одно из наиболее известных в древности изображений Афродиты — К н и д с к а я статуя работы Праксителя (IV в. до н. э.). Ее копия — Венера Медицейская, хранящаяся в Ватиканском музее.

Ахейцы — одно из основных древнегреческих племен, обитавшее в Ф е с с а л и и. У Гомера ахейцы — греки вообще

Аще — если

Аяксы, или Эанты (греч миф) — два греческих героя, участники Троянской войны, неразлучные друзья После захвата Трои греками один из них, Малый Эант, учинил бесчинство в храме Афины.

Бабель — Вавилон.

Бан — губернатор сербской провинции, наместник короля.

Банделетки — повязки, ленточки.

Батавы — германское племя, жившее в долине Рейна

Бахус — см. *Дионис*.

Белица — женщина, живущая в монастыре без пострижения

Бердыш — топор с лезвием в виде полумесяца, насаженный на длинное древко.

Биарица — курорт во Франции.

Благоутробный — милосердный.

Бландузий — ручей в имении Горация.

Брандер — судно, груженное горючими и взрывчатыми веществами, предназначалось для сожжения вражеских кораблей, к которым пускалось по ветру или по течению

Бригадир — в России в XVIII веке офицерский чин, промежуточный между полковником и генерал-майором.

Брут — легендарный первый римский консул

Брут Марк Юний (85—42 до н. э.) — вождь заговора против римского императора Юлия Цезаря

Бурак — посуда из бересты с крышкой и деревянным дном

Бургос — город в Северной Испании, в прошлом столица Кастилии.

Буюк-дере — место летнего отдыха привилегированных слоев населения и дипломатов на европейском берегу Босфора

Ваал — древний бог плодородия в Вавилонии и Ассирии, его культ имел эротический характер; в новой европейской литературе — символ греховности и порока.

Вакх — см *Дионис*

Вакханалии — народные празднества в честь В а к х а в Древней Греции.

Вакханки (греч. миф) — спутницы Д и о н и с а, сопровождавшие его во время шествий, носивших экстатический характер.

Валгалла (Вальхалла, сканд миф.) — жилище богов.

Варвара — христианская святая, народно-поэтические легенды приписывали ей способность отвращать внезапную

и насильственную смерть, спасать от бури и огня

Вежа — шатер, палатка, кибитка.

Векша — белка.

Вербная неделя — неделя перед Пасхой.

Вертоград — сад, виноградник.

Вертумн (греч. миф.) — бог садов, супруг П о м о н ы.

Веспер — планета Венера, видна на небе незадолго до восхода Солнца (утренняя звезда) и недолгое время после его захода (вечерняя звезда)

Веста (римск. миф.) — богиня огня и домашнего очага.

Весталки — жрицы богини В е с т ы, были обязаны блюсти целомудрие.

Весь — селение, деревня.

Ветурин — извозчик

Вилы — в сербском фольклоре вещие девы, живущие в водах, лесах, горах

Виргиния — героиня древнеримской легенды Она понравилась судье Аппию Клавдию, и тот подговорил своего к л и е н т а Марка Клавдия объявить, что Виргиния его раба, и потребовать ее судом через своего покровителя. Судья решил дело в пользу своего клиента Тогда отец Виргинии, желая избежать позора дочери, зарезал ее в суде

Виссон — ткань, использовалась для царских и жреческих одежд

Вифлеем (еванг.) — место рождения Христа

Волохи — древнерусское наименование романских народов.

Волхвование — чародейство, гадание.

Всадники — в Древнем Риме привилегированная группа воинов, служившая в коннице; позже — особое сословие, обладавшее крупными материальными ценностями.

Вселенский собор — съезд высшего духовенства христианской церкви

Выга — река, впадающая в Онежское озеро, по ее берегам (Выгорецкая пу́стынь) селились старообрядцы

Вышеград — крепость над рекой Влтавой в Праге, древняя резиденция чешских князей.

Гальциона (греч. миф.) — дочь Эола; узнав, что ее муж Кикс утонул, бросилась в море и была превращена Нептуном в зимородка

Ганза — торговый союз (XIV—XVII вв.) северонемецких городов во главе с Любеком, опиравшийся на военные силы немецких рыцарских орденов, прежде всего Т е в т о н с к о г о

Гвебры — персы, последователи учения Заратустры, почитающие Солнце, Луну, огонь.

Геба (греч. миф.) — богиня юности, дочь З е в с а и Г е р ы, супруга Г е р к у л е с а, подносила богам нектар и амброзию.

Гезиод (VIII—VII вв. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор поэмы «Труды и дни».

Гелиос (греч. миф.) — бог солнца, вечером опускается в океан, где обитает богиня Ф е т и д а.

Гемонийские рощи — рощи на склоне Капитолийского холма в Риме.

Гера (греч. миф.) — богиня брака и любви, супруга З е в с а, повелительница сил природы

Геркулес — латинское имя греческого народного героя Геракла (Алкида), бесстрашного богоборца, сына З е в с а; он совершил двенадцать подвигов, среди них — убийство Немейского льва.

Германик (15 до н. э. — 19 н. э.) — римский полководец, совершавший походы за Рейн, против германских племен

Гермес (греч. миф.) — бог-покровитель торговли, скотоводства, вестник богов

Гермод (Хермод, сканд. миф.) — бог, сын О д и н а.

Геспер — см. *Веспер*.

Гесперия (греч. миф.) — сказочная страна на крайнем Западе «земного круга», где на яблонях, охраняемых нимфами, растут золотые яблоки

Гетера — в Древней Греции образованная незамужняя женщина, ведущая независимый образ жизни

Гиерофант (иерофант) — старший пожизненный жрец.

Гиперборейцы (греч. миф.) — народ, обитавший на крайнем Севере

Горний — небесный, находящийся в вышние

Гридня — пиршественная зала.

Дажьбог — верховное божество древних славян В «Слове о полку Игореве» Дажьбожьими сынами называют русичей.

Даниил (библ.) — последний из четырех великих пророков еврейского народа, по приказу царя был брошен в ров, где содержались львы, и чудом спасся оттуда

Двуутробка — сумчатая крыса.

Делос — остров у берегов Греции, где, согласно мифу, родились близнецы А п о л л о н и Артемида; главный центр культа Аполлона.

Дельфы — город в Древней Греции, основанный А п о л л о н о м.

Демагог — в Древней Греции политический деятель демократической ориентации

Деметра (греч. миф.) — богиня плодородия и земледелия, в римской мифологии отождествляется с Церерой.

Диоген (ок. 404—323 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель школы ц и н и к о в, проповедовал аскетическую добродетель, полное пренебрежение к цивилизации.

Дионис (Вакх, греч. миф.) — бог растительности, покровитель виноградар-

ства и виноделия, сын З е в с а, воспитанный нимфами; он является в барсовой шкуре, с т и р с о м в руке, в сопровождении шумной толпы в а к х а н о к

Долман (доломан) — военный мундир, расшитый шнурами.

Доминиканец — член католического монашеского ордена

Дриады (греч миф.) — нимфы деревьев

Друз (38 — 9 до н. э.) — римский полководец, пасынок императора Августа

Дук — титул носителя верховной власти в средневековых городах-республиках Италии

Егеря — род легкой кавалерии в странах Европы (XVIII—XIX вв).

Егорьев (Юрьев) день — церковный праздник в честь св. Георгия; в XV в на Руси стал днем, когда крестьянин мог уйти от своего феодала. В 1581 г. отменен окончательно

Елена (греч. миф) — героиня древнегреческого эпоса, прославившаяся необыкновенной красотой; была женой Менелая, у которого ее похитил П а р и с, что привело к походу греков на Трою (Троянская война).

Ералаш — карточная игра.

Ерарх — см. *иерарх.*

Зара — итальянское название города Задар в Югославии, одного из древнейших городов Европы.

Зевс (Кронид, Юпитер, греч., римск. миф.) — верховный бог, сын титана Крона, царь и отец богов и людей, постоянно пребывает на горе Олимп, посылает с высоты громы и молнии. Он воплощает высшую мудрость и справедливость и вершит человеческие судьбы. Ему посвящен орел.

Иберия — древняя Испания, в III—II вв. до н. э была завоевана Римом.

Ида — горный массив в центре острова Крит

Идумея — древнегреческое наименование страны Эдом (на территории современной Иордании)

Иезавель (библ.) — жена израильского царя Ахава. Будучи родом из Сидона, насаждала культ В а а л а и А с т а р т ы, чем вызвала к себе ненависть израильтян. Она была выброшена из окон дворца, растоптана всадниками и растерзана собаками. В Библии ее имя — синоним всякого нечестия

Иерарх (ерарх) — верховный глава церкви.

Изида (егип. миф.) — богиня плодородия, жизни, здоровья, материнства, изображалась в короне с коровьими рогами и солнечным диском между ними. Культ Изиды был распространен также в Греции и Риме.

Израиль — еврейский народ, назван так в честь одного из праотцев — Иакова, прозванного Израилем (богоборцем)

Илион — Троя.

Ингрия — часть побережья Балтийского моря, вошедшая в состав России по Ништадтскому договору 1721 г.

Иордан — река в Палестине, в водах которой, согласно евангельской легенде, был крещен Христос

Иосиф (библ.) — один из библейских патриархов, юношей был продан старшими братьями каравану а г а р я н.

Иргиз (Большой Иргиз) — река в Саратовской обл , по берегам которой с середины XVIII в. селились старообрядцы

Иродиада (библ.) — жена брата иудейского царя Ирода Антипы, с которой царь был в незаконной связи. Она потребовала от Ирода убийства Иоанна Крестителя, обличавшего ее прелюбодеяние.

Исхия — остров близ Неаполя

Ифигения (греч. миф) — дочь Агамемнона. По предсказанию К а л х а с а, была отцом предназначена в жертву Артемиде. Богиня заменила девушку на жертвеннике ланью и унесла Ифигению в свой храм в Тавриде

Кавас — в Турции почетная стража

Каган — титул главы государства у тюркоязычных народов в раннем средневековье

Кадий — в мусульманских странах судья, осуществляющий судопроизводство на основе мусульманского права — шариата

Калхас (греч. миф.) — прорицатель, сопровождавший греков во время их похода на Трою. Он предсказал, что пока не будет принесена в жертву И ф и г е н и я, кораблям не будет попутного ветра

Камены (римск. миф.) — богини, покровительницы искусств.

Камерэра — придворная дама.

Кампанья — область на юге Италии, побережье Тирренского моря

Канон — церковное песнопение

Кантилена — напевная мелодия, лирическое вокальное произведение.

Капище — алтарь, на котором приносились жертвы

Каретьер — извозчик, кучер

Кармелитки — монахини, принадлежащие к католическому нищенствующему ордену.

Карфаген — древний финикийский город-государство в Северной Африке, вел борьбу с Римом за господство в Западном Средиземноморье (Пунические войны). В результате третьей Пунической войны (149—146 гг. до н. э) Карфаген был полностью уничтожен.

Катон (234—149 до н. э) — римский писатель и государственный деятель, был известен стойкостью убеждений,

аскетической строгостью и суровостью нрава. «Катонов нрав», «Катонов дух» вошли в пословицу.

Кафры — название, данное европейскими колонизаторами южноафриканскому народу коса.

Квестор — должностное лицо в Древнем Риме. судья, помощник консула.

Квирин (римск. миф.) — одно из древнейших божеств Рима, бог самостоятельной общины на холме Квиринал

Кедар (Кедрон) — долина вблизи Иерусалима, которая в виде ущелья спускается к Мертвому морю.

Келарь — монастырский эконом.

Керженец — в прошлом место поселения старообрядцев (Керженская пу́стынь).

Кефал (греч. миф.) — охотник, возлюбленный Эос, богини зари.

Кибела — фригийская богиня, мать богов и всего сущего.

Киприда — см. *Афродита*.

Киссав — гора в Греции, в древности называлась Пелион.

Кифара — древний греческий музыкальный инструмент вроде лиры.

Клавдий (10 до н. э. — 54 н. э) — римский император.

Клефты — греческие крестьяне-партизаны, боровшиеся против турецкого господства.

Клиенты — класс населения Древнего Рима, находившийся в наследственной зависимости от патрицианских родов.

Книга Бытия — первая книга Библии, повествующая о сотворении мира.

Книга Руфь — одна из книг Библии В ней содержится эпизод, рассказывающий о том, как Руфь собирала колосья на поле, принадлежавшем богачу Воозу, который потом взял ее в жены.

Книд — колония Спарты на Херсонесском полуострове.

Ковчег — ларец в синагоге, где хранятся свитки, на которых написаны законы Моисея (тора).

Когорта — подразделение римской армии, численностью до 1000 человек.

Кодекс — рукописная книга, состоящая из отдельных бумажных или пергаментных листов (в отличие от свитка).

Коло — хоровод.

Комиссар — в XVIII — XIX вв. чиновник, выполнявший политические функции.

Кондотьеры — солдаты-наемники в Италии XIV—XV вв., вначале главным образом иностранцы.

Константин I Великий (ок. 285—337) — римский император, поддерживал христианскую церковь, перед смертью принял христианство; утверждал, что ему было видение — крест на небе с надписью: «Сим победиши».

Константинополь (в русских текстах — Царьград) — столица Римской империи (с 330 г.), затем Византии; в 1453 г. захвачен турками и переименован в Стамбул

Консулы — два должностных лица в Риме, к которым перешла высшая власть после изгнания царя Тарквиния Гордого (510 г. до н. э.).

Кориолан — легендарный древнеримский полководец, победитель вольсков.

Корифейки — предводительницы оргий.

Кортесы — сословно-представительные собрания в средневековых Испании и Португалии.

Кошница — корзина.

Крез (560—546 до н. э) — царь Лидии, известный своим богатством.

Крин — лилия.

Кронид — см. *Зевс*.

Курульные кресла — знак консульского достоинства в Риме.

Кьяйа — набережная в Неаполе

Ладзароны — нищие, бедняки

Лаокоон (греч. миф) — троянский герой. Пытался предотвратить гибель Трои, но боги послали двух огромных змей, которые задушили Лаокоона и его сыновей. В Ватиканском музее находится статуя «Лаокоон и его сыновья».

Лары (римск. миф) — боги, охраняющие дом и семью

Левит (библ.) — у древних евреев служитель культа, выполнявший низшие обязанности священнослужения.

Левкадский утес — скала на острове Левкада (группа Ионических островов), с которой в древности ежегодно сбрасывали в море одного преступника для искупления грехов всей общины.

Легитимист — приверженец «законной» (легитимной) династии Бурбонов во Франции.

Леда (греч. миф) — царевна Этолии, возлюбленная Зевса, который явился ей в виде лебедя, когда она купалась. От их союза родилась Елена.

Лесбос — остров в Эгейском море, в древности центр эолийского племени, создавшего высокую культуру. В политической жизни острова существенную роль играли женщины.

Лестовка — кожаные четки раскольников.

Лизипп (IV в. до н. э.) — древнегреческий скульптор.

Ликтор — в Древнем Риме одна из низших государственных должностей, почетная охрана высших сановников.

Литургия — христианское богослужение.

Лицинии — римский плебейский род, представители которого в разное время занимали государственные должности.

Локанда — гостиница.

Лукан (39—65) — римский поэт, родом из Кордовы, племянник Сенеки. Пользовался расположением Нерона, затем попал в опалу, участвовал в заговорах против императора и по

его приказу покончил самоубийством Сохранилось сочинение Лукана — незаконченная историческая поэма в 10-ти книгах «Фарсалия, или Поэма о гражданской войне».
Лукулл (ок. 117 — ок. 56 до н. э.) — римский полководец и политический деятель; его богатство и роскошь вошли в пословицу («Лукуллов пир»)
Любуша — легендарная правительница Чехии, избранная народом; вместе со своим мужем Премыслом основала Прагу.
Люттия — город в Бельгии, центр епископата

Магдалина — см. *Мария Магдалина.*
Майордом — высшее должностное лицо в королевстве франков (V—VIII вв)
Марица — река на Балканском полуострове; в 1371 г. на Марице произошла битва между ополчением балканских народов и турками-османами, в которой победили турки.
Мария (еванг.) — жительница Вифании в доме которой останавливался во время своих странствий Христос, одобрявший ее благочестие.
Мария Магдалина (еванг.) — раскаявшаяся грешница, одна из женщин шедших к телу Христа, чтобы приготовить его к погребению, и обнаруживших его исчезновение.
Марциал (ок. 40 — ок. 104) — римский поэт, автор эпиграмм.
Массильянка — жительница Массилии (Марселя).
Медея (греч. миф.) — волшебница, дочь царя Колхиды.
Менады — см. *вакханки.*
Мессия (букв.: помазанник, по-гречески Христос) — в иудаизме и христианстве ниспосланный богом спаситель
Мидас (греч. миф.) — фригийский царь; был судьей на музыкальном состязании между Аполлоном и Паном и признал Пана победителем, за это Аполлон «наградил» Мидаса ослиными ушами.
Мидяне — жители древней страны на северо-западе Ирана.
Милет — древний город в Малой Азии
Миро — благовонное многосоставное масло, употреблявшееся церковью в особых обрядах.
Мирра (смирна) — ароматная смола.
Мирт — вечнозеленый кустарник, в Древней Греции был посвящен Афродите.
Митра — древнее индо-иранское божество света, добра, солнца.
Моисей (библ) — освободитель и законодатель еврейского народа.
Молох (библ.) — древнее божество западносемитских племен, в жертву которому приносили детей. В нарицательном значении — страшная, ненасытная сила, требующая человеческих жертв.
Моэт — сорт шампанского.
Мусикия — музыка.
Мусия — мозаика.
Мытарь — сборщик податей.

Нард — ароматическое вещество, добываемое из растения с тем же названием
Нарцисс (греч. миф.) — прекрасный юноша, влюбившийся в свое отражение в воде и умерший от любовной тоски. По другому мифу, он был наказан богами за то, что отверг любовь Эхо.
Наяды (греч миф.) — нимфы вод.
Немезида (греч. миф.) — богиня кары и возмездия; ее атрибуты — весы, уздечка (иго), меч, плеть.
Нереиды (греч. миф.) — нимфы моря.
Нерон (37—68) — римский император. В начале правления находился под влиянием Сенеки, стремился к соглашению с сенатом. Затем перешел к репрессиям, разгромил патрицианский заговор во главе с Пизоном, уничтожил многих выдающихся людей, а также своих ближайших родственников. Нерон считал себя великим поэтом и актером, любил публичные выступления.
Нестор (греч. миф.) — имя старейшего из греческих вождей в «Илиаде» Гомера. Переносно — старейший
Ниневия — древнейший город Ассирии, расположенный на реке Тигр.
Ниоба (греч. миф.) — царица Фив, имевшая много детей. За ее насмешки над богиней Латоной, родившей только Аполлона и Артемиду, боги умертвили ее детей. От горя Ниоба превратилась в скалу.
Нобиль — наименование дворянства в средневековой Западной Европе.
Норны (сканд миф.) — девы судьбы.
Нумидиец — житель горной страны на северо-западе Африки.

Овидий (Публий Овидий Назон, 43 до н. э. — 17 н. э.) — римский поэт, автор «Любовных элегий», «Римских элегий», «Писем с Понта» и поэм; был сослан Августом в г. Томы (ныне Констанца в Румынии), умер в изгнании.
Один (сканд. миф.) — верховное божество; бог войны, поэзии, мудрости, колдовства.
Одиссей (Улисс, греч. миф.) — царь острова Итаки, известный своей отвагой, красноречием и хитроумием.
Олива — маслина; в Библии символ красоты, довольства, изобилия.
Омир — Гомер.
Ореады (греч. миф.) — нимфы гор.
Орифламма — запрестольная хоругвь храма Сен-Дени в Париже, боевой штандарт французских королей.
Ормузд — древнеперсидский бог, олицетворявший доброе начало, брат Аримана
Оры (греч. миф.) — богини, ведавшие

сменой времен года, порядком в природе.

Оссиан — легендарный древний эпический поэт Шотландии

Остерия — харчевня, трактир

Остия — древний город в устье реки Тибр, гавань Рима.

Откуп — передача частным лицам права взимания налогов и сборов за определенный эквивалент, который эти лица вносят государству

Охабень — длинная и широкая старинная русская верхняя одежда.

Ошмыга — тертый, бывалый.

Павзий (IV в. до н. э.) — древнегреческий живописец.

Паволока — шелковая ткань.

Паки — опять, снова.

Пактол — золотоносная река в Лидии, области Древней Греции.

Паладин — доблестный рыцарь, преданный своему государю или даме

Палестрина — город в римской провинции (древнее название — Пренесте).

Паликары — члены полуразбойничьих греческих отрядов, которые вели партизанскую войну против турок.

Пан (греч. миф.) — бог лесов и рощ, покровитель пастухов, охотников, рыболовов, изобретатель свирели. В полдень Пан отдыхает и на тех, кто нарушает его покой, нагоняет «панический ужас».

Пандект — систематическое изложение каких-либо материалов.

Панорм — древнее название города Палермо в Италии.

Парга — город на берегу Адриатического моря В 1819 г. был захвачен англичанами и передан ими паше г. Янины Тогда все жители Парги покинули город и перешли на Ионические острова.

Пардус — гепард.

Парис (греч миф.) — троянский царевич З е в с предложил ему рассудить, кому из трех богинь — А ф р о д и т е, Афине или Г е р е — должно вручить яблоко с надписью «прекраснейшей» Суд Париса завершился тем, что «яблоко раздора» было отдано Афродите, которая стала ему покровительствовать и помогла похитить Е л е н у.

Партенопея — древнее название Неаполя.

Партесное пение — вид хорового пения, получивший распространение в русской и украинской церковной музыке XVII—XVIII вв.

Парфяне — древние иранские племена, искусные воины-всадники.

Пафос — город на острове Кипр, где находился храм А ф р о д и т ы.

Пеан — в Древней Греции гимн в честь богов.

Перепловеньев день — христианский праздник.

Перикл (между 500 и 490—429 до н. э.) — афинский государственный деятель; с его именем связывается представление о поре расцвета афинской демократии, литературы, искусства

Персефона (Прозерпина, греч. миф) — богиня, владычица преисподней, дочь З е в с а и Д е м е т р ы, супруга Аида, владыки подземного царства.

Перун — древнеславянский языческий бог грома и молнии, главное божество восточных славян; переносно — молния

Пески — район в Петербурге, где селилось мелкое чиновничество.

Пестряки — раскольничья секта

Пестум — город на юго-западном побережье Италии, существовавший в глубокой древности

Пиетист — сторонник религиозного течения немецких лютеран XVII—XVIII вв.

Пизон (I в н. э.) — вождь патрицианского заговора против Н е р о н а.

Пилат — римский правитель Иудеи; по евангельской легенде, он дал согласие на казнь Христа, не будучи уверенным в его виновности.

Пилигрим — верующий, совершающий паломничество к святым местам; путешественник.

Пинд — горный хребет в Греции.

Пиния — сосна.

Пирей — гавань в 10 км от Афин.

Пифия — жрица храма А п о л л о н а в Д е л ь ф а х (Дельфийский оракул).

Платон (428 или 427—348 или 347 до н. э.) — древнегреческий философ, основатель европейского идеализма; проповедовал вечность тела, находящегося вместе с душой в общем круговороте вещества в природе

Плеяды (греч. миф) — семь сестер, превращенные в созвездие

Подрез — оковка санного полоза.

Помона (римск миф.) — богиня плодов, жена В е р т у м н а

Помпей Гней (106—48 до н. э) — римский полководец и государственный деятель.

Понт — северо-восточная область Малой Азии

Понт Эвксинский — Черное море

Понтийское царство — рабовладельческое государство на северо-востоке Малой Азии, существовавшее с 301 г. до н. э. до 64/63 г. до н. э.

Потир — чаша для причастия.

Пошевни — широкие сани, розвальни.

Пракситель (IV в. до н. э.) — древнегреческий скульптор

Пребысте — пребываете.

Превеза — город в Турции, близ Янины.

Прелат — титул высшего католического духовенства.

Премысл — легендарный правитель Чехии, супруг Л ю б у ш и.

Претор — одно из высших должностных лиц в Древнем Риме.

Преторианец — воин, входивший в лич-

ную охрану древнеримских полководцев

Приап (греч. миф.) — бог садов и полей, сын Диониса

Приор — настоятель католического монастыря.

Провинция — территория, завоеванная Древним Римом

Прозерпина — см. *Персефона.*

Проконсул — в Древнем Риме лицо, уполномоченное вместо консулов

Проперций (ок. 49 — ок. 15 до н. э.) — римский лирический поэт

Пропонтида — древнее название Мраморного моря.

Прочида — остров в Тирренском море вблизи Неаполя

Психея (греч. миф.) — олицетворение души человека

Пуццуоли — селение близ Неаполя

Расплес (плес) — участок реки, отличающийся спокойным течением, большой шириной и глубиной.

Расшива — деревянное плоскодонное судно

Ратман — член городского совета в западноевропейском средневековом городе

Рафленый — изысканный, утонченный (о каком-либо блюде).

Ревекка — жена библейского патриарха Исаака. Его раб увидел Ревекку у колодца и привел к своему господину.

Регламент — название важнейших законодательных актов Петра I.

Ромул (римск. миф.) — сын Марса. Вместе с братом-близнецом Ремом был вскормлен волчицей Братья были основателями Рима. Ромул убил в ссоре Рема и стал первым царем Рима.

Руны — эпические песни финнов и карелов.

Рустический — сельский

Савская царица (библ.) — правительница страны савеев на юге Аравии.

Сабины — горная страна в юго-западной части Апеннин. Здесь было имение Горация.

Салгир — река в Крымской области, впадающая в залив Сиваш.

Сальтарелла — старинный итальянский народный танец

Самаритяне (библ.) — один из народов древней Палестины, враждовавший с иудеями.

Самуил (библ.) — последний из судей израильских, тайно помазал на царство Давида.

Сан-Дженнаро — монастырь в Неаполе, названный в честь святого Януария (Дженнаро).

Сан-Пабло —собор св. Павла в Севилье

Сардис (сардоникс) — драгоценный камень, разновидность агата.

Сатир (греч. миф.) — лесное божество, демон плодородия, входит в свиту Диониса.

Сатурн (римск. миф.) — бог земледелия.

Сатурналии — веселые римские праздники в честь Сатурна, проходившие в декабре.

Сафо (конец VII—VI вв. до н. э.) — древнегреческая поэтесса с острова Лесбос. По преданию, была безнадежно влюблена в Фаона и, когда он переселился в Сицилию, покончила с собой, бросившись в море

Свевы — собирательное название нескольких древнегерманских племен.

Свейский — шведский.

Сенека (ок. 4 — 65) — римский философ-стоик и политический деятель Родился в Кордове, был слабого здоровья, болел туберкулезом. В Риме стал воспитателем Нерона и его приближенным Впоследствии был приговорен к смертной казни и покончил жизнь самоубийством По преданию, не имея возможности из-за запрета Нерона оставить друзьям свое имущество, он завещал им свой образ жизни.

Сенешаль — в государстве франков управляющий дворцовым хозяйством; позже — одно из главных должностных лиц французского королевства.

Сень — навес в алтаре над престолом.

Сибиллы (сивиллы) — легендарные женщины-прорицательницы. В католической церкви почитаются наравне со святыми.

Сивер — холодный северный ветер с дождем и снегом.

Сивилла — см. *сибиллы.*

Сигтуна — город в Швеции, в средние века политический центр, резиденция епископа.

Сидон — один из крупнейших финикийских городов на побережье Средиземного моря, возникший в конце третьего тысячелетия до н э.

Сиена — город в Италии со знаменитым готическим собором XIII—XIV вв. Здесь жили и работали многие известные скульпторы, архитекторы, живописцы (сиенская школа), а также искусные мастера художественной обработки металла.

Сикомора — тутовое дерево Иногда так называют платан и явор

Силен (греч. миф.) — демон, сын Гермеса, наставник Диониса. Древние представляли его в виде пьяного, добродушного, толстого, лысого старика

Сильван — см. *фавн*

Сильфы — по средневековым поверьям, духи огня, воды, воздуха, земли

Синель — сирень

Синклит — собрание высших сановников в Древней Греции.

Сирены (греч миф.) — полуптицы-полуженщины, увлекающие пением моряков и приводящие их к гибели

Скептики — в Древней Греции предста-

вители философского направления отрицающего возможность познания действительности

Складень — створчатая икона.

Смарагд — изумруд

Сократ (ок 469—399 до н. э) — греческий философ-идеалист; был приговорен к смертной казни, покончил с собой, выпив яд.

Софист — учитель философии, поэтики, красноречия и других наук в древних Афинах.

София — Софийский собор, главный храм в Новгороде.

Спирит — верующий в загробную жизнь и возможность общения с духами умерших.

Статский советник — один из высоких гражданских чинов в дореволюционной России (5-й класс «Табели о рангах»).

Стикс (греч. миф.) — река, окружающая царство мертвых.

Стоицизм — одно из значительных философских учений, возникшее в Афинах в конце IV в. до н. э.

Стрелецкий приказ — центральное правительственное учреждение в России XVI—XVII вв., ведавшее делами стрелецкого войска.

Стрибожьи внуки — ветры (выражение восходит к «Слову о полку Игореве»).

Стрикс — сова.

Сули — горное селение греко-албанского племени сулиотов.

Тайгет — горный хребет в Греции.

Тацит (ок. 55 — ок. 120) — римский историк, создатель «Анналов», «Истории».

Тевтонский орден — католическая духовно-рыцарская военная организация, осуществлявшая захватническую политику в Прибалтике в XIV—XV вв

Тевтоны — древние племена германского происхождения, первоначально жившие в нижнем течении Эльбы.

Термы — общественные бани в Древнем Риме, которые были одновременно спортивными и увеселительными учреждениями.

Тиберин (римск. миф.) — бог реки Тибр, на которой стоит город Рим

Тибур — древний город в Италии, близ Рима, ныне Тиволи.

Тир — рабовладельческий город-государство в Древней Финикии.

Тирс — атрибут Диониса, жезл, увитый плющом и виноградными листьями.

Титаны (греч. миф.) — божества старшего поколения, дети Урана и Геи (Неба и Земли). Они боролись с богами-олимпийцами, были побеждены и ввергнуты в Тартар (Аид).

Торнео — город на северо-западе Финляндии, у границы со Швецией.

Траппист — член католического монашеского ордена, отличающегося очень строгим уставом

Трир — город на реке Мозель, центр старейшего в Галлии епископата.

Трирема — древнеримский весельный военный корабль, оснащенный также и парусами

Триумф — в Древнем Риме торжественное вступление в столицу полководца-победителя и его войска (по специальному ритуалу и с разрешения сената).

Троян — по некоторым толкованиям, языческий бог славян.

Тулл — друг Проперция, к нему обращено несколько стихотворений поэта

Тулуза — город на юге Франции. В 1229 г. здесь была учреждена инквизиция и основан университет для борьбы с ересью

Туранская пустыня — низменность в Средней Азии, большая часть ее приходится на пустыни Каракум и Кызылкум.

Убрус — платок, покрывало, расшитое золотом, жемчугом.

Угорская земля — Венгрия.

Улисс — см. *Одиссей.*

Уния — объединение православной и католической церкви на условиях признания главенства римского папы.

Фабии — римский патрицианский род, представители которого не раз занимали важные государственные посты.

Фавн (Сильван, римск. миф) — бог лесов, полей, покровитель стад и пастухов. Отождествлялся с Паном.

Фалерн — местность в Италии, известная своими виноградниками и вином, воспетым в одах Горация.

Фарисеи — религиозно-политическая секта в Древней Иудее, отличавшаяся фанатизмом и лицемерным выполнением правил благочестия

Феб — см. *Аполлон*

Феокрит (III в. до н. э.) — древнегреческий поэт, автор пастушеских идиллий и городских сценок («мимов»).

Ферязь — старинная русская мужская и женская одежда; в средние века ее носили цари и бояре.

Фессалия — область на северо-востоке Греции.

Фетида (греч. миф) — морская богиня, мать героя Ахилла.

Фиал — древнегреческий сосуд, широкая плоская чаша.

Фиаска — бутылка.

Фиваида — местность близ Фив в Египте, которая с III—IV в. стала убежищем христианских отшельников

Фидий (р. нач. V в. до н. э.) — древнегреческий скульптор.

Филомела (греч. миф.) — девушка, превращенная Зевсом в соловья.

Флора (римск. миф) — богиня цветов,

юности, изображалась в виде прекрасной девушки

Фраскати — город в Италии, близ Рима, построенный на месте древнего города Тускулума

Фригийский колпак — головной убор жителей одной из областей Малой Азии высокий колпак с узким верхом, который загибался вперед. Впоследствии стал эмблемой свободолюбия, был образцом для шапочки якобинца

Фрина (IV в до н. э.) — греческая гетера, возлюбленная Алкивиада, натурщица Праксителя.

Фряжский — итальянский

Халдея — Вавилония, древняя страна в устье Тигра и Евфрата

Хиос — остров в Эгейском море

Хитон — древнегреческая одежда.

Хламида — мужской плащ древних греков

Царьград — см. *Константинополь.*

Цветник — старинное русское название сборников, состоящих из фрагментов, выписок, примеров, изречений, извлеченных из разных изданий

Цезарь — первоначально в Древнем Риме имя одной из ветвей патрицианского рода Юниев Позже это имя принимали все римские императоры, и оно стало императорским титулом.

Центурион — командир подразделения (центурии) в древнеримском легионе.

Церера — см. *Деметра*

Цесарцы — подданные Священной Римской империи, в которую входил ряд государств Европы; во главе ее стояли императоры (цесари).

Цибела — см. *Кибела.*

Циклоп (греч. миф.) — одноглазый великан

Циники — одна из философских школ Древней Греции, ведущая свою родословную от учения Сократа. Они стремились к духовному и бытовому опрощению, разрыву связей с обществом, видя в этом высшее благо: духовную свободу

Цинтия — возлюбленная Проперция, к ней обращено множество его стихотворений.

Цинциннат (р. ок. 519 до н. э.) — римский политический деятель и полководец У древних римлян считался образцом доблести и скромности

Цирцея (греч. миф) — волшебница с острова Эа, дочь Гелиоса; в переносном значении — обольстительная красавица

Цитерея — см. *Афродита.*

Челка — бунчук.

Черень — рукоять.

Чичисбей — в Италии XVIII в постоянный спутник состоятельной замужней женщины

Швабы — областная группа немецкого народа.

Шишак — старинный боевой головной убор, увенчанный шишкой, надетой на острие

Эвксин — см *Понт Эвксинский.*

Эвмениды — см *Эринии*

Эгерия (римск миф) — нимфа, супруга легендарного римского царя Нумы Помпилия, который, пользуясь ее советами, ввел ряд религиозных обрядов и учредил важнейшие жреческие коллегии

Эдда (Старшая Эдда) — древнеисландский сборник мифологических и героических песен VII—XIII вв

Элида — историческая область на северо-западе Пелопоннесского полуострова

Элизий (греч миф) — загробный мир, где блаженствуют праведники.

Эммаус (еванг.) — селение близ Иерусалима, куда направился воскресший Христос. На пути в Эммаус он явился двум своим ученикам, Клеопе и Луке, также шедшим в Эммаус.

Эпидавр — город в Греции, на берегу Саронического залива; в древности — центр культа бога врачевания Асклепия

Эпиктет (ок 50 — ок 138) — греческий философ, последователь стоицизма; был рабом, затем отпущен на волю

Эпикур (341—270 до н э.) — греческий философ-материалист, утверждал, что цель жизни — удовольствие, т. е. отсутствие телесных и духовных страданий.

Эреб (греч. миф) — одно из названий подземного царства мертвых.

Эринии (Эвмениды, греч. миф) — богини мщения.

Эхо (греч. миф.) — нимфа, полюбившая Нарцисса, иссохшая от мук любви, так что остался только ее голос.

Юдольный — земной.

Януарий (III в.) — христианский святой, епископ, казненный гонителем христиан римским императором Диоклетианом

Янус (римск. миф.) — божество дверей, входа и выхода. Изображался с двумя лицами, обращенными в противоположные стороны.

Ярый — светлый

Ясмин — жасмин.

К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Иллюстративные материалы хранятся в Музее (№ 1—4, 7—8, 10) и Рукописном отделе (№ 11) Института русской литературы (Пушкинского дома) Академии наук СССР. № 5—6 хранятся в Рукописном отделе Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИРИКА

В АНТОЛОГИЧЕСКОМ РОДЕ

ПОДРАЖАНИЯ ДРЕВНИМ

Сафо

Анакреон

Проперций

Гораций

Марциал

Овидий

ИЗ ВОСТОЧНОГО МИРА

ЭЛЕГИИ

ОЧЕРКИ РИМА

ЖИТЕЙСКИЕ ДУМЫ

ФАНТАЗИИ

КАМЕИ

ПОСЛАНИЯ

НА ВОЛЕ

ИЗ ДНЕВНИКА

ДОЧЕРИ

ИЗ СТРАНСТВОВАНИЙ

НЕАПОЛИТАНСКИЙ АЛЬБОМ

(Мисс Мери)

1858—1859

ДОМА

СТРАНЫ И НАРОДЫ

ПЕРЕВОДЫ И ВАРИАЦИИ ГЕЙНЕ

EXCELSIOR

АКВАРЕЛИ

1885—1890

АЛЬБОМ АНТИНОЯ

Из драматической поэмы «Адриан и Антиной»

ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ

НАБРОСКИ

О ПАМЯТЬ СЕРДЦА! ТЫ СИЛЬНЕЙ РАССУДКА ПАМЯТИ ПЕЧАЛЬНОЙ

ИЗ АПОЛЛОДОРА ГНОСТИКА

КАРТИНЫ

ВЕКА И НАРОДЫ

ИЗ СЛАВЯНСКОГО МИРА

НОВОГРЕЧЕСКИЕ ПЕСНИ

ОТЗЫВЫ ЖИЗНИ

ОТЗЫВЫ ИСТОРИИ

ЮБИЛЕИ

ПОЭМЫ

НЕ ВОШЕДШЕЕ В ОСНОВНОЕ СОБРАНИЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЭМЫ

Аполлон Николаевич Майков

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Л. О. изд-ва «Советский писатель», 1977, 912 стр. План выпуска 1977 г. № 379.

Редактор *Д. М. Климова*. Художник *И. С. Серов*. Худож. редактор *А. Ф. Третьякова*. Техн. редакторы *В. Г. Комм* и *М. А. Ульянова*. Корректор *Ф. Н. Аврунина*.

ИБ № 709

Сдано в набор 18/VIII 1977 г. Подписано к печати 2/XI 1977 г. М 11714. Формат 84×108$^1/_{32}$. Бумага тип. № 1. Печ. л. 28$^1/_2$+5 вкл. Усл. печ. л. 48,4. Уч.-изд. л. 46,26. Тираж 40 000 экз. Заказ № 836. Цена 4 р.

Изд-во «Советский писатель». Ленинградское отделение. Ленинград. Невский пр., 28.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградская типография № 5 Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 190000, Ленинград, Центр, Красная ул., 1/3.